А.С. БАЙЕТТ
ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ
Байетт — несравненная рассказчица.
Newsday
ДЕВА В САДУ
«Дева в саду» — современный эпос
сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт
задают главные вопросы своего времени.
Entertainment Weekly

Дева в саду
Антония Сьюзен Байетт

Аннотация
А. С. Байетт. Дева в саду
Пролог. Национальная портретная галерея, 1968 г.
Часть I. Робкая добродетель
1. В Дальнем поле
2. Во львином рву
3. На Замковом холме
4. Влюбленные женщины
5. Дэниел
6. Дворец кино
7. Просперо
8. «Ода греческой урне»
9. Мясо
10. Монолог в башне
11. Действующие лица и оформители
12. Прорастание
13. В логове гуманиста
14. Космогония
Часть II. Цветистый сказ
«На заре года». Газета «Таймс», понедельник, 6 апреля 1953 г.

15. Пасха
16. Гипнагогия
17. Пастораль
18. Анадиомена
19. Маммона
20. Paterfamilias
21. Английские куклы
22. Много шума
23. Комос
24. Малькольм Хэйдок
25. Хорошие жены
26. Оджеров курган
27. Коронация
28. О толковании сновидений
29. Бракосочетание
30. В Учительском саду
31. Медовый месяц
Часть III. Redit et Virgo
32. Saturnalia
33. Благовещенье
34. Дракон в аббатстве Уитби
35. Королева и охотница
36. Интерлюдии в двух башнях
37. Премьера
38. День святого Варфоломея
39. Праздник в Пантеоне

40. Последний спектакль
41. Уродский прудик
42. Дева в саду
43. Море крови
44. Временный финал

Аннотация

«Дева в саду» – это первый роман «Квартета Фредерики», считающегося, пожалуй, главным произведением кавалерственной дамы ордена Британской империи Антонии Сьюзен Байетт. Тетралогия писалась в течение четверти века, и сюжет ее также имеет четвертьвековой охват, причем первые два романа вышли еще до удостоенного Букеровской премии международного бестселлера «Обладать», а третий и четвертый – после.

В «Деве в саду» непредсказуемо пересекаются и резонируют современная комедия нравов и елизаветинская драма, а жизнь подражает искусству. Йоркширское семейство Поттер готовится вместе со всей империей праздновать коронацию нового монарха – Елизаветы II. Но у молодого поколения – свои заботы: Стефани, устав от отцовского авторитаризма, готовится выйти замуж за местного священника; математику-вундеркинду Маркусу не дают покоя тревожные видения; а для Фредерики, отчаянно жаждущей окунуться в большой мир, билетом на свободу может по-

служить увлечение молодым драматургом…

«„Дева в саду“ – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты» (Entertainment Weekly).

Впервые на русском!

А. С. Байетт
Дева в саду

A. S. Byatt
THE VIRGIN IN THE GARDEN
Copyright © 1978 by A. S. Byatt
All rights reserved

Серия «Большой роман»

Перевод с английского Ольги Исаевой
Оформление обложки Виктории Манацковой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© О. Н. Исаева, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией… Выдающееся достижение.

Айрис Мердок

Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файв о'клок.

TimeOut

Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.

The Times

В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.

Marie Claire

Амбициозный роман умного автора. Интеллект и кругозор Байетт поражают.

Times Literary Supplement

Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

Scotsman

Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.

New York Times

Непростая книга. Ее нельзя походя похвалить, от нее нельзя отмахнуться. Она явно, неопровержимо хороша – и требует самого глубокого внимания.

Financial Times

Антония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.

Daily Telegraph

Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.

The New York Times Book Review

В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.

The Baltimore Sun

Перед вами – портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих удается так щедро наполнить роман жизнью.

The Boston Globe

Байетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.

Elle

Байетт как никто умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.

Denver Post

«Дева в саду» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.

Entertainment Weekly

Байетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в ее романе.

Newsday

Литература для Байетт – удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.

Town & Country

От богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт – это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, четкие и правдивые портреты героев.

Orlando Sentinel

Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.

Hartford Courant

Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и еще – ради сюжета.

А. С. Байетт

Посвящаю эту книгу моему сыну, Чарльзу Байетту
(19 июля 1961 г. – 22 июля 1972 г.)

Я выражаю благодарность газете «Таймс» за разрешение привести во второй части книги статью «На заре года», а также издательству «Рутледж и Киган Пол» и Издательству Принстонского университета за разрешение процитировать в главе 34 отрывок из работы К. Г. Юнга «Психология и алхимия».

Пролог
Национальная портретная галерея, 1968 г.

То ли под влиянием минуты, то ли из запоздалого желания ранить, она пригласила Александра в Национальную портретную галерею послушать, как Флора Робсон читает стихи Елизаветы I. Он хотел отказаться, но вместо этого согласился и теперь стоял перед галереей, разглядывая закопченные буквы на фасаде. Дело было на вечеринке с нелепым набором гостей, и она, заодно уж, позвала остальных. Все отказались, кроме него и Дэниела. Некий юный художник даже изрек: его отвращают сами слова «национальный» и «портрет», так что он — пас. Это не моя тема, добавил непреклонный юноша. Это тема Александра, твердо сказала Фредерика, и тот было заспорил, хотя галерею любил. Так или иначе, вот он здесь.

Он задумался о двух словах, некогда весомых, а ныне заштатных: «национальный» и «портрет». Оба подразумевают единственность, неслиянность с другими культуры или человека как объекта живоподобного изображения. Оба нема-

ло значат для него или, по крайней мере, значили. Он стал смотреть по сторонам и незаметно увлекся: с точки зрения эстетики это было довольно забавно. С растяжек, рядком привязанных к полукруглой черной решетке, глядели малокровные копии портрета Елизаветы Тюдор, некогда принадлежавшего Дарнли: бледный коралл и золото, белила и сторожкая надменность. Все вместе возвещало: «Люди. Прошлое. Будущее».

По пути сюда лорд Китченер[1] не раз уставил на него укоризненный перст с вербовочных плакатов Первой мировой. Попался магазинчик под странной вывеской «Я был камердинером лорда Китченера»: поддельный брик-а-брак имперских времен, а вместо призывных горнов — вездесущий стон и дребезг электрогитары. На Шефтсбери-авеню другой плакат: монструозный тыл дюжего рабочего, по пояс голого, а ниже затянутого в красно-бело-синие бриджи. Поперек бугристых от натуги плеч было выведено: «Подставим плечо Британии!»

Александр стоял у подножия лестницы, а на-

[1] Примечания: 1

Горацио Герберт Китченер (1850–1916) — крупный британский военачальник, много сделавший для поднятия боевого духа соотечественников в ходе Первой мировой войны. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

верху перетекал бродячий галерейный люд, незаметно обзаведшийся новыми, то ли библейскими, то ли буддийскими, лицами. Тут были и сандалии «под Христа», и вышитые хламиды, и звон украшений, и внезапные порывы пения, нарушавшие порой просветленное затишье.

Он вошел внутрь. Ее внутри не оказалось, чего, конечно, следовало ожидать. А галерея изменилась. Впрочем, он и сам давно уже здесь не бывал. Викторианскую солидность красного дерева и добротной кожи потеснила на время мишурная пышность театральных подмостков. По сторонам парадной лестницы темно и густо засияли альковы с портретами гигантов тюдоровской поры. Что ж, неплохо. Он пошел наверх взглянуть на портрет, принадлежавший Дарнли, но его унесли по случаю представления. Александр остался на банкетке созерцать другую Глориану[2], окормляющую английские графства и в солнце, и в бурю, — она вся была из плотных мазков, из охры и кремзерских белил, отягченная стеганым шелком, увенчанная париком из конского волоса, крашенного хной, подпертая и удушаемая китовым усом.

---

[2] Примечания: 2

Одно из символических имен Елизаветы I.

Между ним и картинами протекала толпа. Казалось, это были те, кому не хватило места на лестнице, — то же многообразие оболочек и однообразие типов. Снизу грязные ноги в сандалиях, наверху бороды: шелковисто-гладкие, пышно-растрепанные, свалявшиеся. Сари и шафранные одеяния восточных монахов. Мундиры Вьетнамской и Крымской войн: цыплячий пушок на скулах, цыплячьи шеи торчат над золочеными воротниками и потертыми эполетами. Девицы с резиново-тугими телами, в серебряных колготках и сапожках, в серебряных юбочках, пляшущих вместе с крепкими задками. Вялые девы в черном бархате: бессильно повисшие сумочки из металлических чешуек, бумажные цветы в завитках и завесах париков. По несколько экземпляров Жорж Санд и мадемуазель Сакрипант: неизбежные мужские брюки, кружевные манишки и бархатные береты. Вот шелестят мимо бесполые люди в хламидах из индийских покрывал с криво напечатанным рисунком — сколько этой экзотики пылилось на приморских чердаках его детства! В руках новые миски для подаяний, штампуемые где-нибудь в Варанаси, на шеях стадно позвякивают бубенчики — тоже новенькие. Он видел такие на уличных лотках, и всякий

раз с табличкой, сообщавшей, что бубенчик символизирует отрешенность от всего внешнего.

Облаченные в английские макинтоши, английский твид и английский же кашемир, американцы истово пролагали дорогу в толпе, электризуемые бормотанием карманного гида, поступающим по проводкам в пластиковые наушники. Гид, без сомнения, нашептывал им, что образы английского Ренессанса сочетают в себе иконописность и реализм. Лет на двести отстав от невесомо-незыблемых восторгов Высокого Возрождения, этот стиль кажется грубым и варварским, но он уже начинает осознавать себя — светский стиль, новое начало после иконоборческих излишеств молодого Эдуарда VI, у которого на площадях полыхали и потрескивали ангелы, Богоматери и Младенцы, сжигаемые во имя логического Абсолюта — Бога, не любящего образов.

Глядя на портрет Кромвеля и на юношей в чужих мундирах, Александр задумался о сути современной пародии. Ему, не понимавшему и не любившему ее, она казалась бесцельной и беспредметной. Остроумцы имитируют все подряд, движимые нехитрой смесью эстетского любопытства, ностальгии и глумливой тяги к

разрушению, — быть чем угодно, но не собой, не здесь и не сейчас. Эти псевдосолдатики — отрицали они войну или втайне желали ее? Или они сами не знали? А может, это был продуманный «художественный манифест» на тему прикрытого и неприкрытого человека?[3] Или продолжение детской игры в наряжалки, только уже с истерическим оттенком? Александр очень неплохо знал историю моды, определенный шов или крой мог соотнести с традицией или прихотью таланта не хуже, чем стихотворный размер или авторский вокабуляр. На собственную одежду и поэзию он смотрел через ту же призму тонких модуляций и неявных нововведений. Но уже с тревогой думал подчас, что настоящей жизни нет ни в том ни в другом.

И все же в свои пятьдесят, в хорошо сшитом костюме из оливкового габардина, кремовой шелковой рубашке и золотистом галстуке с хризантемами, Александр был красив.

---

[3] Примечания: 3

Отсылка к шекспировской трагедии «Король Лир». Застигнутый непогодой Лир говорит: «Лучше бы лежать тебе в могиле, чем непокрытым встречать эту суровость непогоды. Что ж, человек и есть таков, как он. Посмотрите на него хорошенько. Тебе шелковичный червь не предоставил своей ткани, скот — покрышки, овца — волны, мускусная кошка — запаха. — Га! Мы трое все поддельные; ты — тварь, как есть; неприкрытый человек — не более, как бедное голое двуногое животное». (Перев. М. А. Кузмина.)

Вопреки здравому смыслу он решил снова поискать Фредерику снаружи, но приостановился на галерее над лестницей. Внизу висел портрет покойного короля Георга VI, его королевы и двух принцесс с подкрашенными карминовыми губами, в скучноватых платьях и туфлях с ремешком. Все четверо совершенно терялись на огромном холсте, занятом в основном бледно-зеленой — «в хорошем вкусе» — стеной да блеском золотых канделябров и серебряных чайников в одной из гостиных Виндзорского дворца. Прямо перед картиной Фредерика, уклоняясь и петляя, исполняла с неизвестным мужчиной нечто вроде танца вокруг треугольной стеганой банкетки. Мужчина, крупный и укороченный перспективой, состоял из блестящего черного винилового плаща, топорщившегося на выпуклых местах, и массы светлых прямых волос с легким отливом, как на охлажденном сливочном масле.

Вот незнакомец поймал Фредерику за запястье. Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула ему, чмокнула возле уха и выскользнула. Он на прощанье широкой ладонью провел по ее спине и ласково задержался чуть ниже — жест явной и полной близости. Потом, не оборачиваясь, стал проталкиваться к выходу. Фредерика засмеялась

и двинулась наверх. Александр отступил.

— Ах, вот ты где! Дэниела не видел? Удивительно, как это он согласился прийти.

Александр промолчал, потому что Дэниел как раз шел к ним — толстый, в черных вельветовых брюках и черной водолазке. Приблизился тяжелым шагом, приветственно кивнул.

— Ну вот и дивно, все собрались, — сказала Фредерика. — Вас на входе одарили?

В правой ее ладони лежал зеленоватый зеркальный квадратик, возможно крохотная плитка для ванной, а в левой — смятый розовый бумажный номерок: на одной стороне цифра «69», на другой лиловыми чернилами напечатано: «Люби!»

— А меня одарили, и, можно сказать, насильно, блондинистая Покахонтас и ковбой с зеленым козырьком для глаз. Что это, шутка или некий манифест?

— То и другое, — сказал Александр. — Наши манифесты обряжены, как шутки, зато к шуткам своим мы относимся исключительно серьезно. Помещаем их в рамы и развешиваем в галереях. Великий английский юмор вперемешку с американскими комплексами, западным абсурдизмом и заносчивостью Востока, где прояснение ума

достигается ударом по уху. Ваши глубокие манифесты утверждают собственную абсурдность, проистекающую, впрочем, от некой еще большей глубины мысли. И так по кругу без конца.

— Ты мне напомнил! — перебила Фредерика. — Ты знаешь, что тебя включили в список чтения для обычной средней школы? Они должны в таком случае спрашивать у тебя разрешения?

— Перестань, — поморщился Александр.

Фредерика повертела в руке зеркальный квадратик:

— Что же мне с ним сделать?

— Можешь носить с собой, как символ гордыни, — предложил Александр. — Или самопознания.

Фредерика поднесла стеклышко к глазу:

— В него мало что видно.

— Убери в карман, — сказал Дэниел. — Раз уж взяла.

— Я взяла из вежливости. Из нашей знаменитой английской вежливости.

— Вежливость велит без фокусов убрать его в карман.

— Будь по-твоему.

Стулья для зрителей были расставлены на одной из длинных галерей. Тут были совсем

другие люди. Александр забавлялся, считая влиятельных женщин: великая актриса и кавалерственная дама Сибил Торндайк милостиво опустилась в кресло-трон, придвинутое Роем Стронгом, тогдашним директором Галереи, знатоком иконографии Елизаветы Тюдор, а может, и поклонником Королевы-девственницы в самом языческом смысле. Чуть откинув голову, с выражением суровым, но благосклонным восседала кавалерственная дама Хелен Гарднер, профессор Оксфордского университета, специалист по ренессансной литературе. Была тут и леди Лонгфорд, биограф королевы Виктории. Александру показалось даже, что позади нее он разглядел крупный силуэт погруженной в раздумья Фрэнсис Йейтс, чья работа о Деве Астрее[4], как он понимал теперь, изменила ход всей его жизни. А вот и знаменитая историческая писательница Антония Фрейзер в сопровождении коренастой дамы в плаще. На леди Фрейзер была юбка от Ива Сен-Лорана, высокие сапоги мягкой замши, а к ним жилет и шляпа — результат многоступенчатой модной эволюции кожаных одеяний ковбоев, индейцев и звероловов.

---

[4] Примечания: 4
Символический образ Елизаветы I.

Над установленной внизу сценой висел портрет, принадлежавший Дарнли. Леди Фрейзер рассматривала его критически, сохраняя, впрочем, на лице безукоризненно корректное выражение. Ее симпатии, видимо, лежали в иной сфере, хоть Александр капризом воображения и превратил ее в современную Бельфебею: золотистые волосы, кожаная одежда, память небывших охот. А коли так, Фредерика в чем-то вроде вязаной кирасы из блестящей серой шерсти и в сапожках с металлическим отливом вполне могла сойти за Бритомарту[5]. Даже волосы ее походили на бронзовый шлем, впрочем, не ренессансных линий, а скорей в стиле космической эры. Александр отвернулся и стал смотреть на Елизавету: то был его любимый портрет королевы.

Перед ним был образ ясный и сильный. В легком платье тугого молочного шелка, расшитом золотыми ветвями, украшенном по корсету шарлаховыми кисточками и небрежно приколотой двойной нитью жемчуга, королева глядела с затаенным пылом юной девушки. Небрежно застывшие руки являли все свое изящество. Ко-

---

[5] Примечания: 5

Бельфебея и *Бритомарта* — охотница и воительница, героини символической поэмы Э. Спенсера (1552–1599) «Королева фей», прославляющей Елизавету I.

ролева то ли слегка покачивала, то ли сжимала — наверняка не понять — круглый веер из рыжих, коричневых, черных перьев. Этот крепко закрученный маленький темный вихрь намекал на страсть, на ураган движения, смирённый ради портрета. Постепенно пристальному взгляду открывались двойные знаки, выходящие за пределы очевидной двойственности женщины-монарха. Ярко набеленное лицо было молодо и надменно. Но стоило взглянуть иначе, и оно вдруг делалось костистым, белесым, бесцветным. На этом лице без возраста черные глаза под тяжкими веками смотрели мудро и холодно.

С портретами Елизаветы Тюдор обращались как с иконами или колдовскими куклами. Мужчины гибли за то, что покушались на них: резали, жгли, протыкали кабаньей щетиной, погружали в яд…

Елизавете, конечно, было страшно, но головы она не теряла.

«Несомненно, — думал Александр, — за этим портретом — подлинная личность. Но Елизавета подобна Шекспиру: столь явный избыток силы вызывает странную смесь чувств. Идолопоклонство и иконоборчество, любовь и страх, а с ними — потребность смягчить, приуменьшить не

только инаковость, но и простую человеческую суть монархини и поэта. Тут-то идут в дело исторические анекдоты и бессмысленные теории. Шекспира не было. Под его именем писал Марлоу, Бэкон, де Вир или сама Елизавета. Елизавета не была Королевой-девственницей. Она была Блудницей Вавилонской или Лондонской, матерью втайне прижитого ребенка, мужчиной, Шекспиром, наконец. Александр однажды с большим удовольствием прочел книжицу с хвалебным предисловием Гарднера, в которой было «доказано», что шекспировские пьесы — тайный плод брака меж королевой и Англией, а также двойной клятвы: целомудрия (принесена в 15 лет) и верности литературе (принесена в 45). В основе теории лежало следующее положение: королева была достаточно образованна, чтобы располагать, во-первых, необходимым обширнейшим вокабуляром (по разным оценкам, от 15 до 21 тысячи слов), а во-вторых — отрицательной способностью[6]. Примером последней, по мнению автора, служило умение королевы вечно поддерживать

[6] Примечания: 6

Отрицательная способность — термин поэта Джона Китса (1795–1821), обозначающий, что «человек способен находиться в неопределенности, в сумраке тайны, в сомнениях, не делая суетливых попыток непременно добиться до фактов и смысла…» (Перев. Г. М. Кружкова).

вопросы войны, казны и возможного замужества в состоянии напряженной неразрешенности. Елизавета, конечно, скрывала свое авторство, дабы снискать непредвзятую критику и избежать обвинений в небрежении монаршим долгом.

Александр тайком улыбнулся. Если Шекспира, как и Гомера, непременно нужно было обрядить женщиной, то Елизавету энтузиасты, включая многих его современников, вечно стремились сделать мужчиной. В мальчишеские годы эта мысль волновала его невыразимо, куда больше слухов о бастарде, прижитом от Лестера и спешно сбытом с рук: под фижмами мощно играли жилы и сухожилия, в шелестящем шелку скрывались мужские мышцы и прочее мужское. Повзрослев, он стал этот тайно манящий образ ассоциировать с образом Природы у Спенсера, что «съединивши два начала», «без пары не грустит нимало». Весьма удовлетворительное состояние, особенно в сфере фантазий.

Актеры выходили и уходили. Зрители хлопали. Флора Робсон, простоватая, в простом черном платье, прочла стихи самой королевы:

Как тень моя, всегда любовь со мной.

Играет в прятки, в руки не идет…[7]

Потом читала воспоминания о пышной коронации Елизаветы, о ее необычайной щедрости к простому народу. Читала ее речь, обращенную к солдатам в Тилбери…[8]

В тихой глубине души Александр был тронут. Фредерика — отнюдь. Подача Робсон была чересчур мягкой и женственной. Жесткие контрасты в духе Петрарки она облекала в текучий голос с викторианской тоскливой ноткой. И этот голос, богатый, молящий, правдивый, дрогнул на самой известной и яростной фразе: «Пускай тело мое — тело слабой женщины, но сердцем и нутром я — король». Она тут целиком женщина, раздраженно подумала Фредерика, самая заурядная женщина в кухонной перспективе. Домохозяйка в парче. Такую королеву без регалий не отличить от актрисы. Тут великая проза, страстный, яростный ритм — а Робсон изображает «человеческую интонацию» и «естественное течение речи». «Я не так привязана к жизни, чтоб жаждать ее продолжения, и не вижу в смерти достаточной беды,

---

[7] Примечания: 7

Перев. А. А. Петровой.

[8] Примечания: 8

Знаменитая речь 1588 г., призванная поднять боевой дух солдат во время Англо-испанской войны.

чтоб ее страшиться, но как знать: если Смерть занесет надо мною руку, может, кровь и плоть моя воспротивятся и пожелают ее избегнуть…» Фредерика задумалась: как произносились все эти речи? С той же совершенной звучностью, что представляется ей? Или с волнением, с паузами, с запинками? Может, потом, на бумаге, их дополняли и шлифовали для потомков, в числе которых и сама Фредерика?

Какие-то актер и актриса дуэтом прочли неизвестное Фредерике стихотворение: «Песнь Ее Величества Королевы и Веселого Английского края»:

Приди ко мне, милая Бесси,
Спеши ко мне через ручей!
Я тебя обниму и женой назову,
Драгоценной супругой своей…

И еще потом:

Наследница моя,
Тобой пленился я —
Английский край веселый…

Память словно дернула ее за рукав: «Спеши ко мне, милая Бесси, спеши ко мне через ручей»… Фредерика мгновенно оживилась. Когда актеры

дочитали, она, в свою очередь, дернула за рукав Александра:

— Это же «Лир»! Лир судит отсутствующую дочь за предательство, и Эдгар говорит: «Плыви ко мне, Бесси, через ручей»[9]. А Шут отвечает:

Но есть в лодчонке течь.
Завесть об этом речь
Нет смелости у ней[10].

Я в сносках всегда читала, что это про сифилис. Это ведь было опасно — вписать «ручей» в стихи о королеве?! Кощунство или вроде того?

— Вещь написана под конец ее правления. Все боялись, что страну разорвут на части — как Лир разделил свою. Упадок монаршей мощи и Веселой Англии.

— Она архивариусу Тауэра сказала: «Я сама — Ричард Второй». Свергнутый Ричард, понимаешь?

— Понимаю.

— Естественно, это же есть в твоей пьесе. Я, наверно, оттуда и знаю эту фразу.

---

[9] Примечания: 9
Слова из известной народной песенки.

[10] Примечания: 10
Перев. Б. Л. Пастернака.

— Наверное, — сказал Александр, охваченный невыносимой грустью. Лучше бы он никогда не писал этой пьесы. Сейчас пред лицом королевы на полотне он был как мужчина, неудачно посягнувший на женщину: никакие иные отношения с ней были для него невозможны.

— Если бы я мог написать ее заново, то сделал бы все совсем по-другому.

— Так напиши, кто тебе мешает?

— Ну нет.

Время для Александра было исключительно линейно. Счастливые случаи не повторялись, они возникали и исчезали навсегда. Он думал порой, что приемами более современными, более опосредованными можно было бы дать Деву, сад, сегодняшний день и Англию, избежав как лишних сантиментов, так и резкой иронии. Но пробовать не собирался.

— А тогда пьеса была хороша. В начале. Мы все пели, танцевали… Забавно: сейчас пятидесятые считают пустым временем, ненастоящим. А мы тогда жили, и время было довольно славное: пьеса, коронация и все прочее…

— Обманувшая заря, — сказал Александр.

— Другой у нас не было. У меня, во всяком случае. Было то, что было.

— Мне пора, — вдруг заторопился Дэниел.

Фредерика и Александр расстроенно повернулись к нему:

— Ты мог бы предупредить.

— Тебе хотя бы понравилось? Что скажешь?

— Ничего, потому что, признаться, почти ничего не слышал. Так забегался, что как сел, так и задремал. Извините. Мне сейчас бежать надо, с одной женщиной повидаться.

У женщины, к которой спешил Дэниел, сын попал в автокатастрофу. Он был красивый мальчик, а стал ходячей оболочкой красивого мальчика, восковой куклой, попеременно одержимой то вопящим демоном, примитивным духом, способным есть, спать и иметь эрекцию. Отец не выдержал и ушел из семьи. А мать — у матери раньше была школа, где ее ценили как учителя, хорошие подруги, миловидная внешность. Все это ушло — только страх остался, злость, чудовищная усталость. Она ни на минуту не оставляла своего мальчика (или то, что теперь было им). Она подала в суд за понесенный ущерб и теперь хотела, чтобы Дэниел пошел с ней, потому что, если кто-то над ее мальчиком посмеется, она может убить. Дэниел согласился: действительно, му́ка ведь в судебном коридоре бесконечно

ждать своей очереди. И в Галерею-то он пришел, чтобы послушать кого-то другого, прежде чем мать режущим голосом снова заведет о своей беде, прерываемая лошадиным фырканьем сына. Послушать не удалось. Он помотал головой и повторил, что ему пора.

Вышли вместе в дружеском молчании. Дэниел, повернувшись к Александру, с трудом выжал из себя:

— А мне твоя пьеса больше нравится.

— О чем ты? Не надо, — отвечал Александр, тоскуя о неповторимости времени и искусства.

Коротким путем дошли до площади Пиккадилли, где Купидон, замерев на одной ножке, метил стрелой поверх наркоманов, сидящих у его постамента или бредущих невесть куда сутуло и криво. Дэниел вдруг объявил, что ему в метро.

— А ты не уходи, — сказала Фредерика Александру. — Выпьем где-нибудь чаю.

Дэниел стал медленно спускаться в теплую и пахучую темноту.

— Пойдем в «Фортнум и Мейсон»?[11] — предложила Фредерика. — Это будет забавно.

Он хотел отказаться, но согласился.

---

[11] Примечания: 11

Фешенебельный магазин чая и сластей на улице Пиккадилли, имеющий собственный чайный салон.

Часть I
Робкая добродетель[12]

[12] Примечания: 12

Робкая добродетель — отсылка к фразе из полемического трактата Джона Мильтона (1608–1674) «Ареопагика», в защиту свободы слова: «Я не воздам хвалы робкой, монашеской добродетели, которая боится испытаний».

1. В Дальнем поле

В 1952 году мир Александра Уэддерберна сотрясали события прошлых веков. Собственно, когда Георг VI умер, пьеса была уже в основном закончена. Впоследствии Александру нередко приходилось прочерчивать в сознании окружающих эту хронологию: выбор темы и кончина монарха. Пьесу часто принимали за сценарий любительского спектакля, заказанный для Празднества искусств по случаю передачи Лонг-Ройстон-Холла тогда еще недовоплощенному Северо-Йоркширскому университету. Само Празднество, конечно, должно было влиться в череду самодеятельных увеселений в парках и садах по случаю коронации Елизаветы II. Воистину, если бы пьесы не было, ее бы стоило изобрести. Но пьеса, по счастью, была.

Все началось с его безобидной одержимости модернизацией языка и стихотворной драмы в частности. Тогда это носилось в воздухе. Был

Элиот[13], был Фрай[14]. На последнем курсе Оксфорда Александр решил, что всему виной Шекспир. Он был так несоразмерно велик, что после него почти невозможно стало писать хорошие пьесы. Драматург либо принципиально модернизирует текст и весь уходит в принцип, либо помимо воли производит водянистые, шекспирообразные вирши. Александра осенило пойти на Шекспира в лоб: написать историческую драму, как у него, но современным стихом и таким образом дать без уловок и время, и место, и самого Шекспира. Позже, по причинам как личным, так и эстетическим, он оставил Шекспира и занялся королевой Елизаветой Тюдор. Ему хотелось живого, пульсирующего реализма, и он немало помучился в тех местах, где пьеса естественным образом сворачивала к стилистическим фокусам и пародии. Он работал приступами и провел несколько лет в любовных литературных раскопках и формальных экспериментах, в наитиях

---

[13] Примечания: 13

Томас Стернз Элиот (1888–1965) — британский поэт, драматург и критик. Создал целый ряд пьес в стихах, горячо интересовался драмой елизаветинской поры.

[14] Примечания: 14

Кристофер Фрай (1907–2005) — британский поэт и драматург, известный благодаря историческим пьесам в стихах и, в частности, пьесе «Она не должна быть сожжена».

и унынiях. Он был тогда младшим учителем английского в средней школе Блесфорд-Райд, что в Северном райдинге Йоркшира. И вот однажды, почти ненароком, надзирая за мальчишками на экзамене по биологии и одновременно подправляя что-то в пьесе, он вдруг понял, что она окончена, что она — подошла к концу. Больше он ничего в ней сделать не мог. И не знал, как быть дальше без надежды, без одержимости, без прозрачных стен, где среди певучих ритмов и живых абрисов жил и двигался он сам. Он запер пьесу в стол, дал отлежаться месяц — тот самый, когда умер король, — и отнес ее Мэтью Кроу.

Смерть короля отозвалась в нем тягостно — отчасти из-за окончания пьесы. Тут было и чувство потери, и собственная неприкаянность. Он свозил мальчиков из срединных классов в городок Калверли послушать, как глашатай прокричит с соборных ступеней о восшествии на престол Елизаветы II. «Король умер, да здравствует королева!» Труба пропела тонко и чисто. Мальчики с торжественными лицами толклись на месте, ожидая прилива каких-то чувств. Эта смерть ставила точку под первой главой их жизни, коротенькой главой, которая должна была казаться им вечностью: продуктовые карточки, конец

войны, скупая целесообразность послевоенного быта. Александр вспоминал короля. Вот кинохроника, где Георг VI осматривает разбомбленные кварталы, трогает обломки. Вот его бестелесный голос по радио: мы объявляем войну — взволнованный, пасторский голос. Александр думал, что целая нация силится сейчас представить человека, которого знали все, мертвым и одиноким на ложе смерти. Силится и не может. Но в конце концов, для того и нужны короли. Личная скорбь Александра была нелепа и неподдельна.

Мэтью Кроу в буквальном смысле утвердил пьесу на местной почве, овеществил ее хрупкие контуры, возвел в ранг творческого явления и своего подопечного начинания. Ему принадлежал особняк Лонг-Ройстон, архитектурный родственник Хардвик-Холла, что дальше к северу, только без гигантских окон и грузных башен. Лонг-Ройстон был равно призван служить обиталищем династии Кроу и поражать воображение ближнего, но ударение ставилось все же на обитании. Александр и без того уже был в долгу перед Кроу, прирожденным импресарио и меценатом. Благодаря связям Кроу его первая пьеса «Бродячие актеры» некоторое время шла на подмостках лондонского Театра искусств. Впрочем,

с недавних пор Александр несколько стеснялся своего первенца: обратясь на путь радикального реализма, он укрепился в мысли, что пьесы о пьесах и актерах — знак увядания театрального искусства. Кроме того, за пределами школы Кроу единственный обеспечивал ему некое подобие интеллектуальной и светской жизни. Кроу истово верил во все местное: культуру, патриотизм, таланты. В молодости он пробовал себя как режиссер в Вест-Энде, но вскоре вернулся восвояси и занялся устройством фестивалей и любительских постановок в церквях, частных концертных и пустых амбарах. Он говорил, что предпочитает быть первым в деревне, и был таковым. Он был очень богат и редко наезжал в Лондон.

Прочитав пьесу, он пригласил Александра отобедать и выказал бурный энтузиазм по поводу его творения. Позже, когда они перешли в кабинет и устроились у камина, Кроу за кофе и бренди поведал ему несколько тайн местной дипломатии и вообще слегка разоткровенничался. Кроу обожал дипломатию, тайны и откровения. Подавшись к огню из объятий высокого сафьянового кресла, он с восторгом раскрыл перед Александром внутренние пружины влиятельных организаций, трудившихся над созданием Нового универси-

тета. Во-первых, было сильнейшее Движение за образование для взрослых — от него исходила основная идея. Были два колледжа: богословский Святого Чеда и женский педагогический Святой Хильды, которым предстояло слиться в университет. Был, наконец, Кембридж, заложивший основы удаленного обучения для взрослых. Интимно понизив голос, Кроу говорил о епископе, о министре, о некоем человеке из министерства финансов, об ультиматумах и компромиссах, но Александр, не одаренный чутьем политика, часто не мог по достоинству оценить тот или иной гроссмейстерский маневр, умную уступку, гениально высчитанный момент. Кроу описывал долгий процесс составления учебной программы, попытки придать всему сугубо местный колорит и направленность на взрослую аудиторию. Предполагалось, что, подобно Кильскому университету, основанному недавно и пока единственному в своем роде, Новый университет будет специальные курсы предварять курсами общей тематики, дабы формировать, по образцам Возрождения, всесторонне развитого человека. Говорил Кроу и о собственной тонко разыгранной роли: выждав минуту, когда стороны зашли в тупик, он объявил, что Лонг-Ройстон — и дом, и

землю — передает университету на том условии, что и впредь будет жить там в своем углу.

Время было выбрано как нельзя удачно: прошение на высочайшее имя, объявление о щедром даре Кроу, и в ответ — королевская грамота об учреждении университета… Все это сойдется в зените в год коронации и будет отмечено постановкой пьесы Александра, которая тоже пришлась исключительно кстати. Представьте: летний вечер и Елизавета Тюдор на Большой террасе в парке Лонг-Ройстона… Пьеса весь Йоркшир призовет к оружию… в том смысле, что даст людям работу и откроет путь к творчеству. Понадобится ведь целая армия, тысячи человек: актеры, музыканты, рабочие сцены, художники по костюмам, костюмерши — всё, естественно, местные дарования.

— Моя пьеса не сценарий для самодеятельности, — сказал Александр.

Разумеется, нет. Пьеса — произведение искусства и, при некоторой доле удачи, получит достойное воплощение. Кроу как местный деятель будет тут в своей среде, и Александр в этом вполне убедится.

Бурный характер местной деятельности поначалу ошеломил Александра. В самом скором

времени он был снова призван в Лонг-Ройстон и представлен организационному комитету Празднества. Комитет составляли: епископский капеллан, человек из министерства финансов, мисс Мотт с курсов удаленного обучения, мистер Баркер из городского совета Калверли, сам Кроу, разумеется, и Бенджамин Лодж, лондонский режиссер. Пьеса за это время успела еще оплотниться и размножиться: каждый из присутствующих имел собственную копию. Каждый поздравил его с талантливой и своевременной вещью. Надо всем благожелательно царил Кроу. Комитет обсуждал даты, затраты, рекламу, сопутствующие мероприятия, распределение ролей, вопросы санитарии. Александр так и не уловил, кто и на каком этапе решил, что пьеса будет поставлена. К тому же его смутно тревожило присутствие Лоджа, пару раз обронившего слово «самодеятельность» и сказавшего, что текст придется сократить. Кроу, почуявший напряжение, задержал обоих, налил им виски и под сурдинку выцедил из Лоджа несколько комплиментов пьесе и ее языку, а из Александра — похвалу беспощадно минималистской постановке Вейк-

филдских мистерий[15], которые Александр видел и действительно высоко оценил. Лодж был дороден и молчалив. У него был чудовищный, горчичного цвета свитер и черные волосы, чье оскудение, как часто бывает, восполняла огромная пышная борода. Кроу же в свои шестьдесят имел пунцовое херувимское личико с налетом мальчишеской недовершенности, большие бледно-голубые глаза, чувственный изгибистый ротик, а на голове легкий серебряный пух вокруг пролысинки. Годы слегка округлили его, но не до тучности. Пока Лодж и Александр еще лучились довольством, происходившим как от дивного виски, так и от сознания собственной небесполезности, Кроу подхватил Александра и умчал, обещая доставить домой в Блесфорд-Райд.

Кроу довольно резво гнал свой старинный «бентли»: мелькали домики, ограды сухой кладки, кочковатые поля, край пустоши. Вниз, в Блесфордский дол, вверх к школе по длинной подъездной дороге, обсаженной липами. У красной готической арки Кроу затормозил:

— Что ж, вы можете быть довольны и сегодняшним днем, и собой вообще.

---

[15] Примечания: 15
Средневековый цикл мистерий на библейские темы.

— Да-да, конечно. Я надеюсь только, что и вы довольны. Не знаю, как вас благ…

— Вы, я вижу, тревожитесь из-за Бена. Не стоит. До самодеятельности он не опустится. Во-первых, я не позволю, а во-вторых, он далеко не дурак. Просто любит внести нечто свое. Поворошить немного текст, чтобы чувствовалась его рука. Вы это, конечно, заметили. Но я присмотрю, чтобы он не расходился. В этом не сомневайтесь. Да и сами посматривайте. Отпустят вас на время с этих галер? — Кроу кивнул в сторону нелепо угрюмой арки. — Злосчастный каприз моего предка… Долго вы планируете тут оставаться?

— Пока не знаю. Я люблю преподавание. Но соблазнительно, конечно, писать не урывками, а постоянно…

— Так найдите себе первоклассную школу. С первоклассным руководителем направления. Тогда будет время писать. Билл человек выдающийся, но совершенно невозможный.

— О, я хорошо лажу с людьми. К тому же Билл — в своем роде тоже первоклассный человек. У нас отличные отношения.

— Вы меня изумляете. И что же он, по-вашему, скажет на эту затею с пьесой?

— Боюсь помыслить. Стихотворную драму он

не жалует.

— Как и меня, — подхватил Кроу, — как и меня, уверяю вас. Как, говорят, и университет, по крайней мере, в нынешнем замысле.

— Я с ним поговорю.

— Вы отчаянный человек.

— Но ведь нужно же сказать?

— Я бы не стал. Я бы просто уволился. Впрочем, вы другой. Ну что ж, удачи.

«Бентли» круто развернулся, брызнув гравием. Александр, до сих пор в легком тумане от событий стремительного дня, побрел к школе.

Школа стояла покоем, с трех сторон обжимая лужайку грузными краснокирпичными галереями. Даже стрельчатым аркам придана тут была несвойственная приземистость. В арках обитал неоготический каменный народец, с похвальным беспристрастием завербованный из некоего универсального пантеона: Аполлон, Дионис и Афина Паллада, Изида с Озирисом, Бальдр с Тором, рогатый Моисей, король Артур, святой Кутберт, Амита Будда и Уильям Шекспир.

Блесфорд-Райд была школа частная, прогрессивная и чуждая дискриминации. Ее основал в 1880 году Мэтью Кроу, прапрадед Кроу нынешнего, разбогатевший на сермяге и приобретший

значительную для дилетанта репутацию знатока мифологии. Школа нужна была преимущественно для того, чтобы его шестеро сыновей обучались вне дома, но и вне соприкосновения с христианством в его расхожем виде. В основу школьного устава был положен агностицизм. Отдельной статьей запрещено было устройство «часовен, молелен, комнат для уединения и других религиозных помещений». Галереи и пантеон не считались, они были — Искусство. При жизни Кроу-основателя школа ненадолго полыхнула огнем беспримесной причуды. Возможно, именно поэтому двое его сыновей стали священниками, а один — начальником тюрьмы. Из оставшихся трех первый унаследовал сермяжное дело, второй сперва был учителем классических языков в той же школе, а потом архивариусом, председателем Блесфордского историко-топографического общества. Третий умер рано. Мэтью Кроу, обучавшийся в Итоне и Оксфорде, происходил от архивариуса, чей брат-промышленник не оставил потомства.

Блесфорд-Райд никогда не была особенно популярна. Она стояла несколько на отшибе, среди вересковых пустошей Йоркшира. Поблизости ничего не было, кроме соборного городка Кал-

верли, — не столь отполированный, как Йорк, и не столь картинно самобытный, как Дарем, он проигрывал обоим. В исторической перспективе школе, если можно так выразиться, не хватало чутья: изрядно почудив в пору всеобщего англиканского конформизма, она — ввиду оскудения бюджета и смягчения направляющей руки — взялась осторожничать, именно когда чудачества могли бы придать ей определенный шарм. Теперь ее советовали тем, кто не хотел отдавать сыновей в военное училище; кому претило, что в частных школах младшие по обычаю получают тычки от старших; на кого в робком детстве повеяло жженой плотью со страниц «Тома Брауна»[16]; кто с легкой насмешкой отзывался о Флаге и Империи или, наконец, попросту жил неподалеку. Ее же выбирали те, кого отвращала неопрятность быта, сандалии на босу ногу, сигареты, выпивка, половая распущенность и навязчивое половое просвещение, принцип вседозволенности и интеллигентская заумь. По этой причине школу в основном наполняли мальчики среднего сословия, чьи бережливые и благоразумные родители

[16] Примечания: 16

Отсылка к книге Томаса Хьюза (1822–1886) «Школьные годы Тома Брауна». Шайка школьных хулиганов травит Тома, из-за чего он получает ожоги от костра.

понадеялись, что чада одолеют вступительные испытания, и потому не отдали их на растерзание вопиящим ордам государственной средней школы.

В школе были стипендии для нехристианских меньшинств: евреев, эпилептиков, сирот, способных мальчиков из рабочих и многодетных семей. Теоретически ею управлял парламент из учеников и учителей, который избирался по сложному принципу пропорционального представительства, выведенному одним из последних директоров. Учителя делились на три категории. Первую составляли блестящие юноши, которые приходили в чаянии академической и нравственной свободы, но вскоре направляли стопы в журналистику или школы более либеральные и престижные. Вторую — блестящие юноши, которые приходили, невесть почему оставались и начинали неприметно стареть. Третью составлял Билл Поттер, прослуживший в Блесфорд-Райд без малого двадцать лет. В целом это была обычная либеральная школа, ставшая всем для всех[17] без крайностей и потуг на большее.

Билл Поттер заведовал направлением англий-

[17] Примечания: 17

Отсылка к Первому посланию Коринфянам (9: 22). «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых».

ского языка и был непосредственным начальником Александра. По общему мнению, это был первосортный учитель, дьявольски увлеченный, несгибаемый и свирепый. Билла уважали отборочные комиссии вузов и боялся собственный директор. Ему предлагали квартиру в одном из нарядных школьных корпусов, но это значило бы присматривать за живущими там мальчиками, а Билл согласен был только учить. Поэтому он до сих пор жил в краснокирпичном домике, куда некогда привел молодую жену. Целая череда таких домиков, поделенных вертикально на два жилища, была построена для семейных педагогов и стояла одиноко на краю самого удаленного поля для регби, справедливо звавшегося Дальним полем. Само же поселение получило имя Учительской улочки.

Александр не без опасений решил отправиться к Биллу.

Билл во многих отношениях воплощал в себе исходный бунтовской дух Блесфорд-Райд. Он громогласно придерживался увесистых принципов агностической морали Генри Сиджвика[18],

[18] Примечания: 18

Генри Сиджвик (1838–1900) — британский философ и экономист, уроженец Йоркшира. Сторонник утилитаризма, немало сделал для развития женского образования.

Джордж Элиот[19] и первого Кроу. Он одержимо творил вокруг себя жизнь по Рёскину и Моррису[20]. С суровым уважением относился к настоящим рабочим, их жизни и интересам, что сближало его скорее с Тоуни[21] времен его учительства в гончарном Сток-он-Тренте. Его энергия во многом питала скромную культурную жизнь округи, какой она была в 1953 году. Билл читал лекции для взрослых заочников, которые съезжались к нему издалека, в любую погоду, в фургонах и междугородних автобусах, из деревушек, разбросанных по пустошам, из курортных местечек, из городков ткацких и сталелитейных. Билл не дал расточиться Литературно-философскому обществу Калверли, сиречь Литфилу. Под его влиянием люди создавали что-то свое, настоящее и долговечное. Члены Литфила инсценировали

---

[19] Примечания: 19

Джордж Элиот — псевдоним британской писательницы Мэри Энн Эванс (1819–1880), выросшей в религиозной семье, но со временем порвавшей с Церковью.

[20] Примечания: 20

Джон Рёскин (1819–1900), *Уильям Моррис* (1834–1886) — британские литераторы и общественные деятели, в разной степени разделявшие социалистические идеи.

[21] Примечания: 21

Ричард Генри Тоуни (1880–1962) — британский историк, экономист, христианский социалист. Сторонник дополнительного образования для взрослых.

и сыграли серию лоуренсовских сказок[22], и во всем чувствовалась рука Билла, его сумрачная одержимость совершенством, род мании. За годы лекторства Билл составил собрание работ своих заочников, посвященное местной культуре и литературе. Один учитель пения, например, написал исследование по играм-рифмушкам. Самодеятельная художница, в климаксе пережившая нервный срыв и ненадолго попавшая в психиатрическую клинику Маунт-Плезант, изучила рисунки тамошних больных. Были вполне академичные эссе, например, об источниках, на которые опиралась Э. Гаскелл[23] при работе над «Поклонниками Сильвии». Были любительские, но далеко не дилетантские исследования местных речевых моделей, были продуманные интервью с писателями, жившими и работавшими на севере Англии, — и за всем этим стояли здешние лавочники, учителя, домохозяйки. Билл умел отдельные работы, робкие и ученические,

---

[22] Примечания: 22

Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) — британский писатель и поэт, враг буржуазной морали, проповедник свободы в любви. Автор романов «Любовник леди Чаттерли», «Влюбленные женщины», «Сыновья и любовники», «Радуга».

[23] Примечания: 23

Элизабет Гаскелл (1810–1865) — британская писательница, нередко обращавшаяся к социальным темам.

возвысить до Работы с большой буквы, умел придать собственное лицо им и сообществу, их создавшему. Он был непреклонный деспот и умный слушатель. По его намекам косноязычная рассказчица понимала, как повернуть свои топорные фразы, чтобы сквозь них проглянул притягательно-самобытный стиль. Все это — не забывая о блесфордских мальчишках, которых он гнал от экзамена к экзамену, тираня, язвя, вытягивая в полную меру роста.

Когда в Блесфорд приехал Александр, Билл попытался, без особого, впрочем, жара, втянуть его в свою местную работу. Но Александр, неплохо справлявшийся с мальчишками, гораздо хуже находил общий язык со взрослыми. Кроме того, он уже тогда ощущал себя зародышем большого столичного писателя и, мешая спесь со скромностью, полагал, что ничем не сможет помочь этим совместным, провинциальным, любительским потугам. Стоит заметить, что, даже имей он такое желание, ему пришлось бы нелегко, поскольку его понятия о литературе сильно отличались от понятий Билла. Билл же на удивление спокойно воспринял его безучастие: он не умел делиться ни властью, ни работой, а Александр — в первую очередь поэт — не жаждал ни того ни другого.

Билл вызывал фанатическую преданность у большинства хороших учеников и у пары-тройки плохих вдобавок. Александр, несмотря на редкую красоту и любовь к предмету, ничего подобного не удостаивался. Он был неподдельно скромен и прост, и, возможно, именно поэтому Билл его в конечном итоге принял.

И все же, шагая сейчас к нему с вестью о пьесе и Празднестве, Александр не питал надежд на теплый прием. Главным пунктом тут был Кроу, его участие. Признавая созидательную энергию Билла, Кроу с его врожденным обаянием периодически пытался ввести его в свой круг и однажды — весьма неожиданно — преуспел. В 1951 году они поставили с Литфилом «Трехгрошовую оперу» Брехта, причем оба поняли, что их таланты друг друга дополняют: к классовой ярости Билла, к его бережности с исходным текстом и умению работать с людьми Кроу добавил интеллектуального блеска, ритма, колорита, да еще обеспечил первосортное музыкальное сопровождение. И все же, как показалось тогда Александру, Билл, наверное, предпочел бы представление более непосредственное и неуклюже-домашнее, более подходящее к стенам зала собраний при блесфордской церкви. Билл был пурист в хорошем

и в плохом значении этого слова и к тому же испытывал к Кроу глубинное, почти животное неприятие. Александр далеко не сразу осознал: все, что притягивало его к Кроу, — воспитание, деньги, виски, сафьяновый кабинет — автоматически и навсегда отталкивало Билла Поттера, как иных отталкивает черная кожа или грубый акцент. Ясно было, что Билл не придет в восторг от культурных прожектов местного мецената.

И все же, когда в сумерках Александр шел мимо школы, его захватила одинокая, с утра еще ждавшая радость. За садами, разбитыми перед зданием, за длинными теплицами, что со временем наполнятся вкусными и необременительными для бюджета помидорами, была тяжелая, в заклепках, дверь. За дверью начинался длинный и мшистый ход меж двух высоких стен. Ход упирался в пеший мост над железной дорогой, а дальше было Дальнее поле. За левой стеной, блестевшей поверху вделанными в цемент осколками: водянисто-прозрачными, льдяно-голубыми, бутылочно-зелеными, — лежал Учительский сад. Внутри этот запретный сад был квадратен, опрятен и скучен. В нем рос довольно скромный кедр, а в дальнем конце обложенный камнем бугор украшался солнечными

часами. Все вместе напоминало военные мемориалы, куда массово вывозят стариков погреться на солнышке. Прошлым летом Александр сыграл здесь героя-любовника в учительской постановке «Она не должна быть сожжена» — умеренный декаданс по местным меркам. Теперь казалось, что это было очень давно.

Он ступил на чугун моста. Из-под него выбегала железная дорога, окаймляя поле и заодно щедрым изгибом проводя линию горизонта. Вдоль насыпи тянулась изгородь из толстой стальной рабицы. Поезда, пролетая на юг и на север, обдавали пышным паром Дальнее поле, поделенное на игровые поля, и немногие рододендроны насыпи. На мальчишек, копошившихся у прыжковых ям, оседали тучи мелкой, жаркой, кусачей сажи, жирно мазавшей листву и лица.

Александр остановился, положив руки на перила. Он был просто и беспримесно счастлив. Он был довершен. Мелькнула странная мысль: его разум развит вполне, хватит на все, что ждет впереди. Это было как-то связано с тем, что пьеса получила отдельное от него существование, и он, хоть и разлученный с ней, был свободен. В этих огражденных полях и учебных зданиях он привык видеть лишь подробности своего заточе-

ния. Поначалу в письмах к оксфордским друзьям он высмеивал школу: убожество вида и обихода, северную узость и бескрылость умов. Потом испугался и перестал. Показалось, что писать о школе — значит уже признавать ее замыкающее влияние. Порой он говорил кому-нибудь в Блесфорд-Райд, что пишет пьесу, слышал в ответ «как интересно…» или «о чем?» и чувствовал, что все это блажь, умозрение, головная горячка. Но теперь его пьесу держали в руках, размножали, читали. Пьеса отделилась от него, а он отделился от школы. И в новом качестве мог позволить себе — со стороны — благожелательный интерес. На поле, припорошенное сажей, смотрел с горделивым удовольствием: вот поле, оно таково, и я его вижу.

Меркнущий вечер сгустил тени и контуры, погасил остатки цвета в грязной траве. Мост задрожал, загудел, возвещая приближение поезда. Александр с тем же блаженным любопытством уставился ему навстречу. Вот он, темный и извивистый, сперва мчит в лоб, потом подныривает под мост, колотит колесами, мелькает поршнями, плюет в Александра искрами, кутает едким паром и, наконец, гремя улетает туда, где отныне угадывается вполне достоверная даль.

Потом Александр сошел вниз. Под ногами еще подрагивало: казалось, поезд, словно корабль, оставляет в земле бурлящий след. Длинные полосы пара расползались прорехами, таяли по краям, исчезая в серости, которая вскоре станет темнотой. Возле Уродского прудика виднелась какая-то фигура.

Природоведческий пруд с самого начала прозвали Уродоведческим или, короче, Уродским прудиком. Вырытый еще в дни основания школы, он пребывал в забросе и медленно загнивал. Круглый, в обводе из камней, он плоско лежал под насыпью, являя миру пару кувшинок, ряску и шаткую каменную плиту, на которой лягушата отдыхали от финальной пермутации. Сверху у него была шелковистая черная гладь, а глубину узнать было трудно, потому что дно покрывал жидкий аспидный ил. Раньше мальчики разводили тут разную водяную живность, но теперь для этого существовала хорошо оборудованная полевая станция дальше к северу, на вересковых пустошах. Ходили неподтвержденные слухи, что в Уродском прудике полно пиявок, обильно плодившихся в нем искони. Никто не согласился бы опустить в него ногу из страха, что полумифические твари присосутся к лодыжке.

Темная фигура у прудика, неловко согнувшись, мешала в нем длинной палкой. Подойдя ближе, Александр узнал Маркуса Поттера.

Маркус был младшим ребенком Билла и единственным его сыном. Он учился в школе бесплатно и через два года должен был держать экзамен на аттестат А[24]. Маркуса толком не знал никто. Учителя старались относиться к нему «нормально». На практике это означало, что его никогда не выделяли из прочих и по возможности предоставляли самому себе. Обращаясь к Маркусу, Александр порой ловил себя на какой-то неестественно бесцветной интонации и знал, что он такой не один. Впрочем, это могло быть и потому, что, в противоположность отцу, Маркус был неестественно бесцветным существом.

Билл явно считал, что его сын исключительно одарен. Зримых доказательств тому было немного. По трем своим профильным предметам, географии, истории и экономике, Маркус имел оценку «удовлетворительно». Отмечали, что он учится без охоты. «Удовлетворительно» — категория, простирающаяся от успехов почти хороших до почти отсутствующих. У Александра,

---

[24] Примечания: 24
Аттестат с правом поступления в высшее учебное заведение.

например, младший Поттер регулярно бросал фразы на середине и очень удивлялся, когда ему на это указывали. В классе он был напряжен и молчалив. Александр думал, что он, возможно, из тех учеников, кто, стремясь сохранить внимание, от усилий впадает в столбняк и уже ничего не слышит.

И все же в детстве Маркус имел дар: он мог с жутковатой легкостью складывать, вычитать, перемножать в уме любые числа. Тогда же выяснилось, что он обладает абсолютным слухом. В четырнадцать лет математический дар необъяснимо иссяк. Слух остался, но музыка мало привлекала Маркуса. Он, правда, пел в хоре и играл на альте — безошибочно и безжизненно. Коллеги знали, что немузыкальный Билл трогательно гордится талантами сына, упорно провидя в них нечто, что в свою пору даст плоды еще богаче тех, к каким более торным путем пришли две его старшие дочери.

В свое время Александр пережил краткий период острого интереса к Маркусу. Год назад он ставил школьного «Гамлета», в котором Маркус был Офелией — пронзительно, почти пугающе настоящей. В его игре было что-то от его же математики и музыки: он не изображал сущность

девушки, а излучал ее, транслировал откуда-то извне, словно медиум. Его Офелия была кроткой и отрешенной, с грацией почти механической. Когда же она обезумела, ее речи и песенки казались робкой, искалеченной пародией этих свойств. Он не смог сделать ее по-девичьи притягательной, зато сделал ранимой и достоверной телесно. Странной смеси нежного кокетства и откровенных намеков в ее устах он придал глуповатую оторопь неуверенности, незнания, как вести речь в такие минуты. Так, по мнению Александра, и следовало играть эту роль. По крайней мере, то был один из возможных путей. Эти чувства, эти повадки Маркус извлек из малейших намеков Александра. Впрочем, он всегда ждал какого-то направляющего влияния и ничего своего не добавил к роли, кроме тончайшего слуха на ритм языка, на взаимное движение строк. Александр знал: мальчики, еще не скованные пубертатом, отлично слышат режиссера и могут придать неосознанную глубину строкам, им непонятным. Но Маркус — Маркус достиг чего-то небывалого. Александр был глубоко тронут и, говоря по чести, испуган. Впрочем, в этом он был, кажется, одинок. До Маркуса никто не смог так просто и ясно показать: события пьесы сломили, уничтожили

невинное сознание девушки.

На всех трех представлениях в зале сидел сияющий Билл, гордый сыном и очередной победой. Теперь Александр надеялся, что тот разрешит задействовать Маркуса в грядущем спектакле — у него были кое-какие задумки. Дальше, если сложится удачно, маячила перспектива уловить в сети пьесы и самого Билла.

Тем временем в Дальнем поле Маркус упал на четвереньки и прильнул лицом к каменной рамке пруда. Александр взял в сторону, прокашлялся, зашелестел травой, обозначая свое присутствие. Мальчик вскочил, как на пружине, и замер, дрожа. На лице у него была грязь.

Маркус поправил дешевые круглые очки, съехавшие набок от его непонятного маневра. Он был мал не по возрасту, щуплый, с длинным бледным лицом, окруженным множеством тонких, мягких, золотисто-бесцветных волос. На нем были брюки из шерстяной фланели и линяло-синий твидовый тесный пиджачок.

— У тебя все хорошо? — спросил Александр.

Маркус молча глядел на него.

— А я иду к твоему отцу. Ты тоже домой?.. Маркус, у тебя все хорошо?

— Нет.

Что спросить дальше, Александр не знал.

— Все тряслось. Земля тряслась.

— Это поезд. Так всегда бывает.

— Нет, не так. Не важно. Теперь все нормально.

В Маркусе было все же что-то неприятное. Александр знал, что нужно бы расспросить его как следует, но не мог себя заставить.

— Теперь все нормально, — повторил мальчик, выбрав одну из своих самых почтительных и механических интонаций.

Александру вполне хватало проницательности, чтобы понять: эта фраза призвана его спровадить. Но ответил лишь: «Пойдем вместе?»

Маркус кивнул, и они в молчании двинулись к скромной череде огоньков на краю поля.

Маркус Поттер вырос на игровых полях. В каникулы он часто бывал их единственным обитателем. В младшем, еще не ходячем, детстве поля лежали окрест него. Потом он лежал в полях: в травянистых кочках и на голой земле, превращая их в Ипр и Пашендаль, воображая Сомму, траншеи, блиндажи, ничейную полосу[25].

Он играл тогда в одну игру. Это называлось

---

[25] Примечания: 25

Отсылка к событиям Первой мировой войны.

«рассеиваться». Начиналось с того, что он последовательно расширял свое поле зрения. Потом — некий трюк восприятия, и оказывалось, что он смотрит разом из четырех углов поля, с высоких стоек ворот, с ограды, увенчанной колючей проволокой. Он не охватывал взором предметы, не вмещал их в окоем. Он просто наблюдал их изо всех точек пространства — а может, ни из одной. С беззаконной одновременностью возникали перед ним барбарис *(berberis stenophylla)* слева внизу, пролысевшая глина в середине поля и Уродский прудик подальше справа.

Еще маленьким он достиг больших успехов в этой игре и еще маленьким потерял над ней власть. Бывали неизмеримые промежутки времени, когда Маркус не знал, где он и где исток его рассеянного сознания. Ему пришлось научиться находить свое тело: зацепляться сознанием за предметы, сужать внимание до какой-то одной ощутимой вещи. Вот полумесяц белой краски, засохнув, склеил бледную траву. Вот неярко выступил светлый прямоугольник крикетной площадки. Вот мягкий мрак прудика. Из этих точек можно было, как из далекого далека, высмотреть холодное скорченное тело и, если повезет, дотянуться до него сознанием.

Он рано понял, что геометрия — союзник. Она протягивала ему линии, открывала проходы там, где не могли помочь дернистые кочки и комья глины. Ломаные белые границы: это разметка зимних игр легла поверх летнего мела. Круги, параллели, недвижимые точки — ими измерена и сдержана бугрящаяся, текучая, неверная глина. Линии, по которым можно доползти до себя, спасительная картография.

Потом было несколько лет, когда он не играл и об игре не думал. А теперь снова вернулся к ней с какой-то новой жадностью, хоть никакого удовольствия не получал. Это было как онанизм: накатывало внезапно и особенно сильно, именно когда он твердо решал бросить, успокаивался и терял бдительность. Ну хорошо, один раз. Один раз, и быстро. И сразу жизнь заново.

Сегодня он надеялся пройти полем без происшествий. По линиям, по линиям до самого дома. Но внезапно пролетевший поезд выбил его из себя, и он не успел проделать зрительные и телесные маневры, необходимые для равновесия, а может, и выживания.

Теперь ему было мучительно холодно. Он почти ничего не помнил. После этого ему всегда бывало холодно.

Маркус шел, волоча ноги по траве, все еще пытаясь держаться белых линий.

Они прошли под белой планкой высоких ворот для регби — совсем маленьким он думал, что это прыжковые стойки для каких-то высших существ. Потом наконец открыли калитку и двинулись по садовой дорожке.

2. Во львином рву

Александр не раз слышал, что он желанный гость в доме Поттеров. Ну а уж если придется не ко времени или не ко двору, пусть будет уверен — ему по-свойски укажут на дверь. На дверь ему пока не указали, но и желанным гостем он не почувствовал себя ни разу. Ему все время казалось, что он прерывает некий семейственный ритуал неотложного и нутряного свойства. Он робел перед семействами и их обиталищами и потому бывал обостренно обходителен. Его собственная семья держала маленькую гостиницу в Веймуте. С детства он уходил и приходил когда вздумается, но зато никто не упрекал его, что он дом превратил в гостиницу. Гостиница и была домом.

Задняя дверь вела в кухню, а в кухне у раковины стояла Уинифред. Она раскрыла объятия Маркусу, который уклонился, и пригласила Александра поужинать: они как раз садятся, вполне хватит еще на одного человека. Наши в гостиной.

Под слоями фильдеперсовых чулок, серой шерстяной юбки, просторно обвисшего, в цветочках кухонного халата Уинифред устремлялась вверх без изгибов и выпуклостей и увенчана была

тяжелой короной седеющей пшеничной косы. Облик несколько смягчался ореолом секущихся волосков, светло и туманно реявшим вокруг головы. Уинифред походила на изможденную скандинавскую богиню кисти какого-нибудь викторианца, у нее был прямой датский нос и близко посаженные глаза, какие часто встречаются у жителей северного Йоркшира. В лице ее, как у многих местных, проглядывало критическое выражение, но голос всегда звучал примирительно — так, по крайней мере, помнилось Александру. А говорила она очень мало, с явственным йоркширским акцентом. Лишь спустя год после знакомства Александр узнал, что Уинифред закончила Лидский университет по специальности «английская филология».

Билл и его дочери сидели в молчании. Гостиная была как у большинства англичан — так думал Александр, хотя подобные видал крайне редко. Она была мала и заставлена не по размеру: диван и два кресла в ржаво-рыжем плюше, большая радиола модной обтекаемой формы, камин со скругленными углами, обложенный красно-бурой плиткой, ореховое бюро на хищных когтистых лапах (весьма разбавленный стиль Директории), два пуфа, два торшера, две группки

мелких столиков, убирающихся один под другой. В окна до полу виден был садик в обрамлении льняных штор с яковианскими индийскими кущами в оттенках яшмы, ржавчины и крови. Ковер, местами протертый, являл восточное древо, в кудрявых ветвях которого гнездились призрачные от старости птицы.

На радиоле в серебряных рамках стояли фотографии детей в возрасте примерно лет пяти. Девочки в бархатных платьицах с кружевным воротом хмуро держались за руки. Маркус одиноко парил в пространстве вне всякой связи с непомерным плюшевым медведем с глазами-бусинами.

— Александр! Вот сюрприз. Садитесь в кресло, — сказал Билл.

— Садитесь на полдивана, — вставила Фредерика, на диване полулежавшая. На ней была измятая бело-бордовая форма блесфордской средней школы для девочек, пальцы — в чернилах, гольфы не первой свежести.

Александр сел в кресло.

Билл повернулся к сыну:

— Как контрольная по истории?

— Пятьдесят два.

— Какое место занял?

— Не знаю. Восьмое или девятое.

— Ну это, конечно, не основной твой предмет.

— Нет.

— Покажи ему котят, — резко сказала Фредерика сестре.

Стефани, округло угнездившаяся у маленького столика с кипой тетрадок, выпрямилась и потянулась. Она была светла и мягка, с полной грудью, изящными ногами и шапочкой золотистых волос, пожалуй слишком туго завитых. Получив в Кембридже диплом с отличием по двум дисциплинам, она вернулась домой и теперь преподавала в своей бывшей школе — той же Блесфордской средней.

— Моя дочь Стефани, — произнес Билл, — страдает самаритянской манией. И все мы страдаем вместе с ней. Она любит спасать живое. И полуживое тоже, и желательно вопреки разуму. В данном случае как-то особенно вопреки. Стефани, они там умерли наконец?

— Нет. Если продержатся ночь, возможно, выживут.

— И ты намерена всю ночь над ними просидеть?

— Да.

— Можно я посмотрю? — очень вежливо спросил Александр, хотя предпочел бы, разумеется, не

смотреть. Стефани чуть придвинула к нему большую коробку, стоявшую у ее кресла. Он быстро нагнулся, и волосы их соприкоснулись. Ее — пахли живым и чистым. Стефани была, казалось, всегда одна и та же: ровно-приветливая, бережливая на слова и движения, наводящая умственную и физическую ленцу, порой успокоительную, а порой раздражающую.

В коробке было трое недоношенных котят. Их раздутые головки качались на тонких шеях, нюхали, терлись, слабо стукались одна о другую. Глаза были запечатаны темно-жёлтой коркой. Порой один из них разевал розовый ротик, где виднелись тонкие, как рыбьи косточки, зубы. У них были ящеричьи тельца, влажные, с влажным лоском и крошечными, бессильными, безволосыми лапками.

Стефани взяла одного, и он зародышем свернулся у нее в ладони.

— Я их глажу фланелькой для тепла, — сказала она своим мягким голосом, — и кормлю из пипетки, очень часто.

Она взяла пипетку из блюдечка на камине, мизинцем разжала беспомощные челюсти — жест был почти жестокий — и выдавила в ротик немного молока:

— Но они могут захлебнуться так, вот в чем беда.

Крошечное существо брызнуло молоком, тихонько срыгнуло и погрузилось в полусон.

— Ну вот, проглотил.

— Где вы их нашли?

— У викария умерла кошка. Это было ужасно, честно говоря, — так же мягко продолжала она. — Мы пили чай с мисс Уэллс, и тут курат загрохотал в дверь: в кухне дочка уборщицы кричит и плачет, истерика. Я пошла в кухню, а там кошка, и уже ничем не поможешь… задыхается, корчится… и умерла.

— Эти подробности совершенно необходимы? — осведомился Билл.

Маркус, забравшийся возможно дальше от коробки с котятами, спрятал руки между колен и принялся что-то сложное вычислять на костяшках пальцев.

— Еще трое мертвые родились. Девочка так плакала. Я думаю, это она: взяла кошку, нечаянно прижала поперек живота, и вот… Ужасно плакала, бедная. Ну, я сказала, что попробую их выходить. Всю ночь вставать к ним, конечно, не радость.

Существо в ее ладони издало тонкий сип, слиш-

ком слабый, чтобы подняться до писка.

Резко вступила Фредерика:

— Не знала, что кошки умирают родами. Я думала, у них это просто, а умирают только героини в романах.

— У нее внутри что-то перекрутилось.

— Бедняга. И что ты с ними будешь делать?

— Если выживут, найду каждому дом.

— Дом, — саркастически отозвалась Фредерика. — Если выживут.

— Если выживут, — спокойно повторила Стефани.

Александра слегка мутило от мрачных разговоров и родильных запахов. Он поднялся и открыл было рот, чтобы сообщить о цели своего прихода. Билл, давно собиравшийся вмешаться, заговорил с ним одновременно. Это была его обычная манера, но Александр, как всегда, ощутил смутное раздражение. Он закрыл рот и принялся созерцать Билла.

У маленького, щуплого Билла лицо, ладони и ступни были длинные, словно он был задуман крупным. Он был одет в шерстяные брюки, сине-белую клетчатую рубашку с расстегнутым воротом и рыжеватый пиджак шотландского твида с кожаными нашивками на локтях. Его ре-

деющие волосы раньше были, вероятно, того же каштанового блеска, что и у Фредерики, но теперь поблекли, подернулись сединой, как гаснущий костер пеплом. Несколько длинных прядей, зачесанных поперек лысой макушки, не хотели лежать ровно и все приподымались мостиком. Нос у Билла был вострый, а глаза — предельно размытой синевы. В детстве Фредерика и Стефани воображали разгневанного Крысолова с отцовским лицом: «И вдруг его зажегся взор, как будто соль попала в пламя»[26]. Билл вообще наводил на мысли об огне, но огне подспудном, вроде тления в глубине соломенного омета или зловещего потрескиванья внизу костра: вот-вот вспыхнет, вспыхнет — и рухнет, рассыплется искрами.

— Можете вы сказать мне, — Билл решительно переехал вступление Александра и коротко мотнул головой в сторону сына, — как его оценивают в школе?

— Хорошо оценивают, — отвечал оторопевший от такой бестактности Александр, — насколько мне известно. Вы же сами знаете: Маркус работает очень упорно.

— Я знаю. Я все знаю. Верней, не знаю ничего,

[26] Примечания: 26

Фраза из поэмы Р. Браунинга (1812–1889) «Флейтист из Гаммельна» (перев. С. Я. Маршака).

потому что мне ничего не говорят. Никто и ничего. И меньше всех — он сам.

Александр тайком взглянул на Маркуса. Тот, казалось, ничего не слышал. Это было до крайности странно, но с Маркусом, подумал Александр, — более чем возможно.

— Когда я спрашиваю, а я как-никак его отец… Когда я спрашиваю, все поголовно уклоняются. Ни один не сказал, что все отлично, и ни один не сказал, что́ именно не так. Можно подумать, что его нет. Что он невидимый.

— Я веду у него только дополнительные занятия, но я вполне удовлетворен… — Едва начав говорить, Александр задумался, что, собственно, может в таком контексте значить «вполне удовлетворен». Ужас заключался в том, что мальчик отчасти и был невидим, причем, вне всякого сомнения, намеренно.

— Удовлетворены и даже вполне. Гм. Теперь скажите мне, прошу вас, как педагог и специалист по английскому языку: как именно я должен понимать это «вполне удовлетворен»?

— Ужин, — возвестила Уинифред, словно по сигналу возникнув всем во спасение. Сестры поднялись. Маркус выскользнул из гостиной.

Столовая была крошечная, причем с потугами

на фамильный замок, битком набитая резным дубом и кожей: раздвижной стол на гнутых, шишковатых, подагрических ногах, кожаные стулья в латунных заклепках, обои под штукатурку. Над местом главы семьи висела очень маленькая репродукция «Ночной охоты» Уччелло. Именно из-за того, что она была так мала, Фредерика долго, лет до сорока, была убеждена, что оригинал непомерен, во всю стену. Его настоящий скромный размер произвел на нее действие одновременно раздражающее и гипнотическое.

Стол был покрыт клеенкой, до жути правдоподобно изображавшей на одной стороне белое дамасское полотно с малиновой искрой, а на другой — розовый клетчатый лен. Уинифред принадлежала к военному поколению хозяек: для нее любой пластик был чудом, сберегающим время, а цвет, любой цвет — освобождением и радостью. Сегодня скатерть предстала своей дамасской стороной. Стол украшало тяжелое, в завитушках, свадебное серебро Поттеров, салфетки под приборы (поддельная плетенка) и просто салфетки из жатки с условно-шотландской клеткой, слишком чахлые для широких серебряных колец. Все это были реликвии жизни прочной и сдобной, со свадьбами, крестинами и другим прилагающимся.

Оставив позади значительную ее часть, Поттеры так и не обзавелись более стройным укладом. Посреди стола высились типично английские баночки и бутылочки: пикули, острый паточный соус, маринованные огурцы с горчицей, чатни[27], кетчуп.

Фредерика и Стефани, обе влюбленные в Александра, с беспокойством думали о том, какое впечатление он составил об их доме. Александр одевался с небрежным изяществом: диагоналевые брюки, спортивный пиджак, замшевые ботинки и золотистая сорочка из шерстяной фланели. И красоту свою он нес как бы небрежно. Длинные каштановые пряди мягко ложились на задумчивый лоб, и все в нем было удлиненно, тонко, отчетливо — ухоженно, но без наивного усердия или щегольства. Сестрам казалось, что Александр должен находить пошловатым их вещественный мирок. Им хотелось бы предстать перед ним иначе. Неловкость осложнялась глубоким убеждением, что судить о них по внешним обстоятельствам тоже пошло. И тем более пошло и недостойно — им беспокоиться о мнениях Александра. Главное — внутренняя жизнь и твердость

---

[27] Примечания: 27

Пряная заправка из овощей или фруктов по образцу индийских соусов.

убеждений. Не сознавать этого и есть квинтэссенция пошлости. Так, весьма противоречиво, думали сестры, и это противоречие лежало в основе поттеровского характера, в одной точке объединяя всех.

Билл, без пиджака, с закатанными рукавами, обнажившими бледную синеву вен, резал холодную баранину, раскладывал по тарелкам горячую цветную капусту и вареный картофель. Попутно он экзаменовал Александра, терзал вопросами об интеллектуальных повадках сына. Одержимое упорство тоже было семейной чертой. По словам Билла, Маркус ничего не читал, кроме книжонок о приключениях отважного пилота Биггльза. Билл желал знать, до какой степени это ненормально. Сам Билл в его годы читал всех: Киплинга, Диккенса, Вальтера Скотта, Морриса, Маколея, Карлейля. Ему было ровно столько же, сколько Маркусу, когда приходской священник изъял у него «Джуда Незаметного»[28] и созвал его родных и друзей полюбоваться огненной жертвой.

— В часовне, в печи отопительного котла.

---

[28] Примечания: 28

Социальный роман Томаса Гарди (1840–1928) о каменщике, замыслившем стать ученым и потерпевшем сокрушительное поражение от судьбы и общества. Был в штыки принят современниками, изымался из библиотек.

Открыл дверцу, маленькую такую, круглую, и бедного «Джуда» затолкал туда щипцами. Самолично прикоснуться не пожелал. Зато прочел проповедь о греховных мыслях и гордыне нахватавшихся по верхам. То есть обо мне.

— И что вы сделали?

— Око за око. Холокост. Все их миссионерские брошюрки собрал и уничтожил. «Джонни подал пенни страждущим язычникам», «Прокаженные благодарят пастора» — всю эту гниль. Там люди гниют в прямом смысле слова — на кой им черт штаны, единобрачие и «блаженны нищие духом», если они не благословенны! Прочесть проповедь смелости не хватило, но я ее написал, уж как смог, и приколол к доске объявлений. Написал, что аутодафе — значит «акт веры», и мне, «нахватавшемуся по верхам», это известно. Что вот оно — мое аутодафе, а они все прокляты за ложную логику, подложные ценности и убожество слога. И за то, что сожгли «Джуда», которого я даже дочитать не успел.

— Удивляюсь, как родители от вас не отреклись, — с неловкой усмешкой сказал Александр.

— Отреклись. Еще как отреклись. На другой же день ушел я из дома с черным жестяным чемоданчиком. Книги и немного тряпья. С тех пор

я их не видел. Винни свозила девочек познакомиться, но мне, черной овце, путь туда заказан, даже захоти я вернуться, а я не захочу… Нет, я стал коммивояжером. Послеоперационное и ортопедическое белье для мужчин. В Кембридж пришел из вечерней школы, с рабочего факультета. «Джуда» дочитал, урок усвоил. Ценишь то, за что пришлось поголодать и побороться.

История Билла впечатлила Александра, о чем он как раз хотел сказать, когда встряла Фредерика:

— И после этого ты жжешь наши книги?

— Я книги не жгу.

— Жжешь, если они тебе не нравятся. Ты дома цензуру завел.

Билл издал какое-то нутряное ворчание.

— Цензуру? А кто написал этой старой деве, этой сушеной пикше, когда тебя угораздило попасться в школе с «Любовником леди Чаттерли»? Да еще добавил, что преступление — не иметь в школьной библиотеке «Радуги» и «Влюбленных женщин».

— Я тебя не просила. И вообще, лучше бы ты ей не писал.

— Эта кретинка ответила, если я правильно помню, что закупила для библиотеки шесть эк-

земпляров шедевра под названием: «Прекрасный миг, или Как рождается дитя». Видимо, для нее это некое доказательство свободомыслия.

— Она ничего плохого не хотела, — сказала Стефани. — Просто она такая: робкая, несуразная немного…

Фредерика, возгорясь, озиралась и, видимо, не знала, куда направить огонь: на Билла или на «Прекрасный миг».

— Книжка дурацкая, конечно. Эти схемы есть в любой инструкции от тампонов. И всякая чушь про высшее счастье, высшее доверие, про главное сокровище ушки… дурацкая метафора: там же внутри ничего нет! А она еще и проповеди нам читает — вот уж спасибо, не надо к моей биологии примешивать свой религиозный экстаз. И вообще, она же ничего об этом не знает!

— Но ты недовольна, что я смею ей возражать, когда она лишает вас настоящих книг и настоящего опыта жизни?

Фредерика перекинулась на Билла:

— Ты сперва сдал нас в эту жуткую школу, а теперь мешаешь нам самим решать свои проблемы. Пишешь письма мисс Уэллс про секс, про свободу, про литературу… Если хочешь знать, мне из-за тебя жить невозможно. Если хочешь знать,

«Влюбленные женщины» так же растлительны для наших юных душ, как «Прекрасный миг». Да если бы я думала, что мне предстоит жизнь, которую воспевает Лоуренс, я бы прямо сейчас утопилась в Уродском прудике! Не нужен мне «довременный восторг осязания мистической инакости»! Можете оставить себе. Если вы его испытываете. Очень надеюсь, что Лоуренс все наврал, хотя знать, конечно, не могу… Что не мешает тебе навязывать мне его писания. А книги ты жжешь!

— Не жгу.

— Еще как жжешь. Все мои «Девичьи кристаллы»[29] и всю Джорджетт Хейер[30] сжег, а они были даже не мои. У меня один раз была почти-подруга, это я у нее одолжила.

— Ах да, припоминаю. — В глазах у Билла остро сверкнуло тогдашнее удовольствие. — Сжег. Но то были не книги.

— В них ничего такого не было. Они мне нравились.

---

[29] Примечания: 29

«Девичий кристалл» — популярная в то время серия приключенческих комиксов.

[30] Примечания: 30

Джорджетт Хейер (1902–1974) — английская писательница, автор исторических и детективных любовных романов.

— Растленные фантазии, пошлость и ложь.

— Кажется, уж я-то способна распознать фантазии. И что, собственно, плохого в фантазиях? Так мне хоть было о чем говорить с девочками.

Билл принялся говорить о правде в литературе. Александр посматривал на часы. Уинифред не в первый раз задавалась вопросом, что так неодолимо толкает Билла ссориться, зло и примитивно спорить с единственным ребенком, перенявшим его сплошную жажду печатного слова, его упоенный аналитизм.

Историю с «Кристаллами» она помнила. Почему Билл взялся шпионить, осталось невыясненным, но он нашел комиксы в коробке под кроватью Фредерики, упиваясь гневом, вынес их во двор и сжег в том же сетчатом железном баке, где сжигал садовый мусор. Одни за другими «Кристаллы» темнели и распадались. В летнее небо, танцуя, устремлялись черные хлопья и бледные огненные языки. Билл жрически помешивал в баке длинным железным прутом. Фредерика, потрясая руками, скакала вокруг огня и вопила от ярости — впрочем, весьма красноречиво.

Из всех детей Уинифред тревожила Фредерика. В ней жил какой-то демон. Учителя писали в характеристиках, что даже почерк у нее агрес-

сивный. Уинифред не имела оснований в этом сомневаться. Стефани, более добрая и ленивая, считалась и более умной. Маркус, как верилось Уинифред, был миролюбив и самодостаточен. Эти двое умели, как и она, на гнев отвечать стоическим терпением. Фредерика не выходила из состояния войны.

За кофе Александру удалось наконец заговорить о пьесе. Он начал издали, с Кроу и его планов насчет университета. Билл немедленно взвился и сообщил, что отлично знает, как там обстоят дела. Он и сам в этом участвовал — поначалу, когда была еще надежда на что-то новое, действительно выросшее из курсов и вечерних школ. Но всякому терпению есть предел. Проректоры уродовали его программу, пока не подогнали под общий бесцветный стандарт, Кроу всюду совал свой нос, епископ добавил допотопных рюшек и богословских колледжей. И что в итоге? А в итоге они получат смесь Оксфорда и Кембриджа, только еще более прилизанную. Придумают церемонии «под старину». Исторические дома в округе выкрасят в жуткий «фестивальный» голубой, снабдят дверными молотками и населят профессорами-выскочками. Нет уж, спасибо. Он будет работать, как работал, без этой шумихи. Не

привыкать. А Кроу — старый паук, сидит в своем замке, раскинул сеть и ловит околокультурную мошкару. О, он еще будет проректором — Билл за это ручается! Готовить нужно не титанов Возрождения, а людей, умеющих читать, считать и ясно выражать свои мысли, людей, имеющих непосредственный опыт жизни. Этого более чем достаточно.

Тут Александр успел ввернуть, что грядет Празднество и что сам он как раз написал пьесу и хотел бы узнать о ней мнение Билла. Ему повезло: пьесу поставят в рамках Празднества. Дальше сказал, что Кроу намерен оживить культурную жизнь края, и без убеждения добавил, что участие Билла, несомненно, будет необходимо. И что он надеется в летний семестр урвать сколько-то времени для участия в постановке пьесы, с согласия Билла, разумеется. Он уже не был безудержно счастлив и свободен, как недавно с Кроу и на мосту. Он говорил сдержанно, чуть ли не извиняясь. Билл выслушал его, не отвлекаясь от домодельной сигареты, которую сворачивал железно-резиновой машинкой, перекладывая смолистые и темные табачные шелушинки, аккуратно облизывая губы и тонкий краешек папиросного листка.

— Что это? Самодеятельность?

— Отнюдь.

— Потуги на новый Ренессанс?

— Нет, просто пьеса. Историческая. Драма в стихах. О Елизавете. — Он слегка запнулся. — Я сперва хотел назвать ее, вслед за Рэли[31], «Застигнутая временем врасплох». Помните портрет? Потом решил, что будет «Астрея» — так легче выговаривается. Я в смысле структуры многое подсмотрел у Фрэнсис Йейтс в ее статье о Деве Астрее.

Александр говорил и видел, что Билл все это считает претенциозной заумью.

— Ну что ж. Сперва нужно, чтобы я ее прочел. Есть у вас распечатка?

Александр извлек на свет одну из размноженных Кроу копий. Он только сейчас с легкой оторопью осознал: Биллу и в голову не приходило, что он может написать хорошую пьесу. Билл говорил тоном учителя, поощряющего усердие, но не дающего надежды там, где ее быть не может.

— А мы будем участвовать? — спросила Фредерика. — Мы считаемся культурной жизнью края? Я лично собираюсь стать актрисой.

---

[31] Примечания: 31

Сэр Уолтер Рэли (1552/4–1618) — поэт, политик, военачальник, исследователь Нового Света, фаворит Елизаветы I.

— Конечно, — ответил Александр. — Будут прослушивания, и много. Для всех желающих. И в школах тоже. Я хотел бы, если Маркус не против, рекомендовать его на одну роль. Мне нужно знать, что он… и вы… об этом думаете.

— Я считаю, что в «Гамлете» он выказал настоящий талант, — сказал Билл.

— Я тоже, — закивал Александр. — Я тоже. И у меня для него есть отличная роль.

— Эдуарда Четвертого, конечно, — встряла неугомонная Фредерика. — А что, он смог бы. Везет же некоторым!

— Спасибо, мне не хочется, — сказал Маркус.

— Думаю, даже при твоей нагрузке, ты смог бы… — начал Билл.

— Я не хочу.

— Объясни хотя бы почему.

— Я на сцене без очков упаду.

— Не упал же, когда играл Офелию.

— Я не умею играть. Я не буду, не хочу играть. Я не могу.

— Мы еще вернемся к этому разговору, — сказал Александр, разумея: без Билла.

— Нет, — отвечал Маркус твердо, но уже забирая голосом вверх.

Раздался звонок, Фредерика поскакала от-

крывать. Вернувшись, объявила со зловещим торжеством:

— А к нам курат с визитом. Желает говорить со Стефани.

Этим нафталиновым оборотом ужалены были все — от Шарлотты Бронте до Элизабет Гаскелл. Кураты не наносили визитов Поттерам. Если уж на то пошло, визитов им не наносил никто.

— Ты его что, в прихожей оставила? — всполошилась Уинифред. — Немедленно веди сюда.

В дверях появился курат. Он был высокий, крупный, толстый, весь заросший черным пружинным волосом, с густыми бровями и тяжкой челюстью, со щеками, синими от энергически прущей щетины. Его черное священническое одеяние свободно лежало на мощных плечах, жесткий стоячий воротничок — «ошейник» — охватывал крупную мускулистую шею.

Неспокойным голосом Стефани представила его: Дэниел Ортон, курат мистера Элленби из блесфордской церкви Святого Варфоломея. Дэниел оглядел компанию, после чего округло и полнозвучно попросил разрешения присесть, — возможно, то была умиротворительная уловка ремесла. Говор у него был невытравимо йоркширский, но южный, рабочий, без напевных

северных интонаций Уинифред.

— Если это пасторский визит, то сообщаю вам: вы ошиблись домом, — заявил Билл. — Здесь паствы не обретете.

Курат словно бы не услышал его и сказал просто, что пришел на минутку поговорить со Стефани… с мисс Поттер. Если можно. Он обещал той девочке, Джули, что проведает котят. Дэниел уселся на свободной половине Фредерикина дивана, словно инстинктом почувствовав, где стоит коробка. Заглянул внутрь.

— Пока держатся, но говорить рано, — сказала Стефани.

— Джули во всем винит себя. Хорошо бы вам удалось их выходить.

— Только, пожалуйста, ничего ей не обещайте. И пожалуйста, не надейтесь слишком уж на меня: котята недоношенные, без матери. По сути, ведь это безумная затея.

— Нет-нет, нужно только правду, всегда… Я пришел… я не успел тогда сказать — именно сам сказать вам… Вы ее так хорошо утешили. Я это хотел сказать.

В ровном, без подъемов и спадов, йоркширском голосе курьезно проступали медово-пасторские нотки. Тут снова резко и повелительно вмешался

Билл:

— Спасибо, мы уже достаточно наслышаны о происшествии с кошкой.

Дэниел чуть повернул к нему большую темную голову, видимо оценивая помеху. Потом опять взглянул на Стефани:

— Я подумал, может быть, вы захотите немного помочь мне с моей работой. Вы вот давеча спросили, как я работаю. Приходится быть настойчивым, назойливым даже, иначе ничего не добьешься. Мне кажется, с одним делом вы могли бы меня выручить… У меня просто такое чувство, может быть, я не прав. Мне подумалось…

— Лучше не сейчас, — еле слышно произнесла Стефани, залившись краской, уперев взгляд в колени.

— Может быть, я не ко времени, помешал? Тогда прошу меня извинить.

Александр поглядел на часы, на Поттеров, на курата:

— У вас в церкви, мистер Ортон, есть несколько превосходных росписей. Я нигде в Англии ничего подобного не встречал. Адская пасть[32] в нефе особенно хороша, и такой чисто английский

---

[32] Примечания: 32

Живописный мотив, сохранившийся со времен средневековых мистерий.

Страховидный червь![33] Краски выцвели, а все равно — настоящее пылающее пекло. Просто прекрасно. Жаль, что в церковной брошюрке так мало сведений и такой нелепо-пышный язык. Ее, как я понимаю, написала жена прошлого викария?

— Не знаю. Я не читал брошюрку. И в прекрасном не особенно разбираюсь. Но раз вы говорите, значит так и есть.

— Повторюсь: вы пришли не по адресу и в этом доме никого не завербуете, — произнес Билл. — Ваша организация плодит ложь и ложные ценности. Лично я не подойду к ней на пушечный выстрел.

— Это я уже понял.

— Я принужден жить в обществе, чьи законы и моральные принципы построены на недоказуемом мифе и рацеях этого ханжи, этого изувера апостола Павла. Но мы молчим. Мы уважаем церковь. Мы не задаемся вопросом, какие истины нам откроются, если ее попросту взять и уничтожить.

Глаза Билла метали молнии. Эту речь он произносил уже не раз и не два, но так редко выпадала

---

[33] Примечания: 33

Отсылка к народной балладе «О Страховидном черве и Морской макрели».

возможность произнести ее в лицо священнику…

— Я не зову вас в церковь. Я прошу мисс Поттер помочь мне с одним делом.

— Напрасно не зовете. Какой же вы после этого священник? Где ваша вера? О, церковь не только мертва, она гниет!

— Вера у меня есть, — сказал Дэниел, тяжелыми руками сжимая большие колени.

— Ну да, разумеется! Единый Бог, Творец и так далее вплоть до причастия святых, прощения грехов, воскрешения мертвых и жизни вечной. Вы правда верите? И в ад, и в рай? Это, замечу вам, важно — во что мы верим.

— Верю и в ад, и в рай.

— В золотые города, в херувимов и серафимов, в жемчужные реки, в геенну огненную, в крылья и когти, в путь, усыпанный цветами, ведущий к свету немеркнущему? Или во что? Во что-то похитрей да посовременней? В то, что ад — наши собственные пороки? Меня, право, очень интересуют современные церковники…

— Видимо, больше, чем меня, — отвечал Дэниел. — Что вам в них?

— То, что мы как общество живем во *лжи*, мы отравлены, хоть многие этого не осознают. Отрав-

лены вашими больными, порочными сказками. Труп на двух досках! Огнь! Древо! Соглашусь, впечатляет. Но это все ложь.

— Зачем вы на меня нападаете?

— В «Короле Лире» больше правды, чем во всех Евангелиях, вместе взятых. Я хочу, мистер Ортон, чтобы люди жили, жили полно и щедро. А вы стоите на пути.

— Ясно. Я не читал «Короля Лира». В мое время он для аттестата не требовался. Я закрою этот пробел. А теперь, если не возражаете, пойду домой. Я не из тех церковников, кто любит дебаты, и в сан проповедника пока не рукоположен. К тому же вы меня немного разозлили.

— Ты не прав, отец, — внезапно сказала Стефани. — Ты говоришь, а он делает. Я видела, как он работает, — в больницах и в других местах, куда ты ни за что не пойдешь, хоть и твердишь о жизненном опыте. И он знает «Лира», даже если не читал его.

— Уверен тем не менее, что Писание я знаю лучше.

— Я тоже уверена. А в чью пользу это говорит, пусть решит он. Простите нас, пожалуйста, мистер Ортон.

— Мы поговорим в более удачное время. — Как

и Поттеры, Дэниел был упорен до одержимости.

— Я ничего не обещаю.

— Но мы поговорим.

— Вы делаете очень нужное дело, мистер Ортон, — через силу проговорила Стефани.

— Хорошо. Теперь я пойду.

Александр в сотый раз взглянул на часы и сказал, что ему тоже пора. Они вместе вышли на пустую улицу и несколько секунд стояли в относительно дружественном молчании.

— Он сумасшедший, — сказал Дэниел. — С чего он завелся?

— Ирония в том, что мистер Поттер — в своем роде верующий и даже народный проповедник. Просто он сформирован другой эпохой. Это у него бунт против собственных корней.

— Именно. Я тоже верующий, но в другом роде. И должен бы ему сочувствовать, но не могу. Впрочем, это не важно. Проповедник из меня плохой. Слова, слова…

— Слова — его профессия.

— Вот и пусть занимается профессией. Он нестройный человек. — По тону невозможно было понять, относится это к вере, эстетике или чему-то совсем иному.

Дэниел протянул Александру большую ладонь

и крупно, развалисто, нестройно зашагал в сторону городка. Александр поспешно двинулся в противоположную сторону. Как все, кто боится прийти слишком рано, он не рассчитал и теперь опаздывал. Он побежал.

3. На Замковом холме

На окраине Блесфорда, где сборные послевоенные домики и патлатые огороды вырывались в настоящие поля, был Замковый холм. К нему все еще бегом приблизился Александр. Замок, ненадолго вместивший низложенного Ричарда II[34], превратился в каменную скорлупу, внутри которой стриженые бугры и пригорки выпирали с двусмысленной натугой могильных курганов. Железные таблички указывали: пересохший колодец, призрачные укрепления, фундамент королевской опочивальни.

Позади аккуратно-безличного замка был заброшенный учебный лагерь для офицеров запаса. Полумесяцем стояли видавшие виды ниссеновские казармы[35] на треснутом термакадаме, а в длинные трещины несмело и слабо просовывались кипрей и желтуха. Не было флагштока в бетонном углублении, не было машин на сто-

---

[34] Примечания: 34

Ричард II Бордоский (1337–1400) кончил жизнь в замке Понтефракт. Есть мнение, что его уморили голодом.

[35] Примечания: 35

Металлические сооружения полуцилиндрической формы, применявшиеся в ходе Первой и Второй мировой войны.

янке. Лагерь имел такой вид, словно недавно подвергся удачной осаде. Из непритворенных дверей несло застарелой мочой. В одном бараке длинный ряд раковин и писсуаров был перебит и загажен. Обычные обитатели — шершавые грязные мальчишки, кружком над спичечным светом в щитках ладоней, — подняли головы навстречу Александру. На пороге одного из бараков хищная стайка девочек, свив руки, толкалась, шепталась, повизгивала. Самая взрослая, лет тринадцати, тощенькая и дерзкая, смотрела в упор. На ней болталось платьишко из поддельного шелка, а волосы покрывала невыносимо алая сетка. В уголке резного рта мерцала сигарета. Александр торопливо и нелепо махнул рукой в знак приветствия. Эти-то знают, подумал он, зачем я… зачем все сюда ходят.

Поверх проволочной изгороди он увидел Дженни, как она быстро идет через поле, полное репьев и коровьих лепешек. Руки сунуты глубоко в карманы, под жестким конусом синего макинтоша лодыжки и ступни такие крошечные. Голова, изящно повязанная красным платком, опущена. Все это было до мучения трогательно. Александр поспешил за ней. Под кронами маленького леса, у перелаза невесть зачем возникшей изгороди,

догнал и поцеловал.

— Любовь моя…

— Послушай, я не могу, Томас дома спит, я его одного оставила, я не могу так рисковать, мне нужно домой…

— Милая, я опоздал. Я боюсь прийти раньше и сдрейфить и от этого опаздываю.

— Хорошо хоть кто-то из нас не боится.

Все же она взяла его за руку. Обоих знобило. К Александру вернулся давешний восторг.

— Как ты? — натянуто спросила она.

— Превосходно! Дженни, слушай, Дженни…

Он принялся рассказывать о пьесе. Она молчала, и он слышал, как слабеет его голос.

— Дженни…

— Я очень рада. Я очень за тебя рада.

Она пыталась потихоньку выпростать ладонь. Этот мелкий отпор чаровал его до оцепенения. Беда — или нега — была в том, что вся Дженни составляла для него некую цепенящую, повелительную чару. Когда она раздражалась, что бывало нередко, зачаточные, оборванные движения ее гнева доставляли ему острое наслаждение. Если в гневе она отворачивалась, он впивался взглядом в ее ухо, в напряженный мускул шеи. Его чувства были до сумасшествия просты и

упорны. Александр однажды попытался объяснить их Дженни, и тут уж она рассердилась по-настоящему.

Нужно было что-то сделать. Он потянул Дженни за запястье (ее ладонь успела снова нырнуть в карман):

— Ты сердишься. Прости, что я опоздал.

— Ах, это не важно! Я и не ждала, что ты придешь вовремя. Наверное, я эгоистка: если пьеса состоится (а она состоится), ты начнешь пропадать. Если будет большой успех — и вовсе уедешь. Я бы на твоем месте уехала, я…

— Не глупи. Может, благодаря пьесе будут деньги. А с деньгами я куплю машину.

— Как будто машина все изменит.

— Не все, но что-то.

— Ничего практически.

— Мы могли бы уезжать…

— Куда? На сколько? Мечты!

Этот разговор о машине повторялся из раза в раз.

— Дженни, ты могла бы играть в моей пьесе. — Он чуть запнулся на слове «моей». — Мы бы виделись каждый день. Было бы все, как вначале.

— Сомневаюсь.

И все же она остановилась, приникла к нему. У Александра закружилась голова.

— У нас с тобой — вечное начало. Не пора ли закончить?

— Но мы же любим друг друга. И мы договорились: брать хотя бы то малое, что…

Они всегда упирались в эту фразу.

Однажды Джеффри Перри, учитель немецкого, стесняясь, попросил Александра дать его жене какую-нибудь роль в постановке «Она не должна быть сожжена». Дженни после родов затосковала, может быть, театр ее исцелит. Александр как-то смутно помнил миссис Перри: топала по школьным газонам округлая дамочка, похожая на луковку, неуклюжая, как все низкорослые.

Он был, однако, галантен, пригласил ее к себе прочесть что-нибудь на пробу за стаканчиком шерри. Дженни, слишком туго заряженная жизнью для этих тесноватых стен, оказалась грозовой Клеопатрой и напевной, лирической Дженнет. И разумеется, он утвердил ее на роль Дженнет: Блесфорд талантами не блистал. Муж-германист приходил благодарить.

На репетициях он очень скоро ее невзлюбил. За первые два дня она наизусть выучила свою роль, расписание репетиций и все остальные роли.

Предлагала тут урезать, тут поменять мизансцену, тут под открытие занавеса пустить такую-то музыку. Она суфлировала, где не просили, давала советы. Александр нервничал, актеры путались и смущались. Как-то раз, когда они вдвоем репетировали в трюме[36], в тесном и душном закутке его, где хранились музыкальные инструменты, Дженни единым духом попрекнула Александра просторечным словцом, усомнилась в выборе его актеров и в правильности приведенной цитаты. Он миролюбиво возразил, что, мол, не стоит из каждой мелочи делать вопрос жизни и смерти.

Она попятилась, покачнулась и вдруг бросилась на него, целя рукой в лицо. Он отступил, запнулся о позолоченный пюпитр и, падая, задел головой пианино. Потекла кровь из ссадины на затылке, из разодранной ногтями щеки. Дженни от столь яростного броска не устояла на ногах и свалилась на Александра, лепеча в трюмной пыли, что это вопрос — ее жизни и ее смерти, потому что с ребенком скучно и от него пахнет, а мальчишки еще скучней и пахнут невыносимо, и все в этой скучной дыре помешаны на мерзких мальчишках. Она с трудом поднялась на колени

---

[36] Примечания: 36
Помещение под сценой.

меж его раскинутых ног и сердито отбрасывала назад длинные черные пряди.

— Жизнь! Это не жизнь, а распад мозга. Здесь же нет человеческих разговоров. Так, что-то вроде — и то когда играем. Играем в студентов, которые играют в актеров, которые играют в средневековых ведьм и солдат. Метафорические радости! И вот я всеми командую, я невыносима, и вы с ваших высот мне на это деликатно указываете.

Она снова занесла руку, но он лишь с улыбкой прикрыл лицо.

— В университете мечтала по глупости: получу диплом, и мне откроется весь мир. Как бы не так! Я заперта. Ни мыслей, ни разговоров, ни надежды. Хотя что это я? Вам не понять.

Александр неизбежно успел сделаться исповедником для молодых замужних женщин, полных энергии, скучающих без настоящей работы, одиноких в тесном мужском мирке. Он подумал, что отлично все понимает, но ей говорить не стал. Вместо этого притянул к себе и поцеловал.

Учительские спектакли ставились не чаще чем раз в два-три года. Обществу требовалось время, чтобы оправиться от потрясений, непременно вызываемых редкой здесь смесью алкоголя, драмы и разных степеней неглиже. Александр,

ранее выступавший лишь позабавленным наблюдателем, поначалу был слегка оскорблен трафаретным развитием событий, визитами в дамскую гримерную с витавшим в ней робким душком водевильного адюльтера. Он не любил разочаровывать и потому застегивал крючки своей приме, поправлял декольте, прикасался, в отсутствие явных соглядатаев, щекой, а то и губами к маленьким круглым грудкам. Но его конфузливый холодок должен был отступить перед ее блистательным, блаженным безрассудством. Александр отозвался ей, как хороший актер отзывается на бескорыстную гениальность партнера. В день премьеры, стоя в кулисах за миг до выхода, он сказал: «А ведь я люблю тебя» — и видел, как смущение, жар, надежда преображают ее игру (этого он, впрочем, ожидал). Он собирался, он твердо намерен был после спектакля лечь с ней в одну постель.

С тех пор минул почти что год. Год свиданий урывками, звонков по сговору, побегов, прятоk, писем и лжи. Письма двигались потоком, попутным пьесе, фразы из писем в пьесу перетекали. С ироничной нежностью, с нетерпеливой страстью, с тонкими цитатами, с уличными словечками, с подробностями все более опре-

деленными — описывался в них миг, когда им наконец подвернется пресловутая постель. Он думал порой, что письма их уплотнились почти до правды и слияние, так много раз воображенное, — при полной их невинности — произошло.

Замковый лес у подножия холма тревожили и теснили новые постройки, но влюбленные вскоре освоились в нем. Их тайные прибежища почти всегда носили недавние следы чужого пребывания. И все же бывали дни, когда изначальное сумасбродство, смеясь, брало верх, когда любовь примятую траву и салфетки в помадных мазках освещала чем-то новым. Однажды Дженни обнаружила там полупустую жестянку печеных бобов, а в ней — использованный чехольчик. «Суррогат супружеского счастия», — торжественно объявила она, а Александр, запустив находку в ближайшие кусты, заметил: «Скорей уж обряд бесплодия: печеные бобы и семя, уловленное в резину». Они много смеялись этому.

Александр отшвырнул рваную газету и уложил Дженни в ложбинку, спиной к дереву. Левая рука обнимала ее, а правая расстегивала пуговки. Дженни положила ладонь ему на бедро.

— Я все жду, что из кустов высунутся мальчишки. Знаешь, рядами, как в кино, и с этими

их гадкими улыбочками. Мне кажется, лес ими кишит. Снуют, вынюхивают…

— Ты на них помешалась.

— Знаю. Это ужасно. Никогда не думала, что их возненавижу. И Томас, бедный, вырастет и станет таким же мальчишкой. Только уж в Блесфорд я его не отдам: изгоем он не будет, как младший Поттер…

— Он изгой?

Александр уже расстегнул ее дождевик и вязаный кардиган. Раскрыл их и принялся за юбку.

— Конечно изгой. Всегда один. Знаешь, в нем есть что-то ненормальное. Недавно видела его в Дальнем поле: носился один туда-сюда, как заяц, а потом лег на землю.

Александр открыл ей шею и грудь, драгоценной оправой расположил вокруг складки одежды. Дженни сидела тихо, как статуя. Он вздохнул и прижался лицом к ее лицу. По ней пробежала дрожь.

— Александр… ты любишь мальчиков?

— Тш-ш-ш.

— Нет, правда.

— Ты думаешь, я уранит? Учительские жены подозревают всех неженатых.

Он блаженно водил лицом по ее открытой

коже.

— Нет, Дженни, я просто люблю их учить. Никогда мне не хотелось кого-то из них обнять, прикоснуться или что-то в этом роде.

Он подумал, покойно устроив голову у нее на груди, что никогда, собственно, не знал этой неодолимой жажды: прикоснуться к другому. Каждый раз он мог бы так же легко уклониться. Его жажду, подлинную жажду высказать было нельзя. Вместо этого он спросил:

— Почему я так счастлив? Наше положение должно бы приводить меня в бешенство…

— Должно. Но не приводит.

— Будь у нас хоть какое-то место… постель — неужели ты думаешь?..

— Не знаю. И навряд ли узнаю.

Неутоленность и эти быстрые недобрые вспышки тоже были частью сценария. Она сидела совсем неподвижно. Александр занялся ее бедрами. Тронул прохладно-упругую плоть на границе туго натянутых скользких чулок и пояса с цепкими подвязками. Чутко пробежал по пряжкам и рубчикам. Поднырнул под край трусиков, туда, где теплые складки и колкие волоски, где мягкое. Она вздохнула, откинулась, передвинула руку у него на бедре. «Не шевелись, застынь», —

мысленно умолял он, а беззвучные пальцы его трепетали особым стаккато. Тело под одеждой, тело в одежде, наложение покровов гладких, суровых, тягучих, текучих, бесконечное разнообразие их — все это было упоительно… Должно быть, способов любви столько же, сколько людей на земле. Он любил медлительное нарастание, когда медлительность почти уже переходит в недвижность. Разумеется, никакого труда не составило бы ему взять ее тут же, в лесу. Под пальто или пледом они рисковали быть замеченными не более, чем сейчас. Тут, думал он, замешалась эстетика. Осилить ее среди смятой, перекрученной одежды, среди обломанных веток, клейких буковых семян, среди разных влаг. «Осилил грубо». Странное дело: он предчувствовал, что отпора не встретит, и все же неотвязно мыслил образами насилия. Была, безусловно, в нем самом некая странность. Что ж, с этим нужно жить. Он длил свое трепещущее стаккато, чтобы она оставалась недвижной и раскрытой, и думал, как часто бывало в эти минуты, о Т. С. Элиоте: «непобедимый голос». Филомела и Тирей. «Ее осилил грубо». «Но плакала она, но по сегодня мир соловьями плачет…» — времена! Вплотную

время прошедшее и настоящее[37]. Да, борения с Шекспиром — вещь почтенная, но другой голос подбирался ближе и жалил коварней. Налетела молниеносная паника. У него никогда не будет своего голоса. Была строка — он думал, его. Может, с призвуком Овидия, но его, умно повернутая в духе нового Ренессанса… Поменять, не забыть поменять — этот проклятый ритм определенно от Элиота. В его размышления Дженни всыпала бусинки слов:

— Александр, милый, мне нужно бежать, нужно к Томасу, и у меня внизу все онемело, и…

Тут он заметил, что и сам почти до бесчувствия отлежал бедро, что давно и сильно болит от упора левое запястье. Взглянул на Дженни. В глазах ее стояли крупные слезы. Он молча достал платок и

---

[37] Примечания: 37

Отсылка к сцене из поэмы Т. С. Элиота «Бесплодная земля»:

А на картине над доской каминной,
Как бы в окне, открытом в лес, свершалась
Метаморфоза Филомелы. Царь Тирей,
Фракиец дерзостный, ее осилил грубо, —
И тут вблизи зачокал соловей,
Непобедимым голосом наполнив
Пустыню до последнего предела.
Но плакала она, но по сегодня
Мир соловьями плачет в уши злу:
«Чок-чок, чок-чок» – в нечищеные уши.

бережно отер их.

— Что с тобой, милая?

— Ничего. Все сразу. Я тебя люблю.

— И я тебя.

Он привел в порядок ее одежду, снова укрыл белизну груди, методически застегнул пуговки на блузке, кардигане, дождевике, поправил сбившийся шов чулка, отряхнул подол.

Они вынули ежедневники, назначили новую встречу, пообещали писать. Потом она, как всегда, ушла не оглядываясь, очень быстро, почти бегом. Он, как всегда, остался: полагалось выждать установленные пятнадцать минут.

Откинувшись на кучу сухих листьев, он принялся сочинять будущее письмо, в котором уязвимость их онемевших, неловко друг к другу притиснутых тел как-то свяжется с этим его ощущением блаженно-золотого, бескрайнего времени и пространства. Дженни оставила после себя такое тепло. Он был целиком захвачен ею. Он улыбался.

В Веймуте, в его мальчишеских, одиноких песках была у него подружка, морская девочка, бело-золотая, чистая, сияющая, как Элли из

«Детей вод»[38]. Или он сам был ею — слишком уж явственно было ее пенистое бытие. Какой-то отсвет морской девочки был и в его Елизавете. Возможно, временами он хотел быть женщиной. Мысль будто не о себе, а о ком-то другом. Но если так, его желание должно было сообщить пьесе некую особенную силу или энергию. Нужно хорошенько заняться этой псевдоовидиевой, псевдоэлиотовой строкой.

Выждав достаточно, он решительно зашагал к Замковому холму. Разнополые банды успели перемешаться и вместе пекли что-то в жестянках на тощем костерке. Девочка с алыми волосами раскинулась, разбросав ноги, на коленях у самого крупного и корявого мальчишки. Платье ее было вздернуто до бедер. Три девочки поменьше сидели тут же и смотрели не отрываясь: их напряженное внимание явно было существенной частью действа. Когда Александр вышел из темноты, они разом уставились на него. Тем же прирожденным движением, каким трехлетка, задрав подол, являет круглый живот и сползшие панталончики любой мужской особи, алая девоч-

[38] Примечания: 38

Героиня детской книги преподобного Чарльза Кингсли (1819–1875), в которой «дети вод» — маленькие утопленники — познают добро и искупление.

ка изогнулась и, подрагивая, наставила на него развилку бедер. Лениво помахала рукой и издала громкий, непристойный звук. Кровь прихлынула Александру в лицо, защекотала у корней волос. Побитый в каком-то довременном состязании, он опустил глаза.

4. Влюбленные женщины

Сестры, уже в ночной одежде, сидели у электрического камина в комнате Стефани. Стефани капала молоком, вливала его в котят, изрядно замусоленных, но пока живых. На ней была полосатая мальчишеская пижама из «Маркс и Спенсер», в просторном чехле которой ладная, округлая Стефани теряла очертания и смутно виделась громоздкой. Фредерика была в длинной белой сорочке с пышными рукавами и большой ажурной кокеткой, продернутой по краю черной ленточкой. Ей нравилось представлять, что сорочка струится с ее плеч потоками тонкого батиста. Но то был не батист, а нейлон — кроме него да вульгарно-блескучего ацетатного шелка, ничего нельзя было добыть ни в Блесфорде, ни в Калверли. Нейлон никуда не струился, а облипал ее длинные, тонкие, суставчатые конечности и вдобавок неприятно скользил. В одежде Фредерику прельщал не сам предмет, а некий платоновский идеал его, посещавший, вероятно, и создателей тех дешевых подделок, что были ей по карману. Будь у нее деньги, приложилось бы к ним и хваткое йоркширское чутье на добротную

ткань. Но денег не было, а быть практичной в вопросе вторых сортов она отказывалась.

Говорили об Александре, о себе, о жизни. В любви к нему сестры были не соперницами, а скорей сообщницами — возможно, потому, что каждая на свой лад считала это дело безнадежным. Во Фредерикином случае безнадежность мнилась исключительно временной: Александр просто пока не разглядел ее интеллектуальных и телесных великолепий под гнусной кожурой формы и обычаев Блесфордской средней школы для девочек.

У Стефани безнадежность была другая, трудная. На глазах у Александра она за пять лет из подростка превратилась в женщину, а он ни разу толком не вгляделся в нее. Никаких не было оснований надеяться, что внезапно он прозреет. Ей нравилось думать о нем далеком, чистом, неприкосновенном. Эту часть его образа сестры лелеяли вместе, уточняли и достраивали в беседах — вот и еще причина их странному согласию. В Александре сошлось все то, чего они не имели, чего желали и боялись никогда в жизни не отведать: творчество — вместо критики его, мужская свобода странствий — вместо женской провинциальной оседлости, небрежное искусство жить,

обещание столичного блеска. На долгие праздники Александр уезжал за границу. Имел друзей среди актеров, лондонских и оксфордских профессоров. В отличие от прочих учителей, безвылазно сидевших в школе, в конце каждого семестра он устремлялся в более цивилизованные края. Известное дело, что женитьба для учителей неблагоприятна, а для жен их и вовсе пагубна. Любя Александра, сестры боялись, что, полюбив их — или полюбив вообще, — он будет несчастен. Сегодняшний их разговор лишь с большей страстью повторял разговоры прошлые.

— Он сегодня был такой красивый.

— И с таким достоинством вытерпел все эти вопли. Он всегда держится достойно.

— Недолго ему терпеть. Он уедет. Ох, Стеф, он уедет, а мы останемся в этом кошмаре.

— Вероятней всего. Он, наверно, только и ждал, чтобы спокойно закончить пьесу.

— Вот с тобой он говорит: как пишет, как нужно писать. А со мной нет. Я его раздражаю. И не хочу, а все равно раздражаю…

— Что, если он действительно написал большую вещь?

— Быть способным на большое — и знать это. Можешь себе представить?

— Нет. Нет, не могу. Это страшное что-то.

— А Шекспир, Стеф… Шекспир не мог не знать, что он другой, чем все…

— Александр — не Шекспир.

— Это пока неизвестно.

— Просто я так думаю. И Шекспир мог не знать.

— Должен был.

В глубине души Фредерика думала, что это ужасно тяжело — жить, ежеминутно ощущая в себе силу и диапазон Фредерики Поттер, особенно если не решила пока, куда их применить. Преимущество Александра бесспорно, но все ли там дело в силе? С другой стороны…

— Твой курат, Стеф, прямо неистовый муж какой-то.

— Да, до ужаса. И он вовсе не мой… Ты бы видела, как он работает!

— Не понимаю, почему большинство просто сидит в своем болоте, и все. Я ни за что не стану.

— Ты — нет.

— А ты почему не уедешь отсюда, Стеф? Ты-то могла бы.

— Уеду, наверное. Мне просто нужно немного собраться с мыслями.

Она склонилась к котятам, не желая пока вду-

мываться в вопрос сестры.

— Иди спать, Фредерика. Мне всю ночь еще сидеть, я пока капельку вздремну. Иди спать.

5. Дэниел

Когда Дэниел своим ключом открыл дверь, снаружи уже стемнело, а в доме викария не горело ни одно окно. Было не так уж поздно, но миссис Элленби была скуповата на свет и тепло. В пролете викторианской лестницы прохладной колонной высился сумрак. Дэниел, давно привыкший, тихими шагами проложил путь меж опасных выступов стоячей вешалки и черного дубового сундука, избежал неверных под ногой истрепанных турецких дорожек и направился к кабинету хозяина.

Вот они, призраки роскошеств. Тяжеленный стол с доской, обтянутой кожей, пара чернильниц граненого стекла с серебряными крышечками, вольтеровское, темной кожи кресло, и за стеклами шкафа — стена книг в кожаных переплетах. В афганском ковре протоптано несколько дорожек: черно-золотой с искрами узор истерся до безымянной мешковины. Комната убиралась с чем-то похожим на страсть, но в ее стерильных пределах широко расплывалось дыхание нарцисса, пышно и нежно веяла фрезия. В неглубоком круглом китайском блюде с серебристым бликом

по черному лаку бледно виднелась композиция из цветочных головок. Пунцовые и лиловые чашечки анемонов, подснежники с зеленым кантом, пергаментные нарциссы, бледно-золотые фрезии лежали на воде, и тени их красок отражались в ней.

То было ежедневное приношение мисс Уэллс, старшей коллеги Стефани, давно и преданно снимавшей комнату у викария. Потревожив цветы, Дэниел включил настольную лампу. Его мать говорила, что опасно оставлять цветы на ночь в комнате. Когда отец умер и лежал мертвый, она каждый вечер переносила все вазы в судомойный чуланчик и тесно составляла в сколотой глиняной раковине кровяного цвета. Цветы выдыхают какой-то ядовитый газ — так ей сказали сестры в больнице. Дэниел воспоминание отогнал, взял библиотечную лесенку и стал изучать книги в шкафу.

Полный Шекспир, черно-золотой, обнаружился на верхней полке. Стеклянная дверца была заперта. Дэниел посмотрел, не торчит ли ключ в какой другой дверце. Ключа не было. Он грузно спустился с лесенки, в слабом кружке света осмотрел поверхность стола, открыл серебряную шкатулку, пахнущую табаком, потом деревянную, набитую

скрепками и наклейками на конверты[39]. Потом, как тать в нощи, принялся рыться в ящиках, обнаруживая маленькие клады монеток, резинок, старых самодельных крестиков для Вербного воскресенья. Наконец, приведенное в движение тайной пружинкой в одном ящичке, выехало в другом скрытое отделение, и Дэниел обрел, что искал: позолоченное кольцо с ключами от всевозможных хозяйственных таинств, начиная с несгораемого шкафа и кончая коробом швейной машинки. Снова забрался на лесенку, тяжело дыша, отпахнул дверцу и, разобрав наконец в полумраке надпись, спустил с полки том с «Королем Лиром». В длинном страничном желобке густо скопилась пыль. Он дунул, проследил, как опало и рассеялось облачко, потом еще протер книгу платком, замарав его черным. Мягко закрыл шкаф, тайное отделение, ящик стола, дверь кабинета и отправился наверх.

Его комната была на втором этаже — огромная, вроде пещеры. Высокий лепной потолок пучился потемневшими от пыли розами, яблоками,

[39] Примечания: 39

В связи с послевоенной нехваткой бумаги в Великобритании были популярны особые наклейки на конверты. На такой наклейке писался новый адрес, клеилась марка, и конверт можно было использовать повторно.

некогда белыми, а теперь цвета луковой шкурки от наползающей сырости. Два высоких окна до сих пор были украшены светомаскировочными занавесками: плотная, черная с желтой искрой смесь хлопка и ацетата, крупный узор из золотых звеньев. Эта комната, где искони обитали кураты мистера Элленби, называлась «спальня-гостиная с удобствами». В углу ее стоял мелкий жесткий диванчик, а в нише за занавеской помещались умывальник и крохотная плитка, на которой Дэниел должен был, по замыслу хозяев, кипятить воду для растворимого кофе и готовить себе ужин. Завтрак и обед он разделял с четой Элленби. Комната была одновременно перегружена мебелью и как-то пустовата, безлична, будто склад. Собственно, складом она и была — не в силах расстаться с ненужными предметами, миссис Элленби ссылала их в «спальню-гостиную». Поэтому Дэниела окружали: два гардероба, три комода, оттоманка, стоячий рукомойник, два журнальных столика, три кресла, рабочий стол, бюро со шторкой, три торшера, книжный шкаф со стеклянными дверцами, пуфик и троица мелких этажерок. Поодаль высился штабель общественных стульев из трубчатой стали и поддельной кожи. Тут был и дуб, и орех, и красный махагон,

и белый ясень. Обивка была либо цвета темной крови, либо какой-то невыразительной мышастой масти. По стенам висели Дюреровы «Руки молящегося», «Подсолнухи» Ван Гога и большое фото, с которого глядели два юных служки в церковных кружевах и медная ваза с лилиями — все в удивительно длинном луче света. На сером крапчатом линолеуме тут и там были разбросаны ковровые островки: маленький пунцовый (яковианская псевдоиндия), домодельный тряпичный с белым корабликом в ультрамариновых волнах, вильтоновский[40], недорогой и цветистый, с размашистой импрессионистской россыпью маргариток и кукурузных початков.

Дэниел сунул шиллинг в прорезь газового счетчика и включил старый обогреватель, который тревожно взревел и зафыркал: две секции плохо работали. Просунулся за занавеску, хмурясь, быстро обмылся до пояса. Сложил свое черное одеяние, надел пижаму, рябенький растянутый свитер и залез под одеяло.

У прикроватной лампы абажур был сплетен из полосок багрового пластика, лампочка горела скаредно — общий эффект выходил мрачный и

---

[40] Примечания: 40
Вид ковра, традиционно производимый в Англии.

лихорадочный. Дэниел склонился набок, чтобы багровый свет упал на станицы, и, ощущая неловкость в теле и где-то глубже, начал читать «Короля Лира».

Он читал медленно и кропотливо. Комната не нравилась ему, но он не тратил усилий на улучшения, не пытался развеять ее уныние. На это нужна была энергия, а он становился все бережливей, все дальновидней, когда дело шло о приложении энергии, своей и чужой. Имей он зрение похуже, не имей способности забывать о физических неудобствах, он заменил бы лампу или переставил. Но, решив машинально, что она внимания не стоит, он никогда больше о ней не задумывался.

Книгочеем Дэниел не был. Эти вещи всегда шли у него туго. В детстве, толстенький и бледный, он чувствовал, что жир облегает его, налегает, сдавливает. Перед самым обращением, в пятнадцать лет, он прочел где-то, что жир — топливо, дающее энергию. Эта мысль затронула его глубоко, изменила отношение между Дэниелом внутренним и Дэниелом внешним. Должно быть, впервые за всю жизнь он осознал, что эти двое крепко сопряжены. Теперь, говоря с прихожанами, он нередко подшучивал над собой: мол,

жир — его топливо. Быть толстяком в каком-то смысле значило держаться по-толстяковски. И в детстве, и сейчас важна была повадка: лучше всего нести себя с благодушной, размеренной развальцей. Другое дело, что порой навязывали ему роль Билли Бантера[41], толстого шута, что для священника — профессиональная опасность.

Отец-то его всегда знал, что под жиром спрятана сила. Он был машинистом на железной дороге. Дэниел вырос в Шеффилде[42], в черном от сажи домишке в ряду других таких же, с двориком, с нужником под шиферной крышей. Машинистов уважали, это были аристократы среди других рабочих. У Ортонов занавесочки были свежее, каменный скобленый порог — белее, латунь на двери — ярче, чем у других. Тед Ортон был человек непомерный и шумный. Приходя домой, он приносил с собой жар и гром машины, напор поршней. Он спотыкался о мебель, сдвигал комодные финтифлюшки, громко ел, чем бесил чопорную хлопотунью-жену. Он любил грубые

---

[41] Примечания: 41

Билли Бантер — герой популярных детских рассказов Чарльза Гамильтона (1876–1961). Толстый, грубый и заносчивый подросток Билли нередко попадал в комичные ситуации.

[42] Примечания: 42

Город в южной части Йоркшира.

шутки: выхватить вдруг ложку из чая и прижечь Дэниелу руку, за пудингом изобразить длинную и тошную сцену со сломанным зубом, а потом извлечь из набитого рта полукрону или флорин и вручить сыну. Дома он внезапно, вспышками, орал и жег глазами Дэниела: не спи! шевелись! займись делом! В пику ему Дэниел держался с какой-то неестественной, даже сановной размеренностью. Он думал, что боится отца, он опускал глаза, и пухлое лицо его становилось брюзглым и непроницаемым. Но в глубине и налетавшие грозы, и постоянная требовательность радостно волновали его.

Вне дома неуклюжее полнокровие Теда претворялось в силу более стройную: локомотив покинул станцию, он уже не пыхтит, не давится паром, а летит и жадно глотает длинные гладкие рельсы. Отец любил показывать ему депо, брал в кабину, даже катал иногда. Он дотошно проверял его домашнюю работу, порой выстреливал в него длинной арифметической задачей или цепочкой слов: ну-ка, как пишется? Обещал альбом для марок и поездку к морю, если Дэниел сдаст экзамены в среднюю школу[43].

---

[43] Примечания: 43
Эти экзамены сдают в возрасте 11 лет.

Дэниел сдал, хоть и не блестяще. И альбом хранил до сих пор. А вот поездки к морю не было. Неделю спустя Теда сбила на уклоне оторвавшаяся череда вагонеток с сырой рудой. Потом еще неделю Тед, огромный и сломанный, лежал в больнице. Потом он умер. Дэниел его так и не видел. Сперва сказали: проведаешь, когда придет в сознание. Потом — всё, отца нет. Дэниел был тогда зол на него — за смерть неопрятную и словно исподтишка, за то, что впервые отец что-то пообещал и не сделал. Теперь-то он видел, как это было нелепо. На похороны его тоже не взяли, оставили «играть» на улице с каким-то мальчиком. И мать никогда не говорила с ним о случившемся.

Позже он на вопросы отвечал, что смерть отца не помнит. Это была полуправда. Он замыкал свое тяжелое лицо, держался «как все» и в итоге выжил. Порой, когда сон уже брал свое или Дэниел замирал ненадолго в кресле, что-то включалось, и он снова слышал тот первый телефонный звонок: беда. Он был словно заперт в одном мгновении, время могло лишь возвращать его в одну-единственную точку. Дэниел чувствовал: от него требуется неким неведомым путем узнать, как все было, — авария, смерть, прочее. Узнать он не может, и потому вечно будет даваться ему эта

мучительная, ни к чему не ведущая попытка. Об этом он ни с кем не говорил.

А в альбоме пустые страницы были покрыты рядами гнездышек, в полупрозрачных нераспечатанных конвертиках ждали зажимы с резиной на лапках. Дэниел альбом не выбросил, но больше на него не взглянул.

После беды Дэниел ждал, что они с матерью станут ближе, рисовал себя в трогательной роли маленького хозяина дома, сироты, ждущего утешения и утешение дарящего. Но мать была теперь постоянно чем-то недовольна и все жаловалась через забор соседке на убогую пенсию, на мизерную экономию, на ломоту в костях. Дэниел слышал, как его называли обузой. Раньше миссис Ортон была миниатюрная, хрупкая, остро-точеная. Теперь ее затянуло жирком: плечи, бока, бедра, щеки. Среди всего этого нос, подбородок, тонкие пальцы и небольшие глаза слабо прочерчивали прежний тонкий абрис. Единственным глубоким наслаждением в ее жизни был флирт, порой расцвета — короткая пора перед замужеством, когда она кружила головы, когда все было гадательно, когда у нее была власть. С Тедом она присмирела, обставилась утешительными мелочами: какими-то кекси-

ками, скатерками, вышитыми салфетками для предохранения кресельных спинок, блестящими ложками, латунными колокольчиками. Все это она перекладывала, переставляла, поправляла, полировала, слушая его речи, скромно отводя глаза. Когда она овдовела, многие вещицы куда-то пропали, и, хотя занавески оставались безупречны, Дэниел привычно и равнодушно думал, что дом стал грязный, запущенный. Теперь вместо флирта миссис Ортон предалась сплетням: как раньше с подружками она хихикала над незадачливыми ухажерами и соперницами, так теперь деятельно вплетала нити в бесконечную сеть предположений, осуждений, соглядатайств за жизнью соседей. Она раз навсегда сменила туфли на шлепанцы и кормила сына консервами из жестянок.

Дэниел был одинок — настолько, что даже думать об этом не решался. В школе сделался тих и неприметен. Он корпел над учебниками, но всё вслепую — не видел глубинной, рациональной системы математики или языка. И поскольку он худо-бедно сдавал все, что положено, никто не интересовался: понимает ли он, что делает? Но Дэниел и не надеялся понимать. Успевай он чуть лучше, кто-то из учителей попытался бы,

может, его расшевелить. Чуть хуже — и на него, вероятно, оглянулись бы, занялись им. А так — он жил как есть. Он худо-бедно успевал достаточно, чтобы его не замечали.

Пятнадцатилетний, плотно обвитый удавьими кольцами жира, он в числе сводной группки учеников был направлен на Шеффилдскую неделю знаний. То был фестиваль нескончаемых речей и экспозиций: каменные напластования и паровая стерилизация молочных бутылок, плавление стали и запись о замке Вальтеофа[44] в «Книге Страшного суда», внутренние процессы ПТФК[45] и Мистерия меховщиков[46] в ритмизованной постановке «Лицедеек Изиды»[47].

Среди докладчиков по неясной причине был монах из местного англиканского сообщества

---

[44] Примечания: 44

Граф Вальтеоф (1045–1076) — крупный представитель англосаксонской знати, единственный сохранивший свое положение во время нормандского завоевания Англии в 1066 г. Позже то примыкал к Вильгельму Завоевателю (ок. 1027–1087), в награду получая власть и земли, то восставал против него. Казнен после неудачного восстания. Жизнь Вальтеофа во многом была связана с Йоркширом.

[45] Примечания: 45

Промышленно-торговая финансовая корпорация — финансовое учреждение, основанное в 1945 г. для работы с малыми и средними предприятиями.

[46] Примечания: 46

Имеется в виду мистерия, входившая в средневековый Йоркский цикл неизвестного автора, охватывавший события от Сотворения

мира до Страшного суда. Цикл состоял из сорока восьми мистерий и играл в городе Йорк в праздник Тела Господня. Традиционно каждую из мистерий разыгрывала одна из городских гильдий. Меховщики представляли «Вход Господень в Иерусалим». В ходе Реформации праздник Тела Христова был в 1548 г. отменен. Цикл продолжали играть, вырезав сцены, прославляющие Деву Марию, до 1569 г., когда он был запрещен окончательно.

[47] Примечания: 47

Странствующая женская труппа, составленная Нэнси Хьюинс (1902–1978) в 1924 г. из бывших выпускниц Оксфорда и игравшая преимущественно Шекспира. Труппе благоволила Сибил Торндайк.

Архангела Михаила и Всех Сил Небесных. Сообщество было строгое, крепко держалось обетов бедности, целомудрия и послушания, пробовало посылать своих в мир: на фабрики, в общежития для недавно освобожденных. Если верить программке, монах должен был рассказать о «жизненных возможностях для деятельных натур».

Ему выпало говорить тусклым вечером перед огромной, отяжелевшей, смутно раздраженной толпой, запертой среди колонн в скважистом полусумраке шеффилдской ратуши. Он возник сразу, четко, словно из-под земли, прямой и худой — столп черной сутаны, обставленный с боков сцены сфинксами с бронзовым фашистским уклоном.

Когда он заговорил, Дэниел в первый и последний раз познал совместный восторг.

Тот монах был оратор. Без явных фокусов, без цветистых оборотов он умел сообщить слушателям живую и властную страсть. Секунду он стоял тихо, измеряя безразличие ерзающей публики, а потом словами сухими и режущими разогнал все серое и косное. Для начала рассказал только о работе — о своей работе в миру. Деловито и сухо явил мальчишкам скаредность душ, узость

лбов, страдание, смятение разума, ужас. Где другие взывали и вопияли, он был лишь сдержан и точен. Он ни в кого не впивался взором, не ждал никакой реакции и все же управлял их вниманием столь же безусловно, как игрой собственных нервов. Он был один, говорил словно бы сам с собой, своим обычным голосом, не делая скидок на пресловутый юный возраст, на хрупкость душ, на недомыслие. Он был один, и он был всеми. С каждой новой мыслью его облик менялся, а сухой голос все продолжал. Вот губа отвисла в параличе, а потом застыла от страха, вот руки свела на секунду боль, вот что-то бессмысленное робко глянуло из глазниц в бесформенный мир. Лишь голос, беспощадный, не дрогнул ни разу.

Странно, говорил он: вот ведь вещи ясные, признанные всеми, — и так редко люди откликаются на зов. Христос завещал им, как нужно жить, а большинство и не пробует следовать завету. Тускло, с каким-то голым, без выражения, лицом он сказал: человеческая жизнь должна приносить пользу. Лишь немногие знают, на что способны. Остальные боятся знать, боятся, что обстоятельства заставят узнать себя. Так не лучше ли — он вскинул ладонь, белым вспыхнули распяленные, напряженные пальцы, — не лучше ли осмелить-

ся? Узнать себя и послужить добру. Тяжело жить с мыслью, что жизнь одна, что сделать успеешь лишь толику. Но в этом знании, как и в любом другом, скрыта сила. Видеть свой предел и все же действовать — вот она, подлинная сила, умножающая сама себя. Человек обязан думать о том, как употребить свою жизнь.

Зал был заряжен крепко, раскинутые руки монаха кончиками пальцев вбирали напряженное безмолвие. Жестом фокусника и волхва он повернул ладони вверх, затем вниз и сказал, что здесь, в зале, есть люди, которые на меньшее не согласятся и будут работать для Господа, рука об руку с Ним. Этих людей от силы двое или трое. Ему не нужны медяки пожертвований — нужны жизни. Христос пришел, чтобы человек жил полнее. Не счастливее, нет. Полнее.

К тому времени монах был уже красноречив, уже окутывал зал месмерическим заклятием здравого смысла и чистого разума. Но дело тут было не совсем в словах. Он был полон несомненной и подлинной жизни — и не только Дэниел, но и остальные отзывались ему, жаждали знания, предлагаемого на кончиках этих распростертых пальцев. Монах глянул в сумрак поверх голов на бледные ламповые шары, и весь зал, как одно

существо, проследил глазами его глаза и пойман был его ясным взглядом. Если бы он сейчас сошел со сцены, к нему протянулись бы руки, люди теснились бы, желая коснуться его.

У вас есть лишь ваша жизнь, сказал он. Немного, но зато взаправду. Возьмите же ее и употребите как должно. Есть один Путь, одна Истина, одна Жизнь. Остальное — сон.

Он вспомнил Йейтса[48]:

Робеют лучшие, а худшие полны
И ярости, и силы.

Он сказал: мы можем это изменить. Все мы, любой из нас может это изменить.

Дэниел не разбирался в риторике. Многое он потом не мог вспомнить, а то, что осталось в памяти, утратило тепло и силу, казалось вычурным и даже банальным. Но он запомнил навеки, как монах, завершая последний жест, — грозный, обнимающий, колдовской? — отвел глаголющие ладони, в которых вихрем вилась энергия. Запомнил, как по залу ураганом прошел восторг, запомнил, что можно сказать невысказанное,

[48] Примечания: 48
Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) — ирландский поэт и драматург. Приведенные строки — отрывок из его стихотворения «Второе пришествие».

освободить силу. Мальчики, сбившись кучками, горячо говорили. Было смутное ликование: речь тронула всех, а значит, это новое и странное внутри не нужно скрывать, можно о нем говорить, можно длить его. Дэниел, освобожденный, тоже стоял с ними и тоже говорил — кончилось одиночество, навязанное ему жиром и молчанием. На другой день он сходил к местному викарию и к директору школы узнать, какой нужен аттестат, чтобы принять духовный сан. Он был даже рад, узнав, что придется просидеть за партой лишний год, добирая латынь. Отпор только обострял в нем новое ощущение силы. У него была цель, в глазах появился свет.

Богословский колледж разъяснил ему многое из того, что случилось тем тусклым вечером. Он был цепко предан идее, воспринятой еще тогда, но со временем контуры ее выступили четче. Он понял, что в мире нужен практик — человек, полностью посвятивший себя практическим решениям. Смысл, в котором Дэниел употреблял это слово, возможно, существовал лишь для него одного. По мере того, как становилось ясно, что он не мыслитель и не книжник, что ему безразличны ранние ереси и чин литургии, собственные побуждения и чужие, — он повторял себе: ну-

жен практик. Быть практиком значило для него бороться напрямую с болью, нищетой, страхом. Вернуть, волоком втащить в область людских отношений тех, кого силы зла вытеснили из сферы понимания, взаимодействия, телесной нормы. Для этого нужно было иметь аттестаты. Все остальное — преодолимо.

Ему хватило практической сметки скрывать от наставников свое равнодушие к молитвенным собраниям и совместному самокопанию. Он считал, что следовало бы меньше внимания уделять духовной жизни его и его товарищей и больше — предстоящей работе. Впрочем, заявлять об этом вслух нужды не видел. Он был коварен и невинен под своей толстой респектабельной оболочкой. Она же обеспечила ему репутацию человека старательного, но туговатого. Когда ему вышло куратское место в Блесфорде, он не возражал: начинающему практику все равно было, где начинать. Поскольку он искал дела не с большой, а с малой буквы, никому и в голову не пришло, что это фанатик. И если мистер Элленби начинал уже кое о чем догадываться, то сам Дэниел до сих пор пребывал в неведении. Он думал о том, в чем состоит его работа и как ее лучше делать. Одинокие вечера проводил в

основном за письменным столом: что сделано, что сделать предстоит, к кому из прихожан зайти. Тянулись черные колонки квадратным почерком в разноцветных папочках. Он верил в записи: так ничего не забудешь и не упустишь. Верил в сетку взаимопомощи: чтобы одинокие навещали не выходящих из дому, скорбящие — тяжелобольных. И люди, как ни удивительно, проникались его подходом — так сильна была в нем вера, что это им посильно, что это их долг. Нужно было только хорошенько соображать, кого кому поручить. Пару раз он ошибался. Миссис Оакшот вызвалась посидеть с аутичным сыном миссис Хэйдок. Убежала от него в ужасе и пожаловалась мистеру Элленби на «духовный шантаж». Дэниела попросили извиниться. Он извинился. Теперь же ему пришло в голову, что Стефани Поттер вполне может поладить с Малькольмом Хэйдоком. Когда умерла кошка, Стефани была исключительно сдержанна, практична, ровна и разумна. Может, веры у нее и нет, зато есть сочувствие и ответственность. Он может лишь просить ее о помощи, и он попросит.

Он повернулся в своей узкой и жесткой кровати и занялся «Королем Лиром». Почему-то казалось важным прочесть его. Он сам толком не понимал,

в чем тут дело. Был и гнев, и смутное желание занять достойную позицию с Поттерами, особенно со Стефани. Не зная, ради чего читает, Дэниел стал читать ради сюжета. Хотелось узнать, чем кончится у Эдгара и Корделии, которых он принял за главных героев. Восхищенно, но без благоговения он следил, как Шекспир рисует старика: самого настоящего, невыносимого, надломленного, неизбежно переломанного. Он не видел того, что Билл, по натуре теолог и философ, видел автоматически, — черного, яростного богоборчества пьесы. Не потому, что ему почудилась тема искупления. Потому, что знал без доли сомнения, что мир именно таков, как тут показано, что Лир — правда. Он выписал кое-что для проповедей. «Дочь, дорогая, сознаюсь, я стар и бесполезен», «Кривлянья неуместны. К сестре вернитесь»[49]. Шекспир доходил проще и действовал сильней, чем в школе, когда Дэниел зарабатывал аттестат. Вот и ему достичь бы такой простоты. В том, что он говорил, была церковничья витиеватость, лишний призвук, нехорошо выделявший его. Дэниел его слышал, но не знал, как избавиться.

---

[49] Примечания: 49
Здесь и далее перев. М. А. Кузмина.

6. Дворец кино

По выходным Маркус впадал в безмыслие. Было у него одно место, куда никто не приходил, — неприкосновенное место, кафе при блесфордском Дворце кино. Школа запрещала кино, Билл порицал, за исключением особых, им лично отобранных, случаев. «Белоснежка», к примеру, прошла отбор как опыт сопереживания творчеству. Этот опыт вверг маленького Маркуса в ужас бесконечный и многоликий, сродни видениям, что одолевают отлетевшую душу в тибетской Книге мертвых. Чудища, вздуваясь, разевали пасти. Распахивались романтические бездны, падали белые водопады, вращались режущие лучи. Ревели камни, крошились скалы, и когтили мир существа кроваво-красные, слизисто-зеленые, черные. «Потрясно», — выдохнула Фредерика. Маркус был потрясен до степени нестерпимой. Уже тогда он попытался изничтожить иллюзию, он изогнул шею и стал смотреть на чистый конус света, волнисто струившегося из высокого проектора. Но Маркус был мал, мошенническое верещание экрана захлестывало его, и разум не помогал. Когда он, засыпая, сомкнул глаза, фан-

тасмагория вломилась в череп.

«Бэмби» и «Слоненка Дамбо» Билл запретил, сочтя сентиментальными.

Но Маркуса влекли не запретные удовольствия. В фойе он поспешно миновал зазывные плакаты в хромированных рамах. Безупречные кинолюбовники обнимались под невозможными углами. Героический бледный мальчик, бережно тронутый тут и там кровяной краской, плыл в пиратской лодчонке по бурно застывшим волнам с резной, слоновой кости пеной. Подозрительно холеные собаки и олени радостно выступали под небывало зелеными купами навстречу розовому закату. Маркус никогда не смотрел кино. Его притягивал самый центр этой цитадели со слепыми, безликими снаружи стенами и дверьми, плотно запиравшимися изнутри.

Лестница, темноватая даже в полдень, уводила по кругу и вглубь. Шаги не отзывались звуком, не оставляли следов на нешироких ступенях, покрытых плотным пунцовым ковром. Сбоку вился поручень из золоченых плющовых веточек, увенчанный пухлым валиком малинового плюша. Цветки телесно-матового стекла лили мягкий румяный свет, теплой жизнью наполняя глянцевые лица на стенах. Темные обольститель-

ницы в черном кружеве, с багряными ногтями и длинными драгоценными мундштуками. Бледно-жемчужные дивы: пышная грудь в мягкой оправе лебяжьего пуха, губки капризно надуты, серебристые волосы уложены ровными волнами. Девочки в тугих золотых кудряшках, украшенных венками.

Первая площадка — пунцовая гладь с тихо плещущим фонтаном посредине. Вода течет из золотого сосуда в руке прозрачной нимфы в стиле ар-деко. Зеленоватое стекло, схематичное лицо, идеальные складки расширяющейся книзу туники, напряженные пальцы, маленькая высокая грудь с торчащими сосками. Внизу — неглубокая чаша фонтана, выложенная зеркальным стеклом, бронзовые кувшинки, подсвеченные снизу бериллом и турмалином.

Мимо и выше, глубже в тишину. Вторая площадка. За бронзовой дверью со стеклом, плотно завешенным изнутри портьерой, — кафе. Маркус толкнул дверь и оказался в мире подземном и смутном. Кое-где сквозь тяжелые, сборчатые кремовые портьеры пробивался слабый естественный свет. Навстречу ему сумрачно-розово сияли гроздья продолговатых бутонов на гнутых медных стеблях, растущих из зеркально-брон-

зовых колонн. На ковре тесно сплетались розы, румяные и кремовые, размером с капустный кочан. Миниатюрные стульчики были позолочены. Меж колонн высилась стойка с газированной водой: тихо шипящие нарядные сосуды и верениц бокалов двоились в бронзоватом зеркальном заднике. За стойкой две девушки в белых передниках и крошечных белых шапочках сидели на высоких табуретах, уперев локти в прилавок, и негромко беседовали. Посетители появлялись наплывами, и нередко Маркус часами бывал тут один.

Маркус брал молочные коктейли: темно-розовые, коралловые, шоколадные, канареечно-желтые с шапками медленно лопающихся пузырьков. Если тянуть понемножку, то хватает надолго, а пока тянешь или делаешь вид, никто к тебе не пристает, можно сидеть в тишине и безопасности. Из невидимых глубин наплывами проникали звуки: слабая музыка, взрывы стрельбы, удаленная сумятица. На оркестровых кульминациях все кафе мягко вибрировало, а потом снова откатывало в густую тишину. Маркус сидел неподвижно и старался избегать мыслей.

На это имелось у него несколько способов. Во-первых, можно было мычать про себя вариа-

ции из строго ограниченного числа нот средней октавы. Во-вторых (аналогичный способ) — составлять ритмические последовательности, постукивая по собственным костяшкам и зажимая вторые фаланги больших пальцев. А еще — рисовать математическую карту кафе. Для начала прикинуть высоту колонн и расстояние между ними. Сосчитать розовые лампы и кремовые розы на ковре. Вывести радиусы бликов, рассеянных меж столиков там, где свет преломился в зеркале и позолоте. Следить, как кафе с его мелочами медленно обобщается в куб, перевитый нитями, лентами мягкого света и цвета: бронза, крем, темно– и бледно-розовый. Тут было что-то от изгибистых причуд арабского изразца. Этот способ утолял его лучше всего, но он же был и самым ненадежным: кропотливо сплетенный кокон рвался, стоило вдруг шевельнуться одной из официанток, обычно представленных на карте в виде черных яйцевидных пустот.

Понятно поэтому, что Маркус, тихо тянувший свой розовый коктейль, был крайне недоволен, когда откуда-то сверху раздался голос:

— Вы будете не очень против, если я тут присяду?

Маркус дернулся и сглотнул, а тот уже широ-

ким движением выдвигал себе стул:

— Я вижу, нас посетила одна и та же мысль. Мы оба искали тишины и покоя. Совпадение. Я люблю совпадения. Полагаю, вы тоже?

Маркус неопределенно мотнул головой. Он сумел определить непрошеного гостя: Лукас Симмонс, младший преподаватель естествознания в Блесфорд-Райд. Симмонсу было, наверное, к тридцати, хотя выглядел он моложе: чисто вымытый, свежий, розовый, с каштановыми кудрями и большими карими глазами. У него был квадратик плеч под сиренево-серым твидовым пиджаком и зад, тяжеловатый для такого аккуратного верха. Идеальной чистоты рубашка и почти столь же безукоризненные брюки. Симмонс улыбался простецки-дружеской улыбкой. Маркус отвел глаза.

В программу аттестата А с правом поступления в университет был включен, для гармоничного развития юношей, общий курс естествознания. Этот курс и вел у Маркуса Симмонс — путано, постоянно отвлекаясь на вопросы с душком, что подкидывали мальчишки пошустрей. «Заболтать» Симмонса было нетрудно: он, казалось, умом не блистал и сам был рад при первой возможности уклониться от темы. При этом он был как-то странно неуязвим для насмешек: тут же

бросал урок, радостно и невпопад принимался отвечать на любую галиматью. Способные мальчики считали, что сажают его в калошу. Очень способные — что он глуп и ничего не замечает. Маркус полагал, что правда слишком проста и нелестна, а потому недоступна их пониманию: Симмонсу они безразличны. Симмонс — отрешен. Люди в большинстве не умеют распознать отрешенность, а жаль, думал Маркус. Сам он с уважением относился к этому свойству. Пока класс бесновался, Маркус рисовал. На миллиметровой бумаге выводил спирали, уходящие внутрь концентрических ромбов. Задача была не задеть, но при этом отметить и прочувствовать точку, где все линии сойдутся в бесконечности. Для этого можно было, например, рисовать очень тонко, почти невидимо: готовая сетка бумаги поддерживала тающие линии, не давала растаять совсем. Однажды Симмонс подошел сзади и долго смотрел на рисунок, улыбаясь и кивая. Маркус это запомнил. Он не любил, когда за ним наблюдали.

— Я вам точно не помешал? Что вы мне посоветуете? У вас, я вижу, молочный коктейль. Я тоже к ним неравнодушен… Мисс, будьте добры молочный коктейль — такой же, как у моего друга,

розовый. И пончик с глазурью. Два пончика… Вы не хотите? Тогда один. И пожалуй, *два* коктейля. Благодарю вас.

Теперь перед Маркусом стояло два стакана с розовой пеной, один початый и один полный. Выпить все это залпом и сбежать не представлялось возможным.

— Странно, что мы встретились. Я зашел по наитию, никогда раньше здесь не был. Но при этом немного думал о вас и потому уверен: совпадение из предначертанных. Вы верите в такие совпадения? Впрочем, не важно. Я о вас думал, потому что о вас говорят на собраниях. Боятся, что вы несчастливы в учебе. Несчастливы вообще. Они не знают, как к вам подойти. Уэддерберн сказал, вы не хотите играть в его пьесе. О, не пугайтесь! Никто и не считает, что вы должны.

Маркус издал какой-то придушенный звук.

— Не делайте такое растерянное лицо. Впрочем, я, кажется, лезу, куда не просят. Но я всего лишь хочу помочь.

— Спасибо.

— Пока не за что.

— У меня все в порядке, правда. Я просто не умею играть. Если они об этом.

— Как это не умеете? Я, между прочим, видел

вас в «Гамлете».

— Я не хочу. Я этого не люблю.

— Я понял, что не любите. Вы были так пронзительны и так несчастны. О, я все понял.

Симмонс длинно потянул коктейль, ненароком фукнув в воздух несколько малиновых пузырьков. Брезгливый Маркус стер пузырек с левой руки и вспомнил Офелию: вечера, когда сдирал с неподходящего своего тела истрепанные гирлянды и мятое белое платье. Он был тогда в жесточайшей беде. Его руки не его. Вместо слов — ее леденящие жалобы. Его волосы не его, — как от встречи с призраком, шевелятся и колют под плотной толщей длинного светлого парика, что он снимает каждый вечер. В какой-то забытой, потерянной им области отзывается ее горестная песенка: просится то ли наружу, то ли обратно внутрь. Чего ей нужно? Это было как рассеивание, только без разреженного воздуха и растянутого пространства. Рассеяться, выйти из себя — и быть запертым в удушающей шкуре грима, резиновых грудей, ее савана, обвившего и стянувшего его члены. Он слышал песни и крики и не знал потом: он это был — или кто-то другой.

— Опасная штука — актерство, — сказал Симмонс. — Для современного человека искусство

оправдывает все. Древние были мудрее. Те пуритане много лет назад — они отлично знали: *в тебя может что-то войти*. Вторгнуться в *сому*, в твое физико-химическое тело. Тут, знаешь, дьявол неподалеку. Игры с сознанием для профана губительны. Есть люди с замкнутым сознанием, им, конечно, ничего не делается. Есть те, кто упивается властью над ближним: мелкие наполеоны, магнетизеры и прочие. Ты — другой.

Маркус не очень-то понял бóльшую часть сказанного, но идея вторжения странно отвечала тому, что он пережил с Офелией и чего намерен был никогда больше не повторять.

— Твоя игра потрясла меня. Ты не актер, ты скорее медиум. Проводник для иного сознания. Я, к слову сказать, исследую сознание — как ученый, разумеется. Мы слишком боимся рисковать. Речь, как ты понимаешь, не о салонном спиритизме, не о сеансах, не о хрустальных шарах и прочей дребедени, оставшейся от древних ритуалов. Но и не о лаборатории. Там, завязав глаза, считают фишки, играют в карты, обходят на полшага закон средних чисел и тем довольствуются. Нет, мы должны начать с изучения людей, *явно* имеющих дар, возможности сознания, превышающие человеческую меру. Именно поэтому ты так меня

заинтересовал.

— Я ничего… — пробормотал Маркус. — Офелию кто угодно может сыграть.

— Знаю. Но у тебя ведь есть и другие дары? У тебя идеальный слух. Ты решаешь сложные задачи, не прибегая к логическим вывихам.

Маркус немо глядел на него. Он никогда и ни с кем об этом не говорил.

— Я поспешил? Ты прав. С такими дарами нужна осмотрительность. Попади они в неумелые или недобрые руки, была бы катастрофа. Например, это твое умение отдавать тело во власть иных сил… Есть силы добра, а есть силы зла. Думаю, пора объяснить тебе мою позицию.

Одной из неприятных странностей этой беседы, изрядно перекошенной в сторону Симмонса, было то, что она оказывала двойственное воздействие на него самого. С одной стороны, он сиял, улыбался, по-мальчишечьи свойски подмигивал. С другой — был явно и чрезмерно возбужден: потел и все промокал смятой салфеточкой лоб, розовый, как коктейль. Маркус не просил его «объяснять позицию» и не мешал ему это делать. Ни то ни другое не было ему посильно. Поэтому Симмонс продолжал:

— Я человек религиозный, но, так сказать, в

научном плане. Меня занимают законы организации Вселенной. Вот гигантские организмы вроде планет и галактик. Вот малые: Лукас Симмонс, Маркус Поттер, мыши и микробы. Да, мы больше, чем тела. С первых дней человек имел способы выходить за пределы физико-химической *сомы*. Разные способы, хорошие и плохие. Молитва, пляска, наука, секс… Их использовали по-разному, умело и неумело. Одним это дается легче, чем другим. Теперь слушай: в начале Бог расчленил инертную материю и облек свои творения формой. Это важное слово — *«форма»*. В родстве с латинским «informo» — «просвещать», «наполнять светом», «наполнять духом». Бог создает форму и наполняет ее собой. Если ты не исполнен Богом, в твою форму войдет нечто меньшее или худшее. Часто — то и другое вместе.

— Я не понимаю.

— Вижу и потому объясняю.

— Я не верю в Бога.

— Знаю. Но это не важно, старина. Верил бы только Гоб в тебя. Я давно за тобой наблюдал и пришел к выводу, что — верит. Ты вместилище для некой силы.

— Нет.

— Расскажи мне, как ты решаешь задачи.

— Я больше не могу ничего решать.

— С каких пор?

— С тех, как рассказал… одним людям.

— Ага! Ты предал свое откровение. Древних пророков Он за это карал.

— Да послушайте! Это было не откровение. Религия ни при чем. Это было как фокус.

— Положим, о религии и ее проявлениях ты не имеешь понятия. Ну да ладно. Так почему ты больше не можешь решать задачи?

— Я не хочу про это рассказывать.

— Ты вообще ничего не хочешь. Я следил за тобой, я знаю. А ты не думал, что, может, дело именно в этом? В том, что ты отвернулся от своего дара, своей силы?

Маркус об этом не думал. Он, как было сказано выше, усердно старался не думать ни о чем. Но чувство, что ему нет места в мире, не на что надеяться, не на что опереться, возобновившиеся причуды мозгового строя — то же рассеивание, — возможно, все это действительно началось, когда он утратил способность к решению задач. Симмонс в его глазах приобретал двойное значение настырного маньяка и мага, читающего мысли.

— Пожалуйста — для эксперимента, — попытайся вспомнить.

— Это было страшно. Очень. Я, наоборот, пытаюсь забыть.

— Я тебе ничего не сделаю, не наврежу. Мне просто нужно знать.

Отец привел профессора математики. Под руководством отца Маркус показал все свои фокусы. Отец и профессор были в восторге.

Маркус заговорил:

— Я думал, что все так могут. Что все так видят. То есть что все так видят задачи. Не знаю, как можно влезть человеку в голову. И зачем только они лезут…

— Не волнуйся. Рассказывай. Пусть я даже не все пойму, это не важно.

— Хорошо, попробую. Вдруг поможет.

Маркусу постепенно передавалась идея, что ему нужна помощь.

— Я видел… я представлял себе что-то вроде сада. В этом саду были формы — математические формы. Я выпускал задачу в сад, она там бродила среди форм, и за ней был светящийся след. А потом я видел ответ.

— Можешь описать сад?

— Нет.

В этом месте он тогда сломался. Под их взглядами, жадными и гордыми. Тут была точка схож-

дения, тут все исчезло, а потом сверху опустился черный конус или треугольник и навстречу ему поднялся такой же. Два разнонаправленных тела — или плоскости — сошлись в его мозгу и сдавили нестерпимо. Маркус упал лицом на стол в глубоком обмороке. Он опозорил отца. Его уложили в постель, ему велели не расстраиваться. После этого сада уже не было. Маркус знал без доли сомнения, что сада больше быть не может.

— Я уже пытался и упал в обморок. Когда очнулся, то ничего… то ничего уже не мог.

— Ну конечно. Так и бывает с дарами, подобными твоему. Расскажи. Хуже уже не будет.

— В общем, главное — смотреть по косой, как бы краем глаза — того глаза, что в голове. Видеть, *что* у тебя там и где. Но не в упор. Нарочно отводить взгляд и ждать, пока оно примет форму. И когда оно проступит, можно записать ответ и даже сказать слова, какие полагаются. Но его нельзя удерживать. И обязательно нужно ждать… А они — кому я показывал, — они торопили. Я не мог… я поторопился. Я попытался удер… удер… удержать. И все исчезло.

— Понимаю, хоть и не все. А формы можешь описать?

— Ну, это формы, — сказал Маркус, словно ответ

был самоочевиден. — Они меняются. Не твердые и не жидкие. Это как планиметрия, и плоскости движутся, и вроде бы деревья, цветы, но не совсем, как здесь. Или идешь полем и проходишь сквозь разные плоскости, но сопротивления не чувствуешь. Плоскостей много, и в разных измерениях, и они все время меняются. Это не по-настоящему такое место, а в голове. Но оно там по-другому, чем, например, Рамсгит или Робин-Гудова бухта[50]. Частями — да, обычный лес, поле, а частями — совсем другое… Нет, не могу.

Симмонс озадаченно нахмурился. Неожиданно властно протянул руки к запястьям Маркуса, но тут же отдернул.

— Поразительно. Поразительно… — пробормотал он.

Маркус вспомнил теперь утраченные сияющие поля, о которых не горевал лишь потому, что боялся вообразить их в достаточной полноте. Вспомнил — не словами, а каким-то бессловесным наплывом, — как упоительно было там, как чисто и ясно, солнечно, воздушно, вольно.

— Я думаю, — говорил тем временем Симмонс, — что не ошибся, хоть и шел, что называ-

---

[50] Примечания: 50
Живописные приморские городки в Йоркшире.

ется, наугад. Ты и впрямь имеешь доступ к мысленным формам, к схемам, что нас формируют и подчиняют. Теперь тебе нужна некая духовная дисциплина, чтобы твой дар рос и не был для тебя же опасен. Я могу тебе ее дать, для того совпадение и привело меня сюда. В последнее время мир так увлекся *сомой*, что забыл о *Психее*. Контроль физический, телесный над собой и вселенной мы приобрели безусловно. Чего у нас только нет: микроскоп, телескоп, циклотрон, синхротрон. Тон, частота, цвет, свет — все нам подвластно. Человек создает думающие машины, с которыми уже не может тягаться. Ну хорошо, а сами-то мы? Мы же все растеряли — все немногие способы общения с тем Сознанием, что нас наполняет. Ты необычайно одарен. Ты мог бы — при поддержке, при разумном экспериментальном подходе — открыть новые способы. Что скажешь?

Маркус не выносил громкие звуки и яркий свет. Ему никто еще не сказал, что астматики могут улавливать более высокие частоты, чем обычные люди. Со временем скажут, и он поверит. Сейчас же голова его подвешена на проволочках. Тонкие-тонкие спицы вошли в отверстия черепа, трутся там друг о друга с жестокой и мучительной музыкой, длятся, уходят в бесконечность.

Он потряс головой, чтобы согнать наваждение, и спицы задвигались, остро врезаясь в податливую мякоть, в пустоты его сознания.

Зачем тут Симмонс? Симмонс не вернет ему светлые поля.

— Ты, конечно, понимаешь, что трудно не сбиться на шарлатанский язык с астральными телами, аурами, эктоплазмой. Но я не о них говорю. Тут главное — твои способы восприятия вселенной.

— Сэр, я не могу больше. Я хочу побыть один.

— Но ты же сейчас рассказал мне все и в обморок не упал.

— Я не могу.

— Тебе стало лучше…

— Да нет же, нет!

— Думаю, что со временем ты поймешь. Совпадение еще сведет нас. Пока же я все сказал. Сиди, я заплачу́. — Симмонс поднялся, сияя. — Запомни: в Божьей вселенной случайных совпадений не бывает.

— Я в Бога не верю. Это все какая-то бессмыслица.

У Симмонса лицо повело от боли, но он снова, как резиновый, округлился ничего не выражающей улыбкой.

— Когда что-то случится и ты разглядишь смысл в моих словах — а именно так и будет, я уверен, уверен!.. Когда разглядишь — приходи ко мне. Только об этом прошу. Помни всегда: я рядом. Остальное сделается само.

7. Просперо

В марте, черном и ветреном, Мэтью Кроу принялся информировать и оживлять местное общество. Празднество долженствовало стать его Magnum opus. Кроу желал вызвать к жизни музыку и цветы, полуночный гомон и ликование, танцы чинные и под хмельком, словно бы снова Елизавета катит по своей летней, веселой Англии[51]. Тут и там гусиная ярмарка[52] с балаганами и каруселями, какой-нибудь псевдорыцарский турнир, и, конечно, Александрова «Астрея». С энергией невероятной Кроу перемещался по всему Северному Йоркширу. Возникал то в ближнем соборе, то в рыбацкой деревеньке, выступал в офицерских столовых и горняцких клубах, бурно извергался идеями, обещаниями и деньгами. Александр, когда позволяла школа, сопровождал его, все больше поражаясь его организаторскому гению. Александр молчаливым

---

[51] Примечания: 51

Имеются в виду ежегодные летние поездки Елизаветы I по стране в сопровождении двора и многочисленной свиты.

[52] Примечания: 52

Название старинное, происходит от средневековых осенних ярмарок, куда свозили гусей на продажу.

красавцем стоял на всевозможных возвышениях, покуда Кроу оплетал красноречием материнские общества, городские женские союзы, швейные и садоводческие кружки. В его манере было что-то неотразимое — так лорд Бивербрук призывал хозяек швырять цинковые ванночки, железные калитки и разный алюминий в груды металла, что пойдет на патроны. Так Савонарола звал флорентийских красавиц покаяться, спасти душу и подбросить в его костры париков и бесценных камней. Кроу разжигал свою йоркширскую паству на великие труды. Снова понадобилась неотступная энергия, о которой уже скучали женщины, не так давно вязавшие для фронта шарфы и разбивавшие «огороды победы»[53]. Как и Савонарола, Кроу потребовал шелков и драгоценностей — каждая стекляшка пойдет в дело, каждый клочок яркой ткани преобразится и заново воплотится в пышных робах королев и придворных дам. Он потребовал тонких ремесел, настоящего шитья на фижмах и камзолах, что в свой срок сами станут музейными экспонатами. Он повелел прочесать округу в поисках исконно английских рецептов: печеная кабанья голова, зе-

[53] Примечания: 53

Во время войны британское правительство из-за нехватки продовольствия поощряло разведение огородов.

леный верджу́с — сок из кислых яблок, фру́менти — молочная каша, заправленная пряностями, сэлмага́нди — томленое мясо с перепелиными яйцами, разной овощью и ароматным уксусом. Он хотел, чтобы край вспомнил былую блаженную красу, чтобы земля, измученная людской любовью, расцвела цветами старинными, сладко-пахучими: лавандой, желтушником, божьим деревом, луговой и садовой гвоздикой.

Он обвораживал и мужчин: под его увещания гарнизонные офицеры, фермеры, плотники, пекари, бойскауты доставали лошадей, сколачивали телеги и прилавки для сластей, вытачивали паланкины, возводили павильоны. Он помогал омоложению церковных статуй, обновлению позолоты на мертвых елизаветинских младенцах в соборе, приобретению сверхпрочных витрин для выставки древних потиров, хранимых под спудом. Он наезжал в прибрежные городки, где январь и февраль бурями и наводнениями выжили людей из дому. Сочувственно тыкал тростью в осклизлые ковры, гнилые обои — и доставал бумажник. В ту пору среди старых стен, аспидных, серых и белых, стали невпопад проблескивать юбилейные цвета: домики, гаражные двери, толстые бревенчатые изгороди

«под ранчо» окрасились в пастельную лазурь, в едкую цыплячью желтизну, в резко-лиловый гелиотроп. Кроу сообщил Александру, что намеревается псевдотюдоровские дома в пригороде Калверли и Блесфорда снабдить псевдотюдоровскими цветущими изгородями и целыми кущами псевдотюдоровских роз.

— Свет, цвет, музыка, благорастворение воздухов — и пусть всего будет много, черт побери! Край истосковался по жизни. А я уйду в огнях фейерверков, в легкой пене наслаждения, оставив по себе кое-что на память. Труды не только моих рук, но в каждом — моя лепта. Университет, ваша дивная пьеса, друг мой, сколько-то похорошевших садов и площадей. А потом сломаю жезл, но книги топить подожду[54]. Запрусь в своей башне и буду отдыхать от трудов, глядя, как новенькие студенты в новеньких черных мантиях живописно бродят меж моих тисовых изгородей. С мантиями вышла некоторая заминка — их сочли слишком *démodé*[55] для такого *нового* и де-

---

[54] Примечания: 54

Отсылка к шекспировской пьесе «Буря», где волшебник Просперо ломает свой жезл и топит волшебные книги, отказываясь от своего колдовского могущества.

[55] Примечания: 55

Старомодными *(фр.)*.

мократичного заведения. Но думаю, благородство возобладает и мой последний каприз почтят… Краю нужен титанический подъем. Взять как можно шире, захватить все и вся — надолго. Я в равной мере взываю к высоким идеалам и низким страстям. Не нужно снобизма, у нас все сплетется гармонично: вышивка и стразы, ячменный сахар и сладкая вата, старые слова, новые… И состязательность, мальчик мой, самая вульгарная состязательность! Затеем конкурс на лучший деревенский праздник, лучшее елизаветинское угощенье, лучший елизаветинский сад — отдельно будем смотреть старинные и новопосаженные. Длиннейшие, подробнейшие пробы во все музыкальные и танцевальные действа, и особенно — в вашу пьесу. Мы, как самые хищные киномагнаты, весь край перевернем в поисках талантов, каждой девчонке заглянем в вырез форменной блузочки, каждого мальчишку заставим хвастать, что он за сорок минут опояшет землю[56]. А кто постарше — тем дадим Калиба-

[56] Примечания: 56

Примерно так говорит Пак, магическое существо из шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь».

на…[57] Мы всех привлечем и вовлечем…

Кроу сидел маленький, херувимски-округлый, розовый и сияющий. Серебряный пух легко парил над заостренными ушками, пухлые ручки описывали круги, изображая привлечение всех и вся. Он подлил скотча Александру, в последние дни пившему, пожалуй, многовато, и предложил тост.

— За Золотой Век! *Redeunt Saturnia Regina!*[58] Дело кипит. Я преисполнен надежды и веры.

В городках и деревушках были учреждены местные праздничные комитеты. Александр немало потратил обаяния, убеждая Билла возглавить блесфордский комитет, куда входили Фелисити Уэллс из школы для девочек и викарий Элленби. Презрение к этим двоим и гневливый страх, что Кроу переманит его суровых последователей позлащенными пирожками и пивом[59], тянули Билла в противоположные стороны. Наконец он

---

[57] Примечания: 57

Дикарь-чудовище, один из главных героев шекспировской пьесы «Буря».

[58] Примечания: 58

Возвращается Королева Сатурния *(лат.)* — отсылка к Елизавете I.

[59] Примечания: 59

Символ мирских радостей, отсылка к шекспировской пьесе «Двенадцатая ночь».

согласился, лелея троцкистский план атаковать мишурную философию Кроу на его же деньги, изнутри его же организации. Он-то уж позаботится, чтобы веселящиеся узнали о полицейском тюдоровском государстве, о кромешном произволе судей, о голодающей, зачумленной армии. Он устроит в Блесфорд-Райд выставку орудий пытки и серьезную лекцию историка-политолога. Первая вызовет жгучий интерес, вторая не вызовет, но послушать придут. Публику притянут сам Кроу с его неуемной рекламой и жажда ужасов, свойственная мальчишкам.

Комитеты ездили по школам и колледжам, всюду встречая деятельную поддержку. В одну из таких поездок Александр, вслед за мистером Элленби, вступил на сцену зала собраний в блесфордской школе для девочек. Поэт и викарий составляли звенья странно подобранной вереницы, включавшей также сияющего Кроу, чрезмерно благожелательную директрису, мисс Уэллс, болезненно сознающую близость Билла Поттера, и самого Билла, хищно ждущего проявлений буржуазной морали.

Фелисити Уэллс предстояло говорить. У нее возникла заминка с ножкой собственного стула и с гортензией в высоком горшке. Она сделала

ошибку, предварив рассказ о Новом Ренессансе долгим и сложным анализом Старого, поскольку тот оставил особый отпечаток на Калверли. Затем некий бес толкнул ее пространно уклониться в сторону бесчинств Кромвелевой армии: солдаты, расквартированные в нефе Калверлейского собора, ради тепла сожгли уникальную алтарную преграду. Мисс Уэллс была миниатюрная женщина с жидкими серо-седыми волосами, стянутыми в тощенький пучок поверх шиньона из конского волоса. Длинные булавки торчали из пучка, словно крокетные воротца. На фоне седины ее смуглая кожа напоминала полированное дерево, над крупным носом и толстыми губами посажены были черные, удивленные глаза. У нее были крошечные ладошки, которые она в одушевлении часто вскидывала вровень с ушами, становясь похожей на обезьянку или заводную куклу викторианской тонкой работы.

Мисс Уэллс знала, что в шаге от нее играет мышцами Билл Поттер. Лицевые растягивает в злорадную усмешку, а телесные, вполне возможно, напрягает, чтобы налететь на кафедру с внезапной речью. Обе его дочери были тут же и речи боялись до столбняка. Стефани, сидевшая в торжественно-подтянутом ряду младших

педагогов, — по прихоти судьбы, прямо за Александром, так что коленями почти упиралась в его ягодицы, — понимала, что Фелисити затягивает, и ревниво тревожилась за нее. Мисс Уэллс была добрая душа. Она ни на кого не сердилась, никогда не теряла ровной благожелательности и, конечно, заслуживала ответного снисхождения. Мисс Уэллс тем временем бесстрашно усугубила допущенную бестактность. Это к лучшему, сказала она, что ничего не вышло из затеи Кромвеля основать в Калверли университет. Она лично разделяет взгляды Т. С. Элиота, роялиста, англиканина и консерватора. Она рада, что основы университета закладываются в новой атмосфере возрождения исконных истин и форм, под эгидой… Билл громко фыркнул. Кроу улыбался бесконечно, заглаживая неловкость, забавляясь возмущением Билла, упиваясь властью. Стефани смотрела на Александра, а тот, мучимый неловкостью, глядел в зал.

На полу против сцены, ноги калачиком, сидели в несколько рядов девочки маленькие, средние и почти большие. Позади, под балюстрадой галереи, разместились девушки из двух последних классов и поверх голов рассматривали компанию на сцене. Так и сяк скрещивались ряды разнооб-

разных ног в фильдеперсовых чулках, смущенно или кокетливо складывались руки под острыми грудками и щедрыми грудями, вздувающими бантовку форменных платьев. Вся эта масса вызывала у Александра оттолкновение. Войдя в зал, он услышал, как шиканье и шелест одежды глухой завесой упали поверх резкого писка и щебета женских существ. Топочущий, ухающий гул мальчишек действовал на него успокоительно, а эти звуки тревожили. Он так и сяк скрещивал ноги, чувствуя, как мелкие, женские уже, глазки змейками скользят по его коленям и открытой коже на щиколотке. Увидев Фредерику, прямую как шест в тени колонны, он вспыхнул от слабости: Артегэль в доме Редегунды[60], Геркулес под жадными взорами Омфалы.

За спиной у него Стефани, сложив руки на чинных коленях, старалась подавить бессмысленную тревогу за Фелисити, закусившую удила, и не чувствовать дуновений оттуда, где вихри ярости стояли над головами отца и сестры. Она стала думать об Александре, попыталась увидеть зал его глазами. Ничего такого: обычный школьный зал. Окна слишком высоко, ничего в них не вид-

[60] Примечания: 60

Отсылка к «Королеве фей» Эдмунда Спенсера. Подробнее см. примеч. к с. 17.

но, пыльные, с защелками и свисающими с них длинными петлями шнуров. Угрожающе кособокая галерея. Доски с короткими, в золотой кайме, списками стипендиатов разных университетов. В списке Кембриджа есть и ее имя, последнее, самое новое. Посреди зала — Венера Милосская.

Многое связано с ней. Пока ты маленькая, то сидишь впереди всех, и жуткие, слепые глаза Венерины глядят у тебя из-за спины. Более-менее достигнув девичьих лет, сидишь у подножия или сбоку, и, если закинешь голову, видна ее плотная талия, непомерные спеленатые бедра и культи рук. Потом добираешься до последних классов, богиня спиной к тебе грузно вперяется в пространство, а ты видишь эту спину и мощный зад. Гипс у нее ноздреватый, изжелта-бледный, как старый сыр, а сверху толстый слой лака. Давно уж утрачено всякое подобие мрамора, и если взглянуть критически, то матово-лоснистое, разбухшее тело богини отдает трупом. С одиннадцати до восемнадцати лет смутные утренние чувства Стефани стягивались к этой незрячей глыбе. Стефани выросла, смотрела теперь сверху, но богиня так и стояла, тяжкая, посреди всего.

Глядя на волосы Александра, пройденные гребнем и такие живые, Стефани неотчетливо ду-

мала, что, наверное, вернулась после Кембриджа ради него. Она любила его смущенную, таящуюся душу, — казалось, однажды он взглянет пристальней, и станет возможна слитная жизнь, скрытая от досужих взоров, тихая, ясная, немногословная. Она не знала, чего он хочет, иногда думала, что он уранит. Но про таких всегда знаешь, кожей догадываешься. Думает он о ней хоть немножко? Другие мужчины думают — почему же он нет? Или правда она для него невидима? Может, она и любила-то его оттого, что не знала ответа.

Александр задавался тем же вопросом: ему почему-то никак не думалось о Стефани. Если выпадало обменяться парой слов, как в последнее время о пьесе, обещал себе поговорить основательно и все не находил случая. У нее был золотистый отсвет и быстрый ум, она согревала и понимала. Это, наверное, и страшило его, ведь дальше маячило то, чего он боялся несомненно. Но подлинная угроза исходила от Фредерики, внезапно возникшей в поле зрения, хмуро, нелепо и одержимо впивавшейся в него всем существом. Жаль, что ее не пороли в детстве как следует… Билл поднялся, чтобы говорить, не то по регламенту, не то по велению души, и Александру подумалось, что вполне возможно — пороли. Он

не выдержал ее напора и опустил глаза.

Билл тем временем с кафедры посрамлял противников. Представляется возможность поведать подлинную историю Калверли и его окрестностей, с насильной вербовкой, поджогами, луддитами[61], голодными походами. Кстати, он вынужден мимоходом заметить, что солдаты Кромвеля вели себя достаточно пристойно. Настоящий ущерб собору нанесли иконокласты, последователи мирской Девы[62] и ее святейшего братца. Стефани старалась не слушать. Вслушаешься — пожалеешь, с Биллом иначе не бывает. Но под скрипучее его красноречие ей подумалось, что мечта о безмолвной слиянности с Александром идет от Билла, как и возвращение в убогую школу. И врата садов кембриджских она захлопнула за собой, только чтобы у Билла подольше громыхало в ушах.

То, что она здесь, — крайняя форма пассивного сопротивления. Билл не желал, чтобы она «бессмысленно тратила себя» на школу. Поэтому — школа. Поэтому она до сих пор живет в его

---

[61] Примечания: 61

Текстильщики, уничтожавшие новые машины в страхе, что те оставят их без работы.

[62] Примечания: 62

Отсылка к традиционной ассоциации Елизаветы I с Девой Марией.

доме, утверждая независимость отказом выехать, поселиться в призрачном здании его честолюбия: эта тюрьма будет похуже дома. Билл был хорошим учителем, и она благодаря природе и учению имела все дары, каких он для нее желал. Но то было его честолюбие, не ее — поэтому к дарам она не прикоснулась. Зато последовала его рацеям и личному примеру: избрала честный труд там, где честный труд награждают скупо.

Стефани доводила Билла до бешенства. Он-то видел ее членом совета Сомервильского колледжа[63], литредактором достойного еженедельника, провинциальным профессором… Возможно, так бы оно и было, не желай этого Билл. Теперь не будет. Ей было жаль Фредерику, равно одержимую амбицией и моралью, гонимую в разные стороны то горячим ветром, то холодным. Еще жальче стало, когда мисс Уэллс перешла к списку девочек, отобранных для проб на «Астрею» в Блесфорд-Райд. Ярость в лице Фредерики сменилась гримасой отчаянного волнения. Ничего в жизни она не желала так, как оказаться в том списке.

Списки — форма власти. Власть остро занимала Фредерику: кто и зачем решает, как нужно ходить

---

[63] Примечания: 63
Колледж в Оксфорде.

по школьному коридору, сколько девочек будет в первой шеренге, какие должны быть носки, панталончики, чулки, какого размера и цвета клетка на форменной ткани. Принятые, изгнанные, выдающиеся и отстающие — все попадают в списки. Списком идут обладательницы призов за осанку, отличницы по поведению, теннисистки из школьной команды, спорщицы из клуба дебатов. По убыванию баллов выстроены взыскующие аттестата, и каждый класс выстроен: по отдельным предметам и по их сумме. Фредерика ненавидела списки с неистовой энергией — и в каждом рвалась быть первой, кроме случаев, когда за первенство даже и не боролась. Она знала, что учителя ее не любят. Но справедливость требовала, чтобы Фредерика Поттер возглавляла каждый список, а составители их обязаны были являть собой образцовое беспристрастие.

Ее имя должно было, разумеется, венчать и программки школьных постановок. Фредерика понимала, что тут беспристрастие решает не все, но ей было невдомек, какая это пытка — терпеть ее на занятии драмкружка или просто слушать, как она читает вслух. Распределяя роли, педагоги ежились от ее напряжения: глаза, рот, пальцы на руках и ногах — все горит отчаянным азар-

том. Получив роль, она читала неистово, чем коробила остальных, полагавших, что в классе приличен тон поглуше. Не получив — уходила в себя, в подлобье, вперялась оттуда злыми глазами. Тихо бурчала, склонившись к парте, явно проигрывая все то же, но гораздо лучше.

Странное дело: ее неприкрытая, упорная жадность не считала строк в ролях. Важен был пол. Фредерика Гонерилью предпочитала Лиру, а Миранду — Просперо. В женских ролях она тряслась листком и громыхала медью. У Шекспира мужчин больше, и они страстней, но в исполнении Фредерики они почему-то не столь угнетали ее подневольных зрителей.

Хуже всего было, когда на литературе читали «Святую Иоанну»[64]. Мисс Уэллс призналась Стефани, что с трудом пережила это время. Минутами ей всерьез казалось, что Фредерика кинется на нее с кулаками за то, что другой девочке досталась роль Иоанны в сцене суда или в эпилоге. Минутами, поручив ей что-то прочесть, мисс Уэллс хотела бежать из класса от мучительной неловкости за непомерный пыл, вложенный в каждое слово.

---

[64] Примечания: 64
Знаменитая пьеса Бернарда Шоу (1856–1950).

И вот мисс Уэллс поднялась, готовясь зачитать список из двадцати с чем-то имен. Фредерику скрутило винтом, она отчаянно вперилась в Александра, а тот, разумеется, сделал вид, что не заметил. Стефани с легким раздражением думала о Фелисити и сестре. Была ведь попытка Фредерику из списка выкинуть. Та же мисс Уэллс сказала, что девочку ждет научная стезя и ей не стоит распыляться. Фредерика слишком уж выставляется, добавила директриса, нужно и другим дать шанс показать себя. И если теперь Фредерика значится в списке, то лишь благодаря Стефани. Это она с неожиданной твердостью сказала, что несправедливо и недолжно ее вычеркивать. Говорила и знала: она просит такой малости и так много приносит пользы, что ей не откажут.

Когда прозвучало ее имя, Фредерика длинно втянула воздух, разжала добела сведенные кулаки, метнула в Александра горделивый и собственнический взор — и сразу потеряла интерес к остаткам действа, словно ее имя было в мире единственным. Стефани пережила мгновение чистой злости. Сразу вслед — раскаяние и беспокойство: сейчас маленькая победа, но что же дальше?

А Фредерика пылала надеждой заносчивой и

глупой.

Девочек из списка привезли в Блесфорд-Райд на нанятом автобусе. На каждой был берет с золотыми вышитыми розами и герсой[65]. На каждой — полосатый галстучек. Все казались до удивления на одно лицо. Они тесно сбились на подъездной площадке, а автобусы высаживали все новые девичьи группки. У многих были беленькие носочки, но выше начиналось нечто увесистое и матроноподобное. Тут сказались, конечно, форменные платья и фартуки, но не целиком. И без формы в те года девушки тяготели к дородству — отчасти из-за идеала, предложенного им для подражания в журналах и фильмах. То была не девушка, а женщина в пышном полуденном расцвете, с дорогими шляпками и перчатками, полускрытая таинственной вуалью или подкрашенная рукой многоопытной. Опыта, краски и вуалей достать было негде. Оставалось дородство.

Сейчас все они стояли и подозрительно оглядывали друг дружку. Мимо с урока на урок пролетали мальчишки, кое-кто насвистывал. Мисс Уэллс судорожно протянула было лапку к

[65] Примечания: 65

Герса — опускная решетка крепостных ворот — один из символов династии Тюдоров и, в частности, Елизаветы I.

одному-другому, но тут высунулась Фредерика: она знает, где Главный зал, а следовательно, и пробы. Она всех отведет. Фредерика решительно зашагала галереей, и все девочки, даже из других школ, послушно потрусили за ней. Она с громом распахнула двери и полководцем вступила в Зал. Ее армия шла нестройно, то замирая, то сбиваясь в кучки, но это было не важно.

В Зале самый воздух веял свободомыслием. Лодж, в непомерном и гнусно засаленном свитере, развалился в кресле, перекинув ногу через ручку. Он курил. Александр в классической позе прислонился к арке в авансцене. Этот изящный перекрест лодыжек Фредерика узнает потом у любовника Хиллиарда[66], церемонно застывшего за сквозной завесой бледных роз. Кроу являл собой какой-то самум энергии: рассаживал девочек по залу, кричал указания кому-то невидимому насчет прожекторов, и вот Александра и сцену медленно и тепло залило золотисто-розовым светом.

Все подготовились к пробам. В зале сидели

---

[66] Примечания: 66

Николас Хиллиард (1547–1619) — придворный художник-миниатюрист Елизаветинской эпохи. Автор портрета Елизаветы I, получившего символическое название «Пеликан»: мать, кормящая детей собственной кровью. Личность молодого человека на описанной миниатюре устанавливается лишь предположительно.

Утраты, Имогены, Елены[67], герцогини Амальфи[68]. Фредерика часами репетировала перед зеркалом, колеблясь между Еленой и герцогиней. Услышав ее бешеную декламацию, Стефани осмелилась предложить себя в качестве зрителя, а позже дать жалобный совет: капельку поменьше экспрессии, пусть стихи говорят за себя. Фредерика разразилась бранью.

— Тебе-то откуда знать! — вопила она. — Ты вечно на вторых ролях, ты жить боишься!

Лодж разделил девочек на группки, а потом вдруг велел им плясать и бегать. Скинуть шляпки, бросить пальто, вихрем через зал на сцену, и там — хороводы, прыжки, скачки! Александр сел к роялю и заиграл старинную песенку. Девочки принялись бегать по сцене. «Быстрее!» — крикнул Лодж. Длинные косы заплясали, ударяясь в почетные значки старост, мягкие хвостики зачиркали по вспыхнувшим щекам. Лодж захохо-

---

[67] Примечания: 67

Утрата, Имогена и *Елена* — сильные духом героини шекспировских пьес «Зимняя сказка», «Цимбелин» и «Все хорошо, что хорошо кончается» (соответственно), перенесшие много невзгод в борьбе за свою любовь.

[68] Примечания: 68

Героиня мастера кровавой драмы Джона Уэбстера (1578–1634). В «Трагедии герцогини Амальфи» смелая и страстная герцогиня наперекор братьям вступает в тайный брак с собственным управляющим Антонио и гибнет по воле мстительного брата.

тал: «А теперь — выше!» Они с Кроу что-то быстро писали в блокнотах. «Выше прыгайте, тянитесь, каждую жилку освободите!»

Фредерика была лишена телесной грации. Дома перед зеркалом голос нырял и рыдал, а руки окостенело висели вдоль косного тела. Она попросту не знала, что с ними делать. Раз, в роли герцогини Амальфи взывая к робкому возлюбленному, она ткнула рукой куда-то вперед и сама себе напомнила заводного барабанщика, что был в детстве. Теперь она деревянно скакала, громыхая о деревянный настил, злобно тыркалась вверх несгибаемым телом, громоздкая в куще плещущих рук и проворных ступней. А рядом Александр волной пролетал по клавишам, и волнами играли его плечи, волосы, пальцы… У Фредерики в тщетной натуге и унижении потемнело лицо. Как только можно стало с достоинством выбраться из кутерьмы, она протопала вниз со сцены, насупившись уселась в сумраке зала.

Теперь, когда все поразмялись, объявил Лодж, послушаем, что вы подготовили. Он называл имена, и Патрисии, Фионы, Сюзанны, и впрямь освобожденные танцем от затверженного единообразия, выходили одна за одной и, мигая из розового света в темноту зала, начинали. Утраты

рассуждали о цветах и о жизни, Елены признавались в любви к звезде особенной и яркой, Имогены ужасались над телом врага, переодетого возлюбленным, герцогини Амальфи предлагали слуге руку и сердце. Преобладали Утраты.

Зачем, о Прозерпина,
Не можешь ты мне подарить цветы,
Которые в испуге обронила
Ты с колесницы Дия? Где нарциссы,
Предшественники ласточек, любимцы
Холодных ветров марта? Где фиалки,
Подобные мгновенной красотой

Глазам Юноны, темным и глубоким,
А запахом – дыханию Венеры?..[69]

Йоркширский распевный говорок, фарфоровые тоны питомиц дорогой монастырской школы, с запинкой, с придыханьем — заклинанье, повторяемое извечно и вечно сладостное.

Пришел черед Фредерики, Кроу поинтересовался, что она будет читать, и попросил Александра подать ей, как другим, реплики Антонио. Когда Фредерика называла себя, голос ее дрожал.

---

[69] Примечания: 69
Перев. В. В. Левика.

Александр, стоявший напротив, ощутил к ней непривычную бережность.

— Спокойно, Фредерика. Не спеши. Это не конец света.

— Неужели? — бледно проблеснула-таки супротивная натура Фредерики.

— Ручаюсь, — улыбнулся Александр.

Первая настоящая улыбка его — ей, наставническая, союзническая. Эта мысль разозлила и восхитила ее.

Александр подал первую реплику робеющего Антонио:

> *Я не настолько глуп, чтобы стремиться*
> *К тому, что обещает ваша милость.*
> *Безумец лишь замерзнувшие пальцы*
> *Сует в огонь, чтоб их согреть*[70].

Фредерика ухнула головой в омут. Она хотела быть мило (но благородно!) несмелой, однако присутствие Александра и злость за деревянные прыжки подмешали сюда кое-что еще. По капельке раздраженного нетерпения и абсолютного желания: хочу — дай. Они питали ее, они приве-

---

[70] Примечания: 70
Здесь и далее перев. П. В. Мелковой.

ли ее сюда, и с ними Фредерика ничего не могла поделать. Она стояла столбом, но, поскольку Александр был Александром, ее побирала дрожь:

Для женщины несчастье – знатной быть.

Ухаживать за ней никто не смеет,

И первая в любви своей она

Должна открыться. Как ведет тиран

Двусмысленные речи, так и мы

Принуждены хитрить, играть, лукавить,

Страсть выражать намеками, загадкой,

Оставив правды путь прямой и ясный.

Ну что ж, идите, хвастайтесь повсюду,

Что у меня похитили вы сердце,

Которое теперь у вас в груди.

Пускай оно любовь удвоит вашу.

Дрожите вы? Ужели в вашем сердце,

Куске ничтожной плоти, страх осилит

Любовь ко мне? Ну, будьте откровен-

ны!

Что вас страшит? Из плоти я и крови,
Не мраморная статуя немая,
Воздвигнутая на могиле мужа…

К концу Фредерика невольно сделала шаг навстречу Александру. Она понимала, что все делает не так, что слишком орет, и вот шагнула за поддержкой и смущенно запнулась.

— Благодарю вас, — без всякого выражения проговорил Кроу.

Фредерика как-то сошла в зал. Александр откинул волосы и промокнул лоб очень белым платком.

Настала пауза, трое мужчин выходили, возвращались, сравнивали заметки. Потом Кроу объявил, что теперь десять девочек просят прочесть стихотворение. Он огласил имена — без сомнения, предпоследний Список. Фредерики в нем не было. Она попросту не поверила. Ее имя, конечно, забыли вписать. Десять девушек, волнуясь и сияя, поднялись на сцену. Лодж, толстым змием обвивший кресло, поднялся и подошел к высокой, точеной Антее Уорбертон из монастырской школы. Позволено ему будет расплести ей косы? И остальные не могли бы тоже?..

Монашка-охранительница зашелестела, но не воспротивилась. Лоджевы искушенные пальцы зазмеились вверх по блестящей, бледного золота косе. Антея, скромно опустив глаза, быстро и просто расплела вторую. Лодж встряхнул, рассеял ей волосы вокруг лица и на лицо. Сквозь их светлое облако Антея взглянула на него прохладно-вопросительно, и Фредерика с болевым толчком поняла, что общего у всех избранных. Все они были хорошенькие. Очень, очень хорошенькие. Никогда раньше Фредерике не указывали так ясно на пределы ее возможностей, на то, что в мире ценится не только ум, но и великое множество других качеств. Значит, в Блесфорд-Райд будут песни и танцы под древесной сенью, будет смех и стихи. А ее туда не возьмут. Ну что ж, созерцать чужие успехи не собирается. Она просто встанет и выйдет.

Фредерика встала и отправилась домой. В Пантеоне ее поймал за локоть Кроу:

— Куда это ты собралась?

— Домой.

— Почему?

— Не вижу смысла оставаться.

— Не видишь?

— У вас тут явно, — Фредерику переполнял

яд, — конкурс красоты.

На нее сошло внезапное утешительное видение зачаточных купальничков, острых каблуков, широких шелковых лент, перекинутых через угрожающе торчащие груди.

— Спектакль — это зрелище, — изрек Кроу.

— Я уже поняла.

— И мы сейчас в основном набираем нимф и граций. Это свита. Маскарад перед явлением королевы. Я тебя в этом качестве не вижу.

— Я тоже. — И, помолчав: — Но почему вы не сказали, что вам *это* нужно?

— Не только. Еще служанки. Вообще толпа.

— Понятно. Ну а теперь я пойду домой.

Фредерика попыталась его обойти. Они стояли меж Бальдром Прекрасным и Афиной Палладой. Один расслабил члены в гранитной смерти — вольная или невольная имитация «Умирающего раба» Микеланджело с дотошно готическим побегом омелы, торчащим из левого соска[71]. Другая, стиснутая в каменных складках хитона, сжимала чудовищную голову горгоны.

— Я бы не торопился. Когда ты читала, у меня возникла забавная мысль. Читала ты, кстати,

---

[71] Примечания: 71

Смерть и предсказанное возрождение Бальдра традиционно связывают с природным циклом. Из омелы была сделана стрела, убившая его.

весьма недурно. Как ты додумалась сделать ее такой агрессивной?

— Она и должна быть такой. Она сестра своего брата-злодея. Она отлично правит, ее называют государем[72]. Она жадная до всего. Как она вцепилась в абрикосы![73] И вообще привыкла, чтобы все было по ее. Честно говоря, я хотела ее сделать более… то есть менее… то есть более жалобной, молящей. Но я взбесилась из-за танцев. Я не могу танцевать. Мне было мерзко, и я пережала. Я могу сыграть лучше. Но вообще, когда я играла, то поняла, что *можно* и так — на грани перебора. В этом что-то есть.

— Ты права. Это очень тонко подмечено.

— Спасибо. — Фредерика впивала похвалу, как оживающее растение — воду.

Кроу облокотился на каменные корчи горгониных змей:

— Дай-ка я рассмотрю твою мордочку. — Он

---

[72] Примечания: 72

В русском переводе применительно к герцогине это название опущено. В оригинале слово «государь» (prince) употребляется часто и в целом обозначает благородного правителя, идеал человека, избранника богов.

[73] Примечания: 73

Герцогиня, скрывающая беременность, попадается на удочку придворного злодея и жадно ест преподнесенные им абрикосы, хотя, по тогдашнему поверью, они могли вызвать роды. Начинаются роды, тайна раскрыта, герцогиня обречена.

провел пальцем по ее острому носу. — Знаешь, на твоем месте я бы вернулся.

— Зачем?

— Ну, коли тут вопрос типажа… а типаж, разумеется, необходим… Думаю, мы тебя в первом акте протолкнем как минимум во второй состав. Шанс есть…

О, тут была власть куда похлеще списков. Тут был сказочный каприз фортуны, настоящая сказка в духе Ноэль Стритфилд[74], что дерзким девчонкам вроде Фредерики сперва сбивает спесь, а потом возносит на мечтанные высоты. Фредерика теребила рыжеватые волосы и онемело смотрела на крошечного импресарио. Кроу обожал режиссировать такие сказки. Там, где он обитал, в основе искусства лежала эта же режиссура. А как известно, и жизнь, и власть суть подражание искусству. Фредерика очнулась:

— Ой! Спасибо огромное… Я ничего так не хотела. Никогда. Если бы вы только… Я бы…

— Имей в виду, я пока ничего не обещаю. — Кроу выдержал паузу. — А с отцом насчет герцогини не советовалась?

— Целиком и полностью моя идея. Клянусь

---

[74] Примечания: 74

Ноэль Мэри Стритфилд (1895–1986) — британская писательница, автор популярных детских книг.

вам.

Кроу засмеялся:

— Ну, пойдем, пойдем назад.

Фредерика радостно устремилась за ним.

8. «Ода греческой урне»

В прохладной классной комнате с буроватыми стенами, припорошенными мелом, Стефани разбирала «Оду греческой урне»[75] с девочками, которые не поехали в Блесфорд-Райд. Хороший учитель — тайна, принимающая много форм. Стефани понимала свою задачу до скудости просто: погрузить класс в совместное постижение стиха, романа, любого человеческого творения. Не нужно ни самовыражения, ни самоанализа, ни того, что скоро получит название межличностной коммуникации. Собственно говоря, прочесть хорошенько «Оду» — отличный способ от этих занятий увильнуть. Стефани никогда не повышала голоса, но трудностей с дисциплиной у нее не было. Она умела создать телесный и душевный покой.

Девочки входили в класс, влетали, шумели, смеялись. Барбара, Джиллиан, Зельда, Валери, Сьюзен, Джулиет, Грейс. У Валери вскочил жуткий фурункул, Барбара мучится месячной болью. У Зельды умирает отец — остались недели, а то

---

[75] Примечания: 75
Стихотворение Джона Китса.

и дни. Джулиет до столбняка напугал какой-то парень: налетел сзади в переулке, руку крюком на горло, а второй полез под юбку. У Джиллиан высокий интеллект, ей от «Оды» нужна мнемоника, схема анализа, ключ для экзамена. Сьюзен влюблена в Стефани и старается угодить ей, изо всех сил напрягая внимание. Грейс, зажатая в тисках родительских амбиций, хочет одного: иметь цветочный магазин — и терпеливо избывает время до окончания школы.

Сейчас Стефани очистила голову от всего этого, и ученицы тоже должны были очистить. Оставаясь неестественно недвижимой, она и их удерживала в неподвижности. Как в книге из детства: укротитель замирает и ждет, покуда зверь откажется от собственной воли или утратит страх. Одно из двух или все вместе, она уже не помнила.

Еще нужно было убрать пестрые наносы мнемоники, которыми «Ода» в обычное время обозначалась где-то на краю сознания. В ее случае это были смутный абрис стиха на странице (сборный из нескольких изданий) и четкое, но переменчивое по силе ощущенье движения языкового ритма. Ощущенье не словесное и не зрительное — органическое. И все же его не

вызовешь, не явив внутреннему слуху и оку целые вереницы слов. Отвлеченных: «форма»[76], «мысль», «вечность», «красота», «правда» — и самых конкретных: «неслышимые», «слаще», «зелень», «мрамор», «теплый», «холодный», «запустелый». Еще была россыпь грамматических и пунктуационных меток: в первой строфе застывшие взлеты вопросов без ответа, в третьей — нестройный на первый взгляд поток одинаковых эпитетов. Зрительные образы, одновременно доступные и ускользающие от взора. Белые формы, недвижные промельки движения под темной сенью торжественных ветвей. Загадка: какой увидеть «смятую траву»? Китс, на смертном одре велевший вынести из комнаты все книги, даже Шекспира. Сама она в Кембридже, смотрящая в огромные окна библиотеки на зеленые ветви. Запоминающая — что? Вопрошающая — о чем, зачем?

Она негромко прочла «Оду»: вот урна, на которой изображено жертвенное шествие в лесу. А где-то есть невидимый нам городок, опустелый, покинутый этими радостными людьми…

---

[76] Примечания: 76

Здесь и далее перевод отдельных отрывков «Оды» наш. В наибольшей степени с идеями данной главы перекликается перевод Г. М. Кружкова «Ода греческой вазе».

Как можно ровней, как можно бесцветней — рифмы без интонации. Прочла опять. Лучше всего подойти к стиху с сознанием, хоть на миг опустевшим и открытым, как будто впервые. Все слова должны прозвучать одинаково, без нажимов, разрывов, натяжек. Спросила холодновато: «Ну?» Растягивала неприятную паузу, когда все в классе могли лишь смотреть на нее, понимая, что речь трудна, а осознать и высказать свое отношение придется неизбежно.

Она глядела в пустоту внутри и ждала, когда *оно* возникнет и обретет форму. Пусто, пусто, и вдруг — запорхала пена мушками и хлопьями пышными над бьющимся серым морем. Белая и беловатая, в бурых и золотых пятнах, сгоняемая ветром в ком, кое-где схваченный тонкой и клейкой плевой. «Не то, — отозвался разум. — Черт! Это „пена губительных морей“!»[77] *Оно* потянуло за собой еще одну картинку. Стефани поморщилась. Венера Милосская. Анадиомена[78]. Рожденная из пены, из вспененного семени

---

[77] Примечания: 77
Из «Оды соловью» Джона Китса.

[78] Примечания: 78
Выходящая из волн, частый эпитет Венеры *(греч.)*.

оскопленного Крона[79]. Неплохо, если нужен образ формы, восстающей из хаоса. Но Стефани вызывала из пустоты совсем другое.

— Ну, что вы видите?

Стали говорить о том, где Китс хотел, чтобы читатель видел урну, а где — изображенный на ней лес. Какие цвета он являет читателю, а какие оставляет на его усмотрение. Почему так трудно увидеть то, что нужно видеть изнутри самого языка: мраморных юношей и дев, телицу у алтаря, «лоб пылающий», «пересохший рот», «хладную пастораль».

«Мелодия, что слышим мы, сладка.

Неслышимая — слаще», — прочла Стефани.

Мозговитая Джиллиан сказала, что «опустелый городок» — сильные слова, на них почти можно поддаться. А слово «покинутый» так же действует в «Оде соловью». Потом говорили о концовке: «В прекрасном правда — в правде красота». Говорили, как и хотела Стефани, о том, что словесное *творение* может слагаться одновременно из слов чувственных и не чувственных вовсе: «красота» и «правда». Потом она спросила, как можно понять

[79] Примечания: 79

По преданию, Зевс оскопил своего отца Крона, из крови и семени которого родилось несколько божеств. В более распространенном мифе Венера рождается из семени Урана, оскопленного Кроном.

фразу, обращенную к урне: «подобно Вечности, отводишь нас от мысли».

— Это погребальная урна, — сказала Зельда.

— Слишком просто, — отрезала Сьюзен, глядя на Стефани.

И вот что-то задышало, задвигалось в классе, проницая и связывая восемь сознаний. Восемь сознаний и восемь урн и еще та, изначальная, всего счетом девять. Полувоплощенные белые фигуры, небывшие, чьи черты осязаешь внутри себя, но описать не можешь. Яркая белизна, мрак и слова, поодиночке, сцепками, стайками движущиеся в неведомых вместилищах общей и личной памяти — зрительной, звуковой, мыслительной…

И вот Стефани вывела, выговорила их наконец за пределы словаря, положенного по программе, и оставила вовсе без слов, в немоте. Джиллиан, получавшая от всего этого острое удовольствие, заметила: слова можно быстренько призвать назад, если понадобится. Стефани сказала, что это ее любимое стихотворение, и без выражения добавила: нельзя и не нужно пытаться сделать то, чего требует «Ода»: увидеть невидимое, сознать несуществующее, назвать небывшее. Но самой «Оде» это под силу, потому неслышимые мелодии и желаннее нам всех прочих. Еще маленькой,

впервые узнав «Волшебницу Шалотт»[80], Стефани подумала, что люди могли бы и не наткнуться на эту мысль: дать несуществующему словесную форму. Так бы и жили, и грезили, и старались говорить правду. Она все спрашивала Билла, почему Теннисон написал «Волшебницу». Ответы были столь многочисленны, пространны и далеки от главной сути, что Стефани замыкалась от них, попутно сохраняя в памяти на будущее, как наверняка сейчас делает Джиллиан.

Прозвенел звонок. Девушки выходили в коридор, мигая, как совы от яркого света. Стефани, собирая книги, позволила себе задуматься: эта невпопад возникшая пена — от «Соловья» или от нее самой? Эдакая четкая фрейдистская ассоциация между мраморными девами, Венерой и подсознательной памятью о происхождении пены. Пена была не благостная, вовсе нехорошая пена.

После ей захотелось поскорее уйти, подумать на воле. Но сначала в учительскую. Можно сказать: «Я учитель» — и почувствовать запах чернил, волглой форменной саржи, полов, натертых по-

[80] Примечания: 80

Сказочная поэма Альфреда Теннисона (1809–1892), поднимающая вопрос соотношения жизни и искусства.

лиролью. В учительской — целое стадо грязных казенных стульев диких цветов: сине-зеленых, желтых, красных. Застоявшийся чайный запах. Окна слишком высоко, никакого вида. А можно сказать: «Я учитель» — и слушать неслышимые мелодии, следить за белыми тенями, пробегающими под сенью темных ветвей.

Мисс Уэллс, вернувшаяся из Блесфорд-Райд, поднялась ей навстречу и протянула букетик первоцветов. Точно такой же был небрежно приколот к ее лиловому кардигану. Стефани нырнула носом в белизну и бледный мед. Потом приколола цветы к пальто, висящему на вешалке, и надела его церемонно-благодарным жестом — прелюдия ухода.

— Они чу́дные. Я уже бегу. Как пробы? — спросила она, хоть ей вовсе не хотелось выслушивать долгий ответ.

— Он всем распустил волосы и велел танцевать.

— Бедная Фредерика!

— Да, с танцами у нее не задалось. Им понравилась моя лапочка Мэри. Еще было несколько совершенно прелестных Утрат… Но, милая, Фредерика играла с таким напором, с такой злостью! А им, кажется, нужны только нимфы да феи. Но

они ее взяли. Когда я уходила, она им читала Елизаветины собственные стихи. И они смеялись. И спорили. Мистер Кроу сказал: «Это львенок: мослы и мышцы». У нее был такой сердитый вид…

— О боже. — Стефани не могла больше слушать. — Мне пора. Я на велосипеде. Спасибо огромное за цветы. У вас всегда такие дивные букеты!

Сьюзен взволнованно мыкалась у шкафчиков с одеждой, ожидая, когда мисс Поттер пройдет к велосипедному сараю. Она припасла очень умный вопрос про «Оду», требовавший, по ее мнению, долгого и серьезного ответа. Когда мисс Поттер сядет на велосипед, Сьюзен подбежит к сараю и оседлает свой велик, что будет вполне естественно. Где-то около воронки Сьюзен ее нагонит, и целых десять, а то и пятнадцать минут они будут ехать рядом, вдвоем, и говорить, как никогда еще не говорили.

Воронка нагло расположилась вплотную к теннисным площадкам и школьной подъездной дорожке. Ее оставила единственная бомба, упавшая на Блесфорд. Частично взорвавшись, она взметнула землю, не причинив особого вреда. Разве что стекла повылетали кое-где да образовалась та самая воронка с рваными краями

и жирной грязью на дне. Ее не засыпали, она проросла потихоньку травой и кипреем, да так и осталась. Со временем превратилась она даже и в некий памятник войны, а местные девчонки разыгрывали в ней, как на сцене, разные драмы.

Стефани знала, что Фелисити надеялась попить с ней чаю. Душа ее была поэтому неспокойна, но она решительно прошагала к сараю. Поверх ее гладких бледных волос был повязан травяного цвета шарф, первоцветы украшали весьма эффектное просторное пальто, тоже зеленое, с пышными рукавами, схваченными тугой манжетой, — немного в духе артистического балахона.

Сьюзен метнулась следом и принялась выкатывать велосипед из бетонного желобка.

Мимо, твердо крутя педали, быстро проехала мисс Поттер. Она вся словно струилась золотым и зеленым. Сьюзен прыгнула на велосипед, оттолкнулась, покачнулась, рванулась.

Стефани, то и дело тормозя и подпрыгивая, съезжала по ухабистой тропинке, проложенной через воронку.

С другой стороны в ту же воронку, громоздко маневрируя, съезжала грузная черная фигура на внушительном черном же велосипеде. Сьюзен, тоже притормозив, подумала, что этот некто

возник так, словно бы ждал в засаде в припорошенных сажей лавровых кустах на том краю. Собственно, так оно и было. Вот он тяжело и быстро покатил на мисс Поттер и в канавке на нее наскочил. Велосипеды сцепились рогами. Неуклюжий, подумала Сьюзен, в чем была не совсем права.

Стефани проскакала несколько шагов в сцепленном виде, больно ударилась икрой о край педали и остановилась потереть ногу. Сьюзен увидела, что на гладком чулке чернеет длинная масляная полоса. Что же ей теперь делать? Проехать мимо, вернуться или пока подождать тут, что, конечно, будет очень заметно?

Дэниел, склонив голову, свирепо дергал сцепленные рули и тормозные фиксаторы. Он надеялся, что у него будет минут десять, — это если повезет. Значит, нужно уложиться. Все это он спланировал с обычной своей основательностью: рассчитал, где она примерно будет и в какое время. Лучше уж тут, чем в Блесфорде неумело разыгрывать случайную встречу. Рассчитать рассчитал, а теперь вот речи лишился, потому и скреб железом о железо.

Она глянула на него поверх собственной борьбы с зеленой тканью, маслом, цепью. Весь зарос

черным волосом, черный дождевик, черные брюки, черные ботинки. Огромные плечи и живот. Пасторский «ошейник». Защепки на штанинах. Как его много. Она молчала.

Он рывком высвободил свой велосипед и сказал просто и в лоб:

— Я вас ждал.

— Вижу.

— Мне нужно с вами поговорить.

Она все потирала ушибленную ногу, но он не обращал внимания.

— Я сейчас немного спешу. Нельзя ли в другой раз?

— Это важно.

— Что-то случилось? — Ее милый, безбурный лоб наморщила тревога.

— Нет-нет, это просто я… Мне нужно с вами поговорить, — повторил он сердито, словно она сама должна была догадаться. — Это важно.

Он мог лишь повторять в точности то, что имел в виду. Он так малого хотел в своей жизни. И всего, чего хотел, добился. Только десять минут, и она поймет, начнет понимать, что это необходимо. Он уже знал каким-то чутьем, что ей трудно отказать, когда ее просят.

— Пару минут вы мне можете уделить, — бух-

нул он.

— Пару минут? — сказано было так, будто он просил о многих часах. — Пару минут — да, наверное… Может быть, выпьем кофе? Тут недалеко кафе открыли.

Это было не то, что предпочел бы он сам. Но ничего, можно уступить.

— Да. Спасибо. Извините, что поцарапал вам краску.

— Краска старая, мелочи. А вот кожух на цепи что-то здорово погнулся. Ничего, до кафе дотянем.

Востроглазое литературное дитя провожало их взглядом: двое неуверенно катили, подскакивая, меж темнеющих к вечеру кустов. Толстая черная спина и ноги-поршни заслоняли от нее умыкнутое золото и зелень. Ее как громом, до тьмы в глазах, поразило разочарование и злость. Брось, брось глупить. Это всего лишь школа, заскок на училке, воронка от бомбы. Впереди целая жизнь. Так говорила она себе, словно в некоем взрослом будущем другая трава и другие люди будут сбыточнее и надежнее. Как будто другие, невиданные цвета непременно затмят тающий уже зеленый и золотой.

Новое кафе было передовой северной разно-

видности и представляло собой переделанный на пробу подвал чайной «Прялка». Там был новый автомат для эспрессо и отдельные кабинки со сквозными перегородками. На столиках оплавленные свечи, воткнутые в бутылки, на стенах красоты Италии: Сицилия, Помпеи, Испанская лестница в Риме. Освещение было густо-синее, и от него пенка на капучино бледно светилась, как фосфорические чернила.

Темный Дэниел, ссутулясь, медленно и массивно сошел вниз. На секунду он напомнил Стефани Птолемея-черепаху из сказки Беатрикс Поттер[81]. Они уселись в угловой кабинке на подобие пеньков, обитых кожзаменителем, причем под Дэниелом что-то тревожно скрипнуло. Сидели лицом к лицу: синие губы, гиацинтовые зубы, виноградно-лиловые провалы ртов. Волосы Стефани и букетик на пальто вовсе не имели цвета, только какой-то металлический перелив. Тусклый свет тек у Дэниела по складкам одежды, оседал в волосах, в нависших бровях, в проступившей щетине на подбородке, и Дэниел теплел, не казался уж таким тугоподвижным и зловеще

[81] Примечания: 81

Хелен Беатрикс Поттер (1866–1943) — знаменитая британская сказочница, автор «Сказки о кролике Питере», «Ухти-тухти» и многих других.

обстоятельным. Не зная об этом, он заметил, что свет тут безрадостный, и заказал кофе.

Он не знал — сказать ей просто: «Я хочу взять вас в жены»? Или скромней и точней: «Будьте моей женой»? Он не мог сосредоточиться (что бывало с ним крайне редко) из-за того, что она теперь стала другая, синевато-мерцающая. Не так уж хорошо это выходило сейчас — быть человеком, у которого что в уме, то и на языке. То, что в уме, было непомерно и неожиданно и могло прозвучать даже глупо. Он попробовал иначе:

— Я думаю, нам нужно поговорить.

— О чем?

— Много о чем. Но сейчас главное, чтобы мы с вами просто говорили, — понимаете? Это мне кажется важным.

Она вежливо молчала, словно ожидая фразы, на которую возможен ответ. Он, спотыкаясь, продолжал:

— Я хочу узнать вас получше. Я обычно по работе… А тут для себя.

— Не нужно.

— Что не нужно?

— Я не люблю, когда мне такое говорят.

— Почему?

— Бог мой! Да потому, что говорят — часто. Вы

должны это понять.

Он не понимал, потому что раньше никогда вот так не заговаривал с девушкой. Но он думал, и думал быстро. И вдруг горестно понял: от Стефани многое требуют — и семья, и работа, и случайные знакомые, и, конечно, мужчины. То, что для него неповторимо и единственно, для нее эпизод. Пришла его очередь замолчать.

— Я ведь совсем вас не знаю, — сказала Стефани.

— Вот я и прошу: узнайте.

— Я поняла. Но когда вы так говорите, это кажется чем-то… *огромным*. И я чувствую… я чувствую, что ко мне это не имеет никакого отношения. Пожалуйста, постарайтесь понять.

Что-то было не то, какая-то была нервная снисходительность в ее мягком тоне, в ответе, уже заученном от частого повторения. И тут его охватил гнев, прохватил жаром всего. Она тревожно глянула на него и поняла:

— О боже.

— Ну, значит, всё. Не пора ли по домам?

— О боже…

— Именно, — зло сказал он и замахал официантке. Ему показалось, что кончился воздух.

— Не уходите. Я буду переживать. Я имела в

виду…

Она не могла сказать, что имела в виду, а он не мог ответить, что ему безразличны ее переживания. Поэтому сидели молча. Наконец, с неловким усилием, она спросила его о работе. Фелисити Уэллс, жившая в доме викария, успела проникнуться к Дэниелу боязливым восхищением за бульдозерный подход к пасторству и умение использовать каждую минуту. Ей, впрочем, казалось порой, что он не слишком силен в богословии. Стефани слушала ее рассказы и что-то в ней отзывалось на его поступки и принципы — совершенно разумные, но к обычной жизни неприменимые.

— Работа была бы легче, — мрачно сказал Дэниел, — если бы люди друг друга не боялись. Запутались в условностях. Благотворительность унижает, первым не заговаривай, не будь обузой, не дай себе на шею сесть. У них нутро разъедает от одиночества, им жить нечем, а пойти такому же бедолаге руку протянуть — ни за что. Моя работа в основном ходить и просить: где можно — вежливо, где нельзя — с нажимом. Стараться, чтобы это выглядело официально, вроде комитета, тогда уж можно не просить, а поручать. Я придумываю новые условности: *расскажи*, како-

во тебе, *узнай*, каково ему.

— Условности бывают полезны. Они защищают человека от обид, от непосильных задач. Или помогают постепенно, не так болезненно вжиться… в жизнь. Нельзя толкать людей на крайности. Это не каждый выдержит.

— Однако крайности существуют! Вот мисс Фелпс. Тазовые кости вдребезги, ходить не будет никогда. День за днем лежит, боли у нее, конец свой предвидит, старается о нем не думать. А вот мисс Уитчер. Живет от мисс Фелпс через два дома, не знает ни ее, ни кого еще. Чаем меня потчует, чашечки с бутончиками. Такая утонченная, все подливает мне и жалуется: ах, мистер Ортон, жизнь ускользает без пользы, никому я не нужна… Я говорю: а вы пойдите мисс Фелпс проведайте. Ну и начинается…

Тут он изобразил мисс Уитчер с ее сложносочиненными отговорками: а вдруг решат, что она навязывается? Что играет в благотворительность? А если не найдется общих интересов? Если это окажется слишком тяжело психологически? Если она сделает только хуже, если скажет что-то не то? И конечно, ей будет мешать мысль, что до несчастья они подругами не были, что все это несколько искусственно…

Стефани поразило его перевоплощение. Он сидел перед ней в синем полумраке, злой и переменчивый, а она-то привыкла считать его человеком одной интонации, линией, устремленной в одну точку.

— Викарий… — Дэниел не привык жаловаться. — Викарий вот считает, что я слишком давлю. Сам-то он приходит и улыбается: мисс Фелпс, погода благодать! Мисс Фелпс, какие вам розы принесли! Не скажет ведь: обезножели вы, мисс Фелпс, как теперь справляться будете? И другое не скажет: в вас еще душа жива, мисс Фелпс, вы говорить можете, мы с вами живы и еще побарахтаемся. Ничего не скажет…

— Эти вещи нужно уметь говорить или же вовсе молчать. Вы не можете свою энергию передать всем.

— Другого пути не вижу, — мрачно усмехнулся он. — Викарий меня недолюбливает: нарушаю покой.

— А вам нравится нарушать… Вы правы, конечно, — сказала она и тут же невольно и неестественно вежливо добавила: — Я могу вам помочь чем-то?

— Вообще, у меня была одна мысль насчет вас. Я не одной беседы жаждал, — вдруг осмелев,

пошутил он. — Есть такая миссис Хэйдок…

— Хэйдок?

— Да, живет в Брэнвик-эстейт, жилой комплекс «Бронте». Лет тридцать. Муж ушел, что случается. И двое детей: девочка запуганная и мальчик-аутист. Ей шесть, ему девять. Мальчик все крушит. Тихий-тихий, ни слова я от него не слышал, но вот систематически берет вещи и ломает, бьет, рвет, в пыль стирает. Людей не трогает, только вещи. Иногда какую-то музыку под нос мычит. Говорят, даже сложные мелодии может. Я-то в музыке не понимаю, только во время службы респонсорий спеть и прочее такое… Или замрет и смотрит, долго. Не тупой взгляд, не в пустоту и не на вас, а в какое-то другое измерение. Сдать его в интернат она отказывается: любит. Решение, надо сказать, непростое: девочка-то лоскутка своего не имеет, угла, чтобы одной побыть. Хотя какое тут решение: мать его любит, живет им.

— Вы не пытались ее уговорить насчет интерната?

— Думал об этом. Да, думал. Из-за девочки, из-за маленькой Пэтти. Но без него миссис Хэйдок может сломаться — теперь, когда жизнь ему посвятила. До чего разные жизни у людей… И не

знаешь, когда случай загонит тебя в такую вот колею, простую и страшную, до конца дней. Каково это — иметь больного ребенка или родителей в маразме. Всё здесь: и любовь, и рука Божья. В общем, я решил…

— Что?

— Если бы у нее был один день в неделю — даже один вечер, — чтобы выйти куда-то с Пэтти… Побыть без него… Если бы кто-то надежный взялся сидеть с ним, но только твердо, чтобы она могла на это рассчитывать. У них бы у всех жизнь переменилась. Она сама никогда не попросит. Ее еще убеждать придется. Но если бы кто-то предложил… Вы можете представить себя на ее месте?

— Мне было бы страшно.

— А вы думаете, ей не страшно? И Пэтти?

— Это такая ответственность…

— Мы все должны что-то на себя брать.

— Дэниел — мистер Ортон, — почему вы просите меня?

— Просто мне всегда казалось, что вы это сможете. Облегчите ее немножко. Вы сможете. Если бы вы к ним как-нибудь зашли, вы бы сами поняли.

Ей вдруг стало страшно. Он жил и действовал в сферах, где люди обычно не живут, о которых люди обычно не думают. Там, куда каждый наде-

ется не попасть. Он видел мир *in extremis*[82] и был прав. Стефани попыталась вообразить жизнь, которую он для себя выстроил, и не смогла. Почему она должна об этом думать? Он борется с тем, что, должно быть, испугало Китса. Китса, покинувшего медицину ради поэзии, но до последнего сознававшего, что поэзия болезней не исцеляет.

— Вы добьетесь и крови от камня, — сказала она. — Если сразу уговоримся, что я соглашаюсь на пару раз — чтобы понять, смогу или нет, — тогда я попробую. Большего пока не обещаю.

Стефани коротко улыбнулась. Дэниел никогда еще не видел ее такой живой. Она гордо добавила:

— Но если я соглашусь, вы сможете на меня положиться. Это я вам говорю точно.

— Могли бы не говорить. Я не все умею различить в человеке, но это — умею.

---

[82] Примечания: 82
У последней черты *(лат.)*.

9. Мясо

Маркус несусветно долго просиживал в уборной. Уинифред казалось, что он каждую неделю прибавляет по полчаса, а то и больше. По временам он зачем-то резко спускал воду, потом воцарялась долгая тишина. Она видела порой, как Билл в носках крадется через лестничную площадку, чтобы застичь непорядок. Коричневые мыски, присогнутые колени, злой профиль. Сейчас будет вслушиваться, вперяться в непроницаемую дверь. Пару раз принимался молотить в нее кулаками, тщетно требуя, чтобы Маркус вышел, объяснил, отозвался. Уинифред старалась не реагировать. Ни на того ни на другого. Для Билла гнев — способ существования, любая реакция — повод к припадку. С Маркусом суеверие шептало: если отвести взгляд, заглушить тревогу, любовь, страх, то, может быть, ему повезет. Проскользнет, не замеченный Фатумом и отцом. Поэтому, когда Маркус, выждав одно из отцовских затиший, осторожно покидал уборную, она наблюдала за ним в зеркало над комодом и молчала. Мир и покой. Любой ценою мир и покой. Ради Маркуса.

Она ясно помнила не только его рождение, но,

кажется, даже и миг зачатия. Он родился в дни Мюнхенской конференции, когда несбыточное затишье повисло перед чудовищной бурей. А зачат был, конечно, в этом доме, в этой постели, когда Билл вернулся вечером от своих заочников после лекции о Шекспире. Он был доволен собой и миром, под легким пивным хмельком, и ей тоже прочел лекцию о правдоподобных и неправдоподобных примирениях в поздних пьесах. «Зимнюю сказку» он не любил: в ней усматривают христианские мотивы, но главное — она совершенно неправдоподобна! Так говорил он, глухо топоча по спальне в носках, давая отдохнуть ногам, от которых пахло дневной натугой. Не может человек двадцать лет вдоветь, потом увидеть ожившую статую жены и бурно радоваться подлогу[83]. Слишком уж просто. Вот где коренится ошибка Шекспира — на примитивном уровне сюжетного правдоподобия.

— А как же Гермиона? — тихо спросила Уинифред. — Ее женские годы украдены, одно дитя умерло, другое пропало невесть где, а от нее тре-

---

[83] Примечания: 83

В «Зимней сказке» король Леонт слепой ревностью мучит свою супругу Гермиону. Их маленький сын умирает, а дочь Утрата изгнана по воле отца. Гермиона умирает от горя. Спустя много лет, после долгих приключений, дочь воссоединяется с отцом, а статуя Гермионы, ко всеобщей радости, оживает.

буют восторга и благодарности.

Слушатели, сказал Билл, пытались доказать ему, что статуя — символ боли, утоленной в Искусстве. А он ответил: не всякую боль можно утолить. Нет, с Просперо решение лучше, многослойнее. Не так легко дается примирение, выдумка последовательна и искусна.

— Наверное, к концу он полюбил-таки своих дочерей, — сказала Уинифред. — Столько схожих девичьих образов…

— Насчет дочерей не доказано, — ухмыльнулся Билл, успевший разоблачиться до подштанников.

Так все и вышло — не потому, что они мечтали о сыне, хотя имена дочерям, изящно производные от мужских, выбирал Билл. Просто эти самые дочери волшебным образом притихли, подмешалось пиво, и Билл говорил с ней по-настоящему, чего давно уж не делал, загнанный школой, счетами, заботами о потомстве, все чаще раздираемый гневом.

Уинифред вышла за Билла, потому что уважала его больше всех. За страсть к справедливости, за способность к страсти, за трудолюбие и остроту взора. Больше всего она боялась прожить, как жила ее мать: детей много, денег мало, вечное

служение дому и мужу. Муж и дом — суровые нравственные императивы, неостановимый телесный износ. Уинифред, как старшую, мать посвящала во все, что касалось крови, полироли и застарелого негодования. Девочка знала в подробностях о родах и мужском «эгоизме» после, о крахмаленьи и скоблёжке, о черном графите для дверных петель, о порожном камне, что скребут добела, о синьке. Впрочем, мать постаралась помочь ее побегу: дала доучиться в школе. Там-то Уинифред узнала, что замуж можно и нужно выходить ради страсти, ради живой беседы. Не ради кровотечений девственных, месячных и родильных. Не ради графита и петель. Билл дал ей прочесть «Любовника леди Чаттерли», Билл проповедовал свободу: он бежал от догматов еще более тесных, чем те, что Уинифред намеревалась оставить в прошлом.

К 1938 году она убедилась: нельзя построить нечто, совершенно обратное тому, что знала всю жизнь, только лишь потому, что это обратное лучше. Люди жаждут вещей знакомых, пускай даже чудовищных. Неизвестное оттого и трудно, что оно нам неизвестно. Уинифред пришла к парадоксальной мысли: двое ближе друг к другу до того, как жили вместе, даже спали вместе, даже

говорили как следует. В начале душа сказывается явственней, без уступок привычке, капризам темперамента, прошлым неудачам с людьми. В те первые дни они с Биллом говорили. Да, она рисовала его тогда по своему подобию, но зато была с ним честнее. А раз у нее было так, то, возможно, и у него. Теперь он был в постоянном раздражении из-за готовки, уборки, рева маленьких дочерей. Но Уинифред знала: на работе он другой, терпеливый, сдержанно-настойчивый. А в себе обнаружила фатальную и стойкую потребность в служении и в руке отталкивающей. Возможно, кроме гнева и терпения, ничего и не могло остаться у них с Биллом.

Поначалу она была в постели неистова: не требовательна, не настойчива, но бесстрашна. Готова пробовать на ощупь, на вкус, на запах, готова лизать, кусать, бороться. Но постепенно и незаметно привычка воссоздала им все положенные условности. Ей лень стало снять ночную сорочку. Переменить положение с горизонтального на вертикальное. Целовать его рот. К тому же ее раздражал этот запах от его ног. Однажды, открыв в темноте глаза, она осознала, что некто в ней потешается над Биллом, бесчувственным к ее боли и усталости, в одиночку торжествующим

там, где год назад она разделяла с ним наслаждение. Возможно, все пары приходят к этому. У нее не было подруг, чтобы спросить. А с дочерьми она поклялась никогда не говорить так, как говорила с ней мать. Поэтому нужно было молчать. Молчание расползалось все шире, вытесняя надежду.

И вот неким вечером 1938 года, когда Билл, размаянный пивом, в кои-то веки поговорил с ней о Шекспире, а Фредерика в кои-то веки не проснулась с воплями, Уинифред, лепеча что-то о Гермионе, лежала на спине, устало-благодарная за людскую беседу, — не более. Билл навалился и деловито задвигался взад-вперед. Она же, как и всегда теперь, ощущала в лучшем случае легкую клаустрофобию и где-то по краю существа — смутную возможность наслаждения, не стоившую натяжения жил. Потом Билл вздохнул, задрожал, скатился на свою половину кровати — и тогда она ощутила себя внутри пещеристой и темной. Пробегал холодок, легонько плыла голова, а она прислушивалась к каким-то переменам на глубине, подобным движению электрических токов, что способно уловить тонкое восприятие. Потом она была убеждена, что почувствовала самоё зачатие. Так, без страсти и во многом случайно, началась жизнь ее сына Маркуса.

Она набухала ребенком, мир набухал войной. То и другое было неизбежно. Билл предрекал Армагеддон, гибель культуры, зло, гремящее сапогами по родным английским улочкам. Не ко времени возникшую жизнь он предпочел списать на некую неназванную неосторожность со стороны Уинифред. Учителя помоложе уходили добровольцами. Билл, раздражаемый непостоянством педсостава, бурлил и все больше времени проводил вне дома. Уинифред, тяжелая, испуганная, бродила с коляской по Блесфорду. Имбирно-рыжая Фредерика, налитая гневом, повелительно катила под своим балдахином. Стефани, свесив пухлые лапки под колясочной ручкой, слишком серьезно глядела из оборок летнего чепчика. Страх прилипчив. Стефани училась страху. Уинифред не имела ни сил, ни лицедейской жилки, чтобы излучать бодрящее полнокровие. Она смотрела поверх дочерних головок, собираясь с силами для всего, что предстояло: катанье коляски, Билл, такой, какой есть, рождение ребенка, бомбардировки, отравляющий газ, оккупация. Ей виделись маленькие тельца, насаженные на штыки, обвал кирпичей и под рокотом — обломки колыбельки вперемешку с плотью. Не следовало быть зачатым этому ре-

бенку, но, коли он есть, нужно его сберечь. Если только возможно. Вот и всё.

Он родился быстро и абсолютно безбольно ясным июльским днем. Так быстро, что много дней все ей казалось понарошку — словно какое-то испытание еще ждало впереди.

— У вас мальчик, — сказали ей.

Уинифред вежливо ответила, что о мальчике и мечтала, хоть на самом деле не сомневалась, что будет девочка.

Она приподнялась с неизрасходованной силой и посмотрела на него. Он еще крепился к пуповине — пульсирующей, грозно-синей, серой, свинцовой. Невидящие черные глаза мигали встречь солнечным потокам. Крохотный, точеный, яростный — вылитый Билл в пароксизме гнева, — он потрясал бесполезными кулачонками над сморщенным голым теменем с налипшими поперек рыжими прядками. От нее — ничего, ни капли. То, что жило в ней, толкалось, поворачивалось, что она берегла, носила в себе, оказалось попросту Билловым гневом. Значит, мальчик. Она очень спокойно откинулась на подушку и стала ждать, когда его унесут.

Билл врывался в палату и снова убегал, нелепый от непредсказуемой радости. Заставил сестер

развернуть младенца и продемонстрировать на белой пеленке пунцово-темные гениталии, гигантские относительно остального тела. Не раздумывая, дал ему имя. Оказалось, в детстве он жалел, что его зовут не Маркус. Уинифред смотрела, как он сует палец в холодноватую, цепкую ладошку сына, и чувствовала себя так, словно кого-то потеряла.

Три ночи спустя в темноте случилось пугающее. Ребенка принесли для кормления. В свете лампы под зеленым колпаком возник невесомый комочек, за которым тянулись влажные концы байкового одеяльца и туго крахмаленной больничной распашонки.

Она пристроила в сгиб локтя бессильно склонившуюся головку с личиком осунувшимся и разочарованным. И всё разом узнала. Узнала, что он хрупок и она его любит. Узнала тягу — прижать его ближе, туда прижать, где тяга скопилась в ней. И страх сломать, раздавить. Детская кожа горяча и влажна там, где натянута усилием, в остальных местах прохладна. Это дитя всегда было прохладно и тихо. Уинифред сидела на своей клеенке, схваченная мучительной любовью, страхом, что вот его принесли и скоро унесут. И как она знала миг его зарождения, так

знала теперь, что ее судьба изменилась. Он был у нее лучший, первый и самый трудный. Она уже переставляла по-новому части своего мира. Младенец поел беззвучно и опрятно и канул в сон. Уинифред успела решить, что неистовство ее новых чувств для него опасно или по меньшей мере тягостно, — нужно приглушать их. Маркуса унесли. Она всю ночь ждала, оцепенев от тревоги и счастья, когда его принесут снова. И так оно началось.

Билл взъярился из кухни:

— Сию минуту освободи уборную! У других, знаешь ли, тоже бывают потребности!

Стены были тонкие, режущий голос врезался глубоко. Билл делал классические ошибки: каждую игрушку вручал Маркусу за полгода до того, как тот был готов с нею играть. Каждому учителю сообщал — тут еще на горе помогала эта математическая странность, — каждому учителю втолковывал, что мальчик гений. Главное же: он захотел участвовать в его детском чтении. Собственной рукой рассеял тут и там тонкую пыль библейских сказаний: Маркус должен познать воображаемые миры, куда войдет, конечно, вместе с Биллом. Что ты чувствуешь, когда это читаешь? Что тебе представляется? Что трогает

твое сердце? Медлительный мальчик смотрел в пространство и складывал числа. Это было его собственное, ненаследное. Этого в филологической семье никто не мог ни разделить с ним, ни оценить.

Пред лицом Билловой взрывчатой любви Уинифред оставалось только стушевать себя. Энергию переводить в инерцию. Сводить к небытию. Возможно, не стоило так делать. Никакой радости ей от этого не было. Послышался осторожный щелчок двери. Уинифред прошла за Маркусом в его комнату — мальчишескую, с верстачком, с аккуратно выстроенными моделями военных и прочих машин. Маркус смотрел в окно. На отца он был разительно похож лишь в больнице, когда впервые глотнул воздуха. Теперь он больше походил на Уинифред, чем ее дочери. Апатичный, невозмутимый, невыразительный. Ей хотелось прикоснуться к нему, но она не стала.

— Маркус, ты занят сейчас?

Он покачал головой.

— Мне нужно в Блесфорд за продуктами. Поможешь нести?

— Да, только куртку возьму.

Она хотела сказать, но промолчала: может, когда вернемся, он уже поостынет. Если Маркус это

уловил, то виду не подал. Когда они изредка говорили по-настоящему, то всегда без слов. Иногда ее подмывало крикнуть: Маркус, с тобой что-то неладно, совсем неладно! Маркус, поговори со мной! Но она молчала. Ему нужно было, чтобы она молчала. Или так ей казалось. Учительская улочка, спиной упираясь в Дальнее поле, спереди представляла собой одинокий рядок пригородных домиков вдоль сельской дороги, изгибисто бежавшей (по крайней мере, в 1953 году) среди полей с изгородями из боярышника и камня. Но и в те дни улочка имела собственную автобусную остановку: термакадамовую бухточку с оцинкованным навесом и кованой табличкой. К семидесятым годам дорогу благоустроили, расширили и спрямили, поставили рыжего света фонари вдоль ее гладкой крапчатой ленты. Раскорчевали боярышник, выровняли поля и густо засеяли мини-коттеджами с коротенькими подъездными дорожками и белыми оградками из лилипутского пластика. Тогда Учительская улочка приобрела вид затравленный и обнищалый. Но в 1953 году Поттеры еще могли с натяжкой считать себя деревенскими жителями. Они часто ходили гулять по проселку через луга, через поля овсяные и ячменные к станции водоочистки. Во

время этих прогулок Уинифред называла детям луговые имена: вот колокольчик, звездчатка, золотушник, зверобой, мышиный горошек, смолёвка, трилистник. Девочки нараспев повторяли за ней. Маркус со своей сенной лихорадкой чихал и трясся. Глаза заплывали лоснистыми веками, в носовых пазухах сверлила боль, и ободранным казалось вспухшее нёбо. Станция была как замкнутый форт: за железной оградой бетонные кубы без окон, земляные горбы, покрытые искусственной травкой. И тишина здесь была человеческая: только и звуков что сдержанное гуденье проводов да ветряной шорох лап разгрузчика по брошенным бочкам с гравием. Девочки спешили свернуть и двинуться прочь, словно это место было заразное. Маркусу тут отчасти нравилось. Тут не было трав с щекотными султанами и царил порядок вроде кладбищенского: подстриженная опрятность, холмики, беззвучие. Стоило бы, кажется, остановиться и все рассмотреть, коли уж станция объявлена целью прогулки. Но они ни разу не остановились. Симмонс както сказал, что оборотная вода чище ключевой, практически стерильна. Маркус тогда подумал о тихой работе очистной станции.

Поездки в Блесфорд, как и походы к станции,

сводились для него к определенному порядку следования сведений и боли. До Блесфорд-Райд он ходил в подготовительную школу при калверлейской соборной — это было в другую сторону и далеко. Блесфорд означал магазины и больницу. Уинифред пересказывала Маркусу его скудную историю так же, как на прогулке называла растения. В Средние века Блесфорд был рыночным городом, и кое-что от тех времен уцелело, зажатое слипшимися кубами стекла и каменной штукатурки. Замок еще стоял пустой скорлупой на мелком травистом пригорке, и к нему вела лестница с железными перилами. Была рыночная площадь с полосатыми палатками. А по средам у железной дороги бывал скотный рынок, и несколько часов мостовая пахла соломой, навозом, мочой и страхом, а потом все это смывали из шланга. Были старые имена: Скотинный двор, Укропная улица, Замарашный переулок, Помольные ворота. Автобус описывал круг по этим узким улочкам, минуя практичные краснокирпичные здания с асфальтовыми дворами: Главный почтамт, городская больница, автобусная станция.

Маркус долгие недели проводил в больнице с особенно тяжелыми приступами астмы или же подвергаясь малоэффективным исследованиям,

чьей целью было установить ее причину. Некие обобщенные «врачи» полагали, что в Маркусе скрыт «инфекционный очаг» и астма — лишь вторичное проявление инфекции. Ему делали рентген, брали кожные пробы, его измеряли и взвешивали. Ему вы́резали в тщетной надежде миндалины и аденоиды. Он тем временем изучал разное, в основном — природу зрения.

Он слышал однажды, как Александр с отцом говорили о влиянии чахотки на творческий процесс. «Стремительность и лихорадочный блеск таланта», — сказал Александр. Много лет спустя Маркус задумается о связи дыхания и наития. А в тот день слова Александра достаточно затронули его, чтобы он про себя заметил: астма не такова. Астма не возбуждает. Она растягивает время и восприятие, так что все делается медленным, четким и ясным.

Вне приступа больница была обычным помещением: просторная, темно-красная, пропахшая карболкой и цветами. Сестры, снующие туда-сюда, крахмал, прокипяченное железо инструментов.

В приступе пространство и время проявлялись физически. Боль обводила контуры и отмечала координаты каждого ребра. Каждый глоток хо-

лодного воздуха, мучительно и шумно втянутый, мучительно и шумно вытолкнутый, отпечатывал в сознании свою продолжительность. Маркус приобрел характерную позу астматика: гнутая спина, сутулые плечи, ребра словно подвешены, вес тела переложен на негнущиеся руки с напряженными костяшками. Человекоподобная клетка для боли и борьбы. Из этой неподвижной клетки он яснее воспринимал строго определенные вещи: цвета, очертания, людей, больничные тележки и вазы, витой узор, что, свища и царапая, чертит в нем воздух меж остановок главного, непереносно чувствительного о́ргана. Все, что было внутри и снаружи, проступало ясным и черным контуром среди наползающей мути.

Бывали мгновения предельной боли, когда зрение достигало четкости математической. Возникала двухмерная серо-бело-черная карта, и становились на ней понятны линейные отношения вещей: занавесок, углов мебели, кровати, стула, пальцев, щиплющих одеяло, треугольных складок, остающихся после щипка. Эта карта сообщалась с картой внутренней, на которой сужались, закупоривались воздушные ходы. Дважды, теряя сознание, он видел в последний миг одно и то же. Раз, когда перед удалением минда-

лин бился под марлей с эфиром, и второй — когда жесточайший приступ оборвался обмороком. (Частые свои обмороки он ненавидел.)

Он видел кружащую геометрию. Вращался лист миллиметровой бумаги, клеточки уменьшались в согласии с неким почти уловимым геометрическим принципом и одновременно тоже вращались, и в центре всего (где-то на периферии зрения) была точка схождения, бесконечность.

Геометрия одновременно прилежала и противостояла страдающему животному. Она разрасталась, когда росла боль, но все же с усилием можно было переключить внимание с боли на геометрию. Геометрия была неизменна, точна и в родстве с абсолютом. Маркус не противопоставлял геометрию боли. Обеим им противопоставлялась «нормальная жизнь», в которой просто принимаешь вещи, как они есть. Все множество блестких, лоснистых, мягких, твердых, переменчивых, осязаемых вещей принимаешь легко, без нужды в карте и ранжировке…

Когда автобус обогнул больницу, Маркус быстро счел окна в первом и последнем этаже, заметил их пропорции и скрестил пальцы. Рядом, сжимая сумку, сидела Уинифред — у нее были свои воспоминания. Мать и сын молчали.

Мясная лавка была, против ожидания, вовсе не на Скотинном дворе, где расположились новый «Маркс и Спенсер», аптека, магазин белья и пара магазинчиков с местными тканями. Она была в соседней улочке: старинное, процветающее заведение со стенами в бело-зеленой плитке и полом, закапанным кровью и присыпанным опилками. Хозяин, мистер Элленбери, был, по обычаю мясников, бодр и багров. Он с должной ответственностью участвовал в местной политике, охотно и даже настойчиво обсуждал состояние страны и природу вселенной с домохозяйками, над которыми еще со времен продуктовых карточек сохранял некий добродушный деспотизм. Ему помогали три молодца в длинных белых, кровью измазанных фартуках. Все трое бурлили чрезмерной, а порой и непристойной живостью. Эта их живость связывалась для Маркуса с воскресным жарки́м. Ибо раньше по воскресеньям бывало у Поттеров жаркое из хорошего куска, предваряемое большими квадратами йоркширского пудинга, золотистого, исходящего паром, с хрустящей корочкой, присыпанной солью и политой горячей подливой. Билл и Уинифред часто упрашивали бледного Маркуса зачерпнуть себе красного сока от жаркого: в нем здоровье,

говорили они.

Витрина мистера Элленбери была в своем роде произведением искусства. Мяснику недоступна та симметрия, те тончайшие переходы оттенков и форм, что рыботорговец создает на льду или мраморной доске, выкладывая из товара солнце или розу. Элленбери брал разнообразием, в приятной пропорции сочетая естественное, искусственное, абстрактное и антропоморфное. Тут были свои роскошества.

С блестящего стального прута на изящно изогнутых крюках свисали куры с пухлыми голыми грудками, с растянутыми и слегка опушенными шеями. Рядком красовались утки: золотые клювы, черные глазки, холодные перепончатые лапы чинно прижаты к бокам, белые шейные перья испачканы бордовым. Ниже прилавок был покрыт и окантован яркой поддельной травкой. На этом лужку резвились фольклорные фигуры и мифические существа. Улыбающийся картонный свин, застыв стоймя на одном копытце, возносил полное блюдо дымящихся сарделек. Он был — вероятно, пристойности ради — подвязан синебелым полосатым передничком, а на голове у него лихо сидел объемный поварской колпак. Жовиальная бычья голова, исполненная кудрявой

мощи и увесистой жизни, составляла глянцевый картонный триптих с пирамидой красных бульонных кубиков и сотейниками горячего и бурого «питьевого мяса „Оксо“»[84]. Черно-белый молочный теленок — прямиком из детского стишка — бодренько скакал по маргариткам, осененный голубыми солнечными небесами. На вершине горы из пирожков, завернутых в целлофан, цыпленок, теленок и поросенок вели веселый хоровод, знаменующий добросердое английское согласие меж телятиной, ветчиной и яйцом.

На ступень пониже — тот же белый мрамор под изумрудной травкой — стояли эмалевые посуды с частями более потаенными, разными на цвет и на ощупь. Кусок плотного воскового сала. Тарелка с белой, сдувшейся, ячеисто-оборчатой требухой. Органы. Почки, твердые и обмякшие, некоторые еще в жировом одеяльце: в прорехи глядит синеватая скользкая плоть. Переливчатая печень, монументальное бычье сердце с торчащими артериями, огромной раной и желтеющим жиром наверху. Половина свиной головы на плоской подставке, вареная, бледная, с тусклыми

[84] Примечания: 84

Кубики «Оксо» рекламировали как источник бодрости и силы, рекомендуя добавлять их даже в молоко.

следами крови, с металлической биркой в ухе, с белой щетиной на морде и белыми, жесткими от соли ресницами.

Ниже — отрубы. Свиная щека, свернутая в конус и обсыпанная золотыми сухарями, поблескивает в своем целлофане — опрятный, отвлеченный предмет. Бараньи котлетки выложены в аккуратные линии. Повторяющийся узор: розовое мясо, белый жир, опаловая косточка. Параллельные линии, одинаково неровные формы — все вместе дает через повторение некую абстрактную закономерность. Свиное каре — ребра скручены в корону, и каждое торчащее ребро украшено папильоткой из папиросной бумаги. Огузок и бочок, подбрюшина и ковалочек. Говядина, свинина, ягнятина, телятина — опрятные куски, большие и малые, жирные и постные, так и сяк перетянутые бечевой, проткнутые палочками с биркой, словно насаженные на миниатюрные вертела и шампуры.

Если всякая плоть — трава[85], то в какой-то иной крайности всякая плоть — геометрия. Человек Поядающий с уникальным набором всеядных зубов — настоящий художник в деле истребле-

[85] Примечания: 85

Речение, происходящее из Священного Писания (см., напр.: Книга пророка Исаии, 40: 5, Первое соборное послание апостола Петра, 1: 24).

ния и преображения плоти. Он обзавелся целым арсеналом для ее пронизания, разъятия, очищения, изучения и аппетитной подачи. Он, этот художник, способен примирить под золотистым небом жизнерадостного свина и плотную цилиндрическую сардельку. Или создать из плачущего сала, взрезанной телячьей грудинки, рубленой петрушки, хлеба и взбитых яиц — тугую спираль, на срезе белую и розовую, зеленую и золотую.

С каждой стороны двери на пронзенной крюком, натянутой жиле висела половина бычьей туши. Маркус вместе с матерью вошел внутрь, словно бы прошел сквозь тварь, что еще утром лежала на пороге, раскинув копыта, свесив безголовую шею, медленно раздаваясь по хребту под ударами тесака. Он видел раньше, как это делают. Теперь же он видел выпуклую плоть с налипшей пятнистой марлей и проницавшую ее геометрию: цепь позвонков, веер ребер, тугой лоск пленок, облегающих и соединяющих кости. Дальше был ряд бледных свиных трупов и окоченело растянутых ягнят.

Спасительная геометрия была здесь зверски проста и наглядна. Чем меньше отруб, тем он геометрически точней, а значит, удобней для восприятия. Если человек видит предметы, или

воображает их, или мыслит о них в терминах составляющих единиц — например, молекул, — то и бараньи котлетки могут считаться составляющими неких разнообразных и занятных систем. Половина свиной головы и тому подобное единицей считаться не может. С другой стороны, на земле и в воздухе полно молекул, составлявших некогда часть располовиненной свиной головы. Маркус не мог разделить принцип «все или ничего». Для него половина свиной головы была вполне осмысленной и терпимой единицей.

Из-за деревянной колоды, иссеченной, иззубренной, изъеденной косарем, секачом и пилой, с энергичным приветствием возник чернявый Улыбач. Так прозвали его Стефани с Фредерикой за выражение лица, менявшееся лишь от менее к более радостному. Как-то он предложил покатать Фредерику на мотоцикле, причем навалился на прилавок, вытирая руки влажно-кровавой тряпкой. Фредерика согласилась бы, но Билл запретил, сказав, что мотоцикл опасен наверняка, а Улыбач — с большой долей вероятности.

— Чего изволите?

Улыбач стоял, запустив руку в куриную тушку. Дернул — с хрустом и чавком потащил из растянутой утробы длинную череду мягких белых

кишок, плотных, подернутых жиром потрошков, пузырчатых золотистых яичников в красной сетке сосудов. Тушка вздувалась и корячилась в нелепой пародии на жизнь.

— Фунт бараньей печенки и телячью лопатку, — отвечала Уинифред.

Улыбач кивнул и широким махом явил что-то вроде детского пляжного ведерка, откуда вытряхнул на прилавок лоснистую горку мороженой печенки, хрупкой и темной. Постукал по ней своим большим ножом:

— Как каменная. Нам, миссис Поттер, сейчас свеженькой подвезли с бойни. Я знаю, вы свежие потрошка уважаете. Погодите минутку, я сбегаю.

Мутнеющему взору Маркуса свежая печень предстала горячей и вздутой. Улыбач пришлепнул ее ладонью, чтобы стала плоская, и нарезал тончайшими ломтями. Затем принялся снимать с кости телятину, быстро и точно орудуя остатком большого ножа, сточенного до почти невидимой тонизны. Снимал, как брил: бережно и чисто. Мягкая плоть спадала с блестящего мосла, белого с жемчужным отливом, сине-лилового, розоватого, все больше выходящего за пределы реальности. Маркус смотрел. Разлагал на составляющие, менял составляющие местами. Озирался

по сторонам. Мясо напирало. Он говорил себе: люди приходят сюда и уходят и никому ничего не делается.

— Ну вот, — сказала Уинифред. — Будет у нас отличный ужин. Держи. — Она протянула ему сверток, уже думая о стряпне, о претворении мяса в яство. А может, и о том, что Маркусу должно понравиться. Увидела его лицо. — Маркус!

— Мамочка…

Он уже давно ее так не называл.

Она, по чести, и не любила это слово. Оно наводило на мысли о недобром, о мертвецах, сохраняемых в пыльных просмоленных коконах[86]. Да и звук неприятный: мык и чмок. Она не запрещала его детям, не просила звать ее по имени — подобное было не в ее духе. Все они по очереди подхватывали его от других детей, других матерей, осторожно пробовали какое-то время и сами отвыкали. Если прямое обращение было неизбежно, называли ее «мама», а чаще не называли вовсе.

Она за руку вывела его на улицу:

— Маркус, что с тобой? Я знаю, с тобой что-то…

Ее перекрыл гудок, повелительный, резкий,

---

[86] Примечания: 86

В английском языке слово *Mummy* или *Mommy* (мамочка) созвучно слову *mummy* (мумия).

неестественно долгий. Оба вздрогнули. К тротуару притерся невесть откуда возникший спортивный автомобиль — черный, блестящий, куцый «триумф» Лукаса Симмонса, которому тот расточал невиданные заботы на школьной стоянке. Симмонс опустил стекло и просиял невинно-розово:

— Миссис Поттер, Маркус! Вы, случайно, не домой сейчас? Я могу вас подвезти, если Маркус согласится съежиться на заднем сиденье. Автомобиль, по чести, рассчитан на двоих…

Маркус дернулся и отступил. Он выглядел очень плохо, почти больным, мог упасть в обморок, как не раз случалось. Уинифред с благодарностью согласилась, сказав: как вы вовремя. Симмонс ответил, что всегда рад служить, и смущенно усмехнулся, искупая возможную нелепость фразы. Машина была шумная, Симмонс вел очень резко, так что на поворотах Уинифред вся сжималась и не могла уловить ни положительных, ни враждебных эманаций от Маркуса, скорчившегося где-то сзади. Симмонс, в основном заглушаемый мотором, говорил что-то банальное об уличном движении в Блесфорде. Когда приехали, Маркус сказал, что его укачало, и пошел в постель.

10. Монолог в башне

Фредерика получила письмо:

Дорогая Фредерика, мы все еще не распределили роли в «Астрее». Комитет хотел бы снова тебя прослушать. Приходи ко мне в среду после уроков, как только сможешь.

Искренне твой,

Александр Уэддерберн

Фредерика составила исполненных благодарности, энтузиазма, ума ответов. Послала же следующее:

Дорогой Александр,
я буду очень рада.

Фредерика

Она надеялась (с изрядной долей сомнения), что он разглядит нюансы.

Александр жил в школьном здании, в красной западной башенке. Ход к нему был в готическую арку и вверх по винтовой лестнице до дубовой

двери. Внутри была еще одна дверь, обитая, в подражание Оксбриджу[87], толстым зеленым сукном[88]. В комнате были смутно готические окна по двум стенам. Южное поверх лужаек и клумб смотрело на огороженные сады и Дальнее поле. Западное выходило на Замковый холм и его окрестности, включая очистную станцию. Над дверью снаружи было резное окошко со сдвижной ставенкой, сообщавшее, что Александр М. М. Уэддерберн, маг. искусств, англ. лит. «НА МЕСТЕ» либо «ВЫШЕЛ». Лестница была из красного камня и пахла хлором.

В среду Александр мрачно глянул в южное окно и узрел надвигающуюся Фредерику. Вместо школьницы — балерина в выходной: все черное и серое, натуго застегнутое. Волосы стянуты в пучок, острые каблуки дырявят запретный газон, острый нос торчит и принюхивается.

Фредерика явилась рано, хотя бы в том смысле, что раньше Кроу и Лоджа. Александр ощутил себя затравленным зверем. Когда обсуждали ее

---

[87] Примечания: 87

Шутливое сращение слов «Оксфорд» и «Кембридж».

[88] Примечания: 88

По традиции, популярной с XVIII в., сукно набивалось для приглушения звуков и кухонных запахов. Дверь с зеленым сукном, как правило, служила разделом между хозяйской частью дома и помещениями для слуг.

пробу, он понял, что определенно недолюбливает Фредерику Поттер. Не только потому, что в ее присутствии испытывал вчуже мучительную неловкость. И даже не потому, что она была в него, кажется, влюблена: такие вещи естественны, их принято добродушно не замечать. Но, увы, Фредерика понравилась Кроу, он прямо-таки настаивал, что у нее способности. Да еще этот ее зверский напор во время проб… Александр был теперь глубоко и нелогично убежден, что девчонка в лучшем случае обременительна, а в худшем — опасна. Попробуйте не обращать внимания на влюбленного в вас боа-констриктора! А именно так и обстоит дело или будет обстоять в скором времени.

Он услышал на лестнице ее быстрый цокот. Потом грянул стук в дверь. Проклиная Кроу, Александр пошел отворять.

— Там сказано: «вышел», — обвиняющим тоном заявила она.

— Да, я все время забываю передвигать эту штучку.

Он попытался взять у нее пальто, но она уже расхаживала по комнате, читала надписи на корешках, мерила шагами расстояния, оценивала вид из окон. Александр старался, насколько было

возможно при его работе, никого к себе в комнату не пускать. Фредерика, конечно, тут и близко не бывала. Он взял себя в руки и твердо сказал:

— Сядь и дай мне пальто.

Фредерика послушалась. На ней оказалась необъятная серо-черная шерстяная юбка и свитер с рукавами «летучая мышь». На шее — он особенно не любил этот стиль — железные побрякушки на кожаном шнурке. Она скрестила ноги, как секретарша из голливудского фильма, и впилась в него взором инквизитора. Александр отступил за письменный стол.

— Остальные пока не пришли. Мы рановато.

— Это я рановато. Вы-то здесь живете… Александр, пожалуйста, объясните мне, что все это значит?

Он словно не заметил отчаянную дрожь в ее голосе:

— Наверное, и правда лучше объяснить. У нас возникли трудности с выбором актрисы на… на главную роль. Лодж хочет, и Мэтью тоже, пригласить Марину Йео. Собственно, — он постарался скрыть легкую досаду, — они уже ее пригласили. Она старая приятельница Мэтью и, говорят, загорелась этой идеей.

Фредерика молча смотрела на него.

— Но она стара. Для пьесы — для моей пьесы — она стара. Вот в чем дело.

— Я ее видела в Ньюкасле в «Гедде Габлер». И еще в роли Клеопатры. Клеопатру можно играть и старой. И этот жуткий фильм с ней видела — «Смертная луна»[89]. Она там в общем неплохо сыграла Елизавету.

— Тому фильму лет уже немало. А Йео — замечательная актриса. Так или иначе, Кроу осенило разделить роль: в первый акт, на молодую Елизавету, взять девушку. А начиная с коронации поведет Марина и будет красиво стариться по ходу действия. Я лично этого не хочу. На что имею право: я писал эту роль для одной актрисы.

— Будь это моя пьеса, я бы разозлилась не знаю как! Разделить роль! Это же совершенно не тот стиль…

— И к тому же это не любительский спектакль, — неосторожно сказал Александр.

— Вот именно.

— Ладно, оставим. Дело в том, что Кроу поразило твое сходство с… оригиналом. Он считает, что можно на первые сцены взять тебя.

---

[89] Примечания: 89

Отсылка к 107-му сонету Шекспира. Считается, что «смертной луной» (иначе говоря, девственной богиней Дианой) названа в нем Елизавета I.

— Я бы отказалась. Даже если бы они позвали. Если вы этого не хотите, то… Я… Мне важно ваше мнение. Это ведь ваша пьеса, вы ее написали.

— Теперь уже не вполне моя, — педантично поправил Александр. — Она в руках Лоджа. А Лоджу ты нравишься.

Лодж усмотрел во Фредерике некую «своеобычную сухую сексуальность». Эта фраза застряла у Александра в мозгу: ни одной минуты он не считал Фредерику сексуальной. Нелепость — а с ним Фредерика бывала как-то особенно нелепа — исключала для него сексуальную притягательность.

— Кроу сказал, я могу надеяться на второй состав. И я надеялась. Но все равно вы не должны им позволять, если вы против. Это ваша пьеса.

— Я вовсе не хочу, чтобы ты теряла надежду…

— Я очень хотела играть в пьесе. Такое бывает раз в жизни.

Ей вспомнились видения, то лелеемые, то гонимые: фанфары и фижмы, сладость и соль английского языка, кавалеры, кавалькады, беседы, и кто знает что еще… И Александр, Александр… Конечно же, Александр.

— Хотя рано говорить, что я бы отказалась. Я им, скорей всего, и не понравлюсь. Но я бы отка-

залась, правда.

Фредерика спросила себя, зачем она это говорит. Нет, она не лжет и действительно понимает положение Александра. На его месте она считала бы так же. Это его пьеса, его труд. Но сейчас важней всего — чтобы она, Фредерика Поттер, получила роль. И не какую-то, а именно эту. Так к чему разговоры? Не только же, чтобы Александр сказал вот сейчас:

— Нет-нет, ты прочти им как следует. Тут все решает Лодж…

Она знает его интересы, и они ей дороги. Но собственные дороже. Александр о них пока не думает, но он должен, должен все понять и соответствовать!

Фредерика оглядела комнату. Она давно уж намеревалась сюда проникнуть. Все оказалось не совсем так, как она представляла. Прохладно, просто, современно — насколько это возможно в царстве викторианской готики. По моде фестивального времени каждая стена была выкрашена в собственный пастельный цвет. Голубой с зеленцой цвет утиного яйца, размытый травяной, приглушенный лососевый, бледно-золотистый беж. Пара кресел светлого бука в оливково-зеленом репсе. На подоконнике в аспидных

веджвудских[90] чашах с античными сценами на боках росли белые гиацинты и темные крокусы.

На голубой стене позади Александра висела большая копия «Семейства комедиантов» Пикассо в тонкой дубовой раме. Напротив, на лососево-розовой, — его же «Мальчик с трубкой», которого Фредерика не узнала. На зеленой, над камином, — очень большая глянцевая фотография: белая на черном, мраморная женщина лежала на боку спиной к зрителю. Ее Фредерика тоже видела впервые. На каминной полке возвышался миниатюрный курган из камешков. Один или два были полированные, в форме яйца: агат, алебастр, остальные — неровные, простые. Те, что не желали лежать курганом, были выложены рядком от большого к маленькому.

На золотистой стене, уже несколько поблекший, висел плакат: «„Бродячие актеры“, пьеса Александра Уэддерберна». Буквы названия были в виде зеленеющих веток, их поддерживали персонажи комедии дель арте, пляшущие или замершие в картинных позах. Коричнево-зеленые буквы и черно-белые фигуры в клетчатых трико.

Фредерика дважды прочла все, что там бы-

---

[90] Примечания: 90
Прославленная марка британского фарфора.

ло написано: дни и часы, истекшие в Театре Искусств в 1950 году. Потом прочла названия книг в ближайшем шкафу. Фредерику гипнотизировали печатные буквы. Чтение доставляло ей чувственное удовольствие, не важно, была ли то инструкция к очистителю унитаза, правила поведения при пожаре, очередной список или, как сейчас, названия книг. «К определению понятия культуры»[91], «В поисках утраченного времени»[92], «Ж. Расин. Полное собрание пьес» — последние две на французском.

На двери висел пустой халат и твидовый пиджак.

Чего же не было в этой комнате и чего она от нее ожидала? Некой театральности, сумрачного богатства эффекта. Просторная воздушность ее была неожиданна, хоть приятна.

— Красивые камешки.

Он нервно поднялся и стал вертеть их в руках — холодные, шепчущие, звонкие.

— Я их привожу из Чизил-Бэнк. Я родом оттуда, из Дорсета.

Еще кое-что о нем! Фредерика, как белка, жадно

---

[91] Примечания: 91
Трактат Т. С. Элиота.

[92] Примечания: 92
Цикл романов Марселя Пруста (1871–1922).

припрятала это новое знание, но не нашлась ничего сказать ни о камешках, ни о Дорсете. Она была до странности не способна к простейшей болтовне. Молчание тянулось. Поэтому она почти обрадовалась, когда в комнату быстрым шагом вошли Кроу и Лодж.

Они заранее напустили на себя таинственный вид, чем изрядно смутили Александра и Фредерику, решивших, впрочем, не выдать бывшего между ними разговора. Кроу, значительно подмигивая, говорил, что, возможно, удастся его затея со вторым составом. Лодж изрек, что первая проба была неплоха и они подумывают дать Фредерике роль со словами. Не прочтет ли она им для начала монолог Утраты?

Фредерика ответила, что предпочла бы что-то другое. Как оказалось, юные создания у нее не получаются, мрачно пояснила она. Нельзя ли, например, Гонерилью? Лодж рассмеялся в голос: к великому сожалению, требуются не гонерильи, а юные создания. А потому весьма желательно посмотреть, насколько она может воплотить девический образ. В этой насмешливо-пышной учтивости Фредерика учуяла особое отношение. Она нравится, с ней хотят работать! И похоже, эти двое не против легкой словесной перестрел-

ки. Фредерика просияла улыбкой: ну что ж, вы знаете, я отнюдь не нимфа. И послушно начала:

Зачем, о Прозерпина,
Не можешь ты мне подарить цветы,
Которые в испуге обронила
Ты с колесницы Дия?

Тут нет подлинного вдохновения, подумал Александр, но это и не вполне бездарно. Вдохи и паузы расставлены осмысленно, и, по крайней мере, ничто не мешает течению стиха. Он у нее почти летит, даже если сама она летать не способна.

— А теперь, — сказал Лодж, — попробуем что-нибудь из пьесы. Александр, у вас есть подходящий кусочек?

— Наверное, монолог в башне, — ответил Александр.

Когда он протянул ей текст, Фредерика попыталась расшифровать выражение его лица. В нем была долготерпеливая грусть.

Тауэр — башня-темница, куда Мария Тюдор[93] бросила молодую принцессу Елизавету. Этот момент в истории и литературе Фредерика, выросшая на кипучих страстях «Юной Бесс»[94], проживала не раз. Александр, вероятно, рос на чем-то другом, подумала она, хотя в этой сцене страстей достаточно.

Александр наблюдал за ней. Есть что-то раздражающее нервы в том, чтобы вот так смотреть, как другой сосредоточенно и быстро читает тобой написанное. Помимовольно он навис над нею и начал вставлять словечки: поясняющие, оправдательные, уводящие в сторону. Фредерика читала с лицом сердитым и замкнутым. Александр никогда бы не признался себе, но он побаивался ее суда.

— Насколько я понимаю, она не шутила:

---

[93] Примечания: 93

Мария I Тюдор (Мария Кровавая, Мария Католичка) (1516–1556) — старшая дочь Генриха VIII (1491–1547) и его первой жены Екатерины Арагонской (1485–1536), первая коронованная королева Англии. Стремилась восстановить католическую веру, попранную Генрихом, объявившим себя главой Церкви в Англии. На фоне обнищания страны жестокие репрессии против протестантов вызвали нелюбовь к ней английского народа. Мария всю жизнь враждовала с Елизаветой, но, умирая от лихорадки, успела законодательно оградить страну от притязаний своего мужа-испанца и благословить сводную сестру на царство.

[94] Примечания: 94

Роман Маргарет Ирвин (1889–1967).

«Женою мужнею не буду». Я писал вслед за историками, которые считают, что она не собиралась выходить замуж…

— Понятно…

— Эта «она», о которой она все твердит, — Анна Болейн[95]. Хотя, конечно, нет свидетельств, что они встречались.

— Я знаю.

— Ну да, разумеется. И знаешь, монолог должен начаться почти с истерики, она говорит захлебываясь — как Болейн заперли в башне, и как она хохотала и плакала. А потом тон понемногу меняется…

— Да, да, — почти нетерпеливо. — Предложения очень длинные.

— Читать непросто, согласен.

— Дайте же бедной девочке сосредоточиться! — вмешался Кроу.

Александр отошел и стал смотреть в окно.

Стих был блестящий и нервный, со множеством эпитетов и метафор. Принцесса говорила

---

[95] Примечания: 95

Анна Болейн (1507–1536) — вторая жена Генриха VIII и мать Елизаветы I. Одни считали ее ведьмой и вменяли ей в вину первые шаги Генриха на пути отхода от католической веры, другие видели в ней невинную жертву интриг. Генрих нетерпеливо ждал от нее наследника и после двух выкидышей охладел к молодой супруге. Он объявил, что Анна его околдовала, обвинил ее в изменах и заключил в Тауэр. После суда с заранее известным исходом Анна была казнена.

о холодных, сырых камнях башни, о черной Темзе, об узеньком садике во дворе с несколькими несрезанными цветами. Потом выплела длинную, прихотливо витую речь о белых и алых розах, о розе Тюдоров, о крови, плоти и мраморе, о запертом саде, запечатанном колодце, *ego flos campi*[96], я не паду под мясницким ножом. Потом — изящное отступление, драгоценный каприз: сказочка о деве, что уронила в колодец золотой мячик и отвергла любовь скользкого лягушонка. Мрамор и золоченые статуи принцев.

Длинные периоды уступили место словам коротким и резким. Ни капли крови не отдаст Елизавета. Ни под ножом, ни на брачном ложе. Она камень, от которого крови не добиться, *semper eadem*[97], вечно одна. Добродетель — ее оплот.

Фредерика встала в оконной амбразуре, взглянула на сад внизу, уняла воображение и начала читать. Главную трудность, как она уже намекнула Александру, составляла усложненная грамматика. Но грамматику Фредерика знала хорошо. Александр не сказал ей, что уже смотрел несколь-

---

[96] Примечания: 96

Я роза Сарона *(лат.)*. Отрывок содержит отсылки к Песни песней.

[97] Примечания: 97

«Вечно неизменна» *(лат.)* — девиз Елизаветы I.

ких возможных Елизавет, и всем им труден был его язык. Фредерика же, вопреки ожиданию, именно в недостатках своих оказалась хороша для роли. Она не калечила его предложений. Она пришла к чисто рациональному заключению, что язык пьесы настолько богат и даже пышен, что читать нужно просто и негромко: пусть он сам говорит за себя. Ее подход глубоко впечатлил Александра. Он побаивался этих брызжущих жизнью актрис, что самовыражаются в ущерб авторскому тексту, и думал, что в этом смысле Фредерика окажется хуже большинства. Но нет. Хотя для Лоджа жизни тут, пожалуй, и маловато… Остается надеяться, что он не сочтет ее манеру слишком сухой и монотонной.

А что думал Лодж, было не вполне ясно. Он попросил ее прочесть снова и на сей раз вложить в роль всю себя. Этим он добился от нее некой сдавленной, неуклюжей ярости, которой, кажется, остался удовлетворен. Он спросил, сможет ли Фредерика двигаться более естественно. Конечно, заверила та. Кроу сказал, что их небольшой план выглядит вполне многообещающе. Фредерика с трудом удержалась от того, чтобы спросить, какой именно план. Кроу предложил подвезти ее до дома. Подметив его любовь к намекам, обмолв-

кам и прочим играм, Фредерика не сомневалась, что в машине он скажет ей о своем решении и о том, что Александр против. Из трех мужчин она больше всего нравилась Кроу, он был явно на ее стороне. Он же был и самый скучный. Кроу имел лишь деньги и влияние, а Лодж и тем более Александр были художники — и спрашивать нечего, кто интересней. Фредерика наивно полагала, что ее эстетические принципы в данном случае совпадают с тем, что она более расплывчато — и в целом неверно — именовала своими политическими интересами. Из всех троих, решила она, нужно произвести впечатление на Александра. Пьеса его, значит он должен одобрить ее игру и их план. Она ошибочно думала, что остальные двое уже готовы сотворить из нее и Йео единую королеву и сегодняшнее чтение устроили лишь с целью обратить Александра. Поэтому Фредерика ответила Кроу, что она и так дома, достаточно пройти по аллейке и пересечь Дальнее поле. А потом, бесстыдно и явно проигнорировав открытую для нее дверь, осталась с Александром одна.

Александр великодушно сказал, что читала она замечательно. Фредерика ответила, что она, конечно, страшно волновалась, но это было волшебно — такой стих, такие дивные образы.

Александр заметил, что монолог в башне — метафорический центр всей пьесы.

— Мне еще понравились цвета, красный и белый.

— Я с самого начала видел эту сцену в белом, сером и красном.

— А зеленый не помешает, если играть на открытом воздухе?

— Если вечером, то нет. А камни, наверное, можно сделать при помощи освещения. Не хочешь ли шерри после мук и испытаний?

Наливая шерри, он сказал, что цвета взяты им из коротенького стиха о Елизавете, который он тоже вписал в пьесу:

Под деревом я деву увидал:
Лоб и ланиты как поля герба,
Где алой розы кровь и белой розы…

Геральдика и кровопролитие. Оттуда все и пошло: красное и белое, кровь и камень. Не присядет ли Фредерика на диван? Интересует ли ее иконография, связанная с обожествлением Елизаветы? Там немало занятного. Елизавета приобрела многие из традиционных атрибутов Богоматери. Роза мира, башня из слоновой кости.

– *Ego flos campi,* — вставила Фредерика, — и еще про запечатанный источник. У нас это вышито на школьном пиджаке: «Отныне знание не запечатанный источник». Откуда это?

Александр от неожиданности грубовато расхохотался.

Это, сообщил он ей, из «Принцессы» Теннисона, поэмы-сказки о феминистской академии. Поэт подсмеивается над выспренними устремлениями девственной принцессы Иды и окруживших ее синих чулков. А до того (задолго до!) о запечатанном источнике говорит Песнь песней, и тогда это была высшего порядка эротика. Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. В таком случае, заявила умненькая Фредерика, потягивая уже вторую рюмочку шерри, Теннисон был либо непристоен, либо прогрессивен, намекая, что познание — не первородный грех, а благо. Боюсь, сказал Александр, что придворный поэт прошелся тут насчет девственных идеалисток, претендовавших на причастность к источникам. Недаром их дивные вирши противоречат их принципам: там всё про плотский соблазн и очарование младенцев.

Вот белый дремлет лепесток,

Вот алый… —

один из сладчайших и двусмысленнейших стихов в английском языке.

Фредерика сказала: здорово, что наши пиджаки не только безобразны, но и безнравственны, от этого школьный ужас делается как-то терпимей. Спасибо, что рассказали. Тут оба поняли, что сидят на диване рядом и говорят о сексе.

Они отодвинулись, но, впрочем, не очень-то. Александр опрометчиво подлил в рюмочки еще шерри. Он успел забыть — удивительно, что́ иногда забываешь, — как работал над метафорами Елизаветы, вплетая в ее речь образы ее культа: феникса, розу, горностая, Золотой Век, Королеву урожая, Вирго-Астрею — девственную покровительницу правосудия и плодородия. Работал и работал один в этой комнате, а с тех пор, как закончил, никто ни разу не заметил его находок. Кроу, Лодж и остальные говорили о расстановке акцентов, о соответствии моменту, о сокращениях во имя компактности, о темпе действия, о характерах. Ни один не вспомнил об образах, сотканных им так любовно, с невыразимой смесью прихоти и откровения. Эта девочка ухватила их за хвост там и сям, как блестящая кандидатка на блестящий диплом, каковой, естественно, и

являлась. Но на то и он был учителем. Он объяснил ей, что девиз Елизаветы — *«Semper eadem»* — связался для него с однородностью камня и с неиссячным временем Золотого Века. Девиз Марии Шотландской *«Eadem mutata resurgo»*[98] — «Преобразясь, восстаю той же» — отдавал христианством и уступал каменной, языческой вере Елизаветы в неизменность своего естества. Жаль, не лукавя сказала Фредерика, что пьесе о душе столь цельной угрожает сдвоенная героиня. Александр неосторожно отвечал, что теперь эта перспектива уже не так его пугает. Хотя бы за половину текста можно быть спокойным. Фредерика вспыхнула надеждой. Это великолепный язык, сказала она, одухотворяющий! Зрители поймут…

> *Язык волшебный, сахарный тростник,*
>
> *Мед розовый, куда стремит твой путь?*[99]

В пятидесятых годах критики напишут статьи

---

[98] Примечания: 98

Принято считать, что это девиз швейцарского математика Якоба Бернулли (1655–1705).

[99] Примечания: 99

Строки из стихотворения Джорджа Герберта (1593–1633) «Предвестники».

о символизме крови и камня в «Астрее» А. Уэддерберна.

В начале шестидесятых доходчивые перечни образов включат в пособия для середнячков, чающих получить солидный диплом.

В семидесятых пьесу отметут как окаменелость, последний капризный выверт индивидуалистического модернизма. Скажут: она заражена бесполезной и даже вредной культурной ностальгией, набита ненужными мелочами, до неприличия растянута. Творческий тупик, иными словами, сотая попытка возрождения стихотворной драмы, о чем, конечно, следовало бы догадаться сразу.

Но в тот день Фредерика, снискав и вымучив из Александра заслуженное полуодобрение, решила сменить тему. Она указала на фотографию мраморной женщины (довольно естественный переход) и спросила, кто это.

«Данаида» Родена, сказал Александр. Он подошел ближе и пристально взглянул туда, где рассеянный Фредерикин взгляд лишь скользнул по глянцу.

— Посмотри. Посмотри, какая линия.

Он провел указательным пальцем по линии позвонков под шелковой мраморной кожей от

поникшей головы до округлых ягодиц, очертил полумесяц, тающий во мраке и во мрак исходящий светом. Двойственный жест: исключительно наставительный и невозможно чувственный. Фредерика проследила палец и увидела статую.

Ей хватило остроты сознать, сквозь волнение от близости Александра, что ее впервые заставили увидеть зримое произведение искусства. Это молчаливое чувственное постижение, столь явно привычное Александру, было ей совершенно ново. Никогда еще, подумала она, не доводилось ей смотреть на картину, скульптуру, даже вид из окна без словесного аккомпанемента, а то и перевода. Языковые законы вживлены были ей под кожу. Дело Билловых рук, разумеется. Это он описывал Фредерике первые произнесенные ей слова, пел их ей, гордо при ней повторял знакомым, невольно украшая и улучшая. А еще читал ей, читал, читал…

Искусство, рожденное не из языка, не занимало его. В том, что касалось цвета, света, несловесного звука, он превращался в обывателя-резонера из собственного приходского прошлого. Он не сказал бы этого прямо, но каждым жестом, каждой оценкой давал понять, что все это необязательная и легковесная роскошь, в лучшем случае

— придаток цивилизации, основанной на иных началах.

Поэтому, с младых ногтей усвоив, что «Лир» правдивее и мудрее всего на свете, Фредерика ни разу не поразилась жизни настолько, чтобы спросить себя: зачем писать пьесу, вместо того чтобы прямо глянуть в глаза мрачным истинам старости, болезни, нечестивых дочерей, безумия, злобы, смерти? Зачем сочинять «О ветер западный…»[100], если можно лежать в объятиях возлюбленной или предаваться сладкой тоске разлуки?

Не зная иного, она считала, что стих и пьеса — значительней того, что призваны изобразить. Но вот Александр привычно явил ей Данаиду, и незнакомое чувство заставило ее задуматься: есть те, кто предпочтет изваять из камня женщину, и с ней мужчину или еще одну женщину, предпочтет стоять и смотреть на этот камень, чем заняться… чем угодно еще. Дома она вообразит другие сцены на этом диване и Александров палец, скользящий вдоль *ее* позвонков, но здесь ей хватило сметки: воображаемых нег покамест

---

[100] Примечания: 100

Уцелевший отрывок средневекового стихотворения, герой которого тоскует в непогоду и мечтает снова очутиться в постели с возлюбленной. Автор неизвестен.

достаточно с лихвой. Она отодвинулась, прежде чем он успел пожалеть о каком-либо из своих жестов, — деликатность для нее редкая.

Александр раскаялся мгновенно. Он знал, каково это — что-то людям показывать, особенно то, что принадлежит тебе. Все равно что дарить. Дженни он показывал Данаиду, говорил с ней о загадках камней, пока они перебирали и разглядывали его курганчик. Она, в отличие от Фредерики, щедро всем восхищалась, быстро передружилась со всеми его вещами, различала камешек от камешка, находила эпитеты для белого отчаяния Данаиды. Дженни знала, что это отчаяние. Она приносила ему сюда разные вещички. Луковицы, цветшие в веджвудских чашах, принесла она, и плакала, освобождая их от бумаги: куплены на деньги Джеффри, ничего нет у нее своего, чтобы подарить Александру. Александр провел пальцем по мужам и девам на боку чаши и остановился перед «Мальчиком с трубкой». Тут была тайна — тайная его усмешка.

У Мальчика на голове корона из пыльных, рыжих, распутных роз. Он сидит, прислонясь к глиняной стене, расписанной бледными и пышными букетами. Лицо у него чисто и просто точенное, угластое, порочное, оценивающее.

На нем тесная синяя куртка и штаны. Колени раздвинуты. Смятение пола: в паху глубокие складки и твердая выпуклость. Он может быть кем угодно, а вероятнее — всем сразу. Одну руку он свободно опустил между ног. Другой сжал короткую, ладную трубку и странным движением указывает себе в грудь. Никто из приходивших к Александру не замечал этих вполне очевидных вещей, не советовал убрать картину, как другим советовали спрятать подальше обнаженную Гогена или шлюху Лотрека. Может быть, потому, что Мальчик по смежности примыкал к группке Комедиантов, пестрых существ меж землей и небом, причастных тому и другому, переменчивых, бесплотных.

Александр знал, что он такое — этот Мальчик. И знал, что такое он сам, являющий Данаиду огненным девчонкам, но зрящий Мальчика как тайный знак. Мальчик не был ему желанен. То, что испытывал к нему Александр, ближе всего лежало к жгучей, нестерпимой зависти.

11. Действующие лица и оформители

Бесшумно — лоскутками и лентами, пестро́ — бусами, перьями, блестками пьеса оккупировала дом викария Элленби.

В прошлом году блесфордские дамы пти-пуаном[101] вышивали подушечки для преклонения колен, украсившие скамьи в церкви Святого Варфоломея. Кремовые, охряные лилии и рыбы на неброском фоне цвета хаки. Чтобы не видно было грязи.

Десять лет назад они собирали одежду для эвакуированных, карманные книги для солдат, вязаные шерстяные квадратики, что пойдут на одеяла для пострадавших от авианалетов.

В этом году они сооружали фижмы.

В Лондоне тем временем тысячи мелких жемчужин и хрустальных бусинок крепили на плотный белый атлас, и мерцание окутывало коронационное платье Елизаветы II. Цветными шелками вышивали по подолу эмблемы Содружества и Империи, розы и чертополохи, кленовые листья и желуди.

---

[101] Примечания: 101
Вышивка очень мелкими, плотными, косыми стежками.

Фелисити Уэллс, заведуя костюмно-бутафорскими приготовлениями в Блесфорде, ощущала себя на пересечении бесконечных нитей старой и современной культуры, которые связывались по-новому, сплетались в новую ткань. В передней викария и на церковных ступенях стояли корзины для всего красивого и редкого, что могли уделить для постановки местные жители. На вышивальных курсах крохотные жемчужинки из пластика сажали расходящимися лучами на черный бархатный плащ сэра Уолтера Рэли. Серебряными лунами, золотыми птицами, алыми и белыми розами расшивали длинные платья, шлейфы, пышные расходящиеся мантии в пол. Скручивали ленточки в пионы и колоски для украшения вышитых подвязок.

— Мы все стосковались по ярким цветам! — воскликнула мисс Уэллс, высыпая на ковер содержимое сумки; новенькие катушки с вышивальной нитью, блестя, посверкивая, постукивая, раскатились россыпью тонов и оттенков. — Упоение! Признаюсь, Стефани: я всегда хотела целый ящик в комоде набить катушками, но до сих пор не было повода.

С самого начала Стефани решила держаться от пьесы как можно дальше. Ей с лихвой хватало

Фредерикиных перипетий. К тому же именно оттого, что это была пьеса Александра, ей не хотелось выставляться, напоминать о себе (то ли скрытность, то ли род апатии). И если по вечерам в комнатке мисс Уэллс она сплетала позумент из золотых шнуров или на велосипеде катила через пустошь сообщить, что нужен китовый ус для фижм или линобатист для брыжей, то потому лишь, что не могла отказать Фелисити.

Как-то само собой повелось, что Дэниел свободные вечера проводил с ними. Женщины шили, а он, неспособный сидеть без дела, заваривал чай и мыл посуду.

С Дэниелом меж тем творилось неладное. Он оказался прав: Стефани, пару раз попробовав посидеть с Малькольмом, теперь приходила уже каждую неделю, чередуя субботу с воскресеньем. Мать, миссис Хэйдок, рыдала в комнате у Дэниела: от облегчения, от страха, что это закончится, от чувства вины перед Стефани и Малькольмом, которые нашли, похоже, способ переживать вместе эти невидимые для других часы.

— Это чудо, — твердила миссис Хэйдок. — Когда с ним мисс Поттер, в доме такая чистота. Просто стыд берет, как вспомню, что у нас-то с ним творится. Он ведь все крушит: как ни зайди, осколки,

мука, грязь, а иногда и похуже. Конечно, мисс Поттер тоже убирать приходится: то он у нее чашки побьет, то бутылки от молока… Но у них всегда так тихо и опрятно, мистер Ортон… В дом приходишь, как в дом, нет этого шума вечного, не нужно сразу все по новой отмывать. И правда совестно: у мисс Поттер все так ладится, она так умеет себя поставить, а я…

— Вы его мать, — отвечал Дэниел. — Он вас знает, поэтому ведет себя по-другому. Мисс Поттер-то приходит раз в неделю. Но она, конечно, сокровище, и я очень рад, что у вас с ней ладится.

Несколько раз он заходил посмотреть, как Стефани управляется с Малькольмом. Это, собственно говоря, было даже его обязанностью. Обычно она и мальчик сидели, погруженные каждый в свою отдельную тишину. Стефани — в кресле, сложив руки на коленях, Малькольм, как всегда, когда не был судорожно активен, — в углу, на полу, ритмично и поочередно ударяя головой в сходящиеся стены. Тишина была такая, что Дэниел вдруг оробел и не осмелился ее нарушить. Однажды бодрым пасторским голосом он спросил Стефани, как ей удается удерживать мальчика в спокойном состоянии. Она ответила: нужно совсем-совсем замереть и, как взгляд, отвести

внимание в сторону. Мальчик за тобой повторит, и вы, отрешившись, спокойно высидите положенное время. Наверно, нужно как-то с ним общаться, занимать его, но она этого не умеет, не знает, как приступиться. По крайней мере, так он не наносит вреда.

— Да, вреда никакого, — подтвердил Дэниел.

Глядя на нее с мальчиком, сидя по вечерам в комнатке мисс Уэллс, Дэниел пришел к мысли, что вольно или невольно Стефани обращается с ним как с Малькольмом: отрешается, замыкает внимание, замыкает его в молчании. Вот она здесь, но ни единое его слово к ней не проникнет. Глухую и гладкую преграду возводит она, что-то вроде зеркального стекла. Не знаю, говорил он себе, зачем я вообще сюда хожу.

Но он, разумеется, знал. Он был ею одержим и плохо подготовлен к столь нерациональному состоянию души. Уже долгие годы он не видел себя иначе как орудием к достижению цели. Теперь же он думал о ней непрестанно, а если неистовым усилием изгонял ее образ из своей церкви или своей спальни, то становился непереносимо чуток к движениям собственной души. Он пытался увидеть себя ее глазами и не мог. Одна за другой таяли незыблемые правды. Пересматривая

свою жизнь, Дэниел задумывался: вполне ли он нормален, раз до сей поры не испытывал ничего подобного. «Нечистые мысли» прежде не мучили его. Онанизм давал облегчение, и Дэниел с редкой для его поколения мудростью считал себя вправе: это было быстрое и практичное удовлетворение биологических нужд. До Стефани его одинокие утоления почти никогда не сопровождались ничем зрительным. Теперь он порой слышал жалобный отзвук собственного голоса, обычно твердого, — просящего ее о какой-то *милости*. От этого отвращалась душа.

А потом ему стало трудно с Богом. Он никогда не имел и не желал личной связи с Ним. Молясь, никогда не говорил с Ним собственными словами. Церковные слова, как церковные камни, были всегда к его услугам. Молитва была способ знать, что есть нечто несметно больше и сильнее его, чувствовать, как бьют и стремят силы за пленкой его восприятия.

Его Христос знал, что за сила поддерживает в воздухе воробья, и прощал беспечность полевым лилиям[102]. Этот Христос проповедовал сокрушительный здравый смысл, говорил прямо, не

[102] Примечания: 102

Ср. Евангелие от Матфея, 6: 26 и далее, Евангелие от Луки, 12: 24 и далее.

спускал ханжам и суесловам, острыми речениями вскрывал машинерию души и божественной справедливости. Этого Христа он любил, но никогда Ему не молился, ибо, не зная наверняка, чувствовал все же, что Он мертв.

Но его личные чувства ничего не значили рядом с незыблемой силой и цельностью, что он ощущал в Боге. А теперь меж ним и Богом встала она, и Бог сделался труден, и вернулось детское чувство удавьего, обездвиживающего жира.

Он готов был избить ее. Сломать.

Он приходил, потому что в одной с ним комнате она хотя бы уменьшалась до человеческих размеров, вмещалась в это вот примелькавшееся кресло. То была, конечно, не единственная причина. Раз не миновать ему вожделеть к ней во плоти, пусть плоть будет рядом: не в его правилах спасаться бегством. И вот он сидел с ней рядом в своих черных жарких брюках и мучился.

Мисс Уэллс находила собственное удовольствие в обществе этих двоих. Она их и баловала, и поучала, и все глядела своим темным, печальным, размытым взглядом. Комната была ее, и помощником режиссера, если можно так выразиться, выступала она. Это устраивало всех троих.

Однажды Стефани вошла и увидела, что в по-

следнем свете, проникшем в мансардное окно, ее подруга стоит на одной ноге на вершине кособокой лестницы, составленной из словаря, пуфа, журнального столика, кровати и стола повыше. На ней была неохватная юбка с подъюбницей из блестящей синевато-зеленой занавесочной ткани. Фелисити захватила подола сколько смогла (крохотные кулачки, толстые комки материи) и приподняла на вытянутых руках. Ее голову украшали округлый тюдоровский чепец с жемчугом по канту и вуаль грубой кисеи, призванная прикрывать волосы, но сейчас несколько перекошенная.

Мисс Уэллс предстояло сыграть даму в толпе прочих верных — сперва в сцене коронации Елизаветы, потом в сцене скорби по ней. Она улыбнулась Стефани со своего возвышения:

— Вот проверяю: смогу ли ступать изящно при полном параде…

За спиной у Стефани темно навис Дэниел. Мисс Уэллс взмахнула ручками, качнулась и рухнула на кровать. Девчоночьи смеясь, барахтаясь в волнах материи, наугад нащупывала слетевший шиньон. Дэниел громыхал хохотом.

— Вот негодник! Как напугал… Надеюсь, в меня нигде булавки не воткнулись. Знала я, что с эти-

ми фижмами на лестнице будет беда. Отдельно учиться придется. Стефани, детка, дай руку.

Стефани потянула, и довольная мисс Уэллс пряменько села среди моря юбок, усмиряя на голове проволоку, кисею, волосы собственные и накладные. Нагнулась к проволочному каркасу, прищелкнула языком с пародией на досаду:

— Коварное сооружение — фижмы!

Стефани с грустью смотрела на нее. Маленькая, плоскогрудая, запыхавшаяся… И эта истончавшая кожица в глубоком вырезе, нежнейший, чуть складчатый шифон — вот-вот пойдет морщинами. Дэниел, большой и медвежий, схватил Фелисити и легонько поставил на ноги. Оба они смеялись. Стефани подобрала ее длинный подол.

Комнатка у мисс Уэллс была крохотная, вся прихорошённая — эфемерное жилье, птичья ветка. Книжные шкафы викторианские, черные, с фрезерованным готическим кантом в виде бусин. Должно быть, такая примерно готика и расшатала столь основательно состояние молодого Теннисона[103]. На полках и выступах шкафов приютилось пестрое сборище вещиц.

Подсвечники резного стекла, чайная баночка,

[103] Примечания: 103

Альфред Теннисон потерял значительную часть семейного состояния, вложив деньги в мебельное предприятие друга.

расписанная розами старинного пышного сорта «глуар дэ дижон», игольная подушечка японского шелка, медный раструб индийской вазы с двумя павлиньими перьями, три сухарницы (круглобокая стеклянная, фарфоровая в цветочек с плетеной ручкой, деревянная вроде бочонка с медными шишечками), шкатулка для рукоделья флорентийской кожи, ножницы-цапельки (концы — клюв, эмалевые кольца — шагающие ноги), миниатюрная бело-синяя чашечка дорогой марки «Споуд», шесть чашек попроще, из «Вулвортс», сахаристо-розовых, с серым отливом, горстка крестильных ложек с фигурками апостолов на ручке, полбуханки хлеба, полбаночки лимонного крема[104], стопка счетов, придавленная гипсовым слепком чьей-то руки, распятие черного дерева с серебром, вязаный берет, пакетик с фильдеперсовыми чулками, пузырек чернил, красные карандаши в банке из-под джема, вербочка и пасхальный крестик из Святой земли…

Все эти вещи Стефани выучила наизусть. У нее была неприхотливая, всеядная, поместительная память. В детстве она даже Фредерику побивала в игре, когда на подносе раскладывают предметы,

[104] Примечания: 104

Заварной крем из желтков, сахара, лимонного сока, цедры и сливочного масла.

накрывают чайным полотенцем, на секунду показывают тебе и снова прячут. И всегда она запоминала не только ложки, ножницы, будильники, шнурки, маргаритки и стеклянных зверьков, но даже и узор на подносе. Перед сном трудно бывало вычистить ненужное, накопившееся за день, — все то, что забивало ей ток мыслей, пестрыми призраками мреяло под веками. Иногда, чтобы уснуть, приходилось вызывать воспоминания одно за другим и стирать, превращая на краткий срок мысленный горизонт в *tabula rasa*. Но даже и тогда наутро бесконечной лентой плыли разрозненные образы, и каждый требовал быть вспомненным до последней точки.

Пока она не начала преподавать, то думала, что в этом нет ничего необычного, что всех осаждают рои полезных, но здесь и сейчас не применимых сведений и образов. В те дни обучение равнялось тренировке памяти, и непамятливым ученикам приходилось нелегко. Позже, когда мыслители, историки и обыватели решили обойтись без утомительной зубрежки, без понятия о преемственности, временной, языковой или эстетической, когда искусство и политика сосредоточились на современности и будущности, такие навыки, как у Стефани, уже не ценились,

они высмеивались и даже порицались. Подобно портняжной моде, существует мода и на повадки мышления. Хранилища памяти вышли из моды вскоре после событий, описанных в этой книге и более или менее совпавших с коронацией Елизаветы II. Так театры памяти умерли вместе с Ренессансом. С исчезновением хранилищ памяти ушли произведения искусства, сами бывшие такими хранилищами, ушли традиции и индивидуальный талант, Библия, Пантеон, осознание, что на других языках люди думают по-другому. В антикварном гипермаркете или в блошиных рядах на подносах черного и светлого лака, медных и с инкрустацией вы, вероятно, видели горки намытых временем вещиц вроде тех, что наполняли комнатку Фелисити Уэллс. Но вы не смогли бы увидеть их так, запомнить их в согласии или хаосе так, как Стефани в 1953 году.

Обитель мисс Уэллс всегда была украшена тканями. На столе кружевная скатерть, с кровати свесилось камчатное покрывало, на лампы для таинственного уюта наброшены куски золотисто-красного шелка, обшитые по краям золотыми бусинами-грузиками. Сейчас же комнатка была устлана, выстлана, набита: ткани лежали грудами и отрезами, недошитые костюмы глядели

ярко и блестко.

Стефани все это видела двояко: с прозорливой ясностью и пристальной дотошностью. Она умела различить замысел и не упустить мелочей воплощения. Ей ясен был масштаб великолепий, манивших того, кто гарнитур в стиле Людовика XVI втискивал в лилипутскую гостиную, где на стенах декоративная штукатурка как крем на торте. Ясен и современный лаконизм, ради которого, калеча исходные линии, на добротные фасады викторианских кухонь лепили хлипкую фанеру, а солидные латунные и фарфоровые ручки меняли на «геометричную» пластиковую мелочь «ярких и чистых цветов». Конечно, Стефани прозревала упоительную, мерцающую тайну и россыпи дивных вещиц, мечтавшиеся Фелисити. Прозревала и глубже: страстное желание воплотить здесь и сейчас цельность, жизнелюбие, чуткость к материалу, навек утраченные вместе с Золотым Веком. Видела, как журнальное фото настоятеля Вестминстерского собора в мантии с коронации Карла II, вынутой из-под спуда по случаю коронации Елизаветы II, и бутафорская мантия на вешалке-штанге, и колоратка-«ошейник» Дэниела рождают у Фелисити счастливое чувство совпадения и даже слияния великого

прошлого и деятельного настоящего.

Видела, но разделить не могла. Потому что видела и другое: яхонты на бутафорской мантии — из цветных бутылочных крышечек, а Дэниел одинаково равнодушен к церемониям классическим, мистическим или одобренным Высокой Церковью[105]. Она видела трещинки на чашках и дырочки на чулках. Не ее дело было создавать из них новое целое. Она просто смотрела.

Дэниел отнес чайник к печке на лестничной площадке и вскипятил воду. Вернулся и, преклонив колена перед Стефани, бережно поставил чайник в камин. Мисс Уэллс, царственно восседавшая теперь в своих псевдошелковых робах, рассказывала Стефани о символике цвета в одежде елизаветинской поры. Тогда каждая вещь имела собственное значение, цвета можно было читать, как книгу. Желтый означал радость, но лимонный — ревность. Белый — смерть. Молочный — невинность. Черный значил траур, оранжевый — досаду, телесный — сладострастие. Красный был бунт, золотой — алчность, соломенный — изобилие. Зеленый — надежда, но морская волна — переменчивость. Фиолетовый

---

[105] Примечания: 105
Направление англиканства, близкое к католицизму.

— религия, вердигри[106] — отречение. Что до собственного платья мисс Уэллс, то оно, увы, намекало на непостоянство и уже успело проявить свою неблагонадежность.

Дэниел скептически отнесся ко всем этим таинствам.

— Как, — спросил он, — обычный человек отличал белый от молочного или тем паче соломенный от желтого, лимонного и золотого?

— И почему тогда Карлейль, — вставила Стефани, — говорил о неподкупности морской волны?[107]

— То были другие времена. Ценились простые цвета, без тонов и оттенков. Желтый, синий, алый, зеленый. Смешанные цвета почти всегда связывали с непостоянством и пороком. Мир поэтому был тогда ярче. Карлейль романтик, и море для него — сила природы. А елизаветинцы отводили природе второе место. На первом стоял человек с его правдой. Простой цвет был для них слишком труден.

---

[106] Примечания: 106

Серый с зеленым оттенком.

[107] Примечания: 107

*Томас Карлейл*ь (1795–1881) — британский писатель, публицист и историк; писал, что Максимилиан Робеспьер (1758–1794) был неподкупен, как морская вода — зелена.

— Поразительно: такая точность и тонкость, — восхитилась Стефани.

— Заумно как-то, — отвечал Дэниел.

Мисс Уэллс засмеялась, шаловливо глядя на него:

— А знаете, почему публичные женщины носили зеленое? Причина довольно забавная.

Забавная причина оказалась в том, что, если женщину валили на траву, на зеленом не видно было пятен. А еще зеленый — цвет женихов. Цвет повадливой, сладостной весны. Она легонько вздохнула, перевела взгляд с Дэниела на Стефани… И такие очаровательные слова нашел язык для зеленого: муравный, бисквитный, выдровый, цвет гусиного помета. В те дни даже крой платья был полон смысла. На заре Тюдоровской эпохи мужчины и женщины охотно отдавали дань полу. Могучие плечи и торсы. Пышные бедра для благодатных родов, щедро открытая грудь: смотри, оценивай. Но со временем возобладал гротеск. Появились необъятные дублеты с подбитыми брюшками и торчащими монструозными гульфиками. Фижмы и брыжи, за которыми не видно было человека и сам он видел с трудом. Одежда сделалась узилищем тела. А для женщины — еще и знаком принадлежности мужчине. Роскошью

женщину обездвиживали, как стреноженную лошадь. Пол из очевидного сделался символическим. Символы подкрепляли проволокой и набивали конским волосом. И посреди всего — королева, старая, крашеная, подмазанная, с неназываемым сосудом под фижмами.

Мисс Уэллс порозовела, как и пристало ученой даме, педантично разбирающей приземленные материи. Дэниел поддержал тему, спросив про особые сиденья в парламенте для господ в панталонах, слишком уж пышно подбитых шерстью. Священники вечно пытаются доказать, что ничто животное им не чуждо, раздраженно подумала Стефани.

Ближе подбиралась темнота. Газовый камин ревел, сыпал искрами, раскалялся. Дэниел смотрел на Стефани: туда, где над самой грудью встречаются пуговка с петлей, где икра в блестящем нейлоне выглядывает из волн подшиваемого шелка. Дэниел горел. Мисс Уэллс смотрела, как он горит.

— Одежда, роскошь… — с недобрым подспудным жаром проговорил он. — Природа роскоши не требует, а только заботы о тепле — «Король

Лир»[108].

— Жаль, Стефани, что ты не слышала в прошлое воскресенье, как Дэниел в проповеди цитировал «Лира», — сказала мисс Уэллс. — Он говорил о старости…

Стефани, не поднимая глаз, ответила:

— Насколько мне помнится, Дэниел «Лира» не читал.

— Мне указали на мой промах, и я его восполнил.

(Он хотел поговорить с ней о «Лире», но теперь, конечно, уже не мог. А проповедь вышла неплохая: сумел выговорить то, что хотел.)

— «Неприкрытый человек»…[109] — сказала мисс Уэллс, заполняя молчание. — Но вы как священник понимаете, что любая одежда имеет скрытый смысл.

— Часто костюм священника — как дурной запах или сыпь на коже. Бывает, я захожу в вагон, и люди потихоньку начинают выходить. Я его ношу, потому что, раз есть устав, нужно соблюдать. Но радости мне от этого нет.

Его слова привлекли женское внимание собе-

---

[108] Примечания: 108
Здесь и далее перев. М. А. Кузмина.

[109] Примечания: 109
Отсылка к трагедии «Король Лир».

седниц к его телу, тут и там выпирающему из лоснящегося от старости костюма. Дэниел взмок. Из-под мышек бежали струйки. Ему казалось, что лоб у него сейчас блестит не хуже, чем затертое сиденье его брюк. Ему казалось, над ним смеются.

— Я пойду.

Мисс Уэллс затрясла пальчиком:

— Ни в коем случае! Стефани, детка, ты с этим шитьем еще можешь двигаться — угости мистера Ортона печеньем.

Стефани встала, взяла сухарницу в цветочек и подошла к Дэниелу. Она стояла близко. Ее бедро касалось его плеча, грудь была у самого лица. Она склонялась к нему радетельно. Ее юбки шуршали (она носила обязательную нижнюю — несколько слоев тугого крахмального тюля). Ее платье было цвета темно-румяной розы. Ее волосы густыми, круглыми завитками падали на золотистую щеку. Его охватил удушающий гнев.

— Спасибо, я не хочу.

— Возьмите хотя бы штучку. Ну же. — Она настаивала, и это было на нее не похоже. — Согрешите разок.

— Мне нужно худеть.

— От одной ничего не будет.

— Чему не будет? Моему жиру? Еще как будет. Может лопнуть костюм, а другого у меня нет. Не нужно. Заберите, уйдите.

А она все склонялась над ним. Смеясь, предлагала печенье с джемовой начинкой и шоколадной глазурью.

— Нет. Я серьезно говорю: нет. Серьезно. Нет. Ради бога, пожалуйста.

Стефани как-то поникла и нерешительно отступила. Мисс Уэллс, вопреки фижмам, проявила недюжинную прыть: бормоча «минуточку» и «припудрить нос», выскочила из комнаты и прихлопнула дверь. Дэниел схватился руками за голову. Вцепился в волосы, слушал, как она ступает: шажок туда, шажок сюда. Потом услышал ее голос:

— И почему это люди мешают другим худеть? Каждый стремится что-нибудь сладенькое подсунуть. Даже забавно…

Услышал собственный голос:

— И не только худеть. Люди вообще стремятся помешать человеку в борьбе с искушением. Любым.

Она отступила к камину, протянула округлую руку вдоль доски, украдкой взглянула на него:

— Да?..

Газовый огонь изливался трескучим, красным, морочным жаром. От разговора Дэниелу было смутно и муторно. Она вся была из округлостей, складок, нежных продолговатостей — ясных, розовых, золотых. Он впервые понял, что сравнение женщины с цветком или плодом не просто фигура речи.

— Люди предлагают тебе печенье — или еще что, — и это игра во власть. Женщина обольстила меня, и я ел[110].

— Ну уж нет. — Ее румянец вспыхнул гуще, под цвет платья. — Увольте. Проповеди над печеньем я выслушивать не согласна. Да и теология у вас подкачала.

— Извините, если не угодил.

Он позволил прозвучать обиде. На нее не смотрел. Сейчас ей станет стыдно. Она ведь такая славная девушка. Интересно, сколько она понимает из того, что происходит… Он молчал, угрюмо уставясь в узоры ковра. Пусть устыдится собственного гнева. Вот так. Не говорить, не улыбаться, не задабривать, не заглаживать…

Она легко пересекла комнату и остановилась вплотную.

---

[110] Примечания: 110
Отсылка к Книге Бытия, 3: 12 и далее.

— Дэниел, простите меня. Я не хотела так грубо. Я не знаю, почему я с вами такая…

«Не знаешь? — зло спросил он про себя. — Совсем не знаешь, да? Или и вправду?..»

Он упрямо не подымал глаз. Он горел. Вдруг невероятное: она протянула руку и погладила его по волосам.

И тут безжалостный Дэниел затрясся. Слепо потянулся, схватил, прижал ее к себе, спрятал горящее, злое лицо в розовых волнах ее юбок. Она замерла и тоже задрожала, а потом шагнула к нему, уравновесив мир, и бережным, обережным кругом рук обвела его голову. Он уткнулся в ложбину ее бедер, качаясь, раскачивая их обоих, и слышал, как она повторяет: «Это ничего, это ничего…»

«Ты не знаешь, *что* это такое», — думал он и бормотал в розовую ткань: «Дай мне. Дай…»

И отшатнулся, сгорая, когда вошла мисс Уэллс. (Снова режиссура и тонкое чувство времени как пример игры во власть.) Блестящими глазами окинув этих двоих, она продержала их еще десять минут за болтовней облегчающей, даже приятной, и совершенно бесконечной. Потом царственно отпустила.

Спустя один пролет лестницы Дэниел остано-

вился:

— Вот тут я живу.

Она кивнула не глядя.

— Зайди на минутку.

Покуда не выговорил, не знал, решится ли. Она вошла. Он заметил, что она закрыла дверь, беззвучно и медленно впустила защелку в паз. Закрыла и у двери осталась. Дэниел включил, один за одним, все свои мрачные светильники. Потом сел на кровать.

— Что я теперь могу еще сказать? — спросил почти со злостью.

— Не нужно ничего говорить.

— Нужно. — Он стукнул кулаком в ладонь. — Ты не можешь так со мной…

— Я уже извинилась. Я не хотела тебя подталкивать.

— Ну конечно, ты же добрая. Еще какая… Ты со мной по-доброму хотела.

— Не надо на меня злиться за это.

— Я не злюсь. — Он тяжело перевел дух. — Я просто… Да нет, это бесполезно. Хватит этих бесед. Завязывай свой шарфик и иди домой. Ты не дурочка — понимаешь, что лучше тебе уйти. А я позабочусь, чтобы это больше не повторялось.

— Как-то слишком мрачно все получается: как

будто я нарочно тебя расстроила. А ты теперь меня выгоняешь.

— Ты знаешь, что это не так. Слушай, не ты ведь это все начала? Это я начал. Ну вот. А ты просто со мной по-доброму. Ты меня жалеешь: священник, и еще разное… толстый, например. Ты хорошая. Я мог бы этим воспользоваться, и вышел бы ужас. Но я силы и время на такое не трачу. Поэтому иди, пожалуйста, домой и посиди там подольше.

— Какая самоуверенность и какая буря из-за…

— Не буря. Просто я практичный человек. — Он собрался с духом и сказал просто и в лоб: — Я тебя люблю. И хочу на тебе жениться. Я хочу… Хочу. Да, не буря, но мне как-то нужно с этим жить. Это мешает мне работать.

— Ты не можешь хотеть на мне жениться. Ты…

— Но я хочу, — сказал он так твердо и окончательно, словно ответа не ждал, да его не могло и быть. Он наполовину думал, что после этой лобовой прямоты она встанет и уйдет. Он даже наполовину надеялся, что так и будет. Но она неожиданно сказала:

— Все хотят.

— Чего?

— На мне жениться. Даже жутко как-то. В Кембридже сватались все подряд, даже те, кого я и

видела-то два раза, а то раз. Официант в гостинице, когда мы отдыхать ездили. Один папин шахтер. Конторщик в банке. Наверное — и это никогда не секс, только женитьба, — наверное, я кажусь *удобной*. И твои чувства никакого отношения ко мне лично не имеют. У меня просто лицо, как выбирают для рекламы холодильников, — архетипическая жена. Это почти унизительно.

— Понимаю-понимаю. Замучили тебя. Мужчинам всё невдомек. Поставила меня на место. Понимаю и приношу извинения. А теперь уходи.

Она тихо заплакала, утираясь тылом ладони, не двигаясь с места. Потом проговорила:

— Никто не говорит: «пойдем на танцы», «пойдем в поход», «пойдем в постель». Только «будь моей женой», да еще с каким-то загробным благоговением! Я не понимаю, что это. И я так не могу больше…

Он встал, за руку подвел ее к кровати, усадил и уселся рядом.

— Я бы тебе объяснил, что это, да смысла нет. И ничего тут нет загробного. Я просто тебя хочу — навсегда. Лучше жениться, чем вот так гореть. Это гнусная трата времени, тут уж поверь мне. И я хотел на тебе жениться, но вижу, конечно, что ничего не выйдет. Но не уходи с мыслью, что я

тебя не знаю. Я тебя хочу, потому что знаю, какой ты была бы со мной.

— Ты не слишком самоуверен?

— Заметила? Ну да, я ведь добился почти всего, чего по-настоящему хотел. А теперь вот не выйдет. Я ведь и молился уже об избавлении…

— Да как ты смел?

— Что?

— Вот гнусная мысль! Обсуждать меня с…

— Я не *обсуждаю*…

— Я запрещаю о себе молиться. Я не верю в твоего Бога. Я ни к чему этому не причастна.

Она сама не понимала, почему такой яростью отзывается мысль, что Дэниел о ней молился.

— Вот еще и поэтому все безнадежно, — с неменьшей яростью отвечал Дэниел.

— Твоя церковь слишком зациклена на сексе.

— Если ты про то, что священники слишком много о нем говорят и у них уже, как у Фрейда, кругом один секс, а больше нет ничего, — я согласен. Но сам судить не могу. Я никогда об этом не думал. То есть сам для себя не думал.

Она недоверчиво обернула к нему заплаканное лицо.

— Я не гомосексуалист, и вообще ничего такого. Просто занят вечно. Трудно поверить, да, но так

оно и было, пока вот…

Часть яростной силы оставила его: он понурил большую, тяжелую голову и снова задрожал. Она робко пододвинулась ближе:

— Я не понимала этого…

— Я не должен был на тебя кричать.

— Ты слишком серьезно все воспринимаешь.

— Это легко говорить.

Она положила руку ему на колено:

— Дэниел…

— Оставь меня.

— Дэниел.

Тогда он повернулся, тяжело обхватил ее и опустил на возмущенно скрипящую кровать. Так они лежали: она, глядя в потолок через его плечо, он — придавив ее всей своей тяжестью, приникнув лицом к ее мокрому от слез лицу на его подушке. Он лежал неподвижно. Она — тело ее ощущало совершенный покой. Он двинулся чуть и увидел ее раскрытый ворот. Медленно, бережно стал расстегивать пуговки. С испугом, восторгом, болью глядел на золотисто-бледную грудь и шею. Невидимой, неловкой рукой приподнял подол и ощутил бедро, гладкое и теплое. Содрогнулся.

— Это ничего, — пробормотала она, — это не важно. Все будет хорошо…

Дэниел передвинул гору живота и уткнулся лицом в грудь, теперь совсем открытую. Пальцами то ли робкими, то ли ленивыми — как было понять? — она тронула ему волосы. Он услышал, как она — раз, два! — быстро скинула туфли. Расстегнул еще две пуговки и пояс. В безумное мгновение скользнул рукой под грудь, туда, где ребра с биением внутри, где смутно угадан был им позвоночник. Поднял голову и примкнул свои губы к ее — теплым, и губы подались, открылись сладостно и мягко. Дэниел неловко перевалил весь свой вес на одно колено и, хмуря брови, заглянул ей в лицо. Стефани так и глядела в потолок. Ее поза приятия показалась ему позой отчаяния. Хочет сделать ему приятное. Видит: нужно дать что-то, вот и хочет дать. А для себя ничего не ждет от этого, не отзывается ни злостью, ни жаждой. Может, она всегда такая и поза эта привычная.

Он отодвинулся:

— Нет. Ты сама не знаешь, чего хочешь.

— Дэниел, постой. Я знаю и хочу. Это ничего… — почти жалобно.

— Сплошное «ничего»! А я больше хочу, чем ничего. Впрочем, это так и так неправда…

— Ах, я же не подумала! Тебе, конечно, нельзя, тебе — грех…

Она, естественно, подумала. Ведь если запрет неподдельный, нарушить его отчасти приятно даже принципиальным натурам вроде Поттеров. А может быть, им особенно.

— Мои грехи — это мое дело. Подымайся, ты уходишь.

Не двинулась с места:

— Почему?

— Потому что «из жалости» — не приму. Садись. Садись-садись.

— Не надо так.

— Сперва разберись, чего ты хочешь.

— Милый, но ведь эти вещи хладнокровно не решают…

— Еще как решают. Множество важных вещей решают именно так. И я тебе не милый.

— За что ты так со мной?

Она снова заплакала. Сидела сгорбившись на кровати, плакала, пальчиками одергивала разворошенное платье.

Он отвернулся, сказал грубо и твердо:

— Прошу тебя, уходи.

Ему невозможно было пошевелиться. Гордыня и гордость, страсть, правила — перепутались непоправимо.

Он не знал, почему гонит ее. Может, за эту по-

кровительственную манеру. Может, потому, что кончить все сейчас значило кончить навсегда. У незавершенного своя власть, незавершенное дразнит воображение и терзает даже приятно. А может, у него просто кончились силы.

Она уже надевала туфли. Когда он не выказал намерения встать, надела шляпку и пальто.

— Ну, до свидания.

Он вздрогнул:

— Нет, постой. Давай я тебя провожу. Просто дойдем спокойно до твоего дома.

Она воспротивилась было, но все же сказала:

— Хорошо.

12. Прорастание

Маркус рассуждал так: настоящие сумасшедшие не боятся сойти с ума. И действительно, в книгах и фильмах безумцы были как-то обреченно убеждены в собственном здравии. Если так, его растущий страх сумасшествия можно было даже считать признаком нормальности. К тому же в его литературном семействе безумие связывали с неистовством, прорицаньем, поэзией, а Маркуса мучило совершенно иное.

Его мучило, что страх расползается. Что все больше вещей, которые ему страшно делать, непереносимо видеть. Они давали знать о себе мелкими электроразрядами, кратким онемением сознания. Словно на лестнице — должен был шагнуть вниз на ступеньку, а ненароком проскочил две. Правда, была еще геометрия: тщательность измерений и чувство масштаба могли отвести беду. Был страх зверя: не успеть среагировать. Ну, как бы обжечься, оттого что ослабло осязание или нюх. Но теперь ни геометрия, ни звериное в нем никуда не приводили, он был отчужден ото всего.

Каждый день что-то новое оказывалось ему

трудно. Одними из первых начали наступление книги. С ними и раньше было непросто, а теперь сделалось невозможно. Строки змеями пружинили со страниц, норовя ужалить. Глаз увязал в аномалиях. Например, буква g: такое странное несоответствие рукописной и печатной формы… И уже вот книга втягивает его, он одержимо высчитывает интервалы от одной g до другой или сидит оцепенев, вперившись в какую-то одну. Если долго смотреть, любое слово покажется странным: неправильным, нездешним, а то и не словом вовсе. Теперь такими стали все слова.

Или вот лестница. Он никогда не любил спускаться по лестнице. Теперь же подолгу простаивал в нерешительности на верхней площадке. Потом медленно полз вниз. Сперва спустить одну ногу. Потом вторую поставить рядом. Бедро и бок вплотную к перилам, цепляют за балясины, вымеряют между ними расстояние.

И еще уборная. Когда вода низвергалась в унитаз — мощно ударяла из спускового отверстия, отвесно падала с боков, скромной струйкой бежала по супротивной стенке, а потом набегали еще новые течения, и начинался хаос, и слив наконец все это засасывал, — Маркусу было страшно, но не следить за убеганием линий он не мог. Еще

ему не нравился слив в ванне, где железная решетка, похожая на колесо, прикрывала пустой и круглый тоннель.

Он сколько мог откладывал поход в уборную, потом медлил вымыть руки, и вытереть, и выйти, потому что снаружи была лестница.

Но он не был сумасшедшим и не всегда поддавался страхам. Если в школьную уборную заходил кто-то еще, Маркус вел себя нормально. Просто приятнее было поддаться (в одиночестве, разумеется). Он смутно сознавал, что ритуалы отвода таят собственный соблазн. Бег воды, головокружения, цифры, ритмы, буква *g* отводили от него императивы более страшные. В них был собственный покой — покой защищенности. Он, например, сумел отказаться от мяса, не приняв определенного решения насчет овощей, и так избегнул нараставшего императива отказаться от еды вовсе.

Но потом свет переменился и все пошло прахом.

Утром понедельника он пересекал игровые поля по дороге в школу. Он был равноудален от линий излучения, совпадавших с блекло-меловыми границами полей. Был весенний день, и холодное еще солнце лежало на новой траве

и вечной зелени живых изгородей. Горели полированные изгибы рельс, и сетчатая ограда теннисной площадки остро взблескивала то тут, то там. Небо было пустое, бескровной голубизны. Далекое солнце — четкий, жидкий, жестокий диск — висело в неизвестности. Против такого солнца не помогали законы перспективы, нельзя было определить ни где оно, ни что оно есть. Сознавать его можно было, лишь глядя туда, где его не было. Не в упор, а поодаль — крадущийся, прерывистый взгляд. И было оно не золотое, а скорей белое и очень яркое. Его послеобразы, размножившись, круглой индиговой крапиной покрывали зелень полей и площадок.

А поля тянулись, ровные и зеленые, подстриженные и утоптанные. По левую руку лежал Уродский прудик, маленький, черный и обыкновенный. Вдруг свет переменился, и Маркус замер.

Существенной частью происходящего было нежелание Маркуса в него поверить. Когда он вспоминал то утро, тело его вспоминало чудовищный гнет и напряжение, происходившие от двух розных страхов, действовавших едино. Был страх претерпеть некую окончательную метаморфозу, после которой уже ничто не поможет.

Был страх, что все это лишь больная фантазия, плод заблудившегося сознания. И даже в миг, менявший, возможно, всю его жизнь, бодрый внутренний голосок твердил ему, что — как с книгами, лестницами, уборными — можно *отвести*, можно *не знать*. Прошло время, и Маркус решил, что голосок ему лгал. Прошло еще, и стал вспоминать его пустоватую бодренькую тонизну как чистое утешение, знак того, что он сохранил тогда свою сущность, продолжил быть собой…

Так вот, свет переменился. Маркус замер. Тяжело идти, когда спереди, и с боков, и сзади столько происходит всего, когда свет почти ощутимо густ и ошеломляюще ярок. Он замирал по частям: сперва тело, потом сознание, и был тошный миг, когда внутренность головы шагала вперед, оставив позади мягкие, испуганные яблоки глаз и ежащуюся кожу.

Свет был деятелен. Маркус видел, как он накапливается, крепнет и бойко бежит вдоль линий, где был явлен изначально. Дикий и прямой на рельсах, он пылал, сцеплялся, скрещивался на теннисной ограде, прерывистыми потоками искр восходил от стриженых травинок и лоснистой листвы лавров. Там, где ничто не могло отразить, преломить или направить его, видно было, что

свет движется сам: петлями, струйками, мощными прямыми потоками. Волнами и длинными линиями легко проницает камни, деревья, почву, Маркуса. То, что было одним из условий зрения, стало его предметом.

Свет теперь иначе определял предметы. Встречные валуны, камни, деревья, ребийные ворота он выявлял черным и очерчивал собой. Проходя сквозь них, он усугублял их непроницаемую темноту.

Свет двигался не только линейно. Он ощущался как полотнища, как вертикальные наступающие фронты, как встающие волны, бесконечные или по меньшей мере неохватные. Как стена, как многие, многие стены холодного белого пламени. Были еще другие движения, которые нельзя определить человеческими понятиями, вычленить из общего человеческого опыта. Но они — были, и Маркус понимал, что это единственное доступное ему знание. Он был скован их близостью и вездесущностью, растянут и скомкан мучительным сознанием движения, постоянно происходящего за пределами его восприятия.

И он увидел в этом некую сущность. То была сущность совершенно иного порядка, чем он сам, она имела цель и вершила дело с циклопи-

ческим размахом и деликатнейшей точностью, которые он бессилен был исчислить и нанести на спасительную свою карту. Растягиваемый, сжимаемый, Маркус чувствовал, как она волнами ходит вокруг него и сквозь, и в совсем уже страшное мгновенье чуть было не сосредоточился, как она течет через его сознание. Спасла его от светозарного ослепления и гибели, удержала от растворения в неведомой сущности геометрическая фигура, в жгучих играх света пребывавшая недвижным знаком, а может, и чем посерьезнее. Он видел пересекающиеся конусы, вытянутые в бесконечность. Их контурами были ограничены световые струи и всплески. Он видел, что находится у точки пересечения (или сам является ею), и, если не даст пройти всей сущности сквозь себя, она пройдет сама, разрушив препятствие. Нужно удержать вместе свой хрупкий состав, но пропустить ее, как зажигательное стекло сгущает и пропускает солнечный луч. Контуры пылали невыносимо. Он выдохнул: «Господи». Он старался быть и не быть и, что самое опасное, идти вперед.

Он пошел, и сущность двинулась вместе с ним или просто стала видней впереди. Он подумал, что, может быть, умрет, не дойдя до школы, но

назад было нельзя: за спиной движение последовательно нарастало. Вот шаг, и другой, и третий. А световые поля колеблются и ревут, наплывают, откатывают, поют.

Каким-то образом он добрался до школы и сумел присесть на низкий парапет аркады против рогатого Моисея, чем-то обязанного Микеланджело и в большей степени — Родену с его грузноватым Бальзаком. Маркус глядел в выпуклые каменные глаза и думал о своем положении.

Сущность, вихрясь, пребывала поодаль. Она остановилась, не дойдя до краснокирпичных стен, и подвижным краем своим тревожила лужайку и теплицы. Маркусу не было пути ни назад, ни вперед. Пока он размышлял, из световых завес выступил, сияя, человек в белой одежде. Казалось, он обитает в свету легко и уверенно. Волосы его мягко курчавились, прохваченные солнцем. Маркус почувствовал привычный холод и мучительно замигал, вглядываясь. Человек оказался Лукасом Симмонсом, идущим в Уродскую лабораторию. Маркус не верил, естественно, ни в знаки, ни в знамения. Но это был уже третий раз. В «Одеоне» и в мясной лавке Лукас протянул ему руку помощи. И вот он является снова. Маркус поднялся и, еле волоча ноги, побрел за

ним. В конце концов — заметил внутренний голосок, — кроме Симмонса, тебе совершенно не к кому пойти.

Уродская лаборатория располагалась в одном из старых корпусов. Для физики и химии возвели новую пристройку, кубоид со стеклянными стенами и абстрактными мозаиками. Лаборатория имела вид готический, и готическими золотыми буквами по синему было выведено над дверной аркой: «Естествознание, анатомия и физиология человека». Дверь была дубовая, тяжелая.

Маркус вошел и увидел ряды высоких пустых столов и табуретов, змеино изогнутых медных кранов, лилипутских фарфоровых раковин, газовых труб, ламп под зелеными абажурами. В проеме окна, в солнечных лучах, стоял человек в белом халате, из-под которого выглядывали мятые шерстяные брюки.

— Сэр, — позвал Маркус и дернулся от собственного голоса, показавшегося оглушительным ревом. Но голос был тонок, смутен и слаб, как ступни, которые он больше не мог заставить идти.

Симмонс обернулся с улыбкой:

— Здравствуй, дружище! Ну, что новенького?

Маркус медленно сжал дверную ручку и, цеп-

ляясь, ополз на пол. Дверь мотнулась, ненадежна — истую ненависть ощутил он к этой зыбкости.

Симмонс бегом обогнул ряды столов:

— Спокойно. Не волнуйся. У тебя был шок? Ляг, так будет легче.

Он не прикоснулся к Маркусу. Нагнулся с тревожной полуулыбкой:

— Ляг, ляг. Лучше будет.

Маркус осторожно лег на линолеум, а руки, по какой-то странной надобности, чинно вытянул вдоль тела. Над ним сияло и реяло склоненное лицо Симмонса.

— Это шок, — повторил тот.

Маркус в знак подтверждения закрыл глаза.

— Тебе нужно попить.

Симмонс принес воды в мензурке и поставил возле его головы. Маркус неловко повернулся и, опершись на локоть, со слезами на глазах, стал потихоньку пить. У воды был слабый химический привкус и эфирный запашок, всегда витавший в лаборатории.

— Ты видел что-то? — Симмонс теперь стоял на коленях и пристально глядел ему в лицо.

Эта простота пополам с напором утвердила Маркуса в смутной мысли о предзнаменованиях и воле судьбы. Любой другой человек, конечно,

спросил бы, не болен ли он. Маркус повернул голову туда и сюда.

— Какие-то объекты? — Симмонс всматривался, улыбался.

— Не объекты.

— Не объекты. Понимаю. А что?

Маркус вспомнил, как Симмонс говорил с ним о математических ландшафтах. А сразу после — как метался его затравленный разум, уворачиваясь от Билловых неотступных вопросов.

— Что же? — мягко настаивал Симмонс.

Маркус закрыл глаза, стиснул губы. Потом тихонько открылся и пробормотал:

— Свет. Я видел свет.

И снова закрыл, замкнул все, что мог.

— Свет. Понимаю. Какой именно?

— Не знаю. Слишком яркий. Страшный свет. Живой… понимаете?

— Ну разумеется! Разумеется, понимаю. Продолжай.

Маркус открыл рот, и ему сделалось невыносимо. Потом оказалось, что он лежит головой на чем-то мягком, завернутый в какую-то ткань… ах да, Симмонсов плащ. Бессилие облекало Маркуса, как кокон. У самого лица возникло лицо Симмонса.

— Ты пережил шок. Лежи. Лежи спокойно, пока не полегчает. И не беспокойся: я обо всем позабочусь.

У Маркуса не было выбора.

— Я пока закончу тут свои дела, и, когда тебе полегчает, мы еще поговорим.

Симмонс ходил вдоль столов, составляя пирамидками алюминиевые контейнеры и банки с пробковой крышкой. Он казался удивительно устойчивым и в высшей степени нормальным. Он чуть слышно насвистывал сквозь зубы что-то веселое. Маркус вспомнил препарацию дождевого червя. Симмонс взял червей, чтобы всем хватило, и по одному бросал их в емкость с хлороформом. Черви выцветали и пенились. Потом Маркус должен был подрезать и, растянув, приколоть булавками ко дну ванночки лиловато-бурую ускользающую кожу.

Лаборатория имела долгое прошлое, вдохновленное гуманистическими устремлениями отцов-основателей. Здесь, изучая развитие видов, лап и плавников, крыл и листьев, юноши должны были усвоить первейшую заповедь: познай самого себя.

На верхних полках махагоновых шкафов за стеклянными дверцами примостились птичьи

чучела: сова, крачки, пыльная стайка зарянок и вьюрков. Ниже покоился на боку скелет, свесив сцепленные проволокой суставы. Еще были коробки, а в них отдельные позвонки, плюсны и предплюсны, меловые и кремовые, гремящие по столам, как игральные кости, в руках мальчишеских поколений. Рассыпаемые, сгребаемые в кучу, исчезающие в шкафу до следующего раза.

Был шкаф, где стояли сосуды с существами. Широкогорлые, с фирменной маркой, килнеровские банки — в такие же его мать закатывала груды румяно-красных слив «виктория» или напáдавших, неспелых еще яблок и груш. Банки из-под джема, заткнутые пробирки. Десятки зародышей. Крошечные крысята, бежево-розовые, тупоносенькие, слепые, с пупырышками на месте лапок и хвостов, — скорченные в жидкости и, конечно, чуть крошащиеся, как сыр. Крысята побольше, у которых от круглых животов протянута пуповина с плацентой. Нерожденные котята с плоскими головами, бледной плотью, недоразвитыми глазами, зажмуренными от света и близости стеклянной стенки. Неосуществленные змейки, скрученные навек в тугие спиральки. Птичьи эмбрионы во вскрытой скорлупе, являющей пучок мокрых перьев, тощенькие ляжки, бессильно

повисший клюв. Обезьяний зародыш времен короля Эдуарда — мрачный гомункул, бурый съеженный гений места, джинн в стеклянном кубе, оправленном в махагон.

Хранились тут и отдельные части существ, чтобы мальчики, посмотрев, передавали следующему емкости с легкими, сердцами, глазами. Маркус особенно запомнил освежеванную кошачью голову в мутноватом растворе, ее глаза, как черное желе, тусклые, запавшие и чудовищные. И еще белого кролика в его яйцевидном вместилище. Разведенные в стороны кроличьи лапки, пушистые и с коготками, служили причудливой рамой для бледных внутренностей в пятнах кармазина, виридиана, кобальта[111]. Вот кишечник, вот легкие, сердце, а над ними кроличьи зубы обнажены в улыбке и длинные уши поникли, примялись о стекло.

Было и живое. Белая мышь спешила куда-то в своем колесе, в аквариумах плодились водяные улитки и колюшки, в формикарии на срезе темных ходов муравьи волокли бледных куколок и перебегали с уровня на уровень, юркие и деловитые в перемежении света и тени. Старинный

---

[111] Примечания: 111
Малиновый, сине-зеленый и густо-синий.

эксперимент: действие фотосинтеза. На ватной подложке горошины и бобы, лишенные воды, лежали ссохшиеся, скованные внутри себя. Горошины и бобы, лишенные света, просительно тянули слепые, бледные, растерянные ростки. Горошины в тепле, в холоде, в тесноте, при наклонном освещении, при ограниченном: тут энергично просовывались тупенькие зеленые жальца, там уже понемногу разворачивался листок.

Маркус вяло глотнул тепловатой воды и глянул в сравнительно безопасном направлении схем. У доски висели плакаты, выполненные китайской тушью. Благопристойно ограничившись двумя измерениями, Симмонс изобразил на них мочеполовую систему лягушек и кроликов. Учитель поскупился на подписи, а Маркус был слаб в биологии и никак не мог решить, что означают изгибистые абрисы, похожие на пальцы: впадины или выпуклости. Поэтому у кроликов он перепутал самку и самца, а между лягушками не увидел разницы.

Прямо против учительского подиума, где лежал сейчас Маркус, бок о бок красовались Мужчина и Женщина, решительно и несимпатично оголенные во имя науки. На древней клеенке

пергаментного цвета они представали каждый в четырех экземплярах. Сначала в виде скелетов, потом освежеванные, в тугих нахлестах бурокрасных мышц, потом вскрытые (вид внутренних органов) и, наконец, непроницаемые, желтоваторыхлые, безволосые, с жирными бедрами. Плоть как она есть.

Так они повторялись: свешенные руки, расставленные ноги, рты с нечитаемым выражением, может, и улыбкой. Черепа, расчерченные, как поле боя, на квадраты и бугры. Тела, в духе Себастьянов[112] викторианской поры, пронзенные длинными черными линиями, на конце которых скромным курсивом помечены названия частей. Эти двое имели какой-то заштатный вид, — казалось, еще при короле Эдуарде некий педагог длинной указкой так часто касался их основных органов, что наполовину их стер. А потом пришло забвение.

Симмонс вернулся и встал на колени рядом с Маркусом:

— Ну как, полегче?

Маркус горестно покачал головой.

— Расскажи мне о свете.

---

[112] Примечания: 112

Отсылка к изображениям святого Себастьяна в виде юноши, пронзенного стрелами.

— А вдруг я болен, сэр? Вдруг это аура болезни? Или припадка, или чего-то в мозгу? Вдруг?..

Симмонс недоверчиво приподнял уголки губ посреди круглого лица:

— Ты так думаешь? Ты и правда так чувствуешь?

— Откуда мне знать? Со мной уже много недель что-то не так. Я…

На описание табу у Маркуса было наложено табу. Он оборвал себя и свернулся комком под плащом.

— Продолжай, не молчи. Может быть, я помогу. Рассказывай.

— Я не могу сосредоточиться на том, что нужно. На учебе. Все отвлекаюсь, думаю не о том. Боюсь. Боюсь разных вещей, хотя знаю, что это глупость, что их не нужно… не нужно бояться. Боюсь крана, окна, лестницы. Вечно нервничаю *о разном*. Я чем-то болен, это ясно. А теперь еще это.

— Мы слишком многое спешим назвать болезнью, — сказал Симмонс, которого белый халат нежданно облек медицинским ореолом. — Вешаем ярлыки на все нерядовое, все, что заставляет отказаться от условностей, а ведь условности часто вредят нашему истинному благополучию. Может быть, есть важная причина, почему ты

отвлекаешься. Продолжай, расскажи мне о свете.

Маркус закрыл глаза. Симмонс вдруг крепко сжал ему плечо и тут же отдернулся.

— Это игровые поля. Мне там всегда не по себе. Могу забыть, где я, могу потерять… Могу рассеяться, — сказал он, важное слово предлагая учителю, как пароль или заложника.

— Рассеяться значит выйти из тела?

— Я не знаю, что вы имеете в виду. Можно, наверно, и так сказать. Это технический прием, трюк. Когда я был маленький, я это делал, когда сам хотел. А теперь оно на меня находит.

— Техника, прием… Хорошо, отлично! И ты можешь это делать по желанию?

— Я это не люблю. Теперь уже нет.

Симмонс просиял улыбкой:

— И из-за этого приема у тебя был сегодня шок? Из-за него был свет?

— Нет-нет. Нет. Я вообще ничего не делал. Точно. Это *сущность* сделала. Это она.

— Уже лучше. Теперь скажи, что именно она *сделала*?

— Я не могу… Это было страшно. Она меня затеснила, зажала. Я боялся, что… что она меня уничтожит.

Симмонс возбужденно потирал руки.

— И ты решил, что с тобой что-то не так?

— Я же говорил. Мне было страшно. Я распадался, не мог себя удержать.

— Может, и не нужно было. Может, тебе предстала некая Сила.

То, как Симмонс принял его рассказ, одновременно ободряло и тревожило Маркуса. Ободряла легкость, с какой учитель распознавал и именовал вещи, которые, как с ужасом думал Маркус, случались с ним одним. Тревожило то, что у Симмонса, кажется, были некие намерения, планы, образ будущего, а Маркус вовсе не был уверен, что все это ему нужно.

— Для этих вещей есть термин, Маркус. Фотизм. Световые потоки и ореолы, часто возникающие в миг откровения. Это известное явление.

— Фотизм, — неуверенно повторил Маркус. Кажется, можно было уже приподняться и сесть.

— Об истоках его ученые, конечно, спорят. Но само явление известно, описано и обсуждается.

— Да?

— Боже! — вскричал Симмонс. — Да разве ты не понимаешь, что пережил, возможно, то же,

что Савл на пути в Дамаск?[113] То, что пастухи видели в полях по ночам? Всем им было страшно — до ужаса. И тебе должно быть страшно, потому что это не шутка. Нужно уметь выдерживать такое, отвечать. А ты не умеешь.

— Я вам говорил, что в Бога не верю.

— А я тебе говорил, что это не важно. Верил бы только Он в тебя. Когда начался фотизм, ты что-то сказал?

— Я сказал: «Господи».

— Вот именно.

— Да ведь все же это говорят. Постоянно. Это ничего не значит.

— Незначащего не бывает. Слово без причины не молвится, и я заранее знал, что ты тогда сказал.

— Каждому могло…

— С тобой случается слишком много совпадений. Из которых важнейшее — встреча со мной. Эти силы, которых ты справедливо боишься, — я знаю способы стать их проводником. Я учусь тренировать сознание. Да, это медитация, если желаешь, но на научной основе. И вот ты пришел

---

[113] Примечания: 113

Апостол Павел, в бытность свою фарисеем носивший имя Савл, на пути в Дамаск увидел свет и услышал глас с неба. Потрясенный, он вскоре крестился и взял имя Павел (Деяния святых Апостолов, кн. 9).

ко мне. Ты можешь сейчас убежать, но Бог устроит тебе шок посильней, и ты вернешься.

— Нет.

— А я говорю — да. Как проявилась Сила?

— Она как-то изменила мое чувство масштаба.

— Ты что-то видел?

— Геометрическую фигуру.

Симмонс пришел в возбужденное движение. Он принес опешившему Маркусу карандаш и бумагу и вынудил его фигуру нарисовать.

На бумаге она выглядела обыкновенно, но память о ней еще отзывалась опасностью.

— Это знак бесконечности, — объявил Симмонс.

Маркус робко заметил, что фигура походила на зажигательное стекло.

— Тоже знак бесконечности. Бесконечной энергии, проходящей через некую точку.

Он станет… да, он станет нашей мантрой, предметом совместного созерцания и медитации.

Маркус молча смотрел на символ бесконечности. Теперь, когда им занялся Симмонс, символ, казалось, уменьшился. Вообще все уменьшалось, делалось нестрашным в оболочке из быстрых Симмонсовых слов, хотя сам-то он стремился все оболочки снять. Тайна была названа, и вот

уже она отдалялась, таяла, становясь впервые лучистой и желанной.

Симмонс, ясный и здравомыслящий, оперся на учительский стол и начал рассказывать.

— Мудрецы Ренессанса извратили связь между Человеком и Духом. Они возродили древнюю идею язычников, что человек — мера всех вещей[114]. Это, конечно, абсурд. Идея нанесла нам неизмеримый вред. Вместо бесконечности нам пришлось довольствоваться кругом, где точка нам доступна. — Рядом со знаком бесконечности Симмонс нарисовал приблизительную версию Леонардова человека в микрокосме и безмятежно улыбнулся. — Они волховали посредством ложных образов. С тех самых пор мы живем в антропоцентрической вселенной, закрыв глаза и уши, замкнув разум. То, что мы зовем религией, вместо *нечеловеческого* Духа, служит человеку, морали, прогрессу, а все это гораздо менее важно. Потом зародилась современная наука. Казалось бы, она должна была дать им хоть скромное представление о *нечеловеческих* Силах. Но нет, они лишь возвели антропоцентризм в новую, чудовищную степень. Человек — господин всех

---

[114] Примечания: 114
Принцип древнегреческого философа Протагора (485–410 до н. э.)

вещей, сказали они. А это, Маркус, волхованье черное. От него была Хиросима и сатанинские фабрики[115]. Разумеется, через науку можно было снова прийти к древнему знанию: в схеме Мироздания Человеку отведено место посредника между Чистым Духом и Чистой Материей. Но мудрецы всё болтали о непобедимом человеческом духе, о пустых небесах и упустили свой шанс. В том числе — шанс изведать сполна, описать или даже попросту осознать опыты наподобие того, что пережил ты.

Симмонс, как и в первый раз, вспотел. Лицо его дергалось. Маркус наблюдал все это с какой-то оцепенелой тревогой. К Симмонсу его влекли пока что не теории, а его уверенная повадка, его твидовая нормальность — та самая, что, отталкивая, неодолимо прельщала всех младших Поттеров. Когда Симмонс приходил в это странное возбуждение, Маркус терялся. Но сегодня вдохновение, если можно так выразиться, во многом сливалось с уверенностью, и Симмонс не был целиком глух к переменам Маркусова состояния.

— Ты не доверяешь языку! Понимаю. Наука

[115] Примечания: 115

Фраза из стихотворения «Иерусалим» У. Блейка (1757–1827), символизирующая неприятие промышленной революции.

тебя не страшит, у нее на все есть термины. А для *Этого* настоящих слов нет. И естественно: Человек посвятил себя соматическим формам, а о духовных забыл. Я вижу, как тебе претит говорить со мной об алхимии, аурах, даже ангелах. Это лишь убогие обозначения того, что мы не смогли понять в полноте… И знаешь, я верю… верю, что мир стремится уйти от плоти к Духу… Вот. Я это все записал. Немного путано, конечно. Прочти.

Он вытащил из портфеля стопку размноженных листков:

— Прочти. Может быть, это окажется тебе полезно…

Текст слеповатый, бумага мягкая, много листанная. Маркус прочел:

ЗАМЫСЕЛ и СХЕМА

Писано Лукасом Симмонсом, магистром ест. наук,

к Вящей Славе Создателя.

Дабы явить в их Вечном Развитии ЗАМЫСЕЛ и СХЕМУ,

в коих и с коими в согласии мы, по Воле ЕГО, должны

Сыграть свою Роль.

— Я думаю, мы могли бы с тобой поработать к взаимной пользе. Решать тебе. Если, конечно, — Симмонс рассмеялся, — не вмешаются Высшие Силы. На первом этапе прочти мою работу. Может, у тебя будут какие-то комментарии. Так мы подготовим поле деятельности. А потом, наверное, проведем пару экспериментов.

— Что мне делать?

— В каком смысле «делать»?

— Что мне сейчас делать? Мне плохо. Очень.

— Сейчас… Сейчас я пойду в инкубатор и скажу, что тебе стало дурно в лаборатории. И пускай сестра тебе даст отлежаться. Я бы тебя отвел, но не стоит давать повод к лишним разговорам. Мы должны беречь наши тайны… А сестре скажешь, что плохо себя почувствовал.

— Плохо.

— Именно. Жду новой встречи.

Симмонс не сказал, когда будет эта встреча, но Маркус был теперь уверен не меньше его, что некая сила обо всем позаботится.

13. В логове гуманиста

Лонг-Ройстон с первого взгляда не понравился Фредерике. А ведь она хотела его полюбить. Он был на ступень — и даже на несколько — вовне и превыше Блесфорда. В каком-то смысле это был анти-Блесфорд. Подобно Эвересту, наконец покоренному в тот год, Лонг-Ройстон был общеизвестен и при этом совершенно недосягаем. Но теперь, приглашенная самим хозяином, Фредерика шагала по его садам, разбитым в примерном соответствии с наставлениями Бэкона[116]. Весна была сизая, зверская, но в низких каменных оградках цветы, предписанные апрелю, стойко боролись за жизнь. Бэкон любил, чтобы воздух веял цветами. Фредерика вдохнула поглубже и различила белую махровую фиалку, лакфиоль, левкой, первоцветы-барашки, флорентийский ирис, всевозможные лилии, розмарин, тюльпан, пион, бледный нарцисс, испанскую суллу, вишню, терн и домашнюю сливу в цвету, боярышник,

---

[116] Примечания: 116

Фрэнсис Бэкон (1551–1626) — один из крупнейших английских философов Позднего Возрождения, выдающийся историк, ученый, политик. Здесь имеется в виду его трактат «О садах».

одевшийся листочками, и сирень[117]. Все это значилось в брошюрках с изящными рисунками, что раздавали тут на Пасху и в июне, когда садовые врата распахивали для публики. *Ver perpetuum*[118], писал Бэкон, можно создать везде. Даже в северном Йоркшире, где ветра с болот немалый наносят ущерб. Фредерика хрустела по гравию Большой террасы. Скоро здесь будет пьеса. Дыханье цветов несказанно слаще в воздухе, чем в руке. Лакфиоль отменно хороша бывает, посаженная под окном спальни или гостиной. Бэкон прав. Но три цветка упоительней всего пахнут, когда по ним ступают и раздавливают под ногой. Это черноголовник, дикий тимьян и водяная мята. Нужно поэтому сеять их густо в аллеях, дабы, идя или прогуливаясь, наслаждаться благоуханием. Кроу позаботился и об этом наслаждении. В переплетающихся аллеях, попирая цветы, шли и прогуливались самые разные люди: знакомые, незнакомые, виденные на фотографиях и плакатах.

---

[117] Примечания: 117

Перечисление апрельских цветов, как и следующие отрывки, относящиеся к разведению садов, взяты автором из трактата «О садах» Ф. Бэкона.

[118] Примечания: 118

Вечная весна *(лат.)*.

«Начало веселий», — вдохновенно подумала Фредерика.

Но в особняке ее восторг поугас. Возник дворецкий в белом фраке, спросил имя и забрал пальто. Возник Кроу: «Ах, здравствуйте, здравствуйте!» — и прошел дальше. Некий юноша в вельвете пронзительной синевы изучал резьбу на предмете мебели. Половина лица его была скрыта за аквамариновыми стеклами непомерных очков. Обуявшее ее чувство Фредерика определила как «социальную неловкость» — тревогу, возникшую оттого, что никак невозможно было завладеть вниманием этого тесносплетенного сборища людей с цветистой речью, сочными голосами и восхитительно вольными движениями. А за неловкостью у нее всегда шло желание жалить. Это потом уж она задумалась: не сам ли Лонг-Ройстон так ее обескуражил?

Они были призваны в особняк, потому что, во-первых, требовалось обсудить костюмы, а во-вторых, Кроу решил, что это будет весело. Обедали в главном зале под галереей для музыкантов, пятнадцать человек за длинным столом. Актеры, намеченные на главные роли, триумвират, главные костюмерши, супруга настоятеля Калверлейского собора и некто завлеченный

Кроу из самого Ковент-Гардена. Марина Йео восседала, обрамленная Кроу и Александром, и оживляла пир рассказом о важности костюмов. Фредерика оказалась зажата на другом конце меж аквамариновым юношей, так и не снявшим линз, и Дженнифер Перри, назначенной играть Бесс Трокмортон[119] и едва ли заслужившей место рядом с ведущими актерами. Фредерика критически рассматривала Марину.

— На сцене костюм имеет силу фантастическую, — говорила Марина. — На сцене *ты и есть тот, кем кажешься*, а значит, в какой-то мере отдан на милость костюмам. Артисты передают им часть своей энергии. Дочь Эллен Терри[120], например, отказывалась отдать в чистку ее костюмы. Они были насквозь, до твердости, пропитаны ее *маной*. Сибил[121] мне рассказывала, как впервые надела зеленое платье, что

---

[119] Примечания: 119

Леди Элизабет Рэли (1565–1647) — верная супруга сэра Уолтера Рэли, фаворита Елизаветы I, немало пострадавшая вместе с мужем от ревности королевы. Узнав об их тайном браке и беременности Бесс, Елизавета I бросила супругов в Тауэр. Со временем они были помилованы, но королева так до конца и не забыла своей обиды.

[120] Примечания: 120

Эллен Терри (1847–1928) — выдающаяся британская актриса, прославившаяся в пьесах У. Шекспира, Г. Ибсена, Б. Шоу.

[121] Примечания: 121

Вероятно, имеется в виду Сибил Торндайк.

Эллен носила в «Макбете», — да-да, то самое, с рукавами-крыльями, расшитое крылышками настоящих жуков-златок… Она ощутила себя *абсолютно бесстрашной*. Эти крылышки *несли* ее весь спектакль. Вы помните, Александр, эту шутку Уайльда: леди Макбет бережливая хозяйка, скудную снедь покупает в местных лавках, мужнины невзрачные килты заказывает местным ткачам, зато свои наряды привозит из Византии![122] Да, именно так, — произнесла она с эффектными паузами.

— Я никогда не забуду вашу леди Макбет, — вступил Кроу. — Ваши руки — как яростно вы их терли, смывая кровь…

— Там были такие громоздкие робы, просто неподъемные… В сценах, где леди в сорочке, мне игралось легче.

— О, вы будете у нас умирать в прелестнейшей сорочке! — заверил Кроу. — Вот сами увидите. У нас костюмы по эскизам автора, это ново.

— По вашим эскизам? — Марина повернулась к Александру, и он почувствовал, что обязан явить обаяние.

Дженни и Фредерика следили, как ему это

---

[122] Примечания: 122

Марина одновременно урезает и дополняет цитату Оскара Уайльда (1854–1900).

удастся, первая украдкой, вторая в упор и без зазрения совести. Как и ожидала Фредерика, удалось не очень. Александр одеревенел, принялся заикаться и выглядел неумелым льстецом, хотя был совершенно искренен.

У Марины Йео было длинное смуглое лицо, густые гладкие седеющие волосы и очень темные глаза, глубоко посаженные под выпуклыми веками. Крупный рот, который критики звали живым и подвижным, шея длинная, долгая, ставшая с годами как старое дерево в тонких прожилках. Слишком много гримасничает, решила Фредерика и сделала непроницаемое лицо. Ее весьма впечатляла на портретах Глориана с ее белой застывшей маской.

— Я не расслышал твое имя. — Синее существо уставило линзы на Фредерику и, чуть откинув голову, пальнуло в нее отраженным светом. — Но я тебя, похоже, знаю.

— Вряд ли. Я Фредерика Поттер.

— Ну разумеется, знаю. Дочь Билла Поттера. Младшая. Взрывчатая.

Фредерика отпрянула было:

— Откуда?.. — И тут узнала его манеру. — Ты Эдмунд Уилки. Как ты сюда попал?

— Я сэр Уолтер Рэли, дитя мое. Вундеркинд

возвращается в родные пенаты, дабы посрамить сомневавшихся. А тебя каким ветром?

— Я Елизавета. Не целиком, а до того места, где начинается Йео.

— Понимаю-понимаю. Презабавно. Тебе придется изучить ее повадки. Впрочем, это несложно: они у нее крайне выраженны.

Он подался к ней, довольно точно изобразив Маринин чуткий, округлый наклон.

— Тебя из-за этих стекол не видно. Что за синий ужас? Раньше тебе не нужны были очки…

— И сейчас не нужны. Это эксперимент. Я их сам разработал, чтобы доказать влияние цвета на настроение. Пробовал еще инвертоскопы, что надевают на кур[123], но только дома, на улице опасаюсь. Снимешь такие и ощутишь мир в целокупности — чувство прямо океаническое. Что вверху, то и внизу. Вверху и внизу лестницы, по крайней мере: ощущения водят интеллект за нос и провозглашают одно другим. Но на публике цветные очки удобней. У меня их много: коричневые, золотистые, синие, серые, дымчатые, дымчато-лиловые, темно-бордовые и еще

[123] Примечания: 123

Инвертоскоп — прибор, создающий на сетчатке глаза перевернутое изображение мира. Очки для кур имеют подвижные шторки и розовые линзы, что мешает курам драться.

розовые — дань традиции, так сказать. Я веду журнал наблюдений, записываю подробно все свои реакции и малейшие перемены настроения. А моя девушка ведет еще контрольный журнал. Пока мы установили только одно, зато железно: чем меньше меня видно за очками, тем я больше хамлю.

— Сейчас все почему-то очень гордятся своим хамством, — заметила Фредерика.

— Согласен, и весьма. Хамство — дешевый способ прослыть острословом. Презрим же условности и будем вежливы! Что ты думаешь о своем *alter ego*, о *другой* Глориане?

Эдмунд Уилки был звездой Блесфорд-Райд. Он с невероятной легкостью одолел экзамены на аттестат А, сперва по творческим дисциплинам, а затем и по точным наукам[124]. Уехал в Кембридж и в Кингз-колледже взялся за психологию, выказав, как сообщали, успехи феноменальные. Одновременно взлетел к вершинам актерской славы: написал, поставил и сам сыграл в ревю

[124] Примечания: 124

Аттестат А с правом поступления в вуз предполагает сдачу экзаменов как минимум по трем предметам.

«Полнощные грибы»[125], что какое-то время шло на лондонских подмостках. Был Гамлетом в Обществе Марлоу[126], причем Гарольд Хобсон[127] сказал, что не упомнит более умного и менее помпезного Принца датского.

Фредерика пережила очень краткую в него влюбленность, увидав его, в желто-зеленом бархате, в роли Банторна[128] на школьной сцене. Уилки представлял тип ученика столь блестящего, легкомысленного, заносчивого и неблагодарного, что учителя втайне желают ему провала. И действительно, блесфордские педагоги написали ему весьма сухие рекомендации, которые Кембридж оставил без внимания.

Хроникеры светских сплетен уже гадали: станет ли он великим психологом, педагогом-новатором, звездой эстрады или увесистым

---

[125] Примечания: 125

Отсылка к шекспировской пьесе «Буря»: в V акте Просперо взывает к эльфам, в полночь растящим грибы.

[126] Примечания: 126

Кембриджский театральный клуб, основанный в 1907 г.

[127] Примечания: 127

Сэр Гарольд Хобсон (1904–1992) — видный британский театральный критик.

[128] Примечания: 128

Главный герой комической оперы «Пейшенс, или Невеста Банторна» (1881) А. Салливана и У. С. Гилберта, высмеивающей легковесный эстетизм в искусстве.

шекспировским актером. Александр решил, что вполне можно позвать его на роль Уолтера Рэли — человека с сотней ролей, ушлого вельможи, поэта, шарлатана, ученого, атеиста, воина, моряка, историка, узника Тауэра. Рэли много значил для пьесы, будучи и персонажем, и участником Хора.

Для Фредерики Уилки был живым доказательством того, что побег из Блесфорда возможен — побег в город большой, быстрый и блесткий. Но Билл не желал для дочери мишуры метрополиса и на Уилки смотрел с опаской, нехотя признавая за ним острый ум, а может, и что побольше.

— …Так что ты думаешь о другой Глориане?

Фредерика запуталась в вежливеньких эпитетах, из которых стало ясно, что движения и речь мисс Йео кажутся ей в высшей степени текучими. Но и эту малость она испортила, добавив, что Йео напоминает ей иллюстрацию Тенниела[129], где Алиса в облике змеи пугает голубя. Уилки заметил:

— Мозговитые девицы вроде тебя считают, что до всего можно дойти головой.

— Не знала, что иметь мозг — преступление.

---

[129] Примечания: 129

Сэр Джон Тенниел (1820–1914) — британский график и карикатурист, автор известных иллюстраций к «Алисе в Стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье».

— Что за глупости, я этого не говорил. Мозг — отличная штука и, кстати, предмет моего изучения.

— Ну да, говорят ведь, что ты будешь психоаналитиком.

— Нет, дитя мое! Психологом. Ученым. Меня интересует не либидо, а мысль. Отношение между мыслью и восприятием. О, это высший нарциссизм — мозг, познающий собственные импульсы. Тут корень любого знания.

— Но как он может?..

— Как он может — что?

— Как он может познать сам себя? Он же не способен выйти за собственные пределы.

— На то есть машины, Фредерика.

— Придуманные им же.

— Не «им», а несколькими людьми, у каждого из которых свой уникальный мозг. Но твой вопрос вполне разумен. Действительно, получается замкнутый круг. Мозг не может объективно оценить выводы мозга о выводах мозга относительно деятельности мозга. Впрочем, попробовать можно.

Фредерика вообразила мозг, сознающий себя самое, и у нее закружилась голова. Свет в зеркале, летящий навстречу свету. Резвый дымок и

взрыв. Тугие извивы серого вещества, сплетенные насмерть с себе подобными. Странно: мозг неистощимо деятелен, а мы представляем его бесформенным комком материи.

— Он взорвется! — с надеждой заявила она.

— Ты воображаешь его как нечто электрическое.

— Нет, я вижу змей из серого вещества, которые борются с такими же змеями.

— И сливаются воедино? Интересно: всегда один и тот же образ. У всех эти изгибы, завитки, спирали — хоть электрические, хоть змеиные. Элементы организма, элементы аккумулятора, а в конце слияние или взрыв. Впрочем, в моем случае в конце нет ничего, только пустота и свет. Утешительная картина, коей не узрю, ибо слишком занят и недостаточно безрассуден.

Кроу поднялся, чтобы представить гостей друг другу. Сначала — три настоящих актера из солидных театров, игравшие роли со словами в фильмах самого Оливье[130]. Макс Бэрон, вы-

[130] Примечания: 130

Сэр Лоренс Керр Оливье (1907–1989) — один из крупнейших британских актеров и режиссеров XX в., прославившийся как в шекспировских ролях, так и в современной драме.

сокий, худой, нервный, — будущий Дадли[131]. Криспин Рид и Роджер Брэйтуэйт — Бёрли[132] и Вальсингам[133] соответственно. Эти двое без грима были курьезно схожи: темноволосые, белозубые, с классическими чертами, и оба к тому же в замшевых ботинках. Округлыми актерскими голосами они рассказывали театральные анекдоты. Крупные, тугоподвижные мужчины говорили напевно и гибко, то замедляя речь, то пуская вскачь, и Фредерика никак не могла соотнести их с двумя холодными, осмотрительными царедворцами. Еще один профессионал, Боб Гранди из Йоркского репертуарного театра, назначенный на роль Эссекса[134], уже отращивал бороду.

Кроу перешел к актерам-любителям. Друг Александра Томас Пул, завкафедрой английского в

---

[131] Примечания: 131

Роберт Дадли, 1-й граф Лестер (1532–1588) — политик и военачальник, конюший Елизаветы I, советчик и фаворит, долго не оставлявший надежды сделаться супругом королевы.

[132] Примечания: 132

Уильям Сесил, 1-й барон Бёрли (1520–1598) — вельможа и законовед, во времена Елизаветы I глава правительства и лорд-казначей Англии.

[133] Примечания: 133

Сэр Фрэнсис Вальсингам (1532–1590) — министр Елизаветы I, член Тайного совета, начальник королевской разведки и контрразведки.

[134] Примечания: 134

Роберт Деверё (1565–1601), второй граф Эссекс — военачальник, фаворит Елизаветы I, зять Вальсингама. После череды военных поражений утратил расположение королевы, затеял переворот и был казнен.

Калверлейском педагогическом институте, угловатый, светловолосый и молчаливый, должен был сыграть мудрого, задумчивого поэта Спенсера. Спенсер и Рэли вместе составляли Хор. В свое время Александр несколько недель потратил на безумные и постыдно бесплодные попытки вписать в пьесу самого Шекспира. Потом во сне его поставил на колени и торжественно обезглавил огромный палач в маске. Палач бормотал невнятное, и Александр знал, что в этом бормоте бежит истинный, темный ток языка. Ясно стало, что не Шекспир, а сам Александр не может ответить на вопрос[135]. Он проснулся в остывающем поту и подумал о Спенсере.

Поэт более далекий и менее доступный, чем Шекспир, оказался проще. Реплики Спенсера являли подвижную, пеструю смесь усмешливо-любовного подражания, явной кражи и собственного, ясного Александрова языка. Александр думал, что они, возможно, лучшее из всего им написанного. Высокий елизаветинский

---

[135] Примечания: 135

Вероятно, отсылка к стихотворению «Шекспир» Мэтью Арнольда (1822–1888), которое начинается словами:

Все отвечают нам. Свободен ты
Мы ждем и ждем – но ты, с улыбкой, нем.

(Перев. В. В. Рогова)

стих легко срастался с легкой пародией, новое питалось старым. *Eterne in mutabilitie*[136] — так Спенсер, сам любитель старинных цитат, сказал об Адонисе, а мог бы сказать и о языке. Александр вписал эту фразу в «Астрею», откуда со временем она перетекла в примечания школьных учебников. Александр был рад, что Спенсера сыграет Пул, знавший «Королеву фей» и говоривший без вычур, мелодически-отчетливо.

Из женщин, кроме Марины и ее «юной тени», как выразился Кроу, была пылкая под ледяной корочкой учительница из Калверли, выбранная по типажу на роль Марии Тюдор, гороподобная мисс Тёрнбулл из Скарборского репертуарного театра (будущая леди Леннокс)[137], и миссис Мэрион Брайс, супруга блесфордского каноника. Миссис Брайс оставила расцветающую театральную карьеру ради поприща церковной жены и ежегодно ставила в Калверлейском соборе рождественские и страстны́е пьесы, а также творения Кристофера

[136] Примечания: 136

Вечный в своей переменчивости *(лат.)*.

[137] Примечания: 137

Маргарет Дуглас (1515–1578), графиня Леннокс — дочь Маргариты Тюдор и любимая племянница Генриха VIII, впавшая в немилость из-за своеволия. Сумела устроить краткий брак между своим сыном лордом Дарнли (см. примеч. к Прологу) и Марией Шотландской, за что недовольная Елизавета I на год заточила ее в Тауэр. Свадьба второго сына ознаменовалась двухлетним заточением.

Фрая и Дороти Сейерс[138]. Она была смуглая, с большой грудью, с влажными, тревожными глазами и голосом. Ее присутствие ощущалось постоянно как некое трепетное напряжение. Ей досталась роль яркая, но небольшая: Александр ненавидел Марию Шотландскую и дал ее в основном в виде незримой угрозы. Еще была Дженни — была, поскольку того хотел Александр.

Дженни уже была расстроена: ей никак не удавалось влиться в общий разговор. Они с Уилки, как полагалось, пошутили по поводу перипетий своего сценического брака. Потом он спросил, много ли она играет.

— Нет, у меня же малыш. Я редко куда-нибудь выбираюсь. А вы?

— Я подумываю заняться театром всерьез. Сейчас агенты сами приходят ко мне в гримерную. Это довольно лестно. И довольно денежно, на ближайшую пару лет по крайней мере. А там, наверное, продолжу возиться с серыми клетками.

Тут встряла Фредерика: она-то уж точно будет актрисой. Отец хочет, чтобы она шла в Кембридж, но не будет ли университет отвлекать ее от искусства? Блестящие аквамариновые линзы

---

[138] Примечания: 138

Дороти Ли Сейерс (1893–1957) — британская поэтесса и драматург, автор серии детективных романов.

переместились в ее сторону. Уилки зажег сигарету в длинном черном мундштуке, торчавшем меж насекомых глаз, словно бабочкин хоботок.

— Кембридж, — сказал он, — идеальное место для начала карьеры. И ты могла бы преподавать в периоды отдыха. Все лучше, чем просиживать в кафе.

— Ни за что! — завопила Фредерика. — Учат те, кто сами не могут. А я буду *настоящей актрисой*.

— Даже *настоящим* приходится отдыхать, — сухо отвечал Уилки. — Впрочем, — с оттенком покровительства добавил он, — чтобы стать *настоящей*, и правда нужно работать зверски.

Дженни было не по себе от этих блистательных и бойких детей. В свои двадцать четыре она чувствовала себя старой рядом с ними, а ведь была лишь на год-два года старше Уилки, успевшего пройти военную службу. Этим двоим жизнь представлялась восхитительным взлетом, а у Дженни горизонт замыкался на Джеффри, Томасе и Блесфорд-Райд. Что еще ждало ее в будущем? Если повезет, то урывками — ненавистное преподавание? Она неплохо играла, когда училась в Бристоле, но ей не приходило в голову превратить это в нечто большее. Дженни знала: прежде чем намечать какое-то будущее, необходимо

решить вопрос семьи, ребенка. Все студенческие годы она хотела замуж, ни разу не задумавшись о том, что можно и не хотеть. Или это началось еще раньше? Она не могла представить, что было бы, если бы она думала иначе, иначе себя видела. Возможно, верь она в свою незаурядность, она и стала бы кем-то. В ней росла неприязнь, но не к Уилки, явно мнившему себя гением, а к Фредерике, которая не только мнила, но давала это понять назойливо и неприятно. Дженни с тоской отдавала себе отчет, что эта неприязнь — с сексуальным подтекстом. Глянула на Александра, ища утешения, но он как раз кутал в манто плечи Марины Йео. Тогда она попыталась привлечь внимание Уилки, спросила, какие именно мозговые процессы он изучает.

— В двух словах, связь между языком и зрительными образами. То, как мы формируем понятия. Сейчас одни говорят, что зрительный образ проще слова и потому фундаментальней, а другие — что нельзя мыслить без некоего четкого символического языка. Я вот хочу поработать с эйдетиками — теми, кто мыслит зрительно. Некоторые гении-математики, Петри[139] например,

[139] Примечания: 139

Джон Флиндерс Петри (1907–1972) — выдающийся математик, занимавшийся в основном планиметрией.

просто вызывают зрительный образ логарифмической линейки и с нее считывают числа. Еще интересная тема — связь между зрительной памятью, семантической памятью и логическим мышлением…

Фредерика, дико возгоревшись, влезла в разговор:

— Мой брат мог мгновенно решать любые задачи!

— А сейчас? Сейчас может? Ты знаешь, как он это делал?

Изрядно привирая, Фредерика принялась излагать историю математического падения Маркуса, но тут Кроу встал из-за стола. «Не может же человек в двадцать четыре года стать невидимым?» — подумала Дженни.

Кроу повел гостей в библиотеку, где были выставлены эскизы и макеты. На одном из столов расположилось уменьшенное подобие Большой террасы: с деревьями, с передвижными яркими павильонами, с тронными залами — легкими, продувными, возникающими по манию руки. Тут же стоял картонный Тауэр, коронационный паланкин из спичек, ниток и марли. Все это напоминало концентрические микрокосмы вроде

матрешек или панорамных городков[140]: вот город, вот городок-панорама, а в панораме еще панорама: попросту зеленый мазок с белыми зернышками, то ли домами, то ли императорами — тут уж ни рука не вырежет деталей, ни глаз их не разберет. Или, может, крошечные садики Адониса[141]: проростки пшеницы, латука, аниса в черепках, выставленные на солнце в честь воскресшего бога, увядшие под конец плясок и выброшенные, как символы Смерти и Карнавала, в реку, дабы умилостивить воды.

На другом столе лежали рисунки Александра. Он рисовал для себя, никому не собираясь показывать, в дни и недели, когда одержимость пьесой достигла высшей точки. Писание привело его, полуученого-полувлюбленного, в Музей Виктории и Альберта — к портретам, миниатюрам, костюмам. А потом, по ночам, он стал рисовать своих людей. Это Кроу сперва выведал у него о рисунках, а потом умыкнул целую стопку. Театральный художник уже сделал предварительные

[140] Примечания: 140

К середине XX в. во многих курортных городах Англии были устроены «панорамные городки», в миниатюре повторяющие облик города. Некоторые из них пользовались большой известностью.

[141] Примечания: 141

Широко распространенный в древности культ Адониса (Таммуза, Осириса и пр.) был связан с идеей плодородия, смерти и возрождения.

эскизы, вплетя в них Александрово золото и зелень, белый и алый, тюдоровские розы и розетки из шелковых лент. Бёрли и Вальсингам — красные с белым, Спенсер и Рэли — зеленые с золотым. Королева — все четыре цвета. Александр был недоволен. Он хотел реализма дотошного и густого, а примитивные схемы размывали богатый пласт. Ведь и рисунки он показал Кроу, только чтобы нагляднее было, чего он хочет. Александр, впрочем, мог не только рисовать. Он умел нашивать крючки, обметывать петельки, понимал и вытачки, и сборки, и позумент — в школьных пьесах всегда был костюмером.

Актеры толпились и восклицали. Части фигурок Александр дал лица тех давних людей, а части лица актеров. Рэли, в черном бархате с жемчужными лучами, был Рэли. У Дадли над собственной его жидковатой бородкой взволнованно хмурились брови Макса Бэрона. Наряды королевы населяла переменчивая стайка сущностей. Поверх парадных брыжей недобро глядело меловое, клювастое, старое лицо бело-золотой Елизаветы, окормляющей Англию на фоне грозовых туч. Из сборок ночной сорочки на змеиной Марининой шее подымалась голова с огромным Марининым ртом, высокими, щипаными бровями Елизаветы

и ее же париком-башенкой. Фредерика нашла свои платья и осталась ими довольна: бело-золотое — томиться в башне, зеленое с золотом — резвиться в саду Катерины Парр[142]. Но вместо лиц были пустые овалы, и это ее злило.

С Бесс Трокмортон Александр позволил себе многие тайные радости. Он написал ее акварелью в духе Хиллиарда и дал ей нервное, радостное личико Дженни, и Дженнины знакомые круглые грудки поместил в оправу кружевного стоячего воротника Бесс. Она придерживала вздувшиеся карминовые юбки под сенью белых древовидных роз, а под ногами ее стелился любовно выписанный ковер из белых фиалок и пестрых маргариток. Необычайный порыв ветра налетел лишь на ее платье, ничего больше не потревожив на идиллической картинке. Александру тогда еще показалось, что его чувства здесь пугающе явственны. Испугавшись, он попытался придать рисунку более профессиональный вид: на полях нарисовал детали застежек, кружев, шнуровок — и глазом, привыкшим к тайночтению, усмот-

[142] Примечания: 142

Вдова Генриха VIII Екатерина Парр (1512–1548) после его смерти взяла на себя заботы о юной Елизавете. Существует мнение, что ее новый муж Томас Сеймур (1508–1549) под видом игр и развлечений пытался растлить девушку, чему Екатерина способствовала.

рел в этом разоблаченье сугубое. Теперь он с тихой радостью наблюдал, как Дженни глядит на себя самое в его светлом и отчетливом парадизе. Нагнувшись, глянул ей через плечо.

— Я узнаю эту женщину у деревца, — сказала Дженни.

— Не́сси-во́сси! — проверещал за спиной Уилки.

— Это есть в пьесе, — ответил Александр.

Кроу довершил цитату из Обри:

— Опасность нарастала, а с ней и нега. Девица крикнуть хотела: «Ах нет, сэр Уолтер!», а вышло «Несси-восси!». Так и повторяла до конца: «Несси-восси! Несси-восси!»[143]

— Потом открылось, что она на сносях, и голубков бросили в Тауэр, — припечатал Уилки. — Дивный кринолин, мистер Уэддерберн. С удовольствием его изомну.

Александр двинулся было вслед за Дженни, но в локоть вцепилась Фредерика:

— Попались! — От смущения вышло по-глупому игриво.

---

[143] Примечания: 143

Цитата из книги Джона Обри (1626–1697) «Краткие жития». История о том, как сэр Уолтер Рэли «прижал к дереву» девушку из числа придворных, смешивается здесь с историей о тайной беременности супруги Рэли и последующем заточении обоих в Тауэре.

Провидя долгое, блаженное лето с Дженни, Александр был милостив:

— Фредерика, погляди, что тут есть.

Он развернул коричневую бумагу и вынул тонкую, длинную ленту ярко-красного бархата.

— Время не тронуло, зато Мэтью нашел. Велел перетянуть кресла, и вот — обнаружил среди набивки. Новехонький бархат из времен Иакова Первого[144].

Он накинул ленту на руки и поднес к свету:

— Если неправильно драпировать бархат, он тускнеет, из него уходит жизнь. Вот у меня он драпирован правильно. Смотри. — Его пальцы гладили буроватый нежный ворс. — Видишь, как меняется на просвет? От серебристого к кровяному, а дальше в темноту. Багрец, багряный зверь. На пару тонов гуще киновари. Невинность за миг до падения. Цвет свежий и богатый, богаче всех стихотворных роз и коралловых уст. Вещь в абсолюте.

— Вы, кажется, очень любите вещи.

— Мне послышалось осуждение? А ты разве их

---

[144] Примечания: 144

Иаков VI Шотландский, впоследствии также Иаков I Английский (1566–1625). Первый король Англии из династии Стюартов, сын Марии Стюарт, «простивший» Елизавете I казнь матери и в качестве короля Шотландии помогавший ее начинаниям. После смерти Елизаветы был коронован в Англии.

не любишь?

— Меня этому не учили. Я дитя Йоркшира, уважаю добротную шерсть и острые ножи — вот и все.

— Это твоя юность говорит. С возрастом жизнь овеществляется. Раньше я и сам не так был бы очарован начинкой этого особняка.

— Для меня тут всего слишком много. Ничего нельзя толком разглядеть. Я ведь из сурового военного поколения. Для нас мифические сокровища — это масло, сливки, лимоны и апельсины. Нашему батюшке это даже нравилось: серый военный хлеб, яичный порошок, маргарин, простая мебель. От статуй и драпировок мне не по себе.

Александр обернулся к Кроу:

— Фредерика дитя войны, и ваши великолепия ее смущают.

Кроу поднял серебристо-седые брови:

— Не может быть!

— Может. Они на меня давят. Слишком много всего.

— О, эти вещи нужно узнать… Я покажу тебе мой дом и научу подмечать детали. А начнем мы, пожалуй, с лепки в Большом зале под галереей. Ты рассмотрела лепку?

Фредерика действительно заметила гипсовый

фриз, окаймляющий зал, но в памяти удержались только деревья, мчащиеся меловые люди и звери. Теперь, послушно уставив взор в стену, она увидела, что движения людей одновременно сильны и чуть скованны: брак без любви меж английской и классической традицией. Увидела юношу, превращающегося в оленя, — пытка метаморфоза напомнила ей Саутвеллский собор, где на стенах каменные люди в муках прорастают ветвями. Увидела натянутые жилы, ступни, окостеневающие в копыта, раздающуюся грудь, ветвящиеся рога, подгрудок в кремовой шерсти, звериный распахнутый рот под глазами человечьими.

— Актеон, — сказала умненькая Фредерика.

— Конечно. На этой стене Диана травит собаками Актеона, на той — Венера гонится за Купидоном-проказником. А над камином, погляди-ка, богини встретились. Купидон усмирен и порицаем, а Актеон преловко разделан на мясо. Для меня все это развернутая аллегория. И поживей большинства английских барельефов. Смотри, как хороши богини!

Фредерика посмотрела на богинь. Они возникали тут и там в сценах, переходящих одна в другую, и тем обретали не то многосущность, не то вездесущность. Диана, высокая, худая, с

девичьей грудью, стояла в круглом озере, окаймленном камышами, а из-за валуна подглядывал за ней Актеон. Он был спиной к зрителю, мышцы на плечах и ягодицах проступали у него еще человеческие. В следующей сцене разгневанная богиня в окружении гармонично-мускулистых дев наблюдала за превращением человека в зверя. Затем следовала долгая охота. Собачьи лапы, девичьи ноги, конские копыта вертикальными белыми волнами проносились среди белых цветов и стволов, Купидон с потешным луком выглядывал тут и там, богиня прыгала, целилась и вдруг возникала на соседней опушке. Девичья процессия несла на длинных шестах переломанное, свисшее, неживое тело туда, где над камином рука об руку ликовали на тронах богини в бледных сборках пеплумов и цветочных гирляндах. На супротивной стене, не столь пластично исполненная, Венера пробуждалась ото сна в своей лесной опочивальне среди шаблонно могучих деревьев и колонн с человечьими головами, обвитыми листвой. Она взлетала в колеснице, несомой голубями, и опускалась в крошечном, обведенном стеной городке наверху пасторального холма. Миниатюрные пейзане, овцы и коровы указывали на белые раны, нанесенные ее улепетнувшим

сыном. Венера была полнее Дианы. Искусно сплетенный чресельник ее придерживал воздушное одеяние, под которым приятно круглилось тело богини. Там, где она ступала, вырастали цветы, и с небес падали цветы, в букетиках и просто так. Лицо ее выражало улыбчивый покой, а у Дианы покой был холодный, и в конце, в классическом обрамлении рыдающих, кровоточащих нимф и пейзан, над окоченелым под ножом Актеоном, богини производили вместе жутковатое впечатление. Фредерика так и заявила. Кроу согласился, добавив, что, возможно, барельеф — намек на то, как Елизавета обошлась с Джоанной Сил, дочерью тогдашнего хозяина особняка, во многом повторившей судьбу Бесс Трокмортон. Джоанну сгубили сластолюбие и Елизаветино ревнивое девство: несчастная умерла, разрешившись вторым сыном, весьма неосмотрительно зачатым уже в заточении. Над входом, напротив богинь, красовалось проявление подданнических чувств — портрет самой Елизаветы. Созвучен пьесе и стоит внимания, — заметил Кроу.

Фредерика задрала голову к другому женскому существу, бывшему разом и топорнее богинь, и замысловатей. Ей показалось, что монархиня сидит, раскорячив колени.

— Так и есть, — ответил Кроу. — Отчасти это перспектива, но главное, ее платье — это карта Англии. Поэтому что-то растянуто, а что-то сплющено. Видишь, у левого колена мыс Лендс-Энд пляшет на ветру, а на левом плече завязана Шотландия? Тут, конечно, переночевал фронтиспис «Полиольбиона»[145].

— Рог изобилия, — неосторожно заметила Фредерика, — торчит у нее между ног из…

— Как я понимаю, это устье Темзы. Средоточие коммерции. Елизавета тут в образе Девы Астреи. Астрея, богиня Правосудия, последняя из бессмертных, с началом Железного века вознеслась на небо и в людских представлениях слилась с Девой зодиакальной. Астрея получила весы, а символы урожая взяла у Девы. Ведь Дева и Весы — знаки урожая.

— Я знаю, я родилась под Девой. Двадцать четвертого августа, в день святого Варфоломея.

— Знаменательное совпадение!

— Я во все это не верю[146].

---

[145] Примечания: 145

Поэма Майкла Дрейтона (1563–1631), посвященная Англии и Уэльсу: их географии.

[146] Примечания: 146

Вероятно, Фредерика поняла фразу Кроу как намек на события Варфоломеевской ночи.

— Да нет же! Она тоже родилась под созвездием Девы. Елизавета. Есть мнение, что Дева и Дева Мария в близком родстве с жестокими богинями урожая: Кибелой, Дианой Эфесской, Астартой…

— Бёркин и луна![147] Но образы Лоуренса кажутся такими натужными, когда смотришь на нее, — политично сказала Фредерика, глядя на смесь Елизаветы, Полиольбиона и Девы Астреи.

Из-за нелепой позы в ней было что-то хтоническое, аморфное, довременное — старше и насущней богинь и нимф с их аккуратными полусферами грудей. Под тканью, бугрящейся настоящими горами, она была тяжела и обильна, и голову ее венчал зубчатый замок. Щуйца сжимала обнаженный меч, десница — весы. Рог изобилия меж мощных колен вздымался тугим и твердым изгибом, извергая благостной рекой гипсовые цветы, плоды, пшеничные колосья. Золоченые яблоки падали и раскатывались по архитраву.

На этом урок не кончился. Не спросив мнения гостей, Кроу всех их увлек на экскурсию по господским покоям. Покои имели имена космоло-

---

[147] Примечания: 147

Сцена из «Влюбленных женщин» Д. Г. Лоуренса, где герой швыряет камнями в отражение луны, соотносимой как с его возлюбленной, так и с Дианой, Селеной, Астартой и др. (см. примеч. к с. 33).

гические: Солнечный, Лунный, Планетный. Они сообщались меж собой, и в каждом под искусно расписанным потолком стояло непомерное ложе с балдахином. Большие, продутые сквозняками комнаты имели по нескольку выходов в чуланы, коридоры, на лестницы. Кроу бурлил, являя курьезную смесь мажордома, искусствоведа и погонщика рабов. У него уже руки были полны бумаги, защищавшей от света покрывала, вышитые несчастной Джоанной Сил. В Лунном покое покрывала и занавеси были расшиты по синему серебряными месяцами. Кроу толкнул ставни, впустив бледный, холодный, нерешительный свет…

И везде была лепнина руки английского Мастера классических метаморфоз. В Лунном покое он изобразил деяния Дианы: гибель детей Ниобы и Ипполита, превращение Эгерии в водный поток[148]. Кроу с сожалением заметил, что потолок здесь перетягивает внимание на себя. На расписном потолке-куполе (барочная новинка)

[148] Примечания: 148

Дети Ниобы были убиты за то, что она слишком гордилась ими, Эрегия — за то, что, скорбя по мужу, плачем мешала богослужениям в честь Дианы. Девственный охотник Ипполит, согласно преобладающей традиции, был любимцем Дианы, которая воскресила его, когда он пал от руки Посейдона.

Кинфия[149] в странной перспективе спускалась с вогнутых небес к Эндимиону, спящему в пещере.

— Интересно, — сказал Уилки, — когда в последний раз кто-то предавался любви в этих постелях? Наверное, ощущения царственные.

— Им тут было очень холодно по ночам, — заметил Томас Пул. — Даже с камином и завесами.

— От этих перин, должно быть, подымалась туча пыли, — вставила Фредерика. — А если закрыть завесы, начиналась клаустрофобия. И вообще, это не комната, а проходной двор. У меня бы всякое желание пропало.

— Они смотрели на потолок. Он призван пробуждать желание, — сказал Кроу.

— Ну уж точно не у меня, — вполне искренне ляпнула Фредерика, у которой желание еще толком не пробуждалось. — Они все слишком круглые и коричневые. Да еще румянец во всю щеку, да еще это дико синее небо и гнусные розовые облачка… Тела словно печеные. Или непропеченные — в любом случае притронуться не захочешь.

Уилки посмотрел в круглый купол, потом снял очки. Фредерика с удивлением осознала, что гла-

---

[149] Примечания: 149

Эпитет Дианы, здесь соотнесенной с Селеной, также лунной богиней. Любовник Селены, прекрасный Эндимион, погружен в вечный сон.

за у него не синие, как линзы, а шоколадно-карие. Он моргнул, и она моргнула.

— Это итальянский художник, — объяснил Уилки. — Тут не английская плоть и свет не английский. Тени слишком четкие, свет слишком прозрачный и яркий. Такой розовый, такой коричневый цвет в нашей природе не встретишь. Наш эрос — не кобальт, не терракота. И не карне котта[150]. Он лесной, водный, подернутый дымкой. Английская Аркадия[151] — это бурелом, заросли и вода, размывающая след. Так да здравствуют кущи и полунощная поляна из «Влюбленных женщин», да здравствует любовник леди Чаттерли, нагишом бегущий под лесным ливнем!

— «Довременный восторг осязания мистической инакости». — Фредерика не без успеха ввернула фразу, над которой особенно любила потешаться. — Нет уж, спасибо!

В Солнечном покое миссис Брайс объявила, что у нее разболелись ноги, уселась на резной сундук и стала растирать щиколотки. Рид и Брэйтуэйт в восторге сгребали бумагу с огненных покровов

---

[150] Примечания: 150

Печеное мясо *(ит.).* Терракота *(ит.)* — жженая земля.

[151] Примечания: 151

Аркадия — античный образ прекрасной, блаженной земли.

пышной постели. На стенах разворачивалась в гипсе хроника Аполлоновых любовей. Кроу указал на Дафну[152] — подлинный, как сказал он, шедевр здешнего мастера. Это так по-английски: из деревенеющих суставов выстреливают побеги, человеческие жилы переходят в жилки на листьях, ноги в прыжке пускают корни и стремят к земле. И это личико: не нимфа греческая, а староанглийская лесная фэйри. Марина Йео прочла Марвелла, но не от лица нимфы, а взывая к древу[153]. Рид и Брэйтуэйт вспомнили его же: о «растительной любви» и ее «безмерном разрастанье». Кроу взял Фредерику за локоток и указал вверх:

— Это лучше, чем в Лунном покое. Якопо, как я подозреваю, не был большим поклонником женского пола. Но здесь: посмотри только!..

Роспись изображала смерть Гиацинта[154] и была в сомнительном вкусе, если можно так

---

[152] Примечания: 152

Спасаясь от притязаний Аполлона, нимфа Дафна превратилась в лавровое деревце.

[153] Примечания: 153

Отсылка к стихотворениям Эндрю Марвелла (1621–1678) «Плач нимфы по возлюбленному фавну» и, вероятно, «Сад». Ниже отрывки из его же стихотворения «К робкой возлюбленной».

[154] Примечания: 154

Аполлон, влюбленный в прекрасного Гиацинта, случайно убил его во время метания диска.

объяснить неловкое чувство, находившее на большинство зрителей. Нагой, бледно-золотой солнечный бог с кудрями, красиво рассыпанными по узким плечам, раскинул руки то ли в ужасе, то ли в страстном восторге, склонясь над идеализированным, смуглым юношей, обмякшим, истекающим на алый песок еще более алой кровью. Кровь разбегается красивыми струйками и по краям лужиц уже расцветает гиацинтами, лилово-пунцовыми среди терракоты и шарлаха. Бог чуть склонил голову набок, словно созерцая дело своих рук. Веки его полуопущены, широкий рот приоткрыт и растянут углами вниз: высшая мука, а может, глубочайшее наслаждение. Абсолютное чувство, застывшее маской.

Кроу покрепче сжал ей локоть:

— Посмотри, какая линия. У Аполлона внутренняя линия бедра повторяет линии бедер мальчика. Посмотри, какое безмыслие в обоих лицах. А голова в луже крови — повторенные полукружия…

— Он мертвый, — сказала Фредерика. Почему-то важно было это сказать: Гиацинт мертв.

— Смерть и экстаз… Тогда эти образы заменяли друг друга.

— И сейчас тоже, — вставил Уилки. — Именно

так оно и выглядит. И смерть, и экстаз.

Уилки говорил с апломбом, и Фредерике не захотелось доискиваться, откуда он все знает.

— Обрати внимание: другая перспектива, — продолжал Кроу. — Там весь мир был заключен в ровно освещенном куполе. А тут пустыня, линия горизонта убегает за окоем, взгляд должен бежать следом. Тут нельзя застыть и вбирать… И в этой пустыне бесформенной — идеально сформированная центральная группа. Идеальная композиция. Видишь, капельки крови блестят у Гиацинта на боку? А теперь посмотри на лепестки цветов. Тот же очерк, только перевернутый. Тут пирамида, составленная из множества частичек, устремленных вверх или вниз, как эти капельки. Голова Аполлона — вершина, а дальше завитки волос, изгибы тел. Это аллегория: круг рождения и смерти под солнцем. Кровь каплет в землю, из земли вырастают цветы…

— Лазурная плоть, — произнес Уилки, снимая очки. — А поверх лазури — парадоксом — холодные красные оттенки.

— У него жестокий рот, — сказала Фредерика.

— Он был жестокий бог, — отвечал Кроу. — Мифы о нем жестокие. На десерт я вам приберег

моего Марсия[155]. И посмотрите еще на другие фигуры. Искусствоведы говорят, нимфы и пастухи. Крайне маловероятно, говорю я. Девы справа, в классическом хороводе, — девять муз. Слева — весьма двусмысленно скачущие — это посвященные, оргиасты, истязавшие себя во имя Гиацинта, Адониса, Таммуза. А всё вместе — символ бесконечности, удлиненная восьмерка, лежащая на боку. Проследите за линиями их рук, тел. Перекрест в центре, там, где тела Аполлона и Гиацинта почти… Видите? Почти соприкасаются. О, мудрый Якопо был причастен тайным знаниям и неоплатоническим мистериям! Аполлон здесь явлен как принцип порядка и хаоса, творчества и разрушения. И возрождения, разумеется, и всего прочего. Румяная плоть и твердый мускул.

— Что за намеки? — шепнул Уилки хихикнувшей Фредерике.

Александру и Дженни удалось задержаться под

---

[155] Примечания: 155

Сатир Марсий, искусно игравший на свирели, вызвал Аполлона на состязание. Судья, фригийский царь Мидас, отдал победу Марсию. Разгневанный Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, а с Марсия заживо содрал кожу и повесил у входа в пещеру. С тех пор шкура Марсия дергается и пляшет, когда послышатся звуки свирели.

странницей Луной[156]. В молчаливом согласии они стояли в противоположных концах комнаты, пока не вышел последний гость: Томас Пул обернулся к Александру, открыл было рот, но передумал и поспешил вон.

Александр стоял в оконной нише, глядя на травяной садик, на огород при кухне, на высокую ограду и лежащую за ней пустошь. На пустоши бродили овцы на острых копытцах, и ветер ерошил им шерсть.

— Дженни, поди сюда.

— Лучше ты поди и посмотри на эту кровать.

Они стояли рядом и скорбно смотрели на шелковый холм перин.

— Ты все говоришь: будь у нас постель… Вот тебе монструозная постель.

Александр кивнул. Их руки встретились в углублении Дженниной поясницы.

Так они стояли, сплетенные. Потом Александр сказал:

— Толкнуть бы тебя тихонечко на эту кровать. Взять твои ножки вот так, снять с тебя туфли, распустить волосы… раздеть тебя медленно-мед-

---

[156] Примечания: 156

Отсылка к шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра», где Клеопатра, скорбя по Антонию, говорит, что с его смертью под луной не осталось ничего достойного ее внимания.

ленно… раскрыть всю…

— И стоять, и смотреть, как я дрожу от холода на этой бескрайней равнине.

— Нет, нет! Я бы… я… — Написать это он мог, сказать — нет.

— Знаю, знаю. Мы столько раз это проходили, но так ничего и не сделали…

— Сделаем. У нас месяцы впереди.

— О нет! Либо сейчас же все разорвать, либо…

— Либо?

— Либо пожениться. Тогда мы бы…

— Пожениться… — Александр оглядел завесы балдахина. Подумал, что Дженни в семье, вероятно, была бы нехороша. Прижал ее к себе. Страшно боялся, что войдут. Грубовато потянул за сборчатую завесу. Поцеловал. Грянули шаги.

Они отпрянули друг от друга, и Александр, ткнув пальцем в потолок, сказал первое, что пришло на ум: «В серебряной упряжке ты возвращаешься в родной чертог»[157].

— Теннисон, — с нелепым заговорщицким смешком сказала Фредерика. — А я всю жизнь думала, что это не колесница, а просто статую везут на лафете. Вот глупость! Кстати, я пришла

---

[157] Примечания: 157

Из стихотворения Альфреда Теннисона «Тифон» (перев. А. Я. Сергеева).

за вами. Мистер Кроу хочет запереть это крыло и вести всех в башенку, где будет жить, когда тут поселят студентов. Он нам покажет, как он выразился, своего Марсия. Лично я не любительница экскурсий и не знаю, сколько еще вытерплю. В общем, вот.

Малое крыло, где обитал Кроу, хоть и не столь царственно великолепное, как главные покои, было все же роскошно. Кроу угощал труппу чаем в кабинете с деревянными панелями. Там царил сумрак, и прямой свет падал только на маленького Марсия, которого Фредерика поначалу приняла за странное дымчатое распятие.

— Тончайшее произведение Якопо и жутчайшее, — сообщил Кроу, упиваясь. — Это не Рафаэль, у которого Марсий, как скот домашний, растянут перед свежеванием, имеющим породить высокое искусство. Тут как у Овидия: мука на грани развоплощения. Тело ободрано, но еще мгновение сохраняет свою чудовищную форму…

Мохнатая шкура сатира лежала на земле. Сам он был голая плоть и сплетенные мышцы. Из них прыскала кровь, и то, что казалось твердым, как мрамор, оказывалось влажным, скользким, рвущимся — вот-вот осядет бесформенной грудой. Отшвырнутая в сторону, лежала свирель.

Неподалеку Аполлон бил по лирным струнам и улыбался страшной, пустой улыбкой.

Кроу приобнял Фредерику за плечи:

— Ну, что скажешь?

— Мне не нравится.

— Да, мучительная вещь и упоительная. Тут рождается новое сознание. Марсий крикнул Аполлону: *Quid me mihi detrahis?*[158] — «Зачем меня от меня отнимаешь?» А вот Данте мечтал быть так разъятым: *Si come quando Marsia traesti della vagina delle membra sue.* То есть: «Как в день, когда ты Марсия извлек и выбросил из оболочки тела»[159]. Снова метаморфоз. Из куколки тела вылетает сияющая бабочка души. Личинка, куколка, и вот — имаго, окончательный образ. Образ искусства.

— Отвратительно, — сказала Фредерика. — Не хочу искусства, если оно так мерзко. Спасибо,

---

[158] Примечания: 158

Фраза из «Метаморфоз» великого римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 18 н. э.).

[159] Примечания: 159

Отсылка к «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265–1321). Ее автор взывает к Аполлону со словами:

Войди мне в грудь и вей, чтоб песнь звенела,
Как в день, когда ты Марсия извлек
И выбросил из оболочки тела.

(Перев. М. Л. Лозинского)

не надо!

— Мой дивный дом по-прежнему тебя подавляет?

— Больше прежнего. Но мне стало интересно.

— Что именно интересно?

Фредерика задумалась, уже холодным взглядом окинув распятого сатира.

— Пока я не вгляделась, мне все казалось чудесным, но ненастоящим. А теперь чудесно, но слишком уж всерьез. И мне определенно нужно пройтись, чтобы остыть.

Кроу, смеясь, отпустил ее:

— Возвращайся непременно. Ты должна со всем этим сжиться.

14. Космогония

То, что в любой другой школе называлось бы больницей, основатели Блесфорд-Райд в натуралистическом задоре нарекли инкубатором. Заведовала им медсестра во всем крахмальном, белом и все же не вполне чистом. У нее был чепец, похожий на крылатый шлем, шеренга карандашей и ножниц в карманах на могучей груди и густые, седеющие усы. Для большинства недугов у нее было одно лечение: темнота и голод. Она называла это «дать отдых голове и желудку». Посидев так часок-другой, мальчишки обычно магическим образом выздоравливали и просились на волю. Маркус часто бывал здесь с астмой или мигренью. На волю он не просился.

После света в полях и беседы в лаборатории Маркус сделал слабую попытку стереть из сознания Бога и Лукаса Симмонса. Симмонсов трактат не читал; завидев в школе его самого, сворачивал в другую сторону. Через Дальнее поле ходил только в компании, иначе делал крюк. У него начались головные боли со вспышками света где-то сзади, не внутри и не снаружи. Трактат не выкинул, но запрятал в парту.

Однажды на уроке математики Маркус глянул в окно и увидел, как свет перебегает по кромкам лип, рядком стоявших вдоль горизонта. Глянул снова: свет сгущался и плясал. Какая-то птица взлетела, просыпав едкие искры. Зеленея, Маркус слепо сунул руку в парту, схватил трактат и попросился выйти: мигрень.

Медсестра понимающе цокнула языком, раскрыла прохладную постель на высокой железной койке, подождала, пока Маркус залез под одеяло, и, потянув за шнур, спустила зеленую шторку на окне. Деревянный желудь на конце шнура легонько рокотнул по подоконнику. В палате настал подводный полумрак, Маркус подтянул колени к подбородку и старался не глядеть на светлые прорезы по краям шторки. Сестра вышла, шелестя, и палата замкнулась.

Его посетили краткие видения. Стеклистый, отвердевающий свет набухал, и Маркус тонул. Потом он выл как зверь и цеплялся за серые, шерстяные колени Симмонса. Пытался вызвать другие образы, но все было зыбко, невозможно.

Медсестра, уходя, положила рукопись в тумбочку. Маркус повернулся, осторожно приподнял шторку на полдюйма и рукопись достал.

Элиот в свое время сказал о романисте Генри

Джеймсе: его ум настолько остер, что никакой идее не взять его силой. Таким умом Маркус не обладал. Впрочем, в каком-то смысле все идеи были для него равновесны. Истинность их его не заботила, он отзывался не столько умом, сколько особым своим восприятием связности, — квадратиками, как в шахматах, отмечал верные и неверные логические ходы. Если идея выражалась средствами языка, его восприятие притуплялось, логика зрительная или математическая была ему ближе. Вообще, как-то изначально чувствовал, что слова — знаки грубые, смысл передающие весьма приблизительно. Поэтому он скользил по страницам трактата, как в ранние свои, эйдетические[160] дни чиркнул бы взглядом по фотографии поля, улиц, отмелей на реке: нейронная разведка в помощь памяти. Маркус читал, не давая оценок, не зная книг, из которых Симмонс по кусочку собрал свою теорию Вселенной. Впрочем, все искупалось тем, что он читал, если можно так выразиться, самого Симмонса, его сокровенную суть. В этом смысле Маркус был единственным его читателем, хоть, в отличие от остальных героев этой книги, никогда не претендовал на

[160] Примечания: 160

Эйдетический — связанный со зрительным восприятием и зрительной памятью.

умение читать в людских душах.

Трактат начинался с описания взаимосвязанных сущностей (абстрактно именуемых организмами или организациями), из которых состоит бесконечность. Бесконечностей было три: Бесконечно Великая, Бесконечно Малая и Бесконечно Сложная. Последняя подразумевала некую градацию своих составляющих. Симмонс, например, писал: «Чем выше мы поднимаемся по Шкале Материи от минералов к растениям, от растений к животным, от животных к Человеку, а от него к существам еще более сложным, тем яснее становится, что корпускулы, составляющие материю, атомы, электроны, протоны, нейтроны, имеют склонность группироваться все более сложными способами во все более сложные Организмы.

В рассуждении сложности живой Организм превосходит неживой, поскольку клеточная организация сложней молекулярной. Следовательно, муравей превосходит физическую Сущность солнца.

На данной планете нет организма более сложного, чем человеческий мозг.

Организацию Жизни на Земле можно назвать Биосферой, чувствительной пленкой, растянутой

по твердой поверхности земного шара. Вкупе с Литосферой (каменной корой), Гидросферой (водным покровом) и Атмосферой (газовой оболочкой) она входит в число четырех составляющих физической планеты. Планеты Ментальной мы пока здесь не касаемся.

С тех пор как Зюсс[161] высказал, а Вернадский[162] развил мысль о том, что Биосферу следует рассматривать как целокупное живое существо, об этом говорили многие биологи и геологи.

Эта мысль идет вразрез с нашим примитивным представлением о стратификации мира, переворачивает с ног на голову нашу мегалантропическую[163], антропоцентрическую веру в Человека как высшую форму Бытия, данную нам в ощущениях. Если Биосфера есть живое Существо, то мы, люди, суть части ее физическо-

---

[161] Примечания: 161

Эдуард Зюсс (1831–1914) — крупный австрийский геолог, автор ряда знаменитых гипотез, систематизатор наследия мировой геологии. Геологический термин «биосфера» был предложен им в 1875 г.

[162] Примечания: 162

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) — геолог, минералог, биолог, мыслитель, общественный деятель, основоположник биогеохимии. Автор учения о биосфере и ноосфере.

[163] Примечания: 163

Мегалантропический — признающий за человеком первенство в системе бытия.

го организма или организации, причем столь малые, что по размеру и числу сопоставимы с клетками в организме человека.

Если гипотетически соотнести Человечество с мозговой тканью Биосферы, численное совпадение поражает. По существующим оценкам, в человеческом мозге около 3 000 000 000 клеток, что совпадает с предположительной численностью земного населения в 2000 г. Более того, в остальном организме насчитывается около 10 000 000 000 000 простых клеток. Столько же примерно многоклеточных организмов живет сейчас на поверхности Земли…»

Маркус с некоторым сомнением отнесся к Шкале Материи, зато ему понравилась идея, что он — лишь клетка в огромной взаимосвязанной системе восприятия. Так и расчерченный клетками окоем, и назойливый свет казались более выносимыми. Пропустив наиболее шаткие сопряжения чисел и аналогии между человеческими клетками и сотворением птиц и зверей, Маркус перешел к теории Ментальной эволюции, которая последует за эволюцией дарвиновской.

«Физическая поверхность, внешняя сторона материи, эволюционировала до тех пор, пока не возник человек. Со времен Дарвина ученые

искали доказательства продолжения эволюции и ничего убедительного не нашли. Причина в том, что человек как вид достиг пика самосознания и физического развития. Эволюция и борьба за существование переместились в Ментальную сферу. Следовательно, полностью развитая Биосфера заключена в еще более плотный слой Мысли. Это Ноосфера, Сознание Земли. Разумно предположить, что Цель Существования состоит в превращении Материальной Энергии в Ментальную. Следовательно, Человек, а следом все низшие создания превратятся в чистый Разум. Поэтому энтропия, то есть потеря физической планетой материальной энергии вследствие необратимого рассеивания тепла, сопровождающего любые преобразования материи, должна считаться не угрозой для существования, а свидетельством воплощения высшей цели, необходимой частью Замысла.

Разумно предположить также, что другие небесные тела и организации, данные и не данные нам в ощущениях, имеют свои Ноосферы или энтелехии[164]. Их слабые отражения мы видим,

[164] Примечания: 164

Энтелехия — понятие греческой философии, внутренняя сила, заключающая в себе и цель, и результат. Душа — энтелехия организма, живого только в сопряжении с душой.

возможно, в четырех зверях Апокалипсиса[165], в косноязычных описаниях ангелов, архангелов и пр. К. С. Льюис[166] посредством Научной Фантастики указывает на древний обычай давать имена языческих божеств, пусть ложноантропоморфных, Ноосферам других планет нашей Солнечной системы».

Когда речь зашла о Боге, Маркус понял, что тогда в кафе, назвав Его Гобом, Симмонс не пытался подделаться под некий подростковый жаргон, а хотел освободить от налета антропоморфности Вселенский Разум, Заполняющий Космос. В тексте он тоже был обозначен как «Гоб». Гоб был организатором всех организмов, создателем Замысла и Схемы, «реализуемой» в согласии с Законами.

В описании Гоба и его деяний разобраться было много сложней, чем в гипотезах о Биосфере.

«Каждое человеческое сознание может быть рассмотрено как некий аспект Гоба или Его ча-

---

[165] Примечания: 165

«И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему» (Откровение Иоанна Богослова, 4: 7 и далее).

[166] Примечания: 166

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) — британский писатель, поэт и светский богослов. Его перу среди прочего принадлежат «Хроники Нарнии» и «Космическая трилогия».

стица. Наши мировые линии[167] исчертили его, словно пестрый Тюльпан или рассветное небо, но Он не зависит от кратких мерцаний нашего бытия — это они без Него немыслимы. Цель Ментальной Деятельности существ человеческих, субчеловеческих и сверхчеловеческих в более полном осознании Гоба.

Замысел напрямую исходит от Гоба. Замысел — это Идея, завершенная и совершенная Идея Творца, воплотить которую стремятся все его творения. Схема определяет воплощение во Времени и Пространстве частей Замысла. Замысел и Схема соотносятся как мужское и женское. Он — утверждение и потенциал, она — отрицание и действие. Солнце — не матерь планет, одиноко порождающая их, а отец, оплодотворяющий Замыслом бесформенную планетную материю, лучезарный Свет с собственной генетической организацией».

Дальше шло несколько страниц с подробным изложением «научных фактов». Факты эти, касавшиеся роли белков как носителей информации, Маркуса смутили. Живые организмы содержат миллионы различных вариантов белков, однако

[167] Примечания: 167

В теории относительности кривая в пространстве-времени, описывающая геометрическое место всех событий существования тела.

это лишь ничтожно малая часть всех химически возможных белковых структур.

«Даже простая молекула белка, содержащая по одной молекуле каждой из 20 основных аминокислот, — восклицал Симмонс, — уже даст нам 2 400 000 000 000 000 000 возможных вариантов, причем это всё будут одни и те же аминокислоты, в том же количестве, различающиеся лишь своим пространственным взаиморасположением». Потом Симмонс перешел к генетическому коду, носителями которого являются яйцеклетка и сперматозоид (масса последнего составляет одну стомиллионную часть от массы человека). Рассказал, как из небольшого числа недифференцированных белковых соединений сперматозоида формируется такой сложный орган, как глаз. Маркус смотрел на цифры, но беспокоила его слабость логических связок. Потом он сосредоточился на панегирике Жизни как Космической Примиряющей Силы.

«Но сколь немногие знают свою истинную природу и призвание! Большинство людей едва перешагнули за уровень видового самосознания, характерный для прочих млекопитающих. Корова подобна механизму. Она может быть лишь тем, что она есть, воплощением Схемы „Корова“,

подразумевающей, конечно, минимальное самосознание. Трава, которую корова претворяет в материю собственного организма, самосознания не имеет вовсе. Долг же человека — бороться и воплотить свой потенциал. Рядовой человек за всю свою жизнь совершает, может быть, 10 000 поступков, целиком определенных его выбором. Сравнив это с 100 000 000 000 произвольных или рефлекторных действий, совершаемых его организмом за это же время, мы приходим к выводу, что свобода выбора всегда была доступна человеку в самой малой степени.

Высшая степень самосознания выходит, разумеется, за пределы возможностей отдельной личности или вида. Она доступна лишь сущностям, в полноте осознающим Схему Жизни, т. е. биосферам и проч.

Существование вне Жизни есть Схема, воплощенная без помех со стороны отрицающего действия. Существование в Боге есть Замысел, не воплощенный в материи. Жизнь — это реакция на утверждающий Замысел. Но существование вне Жизни — это утверждение: утверждается Земля, утверждается Солнце. Разница между уровнями сверхорганического качественно выражена в степени свободы, а та, в свою очередь,

заключена в способности создавать собственную Схему и самостоятельно утверждать, а не быть лишь отпечатком высшей сущности.

Именно потому, что Солнце реализовано меньше, чем Земля, оно свободнее в смысле утверждения. Галактика свободней Солнца, и подавляющая часть ее существования остается в потенциале».

Пробравшись через эти и подобные рассуждения, Маркус опустил шторку, свернулся в клубок и ушел в глубокий, без сновидений, сон. Засыпать по желанию, как и рассеиваться, он умел, сколько себя помнил. Когда он проснулся, теория Симмонса улеглась у него в виде схемы, безвредной схемы из кругов, верениц одноклеточных и мыслящего света. Подумав, Маркус решил ничего не предпринимать: если Симмонс прав, то ничего не понадобится.

Так и оказалось. Через три дня Маркус нога за ногу брел по галерее, когда перед ним мелькнул подол белого халата. Серые ноги, куда-то шагавшие, остановились. Маркус поднял глаза. Симмонс, суровый и розовый, жестом подозвал его. Маркус подошел.

— Вот мы и встретились. Прочел рукопись?

— Да.

— Значит, имеешь некоторое понятие о важности предстоящей нам миссии. Здесь нужно действовать очень умно. Часть миссии — выяснить ее суть и установить, какие формы сознания мы должны изучить. У меня готово несколько пробных схем. Подход будет эклектический: мы займемся традиционными созерцательными практиками и одновременно прямой передачей мыслей. Сперва между нами. Потом, может быть, через нас — напрямую в Ноосферу. Присядь, я тебе объясню. Первое, чему мы должны научиться, хоть это очень сложно, — это освобождать разум, опустошать его…

Маркус сел. Сложил худые ладони одна в другую и покорно склонил голову. Слова Симмонса все быстрей и обильней падали на благодарную, нетронутую поверхность сознания, слишком часто пустого и свободного.

Некому было оценить эту иронию: Маркус спасался от пустоты бесконечными речами Симмонса об очищении от мертвых слов. От тишины заслонялся восторженным лепетом учителя о тишине, которой они достигнут вдвоем.

Часть II
Цветистый сказ

«На заре года»
Газета «Таймс», понедельник, 6 апреля 1953 г.

Благодаря прихотям календарного цикла Пасха заняла свое изначальное, истинное место в году. Ведь 5 апреля по грегорианскому календарю (25 марта по юлианскому) — первый день Нового года Древних, славный день, ныне отмечаемый в основном лишь сотрудниками Налоговой службы. Древние символы наполняют новым смыслом первый банковский праздник в году. И пусть синоптики грозят нам ветром, снегом и бурей, сегодня англичанин оставляет позади зимние заботы. Единственный среди ежегодных праздников, этот день столь явственно знаменует разрыв со всем старым и отжившим. В этом он особенно отличен от Рождества, венчающего собой долгие недели приготовлений. К горожанину, по крайней мере, Пасха приходит вместе с открытием: в мире опять незаметно свершилось ежегодное чудо весны. Покинув улицы, где осень и зима тянулись так долго, что казалось, им не будет конца, горожанин выезжает на природу,

где все вокруг твердит о возрождении. Нарциссы кивают ему головками, на обочинах светло пестреют первоцветы, лопаются почки, птицы поют на все голоса. Жизнь, так долго пребывавшая в недвижности и мраке, пробуждается, бурлит, торжествует. Сигнал дан, и вот, в такт возрождению природы, меняется и наше бытованье.

«Старый» и «молодой» — понятия, неизбежно отражающие меру человеческой жизни. И это не бесплодный софизм, ибо все мы часть вечного круга перемен, за которыми наблюдаем, извлекая для себя нравственные уроки. С той поры, как человеку стали доступны абстрактные идеи, он видит в смене времен года аллегорию собственного бытия, но…

Гордыни нашей пышной срок недолог.
Взмахнет косою Время – и уже
Над нами Смерть раскидывает полог[168].

Конечно, Главк, сын Гипполоха, не был оригинален, когда под стенами Трои[169] столь изящно

---

[168] Примечания: 168
Здесь и далее строки из «Королевы фей» Эдмунда Спенсера.

[169] Примечания: 169
Отсылка к VI песни «Илиады».

сравнил людей с листьями, что опадают осенью и возрождаются по весне. Эту мысль ГОМЕР завещал ВЕРГИЛИЮ, ВЕРГИЛИЙ — ДАНТЕ, а тот — МИЛЬТОНУ. Чем больше мы всматриваемся в полустертые знаки доисторической поры, тем больше понимаем: изначальный человек не только верил, что разделяет участь зерна, упавшего в землю, — в мистическом смысле он сам был зерном, смертным и полным жизни, а значит, был и зеленым ростком, восстающим из земли на заре года. На этой идее выросли целые общества: пронизывая жизнь отдельного человека, она пронизывает семью, племя, нацию.

Этой весной древние образы встают перед нами во всем своем богатстве, ведь коронация для народа — праздник мистического обновления. Мы пережили хмурую, тоскливую зиму, омраченную природными бедствиями. И та особая сфера, где личность каждого отражена в личности монарха, тоже омрачена была недавней кончиной всеми любимой КОРОЛЕВЫ. Но вот приходит весна и снова учит нас, что все беды и потери преодолевает неистовая сила новой жизни. Мы, нация и Содружество наций, принимаем молодую Королеву как свою высшую представительницу. Освящая будущее древними образами,

мы провозглашаем веру в то, что жизнь восстает из смертной тени, что победу вырывают из лап поражения, что конечное превращение не обращает в прах наше краткое бытие, но раскрывает его глубочайшую суть, что

Без перемен живое не живет —
Таков закон. Но приглядись, мой друг.
Меняясь, мир лишь расширяет круг,
Исконный совершая оборот.
Кто, с каждым кругом боле совершен,
В пути даров не расточил своих, —
Не жалкая игрушка перемен,
Не раб слепой, но повелитель их.

15. Пасха

В тот год, состоявший из крайностей, Пасха причудничала, особенно на севере. На северо-востоке местами валил густой снег, в Страстную пятницу и Светлый понедельник прошел град. В Калверли и Блесфорде черная морось сменялась ласковым солнцем.

Участники пьесы на время рассеялись. Фелисити Уэллс оставила шить розетки для подвязок и занялась устройством пасхального садика в нефе церкви Святого Варфоломея. Александр купил подержанный серебристо-серый «триумф» и на нем укатил. Он купил еще пластинку, на которой Т. С. Элиот читал свои «Четыре квартета». Фредерика с неистовым упорством пополам с удачно разыгранным ученическим пиететом выцарапала ее себе на каникулы. Заводила ее без конца, в духе шаманского обряда, пока всех в немузыкальном семействе не довела до бешенства монотонными ритмами.

В Христов день Стефани решила пойти в церковь. Отыскала дома шляпку, чтобы соблюсти формальности: кругленькую, темно-синего бархата, с вуалькой. В шляпке, под пляшущим

багряным кружком зонта, твердо проложила путь по скользкой траве меж надгробий.

Не будь Дэниела, она, наверное, все равно бы пошла. Захотела бы порадовать Фелисити, побыть частью праздника. Ей нравились нарядные этапы прохождения года. В прошлые Пасхи она красила яйца пунцовой кошенилью и луковым золотом. Ездила в горняцкие деревушки, где в верхнем этаже пабов на раздвижных столах красовались корзинки с яйцами. Как только их не красили! Завязывали перед варкой в линючие тряпицы. Варили в подкрашенной воде, завернув в лист папоротника или вязаную салфетку. Кипятили вместе с яркими носками и старыми галстуками. Наведя воском рисунок, опускали в свекольный отвар и в синий отвар горечавки. Билл любил этот обычай, но на выстрел не подходил к церкви. Стефани принимала и то и другое.

Но в этом году было иначе, она была зла на Дэниела. Хотела посмотреть на него там, в церкви. В *его* церкви.

Он обидел ее. Огромной, Богу посвященной головой ткнулся ей меж колен и дрожал. Открыл ей свою страсть и прогнал, велел забыть. Затянул ее в чайный политес, в мертвые сказки, в церемонии, сделал так, будто она крутит динамо,

дразнит и не дает. Теперь он увидит ее в церкви и убедится в ее добропорядочности. Она увидит его и поймет, что все это смехотворно, и отряхнет прах тут же, за церковным порогом.

Девочка из ее четвертого класса протянула ей молитвенник. Стефани села сзади, прислонившись к колонне. Вошла мисс Уэллс. Шифон разных оттенков розы волнисто веял за ее круглой шляпой, потрепанной бабочкой трепетал на груди, выглядывал меж пуговиц серого габардинового пальто. Следом за ней вошли двое: Маркус и молодой мужчина, смутно знакомый Стефани. Вспомнила: это тот забавный биолог из Блесфорд-Райд, что на рождественской вечеринке в школе все приглашал ее танцевать и оставил отпечатки потных ладоней на спинке ее бледного вечернего платья. Симмонс с улыбкой отвесил общий поклон и подвел Маркуса к скамье: не то наседка с цыпленком, не то гофмейстер при юном принце. Стефани с изумлением увидела, что оба преклонили колена и перекрестились. Что это? И давно они так? Маркус, кажется, ее не заметил. Впрочем, тут ничего нового не было.

Орган засипел, забрался мелодией в высоту и с высоты рухнул. Вошел хор, кто маршем, кто шаркая. Пели резковато, но все смягчил густой,

недвижный воздух в сводчатых провалах потолка. С хором вошел грузный пастырь — Дэниел в белом стихаре поверх сутаны. Процессию замыкал мистер Элленби, собиравшийся проповедовать перед сбором денег.

Дэниел не разделял ликования хора. Сдвинув черные брови, он шагал словно на покаянное богослужение. Стефани различала его голос среди остальных: грубоватый бас, верный, но неслиянный. Дэниел, казалось, видел свою задачу в том, чтобы держать для остальных какой-то тяжелый, угрюмый ритм. Сама Стефани петь и не пыталась.

Дэниел не выглядел глупо — вопреки ее ожиданию, а может, и страху. Не было в нем и какой-то особенной, одушевленной энергии. Стефани пришла увидеть энергию в действии — Дэниела в молитве. Но он был всегдашний: черный, плотный, устойчивый, и батист стихаря казался жиденьким, ненужным, как глупый белый слюнявчик. От этой мысли она улыбнулась, и тут он ее увидел. Увидел и нахмурился еще сильней, и какое-то электричество пробежало в нем и сковало, и он отвернулся. Потом над воротничком и белоснежными сборками медленно поднялась красная и горячая волна, тень на щеках под-

светилась кровью, ползущей к скулам, ко лбу. Стефани почувствовала, что ее застигли в ужасной бестактности. Град, как камнями, застучал по витражным окнам.

Пели, подымались со скамей, становились на колени, возглашали, бормотали, каялись в грехах. Нелюбовь к христианству отвердевала в ней, как лед. Она поняла, что втайне надеялась прикоснуться к древнему, наследному. Легенда Рождества волновала ее. Когда пели «Придите к Младенцу, верные, с весельем»[170], и особенно на латыни, она сожалела, что ей недоступна вера и общность в Боге. Трудное рождение в мир, буря, золотые ангелы, поющие в снегу, слово в слове, бессильном промолвить слово, повитое мраком[171], — ей, которую плоский рационализм лишил света и жара, разлитых над Яслями, хотелось быть этому причастной. Но мертвец, с зарей проходящий по саду, был ей чужой. Паства полупела-получитала псалмы — звук то ноющий, то скребущий, как мелком чиркнули по доске, тоскливый, покорный, тусклый, давящий, английский. Стефани стало противно.

---

[170] Примечания: 170
Знаменитый рождественский гимн (*лат.* Adeste fidelis).

[171] Примечания: 171
Из стихотворения Т. С. Элиота «Стариканус» (перев. А. Я. Сергеева).

Возможно, это именно английская Пасха так нехороша. Нельзя английской весне привить кровавые радения изначального Востока и Бога растерзанного, как зиме привили северный праздник Солнцеворота, странствующую звезду, неувядающее древо, быка и ослика, сияющего гонца, до звона промерзшую землю. Пасха учит довременному, жаркому — что ей пушистые вербочки и желтые цыплята? Тут скорей родство с позабытым неистовством друидов.

Первое поучение прочли из Исхода: там был пасхальный ягненок, и Бог летел в ночи, поражая египетских первенцев и все первородное из скота. Там говорилось, как помазывать кровью дверные косяки, как заклать и испечь непорочную жертву.

Второе было из Откровения: Альфа и Омега, Первый и Последний. Сын человеческий бел, как белая волна[172], как снег, с очами, как пламень огненный, с ногами, как халколиван[173], раскаленный в печи. Ало-белая шерсть омытых кровью душ волновала тайной и коробила отвращением целые поколения англичан. Но это было чужое,

---

[172] Примечания: 172
Волна *(уст.)* — шерсть.

[173] Примечания: 173
Халколиван — неизвестный сплав на основе меди.

чуждое. Рождение — великое чудо, холодным умом выводила Стефани. Воскрешение, если верить в него, — чудо величайшее. Но кровь, что мы пьем, и Тот, кто в смутной, временной земной форме восстал из благовонного гроба[174], — к ним нет такой веры, в них нет такой надобы, как в ангельской песни, звучавшей при Рождестве Христовом. Да, у Зеленых Рыцарей[175] вырастали новые головы вместо срубленных и новая кровь пускалась вразбег по удивленным жилам. Христос у Ленгленда[176] сходит в ад, как любой герой в царство смерти, и возвращается невредим. Но это опять-таки Рождество.

Английская Пасха к очистительной крови хочет примешать молодой весенний сок, резвых ягнят Вордсворта[177], пушистых цыплят, выходящих из гладких, замкнутых яиц: живое золото из камня. Но английский разум втайне ужасают

---

[174] Примечания: 174

См. Евангелие от Луки, 23: 50 и далее.

[175] Примечания: 175

Вероятно, отсылка к анонимной поэме XIV в. «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь».

[176] Примечания: 176

Уильям Ленгленд (ок. 1331 — ок. 1385) — автор поэмы «Видение о Петре-пахаре», к которой отсылает здесь автор.

[177] Примечания: 177

Уильям Вордсворт (1770–1850) — крупный английский поэт-романтик, в стихах которого часто звучат мотивы познания себя через природу.

море стеклянное, яшмовая стена, белая шерсть, ноги из меди и трон в Новом Иерусалиме, куда весна никогда не придет, потому что нет там ни травы, ни зимы.

Викарий Элленби проповедовал по Евангелию от Павла. Он заверил паству, что без Воскресения не было бы Церкви и всех присутствующих ждала бы смерть вечная.

— По рассуждению человеческому, — мистер Элленби поправил очки и облизнул сухие губы, — когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем![178] Какое страшное речение! — Он ударил по каменной кафедре, словно разбивая его. — Страшное, если не знать *наверняка*, что Христос жив, что ужасные процессы естества остановлены, что мертвое сердце забилось и мертвые ноги пошли, что разложение задержано и обращено, и потому мы радуемся с

[178] Примечания: 178
1-е послание Коринфянам, 15: 32.

трепетом[179], ибо тоже обретем жизнь вечную.

Вокруг улыбались и кивали, и Стефани тоже улыбалась, проходя все ступени отчуждения — от неловкой неприязни до ледяной ненависти.

После службы мистер Элленби и Дэниел стояли в дверях и с каждым прощались за руку. Стефани понимала уже ясно, что приходить не стоило и что Дэниел знает, зачем она приходила: увидеть его в молитве. Она решила задержаться в церкви и переждать. Нерешительно подошла туда, где группка прихожан столпилась, ахая, перед пасхальным садиком мисс Уэллс.

Садик пышно вырастал из грудки любовно отобранных местных камней: известняка и гранита. Щели между ними были заложены влажной землей и покрыты живым мхом. Пещера-гробница имела вид квадратного вигвама из сланцевых пластинок. Внутри льняные носовые платки, тщательно свернутые, а потом слегка развитые, изображали сброшенные погребальные пелены.

---

[179] Примечания: 179
Ср. 2-й Псалом Давида:

> *Служите Господу со страхом*
> *и радуйтесь (пред Ним) с трепетом.*
> *Почтите Сына, чтобы Он не прогневался,*
> *и чтобы вам не погибнуть в пути вашем;*
> *ибо гнев Его возгорится вскоре.*

Снаружи фарфоровый ангел с серебристым проволочным нимбом как-то неуверенно склонялся над веточкой боярышника, сложив руки не то в молитве, не то в приобщении тайне. Наверху каменной горки стоял Христос, тоже фарфоровый, в бледно-голубом, и благословлял воздух бескровными руками. Мария Магдалина в одеждах густой синевы подымалась к нему по тропинке из отрезанных цветочных головок, пестрых первоцветов и лиловых обриет. Вокруг зеркального прудика кусточками торчали цветы весенние: подснежники, белые ветреницы, синие акониты. Их стебельки, окруженные ватным снегом, уходили меж камней вглубь, в баночки от паштета. Голубые пролески ростом больше самого Христа нависли над ним и кивали, раскрыв венчики, словно рты. Стефани вспомнились куклы из «Двух вредных мышек»[180]: как они сидели, прислонясь к комоду, и все улыбались, улыбались… Дети уже разложили вокруг садика приношения. Скорлупки от яиц ржанки, дрозда простого и черного, несколько самодельных цыплят-помпончиков с колючими проволочными лапками. Мисс Уэллс, как давеча, умоляла Стефани пою-

[180] Примечания: 180
Сказка Беатрикс Поттер.

хать первоцветы. Стефани снова ощутила чистый запах меда, вина, холодной земли.

Новый голос напомнил о тревожной мысли. Лукас Симмонс просунул плечо рядом с ней, потом просочился весь. Поблагодарил мисс Уэллс за дивный садик так, будто она устроила все для него лично, поздоровался со Стефани, сказал, что служба была очень радостная.

Стефани нечего было ему ответить. Симмонс улыбался неиссякаемо, под стать фарфоровому Христу. Она ненароком встретилась взглядом с Маркусом. Как Дэниел покраснел давеча, так Маркус побледнел и стал крутить ткань на брючине. Стефани вдруг осознала, что ее брат по собственной воле проводит время с другим человеком — впервые за пугающе долгое время. И он что-то делает — что-то не входящее в его вседневный распорядок. Такого не было с тех пор… с тех пор, как он играл Офелию.

— Пасха — время торжества, — говорил Симмонс. — Церковь никогда не понимала до конца вселенское значение Пасхи. Именно она, а не Рождество, как безграмотно полагают наши священники, есть главный праздник истинного календаря. В Пасху — как прелестно символизирует этот садик — мы празднуем наше единство

с растительным миром, с травой, восстающей после косьбы, с новым урожаем, восстающим из летошних семян. Мы празднуем вечность Духа и вечность Вида, уверенность нашу в победе. В Пасхе есть радость для обычного человека, даже для тех, у кого иная вера и обряды иные. Человек должен отправлять веру в том времени и месте, где ему суждено было оказаться. Я раньше вас здесь не видел, мисс Поттер.

— Я… я сюда не хожу.

— Рад вас видеть здесь по такому поводу. — Симмонс говорил так, будто церковь была его. Этот его новый жреческий тон ничего общего не имел с его спотыкливыми попытками болтовни на новогодней вечеринке в Блесфорд-Райд.

Стефани подумала, что нужно бы что-то сказать Маркусу, чтобы естественной показалась их крайне странная встреча. Но тут вмешался Симмонс:

— Все, Маркус, ноги в руки. Работа не ждет.

— В Пасху — работа? — укоризненно воскликнула мисс Уэллс.

— Во имя Божие. — Симмонс склонил голову и стал подталкивать Маркуса к выходу. — Во имя Божие.

Стефани огляделась и увидела, что, кроме нее

и мисс Уэллс, в церкви почти никого не осталось. Она поспешила к выходу.

У дверей ожидали викарий и курат. Элленби взял ее ладонь в обе руки:

— Очень рад вас видеть… Надеюсь… — Фраза подвисла.

Дэниел протянул неподвижную ладонь, коснулся ее руки:

— Доброе утро. — Он заглянул в церковные двери, надеясь, что выйдет еще посетитель. Никто не выходил. — До свидания.

Дождь перестал. Стефани брела через церковный двор меж зеленых холмиков и покосившихся могильных камней. Остановилась взглянуть на букет нарциссов в начищенной металлической вазе среди мраморной крошки. Трава, нарциссы, тисы, мертвые, Маркус.

Стефани задумалась: наверное, ей следует радоваться, что у Маркуса появился друг. У Маркуса никогда не было друзей, он никого не приводил из школы. В их мрачном доме это проходило незамеченным, как и ее с Фредерикой нежелание приглашать подруг. Хотя подруги имелись. Стефани с ее мягкой манерой была довольно популярна и даже ходила в девичьи скаутские походы. У Фредерики вспыхивали страстные

дружбы с девочками много моложе или много старше, кончавшиеся внезапным охлаждением, резким отпором, катастрофой. Но отец был непредсказуем, что исключало всякие приглашения. Отменный педагог, он мог под видом душевного интереса учинить гостю допрос в сократовском вкрадчивом стиле. А мог, сотрясая хлипкие перегородки, заорать, что это невыносимо, что ему необходима тишина для работы, но всем, по-видимому, на него плевать. Или еще хуже: «Если тушеное мясо подают третий раз на неделе, хозяйка должна быть готова, что в нее этим мясом запустят!»

Что касается Уинифред, то она, кажется, считала, что их «семейная жизнь» глубже и значительней, чем какие-то визиты.

Стефани подумала: а ведь я не знаю, каким Маркус бывает с другими мальчиками. Потому что я его с ними никогда не видела. И даже если странный учитель в него слегка влюблен — это все же почти лучше, чем ничего.

Но вот эта фраза: «Во имя Божие» — ей не понравилась. Определенно не понравилась: что-то было в ней аляповатое, хвастливое, снисходительное. Она могла бы посоветоваться с Дэниелом, так бы и сделала, не встрянь между ними желание.

Ей, против обыкновения, сделалось себя жаль. Она не просила Дэниела Ортона краснеть, впадать в жар и нелепость, читать ей нравоучения. Она ужилась бы с его верой, если бы он так на нее не давил. Он ведь ей нравился, а теперь все испорчено. От этого и от мысли о Маркусовом одиночестве ей захотелось вон из Блесфорда. Ей ведь предлагали остаться преподавать в Кембридже. Ходила бы сейчас по лощеным коридорам Ньюнэм– или Гёртон-колледжа, обсуждала бы просодику Китса и как уберечь блестящих первокурсниц от их же шаловливых натур.

Она могла бы выйти замуж за любого из пяти или шести — или их было больше? — молодых людей, сватавшихся к ней. Были среди них будущие профессора и чиновники, учителя и секретари городских советов. Был даже мелкий землевладелец со старинным «роллс-ройсом» и, как он выразился, древним памятником архитектуры, которому нужна хозяйка.

Она вернулась в мрачные свои пенаты, потому что настоящая жизнь есть терпение и стойкость. Но вот Маркус терпит, а разве это у него настоящая жизнь? Может, она просто зарывает свой талант в жирную блесфордскую землю?

Приходилось признать, что она сбежала и от

тех молодых людей. Слишком уж она радовалась, выбираясь из их постелей. Долго она бы так не выдержала. Но нельзя же всякий раз отказывать мужчинам в том, что им, по-видимому, необходимо. Ей казалось, что ее используют — по ее же вине. И если у Маркуса какой-то чудной «роман» с учителем, остается надеяться, что ему хоть капельку хорошо. Хотя это до ужаса маловероятно.

Тут оказалось, что она наполовину обошла церковь и стоит под стеной ризницы, возле бочки для дождевой воды и компостной кучи, состоящей из мертвых венков и поблекших букетов. Навстречу ей шагал меж могил Дэниел, уже разоблачившийся из стихиря. Остановился в нескольких шагах, повелительно спросил:

— Ищешь кого-то?

— Нет, просто брожу.

— Зачем ты пришла?

— Не знаю. Хотела увидеть, что это такое.

— Довольна теперь?

— Довольна?

— Увидела, *что это такое*?

— Я не знаю. Не знаю… Мне не понравилось.

— Думаю, ты этого ожидала.

— Мне все показалось таким ненастоящим. Ужасно. Рождество для меня что-то значит, даже

если я… Но это… У Рождества своя правда.

— Правда не бывает твоей и моей, — жестко сказал он. — Это абсолютная категория. Хоть Рождество, хоть Пасха. Либо они были, либо нет, либо ты веришь, либо нет. Это не сказки, не умные метафоры и не фольклор. И ты это знаешь. И ни во что ты не веришь, и не надо было тебе приходить.

— Нельзя гнать всех, кто во что-то не верит. Ты в церкви один останешься.

— Об этом позволь судить мне. Да и говорю я не всем, а тебе лично. Ты зря пришла.

Он смотрел под ноги, на кочковатую, покрытую травой землю. Руки сцепил за спиной.

— Если ты хочешь сказать, что я пришла из-за тебя… Даже если пришла… то чтобы увидеть, во что ты веришь. Попытаться понять. Что в этом плохого?

Дэниел ссутулился, словно у него свело шею.

— Да хорошего мало… Ну и как, поняла?

— Нет.

У нее внутри какой-то лед тяжело тянул вниз. Деликатность и трусость — самое обычное сочетание. Из-за них она всю жизнь лезла вон из кожи, только бы не задеть чьих-то чувств, не оскорбить убеждений. Но с ним — нет. И она

продолжала с ядом в голосе:

— Нет. Если хочешь знать правду, когда я пытаюсь отнестись к этому серьезно, мне делается мерзко. Кровавая жертва в розовых ленточках. Сказка, ни один историк таких доказательств не примет. И все это слащаво, приторно до ужаса. Вот тебе правда.

— Ну что ж, — медленно проговорил он. Лицо его потемнело и замкнулось. — Ты знала, что именно так и будет. И я мог тебе заранее сказать все, что ты тут произнесла. Зря ты пришла.

Тут уж рассердилась она:

— И это все? Ну да, конечно, ты же всерьез меня не воспринимаешь. Тебе все равно, что я думаю, какие уж тут дискуссии. Ты себя так ведешь, будто я какая-то соблазнительница. Будто все это — путаницу, стыд — устроила я. Как будто я твой грех. Так вот: я не…

— Хорошо. Ты права. Беру все обратно. Это я виноват. Потому что промедлил. Надо было в самом начале все прекратить, а я промедлил. Просто со мной раньше такого не было. Я не понимал, что происходит. А теперь понимаю. Теперь я справлюсь, справлюсь.

— А мне что делать?

— Забудь это все. Иди домой.

Он что-то обдумал, потом сказал увесисто и тепло, утешая себя и ее, что было, конечно, бесполезно:

— В другой раз я замечу вовремя. Должен быть момент, когда все можно остановить. Главное — его не упустить. Должен же быть такой момент…

Она тоже промедлила. А потом дала волю резким словам и резким чувствам. Она всегда так тщательно подавляла гнев, что любой взрыв ужасал и восторгал ее. Теперь она совершила двойное святотатство: ранила Дэниела и изменила своей спокойной манере. А он попросту до нее не снизошел. Гнев снова захватил ее, и — вот странно — ей захотелось тронуть Дэниела, подразнить, разбередить. Он, конечно, прав, а ее поведение непростительно — и все же она шатко шагнула к нему через подстриженный могильный холмик и сердито, отчаянно дернула его за сцепленные руки. На мгновение ей четко представилась его голова, вжатая ей в колени. Дэниел рывком освободил руки.

— Если так и дальше пойдет, мне придется отсюда уехать. А я не хочу. Неужели непонятно?

— Ты себя так ведешь, будто меня нет.

— Я бы предпочел, чтобы тебя тут и не было.

— Ты не лучше меня. Зачем ты ко мне подошел?

Оставил бы все как есть!

— Я хотел со всем разделаться, — сказал Дэниел, не очень-то веря своему твердому голосу. — Я молился, думал, и я понял: это за то, что я о себе возомнил. Решил, что мне это нужно меньше, чем остальным, — собственные желания, секс и прочее. Я был глуп, и я промедлил. Но теперь все.

— Ты отвратительно заносчив и зациклен на собственной персоне.

— Ты мне это уже говорила. Может, мы два сапога пара. И все же я имею право спросить: чего именно ты сейчас добиваешься? Почему не уходишь?

— Я тебе сказала.

— А я ответил, что ты пришла зря.

Она повернулась и быстро пошла прочь.

Дэниел, который сказал то, чего говорить не собирался, который не молился и не думал ни о чем таком, Дэниел, который до сих пор трудно дышал от внезапной встречи, чуть было не прорычал ей вослед: «Стой!», но опомнился. Пускай идет… Сжать бы ей плечи и трясти, пока зубы не застучат, а потом ударить вон о тот тис… Дэниел поддал ногой прошлогодние листья, потом пинал ржавые проволочные венки на компостной куче, подкидывая вперемешку с мусором мертвые,

кофейного цвета нарциссы, гниющие пятнистые розы, жухлые ирисы. Его добротные башмаки намокли, покрылись грязью и мертвыми липкими лепестками. У ворот она обернулась и увидела, как он мрачно и основательно втаптывает в землю мертвые стебли.

16. Гипнагогия

Сон, размываемый влагой, оборвался, и Стефани услышала какой-то влажный звук. Во сне была голая комната — дощатый пол да штукатуренные стены. Стефани стояла возле столярного верстака и объясняла кому-то, пребывавшему за самым краем зрения, что дом построен очень хорошо, очень добротно. Оконницы были прошпаклеваны, но еще не покрашены. Свет в комнате был солнечный, но за окном небо кипело ночное, беспокойное. А потом постепенно она поняла, что это не небо, а море пухнет, громоздится выше дома, тяжело перекатывает волны с черной пеной. Стефани подошла к окну и увидела, а может, осознала то, чего увидеть оттуда не могла: дом стоит на дюне и море уже выело из нее огромный полукруг. Внизу было светло от окна, песок отпадал большими влажными ломтями, рассеивался в воде, вихрился в ней, как желтоватый туман. Непрекращаемо шлепались песочные комья, плескали волны, зловеще скрипело дерево. Стефани сумела проснуться за миг до того, как стронулся дом. Это похоже, подумала она, на сны, где выпадают и крошатся зубы. Ей было гадко,

что сон навязал ей библейскую метафору, да еще так явно связанную с ее жизнью… Но звук, звук не утихал: влажный звук и скрипы.

Ее комната была рядом с комнатой Маркуса, их изголовья разделяла только стена. Звук длился, и она пошла посмотреть. Под Маркусовой дверью виднелась полоска света. Стефани постучала, Маркус не ответил. Она потрогала ручку, не заперто. Вошла.

В комнате горела прикроватная лампа, Маркус лежал на кровати ничком. Звук оказался долгим булькающим рыданьем вперемежку с поскрипываньем кровати. Стефани позвала Маркуса шепотом. Он не отозвался. Она на цыпочках подошла поближе.

Голова у Маркуса перекатывалась из стороны в сторону, глаза были зажмурены крепко, как от солнца, брови сведены, рот распахнут. Лицо все мокрое, и мокрая подушка. Вот брызнули еще слезы из-под век и потекли в рот. И волосы мокрые.

На полу у кровати были веером разложены листки с геометрическими чертежами и мелкими, неловкими, как из палочек, человеческими фигурками, домиками, деревьями, соединенными разноцветными стрелочками и штришками. Тут же лежало пособие под названием «Гипнаго-

гия». Стефани бумаг не тронула, а коснулась его плеча. Маркус не проснулся и плакать не перестал. Тогда она присела на кровать, подоткнула ему одеяло до подбородка и стала тихо гладить по голове. Наконец он закрыл рот и затих. Тяжело вздохнул, рывком подтянул колени, перевернулся на живот, уткнулся в подушку и, казалось, погрузился в недвижный каменный сон. Стефани еще посидела немного и пошла к себе.

Спустя две или три ночи она услышала тот же звук и опять нашла Маркуса в освещенной комнате, плачущего во сне. Следующей ночью звуки были другие: какая-то возня, потом глухой стук. Стефани ждала рыданий, но через какое-то время раздались мягкие шаги Маркуса и звук открываемого окна. Она подошла в темноте к своему окну и в темном саду увидела на лужайке и асфальте прямоугольный отсвет. На светлом фоне возник силуэт Маркуса, и она испугалась, что он выпрыгнет или упадет. Но вот он отошел от окна, и свет погас. Стало слышно, как Маркус осторожно спускается по лестнице. Стефани вернулась к окну. Вскоре она различила у садовой калитки сгорбленную неподвижную фигуру в дождевике. Неизвестный человек с лицом, белым от луны, ждал. Стефани тоже ждала. И вот,

держа в руке ботинки, вышел Маркус и прошел по клумбам в носках — на спине не то горб, не то какая-то ноша. Встретившись, двое тут же, без слов и жестов, повернулись и канули в темноту.

Стефани вошла в комнату Маркуса. Кровать была опрятно убрана, на тумбочке лежала очередная книжка про отважного пилота Биггльза — «Биггльз в лунном свете». Больше ничего. Бумаги исчезли, ни открытых ящиков, ни брошенной пижамы. Почему-то не уходил страх, что Маркус лунатик, хотя ясно было, что это не так, что был уговор, сигнал, встреча, к которой он подготовился.

Она не слышала, как он вернулся, но утром он, нехорошо бледный, сидел за завтраком. Выпил чаю, есть не стал. Она ничего не сказала.

Симмонс окреп в своей новой роли и сделался изобретателен. Все события Маркусова сознания и его собственного по возможности фиксировались и заносились в каталог. Сны, видения, периоды медитации, встречи с людьми — все записать, чтобы потом выделить совпадения и на них сконцентрироваться. Он часто повторял, что предмет эксперимента им в точности не известен и потому нужно раскидывать сети как можно шире, а плести их как можно мельче и

разнообразней, чтобы ни одно знамение, ни одно послание не проскочило.

Для Маркуса, отягощенного фотографической памятью и осаждаемого остро сверкающими, грозящими, многосмысленными предметами, это обещало стать и во многом стало тайной пыткой. Раньше он умел свести день к геометрии, к наложениям и пересечениям черно-белых сеток из нитчатых мыслей, которые безопасно было думать, как безопасно шагать по трещинам в тротуаре. Теперь дни взрывались цветастой фантасмагорией ковров, велосипедов, лавровых кустов, флюгеров, полицейских, ангелов, авиаторов. Все они, черно-синие, золоченые, лиловато-розовые, крапчато-лаково-зеленые, могли оказаться посланцами небес, инфернальными знамениями, символами божественной Схемы, которые, если приглядеться, явят невооруженному глазу — его, Маркуса, вещим стереоскопическим глазам — свой внутренний строй или весть. Весть, бурлящую кодированными сущностями, молекулярными, генетическими, термодинамическими, что, подобно Неопалимой купине и

Господу, увиденному сзади[181], дадут ему ключи к вечным истинам, которые, возможно… нет, которые наверняка просветят и преобразят его, Симмонса, Блесфорд, Калверли, Англию, и кто знает, что еще.

От ужасающего сияния, от бездн, разверзавшихся в вещах и сущностях, отчасти спасало то, что все это Маркус записывал. Одержимое писание стало частичной заменой геометрическим изяществам, ограждавшим его от видимого и невидимого до появления Симмонса. Описать или даже нарисовать значило нейтрализовать их, заземлить в смысле, Симмонсу непонятном: для него они обретали жизнь и значимость только на бумаге. Симмонс рисовал профессионально, с изысканной, тонкой детальностью. На фоне его рисунков Маркусова примитивная мнемоника, палочные человечки, чертежи разрубленных туш и завихрений в раковине казались каракулями или яростным волховством довременного

[181] Примечания: 181

В Книге Исход Бог говорит Моисею: «…вот, место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо [тебе]» (Исход, 33: 21).

существа из пещеры много постарше Ласко[182].

В течение двух или трех дней им казались важными перемещения стай скворцов, свиристевших, резавших воздух, перетекавших по жемчужно-сизому небу той переменчивой Пасхи. Маркус постарался расходящимися лучами из точек и галочек отметить, как они прилетают и улетают. Симмонс клеевой краской изобразил в духе Питера Скотта[183] стаю настоящих скворцов, выводящую круг на фоне киноварно-синих облаков, похожих на конские гривы. Оба они пришли в радостное волнение, когда приведенная к масштабу и наложенная на рисунок Симмонса Маркусова схема замкнула его в образ колеса. Потом Лукас дал ему почитать книгу о социальном поведении жаворонков. Маркус смотрел в Дальнем поле, как жаворонки скачут, посверкивают, достают из земли тягучих, пружинистых червей, — и хотел, чтобы все это кончилось и его отпустили.

Одновременно Симмонс приступил к подробно-

[182] Примечания: 182

В пещере Ласко во Франции на стенах сохранились исключительные образцы живописи позднего палеолита.

[183] Примечания: 183

Сэр Питер Скотт (1909–1989) — крупный британский орнитолог, талантливый художник-анималист, предпочитавший синие и зеленые тона.

му изучению визионерской (или психосоматической, или духовной) истории Маркуса. Тут он был совсем другой, чем когда нервно-вопросительно пытался причаститься Маркусовых видений. Тут они сидели по разные стороны стола. Маркус пересказывал то, что всплывало в памяти, Лукас записывал. Так он выудил подробное описание рассеивания, математических ландшафтов, Офелии с ее смятыми венками, некоторых запретных аспектов водопроводов и лестниц, приступов астмы, когда клетка из миллиметровой бумаги сжимается и к воздуху подмешивают эфир.

Маркусу не очень-то нравилась манера Симмонса во время этих, как он их втайне называл, допросов. Он настолько не привык доверять, что теперь старался довериться целиком, принять один-единственный авторитет так же полно, как отвергал все остальные. Были у него и другие причины верить Симмонсу, о которых речь пойдет ниже. Перемены в личности Лукаса он принимал, считая необходимой частью новой жизни или условием человеческой близости, которой он раньше всеми силами избегал. Взгляни Маркус глубже, он понял бы, что, живя с Биллом, попросту привык к любым капризам поведения и темперамента.

Так или иначе, он был плохой знаток душ и не имел слов, чтобы эти перемены обозначить. Он просто видел их как разные лики Лукаса.

Лик для геометрических медитаций имел форму скругленного квадрата. Под взъерошенными светлыми, словно пылающими, кудрями смотрели на мир большие глаза. Рот был подвижный, он часто бывал приоткрыт, но никогда не застывал в одном положении. Этот лик был красен и блестел капельками пота.

Лик для допросов был заметно длинней, смуглей, темней, тверже, со сжатым в комок ртом, сощуренными глазами. Волосы были глаже и тоже темней. Общее выражение — презрительного недовольства. Первый Лукас умолял: расскажи, что видел. Второй будто выплевывал свои лаконично-повелительные вопросы, постоянно постукивал карандашом по зубам, ответы встречал скупым «гм» и «да», отрывистым, как немца в кино. Этот Лукас периодически спрашивал что-то об Уинифред и Билле, интересовался, помнит ли Маркус свое рождение, бывают ли у него «фантазии», «экспериментирует» ли он с собой. Маркус имел основания думать, что эти беседы мало удовольствия доставляют Лукасу: не желая говорить об отношениях с людьми, маль-

чик просто молчал и непонимающе глядел на учителя, а поскольку тот не торопился пояснить, какие именно эксперименты его интересуют, Маркусу и тут удавалось изобразить туповатую невинность. Вопрошающий Лукас капал ядом, думая, по всей видимости, что Маркус все делает нарочно. Вылазки Лукаса в эту область обычно заканчивались явлением одного из его более доброжелательных ликов. Маркус, все быстрей овладевавший навыком этой игры, сперва наводил Симмонса на неудобные вопросы, а потом онемевал, дожидаясь перемены лика.

Был ведь еще и третий Лукас — как минимум третий, — чье присутствие заметно осложняло работу первых двух. Этот третий возник, когда у них не заладилось с одинаковыми видениями скошенной травы. Такое не могло быть совпадением, попросту не могло, возбужденно твердил Лукас. Если в марте двое ни с того ни с сего увидели бескрайние скошенные поля, значит это предначертано. Но предначертанные образы не поддавались ни толкованию, ни развитию, и наконец Лукас объявил, что они устали и можно выпить чаю. Лукас чайный и Лукас, варящий кофе, а потом какао, составили третий лик: веселый, обычный, чуть склоненный набок в ожидании

невинных сплетен. Этот Лукас был заботлив и деликатен, у него всегда были наготове огромные, липкие цукатные кексы, сэндвичи с сардинкой и огурцом, поджаренные булочки с изюмом и темы для всевозможной болтовни. У Бэрроу-младшего ужасные прыщи. Пятому классу достанется в этом году на экзаменах. Эдмунд Уилки плохо влияет на всех вокруг. Александр Уэддерберн в преддверии славы совсем забросил работу. Этот Лукас, добродушный, болтающий, опекающий даже чрезмерно, предлагал Маркусу молоко и мед, яблоки и орехи — приятный перекус, перешедший позже в тайные пиры в комнате учителя.

Пиры начались, когда Лукас завладел временем и пространством. Сначала он подчинил себе дни Маркуса, и его ночи сделались еще тяжелей. Утешительно было рассказывать Лукасу по вечерам о маяте с неприкасаемыми предметами, особенно если беседа сопровождалась чаем с пышками, но за эти вечера Маркус платил кошмарами. Об одних он рассказывал учителю, например, когда ему приснилось, что он запущен кем-то вращаться посреди Вселенной, а от его пальцев тянутся нити, и от этого он сперва превращается в свастику, а потом в механизированный кокон в центре паутины, которая, соединяя Вселенную, удушает

его самого. О других — нет: вот он вверх ногами (что особенно мерзко) подвешен к шляпке огромного гвоздя, и всякий раз, как он готов подняться, возникает Симмонс и бьет, бьет его по голове. Лукас объяснял, что, поскольку они с Маркусом все больше упорядочивают его дни, враждебные силы пытаются проникнуть к нему ночью. Но дисциплина и самоконтроль — лекарства практически универсальные. Маркус должен научить себя просыпаться через короткие интервалы, чтобы не дать кому-либо или чему-либо даже временно завладеть его ценнейшим сознанием. Проснувшись, он должен записать, что видел во сне. Маркус попробовал так сделать и начал просыпаться, мокрый от слез, а иногда и не только, физически неспособный шевельнуть пальцем, не говоря уж о том, чтобы что-то записывать. Ему снились вместилища: реторты, пробирки, декантеры, полные влаг летучих, изменчивых, — и все рвалось, дымилось, расплескивалось. Лукас снова пришел в возбуждение и сказал, что ему тоже снились стеклянные емкости, но они были неподвижны и медленно заполнялись жидкостью. И добавил, что если наблюдать ночью, как они наблюдают днем, то можно взять под контроль…

Маркусу приснился павлин, с ужасными кри-

ками бьющий о камень какую-то стеклянную коробочку, как дрозды разбивают раковины улиток. Лукас сказал, что это обнадеживает, и даже очень обнадеживает: он почти уверен, что павлин — какой-то алхимический символ, а стекло может означать разбивание яйца. Маркус заметил, что, разбив раковину, дрозды улитку съедают. Лукас отвечал, что Маркус сам как улитка: прячется в себе, черт побери, и не хочет взглянуть на мир, доступный только его зрению. Маркус сказал, что, если улитка выглянет наружу, ее съедят еще быстрее, чем ту, что дремлет в домике. Он бледно улыбнулся своей полушутке. Лукас подбодрил его: «Выше нос, старина, сегодня ночью я буду у тебя в саду, клянусь всеми ретортами в мире. Мы будем вместе наблюдать, и молиться, и обретем — вот увидишь».

В первую ночь горсть гальки, брошенная Лукасом, грянула в стекло одновременно со взрывом у Маркуса в голове: темная, одуряющая жидкость разнесла огромную бочку и, клубясь в воздухе, затянула все мраком, как осьминожьими чернилами. Он поспешно поднялся, слепо выбежал в плаще поверх пижамы и с размаху налетел на своего друга. Лукас удержал его за плечо. Маркус был в ярости:

— Больше не смей! Не смей греметь так, или я… Если ты не можешь разбудить меня мыслью, а я тебя, значит все зря.

Лукас что-то покаянно бормотал и растерянно похлопывал его то по плечу, то по спине. Он провел Маркуса темным Дальним полем, выравнивая извилистый курс, поддерживая под руку, направляя. Потом в темный ход у железной дороги, рядом с Учительским садиком. Не вполне себе веря, он радостно твердил Маркусу в ухо, что Дальнее поле — поле силовое, он сам явственно почувствовал, как двигалась почва под ногами.

Когда дошли до освещенного Пантеона в его монастырской галерее, Симмонс резко отпустил Маркуса и взворошил волосы в свой обычный невинный ореол. Потом он отпирал разные стеклянные двери, потом они с Маркусом тихо шли темными коридорами, потом мимо знакомых витрин, являющих пути муравьев и червей, и, наконец, последняя дверь — и тесная квартирка Симмонса, ярко освещенная и жарко натопленная. Она находилась в башне, противоположной башне Александра, и была обставлена похоже, только картины и вещи были Симмонса. Там было несколько неплохих фотографий: корабли с пенным раскидистым следом за кормой, чайки

на вспаханном поле. Большая тусклая репродукция Дали, «Христос Святого Иоанна Креста», над камином — там, где у Александра, скорчившись в му́ке, лежала Данаида. Два аквариума с саламандрами и водяной чумой. Репродукция тибетской мандалы из музея в Дареме.

Комната пахла мальчишеством. Пропитавший все запах резиновых подошв, потных носков и фуфаек, волглой шерсти и земли был так привычен обоим, что никто ничего не сказал, но Маркусу стало спокойней. Перед камином лежал шведский тряпичный коврик в радостных первичных цветах: алый, лимонный, зеленая бирюза. На креслах лежали твердоватые думочки тех же цветов, но другой материи. Симмонс явно подбирал одно к другому, но оплошал: Маркус беспокойно переводил взгляд туда-сюда, пытаясь уловить некий баланс, читаемое соотношение тонов. Но тут не было ни выразительного контраста, ни утешительной гармонии. Впрочем, это затруднение было временно устранено: Симмонс, в чаянии доверительного уюта, выключил все лампы, кроме одной. Это была большая лампа, переделанная из оплетенной бутылки, с темно-медовым абажуром, на котором рои черненьких запятых, гнутых булавок или неведомых крошечных существ,

свивались в амебообразные облачка и стремились к верхнему пределу, никогда его не достигая. Лампа изливала густо-желтый свет на каминную доску, до теней приглушая цвета на думочках. Симмонс сидел на корточках у камина, где у него была устроена газовая плитка, и варил какао. Из глиняного холодильника[184] вынул молоко, вскипятил воду в чайнике, достал кружки и ложки. Предложил Маркусу шоколадное печенье: ему нужно поддерживать силы. Снял макинтош и брюки, под которыми оказалась полосатая пижама, надел мужественный темно-синий халат, протянул Маркусу плед накинуть на плечи. Пока пили какао, Лукас рассказывал о фотографиях на стене, о том, как служил во флоте: спутанные воспоминания о машинном масле, товариществе, дисциплине в ограниченном пространстве и — по контрасту — об огромных ночных небесах. О величии айсбергов и о кошмаре забоя тюленей, о пингвиньих колониях, о силе, заставляющей организмы адаптироваться к экстремумам холода и жары, о людской смекалке, изобретающей ледоколы. Маркус, разомлевший у огонька, завернутый в плед, задремывал и вздрагивал,

[184] Примечания: 184

Два керамических горшка, вложенных один в другой. Пространство между горшками заливается водой или закладывается землей.

просыпаясь. Симмонс наблюдал за ним. Симмонс был само радушие: пусть Маркус заберется в его кровать, прямо сейчас заберется и уснет. А Симмонс посмотрит, посторожит его и разбудит, если заметит мелкие движения, сопровождающие сновидение. Он все запишет с Маркусовых слов. Таким образом они выполнят свою задачу, свой долг, а Маркус отдохнет в безопасности.

— Обо мне не беспокойся. Я отосплюсь потом. Завалюсь сразу, как тебя провожу. Каникулы, я свободен как ветер. На рассвете тебя разбужу и проведу через Дальнее поле. Посмотрим, как солнце всходит, — хорошо… И поучительно, именно поучительно! Вспомни, какое значение имеет для Замысла Солнце, его свободная энтелехия. Встречая восход, человек всякий раз переживает нечто мистическое. Нечто чуждое и в то же время знакомое… Как думаешь, старина?

Маркус не думал, он кивал и покачивался. Лукас взял его за плечо, отвел в спальню и пристально смотрел, как Маркус укладывается в узкую кровать, сворачивается в привычный узел в ямке, пролежанной учителем прошлой ночью.

Маркус немедленно провалился в сон в самом прямом смысле: летел все вниз сквозь приятную пушистую темноту и, охраняемый темнотой,

знал, что это сон без события, без конца. Обычно, оказавшись во сне вниз головой, он маялся, периодически сознавая свое положение, отсутствие скалолазного инвентаря или присосок, чтобы ходить по крыше, и предчувствуя твердое дно кратера, в который так запросто летел. Но здесь он был в безопасности.

Он проснулся оттого, что Лукас тряс его за плечо. Учитель с ворчливой ноткой сообщил ему, что он спал как младенец и не дал оснований себя будить. Впрочем, вероятно, в следующий раз им повезет больше.

Лукас был, конечно, прав: вскоре им повезло. Настолько, что Маркус начал всерьез страдать от недосыпания. Как и прочие предприятия Лукаса, теплый плед, какао и ночевки обернулись бедами не меньше тех, от которых врачевали. Да, Лукас твердой рукой переводил Маркуса через Дальнее поле — целым и невредимым, без рассеивания, без мук и почти без страха, а утомительные, часто неясные или бессмысленные духовные экзерциции избавляли от вторжений губительного света и рева сверхзвуковых труб. Но многие ночи методически прерываемого сна, даже с какао и добродушной беседой, действовали как изощренная пытка. Позади глазных яблок разливался

холодный белый свет, даже в темноте. Маркус видел звезды, но не в небе, а на оборотной стороне век. Слышал порывы ветра, но то не Эол[185] играл, а радиопомехи проходили по барабанным перепонкам. *«Что ты видишь? Что ты видишь?»* — неведомые голоса льстили, пели, грозили, ласково и жадно ждали. Он так хотел ответить им: «Ничего» — и в тихом сне действительно ничего не видел. Но его было так мало, тихого сна.

Так Стефани и нашла его в третий раз: навзничь на лестнице в пять утра, руки-ноги раскинуты, лицо опять в слезах, на ботинках и носках налипли травинки, поблескивает утренняя роса. Первая мысль: убрать его отсюда, пока Билл не увидел. Вторая: он стал худой как жердь. Она тихонько потрясла его за плечо.

— Нет, нет, нет, нет, нет, — тоской забирая вверх, забормотал он, задрожал, задергался, так что пришлось подхватить его под мышки, чтобы не сполз по лестнице.

— По кругу, по кругу летят. Отвердевают. Аммониты, наверно. Свет страшно быстро по кругу — и застывает в аммониты. Много их… маленькие такие… маленькие… Можно я перестану…

---

[185] Примечания: 185
Отец ветров в древнегреческой мифологии.

— Маркус, Маркус, тише!

— Шерсть… Мм… Шерсть белая. Желтая шерсть, красная…

Стефани затрясла его изо всех сил.

— Мягкая, — сказал он и проснулся. Посмотрел на нее, не узнавая, съехал вниз на ступеньку.

— Маркус, вставай! А то папа…

Он дернулся, как от удара током, подтянул ноги, шатко встал и пошел наверх. Стефани вошла за ним в его комнату.

— Маркус, что с тобой? Что-то плохое случилось? Могу я тебе помочь?

Щеки у него были грязные, в разводах, как у малыша, который плакал и тер глаза. Он молча смотрел на Стефани.

— Что-то плохое случилось, — повторила она.

Он подобрался, нахмурившись от усилия, упер кулаки в кровать и подался вперед, как делал при астме. С тихим отчаянием сообщил ей, что она не знает ни дня, ни часа. Отвернулся и провалился в сон. Стефани решила, что лучше его не будить.

17. Пастораль

Стефани поднялась по лестнице, постучала и только тут сообразила, что Дэниел, загруженный делами, наверное, сейчас где-то в городе. Но он открыл дверь. На нем был необъятный рыбацкий свитер из толстой шерсти и зеленые репсовые штаны. Потрепанная одежда, встрепанный вид.

— Ты? Чего ты хочешь?

— Мне нужен твой совет. Тут вопрос веры, по крайней мере, мне так кажется.

— У тебя не бывает вопросов веры, — резко отозвался он.

— Дело не во мне. Но видимо, я должна как-то вмешаться.

— Хорошо, заходи.

При дневном свете комната казалась печальней. Сдернут загадочный покров полумрака и тепла, отовсюду топорщится серый нагроможденный хлам. Дэниел предложил ей кресло и сел напротив, положив руки на колени.

— Рассказывай.

— Мой брат Маркус… В тот… в тот раз в церкви он был с Симмонсом, биологом из Блесфорд-Райд. И Симмонс говорил о работе во славу Божию. Я

думала, может, ты знаешь, что там у них происходит.

— А ты как думаешь?

— Я не знаю. Я думаю, там что-то религиозное, какая-то религиозная… Не знаю. То есть, в принципе, я, конечно, не против, но…

— Еще как против, но ты бы не вмешивалась. Продолжай.

— В общем, не знаю, что у них, но Маркус в ужасном состоянии: похудел, каждую ночь плачет во сне, — я заходила к нему и видела. Еще он куда-то ходит по ночам, и я уверена, что с Симмонсом. Я видела: Симмонс его ждал в темноте, как пес, как любовник леди Чаттерли… Ну, *этого* я тоже, в принципе, не против, но…

— Ты, в принципе, ничего не против. Но… — передразнил он.

— Если бы ты его видел, то не смеялся бы. Может, я фальшивая либералка или еще кто, но ему-то плохо, он болен… Пусть бы это была гомосексуальная фаза, я не против. Я даже думала, что ему может быть полезно…

— И даже если не фаза?..

— Хватит издеваться! У него никогда не было друга, понимаешь? Никогда в жизни никого не было. Я пришла, потому что думала, ты что-то

знаешь…

— Ты меня ставишь в трудное положение.

— Дэниел, пожалуйста, забудь сейчас о нас с тобой. С Маркусом что-то ужасное творится.

— О «нас с тобой» я и не вспоминал. Не надо придумывать. Положение трудное, потому что Симмонс со мной об этом уже говорил. По крайней мере, пытался говорить. И выдать его тайну я не имею права.

Он увидел, как ее лицо заливает краска стыда, увидел, что она сама ужасно устала, — и почувствовал прежнюю, стойкую, свирепую, бесполезную любовь.

— Но можешь ты — в таком случае — намекнуть, что мне ему сказать или сделать? Я не могу позволить, чтобы он и дальше так мучился.

Не могу. Я не знаю, что с ним. Симмонс о нем ничего не говорил.

Дэниел вспомнил ту странную беседу и то ли исповедь, то ли заявление, то ли пророчество Симмонса. Тот сидел там же, где сидела сейчас Стефани, и говорил, в отличие от нее, очень быстро, озадаченно глядя Дэниелу в глаза, но нелепые свои речи обращая в окно и к потолку. Дрожащие руки он сложил в паху. Дэниел продолжал:

— И потом, ведь есть люди, которые приходят

что-то рассказать, выговориться перед кем-то, но не могут себя заставить сказать о главном. Некоторые говорят очень обтекаемо: не решаются или теряют доверие, если ты не угадал сразу все из одного намека. А бывает, сами не знают, что с ними, и надеются, что вот расскажут и во всем разберутся. Им тогда не важно, понимаю я их или нет. А я мыслей не читаю. Мистер Симмонс, может, думает (или надеется), что я все понял, а я вот совсем не уверен и не знаю, что из этого имею право тебе рассказать.

— Это очень страшно получается.

— Не знаю. Я не думаю, что это у них сексуальное. По крайней мере, он мне специально сказал, что секс не одобряет. Верит в целомудрие. Много говорил о Чистоте с большой буквы. Твоего брата вообще не упоминал, только каких-то Других — опять-таки с большой буквы. Говорил: «Я должен сделать так, чтобы не было вреда Другим». Какого вреда, я не понял.

— Понимаешь, Маркус не переносит, чтобы его трогали. Даже когда был младенцем, его нельзя было ни обнять, ни приласкать. У него астма.

Повисло неловкое молчание. Дэниел вспомнил путаные речи Симмонса. Другие не должны пострадать от сил, освобожденных чьим-то за-

клятием или нечистотой. Просительно: Церковь ведь располагает формами для обуздания подобных сил? Осуждающе и сухо: Церковь отреклась от живой религиозной Силы ради мертвых оболочек и пустых зданий, где гуляет эхо. Были еще отступления на тему целибата, точных и естественных наук, новых вех в развитии сознания, потом еще о сверхчеловеческих способностях Других и о слабостях самого Симмонса. Всякий раз, как Дэниел порывался о чем-то спросить, Симмонс отвечал с раздражением, что тому по сану и так все должно быть известно и что его дело наблюдать и молиться. Спустя добрых сорок минут прерывистого, петляющего монолога Симмонс внезапно поблагодарил его за мудрость и добрый совет и поспешно удалился. Вполне возможно, что его благодарность была в насмешку. Не менее возможно, что Симмонс и правда считал, что благодаря Дэниелу снял груз с души.

Теперь нужно было решить, что сказать Стефани.

— У меня сложилось впечатление, что это связано с религиозными обрядами, молитвой, видениями. Но и с научными экспериментами тоже. Симмонс, кажется, боится, что его эксперименты повлияют на Других. Я честно не знаю, имел он

тут Маркуса в виду или нет. Я могу спросить, если хочешь. Просто так встревать не люблю.

— Со всем этим и не желая можно навредить. Не понимаю: Маркус никогда, никогда не интересовался религией. Нисколько. Что на него нашло?

— Может, ты права: ему нужен был друг. Или вера была нужна, только он об этом не знал, учитывая ваше воспитание, — пока кто-то не подсказал. Так случается. Мне это странно, но я ведь и сам не очень религиозен.

— Ты?!

— Я не очень… — Дэниел смущенно улыбнулся. — Не в этом, не в настоящем смысле религиозен. Я не вижу знаков, не слышу голосов. Настоящего мира в душе не знаю и не узнаю никогда.

— Да я в жизни не встречала более религиозного человека, чем ты.

— Не обижайся, но ты не знаешь, что значат эти слова: «религия», «вера». А о самой сути и понятия не имеешь.

Стефани вскинулась:

— Со словами обращаться я, кажется, обучена.

– *Со словами!* — усмехнулся Дэниел. — А я вот социальный работник в красивой обертке, только работаю не для общества, которое, честно

сказать, мало меня интересует. Я хочу работать, вот и все. А в Йоркшире трудовая этика такова, что это смешивают с религией. Но религия тут ни при чем, и ты это знаешь. И Симмонс знает, хоть и несет всякую околесицу.

Она нервно засмеялась:

— Выходит, я с религиозной бедой пришла к нерелигиозному священнику. Ирония судьбы.

— Да какая ирония — беда-то осталась. Хочешь, я кофе сварю? Посидишь еще? Мне нравится говорить с тобой.

— Кофе — с удовольствием. Только не будь таким зловеще-серьезным. Мне тоже нравится с тобой говорить.

Дэниел принялся хлопотать над кофейным порошком.

— Зловеще-серьезным, говоришь?

— Сколько тебе лет?

— Двадцать два, — честно отвечал Дэниел, поборник правды. На сей раз правда делала его особенно уязвимым: он привык, что к нему относятся так, будто ему хорошо за тридцать. Да и сам себе казался чуть не сорокалетним.

— А все себя ведут, как будто ты старше…

— Это мой вес. В обоих смыслах: я и толстый, и Церковь представляю.

Он почувствовал, что она сейчас всматривается в него. А Стефани думала о том, что он молод, что он видит все: боль, болезни, страх смерти, ужас потери, слабоумие, безумие в чистом виде, одиночество, неизбывную тоску бытия — все то, чего большинство с успехом избегает, а если переживает, мучительно и врасплох, то раз-два в жизни. Впрочем, и врачи это видят. И викарий Элленби. Должен видеть, профессия обязывает. Хотя викария, кажется, заботит только приходская политика, сравнительное влияние разных персон, красота запрестольного образа да успех благотворительных базаров. Беда миссис Хэйдок всем известна, однако же до Дэниела никто не просил Стефани сидеть с Малькольмом.

— Как ты пришел к Церкви?

— А так: не терплю полумер. Мне страшно сидеть на стуле и ничего не делать. Страшно успокоиться. Мне нужны тычки в спину, чтобы *нельзя* было ни на минуту остановиться. Дисциплина без рассуждений.

— Но ты же прирожденный бунтарь…

— Одно другого не исключает. Меня надо заставлять. А Церковь это умеет, вот и все. Понимаешь?

— Отчасти, — сказала она. Никак не могла ото-

рваться воображением от этой странной смеси: страх бездействия и неистощимая энергия, ищущая на себя кнута. Церковь всегда виделась ей окаменелым панцирем, внутри которого дремотное, мешкотное существо блаженно пожевывает жвачку, давно уж лишенную живых соков.

— Но ведь Церковь — не лучшее место для этого, в ней все так косно…

— Не будем больше об этом, а то наслушаюсь тебя и уйду перебирать бумажки в Городской совет.

По чести сказать, Дэниел не понимал, что именно так отвращает ее от Церкви. Он не хуже ее знал, что Элленби — лентяй и карьерист, а добрые дела у паствы приходится вымогать. Но как же она не видит, что сила Церкви не в этом?

Он не осознавал, какая это сила — банальное неверие в христианские сказания, хоть и был научен справляться с отрицателями-софистами вроде Билла. Билл спорил о том, кто, когда и при каких обстоятельствах отвалил камень от двери Гроба Господня. Стефани была настолько уверена, что Новый Завет искажает историческую правду, что органически не испытывала к нему никакого интереса.

Будучи тонким знатоком человеческой пси-

хологии, в вопросах Учения Дэниел был прост. Да ему и нельзя было иначе. И явные добродетели Стефани равнялись для него добродетелям христианским. Ее честность, ее доброта роднили ее с Христом, каким любил его Дэниел, и исток свой имели во Христе. Вот и все. Можно быть настоящим христианином, не считая себя таковым. Именно в эту категорию она бесспорно — даже слишком уж бесспорно — попадала. Он догадывался, впрочем, что эта мысль пришлась бы ей не по вкусу, хоть и не представлял, до какой степени.

— И ты всегда был частью Церкви?

— Нет. Все началось, когда я был уже подростком. То был единственный раз, что я почувствовал себя частью людского целого. Хотя такого же эффекта достигал и Гитлер, и мирфилдские священники[186].

— Расскажи.

И он рассказал все, что помнил, сознавая при этом, что история его обращения, в отличие от некоторых других из его жизни, способна ее тронуть. Так и случилось. У Стефани что-то от-

[186] Примечания: 186

Представители Мирфилдского англиканского сообщества, известного как Сообщество Воскресения Христова. Сообщество много внимания уделяет проповеднической работе.

кликнулось внутри, и она этого не скрыла.

— Это я тоже называю религией, — сказал Дэниел. — Тот священник — он бы чутьем знал, пророк Симмонс или сумасшедший. Отличил бы видение от бреда. Я вот так не умею и, естественно, другим не советую в эти вещи соваться. Поэтому с Маркусом от меня прока немного. Что я тут скажу? Только смотри за ним в оба да, конечно, присылай ко мне, если думаешь, что это как-то поможет.

— Спасибо.

Ничего не изменилось, но Стефани казалось: что-то сдвинулось. Что-то уже сдвинулось, раз Дэниел направил на Маркуса свое деятельное тепло.

— А знаешь что? У меня будет целый день свободный — в среду на той неделе. С утра и до вечера. Я специально не занимал его, хотел выбраться из Блесфорда в кои-то веки. Честно говоря, хотелось подумать на свободе о том, что делать вот с этим нашим… с тем, что мы пока в сторону отставили. Походить как следует у моря. Может, поедем вместе? Не для ссор, нет. Просто погуляем. Сегодня ведь мы неплохо поговорили?

— Неплохо.

— Тогда ты поедешь.

— Я море люблю…

— Значит, едешь.

Она не сказала «нет», размышлял он. Возможно, это значит «да». Она не любит отказывать, и он ей нравится… Какая жестокая маята.

— Да, — сказала она. — Еду.

18. Анадиомена

Поехали в Файли, потому что Дэниела возили туда в детстве. Он объяснил, что никогда не любил возвращаться, но ведь и личной жизни у него, по сути, тоже никогда не было, — может, стоит попробовать. Добирались не быстро: на автобусе до Калверли, оттуда поездом до Скарборо и уж от Скарборо поездом в Файли. Бóльшую часть пути шум моторов и стук колес избавляли от необходимости говорить. Дэниел был без своей униформы. На нем был давешний свитер и поверх безразмерный, бесформенный черный бушлат с капюшоном и джутовыми петлями, куда продевались пуговицы-клыки: купил в магазине военных излишков. Огромный Дэниел был в нем похож на Брейгелева крестьянина. Не хватает лотка с кирпичами или топора, подумала Стефани.

Кроме них, почти никто не вышел на станции в Файли, ослепительно-солнечной и страшно холодной. Дэниел уже все продумал. Сейчас они пойдут в город, а оттуда по песчаному побережью к полуострову Бригг. Можно взять в городе пирог со свининой, бутылку пива и потом поесть у мо-

ря. Стефани в крепких башмаках, но без шляпы и перчаток подрагивала. Дэниел заметил.

— Да, там у моря ветерок гуляет, — довольным тоном сказал он. — Надо надеяться, волны нагонит изрядные. А ты вон без шляпы. В городе куплю тебе шляпу.

Стефани принялась вежливо отказываться.

— Ну уж нет. Хочу тебе что-нибудь подарить, это раз. А два — надо тебя хорошенько закутать, чтобы я не беспокоился, что пора тебя домой везти.

Мимо бунгало в каменной штукатурке и пестрых летних домиков, вылинявших за зиму и притихших, они вошли в городок. Нашли бурую, викторианских еще времен галантерею. В витрине хромированные стойки в виде буквы «т» были одеты в рыжие и серо-бежевые платья, так и сяк подпоясанные и подоткнутые, — пышногрудые, респектабельные пугала. Над ними реяли фетровые ведерки и тюлевые гнезда: густо-синие, лиловато-розовые, зеленей зеленого яблока.

Внутри бежевая женщина в бежевом мягком платье с ажурной вставкой на груди открывала для них белые лаковые коробки в трещинках, показывала перчатки: кожаные, шерстяные, «тряпичные». Стефани, ища тепла и дешевизны,

выбрала голубые варежки с жаккардовыми звездами. Дэниел настоял, чтобы она взяла еще такой же берет, с большим бледно-желтым помпоном. Она послушно натянула его, низко закрыв лоб и уши. Ровная золотистая волна округло откатилась на ворот пальто. Дэниела что-то крепко захватило внутри.

«Сладкая», — подумал он и сделал открытие. За клише дышало что-то древнее, мощное, необоримое. Довременная жадность уст, библейский мед. Иезекииль съел богоданный свиток, и было в устах его сладко[187]. И здесь то же, люто думал Дэниел, круглое лицо ясное, по-детски обведенное шерстью беретика, сияющие волосы, мягкий, неуверенный взгляд.

Они вышли на улицу Каргейт-хилл, булыжную, круто наклонную, с перилами вдоль тротуаров. Последний рывок земли к морю — вниз, в простор. Впереди лежала серая вода, темная, тяжелая, с узкими глянцевыми озерцами там, где солнце ударило сквозь бегущие вперегонки облака. «Вон оно! Вон оно!» В первый день по приезде отец разражался победным ревом, едва завидев море, и тяжко мчал к нему, ревя, неся на плечах

---

[187] Примечания: 187
Ср.: Книга Пророка Иезекииля, 2: 8 и далее.

Дэниела, который первое время тоненько вопил, а потом начал уж стесняться местных и давно обжившихся: вдруг решат, что он только приехал. Хотя что тут было такого, раз он и вправду только приехал, — этого он сегодня понять не мог.

— Вон оно, — сказал Дэниел и взял Стефани под руку.

На пляж был выход через каменную арку под променадом — гулкий тоннель, где метался и умирал ветер. Сухими волнами застывал у его стен песок, рисуя на булыжнике неровную границу прибоя. Было время, когда Дэниел врывался в эту холодную тень, скидывал пляжные шлёпки, — толстый мальчишка пальцами толстых ног егозил в прохладном сыпучем песке, постепенно теплеющем, и выбегал на залитый солнцем берег.

— Тут раньше на пони катались, — сказал он. — Когда я был маленький, тут можно было на своей лошади проехать по улице и у своего дома остановиться.

Он был толстым карапузом в сиденье-корзинке с кожаными кисточками, на вихляющем осле. Потом толстым мальчиком в длинных серых шортах. Стременные ремни норовили ущемить ему толстые икры, а он, ликуя и тревожась, въезжал

в город, и худой пегий пони подымался натужно и медленно и мотал жесткой гривой у его лица. Его тогдашняя плоть частью еще сохранилась, а частью сменилась, расточилась неведомо. Отец шагал рядом и похлопывал его по спине: выпрямись, сын, не сиди мешком, гляди веселей. На другое лето после беды Дэниел катался сам раз или два. Мать с ним не ходила, только дважды заплатила за пони. Дэниел думал раньше, что, если бы отец предоставил его самому себе, он бы, может, поболтал с мальчишками-провожатыми, державшими сбоку поводья. Но вот он остался один и молчал.

А Стефани не могла понять, почему Дэниел так помрачнел. Они вошли под свод тоннеля.

— «Ветер отточен, как нож»[188]. Отец это говорил, когда мы здесь проходили. Каждый раз. Каждый. Наверно, он из всей поэзии только эту строчку и знал.

— По-моему, очень хорошая строчка.

— Не знаю, не разбираюсь, — необъяснимо хмуро отвечал Дэниел.

Наконец они вышли из тоннеля на песок, и ветер встал мокрой парусиновой стеной, и нужно

[188] Примечания: 188

Строка из стихотворения «Морская лихорадка» английского поэта и писателя Джона Эдварда Мэйсфилда (1878–1967).

было идти сквозь него, а он оглушал, кусался, лепил им пощечины.

Стефани глотнула холодного соленого воздуха, пошатнулась и рассмеялась:

— Ой, Дэниел!

Ветер поднырнул ей под пальто, упорно и шумно захлопал складками подола. Она тщетно попыталась пришлепнуть их, потом рукой в варежке прижала улетающий звездчатый берет.

— Зайди с этой стороны, — сказал Дэниел, — и укройся за меня. Я плотный, непродуваемый.

Теперь он заслонял ее от воздуха, напиравшего с моря. Они шли вдоль волноотбойной стены, сухой песок налетал вихорьками, вился змейками, подымался гребнями и рассыпался безжизненно. Море откатывало, отмечая взятый рубеж блестящей линией черного песка, пылью моллюсковых раковин, спутанными прядями бурых пузырчатых водорослей. Пески шли длинными рябоватыми грядами — так море отразилось в суше. В местах пониже меж гряд до сих пор сияла и подмигивала вода. Дэниел захохотал от дурашливого удовольствия.

— Шесть миль песка, — возгласил он.

И, словно принимая их в объятие, раскинул толстые руки. Он застегнул ворот и натянул чер-

ный капюшон на взъерошенные волосы. Ветер захлестнулся ему вокруг головы, и множество песчаных струек вскинули головки, атакуя отвороты его штанов. Здесь он мог пугалом раскинуть руки и знать: вот-вот его подхватит и он полетит, неуклюже невесомый, с большими ветрами. Он взял Стефани под руку.

— Пройдемся к Бриггу. — Он указал туда, где длинная линия каменных глыб врезалась в море. — Ветер тебе не мешает.

Это был не вопрос, а утверждение. У Стефани горели губы и щеки, глаза заволокло холодным воздухом и слезами. Она приткнулась к его плечу и неопределенно кивнула. И они сбивчиво зашагали в песчаном лабиринте с блуждающими ходами. Порой они сталкивались, сбивая друг друга с шага, переходили на трусцу, почти на бег, когда ветер наполнял их одежды, как паруса, грозя сдунуть ввысь. Чуть отделив голову от его плеча, она оглянулась туда, где еще широк был изгиб бухты. Море, отступая, швыряло на берег петлистую белую пряжу пены, ветер, подсушив берег сверху, подхватывал и гонял песок. Все здесь неслось и вихрилось, но главный очерк был ровный и чистый. Она еще чуть-чуть отодвинулась, и в ухо ворвался ледяной рев. Стефани снова

прильнула к Дэниелу.

Так через какое-то время они дошли до конца волноотбойной стены, где к берегу спускалась грузовая рампа. Вниз по ней рыбаки скатывали свои плоскодонки на траншевых колесах, а летом по ней же трусили вверх пони, запряженные в повозки с пестрыми, тридцатых еще годов, микки-маусами на боках. Там, где кончалась рампа, песчаный берег обжимали утесы, чьи травянистые шапки и красные глинистые бока постоянно оползали где к пескам, где к воде. На одном из этих утесов, подпертое балками, прилепилось кафе «У моря». Дэниел свободной рукой указал в ту сторону.

— Должно быть открыто, — прогремел он. — Выпьем кофе с какой-нибудь булочкой, подкрепимся.

У волноотбойной стены жались, отдыхая от ветра, несколько стариков с собаками, по линии воды еще два-три человека копали пескожилов[189], и думалось, что кафе, наверное, закрыто. Стефани вдруг страшно захотелось кофе — текучего жара и сладости. Она сглотнула. Дэниел тяжело заскакал вверх по перекошенным, исче-

---

[189] Примечания: 189
Вид червя, популярная у рыбаков наживка.

зающим в грязи деревянным ступенькам. Вот он уж машет от двери: открыто!

Хорошо жить на свете! Стефани, вся подобранная, но с горящими щеками, ладно прошагала по лесенке и уселась за столик во внезапно наставшей жаркой тишине. В ушах еще ревело, и бился пульс. Они не сразу смогли заговорить. Спросили кофе и горячих булочек. От выпечки почти мучительно пахло теплом и какой-то надеждой.

Кафе было в форме лодки, тут были окна в металлическом обводе и круглые плетеные столики под льдисто-зеленым стеклом. На солнечной террасе окна были мутноватые, в разводах от соленой водяной пыли. Изумрудное стекло на столиках тоже в мутных разводах от небрежности официанток. Снаружи облака спешили, заслоняя солнце, растекались по ясному небу. Внутри стёкла светлели и темнели, и такая стояла тишина, словно все это было в аквариуме, в какой-то другой, густой среде. Принесли кофе, горячий и в целом неплохой. Дэниел отважился было на комплимент ее ясным глазам и румянцу, но в последний момент передумал. Вместо этого сказал:

— Мы сюда с родителями приходили. Они пили чай, а мне брали мороженое в серебряной вазоч-

ке. Ну, она, наверное, была не серебряная, но я ее так называл… Странная штука семейная жизнь. Вот мы сюда приходили втроем специально, чтобы побыть всем вместе, семьей, — и нам не о чем было говорить. Отец иногда чудачил, хотел нас рассмешить. Он не мог сидеть и ничего не делать. Просто не мог. Ему обязательно нужно было какое-то занятие. Наверное, в отпуске он тут с нами с ума сходил. Мама все лежала в шезлонгах, а от меня ему было мало проку. Я был толстый, мешкотный, ни на утес залезть, ни пробежаться, даже вон плавать не научился. А отец выходил в любую погоду — мы только и смотрели, как он по дюнам то вверх шагает, то вниз. Глупое занятие, если вдуматься. Наверно, отец радовался, когда мы возвращались, и можно было опять работать, и не нужно было искать себе занятия, придумывать, чем восхищаться и чем меня развлекать.

— Ты тоже не можешь сидеть и ничего не делать.

— Не могу. Но это уж позже началось, когда он умер.

— Я не знала, что он умер…

Дэниел глянул на нее сердито. Стефани такое место занимала в его мыслях, что о некоторых вещах ему трудно было с ней говорить: лучше,

легче было считать, что она их знает.

— Когда он умер, мне было десять лет.

— Бедный ты. Отчего он умер?

— Вагонетка с рудой оторвалась от состава и сбила его, всего переломала.

Он тяжело задумался и канул в себя, оставив ее одну. Ему представился отец, огромный, белый, мокрый в их пляжной палатке, в зеленом полусвете, в запахах брезента и моря. Как он тер полотенцем торс, плечи и буйные волосы — у Дэниела ведь такие же — и как все это потом было сломано, размозжено.

— Я о нем не горевал. Вообще не помню горя. А ведь я должен, должен был…

Стефани протянула к нему руку, но Дэниел руки не принял.

— Конечно, ты горевал. Просто тебе, наверное, слишком больно об этом вспоминать.

— Он был хороший человек. Большой, добрый — самый обыкновенный, хороший человек. Требовательный. Мне спуску не давал: не ленись, давай лучше, больше. Я ведь этого не ценил. Теперь благодарен, а тогда терпеть не мог. Не знаю… Я его любил.

Как заставить ее увидеть отца, которого больше нет? И разве она обязана его увидеть? Дэниел

хотел дать ей свое прошлое, но это было невозможно.

Стефани понимала его мучения, и все же… Такова ирония любви: те, кому преподносим мы наше прошлое, ревнуют к нему, чувствуют себя ненужными, мелкими на его фоне. А тут была еще и негромкая злость Стефани: призрачный машинист ведь, в конце-то концов, уже не существует. А она-то есть. Она есть…

Когда они вышли из кафе и спустились к рампе, было уже холодней. Тучи громоздились пышными аспидными слоями, кипели и разваливались где-то за крошащимися красными утесами. Чтобы добраться до Бригга, предстояло пересечь еще один огромный песчаный полумесяц. Дэниел стоял смурной, руки в карманы, упорно глядел перед собой. Стефани потянула его за рукав:

— Если идти, то пойдем. Дождь собирается. А ветер такой, что и ты будешь доволен.

Он глянул на нее сверху, пожал плечами и сделал шаг. Она что-то сказала, но он не расслышал.

— Что? — проревел он сквозь ветер.

Она повторила еще и еще, но ветер подхватывал слова и смешивал с собственным гулом. Дэниел притянул ее поближе к себе, и вместе они двинулись через последний отрезок песков.

Пройдя по пласту мясо-красной, визжащей под ногой глины, они ступили на твердый песок, который тут и там быстро и чисто взрезали потоки кровавого цвета воды, бегущей к морю. В одном месте пришлось перепрыгнуть: из глины торчала труба, а из нее, торопливо пенясь, хлестали сточные воды зеленовато-кремового оттенка. И какое-то время еще кровавые струи, кремовая пена и серебристое свечение моря переливались и смешивались. Но вот они прошли дальше, и осталась только песчаная равнина, напоенная сияющей водой. Кроме их следов, никаких других не было, только миниатюрные вулканчики, оставляемые червями, нарушали кое-где сияние.

Двигались боком, по-крабьи, и круговерть воды, земли, воздуха и света подергивалась радугой едких слез. Что-то больно билось в ушные перепонки. У Дэниела в голове звучали хоралы, прерываемые его же тяжелым дыханием. Стефани, с раздутыми, пульсирующими легкими, ждала второго дыхания и удивлялась, что холодная соль может так обжигать. Непонятно было, сколько они прошли и сколько идти еще: так широко и ярко сиял песок, что казалось, они борются впустую, шагают на одном месте.

А потом к ней пришло второе дыхание, и вдох

сделался ладен, и целый вихрь налетел сзади и только что не донес их до Бригга.

Чтобы выйти собственно на Бригг, нужно взобраться по валунам, щетинисто-острым от морских желудей и блюдечек, густо облепленным бурыми пузырчатыми и прилизанными, мягкими зелеными водорослями. Карабкаясь и оскользаясь, они достигли дорожки, что ненадолго протянулась у Бригга вдоль хребта. Здесь асфальтом и бетоном связано все, что трескается, трется, сдавливается, вибрирует и оползает. Сюда они на четвереньках выбрались и встали под табличкой в память семейства Пэджет, унесенного в море великанской волной. Да послужит их злосчастная судьба предостережением потомкам.

А воздух был теперь другой: с терпкой живинкой, с кусачим йодом — живой, чужой, неведомый. Дэниел с удовольствием потянул носом.

— Ну что, — спросил он, — пойдем дальше вперед, до конца? Или свернем к пещерам?

Стефани взмахнула рукой:

— До конца.

— Хорошо. — Ему не терпелось вперед. — Сейчас отлив, неопасно, можно довольно далеко забраться. Ты знаешь, что говорят про Бригг? Что его создал Враг рода людского, чтобы заманивать

и топить корабли.

— Могу поверить.

— Или что он хотел было здесь строить мост через Северное море, да вот поспешил, начал кое-как — и все у него развалилось. Он эту затею забросил, а нам остались обломки его моста.

Они двинулись к морю: сперва шагом, потом пригнувшись, потом на карачках, потом сидя и подтягиваясь вперед на руках — лишь бы продвигаться. Побрякивая, перекатывались домики прибрежных улиток. Стефани ссадила запястье о створки морских желудей. Она цеплялась, просовывала пальцы в углубления пористой, легкой валунной глины. Всячески старалась не ступать там, где раскинулась эта особенная зелень, столь пронзительно-яркая, что просится слово «ненастоящая», — но она живая и благополучно формирует кустики и заросли, омываемая и заливаемая морем. У Стефани открылось какое-то третье дыхание. Ей понравилось перебарывать свое тело, полагаться на невидимые выступы, приводить к равновесию позвоночник, бедра и плечи.

Когда вышли из-под защиты высоких утесов, ветер налетел другой: не твердил одно и то же, не хлопал полами одежды. Он был пронзителен и

остёр, он пел и жужжал. Дойдя до плоского возвышенного места, они остановились осмотреться.

Впереди острие мыса уходило под воду, а волны набегали поверх него, вздымались и разбивались, катились, закручивались, сталкивались, взбрасывали брызги. А волны, уже разделенные мысом, нахлестывали с боков, грозно нарастали, плашмя падали на камень, присыпанный песком, и вода разбегалась струями и струйками, со вздохом втягивалась в трещины и канальцы и там, на глубине, невидимо плескала у них под ногами.

Мир здесь был необыкновенно слитен. Ярко-синие пятна неба вперемешку с летящими обрывками облаков, и тут же гонимая, взлетающая пена: искры и хлопья белые, беловатые, кремовые, серые и буроватые, и тут же птицы, кружащие и кричащие в обеих стихиях, белые птицы, коричневые в крапинку, с клювами золотыми и кровавыми, гнутыми, прямыми, жестокими.

Они стояли на мокрых камнях, до беспамятства ушедшие в зрение, неподвижные пред быстро набухающей волной. Зелено-серая с золотом, она поднялась, вспенила кипенный гребень, внезапно замерла над ними и рухнула, расточилась у

их ног. Но все же окатила здорово и — потоками, струйками, смеясь, разбегаясь, разбиваясь о каждый камешек, о каждую водоросль, — влилась в единую холодную массу.

Берет со звездами промок насквозь. Дэниел тряс головой, как большой черный пес, и блестки брызги разлетались в луче ясного, холодного света, который вдруг окружил их и словно замер. Он посмотрел на Стефани: она стояла очень тихо, а уходящая волна деловито заливала ей ботинки. Она медленно сняла берет, ветер подхватил ее волосы и принялся играть ими. На золоте темнели мокрые пряди, и макинтош ее был весь в длинных, темных, остроконечных пятнах. Она стояла, словно зачарованная водой, чуть приоткрыв рот в сокровенной улыбке, а ветер все трепал ей волосы и одежду. Солнце светило так ярко, что Дэниел едва видел ее. Накатила волна поменьше, но до них не доплеснула. Стефани снова сказала что-то, чего он не расслышал.

— Что ты сказала? — прокричал он.

Донеслось:

— …тогда на твоем языке. Да будет свет.

Она казалась захмелевшей, смеялась, светилась изнутри:

— Идем!

И она пошла очень быстро, полушагом-полубегом, для равновесия раскинув руки. Дэниел пошел следом. Высокая волна поклонилась ей, скрежеща, шелестя, шепча, расплескалась под ногами. Стефани обернулась к нему. Он никогда не видел у нее такого лица: белого, дикого, мокрого, освещенного слепой улыбкой. Она полетела дальше, а навстречу вздулась еще волна. Дэниел успел схватить Стефани, и тут на них обрушилась вода. Потом Дэниел обнимал ее, гладил волосы. Поцеловал — и стало холодно, солоно, горячо и зыбко. Она ответила так истово, что их качнуло. Дэниел удержал их обоих, ненароком дернув ее за волосы и толкнув коленом. От этого Стефани, еще недавно напряженная и летящая, стала мягкой и послушной.

— Нет уж, утонуть я тебе не дам, — сказал он и потащил ее за руку назад.

Меж двух валунов он ужасно неловко привлек ее к себе и снова поцеловал.

Стефани сияла дико и сладостно. Дэниел дошел до предела. Он случайно ударил ее спиной о камень, потом прижал, пристроил к себе надежно. Холодное солнце светило на них.

— Ты должна за меня выйти.

— Нет. Это просто романтика, минута. И мы ее

сами сделали. Это ничего не меняет.

— Меняет. Сами сделали и еще сделаем много раз. Все, что захотим, сделаем.

— Это все ты, — почти умоляюще проговорила она.

— Я хочу так жить.

— Но так не бывает. Я знаю. Эти вещи… они скоро кончаются.

— Я если делаю, то надолго.

У Стефани слезы — такие горячие — катились по холодным щекам у холодного моря. Она знала, знала, что эти вещи непрочны. Ускользают, пока ты силишься познать их, умирают, пока стремишься продлить им жизнь, исчезают, пока переделываешь себя, чтобы вместить их.

— У тебя такое было раньше? — спросил Дэниел так, словно вопрос был решающим.

— Нет. Но…

— И у меня.

— Дэниел, это ничего не значит. Это только здесь и сейчас.

— Нет. Я мало чего хочу, но я хочу, чтобы и дальше было так. Я хочу тебя. Хочу, чтобы ты была моя.

— Дэниел…

— И ты тоже хочешь. Я знаю, чего ты хочешь.

Он ничего этого не знал, но она сказала:

— Хорошо.

Оба оторопели. Она повторила, с раздражением даже, словно недослышанное могло быть взято назад:

— Хорошо. Я сказала: хорошо!

Ее лицо заливали слезы. Дэниел разжал объятье, опустил одну руку:

— Нет, так нельзя. Это я тебя вынудил. Ты не должна…

— Значит, ты не понял. Так слушай: *я никогда ничего не хотела*. Ни разу ничего в жизни не хотела для себя. А это — то, что сейчас с нами, — я не знаю, как это совместить с остальным… Я не могу…

Если бы сейчас он дрогнул, засомневался — все для них было бы потеряно. Но он сказал:

— Тогда хорошо. Если только это — справимся. Все будет хорошо.

Он глядел поверх ее бледно-золотых волос на море и небо, спешащие неподвижно, взвихренные, сияющие.

Позже они ели сэндвичи и пили пиво в пабе в городке Ханмэнби. Сидели рядышком у камина на деревянной скамье с высокой спинкой. Поглощали алый ростбиф с луком и солью, вдавленный

в ломти свежего ржаного хлеба, и не могли остановиться: вкус был прян, крепок и совершенно упоителен. Оба были непривычны к счастью и готовились подсознательно, что вот-вот оно даст трещину.

— Что дальше? — спросил Дэниел, осушив свою кружку.

— Дальше?

— Ну да: сегодня, через неделю, через месяц?

— А что мы можем сделать?

— Пожениться. Чем раньше, тем лучше. Остальное не имеет смысла.

— Когда?

— Ну, смотри: нужно оглашение[190]. Нужно жилье подыскать. Это непросто, зарабатываю я гроши. Но у викария жить ни ты не захочешь, ни я.

Стоило Стефани произнести «хорошо», как все сделалось неузнаваемым. Она не представляла себе жизнь с Дэниелом. И без него не представляла.

— Так. Мне нужно дождаться конца учебного года. Уговорить папу. Он будет недоволен…

— Поначалу недоволен или раз и навсегда?

---

[190] Примечания: 190
Оглашение в церкви имен будущих супругов.

— Может, и навсегда. Но думаю, со временем он все же смягчится.

— Я бы на это не полагался. Но ты делай, как считаешь правильным. Викарий захочет с тобой поговорить.

Церковь медленно подняла свою уродливую голову.

— И что? Я ему нравлюсь.

— Нравишься, да. Думаю, он скажет, что ты хорошая жена для будущего викария. Ты же так явно на стороне ангелов. Ну и не сцепляйся с ним.

— А ты бы сцепился.

— Да, но для меня эти вещи важны. А для тебя нет — и славно. Думаю, он решит, что ты меня пообтешешь. Я, по его мнению, дикий мужлан.

— Дэниел…

— Мм?

— Сто лет назад я была бы хорошей женой викария. Но сейчас это невозможно. С нравственной точки зрения это…

Ему было уютно в животе от мяса и хлеба, промокшие ноги грел камин, к бедру прилегало ее бедро.

— Ты будешь хорошей женой — для меня. Тебе все время нужно что-то делать. Мне тоже. Мы

похожи. У нас все сладится. Я же не из тех священников, кто пропах ладаном и даже думает на латыни?

Он прикрыл рукой ее руку, лежащую на колене. Ударило желание.

— Я хочу, хочу, — сказал Дэниел обычным голосом, не разжимая зубов.

— Я тоже, — не таясь, ответила она.

— Нам некуда пойти.

— Некуда. Но мы можем остаться здесь. Снять номер в гостинице, позвонить домой, что-то соврать. Все так делают. Постоянно. Это должно быть просто.

Он задумался и как-то помрачнел:

— Тебе было бы просто?

— Нет. Я врать не умею. Я бы потом все время дергалась.

— Вот именно. — Он сжал ей руку так, что хрустнули кости. — Но выход должен быть. Должен. Люди ведь что-то изобретают…

— О, таких людей меньше, чем ты думаешь.

Он резко рассмеялся:

— При моей-то профессии я знаю, сколько их. И сколько таких среди наших. Ужасно много, скажу я тебе. Ужасно, сколько людей постоянно попадают в ситуации, когда просто невозможно не… Я,

наверно, просто неумен. Или нерасторопен… Но что же нам делать?

— Не знаю.

Они потом еще много ходили и, так ничего и не решив, вернулись в Блесфорд на автобусах и поездах. На блесфордской автобусной станции он сказал:

— Лучшее, что могу предложить, — растворимый кофе у меня в комнате.

— Я и этого предложить не могу.

В доме викария было темно и пусто.

— Все ушли, — сказала она.

— Похоже на то.

В темноте поднялись к Дэниелу в комнату. Заперлись. Прислушались.

— Где Фелисити? — спросила она.

— Не знаю.

— Закрой занавески.

Он закрыл занавески, зажег камин и угольно-алую лампу у кровати. Обернулся к Стефани:

— Что же теперь?

Она не знала.

Они не решались лечь вместе — не из примитивного страха неудачи, а из тихой, коварной, глубоко залегающей боязни неловкости. Что, если грянет в дверь кто-то из обитателей вика-

риева гнезда? Что, если заявятся прихожане с вопросами веры? Дэниел опасался древних пружин своей кровати и легкого запаха плесени, что раньше его не беспокоил. Стефани страшилась его моральных принципов. Грех — а для Дэниела это грех, полагала она, — сложная вещь. Лечь с ней для него наверняка запретно, но он был твердо намерен запрет нарушить, и это жарко волновало ее. Все сразу сделалось важней и серьезней, чем, бывало, ее кембриджские постельные случаи. Хотя… Стефани вдруг поняла, что сама сводила переживания очередного любовника до повседневного, свойского уровня, на котором предпочитала существовать. Прыжок в неизведанные глубины чужого греха и его последствий страшил ее. Она не хотела, чтобы из-за нее Дэниел упал в собственных глазах. Не хотела потом увидеть бурю его раскаяния. Она сжимала свой звездчатый берет и все крутила его перед собой, как пушистый щит добродетели.

— Сними хотя бы пальто, — сказал он.

Стефани слишком уж медленно и аккуратно повесила пальто на один из стульев, имевшихся тут в изобилии. Дэниела раздражала эта бессмысленная осторожность. Скрипнув половицей, он боком шагнул к ней и обнял за талию.

Стефани попыталась отстраниться.

— Что такое?

— А если ты потом пожалеешь?

— Не пожалею. С тобой ни о чем не пожалею.

— Но тебе ведь не положено…

— Сейчас это не важно. Раз меня это не заботит, то и тебя не должно.

— Но *почему* вдруг тебя это не заботит?

— Послушай, ты ведь в самом акте ничего такого не видишь?

— Да, но я не…

Дэниел видел, что́ ее беспокоит, но не знал, как тут ответить: для себя он уже все решил и не намерен был терзаться ни сейчас, ни после. Он видел, что мощь и ясность прожитого вместе дня, моря, неба, ветра расточается сейчас впустую. Чтобы отвлечь ее, сказал с первобытным лукавством:

— Знаешь, я раньше никогда… никогда, собственно…

Ничто подобное его не волновало, ибо он неверно полагал, что страсть и чуткость любви вполне заменят телесный опыт. Но цели своей добился, отвлек ее.

— Это совсем не важно, — сказала она.

Дом молчал. Дэниел раскрыл постель. Стефани не останавливала его. Спросила:

— У тебя есть полотенце?

— Полотенце?

— Да, нужно будет полотенце.

Дэниел нашел полотенце, белое в красную полоску, и положил на подушку. Он не знал, с чего начать: раздеть ее или раздеться самому.

Она сказала:

— Если погасить свет и не шуметь, то они, даже если вернутся, ничего не узнают.

— Да.

Погасили свет, быстро разделись и легли. Холодная плоть и жаркая, темное и бледное тесно сомкнулись в тесной кровати.

Получилось не слишком ладно: спешили, ритма не нашли, ежесекундно боялись упасть с кровати, и почти до самого конца мешали им скрипы пружин и ползущие куда-то скользкие простыни. Дэниел, сверх сил возбужденный, не всегда знал, внутри он или снаружи, к ней движется или от нее. Стефани, непривычная к острому наслаждению, и не старалась выманить оргазм, чего обезумевший Дэниел, кажется, не заметил. По крайней мере, он не попытался ни приблизить его, ни извиниться за недохватку. Стефани это скорей понравилось: обошлись без неловкости. Им стало жарко и влажно, они отя-

желели и запутались. Потом Дэниел простонал, и все кончилось.

Он отвернулся. Она села, тревожно заглядывая в его застывшее, замкнутое лицо. Она не знала, что он чувствует. Не знала, кто он такой. Почти ждала, что вот он вскочит и разразится покаянным ревом или воплями восторга. Ни в том ни в другом ей не найдется места, а неловкость будет мучительная, невыносимая.

Он приоткрыл лукавые глаза и улыбнулся довольной, ленивой улыбкой:

— Ну, по крайней мере, начало положено. Это, я думаю, самое главное. Дальше будет лучше.

Она опустила глаза.

— И до чего славно вот так на тебя смотреть. Все у нас правильно.

Он тяжелой рукой притянул ее золотистую головку себе на грудь. Стефани лежала к нему вплоть, привыкая к его твердым выступам, к тяжелым складкам плоти. Его огромная ладонь покоилась в ложбинке ее спины, другая потонула в ее волосах. Она чувствовала, как их тела перетекают друг в друга, слышала мощный бег его сердца.

— Тебе удобно? — спросил он.

— Мне волшебно.

— Ты можешь себе представить… — Конец предложения куда-то от нее ускользнул.

— Что?

— Можешь представить, что некоторые женятся просто так, без настоящего желания? А посмотришь на людей — похоже, что таких много. Но это же бессмысленно, если нет настоящего…

— Может, они просто боятся одиночества?

— Не знаю. Я бы, например, не боялся.

Эта его твердость во всем тревожила и восхищала ее. Стефани легонько вздохнула, и настал сон.

Когда они проснулись, в доме уже чем-то стукали, что-то двигали. Они шепотом посовещались, не включить ли свет, и не включили. Не хотелось ни болтовни викария, ни взволнованных, союзнических взглядов Фелисити. Полежали в тихой полудреме еще с час. Когда одни за другими донеслись звуки, означавшие, что чета Элленби приготовилась ко сну, обезопасилась от грабителей, посетила по очереди ванную комнату и погасила последние лампы, они встали и оделись. Обоим страшно хотелось есть и вдобавок нужно было в уборную. От этой, крайней уж, неловкости Стефани решилась тихонько спуститься вниз и вернуться домой. Дэниел сказал, что она может сравнительно безопасно воспользоваться наруж-

ным клозетом в саду. Договорились, что сам он останется в комнате. Он смотрел из окна, как она, пригнув голову в берете, крадучись идет через залитую луной лужайку. Она единожды оглянулась на его крупный, темный силуэт в темном окне. Дэниел вскинул руку торжественным жестом: полководец, одержавший викторию. По телу разливалось приятное тепло. В душе и мыслях был приятный покой. Оставалось надеяться, что он верно оценил трудность следующего шага. Но ведь он уже так многое смог благодаря отваге и любви. Невозможно подумать, что он не пойдет и дальше.

19. Маммона[191]

Несколько недель спустя, когда уже кончились каникулы и прикативший обратно Александр забрал «Четыре квартета», сестры пили кофе в «Четтери» — кафе в большом универмаге «Уоллиш и Джонс» в Калверли. Они прятались тут от ливня. Сплошные окна затуманились снаружи и внутри. Столики были покрыты крахмальными камчатными скатертями. На полу — толстый, глухой ковер: изобильная плоская флора. Лианы и лотосы против логики сплетались с семипалыми листьями конского каштана, зелень тропиков мешалась со ржавчиной и золотом английской осени, и поверх всего рассеяны были через равные расстояния гроздочки алых ягод, похожих на капли крови. Ковер впитывал звук острых шпилек и солидных уличных туфель на низком каблуке, когтистые шажки дамских собачек, а еще — капли с зонтов, резиновых макинтошей, непромокаемых шляпок и хозяйственных сумок. Было жарко. Женщины, томясь от жары, слоями

---

[191] Примечания: 191

В христианской и иудейской традиции символ алчности, погони за мирскими благами.

снимали все, что прилично было снять. Любой голос тут же поглощался влажными пальто и ковровым ворсом. И все же тут было принято говорить негромко — о кошмарных ли ценах на тюль или о кошмаре удаления матки. Сестрам здесь нравилось. Они приходили сюда всю свою жизнь.

Была суббота. Фредерика нарядилась рискованно для того времени и места: узкие черные брюки, свитер «летучая мышь», на шее лихо повязан крохотный шарфик. Косметики тоже не пожалела: ярко-зеленые веки, черная тушь и сливовая помада. У Стефани был какой-то растрепанный вид. К тому же ей было страшно жарко в жакете и толстой юбке. Фредерика пила кофе глясе «люкс» с двумя шариками мороженого: к нему прилагалось несколько соломинок и длинная десертная ложка. Стефани взяла простой черный с кувшинчиком сливок.

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказала она.

— Валяй.

— Понимаешь… — Повисла пауза, и Фредерика подняла голову от измазанных помадой соломинок. Стефани оказалась пунцовой — до кончиков ушей и корней волос.

— Ну-ка выкладывай!

— Я… В общем, я выхожу замуж.

— Замуж?

— Да. За Дэниела Ортона. Скоро.

Фредерика полыхнула злостью. Вперяясь в сестру, выдала первое, что пришло на ум:

— Я не знала.

— Мы еще никому не говорили.

— Я не знала, — повторила Фредерика, теперь с оттенком огорчения.

— Я понимаю, что будет трудно…

— Да уж наверное, — едко подтвердила Фредерика.

— И еще папе нужно сказать.

— То-то он обрадуется!

Фредерика украдкой глянула на сестру, которая стала теперь темно-малиновой — абсурдный колер в сочетании с бледными волосами. В одном глазу у нее стояла большая круглая слеза. Отвратительно, подумала Фредерика.

— Ты в курсе, что быть женой викария — это работа на полный день? Церковные пикнички, материнские общества, рыдание друг у друга на груди? Как ты все это осилишь?

— Не так уж все плохо. Справлюсь как-нибудь.

— Да, что трудно будет — это ты в точку. Мрак

кромешный.

— Тебе больше нечего сказать? — крикнула Стефани. — Я счастлива, понимаешь ты? Очень счастлива!

Широким взмахом оттолкнула белый фарфор, серебрёные десертные вилочки и бумажные салфетки. Ткнулась лицом в руки и зарыдала, совершенно одинокая в сомнительной компании сестры.

Фредерика ужаснулась. Подозвала официантку. Похлопала сестру по плечу:

— Ну не глупи. Конечно, я за тебя рада. Два кофе, пожалуйста, *и побыстрей*. Стефани, я просто растерялась, я ничего не знала, и никто не знал… Ты что, любишь Дэниела?

— Да. Люблю.

— Как ты поняла? — Вышло как на допросе, что было некстати: Фредерике хотелось вытянуть сестру на откровенность. Дэниел Ортон толстый и верующий. Каково это — любить такого? Даже вообразить жутко. А все-таки тянет вообразить…

— Поняла, и все. — Стефани выпрямилась, розовая, с лицом, блестящим от слез. Рассеянно огляделась. — У нас уже было.

— И как? Тебя это потрясло? — В голосе Фредерики странно примешалось к яду что-то блудливое.

— Это было откровением, — спокойно и твердо сказала Стефани и сама услышала, как ее обычный кембриджский голос резанул по деликатным полушепотам калверлейских сплетен. Подняла глаза и вместо сочувственного лица университетской подруги увидела обтянутую от любопытства, размалеванную, непристойную лисью мордочку Фредерики: упоенная жуть пополам со злостью.

— И ты наденешь вуаль, — хрипло взвизгнула Фредерика, — и венок из флердоранжа? И я буду подружкой невесты? В такой миленькой шляпке? И буду из корзиночки разбрасывать розовые лепестки? И ты поклянешься повиноваться мужу своему? Или он у тебя *прогрессивный церковник*?

— Зачем ты так?

Этого не понимала и сама Фредерика. Ее захлестывала нерассуждающая злость.

— Не надо было тебе говорить.

— Отчего же? Я за тебя искренно и безумно рада.

— Ну что ж. Значит, спасибо.

Стефани поднялась, вынула и оттолкнула на середину стола две полукроны. Она ушла, прежде чем Фредерика успела измыслить свою следующую реплику.

Фредерика осталась сидеть, отрешенно играя

монетами. Она поступила чудовищно и теперь чувствовала себя соответственно.

Маленькими, во время войны, они с сестрой играли во взрослых. Это было не то же, что дочки-матери: тут воплощался более узкий срез жизни и правила игры были не вполне понятны самим играющим. Они наряжались в отслужившие платья Уинифред: вечернее черного бархата, пышное креп-сатиновое в алых маках и ярких васильках. Надевали шелковые туфельки, нижние юбки, рваные шали с бахромой, шляпки, прикалывали шелковые цветы и фазаньи перья. У них была расшитая стразами сумочка на потускневшей цепочке и еще одна лаковая, плоская. Они мастерили себе пудреницы из коробочек от лейкопластыря, скручивали сигареты из бумаги, восковые мелки засовывали в картонные трубочки, и получалась помада. Цель игры была — познать суть того, что игра изображала, и в этом смысле девочки неизменно терпели поражение. Они ходили павами, красовались и бесконечно готовились к событиям, которых воплотить не могли. Игра неизбежно разворачивалась во всевозможных фантастических преддверия: вестибюлях, фойе, дамских гардеробных при дансингах или отелях, — словом, при тех местах,

где, по их скудным познаниям, почерпнутым из книг и фильмов, протекала взрослая, значительная жизнь, не ограниченная кухней и спальней. Девочкам не приходило в голову, что кто-то из них мог бы изображать мужчину, и поэтому их партнером в игре оставалась пустота. Фредерика вступала с ней в сухие, обрывчатые диалоги в дансингах. Стефани заказывала недоступные лакомства: сливки, виноград, апельсины и лимоны, свежее масло, кексики с глазурью. Игра всякий раз дразнила их, сулила запретный плод, великую тайну и всякий раз кончалась разочарованием и скукой.

И сейчас Фредерика, как тогда, пощелкала замочком сумочки — внутри пудреница «Макс Фактор» и толстый тюбик лиловой помады. Вперилась в них, словно надеясь что-то наколдовать. Откуда же нашла на нее и почему до сих пор не отпускает ядовитая злость? Выходит, что Стефани одновременно обскакала ее и испачкала мечту о побеге из затхлого Блесфорда в мир настоящий и насущный. Если сестра, вкусив свободы, выбрала семейную идиллию с толстым куратом, значит поражение до ужаса возможно. Значит, каждая в любую минуту может стать рабой плиты, небьющегося розового сервиза с черными снежинками,

наглого бокастого чайника. Была, конечно, в этом тайная прелесть, если верить «Радуге» и «Юным женам»[192]: укромная жизнь с облагороженным супругом среди облагороженного скарба. Но в большинстве случаев и, главное, в Блесфорде — это был ад.

Она задумалась об Александре. Стефани отреклась от любви к нему, и от этого он стал еще менее земным и более далеким. Какой будет его жизнь, когда он, глубоко преданный искусству, прославится и разбогатеет? Тут ее воображение пасовало, как в той давней детской игре. Конечно, он будет слушать «Четыре квартета», ходить на репетиции своих пьес — все это она могла вообразить. Будет блистать на литературных вечерах… — а вот тут тупик. Главное ведь не чайники — живой разговор, а его-то она и не могла себе представить. Как говорят *там*? Уж наверное, не так, как в семействе Поттер. Там не разбирают до тошноты великие романы, там говорят так, словно сами пишут роман.

И конечно, будет кто-то, с кем он…

Стефани, оказывается, уже пробовала. Они никогда не обсуждали ее любовную жизнь, и

[192] Примечания: 192

Роман Луизы Мэй Олкотт (1832–1888), продолжение знаменитых «Маленьких женщин»; также известен по-русски как «Хорошие жены».

теперь Фредерика с тревогой думала, что у сестры *это* давно и, кажется, весьма просто. Это открытие злило ее не меньше, чем переход Стефани в лагерь мелкотравчатых буржуа. Получалось, что она, Фредерика, все еще мается в фойе — и в смысле чувств к Александру, и в смысле банальной постельной практики. Стефани оставила целомудренную, фантастическую мечту об Александре ради простой человеческой плоти. Теперь мечте предстояло перейти в разряд невозможного или сгуститься в нечто более отчетливое. «У нас уже было», «это было откровением»…

Несомненно, у Александра кто-то был в прошлом или появится в будущем. Следуя логике, ей нужно либо стремиться к *этому*, либо признать, что мечта навек останется мечтой. «Из плоти я и крови». Весьма вероятно, что он этого ни разу не заметил, да и не заметит. Но он, подобно Дэниелу (и в отличие от мистера Рочестера[193]), тоже сделан из плоти и крови. Следовательно…

Она решила, что жуткую выходку со Стефани надо загладить. Взять часть денег из отложенных на «Квартеты» и купить ей половник или скалку. Прикарманив оставленные сестрой чаевые, Фре-

[193] Примечания: 193

Мрачно-романтический герой романа Шарлотты Бронте (1816–1855) «Джейн Эйр».

дерика отправилась в «Хозяйственный рай».

«Уоллиш и Джонс» — сей храм изобилия — возник в ее жизни еще раньше, чем черное платье из игры во взрослых. С самого крошечного детства ее водили сюда смотреть на Санта-Клауса в его волшебном дворце или подземном гроте. Одним из ее первых воспоминаний был шарик с водородом, туго надутый, жемчужистый, на серебряной проволочке, полученный из рук сказочного бородача, склонившегося к ней с трона, мерцавшего мишурой и цветными фонариками в стеклянно-зеленых глубинах грота. Лишь десять минут держалась она за проволочку, а потом шарик взорвался в пасти темных, тяжелых, с мощными пружинами дверей дамской уборной. Она слышала собственный горестный вой, отражавшийся от серой плитки в безоконном закутке, — мука заточенной души, многократно усиленная эхом. Старшие говорили (сама-то Фредерика не помнила), что она утешилась розовым мороженым в «Четтери». Это было до нынешних роскошеств, и со своим зеленым кафелем, вязаными скатерками и простыми венскими стульями кафе имело вид почти аскетический.

Война плохо сказалась и на дворце, населенном мерцающими стайками фей, и на гроте, где обита-

ли гномы с алмазными пуговицами, добывавшие из недр самоцветы и деловито катившие их в тачках. Фонарики, мигавшие и переливавшиеся на дворцовых башнях, сталактитах и сталагмитах, блестящие каскады серебристо-сухой воды потускнели и обветшали. Скалы из папье-маше, остроконечные башенки, в которых волшебно теплились стрельчатые окошки, подернулись кое-где паутиной, как и гномьи полосатые чулки и тюлевые юбочки фей. Флаги на дворцовых башнях поистрепались и запачкались. Шарики, на которые шла нужная государству резина, исчезли. На смену истинным чудесам волшебной страны пришла обманная притягательность разоблаченной иллюзии. Недра грота оказались обычным театральным задником. Вместо почтенного седого мага, подарившего ей тот первый мерцающий, хрупкий шарик, воцарился хохотливый гаер неопределенного возраста в гриме и ватной бороде. Он, гнусно заржав, посадил Фредерику к себе на колени, потерся об нее колючей нарумяненной щекой, горячей лапой долго похлопывал и поглаживал ей попку и наконец подарил не то резиновую какашку, не то игру-

шечный уголек[194]. Оказалось, что это тюбик, из которого можно долго сосать лакрично-сладкий, искристый желтый порошок, красящий язык и зубы[195].

И все же оно осталось, ежегодное торжество фантазии, чья мерцающая вуаль осеняла прилавки, и стойки, и весь магазин, набитый и перегруженный вещами. Фантазия серебряной ниточкой вилась в нейлоне толстых чулок, шарами красного, зеленого, золотого стекла вспыхивала среди небьющихся тарелок, на черных ниточках подвешивала тряпичных гномиков и фей к свистящим и гремящим трубам пневмопочты, перегонявшей по зданию тубы с деньгами.

В те наивные дни некий технический гений устроил из служебного эскалатора дорогу, по которой ездили, подрагивая, миниатюрные колесницы в виде лебедей и драконов. Управляемые гномами и феями, они возносили желающих к дворцу Санта-Клауса или опускали в его же грот, после чего, громыхнув и качнувшись, скрывались из виду, чтобы снова повторить круг.

---

[194] Примечания: 194

По поверью, Санта-Клаус вместо подарков оставляет шалунам куски угля.

[195] Примечания: 195

«Лакричный фонтанчик» — популярное в то время лакомство.

Фредерике они всегда нравились, как нравились вагонетки в «аттракционах ужасов» и спиральные горки — пролет сквозь таинственную арку туда, где все по-другому, где правит сказочный обман. Но сегодня она ехала мрачная на серебристом, округло стелющемся под ноги эскалаторе и стоймя погружалась в бездну универмага. Мимо проплывали стойки с платьями строгими и крахмально-тюлевыми, кресла, радиолы, гостиные гарнитуры, столы махагоновые, ореховые, дубовые, нагруженные фарфором веджвудским, минтонским, колпортским, и граненым хрусталем, и дартонским стеклом с прозрачными слезками, застывшими в толстеньких ножках новомодных бокалов. Еще глубже вниз. В отделе спальной мебели оформитель сегментами расположил вокруг эскалатора разные варианты спален, разделив их фанерными стенками. Как апельсинные дольки, предлагались тут зрителю бесконечные воплощения идеи кресла, идеи кровати, идеи низкого турецкого дивана, небрежно драпированного полосатым пледом. Вот кроватная спинка в виде раковинной створки: пухлый, лоснистый, туго простроченный шелк. Вот без затей: светлое дерево с суконной обивкой. Бело-золоченые туалетные столики

(пуф прилагается). Ковры с цветочным рисунком, ковры белые с длинным мохнатым ворсом, ковры с узором из палочек, из вездесущих загогулин, напоминающих сперматозоиды, — коричневые, темно-розовые, ядовито-желтые. Каждая из недокомнаток имела по окну из фанеры и целлофана. Меж гардин в цвет кроватного покрывала, окаймленное подхваченным с боков тюлем, густо и ярко синело небо с горсточкой звезд (дело было во внутренней части магазина, где настоящих окон не было). И опять вниз. Первый этаж — царство необходимых мелочей и хитроумных изобретений, забавных новинок и броских безделиц. Средоточие пустоты. Еще вниз — и вот он, подземный «Хозяйственный рай». Тут в таких же сегментах поместились кухни, залитые поддельным солнцем, с яркими садиками в плосковатой перспективе окон, с бумажными цветами вдоль дорожек.

Фредерика сошла с эскалатора. Неприязненно оглядела карликовые кухни, не испытывая ни малейшего желания войти, испытать патентованные складные стулья или барные табуреты на длинных паучьих ногах. Равнодушно миновала новейший пластик, мутно-алый, больнично-белый, размыто-голубой и крапчатый «под

мрамор». Тогда не умели делать пластик чистых, ярких тонов, и он не имел пока собственной жизни, а лишь служил робкой имитацией других материалов. К тому же хороший тон диктовал: прежде чем использовать алый, к примеру, цвет для оживления интерьера, нужно сперва приглушить его и замутнить.

Окруженная всевозможными штучками, Фредерика хотела выбрать для Стефани что-то дешевое, разумное и добротное. Или что-то с элегантной, функциональной формой. Или некое экзотическое приспособление. Давилку для чеснока, деревянную ложку удобной формы, штопор. Словом, приятную мелочь сверх необходимого минимума, знак доброй воли и признания свершившегося факта. Но внезапно оказалось, что Фредерика не в состоянии даже дотронуться до этих вещиц. Любительница всевозможных глубин, она ощутила приступ клаустрофобии и поспешила наверх, туда, где воздух.

Галантерея была раньше одним из их любимых местечек. Сестры приходили сюда за кружевными воротничками для выходных платьев, за лентами для волос, тесьмой, резинкой, пуговицами, кнопками. В 1953 году Фредерика склонна была задним числом счесть эти походы за тягост-

ный ритуал. Впрочем, она сознавала, что можно смотреть на них и сквозь призму Диккенсовой грусти о мелочах невозвратной жизни. Именно так она увидит их в 1973 году. Но сегодня ее угнетали сверточки булавок и пакетики с иголками. Она рассеянно перешла в соседний отдел, откровенно легкомысленный, где безголовые черные бюсты были увиты позолоченными цепочками и стеклянными бусами, где с черных стоек в виде голых деревец свисали крупные круглые серьги, где гигантские бокалы для шампанского были до краев наполнены пластиковыми пузырьками винного цвета с примесью золотых, серебряных, жемчужных. Здесь прилавки были увиты радужной дымкой шифоновых шарфов, среди которых цвели георгины, розы, астры, пионы, маки, шелковые, бумажные или из модного «правдоподобного» пластика, с золотыми и серебряными листьями из фольги и чуть звенящего в руках тончайшего алюминия. Бродя среди всего этого, Фредерика ненароком вышла на возбужденно толкущийся кружок женских существ. Невдалеке жужжала вращающаяся дверь. Фредерика поняла, что перед ней отдел свадебных вуалей. Она остановилась и мрачно окинула его взглядом. В центре всего был стеклянный киоск. Внутри за-

травленно вертелась полная девушка. Вокруг нее на стеклянных полках красовались невысокие золотистые стойки с венцами и нимбами. Восковой флердоранж, лавр из серебряной бумаги, бархатные банты, диадемы со стразами, грозди круглых искусственных груш с проволочными черенками и непременно — свисающая фата с перекрестьями резких линий там, где пролегли складки. На одних венках тюль был уж изрядно захватанный, на других свежий, кипенно-белый. Вокруг центральной фигуры продавщицы происходило что-то вроде регбийной потасовки будущих невест, пролагавших путь локтями и бедрами. Снаружи было холодно и мокро, внутри — жарко. От твида, габардина и полусапожек на меху подымался пар. Деятельный круг невест был охвачен более широким кругом моральной поддержки: матери, бабушки, сестры и тети судорожно сжимали зонты, шляпки и подмокшие свертки с покупками. Девушкам удавалось просунуть голову к прилавку и даже вытянуть шею в сторону одного из круглых зеркал на металлическом стебельке, но протиснуть остальное тело не представлялось возможным. Они сгибались чуть не вдвое, выставив заднюю часть, неестественно удлинялись по косым линиям, шатко тянули

руки вверх к свадебным венцам, щупали, цапали. Дорвавшись и бережно опустив искомое на вспотевшие волосы, продолжали юлить и толкаться бедрами, чтобы удержать равновесие. Иная дева, надев фату и глянув в зеркало, оборачивалась показать родным вновь обрамленное лицо. Толпа швыряла ее с ураганной силой, и дева отчаянно цеплялась за соседок…

Фредерика смотрела как зачарованная. Тела тут толклись увесистые, добротные — зато как менялось лицо, осененное вуалью! Мелькала порой смущенная усмешка или гримаска недовольства, но стоило вспотевшей руке классическим жестом отвести от лица фату, как оно принимало готовое выражение робкой прелести, отрешенности, благоговения. Каких тут только не было лиц: круглых, лошадиных, строгих, малокровных, очкастых — и у всех приотворенные уста и в глазах трепетное изумление пред еще непознанной новой собой и новым миром. Фредерика решила, что все это, конечно, трогательно, но совершенно абсурдно, а потом перевела взгляд на их ноги — толкущиеся, суетящиеся, скользящие на грязном полу. Рассмеялась и пошла обратно в галантерею за какой-нибудь глупостью для Стефани.

В итоге она выбрала сразу две глупости: белые

лайковые будуарные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, в коробке вроде прозрачного гробика с розовым бантом и безумно модный тогда пояс-цепочку, что-то среднее меж собачьим поводком и кольчугой. Он застегивался на одно из звеньев цепочки, а свободный конец оставался висеть, как у средневекового кастеляна. Или у святого с веригами. На это ушли все деньги, отложенные на «Квартеты», зато Фредерика осталась довольна. Стефани может приберечь туфельки для медового месяца, но сперва пусть послужат нежданной вестью, знаком того, что Фредерика одобряет ее предприятие. Откровением, так сказать. Что же касается пояса, то тут Фредерика руководствовалась здравым принципом: брать то, что понравилось бы ей самой.

Закончив с подарками, она шагнула в жужжащую, крутящуюся дверь, описала ровный полукруг, вышла на улицу, глотнула свежего воздуха, капельку от него опьянела и решительно зашагала под серым дождем.

20. Paterfamilias[196]

У Александра было правило: не входить в дом к замужним женщинам, которых он любил. Это было неблагоприятно обеим сторонам. Женщинам либо не нравилось их жилище, и тогда они бывали рассеянно-раздражительны, либо втайне нравилось, и они стремились освятить его присутствием любовника (или наоборот). Была и третья возможность — до сей поры не воплощенная, но пугающая: однажды одна из них могла потребовать, чтобы он, вооружась колуном или паяльной лампой, принял участие в ритуальном разрушении дома, а потом овладел ею в гостиной на обрывках штор. Нужно заметить, что раз или два подобная развязка бывала пугающе близка. Александр предпочитал пребывать вне.

Он хорошо провел Пасхальную неделю. Писал Дженни, что скучает по ней всюду: бродя по родительской гостинице, открывая нумерованные двери, за которыми — несчетные, невозбранные постели, гуляя (увы, в одиночестве) над меловыми карьерами и вдоль линии прибоя в

---

[196] Примечания: 196
Отец семейства *(лат.).*

веймутских дюнах. У его родителей в подвале гостиницы было множество бурых эдвардианских кухонь, чуланов, судомоен, скупо обставленных, с плохо пригнанными застекленными дверьми и пыльными копровыми циновками. Там и сидели супруги, среди гигантских банок с томатным супом и коробок с сушеным луком, листали «Дейли телеграф» и слушали радио. Капитан Уэддерберн и его супруга содержали гостиницу самостоятельно. Они планировали заселения и отъезды, закупали провизию, сортировали грязные простыни и заменяли разбитые чашки. Об этом Александр Дженни не писал. «Родители в добром здравии и рады моему приезду», — сообщал он, хотя те едва нашли время перемолвиться с ним парой слов. Еще он писал изящные письма Кроу об остром удовольствии от одиноких прогулок и отсутствия мальчишек. Кроу бурлил надеждами на грядущее лето. Его ответы Александр носил в кармане вместе с письмами Дженни.

Когда он вернулся в Блесфорд, Дженни была в отвратительном настроении и держалась почти враждебно. Он не понимал до конца: расстроена ли она, что он уезжал, или раздражена, что самой ей пришлось безвылазно сидеть на месте. Было у них свидание на Замковом холме, в самый разгар

которого они заметили, что за ними наблюдают. В ежевичных кустах возникла и парила, по-видимому, отдельная от тела голова девчонки в красной сетке на волосах. Гнусное дитя улыбалось во весь рот. «Как Чеширский кот», — сказал Александр, но Дженни зло ответила, что смешного мало: она сама превратилась в Алису, вечно глядящую в замочную скважину на недоступные ей сады. Спасибо за метафору, но она предпочла бы сказке приземленную реальность.

Так и получилось, что Александр отправился к ней на чай, заранее обеспечив себе приглашение к Поттерам в тот же вечер, на той же улочке. Билл не разговаривал с Джеффри Перри с тех пор, как они поссорились из-за Томаса Манна, которого Билл назвал надутым шарлатаном. Джеффри ответил, что каждый имеет право на свое мнение. Билл заявил, что человек, уважающий свой интеллект, до такого не опустится. Джеффри парировал, что Билл не читает по-немецки. Билл сказал, что в данном случае это не важно. Джеффри обвинил Билла в узости взглядов, а Билл назвал его невеждой. Джеффри сказал Дженни (та, впрочем, его не слушала), что с Биллом лучше не разговаривать вовсе, чтоб не заразиться его злобной, неумеренной раздражительностью.

Дженни испекла для Александра особый пирог и заварила особый чай. Когда он вошел, она в восторге потерлась лицом о его лицо. Маленький Томас, сидевший у нее на руках, собственнически ухватил ее за щеку и потянул. Дженни устроила Александру экскурсию по дому, о которой он не просил. Он с тревогой осознал, что она приписала ему страстное желание влюбленного знать каждую мелочь ее сокровенной жизни. Дженни показала ему нежно-розовую уборную, детскую с обоями в стиле книжек Беатрикс Поттер и веселеньким мобилем в разбавленном стиле Миро[197], спальню со шведской мебелью и саржевыми шторами. В спальне Александр почувствовал себя вуайером, незваным и непристойным гостем. Дженни, тихо простонав, сжала ему руку. Томас, которого она несла на бедре, тоже издал что-то вроде стона. Она посадила ребенка на кровать и сама села с краю. Александр остался стоять. Томас, смеясь, дергал ее за одежду. Дженни слегка оттолкнула его, и он разревелся. Тогда она взяла его, ловко и бережно повернула к себе и пристроила его головку у себя на плече,

[197] Примечания: 197

Жоан Миро-и-Ферра (1893–1983) — каталонский художник и скульптор-абстракционист и сюрреалист. Работы Миро отличаются четкими контурами и яркими цветами.

так чтобы смотрел ей за спину. Резко поднялась и вернулась в гостиную.

Они пили чай, вздрагивая от каждого звука, томясь не желанием, но и не тем, что ему противоположно. Томас сидел в своем высоком стульчике и стеклянно-синими глазами смотрел на Александра. Александр мелкими глотками пил из розовой фарфоровой чашки и думал: «Она бы мне позволила, там же, на кровати, у него на глазах». Дженни сделала «солдатиков»: намазала мармайтом[198] узкие полоски тостов и протянула Томасу. Тот сбросил их на пол. Она повернула стульчик к окну:

— Смотри, Томас, деревья, небо синее, солнышко светит…

Томас сглотнул, крякнул, обернулся и продолжил смотреть на Александра. Тот почувствовал, что нужно что-то сделать и неловко протянул ему палец. Томас недоверчиво взял его в перемазанную маслом лапку.

— Ты ему нравишься… О господи! — горестно выдохнула Дженни.

Она вытерла слезы, взяла Томаса и посадила Александру на колени, одну искрящую руку

---

[198] Примечания: 198
Пряная соленая паста на основе дрожжевого субстрата.

задержав у него в паху. Шмыгнула носом и отступила взглянуть на обоих.

Томас был мал, горяч и увесист. Его ладошка лежала у Александра на руке. От Томаса пахло одновременно чистотой и грязью: запах мыла и мочи, гамамелисовой воды[199], мармайта и джема. Вот он, живой человечек, будущий мужчина, глядящий на Александра в упор, неодобрительно и мрачно. Малыш вдруг резко согнулся, заерзал всем своим мягким тельцем и чуть не свалился на пол. Дженни подхватила его, развернула к себе, чмокнула, прижала покрепче, чтобы перестал плакать.

— Он бы так тебя любил…

— Мне нужно к Поттерам.

Александр встал и отряхнул костюм.

— Я тебя люблю, — сказала она.

— И я тебя. Но я ничего не могу в этом доме. Это бессмысленно. Ты должна выбраться отсюда на целый день. У меня теперь есть машина…

— Как я выберусь?!

— Постарайся. Придумай что-нибудь, ты же умная.

— Я не могу больше терпеть. У меня *там* болит,

---

[199] Примечания: 199
Противовоспалительное средство.

понимаешь…

— Знаю. Поверь, мне тоже невыносимо…

Он выскользнул на волю и зашагал к Поттерам.

Дверь открыла Фредерика и тут же возвестила театральным шепотом:

— Назревает дикий скандал… По моим расчетам, вот-вот рванет. Последнее время мои родственники положительно невыносимы.

— Тогда, наверное, мне лучше уйти…

— Ну уж нет. — Фредерика закрыла дверь, отступать было поздно.

Все семейство сидело в гостиной. Со светом что-то случилось: он был мутноват и необычно холоден. Билл предложил Александру шерри, налил немного себе и ему, потом, подумав, капнул Уинифред. Никто, кажется, не стремился начать разговор, кроме Фредерики, неостановимо стрекотавшей Александру о том, как хорошо играла миссис Перри в «Она не должна быть сожжена». Дальше она, разумеется, сообщила о своем желании стать профессиональной актрисой. Видит Бог, она не намерена засесть в семейном гнездышке и расточить к дьяволу свои таланты. С тех пор как пришло письмо от Лоджа, предлагавшего ей роль Елизаветы до коронации, Фредерика

пребывала в эмпиреях (за исключением неприятного случая в «Четтери») и повадилась уснащать свою речь клятвами и проклятиями, не то чтобы устаревшими, но явно восходящими к известной ругательнице Елизавете. Одно это было достаточным испытанием для окружающих. Александр попытался охладить ее жар статистикой безработицы среди актрис. Билл сказал, что она поступит в университет, получит хороший диплом, как Стефани, и тогда сможет выбрать себе нормальную профессию.

— Как Стефани, — передразнила Фредерика.

— Да, как Стефани. Хотя, должен заметить, тебе весьма не хватает ее самодисциплины и уважения к правде.

— Если Стефани все сделала, как ты хотел, значит ее карьера тебя устраивает?

— Она могла бы найти место получше. И найдет. Блесфорд для нее только этап.

— Ничего ты не знаешь ни о ней, ни о ее планах. Ты понятия не имеешь, чего она хочет, чего мы все хотим. И что ты с нами со всеми сделал…

— Фредерика, постой, — краснея, вмешалась Стефани.

Александр взглянул на нее с любопытством и подумал, что Фредерика так точно предсказала

скандал, потому что сама же намеревалась его разжечь.

— Я знаю, — сказал Билл, — что Стефани хочет слишком малого. Я ей все время говорю, что она напрасно тратит себя в этой своей школе. Вы, Александр, я уверен, со мной согласны.

Александр растерялся, но его невольно выручила Уинифред, раздраженная Фредерикиным дивертисментом и потому утратившая осмотрительность:

— Все это глупости! Стефани, скажи, у тебя что-то случилось?

— Ровно ничего не случилось. Просто я выхожу замуж. Но я не хотела пока об этом говорить. — Все это она произнесла, почему-то обращаясь к Александру, и лицо у нее сделалось несчастное.

— Позволь спросить — не из желания, ибо его нет, а из чувства долга — за кого? — поинтересовался Билл.

По-прежнему глядя на Александра, она ответила:

— За Дэниела Ортона.

— И кто же этот Дэниел Ортон?

Совершенно неясно было, что это: забывчивость или высшая степень сарказма. Фредерика не замедлила с ответом:

— Это курат. Ну, тот, что к нам ходит. Тот, что приходил насчет котят.

— Невозможно, — сказал Билл.

— Поздравляю, — оторопело проговорил Александр.

— Ты, наверно, спятила.

— Я все обдумала. Я хочу за него замуж. И он хочет, чтобы мы поженились. Такие вещи каждый решает сам за себя.

Билл презрительно фыркнул.

— Папа, не начинай, пожалуйста. Прошу тебя. Это серьезно. И это моя жизнь. Не начинай.

— Твоя жизнь. И какую же жизнь ты рисуешь себе с этим чертовым куратом? Пустопорожние беседы, коленопреклонения, герлскауты, материнские союзы, рождественские ярмарки? Ты совершенно не приспособлена к этому благостному бытию. А верней сказать — небытию! Это — скаковую лошадь запрячь в телегу! Ты в первую неделю с ума сойдешь. Хотя, кажется, ты уже сошла. И он должен быть сумасшедшим, чтобы этого от тебя ожидать. Или не иметь воображения. Это, кажется, вероятнее.

— Папа…

— А главное — он верующий. В наши дни это не много значит, но все же. Надеюсь, ты не уве-

ровала по его примеру. Надеюсь, хоть до этого не дошло.

— Нет, но…

— Что «но»?!

— Он работает, и работает для людей. Я это уважаю.

— Эта работа не для тебя! Идиотка! Там не нужен твой талант, зато нужно кое-что, чего у тебя нет. Он, наверно, вообще ни о чем не думал, раз с тобой связался. Его викарий ни за что не допустит… Господи, Стефани, ты что, серьезно хочешь вступить в организацию, которая на женщину смотрит глазами апостола Павла? У них там наверняка пунктик насчет «плодитесь и размножайтесь». Святость ежегодного отёла. Стефани, ты превратишься в корову! В корову, в рабыню, в развалину, в подавальщицу чая! Ты не можешь так с собой поступить.

— Перестань. Ты Дэниела не знаешь, а делаешь из него монстра. Это непорядочно.

Билл картинно повернулся к Александру:

— Это я виноват, конечно. Я. Я что-то упустил. Всем моим детям не хватает характера. Характера и упорства. Они боятся настоящих испытаний. Они ускользают. Мой сын — дурак не от мира сего, а дочь собралась замуж за шарлатана, за

карикатуру, решила погубить свой единственный талант…

— Да, ты виноват, — вмешалась Фредерика. — Ты всю жизнь делаешь то же, что сейчас. А потом удивляешься, что мы тебя не слушаем. Да как тут слушать, если ты своими рацеями убиваешь любую мысль? Она, наверно, и за курата идет тебе назло, чтобы больше поучений твоих не слушать. Ты же у нас всегда прав…

— Фредерика, помолчи, — сказала Уинифред. — И ты тоже, Билл. Хватит. Вы сейчас натворите такого, что потом не исправить будет.

— Я вот и стараюсь, чтобы она не натворила. Ты что, хочешь, чтобы она вышла за этого жирного ханжу?

— Не хочу. Но наши желания тут не в счет. Это ее решение, и я ее поддержу.

— Только благодарности не жди. Она намерена нас основательно унизить.

— Нет, — твердо и холодно сказала Стефани. — Вы с Фредерикой можете воображать что угодно, но к вам это отношения не имеет. Я его люблю. И мне непросто. А вы все делаете еще сложней. Но вы ничего не измените, поэтому, пожалуйста: не продолжайте.

Билл взял стопку книг, увенчанную пепель-

ницей, и швырнул в дочь. Стефани уклонилась. Книги, глухо стуча и трепеща листочками, рассыпались вокруг нее. Пепельница попала в маленькую настольную лампу. Полетели осколки, запахло горелым. Стефани нагнулась и подобрала две книги. Руки у нее тряслись. Александр заметил на губах у Билла засыхающую полоску пены. Он отвел глаза и произнес:

— Я думаю, сейчас всем нужно замолчать. Мне здесь, конечно, не место. А Стефани очень расстроена.

— Расстроена, — сказал Билл. — Расстроена. И правильно! И я расстроен. Но будь по-вашему: я умолкаю. Больше к этой теме не вернусь. Никогда. Ты, Стефани, можешь поступать, как хочешь, только меня от участия уволь. И будь добра больше со мной об этом не говорить.

Он обвел всех гневным взглядом, коротко кивнул Александру и вышел, яростно хлопнув дверью. Уинифред, с ничего не выражающим лицом, вышла вслед за ним.

— Я предупреждала, что будет ужас, — сказала Фредерика.

— От твоих штучек легче не стало, — ответила Стефани.

— Я хотела, как лучше.

— Сомневаюсь, — сказал Александр.

Стефани сидела, обхватив себя руками. Ее трясло. Александр пересел к ней:

— Как вы?

— Средне. Меня тошнит.

— Не стоит так всерьез принимать чужие эмоции.

— Нас так воспитали.

— Сомневаюсь.

— Напрасно. Нас учили верить в разум, доверять людям, быть человечными, терпимыми. Научить ведь можно чему угодно и как угодно. Я теперь уже не смогу к нему по-прежнему относиться.

Она говорила тихим, каким-то детским голосом. У Александра мелькнула нехорошая мысль, что, возможно, речь сейчас не о Билле, а о Дэниеле, что это к нему Стефани не сможет относиться по-прежнему.

— Он потом остынет, — нарочито бодро заверила Фредерика. — С ним всегда так.

— Остынет, и получится, что я все эти гадости выслушала зря. Я же еще должна буду притворяться, что ничего не произошло. Он всегда так делает, всегда. В итоге получается, что он ничего такого в виду не имел, зато мы все злопамятные

и нехорошие. Он свои гадости отменяет, а ты виновата, что не можешь сразу все забыть и начать плясать.

— Не стоит тратить себя на такой абсурд.

— Не стоит, — очень холодно повторила она.

— Стефани, ступайте и поговорите с Дэниелом. Как можно скорее. Сейчас.

— С ним? Как я ему об этом расскажу? Это ужасно, я не смогу…

— Теперь это его дело, — мягко сказал Александр.

Стефани зарыдала, крупно вздрагивая. Ей было невыносимо страшно.

— Я его не помню. Не могу вспомнить по-настоящему. Я ведь тоже и спорила с собой, и сомневалась… насчет Церкви и прочего…

— И не нужно вспоминать. Он никуда не делся. Он живой.

Александр обнял ее, и она почувствовала пряный запах его одеколона. Ирреальность в этом смысле самого Александра и его присутствие сейчас были почему-то утешительны. Она жалась к нему и плакала, а он все гладил, гладил ее по волосам.

Фредерика, никем не замечаемая, сидела на диване. Произошедшее потрясло ее и наэлек-

тризовало. На них и раньше ураганами налетал гнев. И это далеко не первая разбитая лампа. Они живут мифом нормальной семьи, собственного мирка, защищенности, крепости устоев. Но в фасаде трещины, ветер врывается в них и воет. Вой будет слышен всегда. Ошеломительная мысль! Согласно поттеровской доктрине, вой, гримасы, нагое безумие лишь временные отклонения от жизненного курса. Как бы не так! Они — суть жизни. Если понимаешь это, можно играть по-настоящему. Она выпрямила поджатые ноги, похлопала Стефани по плечу (та отшатнулась) и вышла.

— Мне кажется, я не подхожу для жизни, — сказала Стефани.

— Глупости, — отвечал Александр.

— Нет, правда. Это из-за него я себя так чувствую. Нелепое чувство.

— Вы его задабриваете жертвами, как Иегову. Этого нельзя делать.

— Вы тоже так думаете?

— Да, потому что от этого еще хуже. И ему тоже.

— Я хочу умереть. Не быть.

— Вы хотите замуж за Дэниела.

Он легко и нежно поцеловал ее в губы. Она

склонила голову ему на плечо, и так они сидели вдвоем. Стефани сказала правду: вспомнить Дэниела она не могла.

21. Английские куклы

Фредерика вручила Стефани свои дары, сопроводив их эффектным жестом и извинением. Стефани поблагодарила и сказала, что не стоило беспокоиться. Рассмотрев эту фразу со всех сторон, Фредерика пришла к выводу, что сестрица достаточно умна, чтобы понимать, как может ранить это «не стоило...». Она старалась быть снисходительной: у сестры непростое время. И все же Стефани могла бы сообразить, что Фредерика и сама на пределе.

Ее разбирала неопределенная злость, вызванная порнофильмом — мутным и со многими пропущенными сценами, — который теперь непрерывно играл у нее в голове и еще кое-где. Дэниел, несмотря на толщину, сделался ей зверски интересен: почти помимовольно ее воображение задирало ему пасторскую рубашку и приспускало штаны. Фредерика пыталась вообразить тяжесть его гороподобного живота, краем сознания ловила промельки: полнокровную скачку мягкого белого и шероховатого, шерстистого, темного. Она раздевалась, голую себя подставляла воздуху, но он не проницал, а лишь

окутывал тошным жаром. Она огрызалась на всех, гарцевала и хвастала, но ответ встречала лишь в зеркале. Наконец Уинифред сказала, что неплохо бы ей прогуляться. Фредерике словно пружину спустили. Она тут же села в автобус до Калверли, чтобы оттуда ехать на норт-йоркширские пустоши и топать по ним до изнеможения.

Позади Калверлейского собора, где она побродила минут пятнадцать, был автобусный круг. Фредерика села в коричневый автобус, идущий на Готленд и Уитби, и устроилась у окна, смутно надеясь, что поездка на время избавит ее от себя самой. Вошел мужчина и сел рядом. Она, как полагалось, привстала, отодвинулась, подобрала юбку, давая знать, что уступает часть своего пространства. Ее сосед мгновенно разбух и занял уступленное. Автобус покатил прочь из Калверли. Фредерика быстро глянула на соседа. Он казался исключительно плотным в своем красновато-буром костюме из мохнатой шерсти. Квадратную руку, лежащую на колене рядом с ее ногой, украшал золотой перстень-печатка. Фредерика принялась смотреть в окно.

Кончился Калверли, автобус стал карабкаться в гору. Фредерика немного разжалась от жары и ворчания мотора и стала думать. Она думала

о Расине[200]. Они как раз проходили «Федру». Мисс Пласкетт, француженка, без конца задавала им характеристики персонажей. Разобрали уже Федру, Ипполита, Арикию, Энону. До Тезея пока не дошли. Такова была программа аттестата А, и в результате подобных упражнений Расин делался неотличим от Шекспира, а тот — от Шоу: в прошлом триместре точно так же разбирали Иоанну, Дюнуа, Кошона, де Стогэмбера[201]. Обсуждалась в первую очередь роль персонажей в развитии сюжета, и лишь потом, в виде шапочки сбитых сливок поверх бисквитно-фруктового десерта, — их личные свойства, особенные черты, отделяющие их от прочих.

Еще одно почтенное занятие, при котором Расин и Шекспир сливались, а Шоу оказывался крепковат для зубов умненькой искательницы аттестата А, — поиск повторяющихся образов. Кровь и младенцы в «Макбете». Кровь, свет и мрак в «Федре». Тут, если вдуматься, Расин с Шекспиром становились подозрительно похожи на Александра Уэддерберна. (Шоу был сложней.

---

[200] Примечания: 200

Жан-Батист Расин (1639–1699) — выдающийся французский драматург, нередко обращавшийся к античной истории и мифологии.

[201] Примечания: 201

Имеется в виду пьеса Джорджа Бернарда Шоу «Святая Иоанна».

Если не повторять слово в слово за ним, то сказать было почти нечего. Человеку с мозгами почти оскорбительно твердить чужие комментарии — пусть даже и авторские[202]. Да, с этой стороны к Шоу не подберешься. Имелся наверняка другой путь, но Фредерика его хоть убей не находила.)

Но постойте. Читая Шекспира и Расина, замечаешь ведь прежде всего различия — во всем. Должен, значит, быть способ описания различий. «Сопоставьте образы Федры и Клеопатры как женщин, охваченных страстью». Не то, не то! Любое сходство — обманка.

Расина еще отличает, конечно, александрийский стих. Читая его, нужно думать по-особому. Сама форма мысли меняется, если думать замкнутыми строфами, вдобавок расколотыми цезурой, да еще и на французском, то есть с ограниченным словарем.

> *Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée.*
>
> *C'est Vénus toute entière à sa provie*

[202] Примечания: 202

Имеются в виду авторские комментарии, предваряющие действие в «Святой Иоанне».

attachée[203].

Две строки, вдохом поделенные на четыре отрезка. Отрезки уравновешены идеально даже здесь, где стих напоен мукой. А как подчеркнуты рифмой *cachée* и *attaché*! Видит ли ее читатель — *Vénus toute entière*?[204] Фредерика всегда видела неведомое, безлицее существо, прянувшее, слившееся с жертвой, как лев, что впился в коня на картине Стаббса[205]. Внешнее когтит и раздирает внутреннее. Но стих разделяет их — и связует нерасторжимо… Ну или что-то вроде этого. Если заняться мыслительным процессом, лежащим в основе александрийского стиха, думала Фредерика, можно, наверно, что-то найти, увидеть, как четко *обоснован* каждый образ там, где у Шекспира все течет свободно. Она глядела в окно и улыбалась улыбкой чистейшего удовольствия, а за окном тянулись уже пустоши, заросли жесткой травы у обочины вдруг раскидывались широко,

---

[203] Примечания: 203

Не робкая мечта в крови живет таясь —
Венера целиком с добычею слилась (фр.).

[204] Примечания: 204

«Живет таясь» и «слилась». «Венера целиком».

[205] Примечания: 205

Имеются в виду *Джордж Стаббс* (1724–1806), английский биолог и художник-анималист и его картина «Конь в когтях у льва».

перемежаясь островами пушицы с дрожащими белыми султанчиками. Земля шла горбами и складками, трескалась, и тянулись до горизонта обнаженные гранитные пласты, вереск и папоротник-орляк.

Мужчина с печаткой потихоньку наползал. С ней часто бывало, что соседи без зазрения совести посягали на ее часть сиденья. Крупный соседский зад грел ей бедро. Буро-шерстяная рука была уже явно на Фредерикиной территории. Автобус круто повернул, сосед качнулся и, ловя равновесие, схватился за ее колено.

— Прошу прощения.

— Ничего.

— Далеко?

— До Готленда.

— Живешь там?

— Нет.

— Погулять?

— У меня день свободный.

— Аналогично. Выдался денек — захотелось в глушь забраться. Одна едешь?

— Да.

— Аналогично.

Экономно выражается, подумала Фредерика. Мужчина тем временем снова погрузился в

молчание. Его зад словно бы еще вырос и приблизился. Его лацкан задевал ей грудь. Фредерика чувствовала, как он дышит. Она уткнулась лицом в стекло и стала изучать заоконный пейзаж. Бурый, прошлогодний цвет: поблекшая ежевика, сухой вереск, а под ними — новая сырая земля и наступающая зелень. Бывает искусство без пейзажа — до пейзажа, а может, и после. Расин, например, не стал бы всматриваться в оттенки ежевики, да и недавно открытый ею Мондриан[206], конечно, тоже. А вот если живешь здесь, то всматриваешься в природу, кладешь ее образы в основу мышления и восприятия, как сестры Бронте и их героини. И все же не видишь толком ни ее, ни сквозь нее: слишком много ассоциаций сгущается перед взором. Ей на миг представилась некая квартира в Лондоне — возможно, будущая обитель Александра: гладкое бледное дерево, много белизны, сдвинутые шторы, приглушенный свет. Все формы явно искусственные: квадратные, скругленные, обтекаемые. Тут и там по чуть-чуть золотого и кремового. Она улыбнулась, и бурый сосед снова обернулся к ней:

— А чем можно заняться в том местечке?

---

[206] Примечания: 206

Питер Корнелис Мондриан (1872–1944) — голландский художник, один из основоположников абстракционизма.

— Не знаю. Говорят, там очень красиво.

— Слыхал. Пожалуй, поброжу, разомну ноги. Даже странно: работа — сплошные разъезды, а в выходной меня опять куда-то тянет. Я за эту неделю исколесил все графство: Хаддерсфилд, Вейкфилд, Брэдфорд, Йорк, Калверли. Был в Харрогите на кукольной ярмарке. Я представляю фирму игрушек. И что бы, кажется, на досуге не посидеть спокойно? Но вот поди ж ты, чувствую какую-то тягу…

Фредерика осторожно кивнула. Сосед продолжал с внезапной вспышкой раздражения:

— С этими разъездами понемногу остаешься один. Семья отвыкла, дом как не мой. Я в них уйму денег вкладываю — ты не поверишь, горстями сыплю! И что я с этого имею? Ничего. Моральное удовлетворение: со мной им живется вольготней, чем жилось бы без. Нет, я все понимаю и не обижаюсь. Я не прихожу каждый день к ужину, не сижу в гостиной, — конечно, я выпадаю из их жизни. Бывает, вернусь и чувствую: мне не рады. Я в тягость. Поэтому теперь стараюсь возвращаться пореже. Не рвусь из жил, не лечу к ним при первой возможности. Возьму номер в гостинице, пошлю им открытку покрасивей, а сам поразведаю окрестности, увижу что-нибудь

занятное, поговорю с людьми. В конечном итоге это лучше, меньше разочарований.

— Согласна, — кивнула Фредерика, так и не узнавшая, кто населял дом бурого соседа, — родители, жена, дети? — У меня вот тоже сестра замуж выходит. В доме полнейший бедлам.

— Не сомневаюсь! — с энергическим сочувствием отозвался сосед.

В Готленде автобус остановился возле паба. Было холодно. Тут же на кочковатом выгуле расхаживали гуси, и черномордые йоркширские овцы неспешно бродили, жевали траву, хмуро глядели на проходящих, а наглядевшись, трусили прочь.

— Зайдем? Я угощаю, — сказал Фредерикин спутник.

Фредерика думала отказаться, но она еще ни разу не была в пабе. Хотелось посмотреть. На вопрос, что будет пить, отвечала: виски. Во-первых, виски с медом ей давали, когда она болела, а во-вторых, он как-то больше подходил пабу, чем шерри или джин с лаймовым соком. Спутник взял ей два стаканчика виски и стал говорить о куклах.

— Как ни странно, немецкие куклы гораздо лучше наших. Умеют фрицы, ничего не скажешь.

Личико милое, волосы мягкие, и все так тонко сделано, как у живой. А у наших лица деревянные, щеки круглые, красные, как не бывает. И глаза как галька, наклонишь куклу — гремят. Как только они детям нравятся, не понимаю… Губки сладенькие, а цветом натуральная кровь, и выражение приторное, присмотришься — даже тошно сделается. Я, впрочем, не присматриваюсь, мое дело продать товар. Да и знаешь, детям-то все равно, что любить. Они, похоже, и не видят толком, что они там нянькают: любая тряпка, любая резиновая дрянь сгодится. Я это много раз замечал. Но когда имеешь возможность сравнивать, приобретаешь, так сказать, понятие об идеале. Я бы вот сделал другую куклу. Естественную. Мягкую и со складочками, как у настоящих младенцев. Чтобы пила, и пеленки мочила, и все прочее. И ножки слабенькие, бесполезные, как у малышей. Я бы сделал эскиз, но ни одна фирма не купит, скажут, некрасивая, лысая, животик торчит… Или вот куклы-мальчики. Их почти не делают, только если негритят или карапузов в голландских панталонах. А под панталонами все гладко и благопристойно. Неужели дети не спрашивают, где у него петушок, морковка, краник, или как они его там называют? Они же не дураки,

понимают, что к чему. И зачем им прививают этот дурацкий стыд? Его потом за всю жизнь не вытравишь… Еще виски? Что плохого, если у куклы все как у людей? Но сделай я такую — меня растерзают.

— Да уж наверняка. У меня в детстве была резиновая кукла. Ее звали Анжелика. Она была хорошая, но у нее испортился живот: кофточка к нему прилипла, и все вместе как будто расплавилось. Это был ужас.

— Ты ее, наверно, тискала и перегрела. Резину хорошо присыпать тальком… Теперь волосы. Волосы опять-таки лучше у них. Выбор больше, цвета натуральнее. У наших-то черный либо блондинистый. Ну еще каштановый, если его можно так назвать, — по сути, дешевая хна. А там волосы на волосы похожи, и прошиты лучше. Не рядами, как можно бы ожидать от фрицев, а кусточками, и по всей голове. Есть у них куклы прямо волшебные. Поневоле усомнишься в знаменитом английском качестве. Не хотел бы я расхваливать фрицев, уж поверь мне: я в войну всякого насмотрелся, но правда есть правда. Впрочем, ни фрицам, ни нашим никогда не сделать такие дивные, мягкие волосы, как у тебя. Я раньше таких и не видел: необыкновенный цвет.

Говорю как есть, уж не взыщи.

— Спасибо, — с неуместной важностью произнесла Фредерика.

— Не за что. Я служил в Германии в оккупационных войсках и скажу тебе: чего точно не ждешь от немцев, так это кукольного художества. Скорей уж абажуров из человеческой кожи или живых скелетов в концлагерях — когда мы польские лагеря освобождали, видели таких. Знаешь, на что похоже? На статуи мертвецов и скелетов с епископских надгробий — раньше епископы их заранее заказывали и держали у себя, чтобы помнить о смерти. Вот и представь: целая толпа таких тебя окружает, все трясутся, лопочут, вонь страшная. Тут бывалых людей наизнанку выворачивало, да и нервы потом ни к черту. Странное дело: шли мы людей освобождать, а смотрим на них — и никак их за людей счесть невозможно… Еще виски. Нет? Тогда прогуляемся?

Под столом он потерся ногой о ее лодыжку, мятый, морщинистый носок заерзал по нейлоновому чулку. Фредерика поняла, что тут соблюдаются, пусть и с налетом чудачества, правила некой неведомой ей игры. Столько-то выпить, столько-то поговорить — все отмерено заранее, и вот:

— А звать-то тебя как?

— Фреда. Фреда Пласкетт.

— Необычное имя. А я — Эд. По-настоящему Эдвард, конечно. Мне так и нравится больше, но что поделаешь: каждый кличет Эдом.

— Значит, Эд.

— Пойдем?

Они прошли по главной улице Готленда, потом по шоссе, измельчавшему до проселка, потом перебрались через ручей и сделали шаг-другой по настоящим пустошам. Тут стало ясно, что идти дальше Эд не намерен. Если Фредерика не боится замерзнуть, то он предложил бы ненадолго присесть. Фредерика не боялась. Эд снял макинтош и расстелил под кустом шиповника, смутно веявшим романтикой Вордсворта. Фредерика, вся из негнущихся углов, села с краю. Она повторяла себе, что есть вещи, которые нужно узнать, и тогда они не будут ее так мучить. Фредерика, конечно, читала «Любовника леди Чаттерли», «Радугу» и «Влюбленных женщин», но нельзя сказать, что от знатока кукол она ожидала откровения. Ей просто хотелось хоть частично избавиться от неведения. Хотелось знать. Понять истоки своей маяты.

Эд тяжеловато приподнялся на локте и загля-

нул ей в лицо. Фредерика отвела глаза. Оказалось, что за все это время она его так и не рассмотрела. Было только впечатление тяжелой челюсти, чисто выбритых отвисших щек. Еще волосы щеткой, жесткие, буроватые.

— Удобно? — спросил он.

— Более-менее.

— Ты лучше приляг.

Фредерика легла.

— Вот и умница, — сказал он и привалился к ней.

Перекинул ногу через ее колени, ткнулся лицом к лицу и принялся легонько всё его целовать горячими, твердыми, сухими губами: лоб, щеки, закрытые веки, подбородок, губы. И он оказался демонски умел, он воплощал некую привычную последовательность и через сколько-то сухих поцелуев занялся уже только губами. Он целовал, прикусывал, тер губы о губы. Наконец, дыша куревом, чаем и пивом, проник ей в рот языком — чудовищным, круглым, взбухшим. Стукнулись, скрипнули зубы о зубы. Фредерика пыталась вывернуться, но он только сильней притянул ее к себе и навалился сверху. Он вжимался в нее твердым выступом и терся, терся об нее, и вот ее язык, забившийся вглубь рта, вдруг обмяк и

мельком коснулся его языка. Фредерику затрясло от волнения, отвращения и какого-то безличного, мерзкого и упорного любопытства. А вдруг он сексуальный маньяк? Надо было раньше думать.

Тут он нырнул рукой ей под юбку и по ноге скользнул вверх к плотным девчачьим панталончикам. Принялся там тереть так же умело. Фредерике стало не то стыдно, не то мерзко. Захотелось вырваться. Я с ума сойду, думала она. Мне нужно знать, но я не выдержу. Не важно, как именно узна́ешь. Не должно быть важно. Она пыталась сдвинуть ноги, пыталась сказать «нет», но он придавил ей бедра, зарылся ртом в ее рот, а деловитая рука его тишком просовывалась уже за край панталончиков, где, к Фредерикину жгучему стыду, становилось жарко и мокро. И вот что странно: чем ей было противней, тем больше разгоралась внутри какая-то механическая жадность, и бедра сами собой подымались и елозили, зазывая неотступную, назойливую руку. И когда он всадил в нее два пальца, Фредерика, насаженная, принялась извиваться в какой-то новой муке, и судорога содрогнула ее, и на глазах выступили слезы. Она представила себе эти упорно работающие пальцы: короткие, тупые, желтые от табака, чужие, грязноватые — и взбесилась

от противоположных страстей, стала кусать его, выгнулась, выбросила руку не то дернуть, не то приласкать щетинистые волосы, оказавшиеся послушными, детски-мягкими. Платье у нее задралось, ногам было холодно и влажно-горячо… А что, если ей вдруг захочется пи́сать? От этой мысли она мгновенно замерла. Тогда он мягко взял ее руку и положил себе поверх гульфика. Фредерика подождала немного, чуть надавила там из вежливости и руку убрала. Она не знала, чего он от нее ждет, и в любом случае не хотела этого делать. Она вся вдруг как-то размякла. Когда Эд снова взял ее кисть, Фредерика твердо освободила ее и отвернулась. Эд резко сел и стал тщательно вытирать руку о платок. Она сдвинула ноги, замкнулась там, где все жгло, саднило, пульсировало. Взглянула на Эда, пытаясь понять, как трактовать его поведение. За отсутствием опыта ей не с чем было сравнить: был это для него закономерный итог, или грандиозное разочарование, или пристрелка перед атакой? Тем временем, глядя на равнодушную пустошь, Эд вдруг заговорил:

— В войну, еще до Берлина, моя часть стояла в Каире. И вот мы с несколькими парнями ходили по местным борделям. У них там были

представления — и обычные, и, так скажем, не очень. Обычные-то везде можно увидеть, да и не большой я любитель пляшущих шлюх. Но бывали и особенные местечки. В одном, например, в крепкой такой сетке подвешивали к потолку осла, а внизу под ним ложилась девица. И вот она его заводила и руками, и ртом, и еще по-всякому. С огоньком девица была. У осла инструмент здоровенный, прямо сетку рвет, да еще она его раззадорит, а добраться-то до нее никак. Хорошо сетка добротная была, а то бы он им показал кой-чего: всю бы ее распахал, отсель и до макушки. И вот он рвется, значит, копытами в воздухе молотит, а она под ним егозит. Занятное зрелище.

Он так же резко умолк. Фредерика не знала, что ответить. Так и сидели рядом, озадаченно нахмурясь. Потом он сказал:

— Пора бы нам в Готленд возвращаться. Как раз успеем на автобус до побережья.

— Я, наверно… я тут останусь и погуляю.

Посидели еще.

— Ну, я пойду, пожалуй. Встань-ка, я заберу плащ.

Фредерика поспешно встала. Он поднял макинтош, тщательно его отряхнул, перевесил через руку и, молча кивнув, зашагал по проселку

обратно.

Фредерика не очень-то много погуляла: прошла немного по пустоши, потом без особой цели вернулась к проселку. Желание бродить оставило ее, как и давешний порнофильм. Конечно, об исчерпывающем познании говорить не приходилось, но уже сейчас она знала много больше, чем когда отправлялась в путь. Она двинулась дальше по проселку и вскоре увидела возле каких-то ворот очень чистую серебристую машину. Машина сперва показалась, а потом и оказалась знакомой. Фредерика подошла к ней и, поставив руки ширмочками, заглянула в переднее стекло.

Спереди никого не было. Сзади, неграциозно спустив ногу с сиденья, над некой женщиной раскинулся Александр. Он был в пиджаке и брюках, рубашка выбилась и буграми торчала из-под пляшущих вельветовых фалд. Его прекрасные волосы гладко и мягко свесились, скрывая его лицо и лицо женщины, щекоча ее. Фредерика замерла и вперилась. Сжираемая любопытством, она смотрела и не могла оторваться. Александр что-то почувствовал, поднял лицо, порозовевшее и нежно сияющее, и встретился глазами с Фредерикой.

Обрамленное ладонями видение Фредерики

посреди Готлендских пустошей было куда похуже чеширской мордочки девчонки с Замкового холма. После эпизода с Эдом Фредерика подправила косметику, и теперь на Александра глядело нечто кукольно-пестрое по тогдашней моде: позолоченные веки, мерцающий темно-бордовый рот, а вокруг — бледная, запудренная маска. Рыжие волосы и крупные, длинные висячие серьги, тоже позолоченные. Лицо Фредерики, насколько мог судить Александр, выражало жестокое и жадное любопытство. Невыносимо долгое мгновение они молча смотрели друг другу в глаза. Потом у Александра мелькнула отчаянная мысль, что если снова опустить голову, скрыв лицо Дженни, то Фредерика ее не узнает. А если не обращать внимания, то, может, со временем и уйдет. Ибо Фредерика, увы, не была галлюцинацией: она даже успела надышать на стекле туманчик. Александр со всем возможным достоинством скрючился поверх Дженни и слушал собственное дыхание. По многим, многим причинам, включая эстетические и физиологические, жалел он сейчас, что они с Дженни остались в машине. Но его любимая сказала, что снаружи слишком холодно.

Водворившись в автобусе, Фредерика с удив-

лением увидела, что по ступенькам восходит Эд. Еще больше удивилась она, когда, войдя, он направился к ней, сел рядом и вытащил толстую черную записную книжку. Автобус еще не тронулся, а Эд уже сообщил ей деловым тоном, что желал бы записать ее имя и адрес. На случай, если будет в ее краях, что с его работой вполне возможно. Фредерика повторила фамилию мисс Пласкетт и составила мнимый адрес из улицы, где жил Дэниел, и номера дома Дженни. Потом взяла по половинке от телефона собственной школы и номера семейного доктора. Подлинные сведения в фиктивном сочетании обладали правдоподобием, недоступным чистому вымыслу. Фредерика весьма гордилась своей фикцией, хоть и недоумевала, зачем бы она понадобилось Эду. Он же, сопя, медленно и тщательно все записал и до самого Калверли не проронил больше ни слова. Впрочем, на крутых поворотах его зад наползал на нее, как вначале.

А Фредерика тем временем думала, причем думала в полный серьез. День получился путаный, зато в нем много было важного: Стефани, Калверлейский собор, Расин, пустоши, Эд, Александр. Взятые как единое целое, они вызывали некоторую тревогу. Если, например, нехоро-

шие картинки, возникавшие у нее при мысли о Дэниеле, связать с Vénus toute entière, а потом с Эдом, а его горячий взбухший язык связать с горячим, взбухшим членом осла, и все это — с Александром, да если еще, в плане эстетической разработки, добавить сюда витающие над пустошью призраки Кэти и Хитклиффа[207] и торчащий шпиль Калверлейского собора с его банально-фрейдистскими коннотациями, — то получится, если можно так выразиться, органичный образ, безусловно удручающий, хотя и мощный.

Но можно ведь не смешивать. Можно на все смотреть по отдельности, и тогда многое увидится правдивей.

Расин, скажем, был ей важен из-за александрийского стиха. Vénus toute entire — лишь пример, и не самый удачный, просто всем известный и легко всплывающий в памяти, пока автобус вприскачку катит по пустошам.

Далее. Пустошь никакого отношения не имеет к Кэти и Хитклиффу, если сама Фредерика не свяжет их по ассоциации. А ведь сегодня она о них

[207] Примечания: 207

Герои романа Эмили Бронте (1818–1848) «Грозовой перевал», связанные несбыточной любовью, мучительной для обоих. Фоном романа служат пустоши Йоркшира, в финале один из героев видит там воссоединившиеся призраки Кэти и Хитклиффа.

и не думала. Видела лишь, что прошлогодний орляк выцвел до бледно-бурого и что в отдалении буроватая дымка на фоне подрастающей зелени кажется полосатой.

Эд — никто. Фредерика потому ему все и позволила, что он — никто. Она даже не разглядела толком его лица, и если сначала так вышло случайно, то теперь уж это ее решение: она не собирается на него смотреть. У Эда была своя функция, и он ее выполнил, а дальнейшие поползновения Фредерика пресекла.

Осел ни к чему перечисленному отношения не имеет, но теперь она про него знает, и это по-своему интересно.

Теперь Александр. Она, конечно, сразу узнала Дженни по оттенкам тех частей, что были на виду. Ей бы следовало разозлиться, но она не стала. Увидев Александра, она ощутила власть. Ибо знание — власть, если только не мешать все в кучу, не допускать его внутрь и не превращать в чувство. Теперь она знала, что есть что. Кто и что с кем делал. Полезно знать, что именно делал с ней Эд и что делал Александр с Дженни, но это не совсем то, что будет делать она с Александром или он с ней, когда придет время, если оно вообще придет.

Получается, знания не обязательно должны срастаться, как живые клетки. Их можно разделить, как слюдяные слои, и разложить в ряд. Это расслоенное знание давало ей мощное чувство свободы, истины, даже самоотречения, ведь раньше, соединяя все через сексуальные аналогии, она, несомненно, была самоцентрична. Не Дэниел, не Александр, не Расин, не Эд, не осел, не Эмили Бронте, не зодчие Калверлейского собора — она и только она по собственной прихоти связала перечисленных воедино. Тема самоцентризма и самоотречения возникла тут под странным углом, ведь решать, видеть все вкупе или по отдельности, — значило иметь власть. Ту самую власть, которой, исходя из противоречивых уроков отца, следовало в теории чуждаться, а на практике добиваться любой ценой.

«Разделить знание» — тут Фредерика нащупала нечто, что могло обрисовать модель поведения и эстетику, которые будут ей близки и полезны. Целые годы, подумала она, уйдут на то, чтобы додумать все тонкости. Так оно и оказалось.

Она вернулась к александрийскому стиху: на нем было легче всего сосредоточиться, и он меньше грозил стронуть с места остальные слои. Каким-то очень простым путем доходила до нее

мысль, что пьеса Расина хороша — непроста, сильна, законченна, долговечна — в том смысле, в котором «Астрея» вызывала у нее большие сомнения. Как понять, что вещь хороша, и как проверить свою оценку? Может ли тут служить мерой структура стихотворной строки?

Наверное, хорошо, что в свои семнадцать она еще не знала теории Кольриджа о происхождении стихотворных размеров. К тому времени, как она овладела этой частицей знания, Фредерика уже готова была отделить ее от прочих и воспринять отдельно.

22. Много шума

Однажды вечером Уинифред пришла к Стефани поговорить. Это было на нее не похоже: Уинифред полагала, что дочь, как и она, предпочитает трудное не называть и не обсуждать.

— Знаешь, я думаю, мне нужно самой пригласить Дэниела и принять его по-человечески. Если ты хочешь, конечно.

Стефани промолчала.

— А Билл образумится. Ты же его знаешь, он всегда так.

— В этот раз я что-то сомневаюсь.

— Напрасно. И потом, такой человек, как Дэниел, я надеюсь, уважает и чужие убеждения.

— Тоже сомнительно, — глухо проговорила Стефани, — Дэниел не сказать, чтобы очень терпим. И в гнев впадает.

Уинифред беспокойно глянула на нее:

— Послушай… Можно я присяду? Так вот, послушай: когда мужчина постоянно одержим гневом — это… Этого я тебе ни за что не пожелаю. Я ведь тоже старалась, чтобы у нас в доме было хорошо. Чтобы все не только брали, но и давали, чтобы считались друг с другом. И эти старания

мне обошлись недешево.

Уинифред в обычном своем халате сидела, примостившись в кроватном изножье.

— Он ведь в медовый месяц от меня ушел.

Стефани молча округлила глаза.

— Я это никому не рассказывала. Мы ездили в Стратфорд-на-Эйвоне, и вот в шекспировском театре, во время антракта, он развернулся и ушел. Мы смотрели «Много шума из ничего»[208], я была так счастлива. Там такие дивные, живые любовные сцены: «Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это?»[209] И я в антракте ему призналась. Мне казалось, мы так друг друга понимаем, так близки… Но это мне пьеса мечты навеяла.

— А в чем ты призналась?

— Ах да. Призналась, что написала его родителям. Написала, что мы скоро поженимся, что все у нас хорошо. Надеялась, что они с ним свяжутся, может, даже на свадьбу приедут.

— И в ответ ничего?

— Ничего. Он оказался прав. А я — нет. Эта

---

[208] Примечания: 208

Шекспировская комедия, в которой влюбленные чуть было не расстаются у алтаря из-за ревнивой вспышки гневливого жениха.

[209] Примечания: 209

Перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник.

жесткость и упрямство у Поттеров в крови.

— Да, — сказала Стефани, а подумала: в маме этой крови нет, а во мне есть. Есть!

— В общем, я призналась, и он устроил скандал. Прямо в баре, на людях, как он любит. Это был первый раз. Я тогда еще не знала… Я его просила: тише! А он сказал: раз так, пойду туда, где никому не помешаю. И выбежал. Вскочил в машину — у нас была такая маленькая машинка — и на два дня пропал.

— А ты что?

— Попыталась досидеть спектакль, но не смогла. Вернулась в гостиницу, стала ждать. Когда ждешь, ведь ставишь себе срок: вот час еще — и начну волноваться. Потом шесть часов, день, два дня. Двое суток в гостинице совершенно одна, без денег… Я от нее далеко отходить боялась. Пройдусь чуть-чуть — и назад. Вдруг вернется, увидит, что я не сижу, не жду его, — и опять убежит. Иногда сидела в саду Нью-Плейс[210]. Там все цвело, и я с тех пор эти запахи не переношу, особенно полынный, кислый такой. А погода была чудесная, и чудесно шиповник цвел. Я уж хотела вернуться домой, но стыдно было.

---

[210] Примечания: 210

Сад в Стратфорде-на-Эйвоне на месте не сохранившегося особняка Нью-Плейс, которым владел и в котором умер Шекспир.

— С ним тогда какой-то приступ случился?

— Я этого тоже боялась. Хотела в полицию идти, но с полицией все так сложно, да еще медовый месяц, скажут, всякое бывает… И тут он пришел. Сказал, что ездил в Мэлверн через полстраны, бродил по холмам. Посадил меня в машину и отвез туда — там ведь заповедник Бритиш-Кэмп. Остановились рядом в гостинице. Как же мы были счастливы! Может, это было мое самое счастливое время за всю жизнь… Постой, к чему это я? Ах да! Отец образумится, вот увидишь.

— Вообще, начала ты с того, что не желаешь мне гневливого мужа…

— Не желаю.

— Что он хоть сказал, когда вернулся?

— Он влетел в столовую — я ела омлет, самое дешевое: денег-то у меня не было, я и так боялась, что мне выставят огромный счет… Влетел и закричал, что вел себя недопустимо, что чем дольше сидел в Мэлверне, тем страшней было возвращаться… Мы пошли наверх, в номер, он там заплакал, сказал, что такой у него характер, что это не побороть и что нельзя ему было жениться. Я его успокоила, сказала, что притремся, привыкнем. Так и вышло.

— Рада, что у вас все хорошо закончилось.

— Не нужно так, Стефани. Ты-то ведь в тот день началась… А пришла я не это сказать, а что нужно позвать Дэниела. Он придет, как думаешь?

Дэниел пришел. Уинифред с обедом постаралась: испекла сырное суфле, зажарила курицу, а фруктовый салат сбрызнула куантро из специально купленной бутылочки. С удовольствием в кои-то веки возилась с суфле, почти не скучая по довоенному изобилию. Это потом уже дочери, дети скудной поры, будут готовить по-настоящему: щедро и лакомо, на сливочном масле, с вином, с пряностями, чуть поджаренными на сковороде. Уинифред верила в полуфабрикаты и приборы, усмиряющие быт. Прошлые подвиги: высокие пироги с мясом, капризное тесто, которое нужно уметь месить, вспоминала с тем же чувством, что оцинкованные лохани для стирки, тяжелую мешалку для белья[211], раскоряченную выжималку, где приходилось сбоку крутить ручку. Все это была тягостная маята, ныне, по счастью, упраздненная. Уинифред купила вина для Дэниела, достала из буфета хрусталь и камчатые салфетки. Гость должен видеть, что пир — в его честь, но

[211] Примечания: 211

Имеется в виду медный конус с отверстиями и на длинной ручке. Благодаря отверстиям при перемешивании получалось больше мыльной пены.

при этом чувствовать себя свободно.

Гость с грохотом вступил в прихожую, а потом так саданул дверью, что в гостиной зазвенели на подносе рюмочки для шерри. Покричал «здравствуйте-здравствуйте!» и сразу же принялся неумеренно всем восхищаться. Дэниел был даже самонадеян, решив, что обед в непростом семействе ему нипочем. В конце концов, он всю жизнь только и делал, что прорубал путь сквозь бесконечную череду нелепых человеческих сборищ. Как обычно отделив главное от второстепенного, он сказал себе, что мнение четы Поттер не может, не должно, а значит, и не изменит того, что есть между ним и Стефани. Впрочем, впоследствии выяснилось, что он недостаточно учел чувства самой Стефани к Уинифред и Биллу…

Дэниел одну за другой выпил несколько рюмок шерри. Он отказывался признать трудность положения. Частые паузы поспешно заполнял анекдотами из приходской жизни и натужным пасторским смехом. Анекдоты все как один слегка высмеивали добродушного и скромного Дэниела. Он отдал должное суфле и так пышно его нахваливал, что Уинифред показалась себе трудновоспитуемой дщерью улиц, осилившей кое-как рецепт супа и принимающей поздравле-

ния от соцработника. Стефани почти все время молчала.

После обеда пили кофе из крошечных глянцевых чашечек. О свадьбе никто не заговаривал. Дэниел рассказал Уинифред, как замечательно Стефани нашла подход к Малькольму Хэйдоку. Уинифред была тронута, на что он и рассчитывал. Она сказала, что почти ничего не знает о работе Дэниела. Тот отвечал, что левой руке часто лучше не знать, что делает правая, а потом стал рассказывать о своих приходских делах, возможно подтверждая квалификацию на манер соискателя должности. Уинифред спросила, не затрудняет ли ему жизнь его профессия. Тут Дэниел с невероятным одушевлением принялся перечислять забавные представления мирских о священниках и, на свою беду, остановился на теме плотской любви. Стефани и так уже была напряжена: давеча ее тронул рассказ об остракизме, которому подвергаются священники даже в поездах, но сегодня ее раздражал комический соус, под которым та же история была подана ее матери. Ей нравилась простая и суровая работа Дэниела и потому претило слушать, как он ради Уинифред выискивает вялые, абстрактные словеса вроде «непосредственность», «личностный

подход», «неравнодушие», «любовь», «внимание к людям». Из-за них все размывалось, казалось слишком простым. Потом Дэниел голосом густым и жовиальным принялся уверять их, что в смысле секса священники почти не отличаются от обычных мужчин. Что сейчас мало кто, вслед за Высокой церковью, отрицает предохранение, проповедует, по канонам Низкой церкви[212], воздержание или видит в плотской любви сакральное слияние, что подразумевает обильные молитвы у брачного ложа…

Наконец он почувствовал между слушательницами какое-то напряжение и увидел, что лицо Стефани над кофейной чашечкой застыло в непроницаемую маску.

— Господи боже. Прости меня, — сказал он. — Это я по привычке, я сто раз это говорил в других местах, в дурацких компаниях. С тобой так нельзя, не нужно так…

Стефани так и подумала, но оттого, что Дэниел сказал это вслух, стало еще стыднее.

— Не глупи.

Уинифред собралась с духом:

— Не ругай его. С этой женитьбой трудности

[212] Примечания: 212

Направления внутри Англиканской и некоторых других церквей, тяготеющие, соответственно, к догматам католичества и протестантизма.

будут, и это одна из них. Правильно, что Дэниел сам заговорил.

Дэниел продолжал смотреть на Стефани, упрямо и хмуро отводившую глаза.

В прихожей снова послышался какой-то грохот, звякнули чашечки, и в дверь заглянул Билл:

— О, я, кажется, не вовремя. Если помешал, скажите — я уйду.

Все молчали.

— Нет, я вам явно мешаю. Что ж, удаляюсь, — заявил Билл и никуда не удалился.

Дэниел встал и протянул ему руку:

— Здравствуйте.

— Благодарю вас, — ответил Билл и руки не принял.

Женщины замерли, словно каменные.

— Ухаживаете за моей дочерью?

— С ухаживанием, надеюсь, уже закончил.

— Вам, наверное, доложили, что я считаю это полнейшей глупостью?

— Извините, коли так.

— Я своего согласия не даю.

Дэниел открыл было рот, но Билл заспешил дальше:

— Знаю, что законного права отказать у меня нет. Но морально, морально стою на своем. Не

могу одобрить дело, столь явно обреченное.

— Это не мораль, а попросту гордыня.

— Что же до тайных сборищ…

— Я пойду, — сказал Дэниел. — Так лучше будет. Не люблю навязываться. Надеюсь, что Стефани скоро станет моей женой. Со мной ей будет лучше.

Билл скакнул ему наперерез и картинно раскинул руки, заслоняя дверь.

— Вам нечего ей предложить. У вас с ней ничего нет общего.

— Это уж ей решать. — Дэниел был уже крепко зол и потому острей осознавал свои недавние промахи и долгое молчание Стефани. — Я не хочу смотреть, как вы ее мучите. Вы слишком много требуете от ее любви. И поступаете жестоко. Да, это называется жестокость, и ваше счастье, что Стефани еще очень молода. Только вот ей от этого плохо. Вы ей жить не даете, а ведь злость-то ваша к ней мало имеет отношения. А теперь дайте пройти.

— Добрый пастырь! — со слабой, но злой усмешкой пробормотал Билл. Впрочем, руки опустил, а затем с внезапностью, столь часто путавшей и вводившей в заблуждение домашних, впал в примирительный тон. — Не уходите, прошу вас.

Вот спросите их, они знают: я ведь злюсь больше для вида. Господи, да если бы я хоть на минуту подумал, что кто-то этому верит, я бы… я бы повесился! Да, признаю, люблю пошуметь, покричать — но ведь это все дым без огня. Спросите их — кто когда обжегся? Нет-нет, не уходите, мы еще ничего не обговорили. Стефани, ты, конечно, знаешь, что мы тебя не оставим. Ты наш первенец…

— При чем здесь «не оставим»? Я не беременна и не обесчещена.

Дэниел сел. Женщины сохраняли каменные выражения.

Билл оглядел всех:

— Я думаю, нам нужно выпить. Поглядим. Что у меня есть… Вы, я вижу, пили шерри, а вино слишком мутит голову. Что же у меня есть?.. Ах да, виски! Будете виски?

— Буду, спасибо.

— Стефани, не сочти за труд, принеси кувшинчик воды мистеру Ортону для виски. Надеюсь, мистер Ортон, вы не думаете, что я не люблю собственную дочь? У каждой семьи свой обычай, и если я чересчур импульсивен и даже взрывоопасен в выражении своей любви, то готов признать вину. Но в моей семье меня понимают, мистер Ортон. Мы тесно связаны и очень похожи.

Поэтому, мистер Ортон, снова спрошу: вы хорошо подумали о том, каково будет Стефани жить с вашей… верой?

— Мы с ней об этом говорили.

— Что ж, вполне могу предположить. А как же ваш викарий? Не думаю, что он вне себя от восторга…

— Стефани ему очень нравится, — перебил Дэниел, скрыв от Билла, как раньше от Стефани, назойливое беспокойство викария и собственное ему противостояние. — Он хочет с ней встретиться и поговорить. Но вообще считает, что это наше дело, а не его.

На остреньком лице Билла выразилось живейшее недовольство.

— Не думаете же вы, что это ваше предприятие надолго?

Лучше жениться, чем гореть, сказал себе Дэниел. Тут Стефани вернулась с водой, и он не успел ответить по существу. Вместо этого сказал, что надеется обвенчаться вскоре после оглашения. Ему обещана муниципальная квартира в районе Аркрайт, где, как он считает, его работа будет полезна. И квартплата гуманная.

Билл всплеснул бледными худыми руками и театрально удивился:

— Какой вы расторопный. Я вас недооценил. Но там пустыня, вы ни до кого не докричитесь. Я пробовал там преподавать — невозможно. Асфальтовая пустыня. У них нет чувства общности, чувства корней. В Йоркшире мы говорим: «наша Нелли», «наш Эрни», «наша кошка», «наш пес», «наша улица». А они ничего своим не ощущают и все ненавидят. Бродят дикие дети в поисках добычи, а папаши обкарнывают вишневые деревья. Поверьте, я имел возможность наглядеться.

— Я тоже. Аркрайт не слишком отличается от мест, где я вырос.

— Что ж, возможно, вы правы, что так туда стремитесь. Но думаю, вам нужно подождать, и немало, прежде чем везти туда мою дочь.

— Я хочу, чтобы она сразу была со мной.

Билл подливал виски и продолжал вещать, в основном благодушно, о недостатках Аркрайта. Женщины глухо молчали. Дэниел это заметил, но все же чувствовал, что справляется, продвигается, что самым кончиком клин просунут уже в некую метафорическую дверь. Он решил, что пора откланяться, дабы не пережать.

Уже у самых дверей Билл произнес:

— Весьма познавательная беседа, весьма. Я узнал много нового. — Лицо его исказилось

ядовитой гримасой. — И все же, друг мой, христианство умерло в девятнадцатом веке. Процесс этот начался, собственно, много раньше, а к третьей четверти девятнадцатого успешно завершился. То, что вы принимаете за свою духовную жизнь, — бессмысленное трепыхание отрубленной конечности.

— Вы это уже говорили. Я вас переубеждать не буду.

— Вам это и не по силам.

— Но у меня свое мнение и свой ум.

— Весьма посредственный, — сказал Билл и захлопнул дверь ему в лицо.

23. Комос[213]

Несколько дней спустя Фредерике предстал в ранних сумерках Кроу, выступив из-за Афины Паллады в галерее Блесфорд-Райд. Он страшно обрадовался, трусцой понес ей навстречу круглое брюшко, всплеснул руками:

— Дивное дитя, вот уж нежданная радость в этих унылых стенах! Я только что от Александра, он был угрюм и неприветлив. Ты тоже к нему?

— Я приходила к отцу. Который тоже был угрюм и неприветлив.

— Исключительно несимпатичное заведение. Детище моего славного предка, гримасы католического атеизма. Эти статуи положительно чудовищны. Посмотри: никто не улыбается, кроме, конечно, сладчайшего Иисуса. Афина с мышцами рудокопа, а рот узкий, поджатый, недовольный, как у Лиззи Сидделл[214]. Пучеглазый Шекспир с тощими икрами и съехавшими

---

[213] Примечания: 213

Драматическая пастораль-маска Джона Мильтона.

[214] Примечания: 214

Вероятно, имеется в виду автопортрет Элизабет Сидделл (1829–1862), английской художницы-прерафаэлитки.

подвязками. Уйдем от них, дитя мое.

— С удовольствием, — поддакнула Фредерика, хранившая в душе детскую привязанность к толстозадому пантеону.

Они зашагали в такт.

— Ты, наверно, зубришь, не подымая головы?

— В целом да. Правда, волнуюсь из-за пьесы, но я могу работать в любом состоянии.

— Счастливый дар.

— Но все равно какой-то непокой…

— От этого непокоя избавиться не надейся, он у тебя в крови. Идея: едем сейчас ко мне. Успокоим твои нервы горячительным. Что скажешь?

Фредерика противилась лишь неодолимым искушениям. Кроу повел ее к «бентли», который ждал их, поблескивая, на подъездной аллее. Пассажирское сиденье оказалось до непристойности комфортабельным. Фредерике на секунду вообразилось желание надругаться над вещью, большим ножом вспороть и искромсать эту гладкую, тонко пахнущую кожу. Это сперва поразило, а потом заинтересовало ее. Она сложила руки на коленях, а Кроу поддал газу, потом еще, и автомобиль гладко и жутко понес их мимо полей, клочков пустошей, каменных оград, и они проплывали словно ленты, серые, бурые, тускло-

зеленые и желтоватые.

Кроу провел ее темными, тихими залами среди белых чехлов. Свет выхватывал круглые яблочные груди и мощные колени гипсовой Венеры и Дианы, озарял бледное тело Актеона. Елизавету — Деву Астрею освещал единственный острый луч, устремлявшийся потом наверх в темноту и в ней затуплявшийся. Ото всего тянуло каменным холодом и сквозняками. Кроу поспешно цокотал сквозь залы, Фредерика мчалась. Наконец они достигли жарко натопленного, светлого кабинетика. В камине мерцал настоящий огонь. Кроу усадил Фредерику в глубокое, крылатое вольтеровское кресло и вручил ей гигантский стакан с карим шерри, красно-золотым на просвет каминного огня. Протянул тарелочку с солеными орешками, и Фредерика жадно цапнула сразу горсть — всегда так делала на случай, если хозяин забудет и больше не предложит. Кроу рассмеялся. Впрочем, она напрасно беспокоилась: он был заботливый хозяин и не забывал пополнять шерри в ее стакане.

Кроу стал говорить с Фредерикой о ней самой. Разговор его порхал и касался ласково, щекотал лестью, как перышком. С интересом теплым и глубоким, как вкус шерри, Кроу выманивал на

свет ее честолюбивые мечты и планы. Сказал, что у нее есть «свое лицо» — такому не научишься, это дар. Что к нему часто прилагается «притяжение» — им она тоже не обделена, а потому всегда будет неотразима: не для всех, но для совершенно определенного рода мужчин.

Кроме всего прочего, 1953 год был знаменателен для Фредерики тем, сколь многие предлагали ей и даже навязывали определения ее самой, обычно провисавшие меж трех метафорических стульев: афористической мудрости, расхожей банальщины и чистой правды. Слова Кроу подействовали на ее раздраженное сознание, как ритмические движения щетки на спутанные волосы: Фредерика расправила плечи, охорошила ум и тело и, милостиво улыбнувшись, осушила еще стакан шерри.

Кроу продолжал:

— Сам я не получил в колыбель никакого дара. Я лишь люблю и пестую чужие дары. От этого, признаюсь, делаешься слегка стервозен: когда столько всего вложил в человека, невольно ожидаешь от него сверх меры. Это завуалированная угроза, которую ты, конечно, проигнорируешь, ибо что еще тебе остается. Мощь, сила — вот что прельщает меня.

— Ну, в нашем графстве вы изрядная сила.

— Это другое. Я — лишь временный хранитель богатого наследства. А твоя сила — у тебя в крови.

Он сел в кресло возле бюро, подозвал Фредерику и показал миниатюру: хмурая, в яхонтах, в карем бархате, глянула на нее несчастная Джоанна Сил, обрезанная рамкой как раз под грудками, поднятыми тугим корсетом. Положил пухлые ручки ей на талию и объявил, что в некоторых натурах врожденная сила производит настоящее электричество. Фредерика, например, явно искрит и постреливает, что весьма интересно… При этих словах он ловко усадил ее к себе на колени.

Фредерика оторопела — по той простой причине, что считала Кроу стариком. Она слышала, что в этом возрасте (точный возраст Кроу был для нее, впрочем, загадкой) мужчины часто принуждены вместо дел довольствоваться беседами. Потому смущенно-кокетливые взгляды, бросаемые в ответ на особо двусмысленные пассажи Кроу, она считала гуманным делом, чуть ли не снисхождением к старику с сияющих высот полнокровной юности. (Смущение не вязалось с ее спесивой лисичьей мордочкой, но она еще этого не вычислила и невольно вместо кокетства

выдавала натуральный блуд.) Впрочем, стоило Кроу притянуть ее к себе, как стало ясно, что он вовсе не дряхл и весьма искушен. Его ручки пришли в привычное и уверенное движение: ласкали, игриво пошлепывали, шаловливо просовывались тут и там. Фредерике неловко было сидеть: Кроу был несомненно умел, но он также был миниатюрен. Она чувствовала, что ее корпус согнут некрасиво, а ноги как-то нелепо торчат в стороны. Фредерика попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась: она пригибала голову, чтобы Кроу не приходилось тянуться, отчего у нее постепенно сводило шею. Кроу в любви оказался столь же словоохотлив, как Эд был молчалив.

Беседа перешла в разбор Фредерики по статьям, словно она была картиной или участницей конкурса красоты. Каждая учтенная и описанная часть поступала ненадолго в распоряжение Кроу, и он щекотал ее, пощипывал губами, терся щекой сообразно желанию. Фредерикины глаза, объявил он, могли быть темнее и больше, но тут ничего не сделаешь. Кстати, он решительно против этой черной подводки. Кроу помуслил платок и стер с ее век остатки черноты. В волосы зарылся руками, приподнял на растопыренных пальцах: нужно поухаживать, проредить по концам

специальными ножничками (никакого лака!) и, может, подкрасить — ей пойдет красноватая рыжина тициановских женщин. Но они живые, они пружинят, они заряжены электричеством, сказал он, накручивая их на пальцы и нюхая своим коротеньким носом. Прелестные скулы — мягко клюнул ту и другую губами, как теплая, сухая птица. Рот с характером, да еще с каким! Нужно только следить за собой: не опускать так часто уголки и никогда, никогда не красить губы поверх контура, чтобы казались больше (а она, негодяйка, красит!). Кроу снова лизнул платок и оттер следы ее преступления. От всех этих трений Фредерика ощутила некий жар, не то снаружи, не то внутри. Тут Кроу нагнулся, сухой и теплый, и охватил ее губы своими. От него пахло шерри и древесным дымком. Фредерика увидела его круглую, как луна, лысинку-тонзуру, блестящую и розовую в свете камина. Как все же некстати, что нелепые руки и ноги торчат у нее, как у Ворзеля Гаммиджа[215]. Кроу просунул лапку ей в вырез блузки и стал покручивать сосок. Это было определенно неприятно, но Фредерика не чувствовала себя в силах остановить его. Оставалось

[215] Примечания: 215
Живое пугало, герой популярной детской передачи.

надеяться, что белье на ней относительно чистое, что случалось не так уж часто.

— Крепкие, как молоденькие яблочки, — сказал Кроу. — Очаровательно. Крепкие, как и вся ты, дитя мое.

Фредерика упорно смотрела в окно, незанавешенное, потому что Кроу любил смотреть, как его кипарисы, и тисы, и можжевеловые кусты медленно тают в густеющей ночи, любил запах лакфиолей и маттиол, любил луну, плывущую над самшитовой живой изгородью, над его белым Аполлоном и Дианой у дорожки, спускающейся в сад. И в этом окне, как Александр давеча на пустошах, Фредерика увидела парящую голову без тела, струистые волосы, белое лицо, глядящее с выражением ужаса. То был Александр, и его прекрасные руки возникли на миг по сторонам лица, словно в немой мольбе. Потом видение содрогнулось и отступило, хрустнул гравий, раздался стук в дверь.

— Войдите, — крикнул Кроу.

Фредерику он не отпустил, а, наоборот, еще крепче прижал ей пах рукой, а вторую вынул из блузки, только чтобы положить поверх. Фредерика, как монструозная кукла, с вызовом уставилась на Александра.

— Вы *сами* пригласили меня выпить по стаканчику, — начал Александр. — Вы *сами* сказали, чтобы я обогнул террасу и шел прямиком в кабинет.

— Сказал. Но вы так не хотели расстаться с заляпанными тетрадками ваших мальчишек, что я оставил надежду. А Фредерика, как и я, была мучима жаждой. Мы немного пошалили тут до вашего прихода…

Он легко ссадил Фредерику, шлепнул ее по попе и налил Александру шерри. Фредерика, икнув, протянула свой стакан. Кроу налил и ей. Александр хмурился. Кроу сиял им обоим, круглый и благостный, и серебряный венчик его волос слегка колыхался на сквознячке, тянувшем в каминную трубу. Он подбросил щепок в огонь, и искры рванулись вверх, зеленые, серебряные, синие…

– Трижды пепел размечи древесный,
Трижды сядь в магическое кресло,
Трижды три тугих узла свяжи,
«Люб? Не люб?» – вполголоса скажи[216].

---

[216] Примечания: 216
Перев. Г. А. Русакова.

— «Комос», — сказала Фредерика.

— Какой же «Комос»? Это Кэмпион[217], — машинально, по-учительски поправил Александр.

— Это «магическое кресло» виновато, — проказливо вставил Кроу, помавая графином.

— В «Комосе» кресло совершенно отвратительное, — сказала Фредерика.

— Совершенно, — согласился Кроу.

Каплет с кресла клейкий яд,
Смолы жаркие блестят.
Хладным девичьим касаньем
Я разрушу заклинанье![218]

— Порнография, — с видом знатока припечатала порозовевшая Фредерика.

Александр холодно посмотрел на нее и сел в кресло. Он ждал, чтобы кто-то заговорил, но все молчали. Через какое-то время Фредерика объявила, что ей пора домой.

---

[217] Примечания: 217

Томас Кэмпион (1567–1620) — английский лирический поэт, драматург и композитор.

[218] Примечания: 218

Героиню «Комоса», благородную Леди, околдовывает волшебник Комос, сын бога Диониса. Комос усаживает ее в колдовское кресло, пропитанное «жаркими смолами», и уговаривает испить из кубка с зельем, символизирующим земные страсти. Леди отказывается, и вскоре ее спасают братья, Дух-хранитель и нимфа Сабрина. Вышеприведенная реплика принадлежит Сабрине.

— Ни в коем случае! — воскликнул Кроу.

— Я тебя подвезу, — сказал Александр и подумал, что она абсолютно пьяна.

— Позвони маме, скажи, что будешь поздно, и расслабься, — настаивал Кроу.

— Не стоит. Я отвезу ее обратно домой. Мне тоже пора.

На это Кроу как-то неумеренно захохотал и спросил, способна ли Фредерика выбраться из кресла.

Втроем пересекли террасу и вошли в сумрачные аллеи с пахучими травами. Веяло розмарином и самшитом. На миг меж тисов промелькнул бурлящий под луной фонтан. Фредерику мутило от шерри, от возбуждения, от избытка красот и желания иметь такую же кучу денег.

— Прелестно провели вечер, — лепетал Кроу, устраивая ее в серебряной машинке Александра и закрывая дверцу. — Заглядывай еще.

— С удовольствием.

Александр сухо сказал спасибо и рывком тронулся с места.

— Чем вы там занимались?

— Да так, ничем.

— Твои знают, где ты?

— Навряд ли. А вам-то какая разница?

— Я друг вашей семьи.

— Ах, вы вот о чем… — Фредерика икнула. — Так вот, это моя жизнь, и не надо в нее вмешиваться. — Снова икнула и добавила: — Особенно — особенно! — учитывая, что я в вашу не лезу.

Она откинулась и прикрыла глаза.

— Это другое.

— Может быть. Но все равно я не лезу же…

— Нет. Насколько мне известно.

Фредерику покачивало на поворотах, и голова ее тихонько перекатывалась из стороны в сторону. Александра она раздражала. Он был потрясен, увидав ее на хлипких коленях у Кроу. Во-первых, он хотел с Кроу поговорить, а она мешала, во-вторых, ему стыдно было вообразить, чем они еще занимались, пока он пребывал в неведении. Вдобавок он сам себе показался ханжой, и еще что-то шевельнулось внутри, когда он увидел тенью обозначенную округлость, которую мяли пальцы Кроу.

— Фредерика.

— Мм?

— Ты еще очень молода…

— Знаю и потому дозреваю с максимальной скоростью. Если и дальше так пойдет, то скоро буду достойна рассмотрения.

— Будь осторожнее. Ты многим рискуешь.

— Чем? Чем это я таким рискую, от чего сама не хотела бы избавиться?

Она стала смеяться, перекатывая голову туда-сюда, и Александр почувствовал, что она его изрядно утомила.

— Ты еще и пьяна к тому же.

— Возможно. Не представляю, сколько я выпила. Кроу мастер по этой части.

— А ты противный ребенок.

— Я отнюдь не ребенок. — Попытка смущенной улыбки, обернувшаяся зазывным оскалом.

— Мой долг накачать тебя кофе, но ко мне мы, естественно, не пойдем.

— Да уж. Это было бы неосмотрительно. Кстати, кофе-бар еще открыт.

— Господи боже.

— Я не любительница кофе.

— Ничего, выпьешь.

Александр погрузился с ней в мигающие ультрамариновые глубины, и они пили обжигающую пену и кислый кофе.

— Кто вы? Старший брат или дух-хранитель?

— Что?

— Вы меня вытащили из кресла жестом брата и хранителя. Только я выпила кубок и слопала

кучу арахиса. Не в моих правилах отказываться от того, чего второй раз могут и не предложить.

— Все это тебе не по возрасту. Ты еще не…

— Да неужели? А моя сестрица спит с толстым куратом. Можете представить?

Александр старался как мог, но все же не подавил в себе любопытства.

— Я бы не подумал…

— Вы-то конечно. А я знаю. Я вообще много всего знаю. Не хочу быть кисейной подружкой невесты и как нежная фея порхать. Я знаю немного, но мне известна александрийского тайна стиха.

Александр решил, что это глупый намек на его собственный роман, — и был не прав. Фредерике и в голову не приходило связать название стихотворного размера с именем возлюбленного. Она, наоборот, хотела перевести разговор из сексуальной области в интеллектуальную. Но Александр не вознаградил ее усилий, зато решил, что девицу нужно любой ценой волочь к дому. Резко и властно он выдернул из кресла хихикающую Фредерику и, подпирая в спину обеими руками, принялся взводить ее по винтовой лестнице. Фредерику шатало, и был миг, когда, подхватив ее, Александр почувствовал под пальцами ее грудь — событие, к ужасу его, отозвавшееся короткой

вспышкой желания. Он запихал Фредерику в машину, довез до Учительской улочки и вытолкнул наружу. Фредерика, устояв кое-как в полускрюченном виде, так и застыла, идиотски напоминая ребенка, играющего в статую. Александр опустил стекло и прошипел:

— Ступай домой.

— Вы злюка.

— Я не злюка. Ступай немедленно.

В прихожей у Поттеров загорелся свет. Александр спешно отъехал, малодушно надеясь, что Фредерика его не выдаст или хотя бы не свалит на него то, в чем он неповинен. Надежды, впрочем, было мало. Как он успел заметить, сдержанность не входила в число ее добродетелей.

24. Малькольм Хэйдок

Дэниел пришел к Стефани, когда она сидела с Малькольмом. Последнее время ее нельзя было почему-то застать ни на Учительской улочке, ни в доме викария. Еще подходя к дому, он услышал какой-то приглушенный шум.

Стефани открыла ему дверь: волосы растрепаны, глаза полубезумные.

— Заходи скорей!

— Что он натворил? — Дэниел забыл заранее приготовленную речь об их ближайшем будущем. — И что с тобой такое? У тебя какой-то серый, измученный вид…

— Это потому, что я посерела и измучилась. Он стирает. Все свалил в ванну и пустил кипяток. Я не справляюсь. Раньше мы могли сесть и замереть, а теперь не можем, ни он, ни я…

— Побудь-ка тут.

Дэниел через две ступеньки взбежал наверх, готовясь иметь дело с Малькольмом, если можно иметь дело с тем, кто не осознает твоего присутствия.

В ванне в обжигающей воде, исходя паром, плавали: пуховое, в цветочек одеяло миссис Хэйдок,

спутанный ком белья, розового и черного, осьминог из подтяжек и чулочных резинок, несколько пар обуви, переломанные детали конструктора, непотопляемая армия крошечных серых солдатиков, открытая банка со стремительно тающей розовой солью для ванны и пылесос. Малькольм безостановочно, как шарманка, мычал песенку «Сколько стоит тот песик в витрине?».

Дэниел вытащил из ванны пылесос и поставил стекать в угол. От пылесоса шел пар.

— Тебя могло ударить током, — благожелательно и веско сказал Дэниел. — И не только тебя. Если его мокрым воткнуть в розетку, будет беда. И одеяло я тоже заберу, дружище. Пух воды не любит.

По-медвежьи загреб одеяло и горой свалил в раковину, попутно намочив себе рубашку и брюки. Малькольм неловко отступил и сел на пол, прислонясь щекой к ноге раковины. На одной ноте затянул нечеловечески ровный, пронзительный звук. Глаза его закатились, потом стали вращаться в орбитах.

— Так, мамино белье шерстяное тоже заберу, а то сядет. И обувь, иначе босиком останетесь. А всякий нейлон полощи на здоровье, все равно он мокрый уже. Можешь и правда его простирнуть,

раз такое дело.

Дэниел протянул ему каплющий узел чулочных поясов и нижних юбок. Малькольм мотал головой по кругу. Дэниел повесил вещи на край ванны и позвал Стефани.

— Есть у тебя куда это выжать? Все насквозь мокрое, линять уж начало.

Обернулся к Малькольму:

— А ты не думай, мы тебе не враги. Стирай, если хочешь. Только смотри: что можно стирать, а что нет.

Малькольм испустил новый звук — радиосигнал, сообщавший: его здесь нет. Никого здесь нет. Ничего нет.

Стефани втащила по лестнице оцинкованную детскую ванну. Малькольм перешел на свист поезда. Пробиваясь сквозь режущий, мучительный звук, они тащили и заталкивали в детскую ванну скользкое одеяло. Потом долго в молчании выжимали, оттирали, растягивали, развешивали. Дэниел отнес пылесос в кухню, вытер сколько мог и поставил на газету: из механического нутра струйками бежала вода. Потом заглянул в ванную. Малькольм стоял в ванне и держал, как воздушного змея за хвост, чулок, спутанный с реющей в воде неразберихой прочего белья.

Другая рука его выкручивала — должно быть, больно — уже покрасневшую щеку. Он не снял ни башмаков, ни носков. Он издавал уже другой звук, который Дэниел не сразу опознал как до жути точную имитацию пылесоса, подавившегося шпилькой.

Они прошли в спальню миссис Хэйдок и сели на край неубранной кровати. Так Малькольм их не видел, но им слышно было, что творится в ванной. Розовато-серое покрывало искусственного шелка неприятно скользило, и Дэниел сердито откинул его. Мокрой черной рукой обнял Стефани за плечи. Она сказала:

— Хорошо, что ты пришел. Не уходи, пожалуйста. Если можешь.

— Это за много недель первое, что ты не в воздух сказала, а мне. После… после скандала.

— Я знаю. Прости.

— Да что там «прости». Надо двигаться. Надо срочно оглашение делать. Потом свадьба — и кончится этот бред. Я знаю, они там все вообразили, что долгая помолвка будет мудрей и так далее… Не только твой отец, мне и викарий уши прожужжал. Но так больше нельзя. Или мы женимся, или нет.

— Мы можем и до конца триместра поженить-

ся.

— Можем. Мы вообще можем делать то, что хотим. На медовый месяц и прочую чушь так и так денег нет. Ты можешь продолжать работать. Но отдаляться вот так, бледнеть, сереть — я тебе не дам.

— Дэниел!

— Что?

— Он взял пылесос?

— Пылесос? Я же на кухню его… Нет-нет, это Малькольм. Он думает, что он и есть пылесос. Давай так: я буду слушать, что он там делает, а ты слушай меня. И скажи, что мы выиграем, если будем ждать да тянуть?

— Может быть, он… может, папа придет в себя. Или ты поймешь… что ошибся. Или у меня пройдет это… я ведь себя мертвой чувствую.

— Сомневаюсь. Очень сомневаюсь по всем пунктам. Но это-то меня и тревожит: он хочет, чтобы ты надеялась — вдруг, мол, папа опамятуется? Потому и не доходит до крайнего безобразия. Но он не изменится. А ты просто себя мучишь, и черта с два я буду на это смотреть. Я хочу, чтобы ты была как в тот день у моря. Живая, а не серая. Я знаю, какая ты настоящая, и я хочу тебя такой.

— А если это только ты? Все, что у нас есть, — ты

создал один? Мне кажется, из меня жизнь выбили когда-то в детстве, так давно, что я и не помню…

— Нет, это неправда. Я знаю тебя. И если понадобится, я тебя волоком потащу к алтарю…

Она уткнулась лицом в его мокрое плечо. Он был словно окутан тонким и теплым паром, восходившим от жаркого источника внутри. Приникнув к нему, Стефани наконец отдыхала.

— А я ходила к викарию, как ты сказал. И понравилась — вот ведь я мошенница!

— Конечно понравилась: у тебя чу́дные манеры и ты любишь Джорджа Герберта[219]. На твой счет он спокоен, ты не враг. Это я — враг.

— Что за глупости!..

[219] Примечания: 219

Джордж Герберт (1593–1633) — валлийский поэт и богослов Англиканской церкви.

25. Хорошие жены

Дэниел принялся за работу: нужно было осуществлять свадьбу. От Стефани помощи почти не было, она только соглашалась на все, что он предлагал. Он и злился на нее немало, и жалел, видя, что она уже ни в чем не уверена, включая его и себя. Ничего, раз он должен один, значит нужно просто действовать быстрей. У него была битва с викарием из-за оглашения и потом еще одна — из-за переезда в Аркрайт. Викарий говорил, что Церковь должна сохранять позиции и что соцработники не любят, когда вторгаются на их территорию. Дэниел в ответ рокотал, что Христос учил и делал по-другому. Он знал, что викарий физически страдает от производимого им шума и, если рычать погромче, согласится почти на все, лишь бы Дэниел умолк и удалился. Поэтому рычал. Рычал и насчет оглашения, хоть втайне опасался, что тут у викария припасен некий неведомый козырь. Но Дэниел был человеком воли, и во вторую неделю мая викарий, нервно глянув поверх хора на своего сумрачного курата, произвел первое оглашение. Стефани Джейн Поттер, девица, в церкви отсутствовала. Прихожане

зашептались. Дэниел грозно воззрился на них.

Впрочем, он вскоре обнаружил, что у него есть союзница. Уинифред восстала из быта, как стареющая валькирия, и тоже принялась творить свадьбу. В конце апреля и в мае Билл держался неровно и норовил ускользнуть. Он подолгу просиживал в школе и еще дольше — со взрослыми слушателями в горняцких пабах. Он делал неожиданные подарки: в основном книги, в основном Стефани — и стоял с влажными глазами и зло поджатым ртом, ожидая благодарности, которую все трудней становилось высказывать. В месяце мае он подарил дочери: «Исповедь оправданного грешника»[220], «Божественную комедию», «Логико-философский трактат» Витгенштейна[221] и «Заметки к определению понятия „культура“» Т. С. Элиота. «Заметки» у нее уже были, и она отдала их Фредерике. Совершенно непонятно, говорила она Дэниелу: то ли это тайные подарки к свадьбе, то ли новые аргументы в споре, и без того раздиравшем ее душу. Дэниел признался,

[220] Примечания: 220

Роман шотландского писателя Джеймса Хогга (1770–1835) о страшных последствиях слепой веры.

[221] Примечания: 221

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ, один из ведущих представителей аналитической философии. Ученик Бертрана Рассела. В последние годы жизни преподавал в Кембридже.

что о большинстве этих книг даже не слышал, и спросил, стоит ли ему их прочесть. Безусловно, нет, ответила она и снова канула в свою серую немоту.

Уинифред, быстро постигавшая уловки дипломатии, однажды вечером прямо спросила Билла, против ли он подготовки к свадьбе. Билл проорал, что уже сто раз говорил: пусть делают что угодно, только его не впутывают и с ним не советуются. И да будет ей известно, что в данную минуту он занят работой. Он ждал, что Уинифред поникнет и робко попробует тот же вопрос задать иначе, но Уинифред промолчала.

На другой день она отправилась к миссис Элленби, а затем — к миссис Тоун, супруге директора школы. Миссис Элленби не питала большой любви к Дэниелу. Он слишком много жег электричества, слишком глубоко заглядывал в души ближних и манкировал благотворительными ярмарками. Но она, как и все, симпатизировала Стефани, порицала Билла и питала страстный интерес к брачному церемониалу. Уинифред приоткрыла ей завесу над семейным противостоянием, тайно надеясь, что в надлежащей пропорции смешала собственные переживания, сострадание к дочери и стоическое приятие чу-

дачеств супруга. Миссис Элленби была тронута и даже несколько польщена. Она любезно согласилась хранить у себя подарки для молодых и поздравительные послания, дабы не нарушался и без того непрочный покой семейства Поттер. Посоветовала портниху, кондитера и частную типографию для приглашений и прочего. Предложила лично заняться цветами для церкви и принять под своим кровом мать жениха…

Миссис Тоун была орешком куда покрепче. В дни общей молодости она сама предлагала Уинифред дружбу, приглашала на кофе и на обед. Уинифред чаще отказывалась и к себе не звала. Билл директора презирал, и она втайне от себя боялась, что, если Тоуны зачастят к ним по вечерам, муж изыщет способ устроить некий чудовищный афронт, после которого ее жизнь окончательно замкнется в четырех стенах.

Моника Тоун больше походила на директора, чем ее супруг. Она носила серые твидовые костюмы с блузками из дорогого шелка, коротко стригла черные с проседью волосы и имела оксфордский диплом (специальность — античная классика). Единственный сын четы Тоун в десять лет запнулся о скамейку на детской площадке, ударился головой и умер мгновенно. Мальчики в

школе ее боялись, говорили, что у нее «ведьмин глаз». Миссис Тоун решительным шагом пересекала школьные лужайки, заменяла болеющих учителей и вела юмористический кружок в калверлейской тюрьме, где ее, похоже, любили.

Она приняла Уинифред прохладно, и та все никак не могла начать разговор. Так и сидели в холодноватой гостиной, чопорные, суровые, рослые англичанки, чисто по-английски прикрывшись щитом настороженного молчания.

А ведь я сейчас легко могу разреветься, подумала Уинифред. Начать метаться, ломать руки. Представляю, какое у нее будет лицо… И сказала ровным голосом:

— Миссис Тоун, я к вам пришла за помощью.

— За помощью?

— Дело в том, что мой муж… Я сейчас объясню… Билл…

— Стоит ли? — негромко спросила миссис Тоун.

Уинифред уже тверже сказала, что стоит. Она коротко, емко и бесстрастно изложила последние события. Нужно сыграть свадьбу не откладывая, сказала она, причем Билла нельзя ни привлекать к приготовлениям, ни вообще как-либо беспокоить.

— Но чем же я могу тут помочь?

— Вы понимаете, мне трудно говорить о Билле. Если бы он узнал, что я вам рассказала…

— Если верить моему мужу, Билл — человек гениальный, но трудный.

— Жены гениев видят в основном трудности.

— Муж говорит, что он неоценим и часто невыносим.

— Полностью согласна.

Что-то сдвинулось, женщины коротко улыбнулись.

— Я подумала… Может быть, вы… ваш муж… школа… могли бы нам помочь со свадьбой? Ведь, честно говоря, я даже не уверена: придет Билл или нет. А я хочу, чтобы у Стефани была настоящая свадьба и все как полагается. Если будет участвовать школа, он уже не сможет… возразить… или что-то устроить…

— Я вас понимаю. Простите, — миссис Тоун деликатно понизила голос, — а в смысле денег… вы справитесь?

— У нас общий счет, я сниму оттуда.

Миссис Тоун засмеялась:

— Это, конечно, ужасно, но призна́юсь вам: было бы забавно все это провернуть, не сказав Биллу. И действительно: почему бы прием не

устроить в Учительском садике, если погода позволит? И почему — ради дочери заслуженного коллеги — не задействовать школьных поваров, не взять нашу посуду, бокалы? Бэзила я в это особенно посвящать не стану. Между нами: он до смерти боится выходок вашего благоверного. Скажу ему просто, что я этим занимаюсь и что Биллу об этом говорить не стоит. Хотя, конечно, слухи просочатся.

— Билл, скорей всего, притворится, что ничего не замечает.

— А если нет?

— Если нет, то он, конечно, на многое способен… Но все же целиком свадьбу сорвать ему, надеюсь, не по силам.

— Стефани такая хорошая, разумная девушка. А молодой человек — надежный, твердых устоев?

— Твердых. Это ледокол. Он просто не признает препятствий.

Миссис Тоун деликатно заметила, что Уинифред сама обнаруживает больше сходств с ледоколом, чем кажется на первый взгляд. И пригласила ее с желающими домочадцами и пламенным куратом к себе смотреть по телевизору церемонию коронации. Мальчики, конечно, на каникулах, но всегда есть несколько человек,

которым в праздник некуда уехать. Она пригласит их и нескольких сотрудников. Уинифред не могла, да и не хотела отказываться и потому с радостью согласилась.

Теперь у Дэниела и Стефани была дата свадьбы — 21 июня и приглашение на коронацию. Уинифред вытащила машинку с ножным приводом и начала шить Фредерике платье из желтого поплина. Портниха от миссис Элленби сняла со Стефани мерки. Были напечатаны и разосланы приглашения всей родне, включая дальних, неведомых Поттеров. Стефани коротко и тактично написала миссис Ортон, намекнув, что они с Дэниелом могли бы приехать в гости. В ответ пришла открытка с гигантским букетом георгин в серебряной вазе на лакированном столике. На обороте миссис Ортон писала, что приезжать не надо: слишком хлопотно для обеих сторон, а здоровье ее оставляет желать (подчеркнуто). Пускай не волнуются, на свадьбе она будет, спасибо, всего самого доброго. Дэниел сказал, что его мамаша всегда была ленива, и мрачно добавил, что она, конечно, взбесит миссис Элленби своими штучками, но чему быть, того не миновать. Стефани промолчала.

26. Оджеров курган

Симмонс объявил, что они составят Ментальную карту своего участка планеты. Биосфера однажды будет возвышена до Ноосферы, где исполнит свое назначение и обретет полноту. Жизнь, отныне неизменная и нетленная, просияет истинным светом. Их с Маркусом наблюдения должны приблизить это время. Направляемые интуицией (в основном, конечно, интуицией Маркуса), они произведут эксперименты и ритуалы (что, по сути, одно и то же) в Местах силы. Такие Места они, конечно, сумеют отыскать в окрестностях Калверли. Их эксперименты развернутся как в материальной, так и в ментальной сфере, ведь они с Маркусом, словно амфибии, причастны обоим мирам и потому связуют их. Ночная медитация укажет *locus*[222] дневного эксперимента.

Чтобы помочь работе, Симмонс, словно мандалы, развесил в комнате военно-геодезические карты Северо-Йоркширских вересковых пусто-

---

[222] Примечания: 222
Место *(лат.)*.

шей, фотографии аббатства Уитби[223], морской впадины, известной как Лестница Иакова[224], окна-розетки Калверлейского собора, менгиров, террас и рвов пустоши Файлингдейл, в которых сказалась довременная геометрия первого человека. И без того пестрое чтение дополнил книгами о друидах и английскими мифами с их веселым, коварным народцем, что в родстве с божествами кельтов. Он рассказал Маркусу, что люди издавна умели чувствовать места, где встречаются земное и внеземное, — пуповины Земли, пещеры и вершины. Туда-то они и отправятся. Во главе угла, разумеется, научный подход: все наблюдения и выводы будут тщательно зафиксированы. Они с Маркусом составят коллекцию образцов, талисманов и знаменательных существ — как материальную, так и ментальную. Научная экспедиция и духовное паломничество. Мыслительная гимнастика, основы которой Маркус еще не постиг, в сочетании со здоровым, свежим воз-

---

[223] Примечания: 223

Полуразрушенный монастырь VII в. в Северном Йоркшире, позднее ставший бенедиктинским аббатством. В древности — один из главных религиозных центров англосаксонского христианства. Расположенное на берегу моря, аббатство производит величественное впечатление.

[224] Примечания: 224

Согласно Ветхому Завету, Лестница Иакова соединяет небо и землю (Книга Бытия, 28: 12 и далее).

духом. Любое совпадение, аналогия, устойчивая связь между сном и предметом, поступком и видением будут уловлены и разобраны. Любая мелочь может приоткрыть взору тайные глубины.

Маркус, ознобливый и мучительно восприимчивый, все же предпочитал эти вылазки всему прочему. Лукас к тому времени поставил на службу делу видения, посещавшие Маркуса наяву, — бесконечную череду подробных, вечно переменчивых образов, возникавших в минуты покоя или в промежутке между сном и пробуждением. Являлась Маркусу часто паутина в разных обличьях, сплетенная то из серых веревок, то из стеклянистых волокон гиацинтовой, ирисовой, горечавкиной синевы. Или ткань разворачивалась и слоисто волновалась перед глазами — на изгибах и между реяли индийские узоры, блестки, лица, руки. Однажды длинная процессия существ, рептильных, слонообразных, носороговидных, окровавленными ногами прошла по снегу и льду на фоне недорослых кустков, чьи листья и ветви он мог бы нарисовать, но узнать — нет. Однажды возникло лицо в шлеме и виделось долго, хоть Маркус моргал, пытаясь прогнать его, и дым летел перед странным лицом, и контуры его переходили то в извивы

морских угрей, то в черные перья чьего-то крыла. Лукас как-то говорил о цветах, и, может, поэтому Маркус стал видеть цветы: анемоны разворачивались, словно змейки, округло поднимали головы и раскрывались венчиками пунцовыми, сапфировыми, лиловыми. Какие-то ветви расцветали мгновенно и светло и уносились в черное небо. (Видение окровавленных существ на снегу одно из немногих тянулось под блеклыми небесами.) Зеленый прозрачный сок легко взбегал по полым прямым стеблям к золотистым чашечкам, белым тугим раструбам в алых крапинах, к пышным свисающим соцветиям, ярко-синим, как у дубравной вероники. Лукас сказал, что это внутренние формы Биосферы, цветы, какими они были изначально, или станут, или стремятся стать. Разглядел же Гёте свой працветок — *Uhrpflanze*[225], в обычных земных цветах, хотя в Природе нам его не встретить. Как знать, может, и Маркус увидел Схему видов, Замысел живой жизни, выраженный в математических Формах. Симмонс, к слову, недавно задумался о

[225] Примечания: 225

Працветок, увиденный в Италии великим немецким поэтом, ученым и философом Иоганном Вольфгангом Гёте (1747–1832), представлял собой идею цветка, увиденную глазами души. Из этой идеи, как считал Гёте, выводимы все существующие разновидности цветов.

снадобьях, которыми в сказках достаточно намазать веки, чтобы увидеть крошечных существ, обитающих под холмами, в ручьях и даже на рыночных площадях. Возможно, сказки повествуют нам об ином зрении, настроенном на создание схем микроскопической или еще не созданной жизни. Уильям Блейк нарисовал призрак блохи и утверждал, что «если бы каналы, через кои наши чувства воспринимают окружающий мир, были расчищены, то все сущее предстало бы перед человеком в своем истинном виде, то есть как бесконечная субстанция»[226].

— Вообрази! — лирически воскликнул Лукас, помавая крокусом перед носом ученика. — Вообрази, что можно *осознать* бесконечность этого творения. Материю и энергию, что протекли сквозь него за несчетное время. Силу, что в это мгновение удерживает его в видимой нам чистой и сложной форме…

Маркус не мог сопутствовать Симмонсу в его вдохновенных логических скачках. Крокус он видел. Видел тонкие линии и канальцы в нежном свечении лепестков, густеющий золотой отлив, почти прозрачную плоть цветка. Мар-

---

[226] Примечания: 226
Перев. В. В. Чухно.

кус пребывал в нескончаемом ошеломлении от прицельно-четких видений и настоящих вещей, изучаемых с пристальностью галлюцинации. Вещи до того сделались похожи на видения, что зрительные воспоминания о них перетекали друг в друга. Это было переносимо лишь потому, что воля Лукаса придавала всему четкое направление.

К намеченному месту отправлялись на автомобиле Лукаса, черном, низком и блестящем. Маркуса поначалу мучила геометрия. То, как белые линии по краям дороги сливались впереди, то, как автомобиль глотал их и они исчезали, наполняло его той же острой тревогой, что кружение тетрадных клеток и струй в раковине. Машина летела, подчиняя горизонт и деревья новой геометрии слияний: высокие деревья плясали, с двух сторон клонясь к ветровому стеклу. Лукас гнал. На поворотах он картинно наклонялся и присвистывал сквозь зубы. Маркус сказал, что боится больших скоростей и шуток, что играет со зрением параллакс[227].

— Ничего, для зрения это полезно, — отвечал Симмонс. — Ты знаешь, что в старину ведьму

[227] Примечания: 227

Изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона при изменении угла наблюдения.

сажали в мешок, подвешивали к дереву и хорошенько раскачивали? Там, в мешке, в темноте, она отрешалась от времени, пространства и собственного тела — ей открывались иные измерения, являлось Иное. Ничего странного, что езда в спортивной машине имеет то же воздействие на современного человека (по крайней мере, на пассажира). Опустоши сознание и не трусь.

— Это страшно — опустошить сознание…

— Но я-то здесь, с тобой. Я верну тебя к тебе, если зацепишься ненароком за куст или линию разметки.

Маркус приободрился и понемногу стал получать удовольствие от скорости.

Отрешенный от собственного тела, он видел круглый свод неба и определил кочковатую пустошь как энное количество сфер, ходящих по концентрическим орбитам. Его укачало однажды, и только однажды. Лукас сказал, что это слабость воли, что нужно учиться управлять солнечным сплетением. Он, Лукас, *желает*, чтобы Маркуса не тошнило в машине: это отвлекает и запах потом не выведешь. Протянул ему кусочек ячменного сахара. Маркуса больше не укачивало.

Одним весенним днем они посетили Ка́пель-

ный колодец в Нэрсборо и еще одно сильное место — каменный Оджеров курган.

Симмонс подчитал о Матушке Шиптон[228], некогда жившей в пещере[229] у Капельного колодца. Матушка, сказал он, обладала, вероятно, большой Ментальной Силой, раз предсказала губительные разливы Темзы от штормовых нагонов с моря, Лондонскую чуму[230], опалу и смерть кардинала Вулси[231], роспуск монастырей при Генрихе VIII[232], поражение Непобедимой армады[233], продолжительность царствования Елизаветы и казнь Карла I[234]. Она имела власть над силами природы: однажды, бросив посох в огонь, достала его невредимым. Она предсказала и многие достижения нашего времени:

Скоро мысли без преград

---

[228] Примечания: 228

Урсула Суттейл (1488–1561) по прозванию *Матушка Шиптон* — известная английская гадалка и провидица. Считается уроженкой Йоркшира. Первая книга ее пророчеств в прозе и стихах вышла в 1641 г., позже были и другие популярные издания.

[229] Примечания: 229

Согласно другим сведениям, Матушка Шиптон родилась в пещере, а жила в обычном деревенском доме вместе с мужем Тоби Шиптоном.

[230] Примечания: 230

Великая лондонская чума (1665–1666) — последняя в Европе эпидемия бубонной чумы, унесшая жизни 100 000 человек, что тогда равнялось четверти населения города.

[231] Примечания: 231

Томас Вулси (1473–1530) — канцлер английского королевства, епископ Йоркский, позже кардинал. Духовник Генриха VIII, обладавший огромным влиянием, решительный и нещепетильный политик. Впал в немилость, не сумев испросить у папы римского разрешение на развод Генриха с Екатериной Арагонской, вскоре после чего умер.

[232] Примечания: 232

Секуляризация монастырей с переходом их имущества королевскому дому Тюдоров. Сопровождалась жестокими репрессиями.

[233] Примечания: 233

Военный флот числом около 130 кораблей, собранный Испанией для вторжения в Англию в ходе Англо-испанской войны (1585–1604). Армада потерпела ряд крупных поражений от англичан и вдобавок пострадала от штормов на обратном пути. Разгром Армады считался одним из величайших триумфов Елизаветы I.

[234] Примечания: 234

Карл I Стюарт (1600–1649) — король Англии, Ирландии и Шотландии, чье самовластие, жестокие поборы и церковные реформы послужили толчком к Английской революции. Казнен по приговору парламента.

В даль любую полетят.
Человек объездит свет
Без коней и без карет.
Под водою будет жить —
Там и спать, и есть, и пить.
В небе путь проложит свой,
Черный, белый, голубой.

Лукас полагал, что люди, подобные Матушке Шиптон, ощущают движение магнитных полей Земли. Маркус ничего не полагал, но слушал внимательно.

В Нэрсборо приехали серењким деньком. Мужчина с мальчиком: ни дать ни взять обычные туристы. Двинулись вдоль реки Нидд, прошли под нависшим каменным утесом, по которому сбегает из трубы вода вместе с частицами азотистой, как сказал Лукас, земли. Это уже не утес, а водопад окаменевших струек, капелек, папоротников и корней. По их прихотливым выступам новые капли спешат в неглубокую каменную чашу Колодца. В начале девятнадцатого века развлечения местных сторожей вызывали нешуточное недовольство у ценителей изящного. Лукас взял в калверлейской библиотеке старый путеводитель.

— «Вершина утеса, — прочел он Маркусу, — вместе с украшающей ее растительностью покрыта естественным слоем углекислой извести. Известь, стекая вместе с водой, облекла утес сплошной каменной мантией. Сторожа подвешивают там мертвых птиц и зверьков, ветки, старые шляпы, чулки, ботинки и прочие несообразные предметы, которые под действием извести „окаменевают“. Их уносят как *objets de vertu*[235] любопытные, приезжающие по преимуществу из Харрогита».

И действительно, они увидели подвешенные на веревках и частично покрытые известью перчатки и носки, котелок, позеленевший вокруг ленты, на которую медленно наползала каменная корка. Лукас впился глазами в Маркуса, а тот мрачно оглядывал однородные предметы, окаменевающие под тяжелыми каплями. Было там и целое птичье гнездо: солома слоями, гладкие перья, даже несколько мелких яиц — все это медленно, но верно обретало каменную нерушимость. Маркус долго смотрел на гнездо. Еще была книга со слипшимися страницами, с названием, уже навек неведомым. Чем-то зловещим веяло

---

[235] Примечания: 235
Ценности, произведения искусства *(фр.)*.

от этой единообразной, окончательной пермутации. Если отломить сейчас кусок каменной ветки или лист папоротника, будет там внутри хоть темный след того, что раньше было живым?

— Мне не нравится, — сказал Маркус. — Зачем они все это подвешивают?

— Из любопытства к переменам субстанций. Из любопытства к любопытным вещам. Это ведь *настоящие* статуи — понимаешь?

Маркус посмотрел на понуро висящие носки с окаменелыми складками:

— Оно все мертвое. Не знаю, что тут такого впечатляющего.

И все же он был впечатлен.

— Подставь руку под воду и загадай желание. И дай воде самой высохнуть, не вытирай.

— Зачем?

— Таков ритуал. Может, это род заклинания. Связь с Иным. Мы должны оба подставить руки.

Маркус не имел ни малейшего желания в этом участвовать.

— Щупай, нюхай, слушай, смотри, пробуй на язык все, что тут есть. Валуны, камешки, деревья, — велел Лукас. — Здесь Литосфера соприкасается с Биосферой. Здесь, я думаю, портал перехода. Нужно проверить.

Он снял пиджак, с торжественным и даже зловещим видом засучил рукав. Маркус последовал его примеру. Плечом к плечу они подставили голые руки холодным струям, а потом окунули их в колодец. Вода жалила. Холод обжигал.

— Сосредоточься, — сказал Лукас, не пояснив, на чем именно.

Маркус посмотрел было на гнездо: протухшая влага в окаменелой скорлупе. Перевел взгляд и наткнулся на путаный клубок каменных шнурков. И зачем только люди простые, домашние вещи превращают в застывшую дрянь? Он отвел покрасневшую, каплющую руку. Ее всю кололо, словно иголочками. Рядом чуть подрагивало розовое, веснушчатое предплечье Лукаса.

— Загадал желание?

— Я не знаю, чего пожелать.

— Открой сознание будущему.

— Мне здесь не нравится, я не могу себя заставить.

— У этого места есть аура.

— Холодная и мокрая. Ненастоящая. Для туристов.

Вода по-прежнему холодила ему руку. Он останется здесь навсегда. Если рука не окаменеет, значит покроется льдом, треснет и раскрошится.

— Нужно здесь оставить что-то свое, чтобы поддержать связь. Что-то вроде электропроводника, если можно так выразиться.

Маркус левой рукой порылся в кармане куртки. Правую жгло и подергивало. Нащупал ручку, несколько пенни, носовой платок и бечевку. Лукас повертел это все в руках и остановился на платке с аккуратно вышитым именем. Маркус сказал, что платок ему может понадобиться: холодно. Оказалось, что Лукас взял с собой несколько платков и готов одолжить. Он соединил платок Маркуса со своим карандашом и положил под вечно каплющую воду:

— Часть нас. Часть Колодца. Связующее звено.

— Я проголодался.

— Платок и карандаш должны окаменеть в единое целое, — с какой-то просящей ноткой добавил Лукас. — Этим карандашом я записывал твои видения. Он в каком-то смысле участвовал в нашем эксперименте. Это будет мощный проводник.

Маркусу на мгновение представился каменный провод, сопряженный с каменным карандашом. Он тихонько гудел каменные ноты, которые где-то далеко улавливал детекторный приемник. Лукас, как встревоженный пес, всматривался ему в лицо. Когда его юный коллега, обычно столь

восприимчивый, выказывал знаки скепсиса или скуки, Лукаса охватывал страх. Теперь он решил не сдаваться:

— А ты знаешь, что Матушка Шиптон жила в доме, вырубленном из камня? Как Сивилла Кумская[236] и пифии[237]. Поразительное совпадение. Об этих женщинах точно было известно, что они обитают у врат в иные миры, у связующих пуповин… Понимаешь, *доподлинно известно*. И мне показалось, что ты ощутил… близость некоего силового поля… или чего-то подобного.

— Нет. Тут все непроницаемое и тяжелое. Все давит. Пойдем отсюда.

— Какую форму принимает давление?

Маркус, чертя в недвижном воздухе красными мокрыми пальцами, обернул к Лукасу каменное лицо и впервые использовал свою странную, неверную власть над ним:

— Форму знания, что нужно быстро отсюда уходить. Это место нас не хочет. Ему не нравится

---

[236] Примечания: 236

Прорицательница, возлюбленная Аполлона. Испросив у него вечной жизни, забыла испросить вечной молодости и потому постепенно иссохла и сама молила о смерти. Христианская церковь, толкуя прорицания сивилл как предвестия явления Христа, восприняла их положительно.

[237] Примечания: 237

Прорицательницы, жрицы Дельфийского оракула, служительницы Аполлона.

то, что мы делаем.

На миг его мысленному взору представились извилистые коридоры из гладкого камня с синими прожилками. Они манили внутрь, но Маркус не послушал.

— Нам здесь не рады, — повторил он.

— Но ты же почти ничего не увидел…

— Уходим.

Лукас пожал плечами, надел пиджак.

— Ну что ж, пойдем. Нужно что-то отсюда взять.

В прилегающем лесочке обнаружились весьма удовлетворительные, по выражению Лукаса, цветы: запоздалые зимние аконитыи, собачья ртуть, зерлик — олений язык — единственный местный папоротник с цельным, неизрезанным листом. Лукас явно хотел их, да еще золотисто-зеленый, резко пахнущий молочай в мелких цветочках[238] отнести к Колодцу и приобщить к вечности, но Маркус сказал, что туда они больше не вернутся. Учитель послушно кивнул. Маркус отвлек его новой хитростью: спросил об Оджеровом кургане. Лукас просиял и ответил, что это на пустоши к

---

[238] Примечания: 238

Все названные растения, кроме зерлика, ядовиты.

югу от Калверли, рядом с Обтрэш-Йет[239], иначе говоря, Вратами. Величественный курган с каменными проемами и порожным камнем имеет долгую историю, в которой были искупительные ритуалы, видения, тайные стуки, миски молока, приносимые в особую луну, хороводы и битвы неведомых существ, видимые в полночь, пастух с собакой, что вошли тут, а вышли в царстве Фэйри, да больше уж и не вернулись. Ехать до него часа два, но это хорошее место. К тому же Лукас взял с собой все для пикника. Прежде чем ехать, он прочел Маркусу истинный рассказ некоего Уильяма из Ньюбриджа о крестьянине, жившем в провинции Дейра[240] (то есть в Йоркшире). Однажды крестьянин услышал, что «из кургана доносились звуки песен, словно там был большой пир. Желая узнать, кто нарушает весельем мертвенную тишину ночи, он подъехал ближе и увидел, что в боку кургана открыта дверь. Когда он заглянул внутрь, ему предстала большая,

---

[239] Примечания: 239

Имеется известный под разными названиями сильно разрушенный каменный курган. *Обтрэш* — имя местного легендарного существа наподобие гоблина.

[240] Примечания: 240

Отсылка к англосаксонскому королевству, возникшему в VI в., а в VII в. объединившемуся с соседней Берницией. Новое государство получило название Нортумбрии.

дивно освещенная зала, полная народу, и мужчин и женщин. Они возлежали за трапезой и подымали кубки за здравие четы, поражавшей равно высоким ростом и невиданной красотою. Видя у женщины венок и причудливый наряд, крестьянин решил, что тут празднуют свадьбу. Один из слуг, стоявших при дверях, протянул ему кубок с красным прозрачным питьем наподобие вина. Крестьянин кубок взял, но пить не стал, а выплеснул тайком на траву. Каков же был его ужас, когда там, где упали капли, загорелась земля! Тут он вскочил на коня и пустился наутек, а кубок крепко сжимал в руке. Люди, бывшие в зале, вскочили и с пронзительным верещаньем понеслись в погоню. Но он невредим доскакал до города, а там отдал кубок местному курату. Только выпустил он из рук кубок, как перестал видеть своих преследователей и слышать их резкие вопли. Конь же его от страха обезумел, да так уж и не оправился. Кубок же, сработанный из неведомой субстанции, неописуемого цвета и небывалого вида, долго хранился в местной церкви, и *те* не могли до него добраться. Но порой, тронув его, любопытный мог бы услышать их рыданья, песни и угрозы».

Маркус спросил, что значит имя Оджер. Неко-

торые считают, сказал Лукас, что это искаженное французское Ожье ле Дануа. Огер Датчанин, славный паладин Карла Великого[241], унесен в Авалон[242] чародейкой Морганой, но обещано: в час великой беды он вернется, подобно королю Артуру, Мерлину и прочим, опочившим на века под камнями и курганами. Другие утверждают, что Оджер — просто местный гоблин. Он принимает приношения в виде плошек молока и порой донимает домашний скот своими грубыми шалостями.

К кургану круто подымалась по склону холма полузаглохшая тропинка. Сам же холм, некогда отданный под запашку, так густо зарос орляком, вереском и терновником, что было ясно: пустошь вытеснила человека. Курган, высокий, четко очерченный на фоне неба, стоял на небольшом круглом возвышении, обведенном остатками насыпей и рвов. Сияющий Лукас шутливо заметил: как знать, может, легенды правы, и эти рытви-

---

[241] Примечания: 241

Карл Великий (ок. 742–814) — король франков и лангобардов, позднее также герцог Баварии и Император Запада. Мудрый правитель, бесстрашный воин, поборник христианства, герой многих легенд.

[242] Примечания: 242

Мифический остров из кельтских сказаний, унаследованных англичанами. Блаженная земля, родина Морганы, место захоронения короля Артура, арена многих волшебных событий.

ны — следы предсмертных корч Страховидного Червя или дракона, приковавшего себя к холму для последней битвы. Они топали вверх, нагруженные холщовыми сумками с едой для пикника и банками для образцов флоры и фауны, и чуть запыхавшийся Маркус не спрашивал, почему страховидные черви для Лукаса лишь смешная выдумка, зато лесной народец, люди, спящие под курганами, ангелы в соборах, «матушки», за пятьсот лет вперед чующие сдвиги магнитных полей, — недопонятые проявления неких Сил. Лукас, конечно, все разъяснит. Впрочем, Маркус не особенно гнался за ясностью и даже предпочитал некую расплывчатость понятий и категорий. Он так и не уверовал до конца в теорию Лукаса. Замысел и Схему он принимал, но все литосферы, биосферы и энтелехии считал лишь красивыми словами.

«Проводники» и «вехи», оставляемые Симмонсом по всему Йоркширу, вызывали в нем смесь скепсиса и страха. Вероятней всего, это были самые обычные предметы. Но вот эксперименты — от них и впрямь начиналось что-то внутри: подергивало, покалывало, подстрекало, ширилось, сжималось, пело. И была тут связь с полями неких сил, в которые он верил волей-неволей и

которые чем-то походили на респектабельные штуки, объясняемые в школе: электричество, рентген, магнитное притяжение. Электрический разряд может подкинуть мышь, овцу, человека и трясти, пока не застучат зубы, может сжечь, обуглить, оставить после себя мертвый ком. Нечто прошло сквозь него, когда он увидел свет в Дальнем поле, и сейчас некая родственная волна снова и снова сотрясала его. Не будь тут Лукаса, думал он, его разум был бы стерт, как мел с доски. Или тело было бы стерто, и настал бы вакуум.

Они разбили что-то вроде лагеря у заваленного землей, замкнутого жерла кургана. Симмонс склонен был считать Маркуса за некое подобие ивовой лозы, указующей подземные воды, или магического жезла. Или, как мрачно подумал Маркус, стоя на голом холме под темнеющими тучами, — громоотвода. Вот и сейчас Симмонс потянул его за рукав куртки:

— Ты чувствуешь что-нибудь? Чувствуешь, что это за место?

— Пусти! — раздраженно дернулся Маркус. — Я не могу думать, если ты меня все время трогаешь.

Он отошел, спустился немного по склону, добросовестно стараясь освободить сознание. С

надеждой повторил, что хочет есть.

— Мы работаем на пустой желудок, что тебе прекрасно известно, — огрызнулся Лукас. — Тот же принцип, что со Святым причастием. Когда закончим, будет пикник. Я много всего припас, и очень вкусного, кстати. — Он неожиданно хихикнул.

Маркус продолжил бродить, прислушиваться к земле и воздуху, нюхать, всматриваться. Курган был стар и безмолвен. Внутри была земля, пыль и воздух, пронизанный землей и пылью. Живое вырастало из кургана, и все тут было спутано и сплетено. Земля с травой и волчцами, земля пополам с костьми — и отовсюду тянулась жизнь, и вода, пронизывая все, питала ее и испарялась. Маркус положил руку кургану на травянистый бок. В нем было собственное тепло. Спустился пониже, нашел синий цветок. Покричал Лукасу:

— Я нашел синий! Слышишь, синий нашел! Очень красивый цвет…

Лукас ловко протрусил вниз и пришел в большое одушевление. Синие венчики подымались над высокими, суженными кверху чашечками, переходившими в гладкий короткий стебель, в самом низу окруженный розеткой листиков.

— Не срывай, — воскликнул Лукас. — Это

редкие. Для наших мест очень редкие цветы. Весенняя горечавка. Тут ее встретишь не каждый год. В долине Буррен[243] карст — там ее побольше. Но все равно это бесспорная редкость. Это знак. Эксперимент проведем прямо здесь. Погоди, я принесу аконитy. И может, еще молоко. Как думаешь? Вроде ритуального возлияния? Местные так делали.

Маркус сидел и задумчиво смотрел на редкую горечавку. Лукас тем временем вернулся и разложил вокруг нее зерлик, собачью ртуть, еще другие цветы и аконит. Налил из термоса молока в пробирку и пристроил ее стоймя рядом с горечавкой. Подумав, некоторые цветы положил крест-накрест. Повернулся к Маркусу:

— Я еще возьму одно из твоих пенни. Приложу еще свое, и у нас будет хорошее приношение. В подземный мир люди всегда брали с собой монеты. И я точно где-то читал, что горечавки — факелы мертвых.

Синий цветок казался невинным и диким. Маркус сказал:

— Наверно, не стоит нам пытаться вызвать мертвых.

---

[243] Примечания: 243

Долина в Ирландии с холмистым карстовым ландшафтом, возникшим благодаря размыванию известковых пород.

— Нет-нет, я не об этом. Нам нужно где-то войти. Пройти насквозь в другое измерение. Нам нужен только свет, факел, ничего больше. Теперь вопрос: каким образом войти? Как поступали наши мудрые предки? Они плясали. Плясали так быстро, что космос плясал с ними вместе и становился их частью. И тогда они видели, как пляшут частицы материи… Поэтому дервиши крутятся — чтобы освободить разум и получить власть над твердыми частицами…

Маркус повесил голову:

— Я не могу крутиться, как дервиш.

Он смотрел на круг из цветов. Глупо, конечно. Но что-то мерцает там, в круге, пробивается какой-то смысл…

— Мы возьмемся за руки крест-накрест прямо над этим местом. Получится фигура, о которой ты говорил, с пересечением посредине. И если это и впрямь Место силы, то мы окажемся над другим пересечением — пересечением двух миров. Мы выйдем на одну волну со здешними силами…

— Это с Оджером?..

— Оджер просто имя. Можно точно так же сказать: трава, горечавка, собачья ртуть, аконит, земля, воздух, вода…

— Я себя глупо чувствую.

— Ну пожалуйста, попробуй. Попробуй хотя бы, раз уж мы столько мучились.

Маркус протянул длинные, костлявые кисти, и Лукас сжал их руками плотными и квадратными. В первый раз с начала эксперимента они намеренно продлили прикосновение. Маркус был вял, но Лукас вцепился накрепко.

— Откинься. Опустоши сознание. Начали!

Руки сцепились еще сильней, потом напряглись от кистей до плеч. Ноги переступали все быстрей и быстрей. Тяжелое небо качалось и прядало, курган то нависал над ними, то валился куда-то набок, а ноги их топали, шаркали, кружились. Маркус услышал собственный смех, взволнованный и дикий. Лукас издавал какое-то странное уханье. Воздух тонко и резко пел в ушах. Еще быстрей. От кружения мир слился в пляшущий кокон из линий серых, бурых, золотых, зеленых, телесных. Иногда в самой его середине вспыхивала синяя точка цветка. Если бы кто-то мог видеть их со стороны, он вспомнил бы не о дервишах, а скорей о мальчишках, сцепивших руки тугой восьмеркой и кружащих по школьному двору, чтобы потом земля из-под ног, чтобы смеяться, вопить, спотыкаться, и вдруг застыть, и смотреть, как школа, ограда, футбольные ворота

торжественно проплывают мимо.

Кружились, вертелись и вывернулись из смеха в одышливое молчание. Ритм их ног сделался деликатно-автоматичен… Кончилось все странно и до скудости просто, как и большинство известных нам столкновений со сверхъестественным. Собственно конца кружения никто из них не помнил. Они очнулись по разные стороны холма, причем обоим показалось, что они необыкновенно крепко спали. Маркус полулежал на холодном склоне. Открыв глаза, он увидел лишь черноту. Некоторое время, показавшееся ему очень долгим, он думал, что сейчас ночь, и не мог вспомнить, где находится. Но постепенно чернота приобрела очертания тоннеля, по которому двинулся на него белый диск. Диск рос и мерцал, молочно-матовый, пока не заполнил поле зрения. Тогда вместо безымянной черноты разлилась безымянная беловатость. Потом понемногу словно бы туман растаял перед глазами, и он увидел холм в рытвинах, нищие поля, жерло кургана, каменные врата, к которым он привалился. Маркус поднялся и неуверенно побрел туда, где они кружились. Горечавка была на месте. Пробирка опустела. На цветах лежала монета в полкроны, видимо выкатившаяся у кого-то из кармана. С

другой стороны холма, спотыкаясь, шел Симмонс. Не то ушные перепонки, не то ветер, не то сам курган издавал пронзительное пение, звучавшее у Маркуса в голове. Лукас возложил руки ему на плечи, Маркус ответил тем же торжественным жестом. Они стояли, опустив головы, дыша тяжело. Потом нагнулись, подобрали пробирку и монету, которую Лукас забрал себе.

Отъехав на несколько миль, наконец поели. Сэндвичи с мясом, щедро присыпанным солью, термос томатного супа, яблоки, сыр и сдобный пирог, набитый цукатами, сразу придали им сил. Когда садились в машину, Маркус оглянулся и увидел на фоне аспидного неба толстый витой столп особенного света — янтарного, что ли? — подымавшийся над курганом, словно ураган или водяной смерч из мальчишеской книги, словно ствол прозрачного, непомерного дерева, запускающего тонкие, чуткие корни в расщелины, тянущего их вдоль насыпей, щупающего испод выступов. Тогда он промолчал: Лукасу пришлось бы искать слова для того, что они сделали, а таких слов могло не оказаться. Получив сэндвич, он несколько секунд жадно жевал, стараясь не думать, а потом почуял поверх мясного запаха запах страха, исходивший от Лукаса и наполняв-

ший крохотную машинку. Сказал мягко:

— Наверно, не стоит нам об этом сейчас говорить. А может, и никогда не стоит.

Лукас поднял от сэндвича круглое, потное лицо.

Маркус повторил:

— Я даже *точно знаю*, что говорить не нужно.

Маркус надеялся, что так Лукасу будет легче. Если нет, то больше он уже ничего не мог сделать.

Только добравшись до дома, они сообразили, что ни тот ни другой не высчитал по часам, сколько длилась чернота.

27. Коронация

Большинство гостей, собравшихся второго июня у миссис Тоун, никогда еще не видели телевизионной передачи. В их числе были все члены семейства Поттер, Фелисити Уэллс, чета Перри и Лукас Симмонс, который взволнованно сообщил Маркусу, что и коронация, и просмотр телевизора могут оказаться полезными опытами в смысле передачи энергии и мирской власти. Что до шестерых приглашенных мальчишек, у некоторых в доме телевизор уже был. Супруги Элленби могли похвастать изрядным опытом: они не раз посещали прихожан, угощавших их чаем и шерри под телевизионный аккомпанемент. Еще пришел Александр, надеявшийся на приглашение от Кроу и обманувшийся в надеждах. Ближе к полудню раздался звонок. Миссис Тоун открыла дверь и узрела на пороге Эдмунда Уилки в компании неизвестной девицы.

— До меня дошел слух, что ваш дом сегодня открыт для всех, — любезно сказал Уилки. — И я подумал: а не зайти ли? Кстати, познакомьтесь: это Каролина. На улицах ни души, город натурально вымер. Нам страшно захотелось людей.

Вообще-то, мы званы на вечерние увеселения к Кроу, но приехали рановато.

Обняв девицу за талию, он мимо хозяйки прошагал в переднюю и небрежно бросил длинный шарф и круглый мотоциклетный шлем на резной дубовый комод. Миссис Тоун провела их в гостиную. Уилки давно уж был бельмом на глазу ее супруга. Он нарушал все правила подряд, он раскалывал класс на враждующие фракции, оставаясь при этом сам по себе. Он нагло заявлял, что своего громкого успеха добился не благодаря, а вопреки усилиям директора и блесфордского сообщества в целом. Но Бэзил Тоун все же питал к нему некую извращенную приязнь: не за живой интеллект, коему не доверял, а за трудность педагогической задачи. Как многие учителя, он любил именно тех, с кем было особенно тяжело. Как многие блудные сыновья, Уилки по временам возвращался в родные пенаты, чтобы эту любовь подпитать, похвастать ею и решительно отвергнуть. Билл Поттер был к Уилки холоден. Блестящий ум признавал за ним охотно, но не терпел его позерства и спорных моральных ценностей и вообще мало интересовался его судьбой. Последнее во многом происходило оттого, что психология как часть культурной иерархии Бил-

ла почти не занимала.

Когда Уилки вступил в серебристо-розовую гостиную миссис Тоун, мистер Тоун, тоже розовый, с волнистыми серебряными волосами (мальчишки почему-то считали, что это парик), радостно поднялся ему навстречу. Билл недовольно хмыкнул и глубже ушел в кресло. Уилки, продолжая тискать подругу, весело кивал знакомым: Биллу, Александру, Стефани, Фредерике, Джеффри Перри. Возвысив голос над звучными переливами Димблби[244], он сообщил присутствующим, что подругу зовут Каролина. У смуглой брюнетки Каролины была красиво растрепанная мальчишеская стрижка, тонко проступающие кости, как тогда было модно, пружинящая походка и крошечные балетки, благодаря которым щиколотки казались тоненькими, а икры округлыми.

— Смотрите, — вмешалась Фредерика, — королева выходит.

Каролина закатила глаза:

— Боже, ну и фарс!

Миссис Тоун сокрушенно вздохнула.

— Да сядьте же, наконец, Уилки, — раздраженно сказал Александр.

---

[244] Примечания: 244

Ричард Димблби (1913–1965) — журналист и телеведущий, первый военный корреспондент Би-би-си, значимая фигура на телевидении.

В те дни никто не знал, как отнестись к пронырливому любопытству телекамер, к немеркнущему оку экрана. Не было еще ни общественных, ни личных норм, и даже журналист компании Би-би-си, официально освещавшей церемонию коронации, спрашивал: «Хорошо ли это, что за великим и торжественным обрядом зритель будет наблюдать из собственного кресла, с чашкой чая в руке? Были серьезные сомнения касательно…» Что до прессы, то большинство газет выказало по этому поводу демократичный энтузиазм: «Скромный маленький экран послужит сегодня окном в Вестминстерское аббатство для ста двадцати пяти миллионов человек. Все эти миллионы от Гамбурга до Голливуда увидят *сегодня же*, как королевская карета с радостным перезвоном проедет по ликующему Лондону… Восемьсот микрофонов включены и настроены, сто сорок радиокомментаторов готовятся поведать миру о короновании Елизаветы II. Но сегодня день телевидения. Благодаря ему новым смыслом наполнится представление монархини и признание ее народом. Стоя у кресла Святого Эдуарда[245], королева обернется и явит себя народу — не толь-

[245] Примечания: 245

Кресло короля *Эдуарда I* (1239–1307). С XIV в. все британские монархи, за исключением двух, в момент коронации сидели в этом кресле.

ко в аббатстве, но и по всей стране…»

Экран называли маленьким, королеву — восторженно и многократно — крохотной фигуркой. Восхищались тем, как прямо и стойко держится она, изнуренная, должно быть, долгой церемонией, тяжестью торжественных роб и еще большей, чрезмерной тяжестью короны. Слова уменьшительные и увеличительные сыпались с экрана, а на нем мерцали серо-белые тени, колко вспыхивал металл и драгоценные камни, и среди них двигалась куколка, матово-искристая, ростом в полдюйма, потом в дюйм, потом в два. Возникало лицо дюймов восемь в ширину, то мрачно-серьезное, то милостиво сияющее. Черно-белый улыбчивый образ из сборчатого льна, золотой парчи и переливчатого шитья перламутровых оттенков: розового, нежно-зеленого, земляничного, аметистового, желтого, золотого, серебряного, белого. Ленточные узоры, расшитые бусинами золотистого хрусталя, жемчугами и алмазами, подобранными по размеру от меньшего к большему. Черные, туго завитые волосы и черный рот — видимо, от красной помады. В те дни ненакрашенные губы считались голыми. Прямоугольно обрезанная, размером с марку или конверт, двигалась процессия пэров, чьи мантии,

круглые лысые головы и дворянские короны делали их похожими на кегли. Словно вышитые мягким гобеленовым стежком, волновались клумбы лиц с обобщенными чертами, толпы проплывали за толпами, все казалось одинаковым и одновременно различным. Серая круговерть пушечных лафетов, лилипутских пэров в коронах и бриджах, окон, мальчиков-хористов. Этот поток сгущался, расточался, перемешивался, провожаемый густым, раскатистым голосом Димблби, взрывами псалмов и гимна.

Кто и что из этого вынес? Пресса, избрав лексикон патетический, местами архаичный и неуклюже назидательный, восхваляла новый Елизаветинский век.

«Завтрашний день сулит нам новый Век Елизаветы, когда растущие ресурсы науки, индустрии и искусства будут мобилизованы на службу человеку, дабы облегчить его бремя и дать новые возможности для жизни и досуга.

Но не следует забывать, что еще недавно атомные тучи грозили заслонить от нас солнце. Сегодня нам разительно ясно, что многие поколения лишатся будущего, если не будет установлен прочный, надежный мир».

В речах Черчилля звучала самоуверенность

бывалого оратора, и от этого слова казались устарелыми, а интонации грузными, затверженными, полученными в наследство от былых стариков.

«Не стоит думать, что эра благородства ушла безвозвратно. Здесь, в высшей точке нашего всемирного содружества, мы видим молодую женщину, которую чтим как королеву и любим, потому что она — это она. „Милосердие“ и „великодушие“ — эти высокие слова давно примелькались нам в пустых придворных речах. Но здесь они звучат по-новому, потому что мы верим им, глядя на Королеву, на кормчую звезду, которую Провидение посылает нам сегодня, когда настоящее тяжело, а будущее сокрыто».

Странная нотка неуверенности просачивалась среди оптимистических обещаний. «Дейли экспресс» в огромной передовице высокопарно и неуместно процитировала Ширли[246]:

Судьба народов и держав

Лишь тень, лишь бренность и туман…

Сию мрачную мысль редактор подсластил рассуждениями о том, что народ и держава не

---

[246] Примечания: 246

Джеймс Ширли (1596–1666) — английский поэт и драматург.

превратятся в тени, если королева и подданные посвятят себя «высшим целям» и будут «преследовать их неустанно».

Журналист «Ньюс кроникл», вдохновившись образом покоренного Эвереста[247], попеременно впадал в неловкое славословие и корчился от стыда, языкового и самого обычного. Он тоже не обошелся без странной цитаты из великого английского поэта, на сей раз Браунинга[248]:

> *Мечта превосходить должна способность —*
>
> *Иначе для чего нам небеса?*

Дальше шли лирические рассуждения о «холодном, прекрасном, жестоком, желанном пике, о котором столько лет мечтал человек». Автор в туманных выражениях заигрывал с идеей о том, что коронация и покорение Эвереста — предвестие новой империи, рая на земле, золотого века,

---

[247] Примечания: 247

В 1953 г. Эверест был совместно покорен новозеландцем Эдмундом Хиллари и непальским шерпом Тенцингом Норгеем. Их восхождение было приурочено к коронации Елизаветы II и состоялось 29 мая. Весть о нем дошла до Англии 2 июня, как раз в день коронации.

[248] Примечания: 248

Приведенная цитата взята из стихотворения «Андреа дель Сарто».

Клеополя[249] и прочих конструктов, сочетающих в себе временное несовершенство и блаженство вечное.

«Сегодня на Британских островах радостно трепещут тысячи флагов. Такой же флаг водружен нами на другом конце земли, в высшей точке мира.

Почему эта новость должна пробудить великую гордость в сердце британской нации? Потому, что мы убеждаемся: нет ничего невозможного, потому что видим: эпоха Елизаветы II начинается блестяще. И пусть скептики усмехаются. Есть в этой новости нечто, что подымает ее много выше заголовков передовиц.

Наши предки назвали бы это Знаком. Мы, сегодняшние, уже не понимаем до конца значение этого слова и стыдимся ярких выражений».

В 1973 году Фредерика увидела Александра по телевизору в образовательной программе для взрослых. Он читал лекцию об изменениях в языке публичной сферы, иллюстрируя ее цитатами и фото, взятыми из тех же газет и репортажей от июня 1953 года. Александр весьма тонко анализировал искусственно подогретые

---

[249] Примечания: 249
Волшебный город из «Королевы фей» Э. Спенсера.

светлые чувства и выражавший их вокабуляр, где невозможные ныне старинные слова: «перезвон», «кормчая звезда», «трепет», «Провидение» («пустые придворные речи» Черчилля уже тогда были пустым звуком) — нелепо мешались со словами новыми, немилыми, утилитарно-технократическими: «ресурсы» науки, индустрии и искусства, их «мобилизация» во имя облегчения бремени, создания новых «возможностей» для жизни и «досуга». Если «облегчение бремени» как риторический термин уходит по прямой линии через Беньяна[250] к Иисусу Христу, имеет моральный вес и даже, пожалуй, перегружено мертвыми отзвуками, то «ресурсы», «мобилизация» и «досуг» — новомодные оптимистические абстракции, лишь подчеркивающие отход от старых, более узких и точных, значений этих же слов.

«Правда в том, — сказал Александр в 1973 году, невольно вызывая к жизни абстракции, занимавшие его и его поколение двадцать лет назад, — что этот огромный, бесплодный порыв возродить старину воистину был лишь тенью на-

[250] Примечания: 250

Джон Беньян (1628–1688) — английский писатель и баптистский проповедник, любимец простых прихожан, немало пострадавший за свои убеждения.

рода и державы, фантомом, жалкой погремушкой славы[251]. Правда в том, что праздник кончился, и довольно давно».

В завершение он предсказуемо показал зрителям сильную карикатуру Лоу[252]: комната, британские флаги со сломанными древками, обмякшие куклы, лопнувшие и сдувшиеся шарики, пустые бокалы, мертвый экран телевизора. «В конце концов, — подытожил Александр, — новый и старый язык, как и насильственное их сращение, оказались всего лишь пустышкой».

В 1973 году Фредерика подумала, что он слишком все упрощает. В его словах — неистощимый нарциссизм средств массовой информации, «зерцало, что в зерцале отразилось»[253]. Бесконечный коридор отражений, комментируемых бесчисленными комментаторами. В 1953 году

---

[251] Примечания: 251

Слова из последнего монолога Гамлета, сетующего, что двадцать тысяч солдат погибнут на войне ради фантома и жалкой погремушки славы.

[252] Примечания: 252

Дэвид Лоу (1891–1963) — новозеландский карикатурист, много лет проработавший в Великобритании. Упомянутая карикатура, кроме прочего, высмеивает отождествление Елизаветы II с Елизаветой I и романтизацию елизаветинской старины. Карикатура несколько отличается от авторского описания: с телеэкрана смотрит королева, вместо кукол — младенцы и взрослые в подгузниках.

[253] Примечания: 253

Из стихотворения У. Б. Йейтса «Статуи».

Александр пытался говорить в стихах об истории и правде. В 1973-м он прозой критиковал языковой стиль прошедшей эпохи. Есть другая правда. И не одна. Фредерика подумала, что была какая-то невинность, неиспорченность в этой всеобщей радости (когда сама она была семнадцатилетней, весьма смышленой, но малонаблюдательной). У благоговейно-восторженных комментаторов не было умысла — только чистая, бесцельная и бесполезная грусть по далекой старине. А люди просто надеялись на что-то хорошее после тяжелой войны и лишений. Это уж позже оказалось, что, вопреки устройству банкетных залов и парков с развлечениями, их надежды так же мало воздействуют на реальную жизнь, как скорбь Гамлета при виде обреченных солдат. Их романтический подъем был искренен. Романтика вскоре повыцвела, но главное в том, что на смену ей не пришло ничего путного. Вместо выцветшей романтики — вовсе бесцветная «сатира», вместо пышной риторики — заносчивая, намеренно косноязычная заумь, натужное стремление обесценить все и вся. Своей карикатурой Лоу крепко ударил англичан по больному месту. Пришедшие за ним в основном царапались — словно ногтями по стеклу.

Но в 1953 году Фредерика ни о чем таком не думала. Она почти во всем согласилась с подругой Уилки, мигом почуяв, что это «правильная» реакция. «Ну и фарс!» Так говорят и чувствуют современные люди. В то время слово «современный» было синонимом слова «передовой». Ни раньше, ни потом (то есть сегодня, в 1977 году) такого не наблюдалось. Фредерика желала быть современной, и ей вполне хватило ума понять, что коронация не только не открывает новую эру, но даже и от современности отстает. Год спустя, когда вышел «Везунчик Джим»[254], Фредерика рыдала от истерического восторга, читая, как Джим свирепо ровняет с землей Веселую Англию. Впрочем, она была достаточно проницательна, чтобы почувствовать: Джим и его автор Эмис, как и она, не смогли бы до конца осудить вечернее празднество в поместье Кроу. Кроу был достаточно богат, чтобы нанять настоящих музыкантов играть настоящую музыку елизаветинской поры в настоящем елизаветинском саду, а для разнообразия — и настоящий джаз, пока гости в настоящих шелках пили настоящее шампанское

[254] Примечания: 254

Сатирический роман британского писателя, поэта и критика Кингсли Эмиса (1922–1995), высмеивающий жизнь и нравы провинциального университета.

и темный ньюкаслский эль. Для современных насмешников деньги были вполне настоящей силой, и пока карета настоящей королевы в золотой парче с перезвоном въезжала в ворота Букингемского дворца, Эра достатка, фунта в кармане[255] и ярких одежд из искусственного волокна вспенилась и плеснула через край Эмисова бокала со старым виски, снялась для цветного приложения крупной газеты, облачилась в синтетическое платье с изображением британского флага и высокие елизаветинские сапоги из серебристого полимера, после чего занялась формированием и точным определением Поколения цветов.

Настоящий рай, как учит Пруст, всегда рай потерянный. Лишь позже, повзрослев, Фредерика увидела сходство между пастельными надеждами 1953 года и собственным тогдашним знанием, что любое событие — начало чего-то нового, а ее настоящая реальность — будущее. Тогда-то она и ощутила ностальгию по тому, что в те годы решительно окрестила невнятной иллюзией. Точно так же, в прустовском стиле, она постепенно ста-

---

[255] Примечания: 255

Отсылка к речи премьер-министра Великобритании Гарольда Вильсона по поводу девальвации 1967 г., составившей около 14 процентов. Обращаясь к народу, Вильсон произнес знаменитую неоднозначную фразу: «Это не значит, что здесь, в Британии, у вас в кармане, в кошельке или в банке фунт девальвируется».

ла ассоциировать свою одержимость «Четырьмя квартетами» с коронацией в ее связи с Англией, историей и преемственностью эпох. Коронация была попыткой воплотить в ритуале истинно английский дух и веяния современности. Ни то ни другое не удалось. Впрочем, бывали и худшие неудачи. И раз любая попытка по определению не есть неудача, то современность *в буквальном смысле* нам современна, а королева, что бы ни думали подданные, действительно была коронована, причем коронация воплотила в себе и Англию, и современность. Тогда.

Что до остальных гостей, то каждый думал о своем. Чета Элленби просияла и приободрилась, словно бы весь мир ненадолго, но основательно проникся настроением воскресной службы. Мисс Уэллс пребывала в состоянии культурного экстаза. Уносящиеся ввысь своды Аббатства, в неземной перспективе изображающие преддверие Царствия Небесного, и маленькое, белое, земное лицо королевы над символически расшитыми робами казались ей залогом обновления. Элиот сказал однажды, что английский атеист трижды в жизни приемлет христианский обряд: при рождении, смерти и первом опыте на брачном поприще. Сейчас же каждый англичанин

приобщался древнего народного христианского ритуала. Это было подлинное Возрождение.

Дэниелу и Стефани было не до ритуалов. Стефани украдкой следила за Биллом, Дэниел — за Стефани, а Билл смотрел телевизор, внезапно по-детски увлекшись этой сложной технической штукой. Дженни следила за Александром, а ее муж Джеффри за Томасом, пристегнутым к специальному креслицу, стоявшему на полу. Миссис Тоун была к коронации равнодушна: ее интерес к будущему и внешнему миру иссяк со смертью сына. Раз и навсегда осознав, что за короткий промежуток между основательным полдником и звонком, возвещающим конец большой перемены, мальчик может побежать, упасть, проломить себе череп, задергаться в судорогах, замереть навсегда и начать разлагаться, она осознала и необратимость жизни. Невозможно стереть ни одну бомбардировку, ни один концлагерь, ни одно чудовищное порождение человечества. И еще поняла кое-что о себе самой: времени осталось не так уж много и по большому счету не важно, чем она его заполнит. К сожалению, у нее оставалось еще немало жизненных сил, и вместо жизни она занялась сохранением хорошей мины при игре, проигранной начисто. От успехов своих

миссис Тоун испытывала острую, бессмысленную гордость. Церемония коронации была хорошим примером поддержания мины. Усилия Уинифред тоже, потому и она получила приглашение в дом. Король умер и зарыт в землю. Отныне его будущее — королева-дочь. Для миссис Тоун его кончина была лишь очередной вехой, очередным знаком, что ее собственная, настоящая жизнь вместе с будущим, которое она себе рисовала, отошла в прошлое. Она любила, когда к ней приходили мальчики из младших классов, угощала их сосисками в тесте и лимонадом. Мальчики никогда не смотрели ей в глаза, что она находила вполне естественным. Знай они, о чем она думает, они бы и не могли смотреть.

Александр, увлеченный прошлым, относился к настоящему крайне критически. Его раздражал Димблби, решивший панегирик Елизавете II оттенить ядовитыми уколами в адрес Елизаветы I.

«Снова Англия переживает тяжелые времена, но на заре второй елизаветинской эпохи какое великое преимущество имеем мы благодаря нашей королеве! Нам всем известен ее нрав — итог счастливого детства, прошедшего в согласии с высшими этическими и христианскими принципами, в мирном сознании любви и единения,

царящих в семье.

Ее предшественница, первая Елизавета, дочь самовластного, неумеренного в страстях Генриха VIII и хитрой интриганки Анны Болейн, возможно, отчасти заслужила прозвание „дщерь Дьявола“, данное ей испанским послом. Впрочем, в оправдание она могла бы предъявить свое детство — в сравнении с ним жизнь современной неблагополучной семьи, на которую у нас принято списывать грехи малолетних преступников, представляется образцом респектабельности. Это угрюмое детство способствовало развитию в ней двуличия и коварства…»

К новой Елизавете — «юной жене и матери», воспеваемой Димблби, — Александр относился весьма прохладно. К тому же известно было, что жена и мать недолюбливает свою тезку-предшественницу за жестокость к Марии Шотландской[256], чья кровь течет в ее жилах. Мрачно

---

[256] Примечания: 256

Мария I Стюарт (1542–1587) — королева Шотландии, правнучка Генриха VII Английского и потому законная претендентка на английский престол. Взойдя на трон в трудное для Шотландии время, католичка в протестантской стране, Мария не смогла удержать власть. После переворота она бежала в Англию, где оказалась под пристальным наблюдением Елизаветы I, обеспокоенной близостью возможной соперницы. Несмотря на интриги и тайную переписку с иностранными державами, Мария непосредственно не участвовала в восстаниях против Елизаветы, однако ее имя часто использовали враги королевы. После раскрытия очередного заговора Мария была казнена.

отметив неофрейдистские тенденции панегирика, Александр помрачнел еще больше, осознав, что в его собственной пьесе побуждения исконной Глорианы во многом объясняются теми же неофрейдистскими постулатами. Он ведь почти не коснулся политики, писал лишь о ее семье.

Современник Елизаветы I сказал по случаю ее коронации: «Тайна правления во многом заключена в пышных церемониях»[257]. По дороге в Вестминстерское аббатство Елизавета «по велению души» обратилась к народу: ее слова Александр вшил в лоскутное одеяло пьесы.

«И вы, коли просите, чтобы я осталась вам доброй окормительницей и государыней, уверьтесь, что я буду к вам милостива, как ни одна королева ранее. Мне достанет и воли, и силы. Уверьтесь, что за вас и ваш покой я без трепета пролью свою кровь. Да вознаградит вас Бог». «Не стоит удивляться, что ответом ей была буря ликования: речь была полна сердечного чувства, и слова ее были сплетены преискусно»[258].

---

[257] Примечания: 257

Имеется в виду Джон Хэйуорд (1564–1627), английский историк, законовед и политик. В воспоминаниях о Елизавете он писал, что вышеприведенный принцип был ей хорошо известен.

[258] Примечания: 258

Цитата из воспоминаний Ричарда Малкастера (1531–1611), англиканского священника, лексикографа и педагога.

Нет, думал Александр, глядя на экран, сегодня нам слишком явно недостает и сердечного чувства, и искусного сплетения слов. Годы спустя, но еще до телепередачи, имевшей, к слову, большой успех, он написал пародийный сценарий вокруг коронации второй Елизаветы. То, что виделось ему попыткой стиля в эпоху бесстилья, радужным размывом ностальгии, в ритме прихотливом и слабом, но все же трогательном, с неким неумышленным умирающим отзвуком. Ни один режиссер за сценарий не взялся: говорили с обидной прямотой, что тут нет ни темы, ни остроты.

Лукас предупредил, что сегодня миллионы ментальных энергий сойдутся в одной точке, на одном событии. Маркус должен попробовать подключиться к ним, выйти на волну этих сил. Обычные электрические соединения выразят в знаках и символах невидимые силы, движущие миропомазаньем и действием катодного луча. Лукас говорил о потоках, «гребенках» и полосах пропускания. Маркусу смутно представлялось, что им нужно усилием воли соткать гладкий узор новых сущностей, причем внешней канвой должны послужить ритуальные действия принцев и епископов, государей бренных и вечных.

Мальчиков, включая его, усадили в первом ряду на сизых бархатных пуфах. Лукас оказался у дальней стены. Луч его напряжения по временам упирался Маркусу в спину, словно яростный луч маяка. Учитель советовал по возможности работать незаметно.

Маркус добросовестно вперялся, но видел в основном только геометрическую схему стеклянной поверхности, на которой роились точки и полукружья, червячки и пилюли, всевозможные кляксы, ритмично дергавшиеся и ти́кавшие. Но в минуту миропомазания, о которой особо говорил Лукас, ему вдруг удалось сфокусировать все это в образ и, отменив серое мерцание мантии, увидеть под ней маленькую женщину с пятнадцатью ярдами плоеного льна на внушительной груди, неловко сидящую в громоздком кресле, сложив руки так же, как сложены были его вспотевшие ладони.

Картинка замигала, замигала, и кадры медленно поехали вверх, чередовались все та же голова и ноги, и от этого все стало двумерным.

Возможно, Лукас надеялся, что он увидит слетающего с небес голубя или, как одна ясновидящая, ноги Ангела Аббатства, стеклянными столпами уходящие ввысь сквозь кровлю.

Но то, что с ним было, больше походило на рассеивание.

Маркус шарил рукой, пытаясь ухватить белый льняной холод, сдавивший грудь и плечи. Мирная гостиная миссис Тоун тряслась и бугрилась. Маркус встал, забормотал что-то, спотыкаясь двинулся к телевизору. И на экране вместо людей возникли проволочные волны, вибрирующие в снежной буре. «Сядь! Сядь!» — зашептали вокруг. Маркуса повело немного в сторону, и экран, хоть и треща, снова стал показывать обычное.

Лукас вскочил, Дэниел тоже. Увидев его, Лукас сел обратно с испуганным и злым лицом. Маркус медленно поворачивался на месте. Дэниел схватил его за руку. Многие заметили, что, когда между Маркусом и телевизором вклинился курат, треск прекратился. Маркус, мучимый болью, подумал было укусить Дэниела, которого в тумане не различал, зато ощущал что-то вроде сдавивших его удавьих колец. Дэниел глянул ему в лицо и больно ущипнул за локоть — самый незаметный способ встряхнуть и привести в чувство. Обернулся к Стефани, сидевшей на диване: «Подвинься, дай место!» Меж их теплых тел Маркус просел и дрожал. Дэниел щипнул еще раз, с вывертом, и он, щелкнув зубами, захлопнул

рот. Потом закрыл глаза и откинулся в черное, сухое тепло, которое струилось меж Стефани и Дэниелом и замыкало его в контур, ограждавший от прочих сил, сновавших по комнате.

Стефани, ненадолго выведенная из летаргии, защищавшей ее от электрического потрескивания Билла, вспомнила вдруг, что к Дэниелу ее привело беспокойство за Маркуса. И что она — они — за своими заботами совершенно о нем забыли. В последнее время она спала как мертвая, чтобы не думать, этот дар им с братом достался на двоих. А он, может быть, по-прежнему плачет по ночам. Она быстро глянула на Симмонса. Тот был красен, как яблоко, и улыбался приятной, утешающей улыбкой, а в глазах стояли слезы. Перехватив ее взгляд, он несколько раз скованно кивнул, видимо выражая симпатию. Потом подсунул под себя руки и сидел так, словно с трудом сдерживал какое-то чувство.

А процессия на экране извилисто текла дальше. Димблби уже несколько раз похвалил британцев за несравненное умение обставить торжественную церемонию. Столько людей движутся вместе, столько сердец бьются в унисон.

— А я терпеть не могу двигаться в массе, — заметила Фредерика. — Если чего и боюсь, то толпы,

когда она вся как один зверь.

Ее слова, похоже, сподвигли Уилки произнести речь. Когда показали лондонские улицы, аспидные от дождя, он надел свои огромные розовые очки и теперь, осененный ими, одарил присутствующих улыбкой:

— Я познакомился с одним очень интересным психоаналитиком, его фамилия Уинникотт. У него потрясающие идеи насчет подсознательных истоков демократии. Он говорит, что все мы подсознательно боимся Женщины. Потому-то женщинам так трудно добиться влияния и удержать его, что в частной жизни, что в политике. Наши правители — что-то вроде приемных родителей. И в этой роли женщину не хочет видеть никто, независимо от пола, потому что в джунглях подсознания бродят страшные, всемогущие Воображаемые Женщины. Отсюда чудовищная жестокость к женщинам, которую мы встречаем в каждой культуре. Мы боимся Женщины, потому что все однажды полностью от Нее зависели и позже свою индивидуальность формировали на отрицании этой зависимости. Как поступали все диктаторы? Они подавляли этот страх в себе и в людях. Узурпировали роль женщины и как бы включали ее в свою сферу. Поэтому они

требовали не только повиновения, но и любви. Может, отсюда и Фредерикин страх перед любым коллективным чувством, включая любовь.

Тут каждый из слушателей тайком обшарил сколько мог подсознание в поисках страха Женщины и, надо сказать, послушно его там нашел.

— Чушь собачья, шаблон и примитив, — внезапно сказал Билл.

— И как же тогда королева? — вставила Фредерика. — К ней сейчас вся страна выражает любовь.

— Это другое, — отвечал Уилки. — Королевская власть наследуется. И наш монарх, что отлично понимала умная первая Елизавета, находится на вершине символической семейной пирамиды. В самом низу дети — народ, его родители — члены палаты общин, их родители — члены палаты лордов, а уж над лордами — фигура монарха. А если монарх или монархиня ухитряется верить в Бога, то вершина пирамиды уходит в бесконечность. Все хорошо и стабильно. Таким образом Уинникотт доказывает, что в нашей культуре до сих пор живы мифы об Умирающем боге и Бессмертном монархе. Королева защищает нас от страха Женщины, потому что она добрая, нестрашная, очень и очень удаленная от нас мать. Вот вам подсозна-

тельная суть нашей демократической монархии.

— Как мне надоела эта манера все сводить к сексу и семье, — проворчал Билл.

— Соглашусь! Но в наше время мы вынуждены быть фрейдистами. У нас попросту нет другого выбора. К тому же универсальные образы всегда выглядят странно, если выволочь их на свет. А им там и не место. Мы подавляем их, прячем — в этом их смысл.

— Любимая уловка психоаналитиков! — хмыкнул Билл. — Это же замкнутый круг: если ты не согласен с какой-то мыслью, значит ты ее в себе подавляешь, что служит только новым доказательством их правоты. Для тех, кто им верит, разумеется. Такова уж суть веры. Поэтому я лично стараюсь от любых вер держаться подальше. И коли уж вы желаете знать, я вижу опасность не в мифических женщинах, а в этом вот маленьком, серењком экранчике. Да-да. Скоро он заменит и чтение, и беседу, и общие развлечения, и творчество. И вообще жизнь.

— Ну, может, до этого и не дойдет, — сказал Уилки. — Но я видел эксперименты по зрительному воздействию на подсознание. Человеку показывали фильм, где в середине врезаны кадры со стаканом воды со льдом. Они так быстро

мелькают, что их невозможно увидеть, но к концу человек испытывает невыносимую жажду. Можете представить себе, чего достиг бы Гитлер, додумайся он точно так же врезать кадры, где евреи с улыбкой душат голодающих детей? Но телевизор уже никуда не денется, и лично я планирую плотно заняться телевидением. Это сейчас энергетический центр нашей культуры. Энергию можно либо использовать, либо сидеть на мягком месте и смотреть, как используют другие.

Уилки выглядел малопредставительно и даже пижонски со стрекозиными розовыми глазами и хилой бородкой, которую пытался отрастить для образа Рэли, но постулат его приняли к сердцу по меньшей мере двое: Фредерика и Александр.

Много позже, когда в прошлом были пьеса и вызванные ею перемены в жизни, непринятый сценарий и строгая телеотповедь, Александр заново, во всей полноте пережил день коронации.

Ему была заказана статья на пятьсот слов о другом телевизионном событии — допросе, который Робин Дэй учинил Джен Моррис[259] в ее

[259] Примечания: 259

Джен (Джеймс) *Моррис* (1926–2020) — валлийская журналистка и писательница, рожденная мужчиной и сменившая пол в 1972 г. В своей мужской ипостаси Джеймс Моррис был единственным журналистом в составе группы, покорившей Эверест. Благодаря его усилиям весть о покорении достигла Англии именно в день коронации Елизаветы II.

женской ипостаси, сведя ее с группой женщин — феминистски настроенных, дружественных, увлеченных, понимающих человеческую натуру[260]. Действо сопровождалось показом кинохроники: молодой и прекрасный Джеймс Моррис простирает руку к белым склонам покоренного, еще недавно девственного пика, который, как оказалось, вовсе не был Знаком.

«Вот он, знак во плоти, хоть понять его и непросто, — подумал Александр. — Женская суть в мужском теле. Поистине аттическое[261] самоистязание на пути к естеству, сходному с первым из символов Елизаветы: возрожденным Фениксом, *mysterium coniunctionis*[262], слиянием Гермеса и Афродиты, отца и матери, Природой в понимании Спенсера, вдохновленного „Метаморфозами“

---

[260] Примечания: 260

Имеется в виду теледискуссия, ведущим которой выступил известный журналист *Робин Дэй* (1923–2000). В ней участвовали, в частности, Кэтрин Уайтхорн (1928–2021) и Кэтрин Сторр (1913–2001), видные фигуры в сфере журналистики и литературы. Слишком откровенные и навязчивые вопросы Дэя настолько возмутили Моррис, что она обратилась с жалобой к руководству канала. В целом отношение феминисток к Джен Моррис было прохладным: ее обвиняли в равнодушии к вопросам феминизма, говорили, что она воплощает «классическую женщину в представлении примитивного мужчины».

[261] Примечания: 261

Аттический — наделенный традиционными чертами древней аттической культуры: проницательностью, тонкостью, остроумием.

[262] Примечания: 262

Алхимический (герметический) термин, обозначающий соединение противоположностей, нескончаемый цикл превращений.

Овидия». Вспомнился ему темный, подспудный миф о том, что первая Елизавета была мужчиной или женщиной, но с мужскими атрибутами. Получалось, что правление второй Елизаветы началось под эгидой Гермеса на горе, ставшего потом Афродитой, которую шлепали по попе таксисты в городе Бат, а ей это нравилось (что явно шло вразрез с феминистским духом эпохи). Это двусущное, но исполненное достоинства существо Робин Дэй пытался застать врасплох, показав ему кадры, запечатлевшие его (или ее) прежнюю ипостась. «Далеко же мы ушли от Димблби с его дифирамбами „молодой жене и матери“», — подумал Александр.

Он потратил долгие часы на составление тонкого, ироничного, пронизанного метафизическими загадками рассуждения о мисс Моррис и мистере Дэе, но под конец сдался из соображений хорошего тона, пристойности и законности. Вместо этого он выдал до смешного отдающий творчеством Димблби панегирик ее выдержанности и благородству, попутно отметив длинные ноги и эффектную хрипотцу в голосе.

В столе он хранил с дюжину стансов во вкусе Спенсера о природе, гениальности и прямоугольном стеклянном мире. Должно быть, до конца

их поняла бы одна лишь Фредерика, но он не собирался их ей показывать.

28. О толковании сновидений[263]

Трижды или четырежды в жизни приходилось Стефани видеть особенные сны — яркие и томительные. В них являлось иное, они смущали загадками, обличали и чаровали. Последний из таких снов был одновременно дивен и оскорбителен, словно навязан ей чужой волей.

Она шла по длинной белой полоске морского берега. Море откатилось вглубь себя, лениво и беззвучно ворошило песок где-то вдалеке. Ей было не жарко и не холодно, а как-то знобко. Чувствовалось, что не нужно ей тут быть.

Она шла медленно. Ее обволакивало странное оцепенение, которым здесь было отмечено все, словно целый мир устал и выдохся. Все казалось выцветшим. Кое-где проступали намеки на цвет, но тут же таяли, как на передержанном негативе. Песок был прозрачного серебристо-пепельного цвета, пропущенного через желтый фильтр. Перламутровые утесы кое-где испачканы призрачно-телесным. Небо белое с бежевыми

---

[263] Примечания: 263

Отсылка к одноименной монографии отца психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939).

заломами, как на мятой чертежной бумаге. Вода — как разбавленное молоко, и дальние скалы вставали из нее добела обветренными скелетами морских тварей.

От утесов беззвучно приближалась всадница на коне. Их облекал собственный вихрь, трепавший складки их многослойных одеяний. Конь тяжело скакал в пляшущей бахромчатой попоне, тянул вперед белую морду, почти закрытую длинным капюшоном. Уши его были тревожно прижаты, рот пенился, глаз не видно из-за налобника. Всадница была, как в кокон, увита в золотистые и беловатые сквозистые покрывала. Они взметывались, летели за ней, она судорожно прижимала их к груди вместе с фестончатым поводом и какой-то вещью, обернутой в ткань. Лицо, неподвижное среди беснующихся покрывал, было костяной белизны.

Они промчались мимо, и Стефани, обернувшись, проводила их взглядом к далекой воде. Потом с трудом двинулась дальше. Теперь, когда всадница и конь увлекли вихрь за собой, воздуха почти не осталось. Стефани нужно было что-то найти среди скал. Она была уверена, что, когда доберется до них, вспомнит, что именно. А потом уверенность схлынула, и стало ясно, что она себя

переоценила. В голове было пусто.

Сзади зашлепали копыта по мокрому песку. Усталый пони возвращался вдоль края воды, которая вдруг подобралась совсем близко. Проворные блестящие волны оделись гребнями и живо выбегали на берег, почти что ей под ноги.

Она дотянулась и поймала повод. Прикосновение теплых, мягких, чуть опушенных бархатной шерстью губ и деликатно нюхающего носа отдалось в ней неожиданно и странно. Она отпустила повод, но пони зашлепал рядом, понурив голову. Он, как оказалось, не был ни дик, ни особенно умен. Да и тяжеловат: с пузом-бочонком и толстыми мохнатыми копытами. Всадница бессильно покачивалась в седле. Стефани ощутила груз ответственности: обязательно нужно было, чтобы они стали как прежде и двинулись дальше. Любой ценой. И тут ее охватил довременный ужас человека, оказавшегося в чужой сказке, из которой хочешь вон, конца которой знать не хочешь.

Она посмотрела на поникшую всадницу, на судорогу пальцев и ткани и осторожно спросила, не лучше ли будет ей двинуться дальше? Женщина промолчала. От нее исходил острый, мучительный страх. Рассказчик чужой сказки открыл Стефани, что мир тонет, что урну нужно зарыть.

Она с силой шлепнула пони по твердому крупу. Пони дернулся и по мелководью затрусил прочь.

Стефани оглянулась и увидела, что высокие блестящие волны, так быстро наполнившие бухту, катят теперь к ней.

Она хотела убежать, но только топталась на месте, а мелкая вода легко и гладко настигала ее.

Когда во сне ловец настигает добычу, сон или обрывается, или продолжается по-другому и в другом месте.

Под утесами, недалеко от костяных скал, Стефани, тихо плача, мокрыми руками рыла яму, а стенки ее крошились и оползали в темно-мерцающую влагу, шевелившуюся на дне. Было невыносимо жарко. Стефани уже по локоть врылась в песок, когда показалась ржавая труба и на темной глади вспузырилось белое кольцо пены. Тогда она села на корточки и осмотрела свою работу. Это вовсе не урна, а выход канализации. Нужно все зарыть обратно. Урну нужно не спрятать, а умножить. Она роет не в том месте. Все не то и не так. Ее накажут.

Она стала карабкаться по скалам. Желание сбежать из сказки было сильней, но долг есть долг. Скалы шли уступами, где, как на аптечных полках, стояли ряды алебастровых урн, ваз и банок

с пробками и крышечками. Они выглядывали из прядей пузырчатых водорослей, среди гладких, пухлых, рогатых капсул, в которых дремлют зародыши морской собаки[264]. Их еще называют «русалкины сумочки»…

Стефани почему-то не смела дотронуться до алебастровых сосудов, до жути похожих, но не одинаковых. Она села на кучу водорослей — тех самых, что похожи на жесткий, небеленый лен. Их живая ткань кажется нитяной, фестончатой, как конская сбруя. Воздух туманился чем-то мутно-млечным и облекал ее все туже. Она потеряла урну, в которой было все, что необходимо спасти. И напрасно щетинились камни другими горлышками и крышками, скрывавшими неведомый прах или волшебные мази. Нужно было ей не метаться, а сидеть тихо. Она что-то важное не сделала, а теперь уж обратно не дойти по шипящей пузырчатой дряни. Белая вода подымалась, всхлипывала, обсасывала костяные холодные камни.

Стефани проснулась в ужасе: лицо мокрое и скользкое от слез, мочевой пузырь сейчас лопнет. Вернувшись из уборной, она уже не уснула

---

[264] Примечания: 264
Вид акулы.

и отчасти поэтому смогла удержать в памяти недавний сон и вызвать его во всех подробностях. Впрочем, она знала уже, что такие сны тянутся за тобой в явь, вплетаются в ее разумный ход. Еще только рассвело, в комнате было бледно, серо и лилово. Она села в кровати и, завернувшись в одеяло, стала думать.

В пустоте вились и закручивались концы стихотворных строк, словно нити из клубка или осенняя светлая, летучая паутинка. Скрывать его подобно смерти. Как нежно вьются нити млечной пены[265]. Хладная пастораль. Мир, тонущий на мелководье[266]. Подобно Вечности, отводишь нас от мысли… За ними маячили высокие формы высшей литературы и смутные грамматические остовы забытых строф. Слабо шевелились в памяти отзвуки ритма, тянулись неслышимые мелодии. Она чуть не заплакала: такое все это было выцветшее — до неотзывчивой белизны.

Было и другое. Гнев: что сделал сон с воспоминанием полнокровным и непростым? Тот единственный день в Файли, ревущий ветер,

---

[265] Примечания: 265

Фраза из стихотворения Альфреда Теннисона «Вкушающие лотос».

[266] Примечания: 266

Отсылка к поэме Уильяма Вордсворта «Прелюдия, или Становление поэта».

дикое море, пестренькие местные мелочи, настоящее, живое чувство — во сне обезличились, обобщились, полиняли и окостенели. Вот они, высокохудожественные аллюзии, модернистские наносы литературных осколков, останки затонувшей культуры. Разве могла она этого хотеть? Разве она могла такое сотворить? Призвала с брегов Леты бесплодный призрак английской поэзии и не нашла для него жертвенной крови, чтобы он заговорил.

Жутковатая шутка в духе всеупрощающих фрейдистских картинок, выпяченных смыслов куцего символического языка. И все же бережно и прилежно она принялась распутывать ветви этих психоаналитических зарослей.

Образ первый: пузырчатые водоросли. Воспаленный мочевой пузырь. Для женщины, страдающей посткоитальным циститом, шутка особенно болезненная.

Образ второй: связка утроба — урна — могила. До оскорбительности шаблонно. Вдобавок еще водоросли и ямы, чтобы уж вовсе не было сомнений. А что в итоге? Намек, аллюзия, размытое указание на то, что в настоящем сне предстает настоящим событием, ощутимым предметом или толчком к действию и поражает нас до горячих

слез, до ужаса и безумия.

Образ третий: отчаянно роющие руки. Стремясь не то найти, не то спрятать ту единственную, бесценную урну, она вырыла глубокую кровавую яму, на дне которой обрела ржавую, в мутной пене, пародию мужского органа. Это было особенно тошно, потому что в настоящем Файли были настоящие, ржавые сточные трубы, и пена была, и кровяного цвета глина.

Ассоциация, настолько ловко и мерзко подвернувшаяся, что Стефани почти удалось ее подавить: пенные круги на песке и следы пены вокруг темной, злобной ямы отцовского тонкогубого рта.

Поучительный вывод, словно продиктованный сушеной очкастой пифией при *sortes Virgilianae*[267] на английской хрестоматии. «Скрывать его подобно смерти»[268]. Это ослепший Мильтон. Он говорит о творчестве и об утраченном пути к нему, тоскливое оцепенение

---

[267] Примечания: 267

Гадание по строкам из произведений Вергилия. Публий Вергилий Марон (70 до н. э. — 19 н. э.) — великий римский поэт, автор «Буколик», «Георгик», «Энеиды».

[268] Примечания: 268

Отсылка к стихотворению Джона Мильтона «О слепоте». Поэт окончательно ослеп в возрасте сорока четырех лет, но после периода душевного упадка вернулся к работе и создал свои величайшие произведения, включая поэму «Потерянный рай».

свое сравнивает со страшной долей раба, трусливо зарывшего талант в землю, вместо того чтобы его приумножить. Еще «Ода греческой урне»: «нетронутая невеста» — чувственность без чувств, истинно мозговая. Погребение в урнах[269]. Алебастровые надгробья. Глаже алебастровых надгробий[270]. Ну это, положим, притянуто за уши. Ассоциация связывает совершенно посторонние вещи. Белизна, бледность, холод, урна, конь, небо, море.

У коня имелись предшественники, представленные в памяти совокупно и смутно образом из Апокалипсиса: Смерть, четвертый всадник, конь блед. Еще был какой-то древний конь, от которого подымался в ней безотчетный страх, и весьма точный литературный образ наездника, спешащего куда-то, чтобы спрятать сокровище. Она очистила голову и стала ждать, заклинанием повторяя: «мелководье тонущего мира». И вот, в негативе сна, горбатый и черный, по черному

---

[269] Примечания: 269

Отсылка к работе английского философа Томаса Брауна (1605–1682) «Погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных урнах, найденных недавно в Норфолке». Работа посвящена философскому осмыслению смерти.

[270] Примечания: 270

Строки из шекспировской трагедии «Отелло». Отелло с нежностью говорит о белой и гладкой коже Дездемоны, собираясь убить супругу. (Перев. А. Д. Радловой.)

песку тяжело пробежал приснившийся Вордсворту верблюд.

Стефани вызвала еще разные словесные причуды: из «Моби Дика» и «Догадки о гармонии в Ки-Уэсте» Уоллеса Стивенса, из Арнольдова «Берега Дувра» и Теннисона с его последними битвами в тумане. Но она знала, что суть — в Мильтоне, Вордсворте и в погребении урны. Она взяла из шкафа «Прелюдию», купленную еще в Кембридже. Сон приходится на середину бесцветной пятой книги «Прелюдии» под названием «Книги». Рассказчику снится всадник — не вполне бедуин и не вполне Дон Кихот. Он мчится от наступающих вод последнего потопа, чтобы зарыть и сберечь раковину и камень, во сне означающие некую великую Оду и Евклидовы «Начала»[271], то есть язык и геометрию.

Стефани читала. Некоторые страсти часто становятся предметом художественного изображения. Другие, темные и неясные, описанию недоступны. Страсть к чтению находится где-то посредине меж теми и другими: на нее можно намекнуть, но не выразить вполне. Чтобы описать, например, страстное чтение «Книг», понадобится

---

[271] Примечания: 271

Главное произведение Евклида (род. ок. 325 до н. э.), посвященное геометрии и теории чисел.

много больше страниц, чем их есть в самих «Книгах», а выйдет слабей, чем в жизни.

Точно так же нельзя, подобно Борхесу, вживить «Книги» в этот текст, хотя страх перед гибелью книг и стремление облечь сновиденную фигуру в словесную плоть могли бы, пожалуй, придать повествованию некую особую вордсвортовскую силу. В снах Вордсворта и Стефани суть событий сообщал неведомый рассказчик. Тщательное, осознанное чтение не так уж просто описать в виде события. В «Книгах» Стефани увидела страх, доходящий до чрезмерного. Страх потопа, утраты, темных сил. Неясно, что грозит смертью — реальность или воображение, неясно, где они сливаются, где неведомый рассказчик говорит дело, и есть ли вообще в книге такое место. Стефани, тихо и чуть картинно плача, подумала, что думает следующее: ей нельзя выходить замуж, согласившись, она потеряла или зарыла целый мир. Нужно вернуться в Кембридж и написать диссертацию о Вордсворте и его страхе, что потоп поглотит книги. Потом подумала, что это бред, и истерически рассмеялась. Потом подумала, что боится пребывать вся в одной точке: мыслью, воображением и телом, а Дэниел от нее этого непременно захочет. И не будет тогда отдельного,

собственного места для урны или пейзажа… Но если скрывать их подобно смерти, то замуровать себя с ними уж точно смерть. Ответа нет, и, коли так, она сделает самое простое: то, что все равно уж делается. Она выйдет замуж. Стефани открыла книгу с начала и принялась лихорадочно читать, словно на кону была ее собственная сущность.

29. Бракосочетание

По случаю коронации журналисты превозносили особый английский талант устраивать красивые церемонии. Свадьба у Поттеров была отмечена неразберихой, раздражением и вольностями по части венчальной литургии. Билл выждал, чтобы закончились приготовления, и тогда произнес перед домочадцами небольшую речь. Как они, вероятно, догадываются, он не намерен поощрять эту затею и ни в какую церковь не пойдет. Это на случай, если они вдруг рассчитывают, что он поведет невесту к алтарю и сам передаст жениху. «Нет, дорогой, конечно, не рассчитываем», — отвечала Уинифред, после чего пошла к Александру и попросила его быть посаженым отцом. Как многие мягкие люди, доведенные до крайности, Уинифред действовала слишком решительно. Она не спросила мнения Стефани на этот счет, а Стефани, узнав, готова была сгореть от стыда. К тому времени Александр, любивший церемонии, уже успел с большой деликатностью согласиться.

По общему мнению, невеста была как-то отрешена от происходящего. И действительно,

Стефани без восторга смотрела на предстоящий ритуал. Конечно, в детстве, как большинство девочек, она играла в «свадьбу»: свершая обряд, предвкушая страсть, упиваясь собой. Как большинство англичанок, она вытягивала шею, заглядывая в окна украшенных лентами машин, чтобы на миг увидеть Невесту — какую-нибудь машинистку, герцогиню, тренершу по верховой езде, школьную директрису, которую никогда больше не увидишь, а увидишь — не узнаешь. В примитивных обществах на все свой ритуал: на обрезание, разрыв с детством, охоту, рыбалку, убийство, рождение, сочетание браком и смерть. Тела украшают шрамами, ожогами, вживленными под кожу предметами, краской, листьями, цветами. В процессии за первой Елизаветой шагали люди с рассеченными щеками — под очень английскими шляпами и шлемами. К ритуалу нам не привыкать. Венчание в церкви претило Стефани, потому что она, как и остальные Поттеры, была убеждена, что Дэниел верует в церемонию как таковую. Стефани знала: никто не будет взирать на них с балки в алтарном своде, никто подлинным волшебством не осенит венчальные кольца, и напрасно загорятся глаза и руки сойдутся в молитве. И все же она в облаке

белого тюля встанет у алтаря, бормоча слова, написанные Кранмером[272]. В голове вертелись мысли безбожные и малопристойные. Например, ужасающая реализмом история замужней подруги. На медовый месяц в Дувр молодые опрометчиво отправились сразу после венчания. Достигнув наконец гостиницы, новоиспеченный супруг переоделся в пижаму и стал ждать. Супруга боролась в ванной со скользкой и поразительно неуступчивой диафрагмой, время шло. Он подумал-подумал и снял в преддверие консумации пижамные штаны. Снял, да так и заснул, храпя, на покрывале, с голым задом и торсом в полосочку. И ничто в ту ночь не могло прервать его заколдованный сон…

Все, как сговорившись, осаждали Стефани с подобными историями. Хорошо было уж то, что никто не мог бы — на деле или метафорически — вывесить наутро ее окровавленную простынь из унылого окна пригородной постройки.

Воображая уход из родительского дома, она видела себя на фоне покидаемого густого быта и смыкающихся рядов родни. Но в день свадьбы

---

[272] Примечания: 272

Томас Кранмер (1489–1556) — архиепископ Кентерберийский, один из отцов английской Реформации. Среди прочего — основной автор англиканской венчальной службы.

поттеровский дом имел вид растерянный и пустынный, а в рядах зияла порядочная брешь. Завтракали очень рано, женщины сидели неприбранные, кутались в халаты. Билл отсутствовал. У Стефани на тарелке лежал конверт из манильской бумаги. Внутри оказался чек на двести пятьдесят фунтов стерлингов, выписанный на имя Стефани Поттер. Всем стало крайне неловко.

Фредерика нашла нужным озвучить очевидное:

— Когда она придет по нему получать, она будет уже не Поттер.

— Думаю, в банке к этому привыкли.

Маркус в парадных брюках и новой рубашке тихо проскользнул за стол и сел на свое место.

— Куда он, интересно, ушел? — спросила Фредерика.

Никто не ответил. Стефани отодвинула чашечку с нетронутым яйцом. Уинифред стала разливать чай.

— И собирается он прийти хоть на какую-то часть праздника? — продолжала Фредерика.

Все молчали. Молчание затягивалось.

— Ну, раз ни у кого нет интересных тем, пойдука я приму ванну.

— Стой! — вскинулась Уинифред. — Не убегай.

Тут еще нужно рассчитать. Сегодня главное, чтобы Стефани хватило воды, а нагреватель у нас известно какой… Нужно об этом тоже думать. Распределить время и…

— Мамочка, не глупи! Каждый может делать, что хочет. До начала еще уйма времени — целая пустыня времени, потому что ты вчера заставила всех все сделать заранее. И теперь мы будем лезть на стену от скуки, потому что «вдруг нагреватель полетит», или «вдруг не привезут букеты и придется ехать в Блесфорд», или…

Уинифред поджала губы:

— Я стараюсь, чтобы все прошло гладко, но благодарности тут, видимо, не дождешься. Вы думаете, это все само собой устроилось?

— Мы вовсе так не думаем, но нам не нравится, что жизнь маниакально расписана по минутам. Ты нас этим подавляешь. И нам скучно часами сидеть и ждать…

— Мне все равно, когда мыться, — сказала Стефани.

Уинифред, что-то уловив, тревожно глянула ей в лицо. Стефани сделала над собой усилие:

— Мне все равно, но от горячей воды я очень краснею. Нужно будет время, чтобы краснота сошла, прежде чем…

— Это даже стильно: невеста, зардевшаяся у алтаря, — не утерпела Фредерика.

— Заткнись, — неожиданно сказал Маркус.

Все повернулись и уставились на него. Он встал и пошел в ванную.

— Значит, я после Стефани, — решила Фредерика. — Буду отмокать, петь и приводить себя в благостное расположение духа.

— Дорогая моя, *отмокать* времени не будет, — сказала Уинифред.

Но Фредерика оказалась права: лишнего времени было навалом. Вскоре приехал цветочник с букетами. Миссис Тоун позвонила сказать, что банкет готовят. Билл продолжал отсутствовать, а больше не происходило ровно ничего. Женщины бродили по дому в халатах, заваривали никому не нужный кофе и все посматривали мельком в окно. Горками лежали завернутые подарки, а рядом зияла пустота на месте кресла, часов и прочих вещей, взятых для обстановки новой квартиры.

Фредерика понимала: по-настоящему им бы сейчас смеяться и плакать вместе. Но Уинифред и Стефани молча замкнулись каждая в себе, а ее шутки звучали чудовищно: зло и вульгарно. Поэтому со временем она и правда удалилась в

ванную, где с мрачным удовольствием пела «Душе моей неведом страх»[273], «Пребудь со мной, Господь» и песенку шута из «Двенадцатой ночи», ту, где «счастье хрупко», а «юность — рвущийся товар»[274]. Потом взвинченная Уинифред ее из ванной выставила, и тогда Стефани быстро помылась, стараясь на себя не смотреть. Не высохнув как следует, покрасневшая, с чуть вьющимися от влаги волосами, медленно побрела в свою комнату. Там села на кровать и стала ждать, когда уже можно будет одеваться. Ждать предстояло несколько часов.

Комната, и раньше пустоватая, казалась обобранной догола. Ее книги, вещицы с каминной полки, пуфик, прикроватная тумбочка были увезены в новый дом. В гардеробе висело только старое, изношенное, отвергнутое. Чтобы хоть чем-то себя занять, она еще с утра ободрала постель и сложила белье тут же. На нем теперь сидела, тихая, не узнавая место, которое нельзя покинуть, ведь его больше нет.

Стефани завидовала Фредерике: та вечно чего-то хотела. Фредерика уже поживилась тут,

---

[273] Примечания: 273
Стихотворение Эмили Бронте.

[274] Примечания: 274
Перев. М. Л. Лозинского.

утащила к себе гобеленовую подушку, низкий столик на модных железных ножках, репродукцию «Весны» Боттичелли. На зеленых обоях остался от картины светлый прямоугольник, от которого все вокруг казалось пыльным. Стефани вспомнила о детстве, но никакой связи не было между ней тогдашней и нынешней. Вспомнила было о Дэниеле и решила о нем не думать. Вспомнила Вордсворта, и на минуту стало полегче.

Постучав, вошла Уинифред. Под халатом на ней был новый корсет из лоснистой синтетики. В руке — очередная чашка разводимого кофе.

— Ну, как ты? Тебе как будто нехорошо?

— Ничего.

Уинифред оглядела комнату:

— Пустовато стало. Мы тут, может быть, кабинет сделаем. Для него… Он так ужасно себя ведет… ты прости меня…

— Ты не виновата. Этого следовало ожидать, конечно.

— Сегодня твой день. А он хочет все испортить.

Стефани увидела, что мать тихо плачет.

— Я хотела, чтобы у тебя была настоящая свадьба… чтобы вся семья…

— Так и будет.

Они смотрели друг на друга с одинаковым

видом безнадежного долготерпения. Уинифред спрятала руки в рукава и обхватила себя, словно желая согреться. Стефани думала: «женщина, дом, гнездо»… Хочет ли она вить гнездо для Дэниела? Чего она вообще хочет?

Тут ворвалась Фредерика: желтый поплин, волосы подвязаны длинной каштановой лентой.

— Шевелись, сестрица! Александр уже идет через поле. Весь, с ног до головы, в жемчужно-сером, и еще цилиндр — великолепие! А ты тут в исподнем восседаешь. Начинается наконец! Можно я твою помаду возьму? Новую, светлую, а то мои все слишком яркие. Тут желтый почти пастельный, нужно что-то понежней. Я все же подружка невесты. Ты ведь не хочешь, чтоб я была размалевана, как непристойная девица? Ну и ладненько! И еще тени зеленоватые возьму, хорошо?

Стефани молча кивнула в сторону комода. Фредерика тут же сгребла новенькую, нетронутую свадебную косметику и принялась краситься. Стефани смотрела, как она орудует, и ей было стыдно своей обиды. Подумаешь, великая ценность. Будто она не взрослая женщина, а ребенок на дне рождения. Фредерика тем временем решительно поплевала на брусок твердой туши,

повозила по нему щеточкой и начала со знанием дела красить бесцветные ресницы. Зеленоватые тени оказались ей вполне к лицу.

— Ну вот, готово! Теперь я могу встретить Александра, а ты прихорашивайся в темпе. Мама там тебе складки загладила. Прикажете внести платье невесты?

— Неси.

Фредерика прильнула к ней долгим, жадным, ревнивым взглядом. Вихрем вылетела в коридор, шелестнув тюлевым подъюбником и крахмальной юбкой и через миг возникла снова с пухлым белым чехлом, который повесила на дверь.

— Понадобится камеристка — зови. Он уже в саду, я ему открою! Надеюсь, он не решит, что желтый — цвет наивности…

Оставшись одна, Стефани перенесла прикроватную лампу поближе к зеркалу. Не лампу, голую лампочку — абажур ведь тоже забрали на новое место. В свете злом и театральном накрасилась быстро, почти не накрасилась, выступила из халата, с холодной злостью глянула на свои голые груди и принялась спешно, чуть истерически, застегивать крючки и молнии. Сердито дергала щеткой, и влажные еще пряди, протестуя, скручивались в тугие спиральки. Потом

кое-как пришлепнула сверху и, исколов шпильками, закрепила плоскую круглую шапочку и нескладный, нескончаемый тюль. Все это было глупо сверх сил. Раз-два! — сунула ноги в белые будуарные туфельки и, шурша платьем, решительно вышла из комнаты. Фредерика металась в прихожей в поисках потерянной перчатки. Уинифред, которой темно-синий льняной костюм с блеском придавал нечто не то военное, не то воинственное, боролась с плоеным подолом. У дверей ждал водитель. Стефани замерла наверху лестницы.

— Ах, вот ты. Уже готова. Хорошо. Выглядишь прекрасно. Александр в гостиной, букеты я туда же отнесла. Если он… если отец вернется, скажи ему… я не знаю… скажи… Но меня не дожидайтесь, поняла? Если что, меня не ждите. У меня прическа сзади в порядке? Я не глупо выгляжу?

— Замечательно, замечательно выглядишь!

— Впрочем, это не важно. Может, даже и к лучшему, если он не придет. Все, хорошая моя, увидимся в церкви.

— Надеюсь. — Стефани так и не стронулась с места.

Влетела Фредерика, вдохновенно взмахнув букетиком из васильков и бутонов белой розы:

— Скажу одно: Александр просто безбожно красив!

— Я чувствую себя дурой, — призналась Стефани.

— Ничего, получится, — не слишком задумываясь, утешила Фредерика, уносясь вслед за Уинифред.

Стефани деревянным шагом двинулась в гостиную.

Александр поднялся ей навстречу во всем великолепии дымчатых, жемчужных и устричных переливов серого. Отвесил полупоклон.

— Ну а теперь дайте вас рассмотреть. Покажитесь же, прошу.

Она застыла в дверях. Он изящно поманил рукой:

— Пройдитесь, подойдите сюда. Для меня это большая честь. Голову чуть выше. Шаг подлинней, не семените. Простите, что я так распоряжаюсь. Великолепно!

Стефани, и без того нервная, споткнулась о шнур от утюга и чуть не упала. Подобрала конец фаты, нагнулась, белая и шуршащая, выдернуть шнур из розетки.

— Позвольте я, — вмешался Александр.

— Так может пожар случиться.

— Ну, пожар мы предотвратили.

Он поставил утюг в книжный шкаф, а гладильную доску убрал за диван. В комнате было не прибрано и немило. На ковре валялся Фредерикин халат, на каминной доске и журнальном столике стояли чашки из-под кофе, тут и там просеялась упаковочная стружка… Посреди всего этого Александр взял ее за руки:

— Дивное платье.

— Я себя глупо чувствую.

— Но почему?

Александр был в приятном воодушевлении. Он не терпел неопрятных мелочей семейного бытия. Он никогда, вслед за Лоуренсом, не предложил бы нарядить мужчин в красные пиджаки и белые брюки, туго обтягивающие ягодицы. Но женщина в торжественной фате, в длинной пышной юбке с широким шелковым поясом волновала его, как никогда не взволновала бы она же в фартучке, она же — не на сцене.

— Почему? — повторил он. — Вы героиня дивного действа. Соответствуйте.

Он окинул ее привычным оком: кое-где стянуты швы, крючки на талии неровно пришиты, что-то странное с прической… Стефани так сердито дергала платье, одеваясь, что пояс уехал выше

шва на талии.

Александр сжал ей руки:

— Позвольте я только поправлю вам пояс. И чуть иначе приколю фату. Прошу вас.

Стефани только кивнула.

— Вы очаровательно выглядите.

Александр хлопотал у ее талии. Его руки порхали, подтягивая, подтыкая, закладывая складки.

— Есть у вас еще такая золотая булавочка? Тут шов разошелся.

Стефани дернулась с естественным раздражением человека, вынужденного стоять неподвижно и терпеть прикосновения помощников. Впрочем, она тут же подавила раздражение. Порхающие руки на миг замерли, крепко сжав ей талию. Стефани уже начинала вживаться в платье. Повела плечами:

— Булавочки? Есть. У зеркала в моей комнате. Я принесу.

— Нет-нет, не шевелитесь. Я сам.

Она стояла, как белая колонна, и слышала, как Александр мягко рыщет в опустевшей коробке ее комнаты, как легко сбегает по лестнице.

Он снова принялся за нее: поворачивал, наклонял, тут бережно воткнет булавку, там поправит складку. Перевязал ей пояс, скользнул руками

по ребрам, коснулся ниже талии, придавая телу изгиб, при котором платье «сядет». Повернул Стефани к себе, чуть оттянул скромный треугольный вырез, рассеянно заглянул внутрь. Взял ее за подбородок, чуть приподнял его.

— У нас еще есть время? Я бы поправил вам прическу, а то линия волос нехороша. Шапочка прелестная, но она совершенно не на месте. И вы себя просто истязаете этими булавками и заколками. Вы красивая девушка, у вас мягкие, округлые линии. А вы так стянули волосы, словно хотите снять с себя скальп. Вы позволите?

— Кажется, ничего другого не остается.

— Но вы же знаете, дитя, что я сделаю лучше.

— Знаю.

Он в секунду вытащил булавки и достал из нагрудного кармана новый блестящий гребешок. Ласково пригладил освобожденные волосы, пустил красивой волной, приколол по-другому круглую шапочку. Там, под волосами, щипало и жгло от щетки, сделал что-то, и боль прошла, а локоны мягко засветились. Стефани благодарно и глубоко вздохнула. Александр отступил, окинул взглядом свою работу, потом подошел ближе и изучающе осмотрел ее лицо. Стефани подумала было, что он сейчас предложит подкрасить ее

по-новому, но он лишь одобрительно кивнул, нежно тронул ей щеку, заправил локон за ухо.

— Это, оказывается, исключительно приятное занятие, — сказал Александр. — Спасибо, что пригласили меня. А теперь я принесу букет.

Он вернулся с бело-золотым каскадом на проволочном каркасе: розы и мадагаскарский жасмин, фрезии и флердоранж недвижно держали головки, закушенные металлическими держателями. Букет был плотный, свежий и ароматный.

— Я его и держать-то не сумею как полагается.

— Я покажу.

Александр подал ей букет. В руках у Стефани он торчал как-то неуклюже, а изящный каскад свисал нелепо и тяжело.

— Нет-нет, держите крепко. И повыше. На уровне пояса.

Было странно, что нежно-невесомая вещь скрывает такой жесткий, на клетку похожий костяк.

— Как пояс целомудрия, — неопределенно проговорила Стефани.

— Ты его поначалу так держала, — сказал Александр, — что просилось словечко погрубей.

Они засмеялись.

— Так, теперь не стой статуей, а пройдись ко мне. Легко. Шаг длинный, от бедра. И не волочи

юбку, пусть она танцует. Ну, попробуй.

Стефани пошла. Взглядами и движениями рук Александр по-новому очертил ее всю, и на короткое время она осталась собой довольна. В дверь позвонили. Это водитель вернулся от церкви за невестой и посаженым отцом. Александр и Стефани вместе вышли в маленькую прихожую. Кремовые стенные панели, над ними — обои в цветочек, телефонный столик, крючки для одежды, перила из крашеной ДВП. Стефани вспомнились пустые участки, где будущий дом пока лишь намечен рядом кладки, досками, бетонными сваями. Дом занимает так мало земли: несколько белых, невесомых шагов по лестнице — вот ты и прошла его весь. На улице ребенок раз-два и проскачет на одной ножке расстояние, заключенное меж твоих стен, и выскочит за пределы невидимого жилья. Эта мысль как-то связалась с другой, грустной, о том, как Александр в ее голой спальне искал золотые булавки среди комодной мелочи. В спальне она мечтала о нем, замыкалась с ним в надежном ящичке дома, портьерами и коврами защищенного от ночи и холода. И вот сегодня — звук его шагов там, наверху, приглушенная возня, шелест вещественных мелочей… Ее мечтанный дом. Всего-то навсего.

Маленькой рукой в белой перчатке она сжала руку Александра. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Потом опустил ей на лицо фату. Шагая в лад, они неспешно прошли по садовой дорожке к украшенной ленточками машине.

Следующий короткий этап растянулся бесконечно. Они молча сидели в машине, а на улице кучки людей останавливались, смотрели, даже махали вослед, словно кавалькаде принцессы. Потом, заключенная в белизну, она шла по неровным камням, а Александр поддерживал ее под локоть. На церковных ступенях радостный фотограф приседал, жестикулировал и умолял ее улыбаться, улыбаться. Все было бело и глухо, и она поворачивала голову так и сяк. Черный служитель поманил ее в темноту, и там была Фредерика, желтая, жадно блестящая любопытными глазами. Вход закрывала черная бархатная завеса. Служитель подвел ее вплоть к завесе. Стефани уперлась в нее взглядом, а сзади Фредерика и Александр расправляли ей вуаль, одергивали пышный подол. Служитель сказал: как только зазвучит орган, он откинет завесу и со всей мочи толкнет тяжелую, тугую дверь. И осторожно, там дальше ступенька. Как раз на прошлой неделе одна невеста растянулась плашмя. Разбила очки,

порезала лицо осколками, да еще заработала красивый синяк под глазом.

Фредерика плясала на месте, как горячий конь или остановленная процессия из одного человека. Александр встал рядом и положил ее руку на свою. Послышалась хриплая одышка органных мехов, а потом вдруг музыка. Служитель откинул завесу.

Александр первым преодолел ступеньку, Стефани шагнула за ним. Викарий на репетиции внушал, что тут она должна широко улыбнуться жениху. Дэниел грузно темнел под ярким медным орлом, украшавшим амвон. Она встретилась с ним взглядом коротко, неопределенно. Он был хмуро сосредоточен. Прихожанки волновались, словно поле на ветру, поворачивали головы в цветочных шляпках, чтобы лучше видеть невесту. Они оценивали платье, с перехваченным горлом вспоминали собственную свадьбу или мечтали о ней, мысленно раздевали Стефани, пытались угадать, что она уже познала, а что нет. Она была их сомнительной невинностью, их опытом, обретенным, обретаемым или предстоящим. Под фейской шляпочкой из лиловато-серых лепестков поблекшие щеки Фелисити Уэллс были мокры от слез. Александр задумался, почему

это всех тянет лить слезы на свадьбах. Сам он испытывал определенное удовлетворение от своей роли. Он выступил вперед, чтобы вручить «эту женщину» «этому мужчине». Да, в амплуа сенешаля он, безусловно, был очень эффектен.

Стефани и Дэниел стояли перед мистером Элленби: она белая, он черный, она в воздушном и пенистом, он в темном, добротном, слегка с отливом. Оба казались очень плотными. У Стефани было очень простое платье, без кружева и вышивки. Чудилось даже что-то монашеское под ниспадающей треугольной вуалью. Но под корсажем круглилась полная грудь, а довольно тонкая талия подчеркивала пышность бедер. «Вот тело, созданное для материнства», — подумал Александр, разделяя общее впечатление. Его трогал обмен клятвами, старинные, ясные слова, их истовый ритм. Дэниел говорил хрипловато-отрывисто, Стефани — четко и тихо. Мистер Элленби вместо пасторских подвываний избрал манеру почти отеческую. Он весьма тщательно продумал те несколько слов, что считал себя обязанным сказать по счастливому поводу. Он перечитал свои заметки и отказался от обычных фраз об обязанностях супругов и радостях истинно христианского союза. В честь невесты

он произнес нечто расплывчато-лирическое, а жениху увесисто намекнул на обет, данный им Господу ранее. Далее мистер Элленби произвел изящный, как хотелось ему надеяться, переход от эпиталамы Спенсера и Мильтонова гимна Адаму и Еве к библейским союзам, упомянутым в венчальной литургии, в том числе тому, первому. Ева была плоть от плоти и кость от кости Адама. Муж и жена единая плоть. Венчальная литургия сравнивает брачный союз с единением Бога и человека в союзе Христа и Его Супруги Церкви. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела»[275], — сказал апостол Павел, и речение его включено в литургию. «Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его».

При рукоположении Дэниел был призван служить и защищать Церковь и паству — Супругу и Тело Христово. «Будут двое одна плоть, — продолжает апостол. — Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».

Как и полагается англичанам, во время этой

[275] Примечания: 275
Здесь и далее Послание к Ефесянам, 5: 28–33.

речи никто никому не смотрел в лицо. Сходя с амвона по винтовой лесенке на землю, мистер Элленби вспомнил, с каким каменным лицом Дэниел слушал его рассуждения об апостоле Петре, который, по словам Крамнера, «сам был женатым человеком». Увесистые мнения Крамнера об обращении жены-язычницы тоже нашли место в литургии: «Даже если кто не следует Слову Божию, может быть спасен и без Слова, если обратит жену свою». «Или мужа», — добавил мистер Элленби, глядя на Дэниела. Тот буркнул: «Да» — и только-то. Мистер Элленби порой подозревал, что Дэниел сам больше чем наполовину язычник. Невеста, которая ему, к слову, нравилась, парадоксальным образом была более способна уловить суть аналогий апостола Павла и викария, чем его мрачный курат. Не так давно она сидела у него в кабинете и весьма проницательно говорила о «Храме» Герберта. Викарий был убежден, что ее душевный мир зиждется на христианских принципах. Иначе не могло и быть. Тут, возможно, заключался еще один божественный парадокс: ее душевная чистота могла приблизить к Богу диковатого Дэниела. О многом предстояло молиться викарию. Он ласково глянул на покрытую вуалью белую голову, в которой

на миг возникла крамольная мысль о заведомой непрочности аргументов, построенных на аналогии. Затем красивым движением благословил молодых супругов.

Маркус в задней части церкви прижался лицом к холодной колонне, из-за которой на Пасху выглядывала Стефани. Во время церемонии он периодически сверялся с часами: главное — синхронность. Он видел старинную, редкостную роспись над арками. Видел спины Стефани и Дэниела. Чувствовал сильный запах мадагаскарского жасмина, камня и воска. Частично улавливал, что говорит викарий. Бездумно смотрел на выцветшие у́гольные линии, мазки охры, желтой и красной краски, на подтеки кобальта. Змей, обвивший древо, Ева, еще противящаяся соблазну, Младенец на руках у горестной Матери, Христос, распятый на дереве[276], Христос во гневе и славе, раскрытая, зубастая, зияющая адская пасть. Маркус и сам вдруг раскрыл рот в нервном зевке. От напряжения его всегда тянуло спать. Он снова глянул на мелкий циферблат часов. В последнее время, отдавшись в своих поисках

[276] Примечания: 276

Отсылка к текстам Деяния, 5: 30 (Новый Завет), где таким образом описывается Иисус Христос, или Второзаконие, 21: 22 (Старый Завет), где так велено израильтянам казнить опасных преступников.

на волю случайности, они с Лукасом добились поразительных успехов в передаче подробнейших мысленных образов. Минут через десять он должен превратиться в приемник, антенну, вибриссу. А потом в передатчик. Теперь это делалось быстро и просто. Ноги вместе, руки вместе, глаза закрыть, разум очистить. Дальше открыть глаза, расфокусировать. Вызвать фигуру и удерживать ее — всю ясную, из чистых линий. И вот — сквозь нее и вопреки — проступает изображение, послеобраз на сетчатке мысленного ока, проекция. Это нужно записать. Если нет такой возможности, то запомнить.

Слова и мысли передавать пока не получалось. Лукас был недоволен: совершенно необходимо дойти до передачи мыслей. Но Маркус никак не мог уловить главное отличие мысли от речи. Для Лукаса мысль равнялась некой истине о Биосфере, о природе сознания, о ментальном Замысле эволюции видов. Маркус недоумевал: как можно такую мысль сформулировать для передачи и, главное, как ее можно телепатически воспринять? Лукас ворчливо возражал ему, что в смысле зрительных образов они мало чего достигли: все бесцельно и вторично, словно назло. Какая им польза от цветочного рисунка на покрывале

из Калверлейского фольклорного музея? Или от решеток и пружин в стиле Пиранези[277], переданных Маркусом, принятых и зарисованных Лукасом — и оказавшихся внутренностями тостера Уинифред, разобранного для ремонта? Но после событий у Капельного колодца и на Оджеровом кургане Маркус обнаружил, что имеет над Лукасом определенную власть, от которой получал теперь некое отрешенное удовольствие. Он не так уж и жаждал послания свыше. Принимаемые образы имели четкие границы, были послушны ему и потому приятны. Они не простирались в бесконечность, чем так страшна была его геометрия, одновременно утешительная в своей нечеловеческой ясности. Они были свободны от заикливой, грузной словесной толкотни человеческих теорий, которыми Лукас иногда терзал его разум. Они равно принадлежали и Лукасу, но Маркус имел к ним ход отдельный. То были победы со множеством приятно подробных этапов и вовсе без какой-либо цели. Именно такими он их и любил. Поэтому сказал Лукасу, что,

[277] Примечания: 277

Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) — выдающийся итальянский художник, архитектор, археолог, историк древнеримского искусства. Среди прочего создал серию гравюр «Темницы», изображающую мрачно-загадочные, порой абсурдные архитектурные фантазии.

по его мнению, образы имеют глубинное значение, которое откроется, если они перестанут вмешиваться в ход событий. Ведь обнаружили же они, что передаваемое должно приходить к ним случайным образом. Нельзя подгонять успехи под назидательные выводы или «проверки». На явленное нельзя глядеть прямо. Не видеть вплоть — только искоса подмечать. Это было настолько верно, что Лукас сдался: они продолжат в том же духе. Вскоре он даже выдвинул гипотезу, что они сейчас проходят подготовку. В нужный час они должны будут удержать в памяти некую ментальную схему, небывалую доселе, — столь точную и тонкую, что неподготовленный разум не только не уловит, но и не распознает ее. Маркусу это отчасти понравилось. Раз потребуется такая исключительная точность, дело завладеет им целиком и, верно, избавит от многих нынешних страхов. Он до сих пор втайне сомневался, что хоть чему-то из этого можно дать имя на человеческом языке.

Ему совсем не нравилась идея принимать и передавать что-то в церкви. Лукас весьма точно определял места силы. Другой вопрос, что он делал с этим знанием, но в смысле чутья на него можно было положиться. Тут каменные столбы

и балки пели собственной геометрией. Это пение он улавливал и видел как мощную трехмерную систему взаимосвязанных линий и пропорций, охватывающую пространство, а в нем узел пересечений. Но двери, крыши, проходы, арки все время отодвигались, уходя в бесконечность. Бесконечный ящик — пугающая вещь. И цветочные, кивающие женские головы — это тоже было силовое поле, способное — как знать? — и усилить, и исказить любой сигнал. «Еще неизвестно, — думал он, слыша и не слыша, как мистер Элленби восхваляет апостола Павла, — что может проникнуть через такое поле». «О Господь, кто в мощи своей сотворил все из ничего, — возгласил викарий, — кто (завершив прочее творение) судил, чтобы из мужа (созданного по Твоему образу и подобию) произошла жена…» Минутная стрелка дошла до назначенной риски. Пора. Маркус до мелочей осознал свое тело, а затем разом упразднил его. Посмотрел в темноту и увидел фигуру, парящую в не-пространстве. Тишина сгущалась. Он ждал.

Он увидел растения. Сначала коротко явился цветок, в котором он узнал каллу, или, как ее

еще называют, «лорд-и-леди»[278]: единственный бледно-зеленый лист, обернутый вокруг торчащего, мясистого, пурпурно-бурого фаллического соцветия. На смену ему ясно и ярко проступил целый букет трав, обернутый большим зеленым листом, низко свесивший метелки и колоски. Были там овсяница и полевица, мятлик и луговик, плевел, пырей, трясунка: серебристо-зеленые и зелено-золотые, стеклянисто-бледные, почти прозрачные, малахитовые, нефритовые. Тонкие линии вдоль стеблей поблескивали, как натянутые волосы, припухшие суставы-узелки лоснились. Идя лугом, через болото, вдоль реки, он не задумываясь потоптал бы тысячи таких растений. Здесь же они казались сделанными небывало тонко, и каждое — наособицу. Они были красивы. Маркус не был ни знатоком, ни приверженцем красоты. В пустынном краю его мысли она давно уже не имела ценности. Он часто слышал: «Смотри, как красиво!» — и всегда отводил глаза. Он и сейчас не произнес мысленно этого слова, тем более что его дело было просто смотреть. Но он остро сознавал удовлетворение от цветов, форм и их разнообразия. Несколько раз

[278] Примечания: 278

Имеется в виду одно из английских названий каллы «lords-and-ladies» (буквально: «лорды-и-леди»).

уже образы, передаваемые Лукасом, принимали именно эту форму связанных природных тел: яиц, позвонков, камней и раковин. И всегда при этом Маркус испытывал избыток эстетического удовольствия. Он не знал, да и в этот раз не спросил, передается ли это чувство вместе с образами. Кто его испытывает: Лукас или он сам? Травы тем временем побледнели, словно увяли, и какое-то время странная, прозрачная, стеклянистая тень их колебалась и дрожала в воздухе. Каждый трубчатый стебель виделся теперь как полупрозрачный бесцветный цилиндр, просвеченный изнутри, каждое зернышко, каждая колючая шелушинка или поникший колосок являлись во всей сложности соположения их мельчайших частиц. Но даже не считая этого, у Маркуса в памяти часто сохранялось множество точных чисел: сколько было стеблей, початков и даже колосков. Лукас, если бы мог, сохранил бы травы для последующего пересчета.

Когда внутренний глаз пустел, возвращалась первичная геометрия. Маркус не видел, а скорей осознавал ее формы так, как если бы он их слышал. Так мы осознаем присутствие кресла, в которое собираемся сесть, или препятствия, которое нужно обойти в темноте. Он мог бы за-

ставить ее материализоваться в виде натянутых веревок, плоскостей из сплетенных волокон, пунктира или света, но не стал. Вместо этого он начал искать, что можно передать обратно через ее воронку. Его взгляд остановился на адской пасти, нарисованной на противоположной стене. Он уже начал вбирать в себя образ, размечать и воспроизводить схемой, когда мелькнуло сомнение: уместно ли в церкви передавать такое? Но к тому времени образ уже сам себя выбрал. Пасть мощно распахивалась в эдакий скругленный прямоугольник, она была красна и глубока в оправе крепких крючковатых клыков, и красное кое-где шло от старости трещинами. Над ней раздувались, дымя, драконьи ноздри, а круглые черные глаза, выкатываясь, вперялись в зрителя. Вокруг мельтешили тощие черные демоны в накидках, с витыми хвостами и изогнутыми вилами: среди тающих клочьев дыма крошечные человеческие фигурки, как мякина, летели меж клыков в пасть или лежали, сваленные, как тюки, ожидая, когда их подденут. Памятливое зрение Маркуса дополнило образ тем, что сам он не заметил: облачка насекомообразных существ довольно реалистично кружили возле ушей и ноздрей дьявольской твари, словно это была корова, разлегшаяся в лет-

нем поле. Над пастью-вратами торчали мохнатые уши, черные щетинки на охристой коже походили на струйки дождя, нарисованные детской рукой. Это было, пожалуй, чересчур узнаваемо, но ничего: по условиям эксперимента Лукас все равно не знал, какую из известных картин выберет Маркус. Зафиксировав очертания и детали, Маркус продолжил смотреть и упразднил сознание: стал совершенно пустым. Этот способ, как он недавно выяснил, давал лучшие результаты, но потом приходилось восстанавливаться. Так было и в этот раз. Когда тяга между ним и угасающей адской пастью внезапно ослабла, он ощутил холод и тяжесть. Все происходящее в церкви, ранее упраздненное, вернулось и тягостно на него налегло.

Вокруг пели «Научи меня, Бог мой и Царь», гимн, который выбрала Стефани, потому что автором был Герберт. Маркус стал смотреть на жениха и невесту. Щека его и ладонь неприятно липли к нагревшемуся камню колонны. Он попытался придать геометрический смысл, вывести надежную схему из тонких, четких, перекрывающих друг друга треугольных складок текучей фаты. Его всегда особенно привлекало наложение в мире прозрачных его слоев. Но ни-

какого смысла не получалось, фата вызывала в нем то же раздражение, что порой номера машин или автобусов (и тогда ехать в них было мукой). Ненадежные номера, числа не простые, но по большому счету и не составные: что значат один-два нетривиальных делителя? Прокинешь одну, максимум две нити соотношения, стянешь их, и все. Бессмысленный кокон. Он ощутил схожее, запоздалое недовольство, вспомнив линии пересечения явленных ему трав. Так не годится. При этом он был совершенно не способен произвести небольшую мысленную перестановку, создать собственную гармонию из данных материалов, сделать как нужно. Он мог лишь видеть все как есть. Он оказался зажат меж ненадежной геометрией фаты и слишком замысловатой геометрией церкви, где замкнутые пространства должны были создать впечатление открытости, а тяжелые детали громоздились друг на друга, изображая легкость. Он мрачно смотрел на широкую, черную спину Дэниела и вдруг почувствовал то же, что во время коронации. Черный цвет поглощал свет, не отражая его. Черный лучился мягким жаром: от него делалось темно и тепло. Линии энергии, волоконца всевозможных сил уходили в твердую плоть под черной тканью и там

сворачивались, утихали, замирали совсем. По крайней мере, так ему казалось. Он уставился в неподвижную, упрямо несогбенную спину Дэниела с чуть выступающими лопатками и перестал думать. Прошло время. Маркус почувствовал голод. Зевнул. Завозился, изнывая от неловкости в неудобном выходном костюме и парадных ботинках. Встал и пошел вслед за семейством в ризницу.

В ризнице все уютно стеснились и радостно затараторили. Александр подошел к Стефани:

— Поцелуй от посаженого отца…

— Я первый. — Дэниел откинул вуаль и крепко поцеловал жену.

Ризница была маленькая, каменная, с одним высоким окошком в толстой свинцовой раме. Маркус подумал: наверно, лучше выйти, чтобы остальным было не так тесно. Когда Дэниел поцеловал Стефани, Уинифрид отерла набежавшие слезы.

Царапая бумагу старым пером, расписались в приходской книге. Паучьи каракули: Дэниел Томас Ортон, Стефани Джейн Поттер, Морли Эванс Паркер, Александр Майлз Майкл Уэддерберн.

Мать Дэниела изнизу уставилась на Стефани, вцепилась лапкой в ее белую руку и конфиден-

циальным грудным шепотом сообщила:

— Я люблю, когда в церкви не мямлят. Наш Дэниел, конечно, имеет опыт, но и ты так хорошо, громко отвечала викарию…

Стефани глянула сверху на миниатюрную собеседницу:

— У меня тоже опыт: с моей-то работой.

— Ах, ну да, конечно. Я-то на своей свадьбе так волновалась, что еле шептала: в горле пересохло, и всю меня трясло с головы до ног. А ты молодец, так спокойно говорила…

— Я до сих пор поверить не могу, что все свершилось. — На сей раз шаблонный ответ вполне соответствовал истине.

Ей было неприятно, что свекровь ее трогает, хотелось стряхнуть ее цепкие пальчики. Лапки миссис Ортон были обтянуты пятнистым серым нейлоном, сквозь который кожа приобретала странные оттенки: кирпичный, бурый, голубовато-лиловый.

— Это понятно. Ничего, постепенно осознаешь, — с неким мрачным удовлетворением сказала свекровь. — Так сразу, конечно, трудно.

Она бесцеремонно дернула Стефани за руку в качестве прелюдии к очередному откровению. Стефани наклонилась к ней. Она уже поняла

— только это и удалось ей понять, — что мать Дэниела видит жизнь сквозь призму случаев, произошедших лично с ней и теперь бесконечно извлекаемых на свет божий.

— Мне вчера приснилось, что я опять молоденькая, что я просто Клэрри Роулинз. И там был Барри Тэммидж, парень из нашей компании… И вот мы с ним идем, и он все меня донимает, а все: «не знаю» да «поглядим-посмотрим». И главное, знаю, что мне почему-то нельзя. А почему — забыла. Понимаешь? Проснулась — ничего понять не могу. Минут пять хороших пролежала так, пока дошло до меня: я же замужем. И не просто замужем, а вдова, Дэнова отца тринадцать лет как схоронила… Я ведь в двадцать втором году замуж-то вышла, а вот начисто забылось. И смех и грех. И так это казалось правильно: быть молодой, кокетничать, будто остального ничего не было, будто до меня так и не дошло, что я замужем. А ведь Брайан-то умер уже, сколько лет прошло… Я иногда на руки свои смотрю и думаю: не мои. Какой-то старухи руки. Но тут уже ничего не поделаешь… Он-то бы как радовался, папа наш, что Дэн женился. Мы, честно сказать, сомневались: такой верующий, это людей отталкивает. Да еще и толстый в придачу, от этого стеснительный.

Но он по-своему хороший, это уж я тебе говорю, и отец бы гордился, что он так хорошо в жизни устроился.

Стефани продолжала глупо клониться над этой своей новой матерью, не в силах придумать ни слова в ответ на эти откровения. Ее спас мистер Элленби, уже составлявший процессию для торжественного выхода. Он обвел вокруг ризничного стола череду несочетаемых пар — жених и невеста, Морли Паркер и Фредерика, Александр и Уинифред, Маркус и мать Дэниела, — подал сигнал органисту, и процессия вышла в центральный неф.

Дэниел с улыбкой оглядывал церковь. Сегодня, шагая по ней женихом, он чувствовал ее своей в большей степени, чем когда в обычные дни раздавал рукопожатия в качестве духовного лица. Он чувствовал себя победителем. Он все смог. Вопреки обстоятельствам. Его жена ровно шла рядом в своем поникшем уборе, а он вышагивал радостно, чуть ли не вприпрыжку. Поворачивал голову, озирая паству. Улыбался от огромной, детски простой радости, что все они здесь — все как есть, все нарядные и все разные: дородные и гибкие, в тусклой седине и в сияющих локонах, жадно-внимательные и меланхоличные. И все

у них как надо. Одним он кивал, другим счастливо улыбался. Увидел миссис Тоун. Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях, обтянутых поплиновым платьем, в темной, непраздничной шляпе, с каменным лицом. Дэниел согнал улыбку с лица и коротко, сурово глянул ей в глаза, давая понять, что заметил. И снова просиял навстречу сидевшей за ней школьной экономке, которая ласково кивала молодым и даже махала ручкой.

Вышли на церковное крыльцо, постояли немного парами и группками, чтобы фотографы успели снять.

— Моя матушка, похоже, учила тебя жизни? — спросил Дэниел.

— По ее словам, люди не осознают, что женаты, пока один из двоих не умрет. Или что-то в этом духе.

— Зависит от человека. Сомневаюсь, что она очень стремилась к осознанию. Но ведь и мы с тобой не сразу поймем, что с нами случилось. Но надеюсь, нам хотя бы не придется так долго ждать. Так или иначе, пока что я очень рад.

— Правда?

— Конечно. Все у нас идет как надо, и все это замечательно.

Она взяла его за руку, посмотрела в глаза, и

камеры разом защелкали.

В эту радость, в общность окруживших его людей Дэниел включил и свою мать. Как ни странно, он не почувствовал ни тревоги, ни стыда, когда она принялась рассуждать о его вере и толстоте. На него накатило огромное, комическое ликование: вот он, женился на ком хотел, а вот она, его мама. Маленькая мама с жирным загорбком, с некогда изящным, а ныне огрузшим, бесформенным телом на тонких, кривых ножках с отечными лодыжками. Его забавляло строение ее лица, подрагивающие щеки в старческих пятнышках, капризно поджатый ротик — ужимка былой красавицы, сборки морщин у глаз. На голове у нее было что-то вроде большой, кривобокой корзины из небывало фиолетовой соломки с пластмассовой гроздью падубовых ягод, тряпичными васильками, вялыми маргаритками и воинственно торчащими перьями цвета изумруд. Под этим сооружением ее седеющие, редеющие волосы были намертво закручены в жесткие кудельки. А ведь он еще помнил ее с мягкими золотистыми кудрями. В то время хорошие волосы очень ценились. Благодаря волосам ее объявили красавицей, и ей ничего не оставалось, кроме как соответствовать званию. Сегодня на

ней было креповое платье без талии, с кружевцем, благоразумно прикрывающим вырез, и большими бело-лиловыми тряпичным цветами, приколотыми к груди. Поверх — черное зимнее пальто, порыжелое от старости. Она ему не нравилась. Но другая часть его естества почему-то рада была знать, что мать тут — такая, какая есть. Его радовало даже то, что он знал: когда-то эти седые кудельки были золотыми локонами.

30. В Учительском саду

Александр остался один у церкви, ожидая, когда вернется за ним машина в белых ленточках. У него было какое-то чисто английское счастье. Колокола переговаривались ясными, четкими звонами. Ноты бежали друг за другом вдогонку, сталкивались, перекатывались, повторялись. Меж могилами росла мягкая и тихая трава, усыпанная маргаритками. Александр был из тех, кто нарочно дает крюк, чтобы побыть одному здесь, где зелень, и камень, и все недвижно. Он чувствовал благоговение, вступая на церковные ступени. Его трогали камни могильные, затянутые мхом, выщербленные дождем, покрытые сажей, сдернутые с привычных мест и клонящиеся набок у какой-нибудь стены или ограды. На погостах Александр переживал минуты особенной душевной полноты. Он тихо побрел по тропинке под темными цветущими тисами. Теннисон писал, что тис, будучи ударен, курится пыльцой. С ленивым любопытством Александр ударил по одному из деревьев, и действительно: живой дым поднялся в тихий летний воздух, чуть закурчавился и осел на его элегантном утреннем костюме.

Кто-то бродил в дальнем конце кладбища — прохожий, садовник или опоздавший на венчание гость. Александр на длинных бледно-серых ногах бережно перешагнул два новых холмика с пожелтелым дерном. Воздух был так густ и недвижен, что окликнуть гуляющего казалось немыслимым.

На гуляющем был мятый летний костюм интенсивного синего цвета, который Александр определил, как электри́к, не зная, впрочем, бывает ли синее электричество и как оно выглядит. Голову его украшала престарелая панама с высокой тульей. Бурые ботинки с рантом были перепачканы глиной. Он сидел на корточках у викторианского надгробия, острой палочкой отдирая мох от надписи, и не поднял лица, когда Александр подошел ближе.

— Билл… — Александр уже засомневался: не лучше ли было молча, на цыпочках удалиться?

— Они закончили? — Билл продолжал тыкать палочкой в камень. — Несосветимо долгая церемония. Как я понимаю, все прошло без заминки.

— Да.

— Непритязательные звуки ликования порой долетали до меня, пока я бродил среди надгробий. Я полагал, что подойти ближе мне было бы

недостойно.

Он принялся греметь палочкой в отверстиях резной вазы искусственного мрамора, где истлевали несколько бурых георгин и иссохших васильков. Прочел очищенную ото мха надпись:

С ушедшими мирит нас этот час.
Господь приял в объятья их и нас.

Двусмысленно и не вполне внятно. Я, кажется, даже надеялся, что в последний миг кто-то эффектно встанет и провозгласит причину, по которой брак не может быть заключен. Напрасные чаяния, не так ли?

— Напрасные, — сказал Александр.

Билл откинулся на корточках и обратил к нему острие палочки:

— Полагаю, вы думаете, что я хватил через край. Что во мне должна была заговорить кровь. Что мне следовало отказаться от своих исконных убеждений и пойти туда. И вы вряд ли понимаете, что я не мог. Попросту не мог.

— Я этого не говорил.

— Ну конечно. Английская слащавая вежливость. Вежливость превыше всего. Овцы. По крайней мере, я уважаю свои принципы.

— Все было очень хорошо и сердечно. — Алек-

сандр слегка облокотился на относительно новый обелиск, дабы избегнуть зеленых пятен на жемчужистом рукаве. — Я был тронут.

— Не сомневаюсь. Что вас только не трогает. Я видел, как вы там лупили по тисам. «Мрак разгорается на кончиках ветвей и снова переходит в мрак». Мрак! Помните об этом в своих облаках «плодотворящего дыма», или как там у классика. Мрак — вот что я вижу.

— Билл, они очень счастливы.

— Овечье счастье. Овцы, обреченные овцы. Я хотел для нее чего-то настоящего.

Александр почти слышал шипенье и треск его гнева. При виде Билла у него всегда возникал образ огня, тлеющего внутри стога. Он смутно чувствовал свою ответственность: этот огонь нужно было притушить, но как?

— Честно говоря, я не понимаю, почему вы так воспротивились.

Билл резко повернулся к нему:

— Не понимаете? Думаете, преувеличиваю? Наигрываю?

— Ну что вы, нет, конечно, — примирительно проговорил Александр.

— Я хотел для нее чего-то настоящего.

Уязвленный за другого, Александр не выдер-

жал:

— Дэниел настоящий мужчина. Я бы сказал, во всех смыслах этого слова.

— Ах, вы бы сказали: настоящий? Вот в этом позвольте мне искренне усомниться. Их мир! Мумифицированные зомби. Иисус Христос. И ведь никого это не волнует, я для них психопат с дурными манерами. А он вполне хороший парень, по крайней мере, сам себя таковым считает, серьезный и так далее. Но, господа, это не вопрос манер. Манеры! В Англии это панацея. Порядочные манеры. Добропорядочные мертвецы. Нет-нет, господа, это вопрос жизни. Там — жизни нет. — Взмокший, в изжеванном пиджаке, он широко махнул рукой в сторону церкви, причем чуть не упал. — Или вы думаете, я должен первым протянуть руку, да еще и сплясать на свадьбе?

Александр сам не понимал, что он думает на этот счет, однако выдавил в ответ:

— Конечно.

— А я не хочу!

Александр мрачно смотрел на Билла.

— Впрочем, вы меня убедили. Я поеду с вами. Вы же туда собираетесь?

— Туда…

Они сели в машину, но тут пришлось еще за-

держаться: Билл велел водителю снять и убрать белые ленты.

— Эти бантики совершенно неуместны, — заметил он, откидываясь на серые подушки сиденья и сдвинув панаму почти до переносицы. — Мы не девственницы и не торты, и праздновать нам нечего. Именно что нечего. Тут уместней говорить о ягнятах, везомых на заклание, но мы обойдемся без пасхальных ленточек.

Учительский сад, подобно волшебному саду из «Зазеркалья», имел высокую стену и в ней — запертую дверь. Билл и Александр спустились по крутому переулку, ведущему от школы, и заглянули внутрь. Сад был прямоуголен. Александра всегда раздражало скудное воображение планировщика. У дальней стены было что-то вроде насыпи, обложенной камнем. На одном конце ее рос куст чубушника, на другом — плакучая ива без положенного водоема. В этом саду Александр ставил «Она не должна быть сожжена», из этих тощих зарослей выскакивал в алом трико и черном колете. Сегодня на насыпи довольно шатко высились разборные столы на козлах, покрытые изрядно застиранной школьной камкой. Там были подносы с холодными закусками, чайник и кофейник старинной потертой меди, книзу

суженные, как греческие урны, и двухъярусный бело-голубой торт с дорическими колоннами из крема.

Будь его воля, Александр посадил бы тут лаванду и вереск, тимьян и розмарин, шпалерные грушевые и персиковые деревца. По стене пустил бы шиповник, и плети клематиса свешивались бы над входом. Но вместо этого плоскую лужайку окаймляли полосатые клумбы: красный шалфей, густо-синяя лобелия и белый алиссум — аккуратные патриотические полосы с двумя-тремя пятнами вульгарно-ярких петуний. Александр не любил ни бледно-сиреневый, ни кричащие оттенки лилового. Вдоль клумб мелкой рысью пробегали школьные официантки с пенящимися бутылями и низкими бокалами на длинных ножках.

Билл крадучись заглянул в дверь, затем единым скоком проник внутрь. Александр растерялся. Предложил привести Уинифред, Дэниела или Стефани.

— Нет-нет, я только показаться. Более ничего. Буду ползать по периферии. Не беспокойтесь, прошу вас.

Александр, однако же, видел немало причин для беспокойства. Он подозвал официантку с

подносом.

— Вот это правильно, — сказал Билл. — Отдайте должное моему шампанскому. Плачу за все. Решено было ограничить мое участие именно этой полезной функцией, что, без сомнения, очень мудро. Кто из нас произнесет речь? Я как отец невесты или вы как нежный друг семьи? Вы набросали кое-какие пункты? Прекрасно! Я надеялся, что вы будете так любезны. Итак, я все оставляю в ваших надежных руках. Я терпеть не могу произносить речи и с удовольствием послушаю вас как моего заместителя. Меня это, право, позабавит. Теперь идите к гостям, а я поброжу пока взад-вперед. Вот так. И умоляю, не беспокойтесь обо мне…

Он опрокинул в себя бокал вина, взял другой и поспешил прочь. Панама его съехала на затылок, ноги ступали нетвердо.

— Вот ведь черт! — выдохнул Александр. Тут он увидел возле чубушника Фредерику и почти обрадовался ей. — Я на погосте встретил вашего отца…

— Естественно. Батюшка выцедил все, что можно, из своего отсутствия, теперь будет забавляться присутствием. Надо было вам его в ризнице запереть.

— Я все же не понял: он собирается произносить речь?

— Это он еще посмотрит, от чего нам будет хуже. На вашем месте я бы устранилась и налегла на шампанское.

Александр высмотрел официантку и попросил пополнить им бокалы. Глянул на Стефани, с пухленькой грацией перетекавшую среди гостей.

— Как мне хочется, чтобы ничто ей не испортило этот день. У нее такой счастливый вид…

— Вам так кажется? — резко спросила Фредерика.

— А тебе разве нет?

— Как можно судить по виду? Отец ужасен, но, по сути, он прав. Ей там абсолютно нечего ловить.

— А мне нравится Дэниел.

— Мне, в общем, тоже. Дэниел вполне терпим — местами. Но с чего она взяла, что она его знает?

— Может, знание как таковое не так уж важно для любви?

— Хороша любовь. Если хотите знать, три недели назад моя сестрица любила вас. И вот пожалуйста.

Александр невольно обернулся. Стефани склонялась над крошечной свекровью, отводя фату

рукой, так явно непривычной к венчальному кольцу. Внезапно ее облекла какая-то притягательная тайна. Александр вспомнил, что только нынче утром касался ее талии. Фредерика наблюдала за ним…

— Глупости, — сказал он наконец. — Она меня едва знает.

— Вы же говорили, что знать необязательно? Впрочем, она о вас много думала. Вы были частым предметом бесед. А также романтических домыслов и пылкой страсти. Если бы размышление имело какое-то отношение к знанию, она бы знала вас насквозь.

Александр почувствовал себя глупо и неловко. Последнего-то и добивалась Фредерика.

— Вы были прекрасной, безнадежной страстью. Она очень застенчива. Вот вы и не заметили.

— Не заметил.

— Естественно, — припечатала Фредерика.

Александра раздражала эта ее манера, которая сделалась уже слегка покровительственной. Мелькнула картинка: вечер, и сестры, сидя рядком, совершенно серьезно выговаривают его из последнего разума. Он подобрался и сверху вниз посмотрел на Фредерику. Она чуть усмехнулась:

— В любом случае решение принято.

— То есть?

— Венчаться в церкви я не буду. Никогда. Я этого не выдержу. Сама служба — «плотью своей славлю Тебя» — еще куда ни шло. Но апостола Павла я терпеть не могу. Сама не ожидала от себя такой злости. Я не хочу, чтобы меня любили, потому что мужчина любит свою плоть, это смехотворная гнусь. И еще о Христе и Супруге — вы видите в этом хоть зерно смысла? «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». И да повинуется жена мужу, как тело голове. Кромешный ужас и позор.

— Нужно все же учитывать исторический контекст…

— Учла. Но у меня есть уважение к слову, и *лично я подобных слов не потерплю*. «Повинуйся» — это еще меньшее из зол. Я, *может быть*, и соглашусь повиноваться, но эти жуткие аналогии — через мой труп!

— Ты весьма решительна в своем гневе.

— Знаю. Я сама себе поражаюсь. Поговорим о чем-нибудь другом.

Стефани, переходя меж гостями, благодарила за подарки. Ее заботливая память с каждым лицом соотносила салатницу, кухонное полотенце, набор чайных ложек, и Стефани, благодаря, встав-

ляла подходящие детали. Потом вдруг издали она увидела отца. Билл в кошмарном своем костюме затаился и выглядывал из-за спин мальчиков из молодежного клуба Дэниела. Стефани помахала. Он нарочито притворился, что не видит. Она сделала несколько шагов к нему и помахала снова. Билл начал отступать к выходу, прячась за кустами и людьми. Не думая, она подхватила кринолин своего белого платья и полетела по траве. Из-за облака, мчавшего с ней наперегонки, хлынуло солнце. Гости смеялись, глядя на нее, словно то был какой-то незапамятный свадебный обряд. Билл нырнул за возвышение, где стояли столы. Стефани, с тревожно застывшим лицом, широко шагнула на возвышение и спрыгнула на другую сторону — вуаль взметнулась на миг и легко опала.

— Стой.

Билл остановился и посмотрел на нее, но ничего не сказал. И снова начал отодвигаться. У Стефани вырвалось:

— Папа, не уходи.

— Я здесь неофициально. Только показаться.

— Пожалуйста, не уходи.

— Не могу сказать, что чувствую себя желанным гостем. Нет, не могу.

— Спасибо большое за чек…

— Сделал, что мог.

— Это очень щедро.

— В скупости я пока что замечен не был.

— Ну останься. Пожалуйста. Пойди поговори с мамой… с Дэниелом. Ты ведь пришел…

— Я пришел лишь посмотреть, как распорядились моими деньгами.

Даже самого Билла покоробило от этой точно рассчитанной мерзости. Он зашаркал ботинками по гравийной дорожке, весь деревянный — марионетка, которую дергают некие нелепые силы. Стефани подумалось: «Шагнуть к нему сейчас и поцеловать». Но тут же остановил четкий мысленный образ: отец яростно толкает ее в траву и снова уходит.

— Ну за что? Почему ты такой?

— Я… — начал он. — Я…

На насыпь взобрался Дэниел и тяжело ступил вниз.

Билл дернулся и забегал глазами, словно за ним пришел полисмен.

— Рад вас видеть, — коротко сказал Дэниел.

— Не сомневаюсь. Я как раз ухожу. Заглянул, только чтобы… Считайте, что меня здесь нет.

— Вы здесь, — сказал Дэниел. — Мы все вас

видим. Там собираются торт резать. Пойдемте?

— Я в этом не участвую.

Дэниел готов был его убить. Повалить и головой в дурацкой панаме повозить хорошенько по гравию. Его душила горячая, бессильная ярость. Если бы не Стефани, он развернулся бы и ушел, оставив Билла торчать посреди дорожки. Но вместо этого пришлось сказать:

— Пойдемте, прошу. Мы все вас просим.

Билл открывал и закрывал рот, как щелкунчик.

Дэниел сказал: «Стефани, пойдем» — и твердо зашагал по насыпи. Он взял бы ее за руку, но почувствовал, что этот хозяйский жест подольет масла в огонь. Стефани горестно обернулась к Биллу.

— В конце концов, ты — мой первенец, — сказал Билл с горячей и яростной жалостью к себе.

— Пожалуйста, — как почтительная дочь, повторила Стефани.

Втроем поднялись на насыпь, втроем встали возле торта меж шипящих чайников-урн. Со скромного возвышения Билл вперялся в густеющий полукруг гостей со смесью злобы и гоблинского ликования.

— Не обращайте на меня внимания, — сказал

он Александру, с бокалом в руке готовившемуся произнести тост. — Меня здесь нет, я лишь проформа. С нетерпением жду, когда вы скажете свои несколько слов. Прошу вас, не отвлекайтесь.

Александр выступил коротко и красиво. Правда, подавленный присутствием Билла, он слегка запнулся, объясняя свое участие в церемонии. Но затем — несколько слов восхищения трудом Дэниела, несколько слов о мудрости и красоте Стефани… Он сравнил невесту с белой розой. Он воздел бокал, потревожив бледно-золотую влагу, и ощутил приятный непокой от навязанных Фредерикой откровений. Он процитировал эпиталаму Спенсера, ясную и пышную, и от этого проснулась в нем теннисоновская страсть к прошлому, эхо минувших совершенств, явственен стал ток времени. Александр заговорил о сладком слиянии слез и смеха и призвал всех поднять бокалы за счастливую пару.

Дэниелу полагалось ответить, и он уже вытащил из нагрудного кармана карточку-шпаргалку. Но Билл внезапно выступил вперед и утвердился меж урнами, откинув плечи и сдвинув панаму на затылок. Решительно подтянул пронзительно-синие брюки и объявил, что желает добавить буквально пару слов к красноречивому тосту

коллеги. Конечно, он здесь неофициально, но надеется, что несколько добрых слов не поставят ему в вину.

— Мой коллега привел сейчас прекрасное сравнение с белой розой. Мне трудно поверить, что это дивное существо — моя дочь. Мне казалось, она едва вышла из возраста липких ручонок, перекрученных подвязок и грязных саржевых панталончиков. — Тут Билл сделал паузу, ожидая смеха. — Да-да, для меня она еще девчушка, трусящая в школу с потрепанным ранцем, под которым завернулся наверх форменный пиджачок. Помню отзывы ее педагогов: «ценный член школьной общины»... Это значит: «староста с замашками надсмотрщицы». Ну, теперь это ей понадобится. «Выказывает несомненную одаренность, когда удается ее увлечь». Читай: «упряма как осел, часто ленива, но с головой на плечах». Что ж, с этой головой она поступила в Кембридж... В свой срок, однако, ушли в прошлое саржевые панталончики, розовые платьица и одноклассницы, которых ценная Стефани держала под железной пятой. Потянулись к нашему порогу вереницы безнадежно влюбленных, торжественно-тождественных молодых людей, желавших «заглянуть» к нам проездом из Бристоля в Кембридж или на пути

столь же окольном. Впрочем, пару раз Стефани все же нашла время посетить библиотеку. Что до поклонников, то они сменялись, а я, признаться, так и не научился их различать. Но это и не важно, ведь теперь есть Дэниел, которого, по крайней мере, всегда опознаешь по верным признакам. Я верю, что Дэниел будет счастлив. Его вряд ли нужно предупреждать, что женщина рождается из девочки. И что бы ни говорила его Церковь о послушании, я лично обнаружил, что дочь моя весьма упорна в своих идеях. Впрочем, есть основания полагать, что Дэниел и вовсе несгибаем. Итак, будьте уверены, я искреннейшим образом желаю им счастья!

По окончании речи большинство гостей сочло, что Билл искрометным юмором искупил свою былую непримиримость.

Дэниел достал свою шпаргалку и галопом поблагодарил всех: Уинифред, чету Элленби, семейство Тоун, Александра, Фредерику и, наконец, — с каменным выражением — Билла за его «несколько добрых слов». При этом сумел ни разу не упомянуть ни себя, ни жену. Закончив, отступил назад.

Александра кто-то больно ткнул под лопатку. Обернувшись, он увидел вездесущую Фредерику.

— Я уж думала, он как про Дездемону скажет, что раз она обманула отца, то обманет и мужа. Даром, что Дэниел не Отелло. Ну и спектакль! И главное — все вранье. Никогда она не была неряхой, только не Стефани, и панталончики у нее были в порядке. А поклонники, если таковые и были, к нам не заглядывали по вполне очевидным причинам. Нет, решено. Если соберусь выйти замуж, то папулю и близко не подпущу. Светская церемония втайне от всех и подальше от Йоркшира. Мне понравилось, как вы говорили. Даже Спенсер пришелся к месту, хотя я предпочитаю Донна[279]:

Скорей, скорей! Пусть пастырь скажет
Вам назиданье – и навеки свяжет
Узлом духовным руки и сердца…

Смотрите, как он чудно наслаивает схожую грамматику! Я люблю, когда слои раздельны.

Александр подумал, что ужасное дитя неустанным напором умудрилось навязать ему некое подобие давней доверительной близости, отверг-

---

[279] Примечания: 279

Джон Донн (1572–1631) — великий английский поэт, ученый и богослов, под конец жизни принявший сан священника Англиканской церкви. Ниже строки из произведения Донна «Эпиталама, или Свадебная песня в честь принцессы Элизабет и пфальцграфа Фридриха, сочетавшихся браком в День святого Валентина» (перев. Г. М. Кружкова).

нуть которую он не мог от избытка воспитания. Более того, отвергнуть значило бы признать ее и тем самым лишь усугубить. К тому же сказанное Фредерикой было не лишено интереса.

— Это в самом деле неправда? — спросил он с оглядкой, проверяя, не подслушивают ли их.

— От первого до последнего слова! Просто набор клише — именно тех, которые ей неприятней всего. Все, кто ее знает, это поняли.

— Я должен был помешать ему прийти.

— Но согласитесь, в этом есть некий жуткий драматизм.

Пирог с колоннами был разобран на слои и разрезан. Рядом с его крошащимися руинами вяли на солнце букеты невесты и подружки невесты. Сквозь чуть примятые уже, обмякшие цветы кое-где проглядывала проволока. Гости намекали, что молодым пора удалиться, и потихоньку теснили их к выходу. И они ушли, сперва под гору крутым переулком, потом через Дальнее поле до Учительской улочки, где в доме Поттеров им предстояло переодеться. Поскольку денег на медовый месяц не было и они никуда не ехали, гости махали им от входа в сад. С ними шли только Поттеры и мать Дэниела. Александр тоже пошел было, но у железнодорожного моста остановился

и решил повернуть назад. Он никому не был ни отцом, ни женихом, ни родственником. Он был тут не нужен и порядком устал к тому же.

И вот он стоял и смотрел, как под ярким солнцем они идут гуськом: кто машисто, кто трусцой — по Дальнему полю, мимо Уродского прудика, под стойками ворот на той стороне. Черный Дэниел, белая Стефани, тонкая, золотистая Фредерика спешит вприскочку, усталая Уинифред, опустила голову в темной шляпке-шлеме, Билл извилисто петляет по полю, мешая другим, миссис Ортон ковыляет, дергая плечами и поматывая головой. Последним шагает Маркус, высокий, худой как палка, в своем темном костюме, с соломенно-гладкими волосами, зачесанными назад.

Фредерика оглянулась в поисках Александра. Он помахал ей и жестом показал, что уходит. Александр вспомнил, как стоял здесь в день, когда фестивальный комитет принял его пьесу. Он увидел тогда, что никто и ничто в этом маленьком мире больше не имеет на него влияния и никак его не ограничивает. И от этого мирок и населяющие его люди сделались ему интересны. Но сегодня он пробыл с ними слишком долго, увидел слишком близко. Он почти слился с ними и почти утратил к ним интерес. По мере того

как они удалялись, уменьшались, уходили, как манекены, в садовую калитку, сам он дышал глубже, рос, становился реальней. Он вспомнил и другие места: сад в Оксфорде, парковую террасу в Грассе, дорсетские меловые утесы, Булонский лес. Нет, вопреки мимолетной прелести белых роз, тисовой пыльцы и Кранмеровых клятв, много, много что можно сделать интересного, вместо того чтобы довольствоваться одинаковыми домиками на Учительской улочке. Он вспомнил лишенный тайны женский хаос в голой коробке комнаты нынче утром. Вспомнил, как, придя к Дженни, меж нарядных узорчатых занавесок в супружеской спальне увидел крошечный квадратик голубого неба. Он выберется отсюда. Что бы ни случилось, он примет меры и почти наверняка уедет сразу после постановки. На том краю поля скакала желтенькая фигурка, маша чем-то белым. Он снял наконец шелковую шляпу, широко махнул в ответ, снова надел, поправил и двинулся прочь крутым переулком.

31. Медовый месяц

Дэниелу воображалась темнота, но лето стояло в разгаре, и было еще светло. Морли Паркер отвез их с Учительской улочки в район Аркрайт, к жилому комплексу «Эскэм». На подъезде дома́ стояли шеренгами и полумесяцами — чернорабочие дома́ под шиферными крышами, со всех сторон приплюснутые, дымящие угольным дымом. В «Эскэме» было шесть домов, стоявших по три, окаймляя то, что на плане комплекса изображалось как стриженые лужайки с цветущими деревьями. Вместо лужаек оказалась разбуровленная трактором глина и бетонные дорожки в трещинах. Меж глиняных глыб, в гусеничных следах огромных шин проглядывал подорожник, кипрей, тысячелистник и паслен. Их квартира была на первом этаже. При нижних квартирах имелись крохотные задние дворики: квадратики комковатой земли, обведенные проволочной сеткой, с бетонными столбиками и скрипучей металлической калиткой. В верхних были бетонные балконы с железными перилами и сложной сетью бельевых веревок. В кухонное окно виднелись качели: черная шина, подвешенная на

узловатой веревке к подобию виселицы, и боярышник, старый, корявый, с почернелой корой, но сейчас — просветно-яркий, весь в зеленых молоденьких листочках. Боярышник был старше дома. Когда бульдозеры с ревом прикатили расчищать место под стройку, его пощадили.

Миссис Элленби оставила молодым ужин, и теперь им нечего было делать. На столе дожидалась курица, салат в стеклянной миске, накрытый тарелкой и влажным кухонным полотенцем, фруктовый салат и бутылка рейнвейна. Было несколько продолговатых булок и свежий, хрустящий белый хлеб, банка растворимого кофе, пачка чая, две бутылки молока, камамбер и эдам. На кружевной салфетке посреди стола красовался в прозрачной вазе большой букет гладиолусов пламенного цвета и записка. В записке говорилось, что свекла в отдельном блюдечке, чтобы не окрасила крутые яйца, а миссис Элленби надеется, что они хорошо отдохнут и дивно проведут время в своем новом доме. Они стояли вместе и моргая, как с непривычки, оглядывали все это и вбирали в себя. Учительский сад и Дальнее поле были ярки и пристально светлы, и теперь маленькая квартирка с окошками, плотно забранными тюлем, казалась тесной и тусклой. Стефани

не любила слепую непроницаемость тюля, но приходилось признать, что тут он необходим. Перекрытия были картонные, и она поймала себя на том, что ходит на цыпочках, чтоб за стеной не услышали.

Шло к семи, и Дэниел, искоса оглядывая свой дом и молодую жену, подумывал уже, что стоило, наверно, устроить ужин где-нибудь в ресторане и чтобы были еще какие-то люди. А она стояла очень тихо, не глядя на него.

— Ну, что будем делать? — спросил Дэниел.

— Можно сесть поужинать.

— Можно.

— Или развернуть подарки.

— Можно.

— Правда, после всех вкусностей, торта и вина я не очень хочу есть…

— Ясно.

Дэниел вдруг понял, что, по всей видимости, ждал чего-то иного. Ему представлялось, что они пойдут в спальню, задернут занавески, сорвут всю эту парадную дребедень и упадут в постель. Теперь очевидно стало, что этого не будет. Она отошла к буфету и бесцельно перебирала вещи: новые баночки для круп, ножницы, давилку для лимонов. Вертя в руках ножницы, словно

неведомый аппарат, назначение которого нужно угадать с завязанными глазами, проговорила:

— Ноги гудят. Хочу просто сесть и разуться.

Он уловил призвук этого «просто»:

— Разуйся, конечно. Передохни. Я сам как выжатый, — прибавил он и солгал.

Она нагнулась, сняла лодочки и показалась вдруг коренастой и немолодой в льняном костюме без талии и круглой шляпке, в которой после банкета молодой муж «умчал» ее в это вот унылое предместье.

— И шляпку сними, — сказал Дэниел, глядя на нее с интересом.

Стефани по-прежнему отводила глаза. Она сняла шляпку, освободив блестящие, аккуратные локоны. Дэниел подумал, что раньше, кажется, волосы у нее были длиннее. А что будет, если потянуть прядку: она разовьется или спружинит обратно, как проволочка? Через неделю, может, через месяц он будет знать ее волосы. Его наполнила радость огромная и простая. Держа в руках шляпку и туфли, Стефани прошла в спальню, и Дэниел двинулся следом. Она оставляла на линолеуме изящные, влажные следы. Это взволновало его. В спальне она положила шляпку на комод, туфли поставила у кровати и тут же вышла об-

ратно в гостиную. Дэниел побрел за ней. Стефани села на диван, приподняла уставшие ноги, пошевелила пальцами, покрутила лодыжками.

Все казалось ей ужасным. Ужасным, темным и окончательным.

Новая хозяйственная машинерия, непривычный тюль и кружево, и повсюду прочные, основательные вещи Дэниела: в шкафу большие, черные, потертые ботинки, огромный халат на двери в спальне бугрится, как толстый живот. Молитвенник на комоде, а рядом мужская щетка с застрявшими жесткими, черными волосами. Она огляделась, ища в этой в коробке отверстий для воздуха. Со всех сторон трещали и пели радиоприемники. На улице протопали ноги, и вдруг пронзительно заверещали детские голоса:

Наша Глория-красуля,
Как коза, сидит на стуле.
Из-под платья лезут блохи,
Стул трещит, делишки плохи!

Лицо Стефани болезненно исказила улыбка. Песенка повторилась. Потом еще раз и еще. И Дэниел смотрел на нее так, что она ни на чем не могла остановить взгляд.

— Может, приляжешь? — сказал он. — Закрой

глаза, подремли…

Хотел добавить: «Я тебя не трону», но это шло против его смутных представлений об обычаях свадебного дня.

— Приляг, — нарочито ровно повторил он и увидел, как в лице ее что-то промелькнуло.

— Хорошо, — бесцветно проговорила она.

Стефани поднялась и пошла в спальню. Там едва было место для кровати, кресла, комода и коврика на полу. Дэниел видел, как она сняла пиджак и блузку, выскользнула из юбки. Обошел ее и задернул шторы. В комбинации и чулках она быстро забралась в постель, вытянулась, украдкой глянула на Дэниела и закрыла глаза. Он подождал, потом, не до конца раздевшись, осторожно лег рядом. Стефани вся подобралась, свернулась, крепко сжала веки, рот, кулачки на подушке, даже пальцы поджала на ногах. Он глубоко и отчетливо вздохнул, коротко поцеловал ее в лоб, заложил руки под голову и мрачно уставился в темнеющий потолок. А потом, к собственному удивлению, он заснул.

Прошло время, и они проснулись. Вокруг было темно — сероватая летняя тьма. Во сне они оба сдвинулись в продавленную Дэниелом ложбинку. Он почувствовал, что она слабо пытается

приподняться. Протянув тяжелую руку, прижал ее к постели.

— Вот, — сказал он. — Вот, я здесь.

Она повернулась к нему, и он увидел ее сияющие глаза, тихо смотрящие в темноту.

— Ну, не бойся, — прошептал он.

Разговор любовников — всегда на грани меж безмысленным лепетом и бесстыдной откровенностью, в зависимости лишь от того, как слышится то, что говорится.

Он не знал, слушает ли она. С надеждой сказал:

— Я люблю тебя.

Она издала какой-то тихий звук. Ему показалось, что ее губы двинулись.

— Что?

— Я тебя люблю, — сказала она каким-то детским, растерянным голоском.

Он понятия не имел, что она имела в виду. Осторожно потянул за какие-то ее лямочки. Она не противилась. Тогда неловко, молча, под аккомпанемент пианинного треньканья над головой и тромбона Гленна Миллера в метре от изножья кровати, осознавая собственную тяжесть на ее полном, но маленьком теле и дребезг кроватных пружин, Дэниел консумировал брак.

Было мгновение, когда он уткнулся лицом в ее лицо: щека к щеке, висок к виску. Тяжелым черепом приник к ее черепу сквозь мягкую кожу и плоть, что еще мягче. Подумалось: «Людей разделяют черепа. Сейчас — в этом вот смысле — я сливаюсь с ней. Так говорят, так принято говорить. Но в этой своей костяной коробке она о чем-то думает, и я думаю в своей коробке. И она не услышит моих мыслей, а я ее, даже проживи мы вместе еще полвека. Что она думает о мне? *Что* я для нее?» Этого он не знал, как не знал — что такое она. В доме викария, в одиночестве он создал идею Стефани. Он говорил с ней воображаемой, и она отвечала, смеялась, болтала ногами, сидя то на кровати его, то в кресле… Он открыл глаза: скорей увидеть ее лицо, а не красно-черную, пылающую внутренность своей головы. Он увидел влажный лоб, сомкнутые ресницы, сведенные брови, сжатые губы — все в ней было сжато, закрыто. «И все же, — подумал он, — я здесь. Что бы она ни думала, я здесь». Таково было его торжество — не больше, но и не меньше.

После она необыкновенно оживилась, словно заново осознала положенный молодоженам обычай. Быстро села в кровати:

— Надо нам, наверное, поесть.

— Если мы не хотим, то не надо.

— Просто миссис Элленби старалась, и мне будет совестно на все это смотреть.

— Так ты же не хотела есть?

— Теперь хочу. Ужасно!

— Ну, раз так, то поедим, конечно.

Помылись, оделись, сели друг против друга за стол. Ели курицу с зеленым салатом, потом еще салат фруктовый. Выпили немного вина. И все это время Стефани говорила. Раньше Дэниел за ней этого не замечал. Она болтала без остановки в умеренно-доверительном стиле, пригодном для публичных мест. Так не похоже это было на ее обычное молчание, то ленивое, то задумчивое. Она весело проходилась насчет свадебных заминок, шляпок и манер, вспоминала вместительные урны и глазированный слой торта, хранившийся на кухне в круглой жестянке. Решала, как расставить книги и повесить картины. Критиковала вид из кухонного окна и заедающую дверцу кухонного шкафчика. «Да, и уберем эту ужасную лампу. Здесь нужно что-то поуютней, с мягким светом».

Косточки мараскинных вишен из фруктового салата она разложила кружком по кромке тарелки и даже пересчитала, переходя с детских

считалок к старинным колдовским присказкам. «Раз-два-три, злато-серебро бери». Дэниел отвечал «да» и «нет» и даже пытался поддерживать разговор: приходская жизнь научила его подлатывать ткань приятного пустословия. Но он смутно чувствовал, что под глупую кухонную болтовню ему навязывают бесполую роль, отрицают его сущность, хотят его обезвредить.

Дэниел никогда не был частью самой обычной семьи. Он не имел ни опыта, ни дара претворять в каждодневную речь голые и самодовлеющие события дня. Он слышал, конечно, такие разговоры, но у него не было времени на них, он предпочитал крайности и сталкивался в основном с крайностями. Ему незнаком был безличный голос, за обедом и по вечерам снова и снова повторяющий то, что всем известно или тут же будет забыто. «…полдюжины яиц, а я ведь четко сказала: дюжину. Жаль: очень красивый оттенок, лиловато-розовый, у тебя такая блузка есть. Не та, что в прошлую субботу, а другая, я тебя в ней уже полгода не видела. Ну, та, с вышивкой. Лично я предпочитаю газ. Лучше электричества, и дешевле выходит: включила, и сама решаешь, побольше выкрутить, поменьше. Хотя, конечно, копоть отмывать намаешься. Я все лавки обошла,

хотела взять ссек, но везде только грудинка. Это ты сейчас грудинку ешь. Жирновато, да? Кстати, грудинка, если хорошая, даже вкуснее, хоть там и жир. Или, может, это как раз потому что…»

Стефани все говорила. Зачем она сообщила ему, что гладиолусы красные, а она красный не любит? Первое он видит сам, второе ему давно известно. Сыплющаяся словесная мелочь помогала развеществить быт с его мелочами, но тут же болезненно напоминала о нем. Дэниел не додумал эту мысль, он как-то отупел от всего и молча жевал курицу. И опять Стефани радостно лепетала о чем-то. Названная вещь становилась безвредна, выносима. Стефани совершала словесный обход нового жилища, этим древним способом осваивая и подчиняя его себе. Некрасивое зеркало — «в прихожей будет смотреться отлично, увеличит ее зрительно». Гнусная плитка в безоконной ванной комнатушке — «салатовая» и «цвета авокадо». Невыносимую резкость всего этого можно приглушить, «если занавеску для ванны и коврик взять на несколько тонов темнее». Дэниел не помнил, какая там плитка, но согласился: «да, конечно». Стефани ложкой гоняла вишневые и виноградные косточки по краю тарелки. Фруктовый салат был заправлен, кроме сиропа, каким-то

темным и крепким вином. Стефани спросила, шерри это или портвейн.

— Не представляю. Ближе всего к мадере, что подают в Обществе матерей. Точно не алтарное, оно жиже гораздо и кислое.

— А хорошо ударяет в голову…

И это тоже совершенно не нужно было ему сообщать.

Потом она с оттенком церемонии мыла посуду, а он помогал. Потом выжимала какие-то тряпки, до блеска терла сушилку, а он смотрел. Сварила кофе, он выпил полчашки. Потом ходила из ванной в спальню и обратно, что-то там делала: по звукам не понять, да и неинтересно.

Касаясь вещей, на ощупь определяя пределы квартиры, Стефани понемногу делала пребывание в ней выносимым. От тех же ее движений Дэниелу казалось, что вокруг него смыкаются стены. Он стал думать об улицах, обо всем, что вовне. Через какое-то время пошел на кухню и стоял в темноте, глядя в окно. Летняя луна и светлый куб фонаря освещали комья земли с одной гладко срезанной ковшом стороной, и те поблескивали, как неподвижные волны густого застывшего моря. Ствол боярышника и змеиное кольцо покрышки были черны как сажа, но листва была усеяна

лунно-белыми и ярко-оранжевыми пятнышками. Дэниел сунул руки в карманы, поднял плечи и стоял, окруженный тишиной.

В конце концов она, осторожно ступая, подошла к нему сзади:

— Дэниел?

— Мм?

— Что ты тут делаешь в темноте?

— Не знаю. — И еще раз, громко и твердо, со всей тяжестью: — Не знаю.

— Я думала, ты всегда во всем уверен.

Она положила ему руку на плечо, но он пожал плечами и руку сбросил. Она отступила и замерла. Потом сказала:

— Ты был единственный, единственный, кто знал, что делает.

Он не ответил. Стефани видела его смутно: большую черную массу на фоне черного окна. Она вспомнила его внезапную вспышку гнева в доме викария. В тот самый день, в комнате мисс Уэллс. Это ведь он: все, что было потом, все, что есть сейчас, — это все сделал он.

Она снова взяла его за плечо, потянулась на цыпочках и поцеловала в твердую щеку. Он отдернулся, и она почувствовала его гнев — электрический треск по коже. Поцеловала снова, с

каким-то негромким, просительным звуком, которого не хотела и которого лучше бы не было, потому что теперь он вышел из задумчивости, осознал ее вполне и пришел в ярость. Повернулся и схватил ее, сжал до хруста, вцепился в волосы, больно вжался лицом в лицо. Пятясь, натыкаясь на углы, — в спальню. Он вспомнил теперь, как, впервые увидев ее, захотел сломать, сделать ей больно. Она дернулась. Его кулак пришелся ей в плечо. Она затихла. Он снова подумал: «Я здесь».

Потом он сказал:

— Тебе больно?

— Нет! Нет! Нет!

Еще потом все куда-то пропало, а когда он открыл глаза, она сидела нагая и смотрела на него. У обоих по лицу тек пот и слезы, волосы намокли. Он слишком устал, чтобы улыбнуться, ее лицо застыло в маску — такую же, наверно, как у него. Дэниел прикоснулся к ее горячей груди, и Стефани положила свою руку на его. Позже он снова проснулся, разбудил ее и любил долго, тихо. Он не знал, кто она, но так и нужно было: они были вместе, вот и все — безымянные, в темноте. Он не знал, не смог бы называть то, что они чувствовали, но он — чувствовал. Наконец-то смолк весь этот посторонний шум.

У Стефани мысль сложилась в слова: впервые в жизни все у нее сошлось в одной точке — тело, разум и то, что видит сны и создает образы. Потом пришли образы. Она очень смутно представляла себе свои темные внутренние пространства, внутреннюю плоть, черно-красную, красно-черную, податливую, гибкую. Внутренняя Стефани казалась больше внешней: не было ни ясной перспективы, ни очевидных границ. Дэниел очерчивал и определял ее, двигаясь в переменчивых покоях и слепых галереях, но объять не мог. Темный мир проступал все явственней: рождался в черно-красном сапфировый свет, подымался, блуждал в ветвящихся пещерах. Синяя стеклянистая вода бежала в резных берегах базальтовых каналов и изливалась в цветущие поля, где прозрачно-зеленые стебли, воздушные листья, яркие цветы двигались и плясали, волнистыми линиями бежали и сливались с развеваемой ветром травой на утесе над узким и светлым берегом, за которым сияло светлое море.

У них собственный свет — сказал Вергилий о своем подземном царстве. И этот ее свет, хоть и яркий, ярче летнего полдня, был свет во тьме, рожденный тьмой, теплой тьмой. Он был явлен не внутреннему оку памяти, узнающему и воссо-

здающему, а зрению слепого мальчика. А потом свет наполнил все, просиял из цветочного стебля и бегущей воды, из пляшущих головок цветов и злаков, из бессолнечного моря, до краев полного собственным свечением, из взвихренных песков, за которыми — за краем ока — темнеет ночное небо. Стефани была этим миром и шла в нем, то медленно, то быстро, меж линией листьев, и линией песка, и линией прозрачной воды, линией вечно сияющей, вечно убывающей и обновленной.

Часть III
Redit et Virgo

32. Saturnalia[280]

Сады Лонг-Ройстона наполнились голосами и движеньем, позолоченными паланкинами и прожекторами со змеями проводов. В особняке господские спальни и чердачные комнатушки, где некогда невидимо спали армии слуг, были теперь заселены актерами, техниками, бутафорами и людьми, неизвестно чем занятыми. Автобусы привозили оркестрантов, танцоров, любопытных (а со временем и публику) из Калверли, Йорка, Скарборо. Приезжали отовсюду, чуть не из Лондона. Эти орды были призваны Кроу, который отмечал их перемещения во времени и пространстве на картах и календарях, развешанных в Большом зале. Кроу был волшебник с полным карманом блестящих цветных кнопок. Он составлял расписания репетиций чернилами изумрудными, ультрамариновыми, киноварными. Он объяснял гостям тонкости своих схем, вооружившись длиннейшей старинной указкой,

[280] Примечания: 280

Сатурналии — декабрьские празднества в Древнем Риме, посвященные земледельческому богу Сатурну и сопровождавшиеся всевозможными излишествами. Считалось, что на время сатурналий возвращается радостная эра Сатурна.

позаимствованной Александром из школы. Он открыл пришлецам свои владения, поясняя: вот сад удовольствий, зимний сад, сад пряных трав, водный сад. Вот каменный лабиринт, называемый римским, но на самом деле намного более древний. Недавно Кроу велел осмотреть его с вертолета и подновить по мере надобности песком и самшитовыми бордюрами.

Корзины бумажных роз, целые ящики алебард и рапир прибывали в фургонах и до поры хранились в конюшнях и заброшенных кладовых. Завезли заранее пиво в количествах изрядных и шампанское — в несколько меньших. Странные звуки и дуновения реяли над потайными полянками и рощицами. В розарии контратенор неустанно заверял кого-то, что здесь нет ни змей, ни кровожадных медведей. В кухонном садике чей-то испанский акцент ломался о шипящие звуки анафемы. На лужайках за низкими изгородями мчались в хороводах взмокшие нимфы и пастухи.

Кроу сообщил Марине, почивавшей теперь под лунным балдахином нисходящей Селены, что дело принимает размах пышных проездов самой Королевы-девственницы. В закатном золоте, заливавшем террасу, мисс Йео царственно впери-

лась в него поверх шампанского и проговорила, что на меньшее он, вероятно, и не рассчитывал. Кроу не стал отрицать, что обожает всевозможные действа.

— Завтра привезут фейерверки. О, я уйду с треском и громом, а там пускай студенты топчут мои лужайки. Я сейчас наблюдаю дивное зрелище: множество людей, занятых тем, что я называю Искусством, а не тем, что они называют жизнью.

Мисс Йео заметила, что из толп, притекавших в Лонг-Ройстон, ни один человек еще не уехал восвояси. Так оно и было в тот год в творческой суматохе июля и августа. Сияло солнце, актеры репетировали, рабочие таскали декорации и забивали гвозди, а прочие устраивали пикники на траве и каменных ступенях, спали, глазели, ссорились, пили, любили друг друга.

Как-то к вечеру Александр пришел в зимний сад, откуда долетали не вполне натуральный смех и взвизги. Из-за плотной, лоснистой от зимних ветров живой изгороди ничего не было видно. Возле узкого входа в сад на дорическом постаменте поместился каменный купидон. Прислонясь к нему и загорелой рукой охватив его ноздреватые серые ягодицы, стоял Эдмунд Уилки в небесно-голубой рубашке, таких же очках и

белых шортах, суженных книзу. Он улыбнулся Александру:

— Гений у садовых врат.

Александр на мгновение принял сие за своего рода комплимент, но потом сообразил, что Уилки, вероятно, имел в виду себя.

Уилки тем временем продолжал:

— Бен никак не добьется лада от этой троицы. У девчонки задок так и просит, чтоб его нашлепали или хотя бы ущипнули. Пожалуй, займусь этим. Или займитесь вы.

— Там нечего шлепать, — отвечал Александр, занимая наблюдательную позицию по другую сторону от входа. — Желания щипать ее я тоже не испытываю.

— Неужели? Даже во имя искусства?

— Даже во имя.

При виде Уилки, воплотившего пухлую пародию на красавца кисти Хиллиарда, почти невозможно было самому не принять некой позы. Поймав себя на этом, Александр нарочно застыл, как неловкий часовой, и подумал, что лет через десять увесистый зад Уилки достигнет размеров феноменальных. Мягкими пальцами Уилки поглаживал маленький твердый фаллос и яички купидона. Александр счел за благо обра-

тить взоры в сад.

А в саду разыгрывалась первая большая сцена Елизаветы, Александра и Фредерики. Принцесса Елизавета мечется по саду, преследуемая сатиром и интриганом Томасом Сеймуром и собственной мачехой Катериной Парр. Бешено хохоча и размахивая ножницами, эти двое кромсают ее платье на сотню лоскутов. Александр надеялся здесь намекнуть на противоречия чувственной натуры героини — смесь свирепого сластолюбия и мертвящего страха, жажды власти и глубокого одиночества. В словах принцессы слышен нерассуждающий ужас. Он не раз слабым эхом отзовется в пьесе, но не повторится никогда. Так решила Елизавета — чтобы он больше не повторился. Впрочем, до слов, написанных Александром, пока не дошло: Лодж пытался научить актеров кричать, смеяться и бегать. Учеба шла медленно. Томаса Сеймура играл местный библиотекарь, суровый мужчина по имени Сидни Гормэн, который, как и Фредерика, внешне был очень похож на своего персонажа. Катерина Парр больше походила на бывалую женку из «Кентерберийских рассказов» Чосера[281], чем

[281] Примечания: 281

Джеффри Готфрид Чосер (ок. 1340–1400) — выдающийся поэт английского Средневековья, «отец английской поэзии».

на печальную и страстную королеву-пуританку. Ее играла Джоанна Пламмер, супруга местного адвоката, обычно изображавшая матерей в любительских постановках.

— Бегом! — требовал Лодж. — Беги бегом, как люди бегают!

Посреди зимнего сада был небольшой фонтан. Вода струилась из перевернутой раковины, которую держала нимфа, с лукавой улыбкой свернувшая хвост кольцом. Фредерика побежала вокруг фонтана. Гормэн и Джоанна — за ней. Фредерика предприняла отчаянную попытку встряхнуть волосами и даже уперлась рукой в бедро неуклюже и неестественно. Потом вдруг театрально замерла и с вызовом оглянулась на преследователей, но те были слишком близко и грузно затопотали на месте, чтобы на нее не свалиться.

— Не то! — взревел Лодж и тут же смягчился. — Не то… Фредерика, на прослушиваниях в тебе была такая забавная сексуальность. Куда она делась?

Гормэн, налетевший на край фонтана, растирал щиколотку и всем видом показывал, что ему трудно в это поверить.

— Сексуальность проявляется, когда она го-

ворит, — заметил Уилки, обернувшись к Александру.

Фредерика сказала Лоджу:

— Могу я повторить свою речь?

Она была до отчаянья расстроена своим неумением двигаться. Переходя от высокомерия к детской покорности, она одновременно решила, что может вмиг утвердить свое естественное превосходство актрисы и королевы и что должна стать податливым, безликим воском в руках режиссера, который вдохнет в нее жизнь и вылепит по своему желанию. Теперь она не знала, блистать ли ей талантами или двигаться как марионетка. Она ненавидела Лоджа, который не объяснял, как нужно бегать, и унижал ее, не видя, что в ней это не заложено. Гормэна и Джоанну она в расчет не принимала. Оба были ей физически противны, и она давала это понять так, что Лодж, привыкший к мелким завихреньям энергии в труппе, отлично все видел. Уилки тоже видел и забавлялся. Когда Гормэн или Джоанна по сценарию обращались к Фредерике, она упорно не смотрела им в глаза. Это в чем-то отвечало характеру героини, но и вредило немало: все сбивались и играли топорней.

— Повтори немного, если хочешь. Начни отту-

да, где Сеймур говорит о пламени и сливках. И постарайся уяснить: ты пока только пробуешь королевский флирт, ты боишься выйти дурой. Помнишь у Марины эту дразнящую нотку в большой маске?[282] Она интонацию поймала идеально. Постарайся дать неуклюжую пародию на нее. И когда он рванется к тебе — беги. Беги, оглядывайся и опять беги. Помни: часть тебя хочет, чтобы он тебя догнал. И не падай сама, дай себя повалить. Поняла? Поосторожней у пруда, нырок в ряску нам не нужен. Дай веселье и немного непотребства. Это ведь из жизни, — просто формализовано в некий танец сперва в этой сцене, а потом еще и в большой маске. Тут нужна похотливая возня полнокровных, живых людей, понимаешь?

Фредерика была достаточно умна, чтобы понять, что от нее требуется. Она была просто недостаточно одарена телесно. В мурлыканье Лоджа звучала угроза — от этого сочетания у многих актрис, включая саму Марину, тревожно и сладко делалось в сосках и внизу. Фредерику

---

[282] Примечания: 282

Маска — английский музыкально-драматический жанр, получивший распространение в XVII в. Состоит из двух частей: в первой части, антимаске, выступают отрицательные ее персонажи. В пьесе Александра обычное действие перемежается масками.

охватывало холодное, головное беспокойство. Гормэн сжал ее и начал сызнова:

— Ах, львенок, львица, роза вся в шипах!

От него изрядно пахло пивом и маринованным луком. Фредерика наморщила орлиный носик. Ее маленькая грудь припухла, но не от возбуждения, а от жестких объятий Гормэна.

— Не снизойдет ли на нее вдохновенье, если мы покинем укрытие и пополним число публики? — сказал Уилки.

— Будет только хуже.

— Глупости. В этом мучительно девственном существе вы пробуждаете некий павлиний рудимент.

— Я не просил Бена делать из нее Елизавету.

— Чепуха. Вы все прекрасно понимаете. Она знает, чего вы хотите, и страстно желает соответствовать. — Уилки на прощанье легонько щелкнул по каменным яичкам. — Смелее, сэр, помогите общему делу.

Они сели на каменную скамью чуть поодаль от мрачного Лоджа. Фредерика мгновенно электризовалась. Энергично, хоть и неровно, она произнесла несколько фраз, восстанавливая свое достоинство с яростным драматизмом, который мог быть вполне осознанной игрой, а мог

— реакцией на присутствие Александра. Лодж оживился. Гормэн без особого пыла изобразил сладострастный рывок к принцессе. Лодж с ревом поднялся со скамьи. Уилки негромко, но явственно захихикал.

Фредерика, пылая от смущения, — смесь алой и белой розы — споткнулась о край фонтана и здорово рассекла щиколотку. Потекла кровь. Лодж потребовал от присутствующих чистый носовой платок, и самый чистый оказался, конечно, у Александра. Александр опустился на колени, чтобы аккуратно обвязать тонкую, запыленную щиколотку.

— Я не умею двигаться. Я ни на что не гожусь и подведу вас! — горячо посетовала Фредерика.

— Ты всему научишься.

— Вы только так говорите. Вы никогда в меня не верили и были совершенно правы.

Александр с сожалением вытер окровавленные пальцы о беспорочно-белый платок.

— Я всегда в тебя верил, — солгал он. — И сейчас верю. Послушай, может, тебе будет легче в настоящей длинной юбке?

В школьных постановках мальчикам это помогало.

— Может быть.

— Так за чем же дело стало? Хочешь, я попрошу у них юбку?

Фредерика шмыгнула носом, прогоняя слезинку. Александр был так добр, а она так унижена…

Александр поговорил с Лоджем, а тот — с кем-то еще, кто достал туго накрахмаленную бумажную юбку. После некоторых дебатов Джоанну вооружили портновскими ножницами, взятыми у костюмерши. Александр булавками приколол легкую юбку к Фредерикиной физкультурной майке. Лодж в очередной раз проговорил, кто что должен делать. Тут уже подошли актеры, занятые в следующей сцене, включавшей и маску. Среди них были Дженни и сам Кроу, ухитрившийся заполучить роль Фрэнсиса Бэкона, в отороченном мехом бархате.

На этот раз пошло лучше. Гнев, прикосновение Александра, мимолетный взгляд на обнаженное, золотистое плечо и недавно вымытые волосы Дженни весьма оживили Фредерикину сложную смесь кокетства и девственного отпора. К тому же юбка помогла ей занять бесполезные руки. Когда Джоанна по собственному почину предостерегающе взяла ее за тощенькое плечо, Фредерика по-королевски поморщилась, что вышло очень убедительно.

— К подобным играм непривычна я, — с насмешливым упреком бросила она куда-то в пустоту между Сидом Гормэном и Александром, и в голосе ее наконец-то прозвучала та смесь сухого раздражения и врожденного сладострастия, что столь заинтересовала Лоджа во время проб. Гормэн разошелся по-настоящему и каким-то регбийным броском повалил Фредерику наземь. Джоанна, которую ножницы привели в странное одушевление, принялась стрекотать ими в воздухе, а потом, все стрекоча и хохоча, — выхватывать клочья из Фредерикиной юбки, и это уже походило на всамделишную истерику. Гормэн довольно настойчиво рвал бумагу у Фредерики между ног. Легкие белые клочки лепестками оседали на лужайках и поверхности прудов. Фредерика вывернулась, судорожно прижимая юбку внизу, и резко, нервно, хитро́, как и рассчитывал Александр, пропела строчку из старинной баллады, где торговке обкорнал юбку лихой молодчик: «Спаси, Бог, душеньку мою: сама себя не узнаю». Зрители аплодировали. Уилки обернулся к Александру:

— А как вы видите ее конечное состояние: обрывок юбки или телесное трико?

Александр, серьезно отнесясь к тому, что было

для него серьезным вопросом, ответил:

— Волосы распущены, несколько клочков ткани. Что-то среднее между нимфой и шлюхой. Обломок китового уса, несколько цветков, сунутых ей Сеймуром за корсет…

— Говоря короче, леди Чаттерли, убранная цветами, — оборвал его Уилки.

— Что за чушь?

— В любом случае цветы — приятный штрих.

Следующей, не по хронологии, а по расписанию репетиций, шла большая маска. Она приходилась на конец второго акта.

Здесь может быть полезно вкратце обозначить структуру пьесы Александра, как в исходном виде, так и в том, в котором ее теперь дорабатывал и воплощал Лодж.

Каждому из трех актов предшествовал задумчивый диалог между Рэли и Спенсером, которые сидели на темной террасе в луче прожектора, возможно, играли в шахматы и свойски говорили в стихах о вещах практических и неизменно важных, таких как корабельная оснастка, гвинейские каннибалы, дикость и неразумие ирландских крестьян. Или же речь заходила о вопросах теоретических. Друзей занимали луны, причуды зрения и подзорные трубы. Видит ли покраснев-

ший или раскосый глаз такой же покрасневший и перекошенный мир? Последнему вопросу Рэли, по примеру Плиния, посвятил трактат «Скептик». Немножко сплетничали и о королеве — нынешней королеве и Монархине вечной, о Диане, о Глориане Спенсера, о платоновской идее и возлюбленной Идее их современника поэта Дрейтона.

В первом акте были Мария Тюдор, заточение Елизаветы в Тауэрской башне и вступление ее на престол. Во втором — Золотой век и омрачавшие его опасности, испанская Армада, казнь Марии Стюарт, политический торг с искателями королевской руки. Его венчала маска с участием придворных: сошествие Девы Астреи. Последней из бессмертных покинула она землю с началом жестокого Железного века и первой возвратилась, чтобы возвестить пришествие нового Века Златого. «Возвращается Астрея-Справедливость, возвращается Царствие Сатурна». Тут все было по Вергилию. В третьем акте — закат королевы, восстание графа Эссекса и победы в топях грубых ирландцев. Отдельное место уделил Александр беседе, бывшей в Тауэре между Елизаветой и королевским архивариусом. На вопрос, почему ее так занимает судьба свергнутого Ричарда II, ко-

ролева отвечала: «Я сама — Ричард II. Неужто это вам неизвестно?» Тут проступил «Король Лир», вплетенный искусно: словечко, полсловечка — и все о предательстве, одиночестве, смерти. Иногда Александр думал, лучше было все это убрать. Лодж действительно многое убирал, выкидывал — обрезал то, что Александру представлялось живыми ростками мысли, возникшими в нем самовольно, зачатками его священной рощи. Лодж утверждал, что независимо от происхождения они покажутся зрителю претенциозными завитушками.

В каждом акте была одинокая узница или узник — сперва Елизавета, потом Мария Стюарт, потом растленный и подлый Эссекс. В эпилоге был Рэли, тоже брошенный в Тауэр, не знающий, что впереди у него пятнадцать лет заточения, страшные дебри Ориноко и неоконченная «История мира». Мудрый, неулыбчивый Спенсер тогда уже умер, его замок Килколман был сожжен ирландскими дикарями-повстанцами, а с ним, как полагали, и многие тома бесконечной «Королевы фей». Нищий к концу жизни, он был по приказу Эссекса похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Чосером. С тех пор как погас огонь Спенсера, все длинней и холодней делались тени в

Александровой пьесе.

Одинокие монологи в Тауэре чередовались с увеселениями и излишествами, весьма богато разработанными Лоджем. На фоне танцующих возникали черные посланники с тревожными вестями из внешнего мира: казнен королевский врач Родриго Лопес — повешен, но не до смерти, после чего выпотрошен и, наконец, четвертован. Благородную и нелепую смерть обрела Мария Шотландская в злосчастном своем парике[283]: у обезглавленной нашли под фижмами прильнувшую верную собачку. Эссекс в страшном одиночестве шел по городу, где объявлен был предателем, в свой дом, откуда путь был только на плаху. Александр надеялся, что его посланники — сродни грозным вестникам греческих трагедий и говорят стихом особо живым и полнокровным. Лодж обкромсал и их, заявив, что они будут отвлекать от действия. Александр возразил, что в них-то и воплощено подлинное действие пьесы, что они должны воздействовать поэзией на воображение публики, покуда серебряные и золотые маски плетут кружева удовольствий и

[283] Примечания: 283

По преданию, палач, отрубивший голову Марии Шотландской, поднял голову над толпой за парик, который остался у него в руках, а голова покатилась по земле.

славят добродетели, а поэты беседуют на ступенях террасы. Лодж добавил тогда, что в холодные вечера зрители будут зевать и ерзать и никакие пледы и термосы не помогут. И вообще: движение, больше движения! Александру, сказал Лодж, представляется бесконечный ласковый вечер с луной и звездами, парящими высоко в небе, а сам он достаточно перевидал постановок на открытом воздухе и знает, что будет на самом деле. Втайне ему казалось, что пьеса Александра немного схожа с Фредерикой Поттер: умная — безусловно, но слегка деревянная. Обоих требовалось расшевелить.

Маска «Астрея», Александрова пьеса в пьесе, прерывалась вестью о смерти шотландской королевы: образы золотого мира, свершаемого круга и вечного урожая обретали свой мрачный контрапункт. Лодж хотел спустить Астрею и ее девственных спутниц на золотых шпагатиках с небес, но это оказалось невыполнимо. Тем не менее в их торжественном танце, как и в остальных масках, участвовал весь двор, включая Рэли, Спенсера и Бесс Трокмортон. Была и антимаска сатиров в шерсти и с рогами, навербованных из числа мальчишек. Кульминацией ей служили организованно-буйные сатурналии

и знаменитое «несси-восси!», в первозданной красе перенесенное из книги Обри. Из Уилки — Рэли вышел весьма элегантный Дионис. Марина Йео, воссевшая на высоком троне и убранная драгоценностями, долго оставалась среди всего неподвижной точкой, пока и ее не умолили станцевать. Королева чинно и благостно снизошла до танца. Астрею и ее прислужниц играли Антея Уорбертон и те самые нимфы и феи, что на пробах ввергли Фредерику в такое отчаяние. Роли у них были — одно присутствие, почти без слов. У Антеи было лицо Венеры Боттичелли, фигура королевы красоты и умение держаться с достоинством. Она могла нести сноп пшеницы под дюжиной разных углов, и все они прекрасны. Она помавала белыми руками или склоняла голову, отягченную косой цвета спелой ржи, — и зрители, включая Лоджа, непроизвольно улыбались: настолько все это было хорошо и правильно. Ее свиту из граций и юных фрейлин окружал ореол здоровой женственности, невинности, готовности к игре. Было тут и преклонение перед «настоящими актерами», и оно с каждым днем все обильней питало общую атмосферу вакханалии. Девы мило хихикали над сэндвичами, хранящимися в шлемах, влюблялись в великого Макса Бэрона,

Криспина Рида, Роджера Брэйтуэйта, Боба Гранди, ведая и не ведая, какое действие производили их сладко-наивные страсти.

Из этой стайки юных плеяд Фредерика, в силу своей роли, а в большей степени — своей природы, оказалась исключена. Она не умела мило хихикать. Никто не шел к ней за сочувствием, когда смех прорывался вдруг потоком слез. Никто не хвастался ей похищенным платком Брэйтуэйта с вышитой монограммой. Вскоре стало известно, что она небезразлична к Александру, но это почему-то сочли глупостью и даже неким, как она мрачно подозревала, жалким отклонением. Ярость, которую вызвали в ней нежные щебетанья плеяд, еще сыграет свою роль в этой истории.

Щебетания повлияли и на Дженни. Призвав разум на помощь любви, она решила, что этим летом Александр не должен слушать монологи о стиральной машине и видеть малыша Томаса. Это потребовало тщательных расчетов, поскольку и Томас, и стиральная машина по-прежнему составляли изрядную часть ее жизни. Она занималась ими по ночам, она просила приятельниц из числа плеяд посидеть с Томасом. Она съездила в Калверли, сделала прическу, накупила летних

платьев и летящих юбок. Сегодня Дженни была в оборчатом платье из персикового поплина с завязками на плечах. Она сидела, почти слившись с плеядами, и выглядела моложе, загорелее, мягче. Это тронуло Александра, который подошел и сел у ее ног. Рядом тут же уселся Уилки и заявил, что очень ждет их общей сцены.

Лодж в красивых позах расположил плеяд с одного края террасы, мальчишек-сатиров спрятал за кустами, а немногочисленных придворных рассадил на ступенях, ведущих к высокому трону. Девушки в танце вышли вперед, рассыпая воображаемые гирлянды. Мальчики запрыгали, пружиня, как акробаты. Лодж ввел в мизансцену лордов и леди, решительно шагая там, где тем предстояло плясать и бегать. Музыки не было: камерный ренессансный ансамбль еще не прибыл. Фредерика села рядом с Александром. Теперь не было причин оставаться, но она боялась что-то пропустить.

— Ах, Роберт, мой милый, — напевно проговорила Марина Йео, обращаясь к Бэрону в роли Дадли.

Лодж шепнул Уилки:

— Пора!

Уилки прижал Дженни к каменной колонне.

— Это должна быть не колонна, а дерево, — вставил Александр, нервно подаваясь вперед.

Уилки тем временем втиснул пухлое колено в складки персикового платья.

— Ах, нет! Ах, нет, сэр Уолтер! — весьма натурально воскликнула Дженни.

Уилки прилип лицом к ее груди над оборочками. Она вспыхнула и убедительно запнулась.

— Восторг! — выдохнул Лодж.

— О Роберт, наше счастье только тень, — сказала Марина. — Движенья наши с каждым днем коснеют: одни и те ж, хоть кажутся новы́…

— Александр, скажите, — шепнула Фредерика, — почему актрисы вместо слов испускают какие-то птичьи трели? Почему нельзя говорить просто и четко?

— Тихо, — отмахнулся Александр.

— О Ро-о-о-берт… — с жутким сипом выдала Фредерика.

— Да тихо ты, наконец!

Колено Уилки вжималось все глубже, он все решительней тискал бедную Дженни.

— Несси-восси, — проговорила она.

— Стоп! — вмешался Лодж. — Дитя мое, тут нужно не смущение, а что-то вроде экстатического визга. Попробуете еще раз?

— Что-то вроде оргазма, — ввернул Уилки.

— Это, кстати, будет очень смешно, если только она угадает время, — сказала Фредерика Александру; тот не ответил.

Уилки впился в обнаженные части Дженни и что-то яростно зашептал ей на ухо. На сей раз «сэр Уолтер» прозвучало с некой особой вибрацией, а «несси-восси» вполне сошло бы за экстатический визг. Лодж рукоплескал, Уилки целовал Дженни, Александр сердито шикал на Фредерику. Тут Королева-девственница в целомудренном гневе поднялась с трона, и вся труппа покатилась со смеху.

Чуть позже прозвучала первая нота бутылочного оркестра, которому суждено было достичь высот великолепных и ужасающих. Уилки, опорожнив бутылку пива, задумчиво дунул в горлышко и выдул хриплый и ухающий совиный вопль, неожиданно звучно отразившийся от камней и деревьев. Он попробовал еще раз, на сей раз в такт танцам. Александр засмеялся и с другой стороны террасы дунул в бутылку, еще не допитую. Кроу повелительно взмахнул своей указкой, и они вдвоем прогудели и профыркали некое подобие мелодии. Лодж поклонился им, крикнул «бис!» и вернулся к танцам. В скором времени

Уилки составил из мальчишек октет игроков на бутылках, а затем и целый оркестр, сочетая большие и малые сосуды от шампанского, сидра, пива и виски. К духовым он добавил ударные из тех же бутылок, обогатив звучание щебетом, пением и вздохами. Позже инструменты погибли в дикой какофонии, к огорчению многих музыкантов, но покамест Александр на том конце террасы кивал и отбивал такт ногой. Антея потряхивала роскошной гривой волос и красиво поводила руками. Томас Пул нашел полную бутылку «Гиннесса», долгим залпом осушил ее почти до дна, заахал филином, и дуэт превратился в трио. Плеяды хихикали. Под конец Александр в танце провел Дженни вдоль террасы в Большой зал. Плеяды порхнули следом. Фредерика, немузыкальная и неуклюжая, осталась на попечении Кроу, который, по-военному сунув свой жезл под мышку, предложил ей руку и ввел в зал.

Кроу разливал горячительное. Макс Бэрон, сидя на столе, читал плеядам лекцию о тайне «Гамлета», в котором он, кстати, сыграл Клавдия и был весьма отмечен. Александр и Дженни сидели рядом на приоконном диванчике.

— Что, черт побери, шептало тебе это существо? — спросил Александр. Уилки как раз с

большой помпой подносил Марине Йео большую чашу вина.

— Он сказал: «Вот подожди, сейчас я просуну руку!» Но это все глупые шутки…

— Уилки был, помню, премерзким мальчишкой.

— Он уже не мальчишка. И не мерзкий. Но не стоит воспринимать его всерьез.

Дженни вся порозовела от счастья: вернулись сладкие первые дни. Александр сжал ее руку.

— …И я понял! — восклицал Бэрон, обращаясь к плеядам. — Я понял, как дважды два, что Клавдий совратил Офелию еще до начала действия. Так все приобретает смысл. Это в нем зачаток гнили, это ему она поет в четвертом акте…

Он встал на зов, был вмиг готов,
Затворы с двери снял;
Впускал к себе он деву в дом,
Не деву отпускал[284], —

чистым, холодным сопрано пропела вдруг Антея Уорбертон, неприятно поразив Фредерику.

На миг наступила полная тишина, потом хором хихикнули плеяды.

---

[284] Примечания: 284
Песенка обезумевшей Офелии (перев. М. Л. Лозинского).

— Именно, — припечатал Бэрон. — И она поет это ему — королю Клавдию! В последний раз походя предает бедного Гамлета…

— Которого там нет, — мрачно перебила Фредерика.

— Не в этом дело! Что-то подгнило, и Клавдий…

— Этого не может быть, — сказала Фредерика.

— Я понял: когда она пришла петь со своими цветами, Клавдий знал, о чем она!.. Ее нужно играть и молодой, и старой, этакой девушкой-вамп. Она знает, что за всем тут — Клавдий и что она — его творение.

— Потрясающе! — ахнула Антея.

— Вот ведь глупость. — Фредерика хотела буркнуть это себе под нос, но голос звучно разнесся по залу, как голос ее отца.

— Это очень оригинальная теория, — мягко вступил сидевший с ней рядом шелковистый Кроу.

— Чепуха. Шекспир слишком силен для таких приемчиков. Если бы он это имел в виду, то было бы ясно всем. Лаэрт думает, что Гамлет завладел ею обманом. Но всего этого просто не может быть.

— А мне невдомек, почему бы нет. Я же говорю

вам: я понял, я осознал…

— Вы осознали, — тщательно, точно и непростительно едко парировала Фредерика, — ваши собственные мысли.

Не обращая внимания на кудахтанье Кроу, она повернулась к Александру:

— Александр… Александр, он ведь правда был слишком велик, чтобы…

И тут Александр, слегка приобнявший Дженни, Фредерику подвел.

— Это самый загадочный из всех его текстов, — сказал он еле слышно.

Он тут же рассердился на себя, а потом подумал: «В конце концов, я сейчас не на работе» — и покрепче прижал к себе Дженни.

— А ведь я тебе ничего не налил, — сказал Фредерике Кроу.

— Нет.

— А тебе нужно бы выпить.

— Вы когда-нибудь слышали, чтобы я отказывалась? — Прозвучало нехорошо, и Фредерика мучительно вспыхнула.

Кроу протянул ей холодный бокал и сказал:

— Пойдем, я тебе кое-что покажу.

Так она снова оказалась в его укромной комнатке, и он снова показывал ей эскизы костюмов:

рогатых мужчин и увитых лозами женщин, и его пухлые ручки снова обнимали ее за талию.

— Ах ты, бунтарка, девочка-палочка. Будь, девочка, гибкой, учись…

В комнате было почти темно: только луч света, устремленный к Марсию, да яркий круг настольной лампы.

— А все-таки он не прав. Да. Он все неправильно прочел…

— Разумеется, но что нам до него? — Кроу, оказывается, захватил с собой ледяную бутылку и бокалы. — Присядь, посмотри наброски моего Иниго Джонса[285].

Фредерика вышла из светлого круга и села в кресло. Кроу мягко прошлепал за ней: херувимски-пунцовый, с блестящей тонзуркой и маленьким круглым брюшком.

— Я мог бы сделать из тебя настоящую женщину, Фредерика.

— Лучше сделайте принцессу-девственницу. Я должна стать настоящей актрисой. От ума, как видно, толку мало, петь и танцевать я не умею… И, честно говоря, я слишком невежественна, что-

[285] Примечания: 285

Иниго Джонс (1575–1652) — английский художник, сценограф и архитектор, один из родоначальников английской архитектурной традиции.

бы понять, что особенного в ваших картинках, кроме того, что они старые. Мне постоянно кто-то что-то показывает, а я понятия не имею, почему это вызывает в людях какие-то чувства. А когда я говорю то, что знаю, на меня шикают.

— Милая моя девочка, я хочу только, чтобы через десять лет ты помнила это: мою графику, моего истекающего Марсия, моего Гиацинта в сиянье спелой юности. Ты из тех, кому нужно такое помнить. Выпей еще вина. Сейчас ты не знаешь цены этому, но потом все вспомнится, вспомнится ясно… а я уже буду в могиле или в старческом маразме.

— Что вы за глупости говорите.

— Ты сегодня уже сказала это слово — серебряным голосом, в защиту благой идеи. Так не лги же сейчас. Как ты думаешь, сколько мне лет?

— Понятия не имею.

— Но я старый?

— Только по сравнению со мной.

— Ну что ж, пусть так… — Он присел к ней на край кресла, скользнул ей рукой в вырез майки и стал пощипывать грудь. — Но хоть не настолько старый, чтобы внушать отвращение?

— Нет, — отвечала Фредерика, хоть в ту минуту он и его щипки отвращали ее изрядно.

— Но до Александра мне далеко?

— Я его люблю всю свою жизнь. Или почти. Вы же знаете.

— Представь себе, не знаю. Знаю зато о других его… увлечениях.

— Это несерьезно.

— Ты говоришь с пугающей уверенностью. А откуда ты знаешь… — Он ущипнул ее почти до боли. — Откуда ты знаешь, что для него серьезно, а что нет?

Фредерика начала было говорить, что уж она-то знает, что серьезно у него будет с ней, когда придет время, когда она покажет себя… чего пока не случилось, конечно, но… Тут она замолчала, почуяв опасность. Потом заговорила о том, что он очень серьезно относится к пьесе, и опять оборвала себя: показалось, что она предает Александра, открывает его уязвимую сторону, что было нелепо, поскольку Кроу, вероятно, лучше ее знал, что значит пьеса для Александра. Она молча подняла к Кроу серьезное, пылающее лицо, и он сперва играючи, а потом больно укусил ее в губы. Теперь, лаская грудь, он уже определенно делал ей больно. Фредерика подумала: может укусить его в ответ? Но она продолжала говорить:

— Нет, я некультурная, и просвещать меня бес-

полезно. Я только литературу знаю лучше, чем большинство девочек в моем возрасте.

— Что же ты знаешь, расскажи?

— Я хорошо знаю «Федру», «Мизантропа», «Ночной полет», «Гамлета», «Бурю», «Потерянный рай», Китса, и «Грозовой перевал», и «Кубла-хана», и некоторые стихи Гёте… Потом еще «Тонио Крёгера» Томаса Манна и «Из жизни одного бездельника» Эйхендорфа. Еще буду знать «Доводы рассудка» Остин и что-нибудь из Клейста, потому что мне это к экзаменам нужно. Ах да, еще понемногу из Овидия, Тацита и «Энеиды». И еще…

Кроу просунул руку ей под юбку и сильно щипнул там острыми ногтями. Она мрачно подумала об Эде и Готленде…

— …И еще «Любовника леди Чаттерли» и остального Лоуренса, что нам отец навязывал. Но должна сказать вам, — добавила она, сердито глядя на кровь, прыщущую из сплетений Марсиевых мышц, — что это никак не помогает понять *вашу* культуру, по крайней мере, то, что вы мне все время показываете.

— Как твердые яблочки, — сказал Кроу, — и маленькие мягкие икринки. Ты премилое существо, смесь твердости и мягкости, и ты узнаешь, конечно, что «Энеида», и «Буря», и «Федра», и «Тонио

Крёгер» неразрывно связаны с моими «картинками». И если ты и впрямь «знаешь» все эти книги, ты просто обречена вобрать в себя остальное… Отвезти тебя домой или навязать Александру и миссис Перри? Что из этого побудит тебя однажды прийти снова и сесть мне на колени? Я тебе кое-что покажу, а потом и ты мне…

— Я бы хотела поехать с Александром.

— Тебе будут не слишком рады.

— Я к этому привыкла.

— Надеешься получить, что хочешь?

— Не знаю. Но суть не в этом.

— Я восхищаюсь твоей целеустремленностью.

— Это все, что у меня есть.

— Не совсем. Еще есть яблочки, икринки и минимальный культурный базис. Но думаю, что, достигнув желаемого, ты поймешь, что желала чего-то другого. Вон там в уборной есть расческа и зеркало. А я потрусил исполнять твое повеление.

Дженни была счастлива. Лодж поздравлял ее, Александр был внимателен, а Уилки приятно игрив. Она думала не о Томасе, а о символах его существования: вот входная дверь, вот немытая тарелка с кроликом Питером, вот дневной свет на закрытых легких шторах. Она терпеть не могла закрытые шторы, но с младенцами так положено.

Подошел Кроу и сказал Александру, что Фредерика слишком много выпила и он ей пообещал, что Александр отвезет ее домой.

Александр сказал, что у него другие планы. Кроу ответил, что планы могут подождать. Дженни отмахнулась: пускай! Из ее голоса совсем пропали резкие нотки, звучавшие в последнее время. Александр быстро обнял ее, и его окружило беззаботное тепло, которое не исчезло и когда Кроу вернулся со взвинченной Фредерикой. Близость часто усиливается присутствием ненужного третьего. Так было и в этот раз. Дженни села рядом с Александром, касаясь его бедром, плечом и медлительными пальцами. Фредерика в одиночестве тряслась на заднем сиденье. Когда выезжали из поместья, она вспомнила Готленд, сплетенные фигуры на этом же сиденье, и в ту же секунду Александр вспомнил ее лицо в дикой раскраске, прильнувшее к стеклу. Он опасно крутанул руль вблизи дерева, кажется кедра. Дженни засмеялась.

— Ух! — выдохнула Фредерика. — Вы хоть смотрите, куда едете.

— Фредерика, бога ради, заткнись.

33. Благовещенье

Стефани стояла в телефонной будке возле своего нового дома, посреди моря глины в полукружьях гусеничных следов. Стефани пыталась позвонить. Внутри будки пахло затхлым куревом, застарелой мочой, нагретым металлом. Дети скакали и лениво слонялись вокруг черных шин, подвешенных на миниатюрных виселицах. Справочник был с оборванной обложкой, пухлый от старости, весь в патине серо-коричневого жира. Стефани стояла, окруженная гнусным воздухом, и старательно читала телефон, написанный на сложенном клочке бумаги. Дэниел смотрел на нее из окна. Розовая и белая меж алыми полосками, вот она пригибает голову к трубке, вращает диск, нажимает кнопку…

В трубке щелкнуло. У Стефани задрожали колени.

— Алло, здравствуйте. Это миссис Ортон. Вы сказали, что, если я попозже позвоню, у вас, может, уже будет результат…

— Подождите минуточку. Сейчас я позову доктора.

Ожидание. Щелчки. Гудение провода. Гудение

разума.

— Здравствуйте, миссис Ортон, — раздался голос звучный и повелительный. — Рад вам сообщить: результат положительный.

«Рад» было неправильное слово. Доктор говорил не как радостный вестник, а как строгий судья.

— Теперь приезжайте как можно скорей ко мне. Надо много всего спланировать, связаться с роддомом и так далее… Миссис Ортон, вы меня слышите?

— Да.

— Вы слышали, что я сказал?

— Слышала.

Доктор ждал заветной фразы. Не дождавшись, спросил:

— Это что, для вас неожиданность?

— Да.

— Миссис Ортон, вам теперь глупостей делать нельзя. Вы не только за себя отвечаете. Вы должны ко мне прийти, чтобы мы все спланировали.

— Я знаю.

— Тогда я вас записываю. Какой вам день подойдет?

Прилетел по проводу бумажный шелест, доктор назначил прием. Трубка вернулась на свою рогат-

ку. Стефани стояла в будке, упершись взглядом в единственную непрозрачную стену и обхватив руками живот. Она старалась думать. Она вся была захвачена Дэниелом, его тяжестью, теплом, всем его существом. Впрочем, это не мешало ей заниматься другими вещами. Она успешно довела остаток триместра, а теперь по вечерам с пристальным удовольствием читала «Прелюдию», вопреки сражениям мальчишеских банд на лестнице, верещанью звонков, шуму несмолкающих радиоприемников и звону разбитого стекла. Все освещалось Дэниелом, словно он подарил ей эту ясность и пристальность, подарил сладость земной любви, которой Стефани отдавала себя всякий раз, как он возвращался из церкви, из больницы, от прихожан. Он был так силен, так своеобычен, так много всего открывалось ей с ним. Она, должно быть, знала где-то внутри, что он такой, — иначе как же решилась бы на шаг, столь противоречащий всему, что казалось ей важным? Подобно многим интеллектуалам, Стефани дивилась и радовалась, по наитию сделав что-то верно. Должно быть, она позволила решать телу и была награждена чистым наслаждением — тем, которое немногим выпадает на долю.

Она думала, что помнит миг зачатия, солнеч-

ный и стеклянистый, как раствор «жидкого стекла», в котором хранят яйца, и она сонливо прислушивалась к тому, что начиналось внутри. Вот задвигались клетки, как дрожжи в тесте, и у нее захватило дыхание. Они с Дэниелом этого не хотели. Наверное, думала она, недвижно охватив живот, с тайной улыбкой, принадлежавшей тем прошлым полям блаженства, — наверное, Дэниела попросту слишком много: плоти и крови не выдержать, что уж говорить о резиновом приспособлении. Жаль, думала она. Тут, вероятно, приходит конец расточительным роскошествам. А ведь она не успела узнать их толком, она раньше никогда их не хотела. Но этот сгусток клеток в ней может, как тонкая резина, не выдержать напора энергии. Странно, до чего быстро возникает инстинкт, велящий беречь эту нежеланную мелочь. Но вот он, тут как тут. С Дэниелом течение ее чувств ускорилось, хватило десяти минут.

С деньгами будет непросто. И Дэниел — Дэниел, так уверенный в своих желаниях, никогда не говорил, что хочет детей… Это ведь по-разному бывает: одни мужчины прикладывают ухо к женскому животу, слушают биение нового сердечка, а другие раздражаются, словно это не ребенок, а какой-то незваный гость. И как сказать

Дэниелу?..

Дэниел сутуло прошагал по грязи в своей пасторской колоратке и постучал в стекло. Стефани растерянно уставилась на него. Он открыл дверь.

— Ну что? Благовещенье? — спросил он.

— Откуда ты знаешь?

— Ты похожа на Богородиц со всех картин, и вид у тебя ошеломленный, словно ты узрела ангела. Шучу, не слушай. Тебя руки выдали. Все беременные так делают, обнимают живот. А потом у них портятся волосы. — Темнолицый, в черной щетине, он широко улыбнулся и тронул ярко-золотую прядь.

— Ну ладно, не удивляйся уж так. Мы ведь с тобой кое-когда нарушали. Не сказать, что это гром среди ясного неба. Стеф?..

— Я не знала, что́ ты почувствуешь…

— Чувствую себя очень умным. Дело вроде нехитрое, а все равно мужчины гордятся. Ну так и я горжусь, чем я хуже? Ты не хочешь выйти из будки?

— Дэниел, это не умно, это ошибка, нам будет ужасно трудно…

— Знаю. Но я полагаю, мы справимся. Это все очень интересно. Ты уже и выглядишь как-то по-другому.

— Я себя и чувствую по-другому.

— Вот видишь, как оно: десять минут — и мы с тобой изменились.

Они приблизились к дому.

— Ну что ж ты, заходи.

Вошли в дом. Дэниел смотрел на нее так, словно вся она преобразилась. И может, потому, что она и впрямь чувствовала себя преображенной, ей это показалось ужасно смешным. Она засмеялась. Дэниел захохотал в ответ. И все же, подумала она, что-то кончилось. Жизнь изменилась, и мы изменились, только пока не осознали этого.

Но они смеялись, смеялись и никак не могли перестать.

34. Дракон в аббатстве Уитби

Необыкновенный успех телепатических экспериментов во время венчания Стефани и Дэниела вдохновил Лукаса Симмонса перейти к новой, иной фазе деятельности.

В успехе сомневаться не приходилось: большая мензурка с травами, что привиделась Маркусу в церкви Святого Варфоломея, стояла у Лукаса на лабораторном столе. Лукас, в свою очередь, нарисовал губастую и клыкастую пасть в облаке летающих частиц — грубое, но достоверное изображение адских врат с церковной стены. Он даже добавил нечто вроде зазубренного красного нимба — настолько был уверен, что красный цвет имеет здесь какое-то значение.

— Эти результаты, — заявил розовый и сияющий Лукас, — неопровержимо доказывают, что мы оба можем как получать, так и передавать сложные изображения и сообщения. Теперь мы должны, мы просто обязаны установить контакт с внешним разумом, который давно ждет от нас сигнала. Я нисколько не сомневаюсь: мы с этим справимся, и очень скоро. Способ найдем, нужно только немного подчитать и поразмыслить. О,

я уверен, я абсолютно уверен… — Лукас громко рассмеялся, переполняемый энергией.

Маркус, не делая выводов, с любопытством наблюдал за поведением Лукаса в следующие несколько дней. Учитель казался одержим почти демонической энергией. Объясняя что-то, он теперь не сидел, а ходил взад и вперед, он делал бесконечные вылазки то за тем, то за этим, по школьным галереям передвигался почти бегом. Щеки его сияли яблочным румянцем, но сам он заметно подтягивался и даже худел, особенно в талии и на бедрах. Брюки висели на нем, время от времени он судорожно их поддергивал. Он уже не робел так перед своим единственным апостолом, не ждал с вопросительным, собачьим взглядом его подсказок. Он, казалось, сам теперь получал некие сообщения, деловито и радостно служил некой тайне. Лукас искал знаки, намеки, совпадения и находил их. Его радостно волновала взаимосвязь книг, случайно взятых с библиотечных полок. Он проглатывал тысячи печатных страниц: Фрейд, Фрейзер, Юнг, «Записки Общества психологических исследований», «Общая история растений» Джерарда, Данн с его гипнагогией, Хёрд с мечтой об отказе от личности. В дело шли справочники по английской

флоре и фауне, Библия, предсказания Матушки Шиптон, красная книжка — путеводитель по йоркширским пустошам издательства «Уорд, Лок и компания»… Получалось гадание обо всем сразу — по пестрым сотням книг. Симмонс мгновенно оживлялся, услышав игру слов или просто слово с разными значениями. Он долго и невнятно объяснял Маркусу про ртуть и значение слова «Меркурий» в мифологии, химии, алхимии и ботанике. Тогда в Нэрсборо они нашли собачью ртуть — это неспроста. Он пытался связать герметическое учение с герметичными крышками на вакуумных банках и Гермафродитом алхимиков — человеческом символе завершенного делания, одухотворенной материи, *lumen novum* — философского камня.

Бóльшую часть его речей Маркус пропускал мимо сознания, не пытаясь понять. Если вдуматься, все это подтверждало его недоверие к словам. Ему являлся вполне безопасный образ: глобус, пересеченный, пронизанный, опутанный нитями, которые скрещивались и расходились на полюсах и по экватору. В словесных языках при желании что угодно можно стянуть в совпадение или сплести в некий смысл. Маркус мог сказать: «Враждебный свет был для меня

слишком огромен» — или что-то подобное, но этот язык не очень-то его занимал. Он смотрел из окна лаборатории на маленькое, колко сверкающее белое солнце и думал, что на деле связь между мучащим его светом, этой вот пылающей массой газов и материи, собственными его механизмами восприятия и любым другим разумом — возможно, не столь безупречна, как выходит, если облечь ее в слова, красивые, но, конечно, не передающие всего. Впрочем, он не жаловался: Лукас, по крайней мере, временно отвлекся от гипнагогии, и Маркус стал высыпаться. К тому же, если не вдумываться, словесная алхимия и еще больше — радостное полнокровие друга служили ему утешением и защитой.

Выбрать для эксперимента развалины аббатства Уитби Лукаса подтолкнуло занятное совпадение между тем, что он вычитал у Юнга, и описанием из красного путеводителя. Он склонялся к Уитби отчасти еще и потому, что именно там неграмотному пастуху Кэдмону[286] явился Ангел, и наставляемый им Кэдмон спел на тогдашнем английском «Песнь о Начале Творения».

---

[286] Примечания: 286

Кэдмон (VII в.) — один из первых английских поэтов, пастух при аббатстве Уитби, с именем которого связывают ряд произведений религиозного толка.

Увлек его и приведенный в путеводителе миф о необычном даре святой Хильды, суровой основательницы аббатства, подкрепленный к тому же цитатой из «Мармиона» Вальтера Скотта:

Еще чудеснее рассказ
О том, как некогда у нас
Жила саксонская принцесса,
О том, как Хильда в чаще леса
Святой молитвою своей
Преображала в камни змей.
Такие кольца из камней
Находим мы в монастыре…
А если галки на заре
Над башней Витби пролетят —
Они, забыв свой путь, кружат
И падают, роняя перья,
На плиты пред святою дверью…[287]

Они думали, сказал он Маркусу, что аммониты — окаменевшие змеи, не вынесшие Хильдиной святости. Но истина в другом: аммониты — это ранние записи об истинной истории творения, а

[287] Примечания: 287
Перев. В. П. Бетаки.

тайный смысл окаменевшей змеи, ее подлинное отношение к святости мы находим у Юнга, в «Психологии и алхимии». Юнг пишет о Меркурии-драконе. И Лукас с нарастающим волнением прочел Маркусу целую страницу: «Дракон означает мысленный и чувственный опыт алхимика, когда тот работает в мастерской и „теоретизирует“. Дракон — monstrum, символ, объединяющий хтоническое, земное начало змеи и воздушное начало птицы. Это ‹…› вариант Меркурия. Но Меркурий (ртуть) — это крылатый Гермес, явленный в материи, бог откровений, владыка мысли и верховный проводник душ. Жидкий металл, *argentum vivum*, „живое серебро“, ртуть — чудесная субстанция, которая выражает саму его суть, блесткую, текучую, одушевляющую. Говоря „Меркурий“, алхимик обозначает ртуть, а подразумевает миросозидающий дух, скрытый или заточенный в материи. ‹…› Алхимики не устают повторять, что делание происходит от единого и к единому возвращается, что это круг сродни дракону, кусающему собственный хвост. Поэтому делание часто называют *circulare* (круговорот) или *rota* (колесо)… В начале и в конце делания стоит Меркурий: он *prima materia, caput*

corvi, nigredo[288]. Как дракон, он пожирает себя и умирает, как дракон, чтобы восстать камнем. Он — игра цветов *cauda pavonis*[289] и разделение на четыре стихии. Он изначальный Гермафродит, разделенный в вечном дуализме брата и сестры, воссоединенный в *coniunctio*[290], чтобы вновь явиться сияющим *lumen novum*[291] — камнем. Он жидкость и металл, материя и дух, лед и огонь, яд и целебное снадобье. Он — символ, объединяющий все противоположности».

Лукас считал, что в стихах Скотта скрыта мудрость, о которой сам автор и не подозревал. На них — печать мощного, но обращенного во зло символа, оккультного, а может, и доисторического: неспроста перья и змеи соединились именно в аббатстве Уитби. Птица и змея — это законченный круг, дракон, кусающий свой хвост, единение земли и воздуха. К этому ведь и стре-

---

[288] Примечания: 288

Первичная материя, голова ворона, темнота *(лат.)* — алхимические термины, связанные с первой, «черной», стадией Великого делания (создания философского камня).

[289] Примечания: 289

Павлиний хвост *(лат.)* — по ряду алхимических теорий, одна из стадий делания.

[290] Примечания: 290

Здесь: соединение противоположностей *(лат.)*.

[291] Примечания: 291

Новый свет *(лат.)* — одно из обозначений философского камня.

мятся они с Маркусом: чтобы земля, утратив косность, возвысилась до текучести света… Потом, если как следует напрячь разум, можно добавить огонь и воду, а четверку старых стихий освятить Меркурием металлическим и растительным — «помнишь собачью ртуть?». Если место эксперимента сомнений не вызвало, то суть эксперимента — или обряда, это вопрос терминологии — предстояло еще прояснить.

Был один мальчик, шахматист, который говорил, что отчасти его дар заключен в способности видеть возможные ходы каждой фигуры как подвижные сущности, оставляющие за собой переливчато-светлую нить. Из разноцветных нитей сплетались узоры, и мальчик выбирал ту из них, с которой плетение становилось крепче, а натяжение сильней. Если же он выбирал не самые крепкие, а самые красивые нити, то ход оборачивался ошибкой. Что-то подобное происходило в голове у Маркуса, когда он слушал речи Симмонса с его логическими сальто и бесконечными перекрестными отсылками. Из этих речей рисовалась у Маркуса паутина, красивая по-своему, но очень и очень ненадежная. Впрочем, его это не печалило: узор ведь был, хоть и состоял в основном из пунктиров и вспышек. Не его дело

указывать Лукасу на непрочность невидимых нитей. Может быть, у каждого эта внутренняя паутина имеет собственную прочность и натяжение. Может быть, у Лукаса она из тончайших стальных волокон.

Итак, одним жарким и солнечным воскресеньем они отправились в Уитби, бок о бок в спортивной машинке Лукаса. В багажнике было две корзины: одна с припасами для большого пикника, а другая с неизвестным инвентарем, который Лукас укладывал втайне, заворачивая в салфетки, носовые платки и шелковые кашне. Он и сам довольно лихо повязал красно-белый шейный платок, пестревший на фоне белой рубашки с расстегнутым воротом и темно-синего университетского пиджака. На Маркусе была его обычная рубашка и школьный пиджачок, где на нагрудном кармане были золотом вышиты башенка и девиз: «Ad caelum hinc»[292]. Не было в школе латиниста, которому нравилось бы измышление Кроу-основателя, а башенка, призванная символизировать школу как некую твердыню воли, в учительской носила название Вавилонской или Пизанской…

---

[292] Примечания: 292
«Отсюда — к небесам» *(лат.)*.

Ехали не спеша через пустоши на юго-восток и постепенно спустились с высоких холмов к прибрежной дороге, что тянулась вдоль скал, делая петлю вокруг Готленда, по той самой дороге, где Фредерика, теснимая в автобусе предприимчивым Эдом, мрачно размышляла об александрийском стихе. Такой маршрут давал возможность пешком подойти к аббатству со стороны южных скал, вовсе минуя город.

Среди скал погода, по выражению Лукаса, была такая, как изначально задумано: глубокая синяя пустота над головой, солнце в вышине, ветерок, летящий к морю. Они шагали к аббатству через поля, густо заросшие лютиками, дягилем, вероникой, и цветы оставляли на их одежде белую и желтую пыльцу. На фоне яркой синевы белели голые арки, которым нечего было поддерживать, а обломки колонн казались невесомыми — бесплотными, как опять же заметил Лукас, хотя, касаясь их, Маркус явственно ощущал под пальцами прохладный камень. Лукас был весьма недоволен, обнаружив в развалинах туристов, блуждающих по голым хорам, переходящих из одной каменной полости в другую. Судя по всему, учитель рассчитывал, что предстанет один перед алтарем или местом, где некогда стоял алтарь.

Девочки, с щебетом перебегающие в развалинах, старцы с рюкзаками, мотоциклисты в толстых крагах, топочущие тяжелыми ботинками, раскачивающие за ремешок очки-консервы, смущали его. Они с Маркусом стояли, как запасные игроки гостевой крикетной команды, и, сжимая ручки своих опрятных корзинок, рассматривали стены, полупрозрачные от стрельчатых окон, пронизанных морским ветром, остатки древней каменной кладки, вознесенные среди диких трав. Вспомнив гнетущую, замкнутую геометрию церкви Святого Варфоломея, Маркус с удовольствием продлил и довершил мысленно эти сломанные линии и ритмы. Солнечный свет танцевал на вздутых волнах, наводил блеск на камни, травинки и лаковые чашечки лютиков. Крошечные струйки света, словно видимые конвективные потоки, перетекали тут и там меж землей и небом, скручивались в колечки, рассеивались искрами, ныряли, вспыхивали. Лукас, шагая с военной или церемониальной твердостью, обошел вокруг аббатства, словно в Дальнем поле размечая границы крикетной площадки, где пролягут потом меловые линии. Он нес ту самую загадочную корзину. Следом на манер прислужника жреца шел Маркус, и в корзине у него были термос и

бутылка с водой, пластиковые стаканчики, хлеб, мясо, яблоки, сладости и вино…

— Здесь нам не дадут ничего сделать, — сердито шептал Лукас. — В конце концов, можно провести эксперимент и поблизости, просто в поле. По крайней мере, будем одни. — Он кивнул в сторону девочек, которые, строя рожицы и хором вопя старинный стишок, играли в Тома Тиддлера[293] и казались при этом воплощенными радиопомехами.

— Зато, может, мы случайно выберем как раз то место, где был коровник Кэдмона и куда Ангел спустился, — легкомысленно заметил Маркус.

— Это, должно быть, та же трава, которую щипали его коровы, — вполне серьезно ответил Лукас.

— Не совсем та же, — возразил Маркус.

— Но и не совсем иная, — сказал Лукас, поддергивая слишком свободную штанину и перекладывая корзину из одной горячей руки в другую.

Они двинулись вдоль края скалы, мимо полевой метеостанции и ее простенького садика. Спустя некоторое время нашли отличное место, достаточно защищенное от ветра: вместо жесткой травы и лохматого лилового короставника

[293] Примечания: 293

Игра, в которой водящий старается не пустить на выбранный участок остальных игроков.

там пышно раскинулись целые заросли лютиков, подернутые, как дымкой, белым кружевом дягиля. Среди такого богатства трав Маркус вспомнил о своей астме, сделал пробный глубокий вдох, чихнул от пыльцы, но не почувствовал внутри движения механизма, вызывающего удушье или припадок. Разве что некую оторопь от столь густо окружившей его растительной жизни. Эхом донеслись голоса девочек:

Перелезем Томов тын —
И тихонечко сидим.
Отвернется старый Том —
Злато-серебро берем.

Маркусу вспомнилась песенка, что пели в детстве:

Лютики нам золото, дягиль серебро —
В царстве у природы не сочтешь даров.

Лукас вытащил из корзины шотландское покрывало и раскинул поверх лютиков, но они не пожелали пригнуться и топорщились под тканью, словно бы повисшей невысоко в воздухе.

— Начнем, — сказал Лукас. — На пустой желудок, как на Оджеровом кургане.

Несмотря на странные события прошлого раза,

Маркус ничего особенного не ожидал. Ему казалось, что слишком уже человеческая, земная точность и решительность Лукасовых планов уменьшают их шансы. Он опасался немного, но лишь того, что его заставят делать нечто смехотворное или совсем уж нелепое. Лукас расстелил поверх покрывала белую салфетку и на нее выложил из таинственной корзины: аммонит, пучок сухих трав в тонкой бумаге, целлофановый пакетик плоских засушенных цветов, заткнутую пробирку с шариком ртути, несколько круглых закопченных стекол, большую круглую лупу, носовой платок и инструмент, напоминающий скальпель.

После этого Лукас объяснил их задачу. Как Маркусу известно, они должны установить связь с Ноосферой. Мудрецы во все времена говорили, что этому препятствует глубокая укорененность человека в его физической сущности. Следовательно, преобразование Жизни в Дух означает возвышение материи до чистого бытия. Вполне возможно, в символическом и отчасти в прямом смысле это достигалось в древности огненным жертвоприношением.

— Я был просто поражен, когда ты описал фотизм и сходящиеся конусы. Ты все время воз-

вращался к образу зажигательного стекла, и я теперь склонен считать это Знаком. Поэтому я предлагаю принести огненную жертву при помощи зажигательного стекла — высвободить материю, дать ей перейти в Свет и Энергию благодаря энергии Солнца, источника нашего земного света и тепла. Мы возьмем, конечно, вот эти травы — они уже послужили нам Знаком — собачью ртуть, аконит и горечавку, что мы сорвали возле Капельного колодца. Они претворятся не в Камень, но в Свет, lumen novum, еще один Знак. Я и аммонит взял — это каменный символ Творения и Делания. Он, правда, не из Уитби, кажется, а с Портландского мыса… Но он хороший, мне его еще в детстве подарили. Аммонит — символ свершенного Делания. И еще вот ртуть, символ духа, заключенного в материи. И конечно, кроме травы, нужна плоть — без нее не будет жертвы. Авель принес Богу жертву плотью, а Каин плодами земли, но Господь признал только Авеля и его жертву. Плоть будет наша собственная. Я думал взять червей, но ведь нужно что-то от нас, так?

Маркус, перескочив мыслью от Каина и Авеля к Аврааму и Исааку, быстро огляделся поверх сияющих лютиков в поисках разумной жизни, но увидел только бабочек вдалеке: лимонницу

да голубянку.

— Волос и пары капель крови должно хватить. Скальпель я захватил, — продолжал Лукас. — Как думаешь, больше ничего не нужно?

Маркус посмотрел на лютики, на клетчатую шерсть покрывала, услышал вздох приминаемых покрывалом цветов.

— Нет. Разве только что-то отсюда, именно отсюда. Из Кэдмонова коровника, — сказал он с бледной улыбкой.

— Ты прав, Авель и Кэдмон оба были пастухами.

— Но коров-то тут нет…

— Зато есть молоко в термосе. И добавим еще какой-нибудь местный цветок. Ты это отлично придумал, Маркус!

Стали искать подходящий цветок. Желтых лютиков было слишком много — слишком просто для жертвы. Наконец Маркус нашел нечто необычное: невысокое растение с ярко-синими цветами, сидящими друг к другу плотно, словно чешуйки. Маркус позвал учителя.

— Это мускари, гадючий лук, — сказал тот. — Прекрасно, еще один символ перерождения змеи или дракона.

Лукас выдернул цветок с корнем и положил

его, вместе с осыпающимися комочками земли, к горечавке, акониту, собачьей ртути. Затем он поднял маленький скальпель:

— Дай руку. Я хочу капнуть на платок три капли крови — ну или около того, но лучше всего три. Нашей общей крови. Мы ее смешаем.

Маркус невольно отдернулся.

— Скальпель стерильный, — заверил его Лукас и подставил собственную руку. — Совершенно стерильный.

Маркус вообразил, как такое же маленькое треугольное лезвие отрешает морщинистую кожу червя от скользкой, увертливой плоти. Вяло протянул руку. Лукас схватил ее, повернул ладонью к солнцу и каким-то хищным движением коротко надрезал кожу у основания большого пальца. Брызнула, закапала кровь. Ее было много больше, чем полагавшиеся три капли. Лукас, возбужденно смеясь, воткнул себе лезвие в указательный палец. Его кровь потекла на белую ткань, смешиваясь с кровью Маркуса. Круглые брызги с неровным краем сливались в одно красное пятно. Лукас срезал у себя тугой завиток волос надо лбом, а затем окровавленной рукой быстро взял Маркуса за подбородок и срезал вялую прядь светлых, похожих на сено волос. Скрутил волосы

вместе и положил поверх кровяного пятна. Подумав, подложил аммонит под платок в том месте, где лежали травы:

— Нельзя ожидать, чтобы солнечная энергия поглотила аммонит. Но она безусловно может перейти в него и как-то его трансформировать. Ты не думаешь, что нам стоит повторить ту нашу пляску? У кургана мы сцепили руки восьмеркой, как знаком бесконечности, и кое-что получилось. — Он сжал Маркусу руку, снова смешивая кровь, и поднял его на ноги. Протянул ему закопченное стеклышко. — Будем смотреть через него. Прямо на солнце. Так мы ничего не пропустим: ни малейшей перемены, ни знака, ни…

Они закружились. Маркус чувствовал себя глупо. Плыла голова, было тошно и муторно, а сам он то ли вовсе не был, то ли был от себя отдельно. Они топотали, попирая землю и сминая цветы. Когда остановились, цветы продолжали нестись желто-белыми концентрическими кругами, а зеленые линии покрывала плескали, как змеистые волны. Лукас поднял дымчатое стеклышко, глянул сквозь него в синеву на золотой восторг Уоллеса Стивенса, на золотую гинею Эмили Дикинсон, на пылающую массу гелия — торжественно поклонился и сел на кисточки

покрывала. Маркус быстро проделал то же самое. Лукас взял теперь зажигательное стекло:

— Как думаешь, нам стоит к ним как-то обратиться?

— Нет.

— Согласен. Слова звучат глупо. Наверно, нам лучше взяться за руки.

Взялись. Лукас поднял стеклянный круг, на мгновение задержал в нем луч света, потом направил на салфетку и замер.

Сложно было понять, что это, белый огонь или только расплавленный воздух: он был неподвижен, языки его не лизали воздух, только жертвенные вещи ежились и чернели, пожираемые им. Травы, чей образ Маркус уловил в церкви, разлетелись мелким пеплом: их тень продержалась миг-другой и, дрогнув, обратилась в пыль вместе с горечавкой. Целлофан, в котором хранилась собачья ртуть, на мгновение полыхнул золотом и платиной, потек, потемнел и сделался ничем. Волосы, лежавшие поверх крови, вспыхнули, оплавились в ком, почернели и перестали быть. Гадючий лук, шипя и кипя зеленым соком, свернулся в кольцо. Но самое неожиданное: пробирка со ртутью скрипуче крикнула и раскололась, выпустив на волю мно-

жество серебристых капель, что, скользя меж нитей обугленной ткани, утекли в обгоревшую землю. На салфетке черная дыра бесшумно росла, поглощая пылающий луч, по самому краю вспыхивало золото, а дальше расползалась чернота. Пахло пожираемой, протестующей материей, растительной и животной. Над горбиком аммонита салфетка пошла черными шелушинками и распалась, оставив на каменных витках черный узор, чуть влажный от прикипевшего травяного сока. Маркус смотрел не отрываясь. Он помнил, что случилось с ним в Дальнем поле. Перед ним был наглядный пример того, какую силу может сконцентрировать в себе зажигательное стекло. Не важно, огонь это или раскаленный воздух: вот он пляшет, белый, прозрачно и густо-белый — белое ничто. Протяни туда руку — и сам в муке приобщишься к нему.

— Держи лупу, — сказал Лукас. — Держи ровно и смотри. Я завершу все возлиянием молока и вина.

Он пошарил в Маркусовой корзине, капнул молока в жестяную крышку термоса, потом недолго поборолся со штопором и бутылкой бургундского. Плеснул вино в обугленный круг, оно вскинулось паром, пламенем и исчезло. Молоко в крышке

начало пригорать, потемнело, пошло бурыми пузырями, испуская какой-то страдальческий, особенно отвратительный запах, памятный Маркусу со времен начальной школы: мальчишки, окружив школьную печь, через соломинки плевали на раскаленный чугун пайковое молоко. Лукас щедро добавил еще вина, причем получилась порядочная лужица, на поверхности которой плавали обугленные остатки трав и ткани. Земля медленно впивала вино. Маркус опустил зажигательное стекло, которое теперь и впрямь жгло ему ладонь. Он огляделся, увидел вокруг воздух обычный, не расплавленный, а потом глянул вниз, на черную дыру в форме солнца — итог жертвоприношения, сокрушительное доказательство того, на что способны силы, обычно не принимаемые в расчет. У Лукаса лицо и волосы были мокры от пота.

— Что мы теперь будем делать? — спросил Маркус.

— Сидеть и ждать. Мы воззвали, мы дали знать, чего хотим. Теперь только ждать.

Маркус наблюдал за мягким движением света над лютиками и задавался вопросом: а чего они, собственно, хотели? Быть поглощенными огнем? Исчезнуть? Сделаться невидимыми? Легко кру-

жили, легко опускались на траву черные хлопья пепла и желтые лимонницы. Двое ждали. Тихо тянулся день.

— Выпей вина, — сказал Лукас и налил ему в стаканчик. Через некоторое время опять: — Выпей еще.

Маркус, непривычный к спиртному, пил жадно. Лукас, прямой как шест, ждущий то ли прикосновения пламени ко лбу, то ли голоса из синего провала, сердито прихлебывал из стаканчика. Предложил Маркусу сэндвич с говядиной и яблоко. Маркус стал есть. Сам Лукас к еде не притрагивался. После двух хороших стаканов вина Маркус вытянулся на покрывале и прикрыл глаза рукой, чтобы стало темно. Света, вторгшегося в него в Дальнем поле, не было здесь и в помине. Было обычное солнце, лупа, слишком много ожиданий да головная боль. Лукас опустился на покрывало рядом с ним. Прозвучал прежний требовательный голос:

— Что теперь?

— Давай еще подождем… — сонно пробормотал Маркус в сгиб локтя.

— Чего именно подождем?

— Откуда мне знать? Ты же это затеял.

Его друг помолчал, а потом смиренно прого-

ворил:

— Извини, пожалуйста…

— Передо мной извиняться не нужно. Я и не думал, что небеса разверзнутся. Но мы уничтожили лучом всякие вещи. Это и правда сильная штука…

— Какая там сильная! Проще некуда…

Маркус понял, что ему снова навязывают сомнительную роль старшего, и пришел в ярость:

— Ты видел, что стало с травой и прочим? Видел? Тогда ты знаешь, чего я боюсь. Я боюсь, что у меня мозг в голове закипит и обуглится, как твой гадючий лук. Но тебе-то что! Ты же не понимаешь, что есть простые вещи, которых человек до жути боится. Ты вот злишься теперь, а надо бы бояться. Но тебе и это невдомек. Хочешь ты, чтобы тебя расплавили, чтоб один воздух горячий остался, а его в море сдуло? Хочешь стать ничем? Вот совсем ничем? Ты и близко не знаешь, что это такое. А я знаю. Твой фокус с лупой — ты видел, чего я боюсь. Но ты ни разу не дал мне сказать этого, ты все твердил про величие да великолепие… Чего ты добиваешься? Если эта сила разумна, если ты до нее докричишься — с чего ты взял, что выдержишь даже тысячную долю ее? Нет уж! Надо держаться от всего этого

подальше, надо притихнуть! Ни на что другое мы не способны.

Наступило долгое молчание.

— Я очень несчастен, — просто сказал Лукас.

Маркус отвернулся. Потом, с потемневшими глазами, протянул ему руку. Симмонс сжал ее в горячей руке. Они невольно придвинулась друг к другу. Послышалось странное щелканье, и Маркус понял, что у Лукаса стучат зубы. Он повернулся на бок и крепко сжал другу плечо, комкая жаркую фланель. От Лукаса пахло потом и смертным страхом. Маркус судорожно хватал его то за локоть, то за бедро, словно хотел замерзающего спасти от смерти теплом своего тела. Тихий, тусклый голос проговорил:

— Я так несчастен. У меня ничего нет, друзей нет. Все, что я делаю, — ненастоящее, пустышка. Иногда кажется: проглянуло что-то, проглянуло… а конец всегда один. Полный и окончательный провал.

— У тебя есть я, — сказал Маркус. Он и сам дрожал теперь от непривычной жалости к Лукасу.

— Что я тебе? Ты живешь в настоящем мире. А я перехожу от фантазии к фантазии. Пора бы уже привыкнуть, начать к себе приглядываться: если я худею, это всегда Знак. Ты доверял мне, я

должен был тебя защищать, а не…

— Не говори… Не говорите так, сэр. Вы всю мою жизнь изменили. И то, что мы видели, те травы в церкви, — они никуда не делись. Может, нужно просто подольше подождать… И у кургана — помните? — вам многое удалось, и много было настоящего, и…

Маркусу нужен был их замкнутый мирок. Лукас защищал его от напора бесконечности.

— Я нечист, вот в чем дело, — сказал Лукас. — В этом и в другом еще… Я земной, обычная земная тварь. Весь мир пропах земным. Ненавижу этот запах, ненавижу эту возню, ненавижу свое тело, тела вообще. Весь жар, всю тяжесть земную ненавижу… А ты чистый. Это сразу видно. Чистое существо, ясное зрение. Ты…

Маркус не хотел знать, кто он и какой. Он придвинулся ближе, притянул к себе Симмонса за пиджак. Бормотал, словно ребенку:

— Тише, тише, это все пустяки. Что-то случилось, да, — а ты лежи себе тихо. Я тут, я с тобой.

«Никогда сроду я не был никому утешением», — подумал Маркус, не помня детства, не помня безмолвного, потаенного времени на руках Уинифред в роддоме. И сказал, как сказала бы ему она, как сказала бы женщина беспокойному,

тоскующему ребенку:

— Лежи, лежи тихонько. Это все пустяки.

И Лукас вдруг заснул, обернув к Маркусу лицо с раскрасневшимися щеками и влажным приоткрытым ртом. Маркус приподнял голову и увидел пот, блестящий на чуть раздвоенном кончике носа, капельки пота на бровях… Не выпуская Лукасовой руки, он закрыл глаза и провалился в сон глухой и глубокий, словно искал беспамятства.

Потом они проснулись. Молча распутали руки и ноги, спиной друг к другу собрали вещи: покрывало с примятой травы, огрызок яблока, скальпель… Уложили все в корзины и зашагали прочь. Маркусу было ужасно: индиговые круги, словно послеобразы солнца, плясали перед глазами по три разом, сцеплялись в спирали, нависали над краем обрыва, неподвижно парили в небе. Лукас молчал и шел очень быстро, так что Маркус неловким полубегом едва за ним поспевал.

Черная, на жука похожая машинка, ждавшая на заросшей травой обочине, была раскалена, как печка, снаружи и внутри. Ее окружала, мягко переливаясь, жаркая дымка, похожая на юбочку медузы в прохладной воде. Лукас швырнул корзины на узенькое заднее сиденье, быстро сел на водительское место, хлопнув дверью, и тут же

опустил стекло. Маркус, потирая шею, уселся рядом. Они стащили с себя пиджаки и кинули назад поверх корзин. Маркус смотрел на Лукаса, но тот откинулся на сиденье и упер взгляд в ветровое стекло. Их обвивала удушливая жара.

Наконец Лукас заговорил:

— Мне нужно многое рассказать тебе. Я раньше молчал, а ты это должен знать…

— Не нужно, это все пустяки…

— Отнюдь. Есть вещи, которые ты должен знать обо мне. Хоть я и надеялся, что это дело не столько личное, сколько… Да, я надеялся, но в каком-то смысле я тебя обманул. Так вот: со мной случается… в общем… Если опять случится, ты имеешь право знать. Потом, со временем, я тебе все расскажу… Нельзя винить человека, если он боится. Боится, что вдруг изменится, что его запрут, начнут изучать… Я призна́юсь тебе: со мной это было. Сперва во флоте. Я служил на миноносце в Тихом океане. Начались неполадки с передатчиками, плохо проходили сообщения — и там тоже. Был трибунал, меня вызвали перед трибуналом, и потом еще долго в белой комнате… Мне сказали: «Вам нельзя иметь детей, даже думать об этом нельзя, вы можете передать…» Я-то не знал, а они, оказывается, следили за мной

с датчиками: вдруг я что-то предприму… в этом смысле. Потому что мне нельзя детей. Или показалось? Могло показаться: они все были белые и комнаты белые, это могло быть и на миноносце, и нигде — вне времени и пространства. Вообще, что касается места, я в разное время думал разное, а очнулся по-настоящему в Гринвиче, хотя при чем тут Гринвич? Может быть, я туда перелетел. Или меня переместили по воздуху. Может быть, время в какие-то моменты останавливалось. Мне же ничего не объясняли. Считали, вероятно, что я, так скажем, не в состоянии воспринять, а я был в состоянии, я все время думал, строил гипотезы о том, где нахожусь. Я сейчас уже не уверен, но тогда мне казалось — тогда я точно знал, что они мне вживили электроды в мозг и еще *туда*… чтобы следить. Может, и вживили, им это легко, и не только это. Ты бы очень удивился, расскажи я тебе, что они там выделывали… Да. А потом я от них ушел… Я ведь уже говорил тебе: в той школе хотели, чтобы я у них вел половое воспитание как продолжение анатомии. Но я отказался. «Нет, — говорю, — наймите лучше приличную даму в шляпе из какой-нибудь благотворительной организации, наймите хорошую, славную девушку, а

я пас. Неумирающий червь[294] не по моей части. В моем состоянии лучше не идти дальше дождевых червей — милых, безличных гермафродитов. Весьма удобные создания, живут себе и бед не знают, по крайней мере на наш человеческий взгляд. Мое дело кролики и малые амфибии. Но человека — великое земноводное — я оставляю в стороне, да. И вообще надеюсь, что эволюция однажды упразднит для нас этот вопрос. Это я, конечно, не всем говорю: надо ведь знать, кто именно тебя сейчас слушает и *как* слушает. Есть пути к вечной жизни, недоступные высшим организмам, даже Фрейд так считает. Половой способ продолжения жизни — это Фрейд говорит — обязательно связан со смертью. Как только клетки организма разделяются на соматические и зародышевые[295], неограниченная продолжительность отдельной Жизни становится ненужной роскошью. Да. Ненужной роскошью. Так для многоклеточных начинается смерть. Мы умираем, а одноклеточ-

---

[294] Примечания: 294

Отсылка к Евангелию от Марка (9: 47–48): «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает».

[295] Примечания: 295

Вероятно, отсылка к теории немецкого биолога Августа Вейсмана (1834–1914).

ные живут вечно. Бессмертное семя. А они мне сказали: «Даже не думайте иметь…» Это я уже говорил… А еще Фрейд считает, что продолжение жизни началось на земле раньше, чем смерть. Понимаешь? Это, как рост, основное свойство живой материи. С самого зарождения своего жизнь на земле не прерывалась. И в этом тайна. Смертны только высшие организмы, разделенные на два пола. Биосфера бессмертна, и гидра тоже бессмертна. Гидра гермафродитна — она делится, делится, воспроизводя одну и ту же форму: не растение и не животное… Недавно мне было наитие прочесть одну книгу — старую, странную книгу Хёрда. Не из тех, где он пишет о свидетельствах бытия Божьего, а другую. Она называется «Нарцисс, или Анатомия одежды». И знаешь, мне понравилось. Он там пишет, что одежда и мода вообще — средство изменения анатомии. Корсеты, бритье, а позже химия и фармация, управление гипофизом, удаление волос электролизом — Хёрд все это рассматривает как эволюцию в сторону уменьшения массы тела. Это очень интересно. Он пишет, что дома, гардеробы с одеждой, ящики с инструментами — все средства избавиться от шерсти, костей и клыков. А научная система питания со временем избавит

нас от глупой путаницы кишок, где все бродит и разлагается. Мы должны дорасти до марсиан Уэллса — стать мозгом со щупальцами, оседлавшим машину. Только нам это будет казаться прекрасным, а не уродливым, как сейчас. Человек без машины-оболочки будет вызывать отвращение, как сейчас голый мужчина возмущает респектабельных дам, или вид мозга, нашего прекрасного мозга, не прикрытого костями и кожей, до сих вызывает у некоторых совершенно иррациональное отторжение. Представь себе: целый рой маленьких ярких организмов-механизмов. Снаружи металлический корпус вроде часового, а внутри, среди пружин, крошечные опаловые тельца. У меня как раз это соединилось с Юнгом — помнишь, он пишет о Меркурии и первичной материи? Мы можем вернуться к тому, с чего начали, к идее, заключенной в материи… Ты вот спросил, хочу ли я стать ничем, как те сгоревшие травы. И да и нет. Ты много читаешь стихов?

— Нет. У меня раньше была аллергия на них: сколько себя помню, лежали по всему дому книги, как пыль или пыльца. А потом я потерял к ним чувствительность.

Этого удивительного, многое проясняющего признания Лукас не услышал или почти не услы-

шал, ибо готовился сообщить, что в последнее время по наитию тоже прочел немало стихов, и в частности сочинений Эндрю Марвелла. Марвелл, кажется, был не чужд желания сбросить оковы пола и избавиться от терзаний плоти. Он написал чудесное стихотворение «Сад», в котором разум человеческий уничтожает свои творения, чтобы вернуться «к зеленым снам в зеленый сад»[296]. «Моя растительная любовь», — грустно и словно невпопад проговорил Лукас, вспомнив того же Марвелла. Еще помолчав, начал снова:

— Почему мне нельзя преподавать только ботанику, почему нельзя думать только зеленые мысли?.. Я не гомосексуалист, к слову говоря. Я в этом смысле никто.

— Ничего, ничего. Это не важно.

Маркус не знал, что еще сказать. Все это время он не слушал, а подавлял страхи, смутно проступавшие из смутных воспоминаний Лукаса. Главным же образом он был захвачен чувством новым и теплым: Лукас кормил его, рассказывал разные вещи, восхищался его способностями. Маркус должен был воздать за это добром. Он хотел утешить друга, но не понимал, как это

---

[296] Примечания: 296
Перев. Г. М. Кружкова.

сделать и в чем же именно состоит беда Лукаса. Поэтому, как многие из нас, вместо утешения он предложил самое себя:

— Сэр… Лукас, я здесь. Я с тобой. Я тебе верю и сочувствую. Могу я тебе помочь?

Лукас обернул к нему лицо, красное от солнца и стыда:

— Тронь меня, пожалуйста. Просто тронь.

И снова Маркус медленно протянул ему руку. Лукас взял ее в свою, почему-то вспухшую и неловкую, и, на миг замерев, положил обе себе в пах.

Двое сидели молча, не глядя друг на друга, уставясь в лобовое стекло. Лукас сдвинул их руки глубже в пах. Маркус невольно дернулся, и Лукас сжал сильнее.

— Никогда, — он дышал тяжело, мешая поучение с мольбой, — никогда не думай и не говори, что это все просто половое. Но если можешь… просто тронь там, просто тронь, и я клянусь…

Лукас отчаянно дергал ремень, пуговку, молнию, и вдруг, горячий, прямой и шелковистый, пружинисто возник его стержень.

Маркус пытался высвободиться, но Лукас все крепче сжимал его руку:

— Я не должен, я знаю… но если бы ты мог…

Только прикоснись, чтобы я почувствовал связь…

Маркус искоса глянул на него и, движимый жалостью, стыдом, долгом чести, слабостью, наконец, протянул худую, бледную, вялую ладонь и положил ее *туда* — без нажима, без ласки. Лукас негромко застонал, и горячий корень расцвел пышно и влажно и медленно обмяк, оставив влагу у Маркуса в ладони. Лукас снова простонал, дрогнув всем телом:

— Прости. Я не хотел. Минутная слабость воли.

Они не могли поднять глаз друг на друга.

— Это не важно, Лукас, — чуть слышно проговорил Маркус. — Это все не имеет значения.

Но произошедшее имело значение для Маркуса. Только что он был движим сочувствием, а потом Лукас застонал и содрогнулся, и Маркус вернулся к прежнему себе: одинокому, ото всего отчужденному. Он принялся вытирать руку о платок, о штаны, обо что попало.

— Это имеет значение, — подтвердил Лукас. — Это катастрофа. Начало конца.

Все это он проговорил негромко и твердо, застегивая брюки. Лукас явно ждал ответа, но Маркус не знал, что сказать. Наконец Лукас, не глядя на него, вставил ключ зажигания, резко завел

машину, сдал назад по траве и выехал на дорогу.

Поездка через пустоши обернулась кошмаром. Маркус, прежде чем перестал думать вовсе, подумал, что физически невозможно лететь с такой скоростью. В ушах свистал воздух, мимо проносились вереск и каменные ограды. На поворотах машина визжала, и делалось тошно. Мир шел волнами и скручивался в кокон, и центр всего этого приходился у Маркуса между глаз. Маркус зажмурился. Он хотел что-то сказать, но рот пересох. Они с разгону взлетали на холмы, подвисали наверху и обрушивались вниз. Проскакивали перекрестки, а вослед хлопали невидимые калитки и гневно шумели деревья. Маркус сполз на пол и, стоя на коленях, уткнулся лицом в сиденье. Он лишь раз посмотрел тайком на своего друга: розовое лицо без выражения в ореоле солнечных кудрей, взгляд поверх руля устремлен в пустоту.

«Ты что, убить нас решил?» — хотел крикнуть Маркус, но не мог. Не мог и повторить, как тогда: «Ты что, хочешь стать ничем?» Он съежился, уставился вперед и потерял сознание. Очнувшись, увидел пляшущее небо и снова закрыл глаза.

35. Королева и охотница

Настал вечер генеральной репетиции.

— Это наш последний шанс, — воззвал Лодж с королевской подставочки для ног на присыпанной гравием террасе; актеры и массовка слушали, а среди деревьев одинокая зеленая бутылка меланхолично выпевала: «Пусть! Пусть!» — Последний шанс собрать все вместе и создать волшебство. Мы почти у цели.

Лодж махал руками, интонировал с непривычным, чисто актерским рокотом и вкрадчивой напевностью. Он чаровал, льстил, угрожал, и актеры в париках и отороченных мехом платьях, в фижмах и набитых ватой бриджах-фонариках, вздыхали и смеялись, подбирали пышные подолы и набирались храбрости. Фредерика сидела на ковре рядом с Уилки в свете дуговой лампы, подвешенной к дереву. Уилки, в черном бархате с расходящимися жемчужными лучами, словно сошедший с холста Рэли, меленько выводил карандашом какие-то суммы на листке миллиметровой бумаги. У него было уже несколько таких листков со схематическими изображениями пробирок, узких и пузатых бутылок, солидных

бутылей в оплетке. Тут же набросаны были космические змеи, пересекающие небесные сферы, Аполлон с чашей, полной цветов, Грации. В последние недели Уилки проявил немалую изобретательность, стремясь научными средствами возвысить бутылочный оркестр до явления музыкального искусства. Он измерял объем воздуха и жидкости в каждом сосуде, частоту и резкость звука, отдающегося в просторных шаровидных доньях и узких стеклянных горлах. Он набрал более или менее надежных мальчишек-фавнов анти-маски и в свободные минуты репетировал с ними в Большом зале. В данную минуту они прижимали к дублетам скрупулезно пронумерованные бутылки, хрустально-прозрачные, янтарные, изумрудные, содержавшие недавно вино, пиво и разноцветную газировку. По знаку Уилки мальчишки могли сыграть ренессансно-переливчатую «Игрушку» Фарнаби, веселых негритянских «Святых» Армстронга, «Парадиз», предназначенный Кэмпионом для лютни, и «Туман холодный» — нежную и грустную старинную балладу. Все это исполнялось с мощным бутылочным перезвоном и орнаментацией авторства самого Уилки. Сей многосторонне одаренный юноша утверждал, что сочиняет

сейчас подлинную музыку сфер в согласии со схемой, найденной в *Practica Musica* Франкино Гафури[297], сумевшего соотнести дорийский, лидийский, фригийский и миксолидийский лады с движением планет и велениями муз. Уилки пообещал Марине Йео создать аполлонический порядок из дионисийской какофонии — для того лишь, чтобы с террасы крикнуть ей: «Услышь музы́ку сфер, моя Марина!»[298]

— Как ее поймут, если никто не знает, что ты вписал туда все эти планетные октавы и трансцендентальные ноты? — скептически поинтересовалась Фредерика.

— Ты знаешь. Марина знает. Мальчишки из оркестра знают, я им сказал. Они много хихикают по этому поводу, но знают. В любом случае люди интуитивно ощутят некий порядок, если таковой будет, даже не зная ни его, ни его принципов.

Трудно было понять, насколько серьезно Уилки воспринимает собственную персону. Но он явно склонялся в сторону порядка, системы и даже сочетания нескольких систем восприятия. Он

---

[297] Примечания: 297

Франкино Гафури (1451–1522) — итальянский композитор и теоретик музыки.

[298] Примечания: 298

Отсылка к шекспировской драме «Перикл».

был по сути своей организатор и оркестровщик.

— Не ощутят, — сказала Фредерика. — Ничего они интуитивно не ощутят, да и я тоже, сколько ни читай мне лекций. У меня нет слуха.

Уилки пришел в восторг:

— Правда? Отлично. Ты подтверждаешь мою теорию о том, что отсутствие музыкального слуха приводит к скудости голосовых модуляций. Потому тебе так и удается эта каменная интонация. — Уилки весьма точно сымитировал отрывок ее монолога в башне. — Скудость полутонов и невыразительный регистр. Голос, говоря словами классика, «скрежещет, подобно треснувшим колоколам»[299]. Павлиний голос. Ну что ж, не всем дано петь под музыку сфер. Но вы, Марина, я чувствую, что вы обладаете почти идеальным слухом.

— Обладала когда-то, — отвечала сверху Марина, раскинувшая на двух золоченых стульях платье размером с Британскую империю. — В последнее время он уже не так хорош.

— О да, с годами он слабеет, — с чувством произнес Уилки. — Но утешьтесь: очень и очень медленно. Хотите, Марина, я напишу для вас

---

[299] Примечания: 299
Отсылка к «Гамлету», перев. М. Л. Лозинского.

песню на музыку сфер? Споете ли вы с моим бутылочным оркестром? Фредерика, дитя, боюсь, ты опять ничего не услышишь. «Уверенность блаженства наяву», — сказал Комос, а Хаксли добавил, что это — точнейшее описание хорошей музыки. Как же ты слушаешь музыку без музыкального слуха?

— Думаю о своем, — резко отвечала Фредерика, — и мечтаю, чтобы поскорей кончилось.

Уилки одарил ее плутоватой улыбкой на пухлой рожице. Лодж, дойдя до конца своей пламенной речи, хлипким бутафорским кинжалом махнул в сторону бутылочного оркестра. Мальчишки надули щеки, как зефиры Боттичелли, и заиграли «Правь, Британия, морями».

— Эврика! Нам нужны ударные: от змеиного шипа до ударов сердца. Их ты услышишь, дитя мое, их глухие услышат. Но какие же барабаны пристали музыке сфер? Знаете ли вы, милые дамы, что пятистопный ямб отмеряет количество сердечных сокращений между вздохом и вздохом? В стихе Шекспира — мера человеческого времени. Но для сферической музыки нужен не человеческий ритм, а иной: капанье водяных часов, пульсация вселенной…

— Умолкните, Уилки, — сказал Лодж. — Я хочу

начать. Кто не занят в первой сцене, прошу на выход. Или сядьте, замолчите и будьте публикой. Уилки, заткнитесь, наконец, и читайте Пролог. Тишина! Свет, пожалуйста.

И на каждом дереве, как блестящие золотые плоды, засветились в зелени теплые, круглые, ясные огни. Был поздний вечер, но не темный, а серо-синий. Полная темнота должна была наступить к заключительному акту. Лодж, вдохновленный Йоркскими мистериями 1951 года, когда настоящее солнце, кровавое и огромное, зашло за крестом, где был распят Спаситель, и развалинами аббатства Уитби, решил использовать темноту, чтобы подчеркнуть закат Глорианы. Уилки оправил мантию, вскочил на террасу и придворным шагом подошел к Томасу Пулу, игравшему Спенсера, чтобы начать Пролог.

Дженни опоздала из-за Томаса, который вдруг раскапризничался, и теперь металась по старым кухням, превращенным в женские гардеробные, умоляя кого-нибудь застегнуть ей сзади крючки. В каменной судомойне она наткнулась на Александра. Александр сказал, что сам все застегнет. Обоим вспомнились те первые объятия в трюме под школьной сценой. Александр скользнул рука-

ми под гибкую преграду из китового уса, туда, где мягкая грудь. О, эти ряды крохотных крючков!

— Кроу тебе предложил?..

Она засмеялась:

— Конечно. Он же старый сводник Пандар[300], Повелитель гуляк[301]. И я согласилась, конечно!

Кроу предложил еду, питье и ночлег всем, кому они в тот вечер требовались, и особенно — Дженни. Джеффри заявил, что решительно не понимает, почему она не может вернуться домой в Блесфорд. Он бы сам ее и забрал. Но Дженни напомнила ему, что он должен сидеть с Томасом. Об этой размолвке она Александру не сказала.

— И если я останусь, если я останусь на ночь, ты?.. Мы?..

— Конечно.

— И все будет хорошо?

— Конечно.

В собственном голосе Александру послышались сахариновые нотки. Он вовсе не был так уж во всем уверен. Он вспомнил Стефани Поттер, тоненькие золотые булавки и облако тюля. И почему это так необходимо — пальцами трепе-

---

[300] Примечания: 300

Отсылка к шекспировской пьесе «Троил и Крессида».

[301] Примечания: 301

В старой Англии — распорядитель рождественских увеселений.

тать в отверстиях чужого тела? Ему нужна была чистая, белая комната и тишина. Не хотелось ему ни вин, ни плясок.

— Дженни, мне пора, я волнуюсь, как все пройдет. Все, побежал. Увидимся после.

— Конечно, — отвечала она с этой ее новой уверенностью, — после. Только поцелуй меня.

Он чуть коснулся губами ее алого рта, задел щекой тонкий, туго накрахмаленный воротник. Она была такой, какой он ее когда-то нарисовал: крошечная женщина-птица в платье с цветочным узором и шифоновыми рукавами. То, что он чувствовал сейчас, не могло быть ностальгией, тоской по тем давним эскизам или по манекену, на котором примерялось платье Дженни летними вечерами в рукодельном классе Блесфордской школы для девочек. Тогда что же это было?

На большой лужайке воздвигся теперь амфитеатр для зрителей, немного напоминавший трибуны, тянувшиеся по пути следования коронационной процессии. Александр не стал садиться с Лоджем, Кроу и остальными. Он забрался повыше наверх, в древесную тень и оттуда слушал, как Спенсер и Рэли перекидываются словами, его и своими собственными, под мелодии бутылочного оркестра, скрытого в кустах.

Он вспоминал свои первоначальные замыслы. Возрождение языка, богатого, пышного и полнокровного. Совершенное, неприкосновенное создание, мужчина и женщина в едином теле, скрытом под броней китового уса. Непростая метафора, слишком рано определившая ход пьесы: камень, от которого не добьешься крови. Лишь ему видимые чистые цвета: красный и белый, зеленый и золотой.

А потом работа: он хотел написать сложную вещь со множеством подлинных деталей — воплотить идею вполне. Дипломатия, шпионаж, хмельной мед, семя, жемчуг, неоплатонизм в искусстве, расшитые платки, накладки на бедра, кислый вержус и ароматная мята, «Полиольбион» и «Королева духов», бойня в Голландии и в зыбких ирландских трясинах. Радостное опьянение словом и былой жизнью. Если он писал «кубок», в этом слове сходилось все, что он знал о мальвазии, о домашнем скарбе елизаветинских времен, о колдовских кубках Комоса и Цирцеи, о дарах, подносившихся королеве во время летних проездов по стране. «Алой розы кровь и белой розы»: розы и казни, и отменно разделанный доктор Лопес, чью смерть, а вернее, весть о ней благопристойно обкорнал Лодж.

Александр знал по опыту своей первой пьесы о том, как отвердевает, какую окончательность принимает воплощенная идея. В этот раз было еще хуже, ведь, работая, он видел все ясно и ярко, словно в волшебном фонаре или камере-обскуре. Часто пьеса выигрывает от того, что привносят режиссер и актеры в свободные пространства, оставленные для них в тексте: новый взгляд, неожиданную деталь. Пока что этого не произошло. Создания Александра попросту обзавелись местными адресами и именами: Макс Бэрон, Марина Йео, Томас Пул, Эдмунд Уилки, Дженни и — случай особенно сложный — Фредерика. То, что они считали собственной интерпретацией роли, Александру казалось топорным и плоским. Марина любила поговорить о том, как она «творит» роли. Может быть, он оставил им слишком малый простор для творчества, для воссоздания характера? Он написал вещь в духе всех хороших стихотворных пьес пятидесятых годов: плотную, умную, доверху набитую образами — солнцами и лунами, лебедями и мотыльками-однодневками, цветами и камнями. Он же определил и зрительную ее часть: нарисовал костюмы, измыслил бархат каштановый и цвета сумерек, лучисто-яркие сборки, золотое шитье, — всему

этому богатству реальность могла послужить лишь бледной копией.

А Лодж неуклонно сквозь сложность и пышность прорубался к голому скелету, к примитивной одержимости сексом, танцем и смертью. Смерть, танец, секс — больше ничего. Лодж переписывал реплики — и часто, — если об этом просили актеры, которым что-то казалось длинно, трудно или по-старинному грубовато. Особенно отличалась в этом смысле Марина.

Александр знал, что это не слишком длинно и не слишком трудно: на его внутренних подмостках речь героев лилась легко и отчетливо. Дивный дворец его воображения рушился на глазах, но еще больнее было сознавать: он задумал пьесу как гимн прошлому, а вместо свирелей и тимпанов, экстатических восторгов, Темпейской долины и Счастливой Аркадии, вместо Бессмертных в саду Гесперид[302] получил секс в летних платьицах, сэндвичи в позолоченных шлемах из папье-маше и бутылочные дивертисменты Эдмунда Уилки.

Сыграли Пролог. Лодж выкинул еще одну ре-

[302] Примечания: 302

Античные символы радостного творчества и беззаботного счастья. В случае Аркадии и сада Гесперид — счастья, позже омраченного бедами.

плику, на сей раз не Александрову, а самого Рэли о переменчивости хладной планеты. Предзакатное солнце осветило опасные забавы в саду Катерины Парр и судорожную пляску ее ножниц. Александр не без удовольствия следил, как взметенные клочки юбки, трепеща, медленно опускаются на раскинутые голые ноги Фредерики. Она вся окаменела — и это было правильно: идеально сошлись гнев, сумятица пола и извечное, неодолимое одиночество. «Она отлично знает, что делает», — подумал Александр. Рыжие волосы Фредерики яростно разметались где по парковым маргариткам, где по голой земле. Александр ощутил укол простого и повелительного желания, но сказал себе, что это все от пьесы и от им же придуманной героини.

Фредерика вскочила, с пронзительным и грубоватым смехом выкрикнула: «Сама себя не узнаю!» — раскатисто ругнулась и сбежала. Послышались жидковатые аплодисменты, принесшие ей большое удовлетворение.

Лишь на последней неделе репетиций, когда Лодж сообщил Фредерике, что, кажется, у нее «все складывается», она до конца осознала, насколько он в ней сомневался. Сама-то она, несмотря на панический отпор непослушного тела, упорно

пребывала в утешительном убеждении, что все равно без особых усилий сыграет лучше, чем кто-либо еще. Так было с оценками в школе. Так было, по ее мнению, и на уроках литературы, когда они читали вслух: у нее был самый большой словарный запас, она лучше всех понимала строй языка, а значит, и читала лучше всех. Теперь Фредерика повторяла себе, что понимает пьесу, а это кое-что да значит.

Ее игру, однако же, спасло вовсе не понимание пьесы, а ее собственная непопулярность. В школе ее не любили, но она верила, что на это ей плевать. Если на то пошло, ей и самой не очень-то нравились ровесники. Но здесь, среди художников и блестящих умов, среди тех, кого она наивно принимала за богему, она надеялась наконец обрести «своих». Впрочем, возможно, она не тот смысл вкладывала в это слово. Настоящие актеры пересмеивались с плеядами, игриво обнимали в кустах то одну, то другую, делали им маленькие подарки. Они поклонялись Марине Йео и всячески ей угождали. Однако стоило заговорить Фредерике — и на нее устремлялись раздраженные взгляды. Плеяды хихикали над ее преданностью Александру, но со стороны — вовсе не так, как сблизив головы в сияющих

коронах кос и жемчугов, сообща щебетали они о влюбленности Антеи в Томаса Пула, человека умеренного и скрытного. В своей воображаемой жизни Фредерика перебрасывалась тонкими шутками с духовно близкими собеседниками, а на деле не знала, как начать разговор с обычной стайкой девушек. Сейчас, как и в будущем, от отчаяния ее спасало яростное честолюбие — вещь, может быть, некрасивая, но действенная. Они ее не любят? Хорошо. Тогда она заставит их собой восхищаться! Это, в конце концов, вопрос воли. Она советовалась с Кроу и Уилки. Махала перед зеркалом руками и ногами, пока не ушло из ее движений все глупо-деревянное. Угрюмо перевоплощалась она пред оком непогрешимой, непреклонной, монструозной внутренней Фредерики. И в силу особенностей роли ее подход в основном сработал.

Тут, вероятно, следует отметить некую иронию. Возможно, потому, что Александр слишком явственно вообразил несуществующий, давно в небытие отошедший мир, а скорее потому, что был уже недостаточно молод, уже отягощен памятью, сохранившей мечты о славе, рожденные задолго до 1953 года, он впоследствии не мог соотнести успех пьесы с неким архетипическим

золотым веком. Зато это вполне удалось Фредерике. Впрочем, возможно, это был лишь вопрос возраста. В семнадцать лет ей был открыт весь мир, и он был совершенен — независимо от того, какие события уже неизбежно в нем назревали. В шестидесятых, освободившись от бремени юной неловкости, девственности, ненужности, она возвела в театре памяти прочную и яркую сцену. И по мере того, как сцена отодвигалась в прошлое, Фредерика полировала, золотила и населяла ее людьми. Когда медленно и мучительно умерла от рака горла Марина Йео, ее безупречно подретушированный гений засиял на Фредерикиной сцене. И плеяды — ныне домохозяйки, учительницы физкультуры, соцработницы, продавщицы дорогих магазинов, алкоголичка и еще одна мертвая актриса — превратились в золотистых нимф среди газонов, аллей, фонарей в листве, бликов на поющих бутылках в том недвижном свете, что вечно заливает неизменные декорации наших воспоминаний, все эти пригородные сады и летние городские парки, бесконечные зеленые горизонты и аллеи, куда мы все надеемся вернуться, открыть их заново в реальной жизни, что бы это ни значило.

Первый акт оборвался на монологе юной Ели-

заветы в Тауэрской башне. Когда Уилки столь похоже изобразил ее плоскую интонацию, у Фредерики окрепло подозрение, возникшее, когда тот же Уилки заметил, что Александр отошел от принципов метафизического кукольного балаганчика, на которых построены его «Бродячие актеры». И теперь на сцене Фредерика вдруг забеспокоилась: не слишком ли красиво течет ее монолог? Как убрать напевность из реплик, многословно провозглашающих ее отказ от женской сути? Для начала она решила не мерить шагами камеру, как велел Лодж, и замерла тупо и тяжело. Потом подпустила сарказма в слова о запечатанном фонтане. Потом непроизвольно хихикнула и оборвала монолог.

— Я не отдам ни капли крови! — сердито подсказал Лодж. — А впрочем, не важно…

Фредерика уже спускалась со сцены.

Александр, которого поначалу раздражали Фредерикины вольности с его ударениями, заметил вскоре, что слова слишком уж легко слетают с ее языка, и подумал, что она старается для него. Теперь он решил пойти утешить ее. Лодж вопил, как футбольный тренер в раздевалке: время идет, они зверски опаздывают, они проторчат тут до утра и так далее. Потом со значением заметил

Фредерике, что сегодня у нее какие-то скупые, связанные движения. При слове «связанный» ей всегда представлялись мраморные эйдолы[303] Блейка: бугрящаяся плоть, перевитая мускулами и длинными кожаными ремнями. Вот уж поистине человек, связанный собственными мышцами.

— Мне это показалось правильным, — отвечала она. — Это что, так важно?

— Только я тебя расшевелил, и вот опять… — вздохнул Кроу. — Будь добра, в камере не замирай — ходи, мечись!..

Александр тихонько подсел к Фредерике: пряный запах одеколона и мягкий, негромкий голос:

— Ну конечно, ты не связана и не скована. И не думай так. Просто нервы твои натянуты, и ты вся как резной алебастр, как статуя Дафны, на бегу врастающей корнями в землю.

— Я что, правда так выглядела? Тут где-то что-то не то. Какая-то ошибка.

— Возможно, дело в моих стихах, — сказал Александр.

Фредерика кивнула и продолжила ломать голову над вопросами красоты и грамматики.

---

[303] Примечания: 303

Эйдол — в античной философии зрительный или мысленный образ человека или предмета.

Во втором акте еще до конфуза и катастрофы чувствовались ненужное возбуждение и разлад. Одни переигрывали, другие недоигрывали. Мудрые советы выкрикивали, словно весть о скором конце света, на приказ о казни Марии Шотландской смотрели, как на чашку не вовремя поданного чая. Участники маски двигались невпопад: Уилки сбил с толку плеяд, приняв вдруг позу Королевы духов с позолоченным мечом Астреи, а мальчишки из антимаски, сталкиваясь, метались по сцене, как обитатели разворошенного муравейника. Александр и Фредерика сидели в деревянном амфитеатре, оба теперь ненужные, и смотрели, как Лодж раздает подзатыльники маленьким сатирам и сгоняет опешивших дам и кавалеров в живописные группы, тут же разбредающиеся снова. Когда уж в третий раз прозвучали кое-как сбивчивые звуки небесной гармонии, кто-то из музыкантов умудрился разбить инструмент о каменные перила. Наконец пришло время сцены с «несси-восси!». Это был звездный час Дженни — но только лишь неистощимо бодрый Уилки приступился к ней с большим чувством и знанием дела, как к верещанию струн, бульканью лютни, уханью бутылок и приглушенным вскрикам и смеху осаждае-

мой Бесс Трокмортон добавился новый звук. Он донесся издалека, из-за угла здания — что-то вроде грома и верезга железного обруча, который ребенок волочит по гравию. И шаги. Быстрые и ровные шаги, словно на марше. Между Астреей в красивой позе и отороченным мехом бароном Веруламом[304] воинственно просунулся передок детской коляски, отчаянно нуждающейся в смазке. Вслед за коляской возник Джеффри Перри. Он остановился в золотом свете, направленном на плеяд, сквозь роговые очки подслеповато высмотрел супругу и направился к ней — в идеально отглаженном сером костюме, с подозрительно спокойной улыбкой.

— С меня хватит, — благожелательно заявил он, как-то мимоходом вынимая руку Уилки из корсажа жены. — Я и так сделал больше, чем должен, а теперь довольно. Ты можешь сейчас вернуться домой либо забрать своего ребенка. А меня ждут дела. Я, представь себе, научный работник и не собираюсь больше петь колыбельные. Ты должна вернуться домой или устроить все как-то иначе. Я достаточно ясно выразился?

— Ты выставляешь себя дураком, — сказала

---

[304] Примечания: 304
Имеется в виду Фрэнсис Бэкон.

Дженни. — Неужели не ясно, что я не могу сейчас вернуться, у нас генеральная репетиция. И ты не можешь…

— Еще как могу!

Во гневе человек всегда отчасти комичен. Фредерика громко фыркнула. В кустах кое-где захихикали мальчишки.

Джеффри посдергивал одеяльца и явил на свет божий Томаса, который немедленно и густо заревел. Лица отца и сына сделались пунцовыми.

— И вот так он постоянно, — сказал Джеффри. Томас извивался и завывал. — Ну что, ты идешь?

— Естественно, нет. — Дженни обернулась к Кроу, потом перевела взгляд на Уилки и прекрасно равнодушную Антею Уорбертон. На Александра смотреть боялась. Уилки и Кроу широко улыбались, как показалось ей, с чисто мужским злорадством.

— Ну что ж, — столь же благодушно ответствовал Джеффри, — тогда мы поступим следующим образом.

Он легонько подкинул Томаса вверх, а потом сильно и точно швырнул его через всю сцену к Дженни. Дженни кое-как схватила малыша, задыхаясь и пошатываясь, прижала его к груди. Томас, которому нечем стало дышать, яростно

заелозил и заревел еще пуще, из пунцового став ярко-красным. Джеффри задумчиво оглядел коляску, террасу, актеров. Затем злым, прицельным пинком оттолкнул коляску к краю террасы. Пружинно покачнувшись туда-сюда, коляска кривыми скачками съехала по ступеням и завалилась набок на лужайке. Покатились баночки с детским питаньем, бутылка с молоком, вывалился на траву сверток подгузников и плюшевый мишка.

— Ну вот и все. Теперь я могу продолжать работу. С мамой ведь лучше, правда, Том? — сказал на прощание Джеффри голосом ядовито-сладким, совершенно невероятным в его скромных устах. Он ушел в темноту за углом, откуда вскоре послышался звук заводимого мотора.

Актеры возбужденно закричали, загудели, залепетали. Грудь Дженни поднялась от подступающего плача. Лодж жестом подозвал гардеробщиц и отдал им на попечение ребенка.

— Кажется, самое разумное — вообще не выходить замуж, — созерцательно заметила Фредерика Александру.

— Да, — отвечал тот, с тревогой думая, что сцена на террасе приблизила его к алтарю намного больше, чем хотелось бы.

Александр мельком взглянул на Фредерику, явно забавлявшуюся его положением, а затем, поскольку он был джентльменом, а Дженни страдала, выпрямил свои длинные ноги, встал и отправился ее утешать. Дженни в ответ набросилась на него и сквозь рыдания сердито заявила, что все в порядке, ничего не случилось и нужно продолжать репетицию. И пусть Александр пока подержит ребенка: Томас его знает и будет сидеть тихонько.

Александр пронянчился с Томасом весь третий акт. Он было предложил подержать его Фредерике, но та попросту ответила: «Спасибо, я не люблю детей». Александр удрученно думал, что временно взять на себя Томаса — вопрос порядочности. Однако же, встретив пару раз испепеляющий взгляд малыша, он с трудом подавил желание запихать его под сиденье, после чего сесть в машину и уехать в Калверли, а далее на север. Фредерика сидела рядом и изучала его. Она была непривычно молчалива, и впервые за время их знакомства Александр задался вопросом, о чем, собственно, она думает. На сцене молча умирала Марина Йео, но Томас решил дополнить сцену кряканьем и неясными булькающими звуками. Спустилась темнота. Спенсер растворился в ней

на пути к неведомой смерти. Черно-бархатный, пышный и дерзкий, провидя падение и Тауэр, Уилки прочел свой эпилог. Тогда пришла Дженни и взяла ребенка, который тут же возобновил свои яростные протесты. Строгий Лодж подвел итоги репетиции, и началась нешуточная попойка.

На лужайках и террасах танцевали под граммофон, бутылочный оркестр и пение Тюдоровского камерного хора. На столах стояли внушительные блюда с кеджери — пряным жарким из рыбы с бобами и рисом. В кустах играли в прятки. Дженни сказала, что ей нужно поговорить с Александром. Фредерика, понимая, что ни Дженни, ни ее никто не подбросит обратно в Блесфорд, спросила Кроу, можно ли ей остаться на ночь. Кроу отвечал, что можно не просто остаться, но и переночевать, если она того пожелает, в одном из трех Главных покоев. За плечом Фредерики возник Уилки:

— Конечно оставайся! Оставайся, танцуй и веселись!

Намного позже, когда Дженни на время исчезла, чтобы на ночь водворить Томаса в коляску, Александр вместе с Фредерикой и Уилки каким-то образом оказался в старом саду пряных трав. Уилки держал Фредерику под руку. Трое беззвучно ступали по освещенным луной зарос-

шим дорожкам, и дребезг общих увеселений едва долетал до них. Пахло розмарином, тимьяном и римской ромашкой. Александр думал, что надо ему повернуть назад и вернуться к Дженни, которой отведена была на высоком чердаке комнатка служанки с голыми деревянными стенами. Он был слегка затуманен выпивкой, но ясно видел, что долгожданный миг приблизился вплотную. Потом оказалось, что он думает о Фредерике. Как она проведет эту ночь? Он вспомнил ее на коленях у Кроу, жаркую и розовую в свете камина, покосился на пухлого Уилки, шагавшего с ней в такт. Возможно, ему следовало бы вернуть ее Биллу Поттеру. Впрочем, это не его дело. У садовой калитки стояли на страже наперстянки с бледно-серыми цветами-колокольчиками.

Уилки сказал:

— Если сейчас повернуть направо и пойти вон по той аллейке, там в конце будут какие-то кусты с совершенно дивным запахом. А сейчас, к ночи, наверно, особенно хорошо пахнет…

Они последовали за ним через лабиринт высоких, стриженых живых изгородей все глубже в темноту и тишину. Александр подумал, что приятно было бы сейчас — и даже более чем приятно — просто просидеть всю ночь неподвижно среди

пряно пахнущих листьев и беззвучных трав. Он увидел босую белую ногу, выглядывающую из лавровых кустов, и не сразу понял, плоть это или камень. Повернув за угол, они втроем узрели два сплетенных полуголых тела, скомканную ткань, блестящую бутылку от шампанского…

Прежде чем осознать ритмичное движение белых женских бедер и более темных мужских ягодиц, Фредерика увидела перевернутое женское или девичье лицо. Перед ними была Антея Уорбертон. Лицо, обезличенное на сцене классической, холодноватой прелестью, теперь обезличила яростная, безумная страсть. В светлых волосах, выбеленных луной, темнели влажные пряди, огромные глаза были блестящи и пусты, рот превратился в черный, беззвучный крик предельного наслаждения или муки. Тело мужчины, полуразличимое сквозь рубашку, двигалось напряженно и четко, мокрые светлые волосы скрывали глаза. Тут Александр единственный из троих понял: это целеустремленное создание — его пресный, скрытный, высококультурный друг Томас Пул, что, задумчиво помавая кургузой табачной трубкой, тихим голосом читает лекции

о нравственных уроках «Мэнсфилд-парка»[305], а затем отправляется домой к славной кругленькой супруге и трем веселым карапузам. Он почувствовал, что это непристойно, что Фредерика не должна этого видеть. Он хотел увести ее, но только дотронулся до ее костлявого плеча, как Фредерика зло отдернулась, глянула на него с чувством, которое он мог истолковать лишь как презрение или ненависть, и побежала прочь по аллейке.

Услыхав ее шаги, Пул и Антея резко остановились, прижались друг к другу, готовые вместе дать отпор, и посмотрели на остальных зрителей. Пул поднял с травы очки, протер их полой рубашки и сурово уставился на Александра. Прекрасное лицо Антеи медленно обретало свою девичью мягкость. Все молчали. Потом Александр отвесил поклон и удалился. Уилки с легким прискоком последовал за ним. Пул и Антея остались сидеть плечо к плечу, вытянув в траве голые белые ноги, бессильно сблизив тяжелые головы.

— Я не знал, что у них так далеко зашло. А вы? — спросил Уилки. — Я думал, они просто мечтатели, вполне довольные платоническими вздохами.

---

[305] Примечания: 305
Воспитательный роман Джейн Остин.

Александру было не до размышлений. Он был глубоко потрясен.

— «Ведом могущественной чарой…»[306] — мечтательно проговорил Уилки. — Знай я, что она на такое способна, расшевелил бы ее сам. Но она казалась такой сонной и статичной — то ли дело наша улепетнувшая подруга, целиком состоящая из напряженных мышц. Ну что ж, все мы порой ошибаемся. Вам, кажется, стоило бы последовать за Фредерикой. Она выглядела очень расстроенной.

— Ей стоило бы вернуться домой, — раздраженно сказал Александр. — И да будет тебе известно, я за нее не отвечаю. У меня есть другие дела.

— Старина Пул, наверно, здорово поднаторел, тренируясь на унылых институтских девах, — небрежно заметил Уилки.

— Уилки, сделай милость, закрой рот.

— А знаете, я, пожалуй, сам займусь Фредерикой.

— Делай что хочешь, меня это не касается. Только меня оставь в покое.

— Вы это серьезно?

— Нет. Фредерика ребенок. — Александру вдруг

---

[306] Примечания: 306
Отсылка к сонетам Перси Биши Шелли (1792–1822).

представилось лицо Антеи Уорбертон. — Или это я старею. Для меня она ребенок, ее чистота — сокровище. Но ты этого почему-то не видишь.

— Не вернуться ли вам к вашему собственному сокровищу, — с шелковой вкрадчивостью пробормотал Уилки.

Александр развернулся и ушел, шагая решительно. Уилки засмеялся, отщипнул себе веточку розмарина и двинулся навстречу музыке.

Александр поднялся на верхний этаж особняка, где раньше жили слуги. Большие общие спальни были теперь разделены деревянными перегородками наподобие кроличьих садков, потолки побелены. В скором времени по садкам предполагалось рассовать избранных студентов нового университета. Дженни досталась комнатка на углу, под наклонными балками. Рядом была маленькая кладовая, где на плитке она разогрела для чумазого и беспокойного Томаса молоко, детское питание из печенки с рисом и протертую фруктовую кашку. Теперь на полу стояла отцепленная люлька коляски, в ней сидел Томас, а Дженни, пристроившись рядом, гладила его по спинке, стараясь заглушить в нем всевозможные подозрения и уложить наконец спать.

В дверь постучал Александр. Дженни нервно

вздрогнула, впустила его и поспешила обратно к люльке, начинавшей уже зловеще скрипеть и приплясывать. Женщина с раздраженным, не желающим уснуть ребенком — марионетка, которую дергают за ниточки тишайшие звуки: шорохи, постукиванья, скрипы… Над ней властен даже ритм дыхания и напряженное молчание невидимого, неспящего, чутко слушающего существа. Но Александр ничего этого не понял, а потому с порога торжественно и звучно объявил:

— Я вырвался из их сетей!

— Тсс!

— Знаешь, сейчас в саду была очень странная сцена…

— Да замолчи же ты! — мучительно напряженно прошипела Дженни.

Александр послушно умолк и прошел к мансардному окну. Дженни слышала, как Томас прислушивается к каждому шагу. Под окном была деревянная скамеечка. Александр сел на нее и стал смотреть на черно-серебристые ветви сада. В саду тут и там в картинных позах расположились люди. Вон Лодж и Кроу с красными точками сигар. Вон Пул и Антея, уже приглаженные, с льняными волосами и беспорочным

выражением лица.

— Милая…

— Тсс! Если я его сейчас не уложу, я… мы не сможем… Он тогда до утра не успокоится.

— Может, мне прийти попозже? — спросил слегка задетый Александр. Он готовился к некоему взрыву: истерических ли рыданий или безумной страсти — этого он и сам не знал. Но никак не к этому раздраженному невниманию. Его предложение только больше рассердило Дженни.

— Просто посиди спокойно, как нормальный человек, и тогда он заснет. Если ты будешь туда-сюда ходить и хлопать дверью, мы так до утра промаемся.

С этими словами Дженни опять занялась Томасом. Недавно она сделала открытие: если ребенок перегулял и не может заснуть от усталости, его можно обездвижить, и тогда он уснет. Загвоздка состояла в том, что ребенка, чуть менее уставшего, тот же метод приводил лишь в еще большее неистовство. Она прижала Томасу попку и спинку, он сперва напрягся, потом обмяк, и дыхание его замедлилось. Он открыл ротик и горячим, влажным личиком уткнулся в простынку. Дженни скованно поднялась и неуверенно глянула на Александра. Александр старательно

поддерживал себя в романтическом настроении, вспоминая сладкие муки первых дней влюбленности. Вспомнил объятия ветреным днем в Готленде на заднем сиденье машины — и вдруг увидел мордочку Фредерики, жадно прильнувшую к стеклу. Только не это! Он на миг испугался, что и в это окно сунется сейчас ее любопытный острый нос.

— Ну вот, — сказал он Дженни, — наконец-то.

Она рассмеялась было и чуть не заплакала. Подошла, села рядом с ним. Александр собирался пойти раздобыть вина, но почувствовал, что его осудят, если он хоть на время покинет комнату. Поэтому он начал как-то небрежно расстегивать пуговки на ее платье. Она потянулась к его рубашке, и он — к изумлению своему — едва удержался, чтобы не оттолкнуть ее руку.

Наконец Дженни осталась в лифчике и чулках с поясом. Александр до сих пор был в брюках и носках. Она выскользнула из его объятий, чтобы погасить прикроватную лампу.

— Но я хочу *видеть* тебя, — мягко сказал Александр, движимый в основном любовной обходительностью.

Дженни тихо заплакала:

— Не нужно. Я поправилась, у меня складки,

растяжки…

— Значит, я хочу видеть тебя такой. — Александр лгал. — Я хочу видеть тебя настоящую.

— Правда? — Дженни отбросила остатки одежд, выдернула шпильки из прически, распустила волосы и босая, чуть покачиваясь, подошла к нему. — Ты хочешь видеть меня такую?

— Я люблю тебя, — упорно проговорил Александр.

Она села рядом с ним, чуть склонив голову. Мягкие, круглые груди ее чуть поникли, чуть менее тугой стала дивная кожа. Серебристые тонкие линии разбегались от сосков — и они же пролегали по животу и бедрам, уже широкие, слегка сборчатые, слегка похожие на бледных угрей…

— Я порченый товар, — грустно улыбнулась Дженни, и Александр склонился, охваченный жалостью и отчаяньем, и провел губами вдоль серебристых линий.

«Она заслуживает любви, — думал он. — Она заслуживает, и я должен…» Он нежно гладил ее спину и по-прежнему тугие, коричные от солнца колени.

— Пойдем в постель, — сказала Дженни.

Александр наконец встал, спустил до полу брюки, выступил из них и пошел, длинный и белый,

запереть дверь. У Дженни голова кружилась от его небрежной красоты и страха, что он разбудит ребенка.

— Как хорошо, что это случится здесь. В этом доме, — задумчиво проговорил Александр, проскальзывая в постель рядом с ней.

— Я не смогу остаться с Джеффри после этого, — серьезно отвечала Дженни. — Я не смогу жить во лжи.

При этих словах жезл Александра, и так беспокоивший его вялостью потуг, совершенно обмяк и стал похож на дремлющий розовый бутон. Александр лежал рядом с Дженни и рассеянно водил пальцами по линиям растяжек в темной развилке ее бедер. Через какое-то время она положила руку ему в пах, и мягкий бутон свернулся окончательно. Дженни дернула его неумело и резко. Александр издал какой-то протестующий всхрип.

— Я как-то нелепо себя чувствую при нем, — посетовал Александр, кивнув в сторону спящего Томаса.

— Это ничего, мы просто слишком долго ждали, — сказала Дженни. — Ничего не нужно, просто лежи… Поверить не могу, что я здесь, с тобой…

Александру представился недвижный сад в запахах трав, лунный, тихий, скрытый от мира зеленой изгородью. Потом возник Томас Пул, с волосами, упавшими на лицо, с напряженно работающим, лоснистым от пота телом. Александр с робкой надеждой скользнул рукой глубже, и Дженни выгнулась с такой мучительной негой, что ему стало тревожно.

— Прости меня, Дженни.

— Не извиняйся. Все будет хорошо.

— Я так долго ждал…

— А я так мало умею, — смущенно шепнула она. — Ну поцелуй же меня. Обними и поцелуй.

Он поцеловал ее и прижался покрепче. Она заслуживала любви.

Томас, услышав сквозь сон их горестные взаимные передвижения, с замечательной ловкостью изогнул свое тельце, и вот уже над краем коляски возникли куполообразная макушка и два больших темных глаза. Покачиваясь от жгучего интереса, Томас уставился на два обнаженных тела. Открыл рот, готовясь зареветь, но сперва издал предупредительный взвизг, услышав который Дженни метнулась к сыну и прижала его к голой груди. Малыш цапнул грудь пухлой лапкой и свирепо крутанул там, где Александр кончи-

ками пальцев чертил узоры своей прохладной любви. Так они и сидели рядом на кровати, до предела уставшие, а потом легли. Дженни прижимала к себе горяченького, сердитого Томаса, и его толстые пятки ерзали по Александровой ключице.

— Я его немножко так подержу, и он заснет, — прошептала Дженни. — Он всегда так засыпает.

Неизменно вежливый Александр кивнул и отвернулся лицом к стене. Он уснул первым — от мучительной жажды беспамятства.

Фредерика была охвачена страстью.

В эмоциональной жизни человека все однажды случается в первый раз. Фредерике в тот год слишком многое предстояло, и многое уже было пережито: перемены в семье, секс, искусство, культура, успех, провал, безумие, отчаянье, страх смерти, — впрочем, кое-что из этого пережила она в безопасной роли наблюдательницы. Были открытия и более сложные, более долговечные: старый голос Элиота, говорящий из орехового граммофонного ящика о концах и началах, «Встающее солнце» Джона Донна, «Троил и Крессида», «Герцогиня Амальфи», Расин и Рильке. Можно ли в среднем возрасте достоверно восстановить в памяти это первое знакомство? Можно ли в

семнадцать лет предугадать, как оно скажется на всей дальнейшей жизни разума: какие откроет пути, какие наложит запреты?

Так же спотыкается наше воображение в вопросах секса и личности. Последние несколько недель ожесточенных упражнений перед зеркалом стали для Фредерики первым опытом намеренного уединения. Зеркальная Фредерика боготворила и желала только Фредерику. До этого был период половой смуты, жаркого зуда, когда она узнала о Стефани с Дэниелом. А еще раньше она мечтала познать Александра. Так женщины порой желают актеров, а через них — Гамлета, Отелло, Калибана, а через тех в свою очередь — давно умершего драматурга. После Готленда она начала понимать, что такие вожделения немногого стоят. Эд, Дженни, Кроу, Уилки и открытия, с ними связанные, мешали ей любить Отелло или мистера Рочестера. Напротив, они облекали живой плотью ее мечту об Александре. Правда, позже критика Лоджа, трудность роли, подозрительная красота монолога в башне снова перевели его в разряд существ бесплотных. Фредерикино одержимое стремление к совершенству и интеллектуальный снобизм тоже сыграли здесь свою роль. Но теперь белое мерцание в парке,

сплетенные тела Пула и Антеи-Астреи пробудили в ней ту неутоленную, жадную жажду. Если Антея, обычная троечница, может… то Фредерика с ее-то способностями *должна*… И коли уж удалось совратить этого мямлю Пула…

Та Фредерика не знала, что однажды, стареющая женщина на лондонской улице, она скажет себе: «Я исчерпала желание. Мне нужно жить одной». Не знала, что, пораженная и снедаемая желанием в сорок лет, с отчаяньем весьма удобным поймет: желание обманывает всякий раз, но всякий раз поражает, как в первый. В семнадцать же ее попросту тяготила девственность, и, выпив изрядно красного вина и два стаканчика бренди, Фредерика отправилась на поиски того, кто освободит ее от сей обузы.

Первым ей попался Уилки.

— Я, красавица моя, должен бежать, — начал он с деликатностью, которую она осознала лишь позже. — Мне назначено свидание…

— Я вовсе не тебя искала.

— Знаю, но придется довольствоваться мной, ибо *он* сейчас занят.

Фредерика отхлебнула вина из бокала и сердито буркнула:

— Почему?

— Разве это не очевидно? Прелестная женщина, родство душ, долгая — и безнадежная — любовь…

— Сомневаюсь. Она его не любит.

— Ты, конечно, будешь любить сильней? Ах, Фредерика, спроси меня лучше, любит ли он ее. Что же до твоей соперницы, то она любит гораздо сильней, чем ты. Так любит он ее или нет — вот в чем вопрос. Ответ: он ее боится. И ему это нравится. Его идеал — страх до онемения уст и одеревенения членов, прости за каламбур. И тут у тебя явное преимущество, если тебе хватит ума его осознать. Потому что ты можешь явить ужас голый и беспощадный. А бедная Дженни страшит его не бешеным нравом, а пригородным болотом. Пригород — вот страх нашего поколения: вязаные салфетки, подгузники, ламбрекены, коврик на лестнице, щелчок калитки в мизерном садике…

— Но я сама из пригорода.

— Знаю-знаю, дитя салфеточной страны. Я и сам отсюда, сам пивал славный английский чай с твоим папашей. Но ты же уедешь, черт возьми, уедешь, как я уехал, и наша Королева-девственница[307], наш робкий поэт понял бы это, если бы

[307] Примечания: 307

Игра слов. Слово «королева» (queen) в английском языке обозначает также гомосексуалиста.

присмотрелся. А ты для начала не принимай все так всерьез. Любая женщина может заполучить любого мужчину, если она достаточно настойчива и не слишком его любит. Но женщины не желают использовать разум.

— Перестань, Уилки, это неумно. Меня тошнит. Тошно от вина, оттого, что он побежал к ней, от твоих разговорчиков. Любовь, любовь, любовь! И ничего, ровно ничего не происходит!

Уилки ударился в шекспировские рассуждения. Он спросил, что есть любовь, и сам ответил, что любви не существует, как, кстати, и чести. Слушать его было неприятно. Впрочем, он скоро заявил, что их любовь обречена и он должен Фредерику покинуть ради некоего свидания, а ей хорошо бы поискать кого-нибудь, кто подбросит ее в Блесфорд. Отвесив поклон, Уилки неспешно удалился. По законам того лета его незамедлительно сменил Кроу. Меценат протянул ей третий стаканчик бренди, выразил беспокойство по поводу темных кругов у нее под глазами и спросил, не желает ли она переночевать в Солнечном покое, ибо под Луной уже воцарилась Марина.

У Фредерики голова шла кругом от вина, нескончаемых красот и любви. Она выразила желание лечь в постель и двинулась вслед за

Кроу, вручившим ей свечу в оловянном шандале для освещения темных коридоров. В Солнечном покое, сообщил он, электричество только для подсветки, читать при нем нельзя. Со свечой ей будет удобнее. Войдя в покой, Кроу повернул реостат, скрытый за резной панелью, и три луча театрально высветили смуглых Гиацинта и Аполлона на потолке, где-то высоко в сумраке, среди расплывчато-холодных красных тонов. На окнах были жалюзи для предохранения от солнца завесей великолепного ложа. В свете свечи мельком возникали на стенах странные выпуклости, золотые узоры гобеленов — извивы и излишества, в полумраке едва различимые. Кроу поставил свечку на мраморную доску прикроватного столика, вычурным мановением откинул угол одеяла и воззвал к Фредерике, умоляя ее не курить в комнате. Потом открыл величественную дверь, за которой оказалась уборная черного дерева, где царила непомерная раковина с бронзовыми кранами.

— Это мой дед устроил для судей выездного суда. Они, бывало, здесь останавливались. Ну что ж, оставлю тебя, дабы ты в мире могла свершить вечерний туалет. Тебе не нужна ночная сорочка?

— Нет… — Фредерика слегка удивилась, когда

Кроу и впрямь развернулся и быстро вышел.

Она забралась в постель в легких брючках и поплиновой блузке, скинув только жесткий лиф, нужный для репетиций и уже успевший намять ей тут и там красные впадинки. Впервые Фредерика спала — или пыталась спать — под настоящим балдахином. Над головой у нее золотом и серебром мерцали солнца и луны. Аполлон, Зефир, Гиацинт, лужа крови и растущий из нее алый цветок были слишком высоко, да и завеси мешали разглядеть их как следует. Фредерика заметила, что комната словно бы ходит волнами вокруг нее, как беспокойное море в стихах Китса. Тогда она стала смотреть на свечу, у которой был собственный ритм, пламя прядало, вздувалось парусом, двоилось на сквознячке. Матрас образовывал в середине возвышение наподобие китового хребта, на котором никак нельзя было улечься. К тому же ее по-прежнему мутило, а ей нисколько не хотелось, чтобы ее вырвало на это древнее ложе. Фредерика вздохнула, села, обхватив грудь тонкими руками, и стала смотреть на свечку.

Послышался негромкий железный звук. На аполлоническом фризе и в алой пустыне потолка затрепетал, разлился и окреп новый красно-

ватый свет. Фредерика, вытянув шею и задрав голову, выглянула из-за завесы, но от резкого движения ей стало совсем дурно, и она поспешила выпрямиться. Кроу стоял посреди комнаты в просторном, пунцово-золотом парчовом халате и вышитых ночных туфлях алого бархата. В руках он держал пузатую бутылку и блюдо с фруктами.

— Я подумал, что ты проголодаешься. Устроим маленький ночной пир?

Он налил ей шампанского. Фредерика не противилась, хоть и понимала, что пить ей ни в коем случае нельзя. Потом без спросу уселся на кровать. Ну что ж, в конце концов, это была его кровать…

— Ты не спала?

— Нет.

— Бессонная на одиноком ложе. Возьми-ка винограду. Ничего, что я заглянул? Уверен, ты не против.

— Я, кажется, слишком много выпила, — со смутной надеждой сказала Фредерика.

— Не сомневаюсь. Но возможно, легкий хмель поможет тебе оценить мои световые эффекты. Я могу тут устроить восход, закат, жгучий полдень и не вполне достоверные сумерки — думал тебя этим позабавить. Собственное, комнатное солнце

в глубокой ночи. Сияй же, вечное светило!

Кроу соскочил с постели и покрутил ручки за резной панелью. Пустыню залило золотом и янтарем. Меценат снова сел, и Фредерика увидела, что под халатом у него ничего нет. Она съела виноградинку, потом еще две, а косточки выплюнула в широкое донце шандала.

— Ну а теперь позволь мне тебя как следует рассмотреть.

Это была не просьба. Кроу снял с нее блузку. Фредерика сидела, как окаменев. Он откинул одеяло и ущипнул ткань ее брючек.

— Долой, — распорядился Кроу.

Фредерика с каменным лицом повиновалась. Кроу оглядывал ее всю: шею, груди, маленький твердый живот, рыжеватую заросль внизу, худые длинные ноги.

— Возьми еще виноградинку. Ты девственница?

— Да. — Фредерика попала под нелепейшей гипноз хороших манер: она в доме Кроу, это его кровать, его игра, его правила…

— Это досадно.

— Не вечно же я ей буду, — сердито отвечала Фредерика, вспомнив Антею Уорбертон. В отвлеченном смысле девственность действительно

была лишь досадной помехой.

— Я мог бы многому тебя научить.

— А вы уверены, что я этого хочу?

— Уверен, дитя мое. Вполне уверен.

Фредерика хотела знать. Она не могла больше оставаться в неведении. Но розовое сияющее личико Кроу в псевдонимбе из серебряных прядок и со столь решительным выражением вдобавок было смехотворно. Со смехотворностью ситуации трудно было примириться заносчивой Фредерике, но Кроу велел:

— Ляг.

И она легла. Кроу стал легкими касаниями ласкать ее всю сверху донизу. Фредерика закрыла глаза. От этого сильней кружилась голова, зато не было видно его глупо сияющей физиономии. Пальцы его заскользили в рыжих волосках, во влажных впадинах, ей вспомнился Эд, и тело ее само собой напряженно выгнулось. Потом вспомнился мощный, разумный ритм белых тел в темных зарослях. Кроу изучал ее, пробовал то и это. Вот он нагнулся и стал водить ей по коже ртом, закрытыми веками, мягкими верблюжьими ресницами. По коже бежали мурашки то сладкие, то щекотные. Смутное желание мгновенно оборачивалось весьма конкретным раздражением, и

эти переходы длились и длились. Вдруг он резко дернул нежную кожицу у нее между ног. И тут же поцеловал, там, где вспыхнула боль. Фредерике стало мучительно хорошо, невыносимо стыдно и попросту тошно от выпитого вина. От этой смеси чувств она невольно и резко дернулась прочь.

— Лежи, — сказал Кроу, снимая халат.

Фредерика села и осмотрела его нижнюю часть: розовая кожа с синим подтоном и малиновым крапом (те же цвета, что на расписном потолке), воспаленно-красный кончик его орудия. Кроу лег к ней вплотную и принялся хищно, до синяков, кусать ей шею. Все его движения сделались четки и яростны. Он попытался силой разжать ей бедра, но в ответ она невольно скрестила ноги, сплела их, как Дафнины корни.

— Не бойся, больно не будет. Или будет, но лишь слегка, это сладкая боль, желанная, без нее не было бы той особой неги…

От вина, от нервов, от странного гипноза вежливости Фредерика, возможно, и позволила бы Кроу довершить начатое — если бы только он молчал. «Желанная, сладкая боль» подействовала как удар тока. Фредерика инстинктивно поджалась, и ее костлявое колено угодило Кроу в двойной подбородок.

— Не дергайся, — сердито буркнул он, потирая лицо, но Фредерика уже очнулась; она вильнула, отодвинулась и принялась холодно разглядывать его толстое сатирово брюшко и розовые причиндалы на белой простыне.

— Я в туалет, — объявила она, скатилась с матрасного горба и как кошка вскочила на ноги.

— Конечно.

К Кроу вернулась его обходительность. Но медовый голос пребывал в странном несоответствии с малиновым лицом и бело-розовыми складками дрябловатой плоти. Фредерика решительно прошагала в ослепительном свете, лившем из обагренной убийством потолочной пустыни, и заперлась в богатой уборной, от души щелкнув замком. Только здесь, сидя на краю мраморной чаши, она осознала, насколько ошарашило ее все произошедшее. В Солнечный покой она больше не вернется, но и в уборной оставаться нельзя. Она сгребла необъятное белое полотенце и завернулась в него, как в тогу.

Тут послышался чужой голос, возродивший на миг Офелию с ее цветами.

— Вот розмарин для памяти…

В ответ ему раздался низкий и мелодичный смех.

Тут до Фредерики дошло, что за дверью в другом конце уборной скрыта не внутренность шкафа, а некая прилегающая комната. Там, кажется, кто-то был, но этот путь отхода все равно был предпочтительней Солнечного покоя, где в постели раскинулся свирепо-похотливый, веселенький толстый сатир, готовый снова кусаться и бог знает что еще. Фредерика тронула ручку двери, и та отворилась. Беззвучно ступая босыми ногами, Фредерика вошла в Лунный покой.

На высоком ложе, под взорами Селены в странной пародии на роденовский «Поцелуй» сплелись два голых тела. Марину Фредерика узнала сразу. Ее неведомый любовник заговорил и оказался Эдмундом Уилки:

— Я принес тебе ромашек, любовь моя, розмарина, бело-лиловых очанок, тимьяна и мелиссы, чтобы осыпать ими твое ложе…

— А горькую руту безумной Офелии?

— Никакой руты. От нее страшная аллергия. Мы же не хотим возлечь на ложе любви, покрытые пятнами и мучимые зудом.

Марина снова засмеялась. Уилки что-то ей зашептал. Потом раздался театральный голос великой Марины Йео:

— Но я стара, Уилки. Я старая, усталая женщи-

на. Годы иссушили меня…

— Они лишь сделали тебя хрупче и мудрей. Я люблю женщин, проживших жизнь. Если, конечно, они хотят моей любви.

— Вы неразборчивы, молодой человек.

— О нет, я весьма разборчив. Просто я ненасытен. Как и ты, любовь моя. Я это сразу в тебе разглядел. Ну, признайся…

Актриса рассмеялась низким, горловым смехом.

— Когда я стану еще немного старше, совсем-совсем немного, в этом будет опасно признаваться даже самой себе.

— Но этой ночью… мне…

— Ах, Уилки, — отвечала Марина, и голос ее дивно дрогнул. — Люби меня, люби меня этой ночью…

— Ты плачешь настоящими слезами…

— Я могу заплакать, когда мне вздумается.

— Не плачь передо мной. Я буду с тобой нежен, очень нежен всю ночь, моя прелестная старушка, и ты откроешь мне то, чего я никогда не видел, потому что лучше тебя нет…

— Ах ты, вкрадчивый плюшевый плут… — усмехнулась Марина, и тут, к облегчению потрясенной Фредерики, роденовская композиция

перешла в объятия более тесные, любовники откинулись на подушки, речь их оборвалась, послышались шепоты и негромкие стоны.

Сейчас или никогда. Прижимая к себе свою «тогу», Фредерика решительно прошагала к двери, миновав изножье кровати и пятно лунного света, лившегося в окно. Проходя мимо ложа с его любовным грузом, она невольно обернулась и вперилась. Поверх утонувшей в перинах, извивающейся в неге актрисы на нее без выражения смотрели карие глаза Уилки. Фредерика сурово кивнула ему, будто свершая некий безумный ритуал приветствия. Уилки блеснул улыбкой, медленно, артистически подмигнул и снова склонился к Марине, словно желая поцелуями помешать ей открыть глаза, пока Фредерика выскальзывает в дверь.

Фредерика быстро шла по длинным галереям, где лунный свет перемежался с темнотой. На мгновение остановилась перед портретом-иконой Елизаветы, вдохновленным «Полиольбионом». Астрея по-прежнему держала в руках рог изобилия. Фредерика поправила на плече узел полотенца, чем-то напоминающий Шотландию на платье королевы, и изобразила перед приземистой монархиней довольно приблизительный

книксен. У нее не было ни реки, ни рога с золотыми плодами. И нужно было что-то найти на замену «тоге». Она спустилась в большие кухни, где облачилась в бумажные юбки, которые надевала на репетициях для сцены в саду, и порванную муслиновую блузку, оставленную кем-то из массовки. Сверху накинула зеленый плащ. Хотела было в этом наряде босиком отправиться в Блесфорд, но передумала. Вместо этого Фредерика вышла в сад.

Обогнув террасу, она подняла голову и долго смотрела на окна мансарды для слуг. Где-то там Александр сейчас… Зря она убежала от Кроу. Если бы она позволила ему продолжать, то одолела бы некую новую ступень, сделала бы осмысленный ход в той непонятной игре, которую играла. Но Кроу был ей страшен. Фредерика пустилась бежать.

Она оказалась в давешнем зимнем садике с фонтаном, чья нимфа все так же лукаво улыбалась, хотя вода больше не струилась по ее пальцам и бедрам. Фредерика, скрестив ноги, уселась на траву, как божественная монархиня «Полиольбиона», и в задумчивости принялась глядеть на темно-серые стриженые кусты, луну, воду. Долгие десять минут ее взгляд блуждал бесцельно,

но затем настало некое торжественное бдение, продлившееся довольно долго. Незаметно рассвело, и сквозь просветы живой изгороди стали видны края пустоши, ранее скрытые ночью. На террасе резко зазвенел гонг к завтраку. В ответ ему на пустоши хриповато и тонко проблеяла овца. Фредерика поднялась, на миг замерла и зашагала к дому.

Для тех, кто в это утро в состоянии был есть, в Большом зале накрыли стол к гаргантюанскому завтраку: кеджири, сардельки, тосты, джем, старинные чайники в стиле греческих урн с кофе и чаем. Во главе стола сидел Кроу, элегантный и благостный. По правую руку от него восседала Марина Йео. Когда вошла Фредерика, Кроу сделал вид, что не заметил ее, а она садиться не стала. Она наблюдала, как Александр и Дженни пересекают террасу, с двух сторон держа Томасову люльку. Потом, вспомнив совет Уилки, с большим оживлением ринулась им навстречу, волоча по гравию нижнюю часть коляски:

— Вы не ее ищете? Вы потом в Блесфорд? Не подбросите меня?

От одиночества и бессонной ночи ее голос и движения были особенно четки и резки. Уставшие от волнений Александр и Дженни щурили

припухшие глаза и держались как-то неуверенно. Александр робко обернулся к Дженни и сказал, что не знает, как лучше поступить. Дженни раздраженно отвечала, что Фредерика предлагает разумный вариант.

— И держи люльку ровнее, а то я не могу ее пристегнуть.

Фредерика обшаривала глазами лицо Александра в поисках следов неземного блаженства. У него как-то по-новому опустились уголки рта, но она не готова была списать это на восторг любви.

Уилки, плотненький, гладкий, веющий свежим запахом мыла, возник с новой партией сарделек и кеджири. Он подмигнул Фредерике и оглядел ее с головы до ног:

— А где же туфли?

— Потеряла.

— Хочешь, схожу за ними?

— Нет, — отвечала она с неуместной злостью и заметила, как в сонных глазах Александра и Дженни вспыхнула искра любопытства.

Александр решительно усадил Фредерику на заднее сиденье и завел мотор. Машинка тронулась.

— Я сперва высажу тебя на въезде в Блесфорд,

а потом отвезу миссис Перри и Томаса, — сказал Александр.

— Не проще ли наоборот? Я бы помогла транспортировать Томаса.

— Мы сами справимся.

— И к тому же я потеряла сумочку, а в ней ключи. Если я на рассвете всех перебужу звонком, меня четвертуют. Пожалуйста, пусть я пока побуду с вами.

— Ты, кажется, все потеряла за эту ночь.

— Да, — просто сказала Фредерика.

Тут вступила Дженни и едко заметила, что будет гораздо лучше, если Александр сперва подвезет их с Томасом. Александр, борясь со сном, пытался понять, зачем ей это понадобилось. Может, она надеялась убедить Джеффри, что Фредерика была с ними с самого начала. Может быть, хотела уколоть Александра за его любовную неудачу (впрочем, в чердачной комнатке Дженни весьма мило его утешала). А может, виной всему обычная ревность, злость, что он не смог с самого начала решительно отделаться от Фредерики. Он попытался слабо протестовать, но Дженни была непреклонна, охваченная неким особенным, иррациональным женским стремлением к мстительному самопожертвованию. Кончилось

тем, что именно Фредерика в странном наряде помогла Дженни дотащить до двери Томаса с его скарбом, весьма бодро управляясь при этом колясочными колесами и запасными баночками детского питания. Александр знал, что ему следовало хотя бы изобразить беспокойство по поводу приема, который Джеффри окажет жене, предложить Дженни кров и совет, если таковые понадобятся — а понадобятся они несомненно. Он испытывал облегчение оттого, что в присутствии Фредерики все это было невозможно, и стыдился этого чувства.

Когда Фредерика вернулась, Александр нарочно изогнулся, чтобы открыть ей заднюю дверь. Фредерика смиренно забралась внутрь, а потом сказала:

— Вы не могли бы отвезти меня до школы и обратно или просто поездить немного, пока я соберусь с мыслями. У меня сейчас некоторые трудности.

— Еще бы, — со знающим видом сказал Александр, знавший, в сущности, не так уж много.

Он подумал, что сейчас неуместно ни поучать ее, ни расспрашивать, хоть ему смутно хотелось и того и другого. Его не слишком тянуло домой, где предстояло ему крепко задуматься о своем

нынешнем положении, поэтому он не стал спорить и молча завел машину. Через пару секунд, шелестя бумажными юбками, Фредерика полезла на переднее сиденье.

— Прекрати!

— Почему?

— Потому что это опасно. И я не хочу, чтобы ты тут сидела.

— Почему не хотите? — С этими словами она плюхнулась рядом — просто путаница тощих ног и рук. Поерзала и уселась прямо.

Александр медленно поехал дальше. Прошла еще секунда, и Фредерика недвусмысленно положила ему руку на колено.

— Фредерика, ты должна это прекратить. Ты обоих нас ставишь в дурацкое положение.

— Мне наплевать.

— А мне нет.

Он остановился. По некой причуде привычки он привез ее к старой бетонной дороге, ведущей к ниссеновским казармам и Замковому холму. С высоких вязов гремел до абсурда бравурный утренний птичий хор…

Не прошло и двух секунд, как ужасная девчонка с размаху кинулась ему на грудь и глубоко запустила худые пальцы в его волосы. Потом

Александр, как показалось ему, очень долго пытался выдраться из ее объятий: Фредерика оказалась на удивление сильна. В конце концов он разжал ее хватку, затолкал ее обратно в сиденье и зажал ей руки. Он задыхался. Она до крови поцарапала ему ухо.

— Я этого не хотел. Я этого не хочу, понимаешь?

— Точно не хотите?

— Точно.

— Ну что ж, значит, я больше думала об этом, чем вы, — проговорила она, словно намекая на некую свою особую проницательность.

Александр взглянул на нее: спутанные рыжие космы, меловое лицо с синей тенью под глазами, хмурый лоб, сердитый взгляд. Она была сейчас пародией на деву в саду.

— Чем ты занималась всю ночь?

— Разными вещами, и хорошими, и гадкими. В основном гадкими, должна признаться. Помимо всего прочего, я невольно сделалась вуайеркой. Могу сказать, что кое-что я за эту ночь узнала. А вы где были?

— Об этом предпочту тебе не рассказывать.

— Ну и ладно. Все это теперь не важно. Жаль, что я растеряла одежду. Но нарядиться в бумагу

все же лучше, чем стащить чужое платье. На это я не способна, а бумага так и так пойдет на выброс. Я очень строго воспитана насчет воровства и всякого такого. Но и буржуазного привито мне немало: видите, как расстроилась из-за тряпок?..

Александр коротко рассмеялся, вопреки себе восхищаясь легкостью, с которой она списала его ночные неудачи, и забавляясь столь точной характеристикой поттеровской морали. Поттеры действительно могли за потерей вещей не заметить потерь более серьезных.

— И все же, — мрачно добавил он, — я смутно чувствую, что должен тебя остановить, предостеречь, или как это называется. Бог весть почему я ощущаю ответственность за тебя и твои выходки.

— Именно бог весть! Вы за меня в этом смысле нисколько не отвечаете — нисколько. И я не принимаю вашей ответственности. Я сама в ответе за себя сегодня и впредь. Одна беда: ведь я люблю вас!

— О боже, — выдохнул Александр и, то ли одержимый неким демоном тактичности, то ли движимый чувством момента, мимолетным чувством или непреодолимой волей Фредерики, добавил: — Как знать? Может быть, я тоже тебя

люблю…

Александр был человеком слова. Сказанное овладевало им моментально. Он уже думал с бессильным ужасом, что его слова — правда, что, лишь произнеся их, он возвел их в ранг истины. Возможно, лишь молчание до поры оберегало его от них.

— Но ты сама видишь, — уныло продолжал он, усугубляя обиду, — что это ничему не поможет и ничего не изменит для нас. Это попросту невозможно.

Но Фредерика уже водворилась у него на коленях лицом к нему и уткнулась лицом в его лицо. Она ерзала, гладила, цапала… Он шлепнул ее слегка по бумажной юбке и увидел на мгновение бумажные клочки, парящие в летнем воздухе над раскинутыми голыми ногами золотисто-рыжего существа. Его плоть отозвалась помимо его воли. Фредерика — возлюбленная еще более невозможная, чем Дженни.

— Прекрати немедля, несносное созданье! Сиди спокойно. Я не совращаю детей.

— А я не ребенок. И совращать меня не нужно.

— Для меня ты ребенок. И девушка.

Красиво удлиненное, грустное, ласковое лицо Александра было к ней ближе, чем она осмели-

валась мечтать.

— Я не девственница, нет! — завопила она в пароксизме наглости и отваги.

В конце концов, был же Эд с его пальцами, был кусачий Кроу. Если она в чисто биологическом смысле осталась нетронута, то это скорее случайность…

Мир вокруг Александра куда-то поплыл.

— Ты не девственница? О боже!

И он принялся целовать ее жадно, рванул ненароком бумажную юбку… На этот раз отодвинулась Фредерика и уставилась на него не слезливо-преданно (чего он опасался), а с неким властным вызовом. Как быстро она повзрослела… Александру стали отчасти любопытны время и место ее первого раза.

— В мое время мы… по крайней мере девушки, были более невинны. А может, у нас меньше было возможностей…

— Сейчас тоже твое время, — едко отвечала она и добавила, как некогда старик, показавший Генри Джеймсу, что многоречивая уклончивость не есть ложь, по крайней мере, в пределах Хай-стрит и Виндзора: — Ты в нем живешь.

Какое-то время они молча слушали яростную трескотню птиц.

— Я не выдержу сейчас новых осложнений, — сказал Александр. — Ты умна и наверняка заметила, что у меня неприятности.

— Заметила. Но потом решила: меня это не касается. Я не осложнение, я просто хочу, чтобы ты меня разглядел, чтобы относился как к человеку, а не к глупой девчонке.

— Хорошо. Но не думаю, что ты хочешь только этого.

— На этом я успокоюсь. Пока что.

Он снова стал целовать ее, сминая в объятиях. Он понятия не имел, чего они оба хотят. Он решил предоставить решение ей. Поэтому был и смутно рад, и встревожен, когда она вдруг отяжелела и провалилась в глубокий сон, невинно разметав волосы по его бедрам. Александр придерживал ее, глядя на деревья и ниссеновские казармы. А птицы все заливались где-то в вышине. Слушая их простые, болтливые гаммы, он с горечью вспоминал свои прежние размышления о непобедимом голосе из стихов Элиота.

— Проклятье, — выдохнул он и притянул ее за хрупкие плечи, чтобы она не соскользнула во сне с его колен. — О, проклятье!

36. Интерлюдии в двух башнях

Маркус шел коридорами биологического отделения мимо кораллов, костей и окаменелостей. Триместр кончился, и мальчики все разъехались, за исключением одного-двух иностранцев, невесть почему отданных родителями в Блесфорд-Райд. Развеялся густой запах потной, заношенной одежды, пахло хлоркой и стоялым воздухом. В последнее время Маркус часто проходил здесь, где невидимо нависала надо всем башенка Лукаса. После поездки в Уитби неясно было, продолжается ли еще их великий эксперимент, и если да, то кто им управляет. Когда ехали обратно, Маркус уверен был, что они погибнут: он скорчился на полу машины и уткнулся лицом в кожаное сиденье, чувствуя, как, скрипя, смещаются кости и мелко дрожит плоть. Потом он провалился в темноту и был физически потрясен, обнаружив не только Лукаса, но и себя в машине, пускающей струйки пара из-под капота, но все же целой и припаркованной на школьной стоянке. Он кое-как вывалился наружу и долго лежал, скорчившись на гравии. Лукас каким-то механическим шагом ушел в сторону школы,

оставив в машине двери нараспашку и не оглядываясь на своего пассажира. Маркус со временем поднялся, аккуратно все запер и положил ключи в почтовый ящик Лукаса в башенке — там, где начиналась винтовая лестница, ведущая к его двери. Перед глазами у него плавали синие солнечные пятна… Маркус ожидал, что Лукас теперь прервет все отношения с ним. Не имея опыта любви, не задумываясь особенно, он все же понял, что друг его подошел к той крайней черте, у которой иное поведение было бы безумием. Хотел ли сам он продолжать дружбу с Лукасом, продолжать эксперимент, — этим вопросом Маркус не задавался. Он уже дал ответ, когда положил руку Лукасу в пах, положил и не отдернул. Маркус сознавал, что, обратись он по-настоящему к пережитому в ту минуту, он испытал бы отвращение и гнев. Но это не имело значения, не должно было иметь. Он был привязан к Лукасу и ответствен за него — в пустынной его жизни такое было впервые. По крайней мере, он незаметно для себя приобрел достаточный душевный опыт, чтобы оценить эти новые чувства.

Лукас, впрочем, сумел со временем проложить извилистый курс меж признанием и отрицанием случившегося в Уитби. Эксперимент и дружбу

с Маркусом он тоже признать не спешил. Через несколько дней после Уитби Маркус, никогда и ни в чем не делавший первого шага, постучал в дверь Лукаса. «Входите!» — довольно бодро прокричал Лукас, но, увидев Маркуса, сел в кресло и глядел в стену в каменном молчании, пока мальчик не вышел на цыпочках, тихонько притворив за собой дверь. Маркус не сумел найти слов для учителя и к тому же чувствовал, что тот замкнулся и сейчас просто физически ничего не услышит.

Два дня спустя они не вполне случайно столкнулись в галерее.

— О, да это ты, Маркус! Пойдем ко мне, угощу тебя булочками.

Лукас напоил его стереотипным школьным чаем с булочками. Он все время улыбался и покровительственно обсуждал с Маркусом его школьные успехи, словно это и было самым важным и интересным в жизни его гостя. После этого в школе он дважды прошел мимо Маркуса в своих белых одеждах, вовсе его не заметив. На третий раз вдруг сказал:

— Ну вот и ты наконец! — словно Маркус где-то пропадал или опоздал к назначенному времени.

С заговорщицким видом учитель увлек его в

лабораторию.

— За нами наблюдают, — сообщил он. — В этом я убежден. Меня даже посещали. Да. Это неземные организмы — какая у них природа и намерения, я до конца не выяснил, но, как только выясню, эксперимент перейдет в новую фазу. Я ее уже вчерне набросал…

Потом пришел день, когда Лукас предложил отправиться в Поле тысячи каменных курганов. Это во Флайингдейлсе — все тот же Йоркшир. Там должна быть высокая мощность излучения. Маркус знал, что, если он снова сядет в машину Лукаса, это будет черный ужас и что, если Лукас попросит, он это сделает. Он давно заметил, что настроения Лукаса никак не отражают истинность или ложность его теорий. Сам же Лукас в светлый момент в начале эксперимента сказал, что от напряжения, которому они себя подвергают, ломались люди и посильнее их. Нужно было что-то предпринять, но Маркус ни до чего умного не додумался и стал патрулировать коридоры биологического отделения «на всякий случай» — как он намеренно расплывчато себе объяснял.

Однажды, подходя в полумраке к двери Уродской лаборатории, он увидел на уровне глаз метрах в полутора от себя пылающий красно-

оранжевый круг, тоже двигавшийся к двери. Неизвестный предмет был явно непрозрачен, плотен и шаровиден — вовсе не похож на бесплотные послеобразы. Маркус моргнул и перевел взгляд на плиточный пол. Предмет, не теряя яркости, уменьшился, лениво спланировал вниз и двинулся за Маркусом вдоль плинтуса. Маркус зашагал дальше: раз движения этой штуки привязаны к движениям его глаз, значит это оптическая иллюзия. Но, обернувшись, он увидел, что оранжевый шар никуда не делся: теперь он перелетал в коридоре от стены к стене. Такая независимость передвижения означала по меньшей мере наличие собственных намерений. Маркус потянул ручку распашной двери. Как ни странно, оказалось не заперто, и он вошел. Пылающий шар проследовал за ним, став в вечернем свете переливчато-синим. Долгое время он лежал на лабораторном столе, медленно убывая и переходя в тающий, но по-прежнему плотный полумесяц. Последний слабый изгиб упрямо светил еще какое-то время, потом на его месте возникла дымчатая круглая тень и, наконец, то, что Маркус определил уже как явную игру зрения. Маркус и раньше видел разное: не только грозный свет в поле или образы, передаваемые Лукасом. Но

сияющий шар не был видением или образом. Он был так же реален, как книги и банки, лежавшие на том же столе. «Галлюцинации, — думал Маркус, — всегда узнаешь по неуверенности ощущений. А здесь этого нет». Приходилось, правда, признать, что явление шара было совершенно бессмысленно. Зато присутствие его доставляло огромное чувственное удовольствие — Маркус никогда раньше не знал ничего подобного. Вообще, он не любил оранжевый цвет, слишком резкий и агрессивный. Маркус предпочитал лавандовые оттенки, голубые, зеленые, но этот шар пылал цветом, превосходившим оранжевый.

Раньше Маркус поспешил бы рассказать Лукасу о случившемся, чтобы тот помог обезвредить новый опыт, включить его в череду подобных, связанных с их экспериментом. Теперь же он явственно этого не хотел. Не хотел ничего обсуждать и анализировать. Он просто видел пылающий шар — вот и все. К тому же шар казался связан с кое-чем еще, о чем он тоже решил Лукасу не говорить. После поездки в Уитби стал повторяться один и тот же сон, в котором Маркус вне времени пребывал в саду математических форм — тех самых, которые утратил, попытавшись описать их отцу. За время его отсутствия сад потемнел: небо

и измеримая растительность волнисто отливали синевато-вороным моллюсковым панцирем. Ни в небе, ни на горизонте не было светил, но внизу лучами и гроздьями расположились, дивно сияя, формы: конусы, пирамиды, спирали и воздушные сети из тонко пряденного бледного света. Они были и порядок, и источник порядка. Конусы и пирамиды напоминали полированный мрамор — это легко заметил бы любой, кого занимают сходства между вещами. Маркуса они не занимали. Впрочем, формы были полны если не жизни, то живой энергии, что исключало мраморную холодность и равнодушный блеск. Маркус не столько пребывал в этом саду, сколько был ему сопротяжен и видел его не глазами, а разумом. По этой ли, по иной ли какой причине он не хотел, чтобы Лукас или кто-то еще знал о саде и мог в него попасть. Бледность сада и синева его помогли Маркусу осознать, как ярко и густо пылало мощью то, что он теперь называл «комнатным солнцем».

Входя в лабораторию, он одновременно ожидал найти ее пустой и встретить Лукаса, хоть и не мог представить, чем занят там учитель. Лукас стоял возле раковин в белом халате с закатанными рукавами и в желто-коричневых резиновых

перчатках, придававших его рукам вид мертвой плоти. Маркус осторожно приблизился.

— Кто там? — не оборачиваясь, спросил Лукас.

— Я.

— А я тебя ждал. — В голосе Лукаса звучала укоризна, словно Маркус опоздал на условленную встречу.

— Извини.

— Вот, привожу дом свой в порядок. Пока ничего не случилось.

Маркус подошел на несколько шагов. В лаборатории сильно пахло формалином и еще чем-то сладковато-тошным. Лукас горстями перекладывал мертвых пип, жерлянок и прочих бесхвостых амфибий из раковины в высокую банку. Тусклые, пятнистые тельца скользили в пальцах, свесив мертвые лапки. В соседней раковине, покачиваясь, плавали отрезанные конечности и органы. На столе рядом с Лукасом стоял открытый ящичек с инструментами для вивисекции. Учитель улыбнулся Маркусу дружески, но все же чуть свысока, указал на раковину и сказал с натянутой веселостью:

— Будь ты суеверен и пожелай прочесть судьбу по этим кишочкам, она, боюсь, предстала бы тебе скудной и серой. Как думаешь, почему древние

считали внутренности столь точным зеркалом внешнего мира? Или они считали кур и коз своего рода микрокосмами? Вот если погадать о будущем на собственных внутренностях, можно и впрямь кое-что узнать. Но это, конечно, невозможно. Хорошо было бы еще погадать на генах и хромосомах, но доступный нам инструментарий слишком для этого слаб.

— Да, — осторожно подтвердил Маркус и втянул носом мертвый запах, витавший в лаборатории.

Лукас задумчиво пробовал треугольное лезвие скальпеля на обтянутом резиной пальце. Потом махнул рукой в сторону банки, кишевшей белыми червями:

— А у этих господ внутренности слишком простые и все одинаковые — не погадаешь. Низкие черви. Я червь низкий, но необходимый. Собираю вот их для четвертого класса: низшая ступень познания. У червя много назначений, и служить материалом для вивисекции в четвертом классе — не самое важное из них. Впрочем, червей в мире хватает, а я хочу все оставить в порядке, прежде чем…

— Прежде чем что? — осмелился спросить встревоженный Маркус.

— Прежде чем случится то, чему суждено. Что-

то случится, Маркус, и в скором времени. Мне уже были несомненные знаки: я тебе расскажу. Например, я знал, что ты сегодня придешь.

Это вполне могло быть правдой, но в голосе учителя уже не было той победительной уверенности, с какой утверждал он, что все предопределено. Лукас выглядел нехорошо: серое лицо, блестящие кудри поникли, лоб и подбородок блестели липким потом. Маркус хотел уйти, но знал, что не должен.

— Пойдем ко мне? — предложил Лукас. — Нужно подготовиться к предстоящему, чем бы оно ни обернулось. Мне были знаки, что я впустил в мир некие силы. Во внешних сферах идет противостояние — это моя вина, моя ошибка. Дефект в мыслящей ткани — от него может быть великое благо или великий вред. Пойдем. Пожалуйста! Ты должен все узнать, на случай если…

Маркус согласился. Лукас радостно потер руки в скрипучих перчатках и шлепнул в банку новую горсть трупиков. Маркус оглядывался, вспоминая самое начало, тот день, когда мучительный свет загнал его сюда. Он смотрел на кучки позвонков, на эмбрионы в банках, на анатомические плакаты с Мужчиной и Женщиной. Что-то в них показалось ему странным. Он пригляделся: из

каждого плаката был аккуратно вырезан кусок, изображающий гениталии. Там, где тела были представлены в разрезе, отсутствовали семенные пузырьки, фаллопиевы трубы, весь сборчатый, извивистый, гроздистый аппарат продолжения жизни. Получились ровные квадратные отверстия, окошки, за которыми виднелась ранее скрытая, не выгоревшая на солнце стена. Маркус глянул на учителя, ни минуты не сомневаясь, что это его работа. Лукас тем временем свернул тряпичный чехол с инструментами и ловко убрал в белый карман халата. Расставил на полках влажные банки и поманил Маркуса: пойдем.

В своей башенной комнатке Лукас долго осматривал то подушечки на креслах, то карнизы, то еще что-то. Маркус неловко стоял в дверях.

— Теперь без проводков не обойдется, — мрачно сказал Лукас. — Меня уже подключали. Тут, знаешь, приходится остерегаться. На миноносце, например, в Тихом океане проводки прямо артистически устанавливали. Ты не замечал, кстати, парадокс: мы были в *Тихом* океане с *миротворческой* миссией — на *миноносце*, на *уничтожителе*. А кто миноносцы делает? Люди. Вот так: даже в простых словах парадокс. Недавно у меня была прямо серия встреч — и даже почти

столкновений — с очень любопытным фургоном. Это определенно знак. Знаешь, что на фургоне написано? «„Волшебный луч“ — мы несем людям свет», а пониже адрес: Уитби. Как тебе названьице? И еще рисунок: двуцветный круг вроде инь и ян: океан света над океаном тьмы. Некую толику этого света мы в Уитби сконцентрировали зажигательным стеклом, кровью, вином и прочим. Тут никаких сомнений. Но мне думается, мы зашли недостаточно далеко. Нашей жертвы оказалось недостаточно, и мы были наказаны: я утратил чувство допустимого, чувство такта… Заметь, Маркус, еще один парадокс: как часто слово «чувство» используют для определения вещей вовсе не чувственных. Это все проклятый антропоморфный мир. Дальше, дальше от всего антропоморфного! Кстати, есть способы вырваться из этого мира. Пишут о сексуальной магии, о разных ритуалах… Но опасность слишком велика, все так обманчиво… Погоди, о чем это я? Ах да, фургон! Понимаешь: я еду, а из переулка — он. Или на перекрестке дорогу перегородит. И водитель явно не из нашего мира: как демон в ангельском облике. Кожа на лице грубая, звериная, волосы золотые, явно поддельные. И он — существо это — то улыбается, а то будто угро-

жает, какие-то жесты делает, то ли манит, то ли гонит. Двусмысленно. Не знаю, как это толковать. А еще недавно под дверью лаборатории кто-то оставил молочную бутылку с кровью. Тут, конечно, тоже свой смысл — но какой?.. И постоянно наблюдают за мной. Постоянно лица в этих вот окнах, а тут сам знаешь, как высоко. Смотрят и не скрываются, улыбаются еще: знай, мол, что под наблюдением. А если занавески задвинуть, они внизу у лестницы висят и гримасы строят. И дыхание. Понимаешь, звук дыхания в комнате, словно тут рядом с башенкой вселенское легкое дышит. Вот видишь, и я тоже антропоморфно мыслю: конечно, там все не так. Там по-другому все…

Эту речь Симмонс произнес, как показалось Маркусу, с какой-то угрожающей интонаций, выделяя важные пункты ударами кулака по столу. Казалось, Лукас обвинял Маркуса в том, что он каким-то образом вызывает все эти явления или искажает их истинную суть. «Лукас сумасшедший», — подумал Маркус. Это было страшно, но не потому что безумный Лукас мог как-то ему повредить, а потому что с этой минуты по-иному вставало перед ним их общее прошлое. Ведь это он, Маркус, боялся сойти с ума. И неколебимо

рациональный, совершенно вменяемый Лукас предлагал объяснение всему, что так его мучило. Они вместе переживали события, неведомые большинству: например, телепатическую передачу образов. Это значило, что они на одной волне (господи, какой ужас он говорил сейчас про проводки!), что их общий опыт — не бред. Теперь оказалось, что Лукас попросту сумасшедший, и Маркус снова остался один. Один на один с прежним своим ужасом: с лестницами, с водяной геометрией в сливе раковины, с рассеиванием, со световыми полями… Если же Лукас не вполне сумасшедший, значит они могли своими экспериментами вызвать гнев неведомых, но грозных внешних сил. Маркус всегда скептически относился к потребности Лукаса каждое видение и ощущение обряжать в красивые имена и снабжать историей. Впрочем, за скептицизмом скрывалось порой желание верить: ведь сам Маркус не знал ни красивых имен, ни славных историй. Конусы, порывы ветра, световые спирали, магнетизм и молот сердца, колотящий в грудь, никогда не казались ему работой ангелов или демонов. Но это не значило, что ангелов и демонов не было.

Теперь все изменилось. И если Лукас безумен,

значит Маркус за него в ответе. В ответе, потому что принял его дружбу. И еще он, наверно, в ответе за события, что привели его друга к безумию, за все эти фотизмы и гипнагонию.

— Что вы думаете теперь делать, сэр? — спросил он ровным, почтительным голосом.

Лукас устало повалился в кресло у камина:

— Я вызвал тебя, чтобы передать тебе очень важное сообщение.

(Слово «вызвал», напомнив о духах, наполнило Маркуса тоскливым страхом.)

— Спасибо за доверие.

Лукас сидел в мрачном молчании, очевидно пытаясь вспомнить суть сообщения. Потом сердито хлопнул себя по бедрам и выкрикнул:

— Нам следовало пойти дальше! — И заговорил уже совсем другим голосом: — Известно ли тебе, что в тюрьмах его… теперь уже *ее* величества отбывает наказание великое множество мужчин, часть которых я не называл бы преступниками в настоящем смысле слова. Другим, впрочем, оправдания нет. Но я говорю о первой категории, о стариках, что выскакивают голые из кустов, обнажаются перед глупыми девочками… о тех, кто в публичных местах занимается тем, чем принято заниматься в уединении… Многие из них

молят, криком кричат о гормональном или даже хирургическом вмешательстве. Но им отказано в облегчении. А ведь в другие времена, в других культурах все было иначе. Фрейзер пишет о жрецах древних богов: Адониса, Таммуза, Аттиса — все свидетельствует о том, что они оскопляли себя добровольно и радостно… Я думаю иногда: если пост, воздержание и аскеза открывают путь к новому, иному знанию — чем хуже нож? Впрочем, я не за этим тебя позвал.

Маркус чувствовал, как к запаху пота и какао в тесной комнате примешивается резкая вонь страха.

— Может, нам лучше оставить все это? — сказал он. — Может, это слишком огромная для нас задача?

— Не думаю. Все, к чему стоит стремиться, связано с опасностью. Нам явлены знаки и вехи, и мы последуем им — даже если нас ждет катастрофа.

Маркус вежливо молчал, ожидая, пока Лукас скажет, куда указывают вехи.

— Я тебе уже говорил, что на пустоши Флайингдейлс больше тысячи мелких каменных курганов. Больше тысячи. Я вычитал среди прочего, что первые боги и богини, Афродита например, являлись людям колоннами, курганами, заост-

ренными камнями. Я думаю, это были средства призвания сил, создания силовых полей, выходов энергии, если хочешь. Краеугольные… да, *краеугольные камни* мира! — Лукас улыбнулся, радуясь промельку древнего знания, последнему своему каламбуру. — Мы с тобой поедем туда. Думаю, темные силы выставят против нас защитный круг. Может статься, что мы сгорим дотла. Но если нет, то сможем проникнуть внутрь.

— Как? — выдохнул Маркус.

— Поедем на машине. Через день-другой, а может, через неделю. Нам нужно очиститься: не есть мяса, не есть после заката — это защита от пожирателей, от нечистых. Думаю, нам будет наитие, что пора выезжать. Если не мне, то тебе уж точно. Правда ведь?

Маркус тоскливо кивнул. Он посмотрел в окно, но никаких лиц не увидел, только солнце. Посмотрел на Лукаса, нервно крутившего брючные складки в паху. Вспомнил свой сад чистых форм и пришел в ярость: как мог Лукас связать богов и электричество с курганами и каменными конусами? Связка, конечно, получилась интересная, но не настолько, чтобы он выдал сейчас то, что известно ему одному, — что их мысли снова наложились друг на друга, что, каждый своим

способом и в своей знаковой системе, они увидели одно и то же. Лукас нелепый дилетант, в этом сомнений нет. Пачкает чистое знание Маркуса богами, демонами, гидрами и прочей мутью. К тому же Лукас опасен. Совершенно ясно, что, если они вдвоем снова сядут в Лукасову машину и что-то случится, они погибнут. Не важно даже, что это будет, из какой именно области: половой, религиозной или математической — конец один. Вмешаются ли демоны, полыхнет ли бензин, наведут ли на них свет небесный через небесное зажигательное стекло — все едино. При этом Маркус знал: он не скажет Лукасу, что сад вернулся, но — если Лукас прикажет или просто попросит — он сядет с ним в машину. Это вопрос долга и благодарности. Лукас один разглядел его мучения, и за это Лукас будет с ним — вопреки запаху страха, вопреки проводкам, наблюдателям, миноносцам… Но нужно было наконец поговорить с кем-то еще. Маркус принял решение.

В это время в другой башне Александр сидел за письменным столом. Перед ним лежало приложение «Таймс», посвященное образованию, и стопка полученных по почте анкет для соискателей работы. Анкета соискателя — не билет в другой мир или другую жизнь. Но и не экза-

менационный лист. Она утешительно безлика, обыкновенна, словно опросники психологов или переписчиков населения. Александр мог перечислить свои заслуги и убеждения для лондонского и манчестерского представительства Би-би-си, а мог для допотопной школы или современного педучилища с упором на театральное искусство — воображать эти учреждения или мечтать о них от него вовсе не требовалось. Он сознавал, конечно, что глупо принимать решения касательно будущего, пока над пьесой, говоря словами Кроу, в последний раз не опустился занавес. От этого анкеты и вовсе казались безобидными бумажками. Тут по прихоти похмелья ему мучительно вспомнились события прошлой ночи и утра. Александр болезненно поморщился и придвинул к себе анкету Би-би-си. «Уэддерберн, — написал он, — Александр Майлз Майкл». Какая звучная и даже воинственная череда имен для такого нерешительного человека, — часто думал Александр. Вот и теперь он подивился этой несуразице, вписывая в крошечные рамочки дату рождения, названия школы и вуза, имена родителей, национальность и публикации. Он отступал сейчас перед лицом настоящего, защищаясь пером, своим единственным оружием. Он

надеялся, что это лишь стратегический отход, а вовсе не бегство. Возможно, тут, как в фехтовании, хватило бы просто шага в сторону. Ему не нужно было отсылать анкеты, пока хватит лишь возможности в любую минуту их отослать.

Постепенно он задумался о собственных эротических странностях и конфузах. Александр полагал, что его пристрастия свойственны большему числу мужчин, чем готовы это признать. Он любил негу воображаемую. Любил вообразить связь с женщиной из плоти и крови и нешуточной страстью воспылать к женщине воображаемой. И конечно, любил он свое сладостное одиночество и никому не позволил бы вторгнуться в него. Но было и нечто более странное, если не сказать странное чрезмерно: Александр любил страх. Не темный, не жестокий: никогда не мечтались ему вспоротая плоть, каблуки, пронзающие кожу, или пляшущий кнут. Даже развивая привычные свои фантазии, не мог он вообразить, каково было бы желать подобного. Но предчувствие, пробежавшее по хребту, приподнявшиеся волоски на коже, видение панического бега по колючим кустам средь хлещущей листвы, обоняние и зрение, мгновенно обостренные промельком настоящего страха, — это он любил, этого он искал

снова и снова. Унижение и стыд не доставляли ему удовольствия, и потому все его связи были мимолетны. Лишь почувствовав унижение или стыд (а это случалось всегда), Александр обрывал их. Сильней всего бередили его чувственность сердитые страстные женщины в минуту гнева. Никогда, даже маленьким мальчиком, не видел он ничего странного в китсовской фразе о госпоже, которая «поэта гневом пышно одарит». Это темное наслаждение казалось ему вполне естественным.

Так оно и шло, пока он не полюбил Дженни, которая набросилась на него с руганью и даже сбила с ног в трюме под сценой, где они ставили «Она не должна быть сожжена». Он обретал привычную негу, ублаготворяя ее гнев, претворяя его жар в жар любовный. Он и до сих пор боялся Дженни, но вчера, сплоховав и услышав от нее нежные слова утешения, понял вдруг, что боится теперь не гнева ее, а любви, не безудержности ее, а Томаса с его бутылочками, провинциального дома-тюрьмы. С Фредерикой же у него случилось нечто обратное. Поначалу ее влюбленность казалась ему стыдной и унизительной — детской глупостью, за которой, однако, маячили удушающие семейные радости и Биллов провинциальный кодекс поведения.

Александр не знал точно, когда, собственно, все изменилось. Наверное, когда Фредерика превратилась в Елизавету из его пьесы. В Елизавете выразилась его сладкая жажда страха перед женщиной — и не только она. Будучи в каком-то смысле автопортретом Александра, юная принцесса воплотила его тайную любовь к одиночеству, в котором он находил и убежище, и источник сил. А Фредерика знала, как быть каменной, она знала, как явить и страх, и гнев, и милость. Этого знания в ней Александр боялся. Он боялся Фредерики. Когда она вцепилась в него и поцарапала, он ощутил страх сладчайший. Александр взглянул на белую, покорно и нежно изогнутую спину мраморной Данаиды и принялся спешно заполнять анкеты. Он не имел ни малейшего желания еще глубже погружаться в перипетии Билла Поттера и его семейства. То же, отметил он с грустью, относилось к Джеффри, Томасу и бурям, сотрясавшим дом Перри. Как только кончится последнее представление пьесы, он сложит в багажник все эти вещи: камешки, семейство комедиантов, книги — и уедет в Веймут и вообще на юг. А Дженни он оставит большой комнатный цветок — он уже об этом думал, — целое лавровое деревцо в деревянной

кадке, вполне в духе Хиллиарда. И какую-нибудь книгу, подходящую случаю. Не «О любви Океана к Кинфии»[308], там и изданий приличных нет. Ну, этим он еще займется. Что же до ужасной рыжей девчонки, он будет радоваться, что ушел невредим, и видеть ее в беспокойных снах, что, кстати, вполне неплохо. Она же, полная бешеного неутолимого жара, быстренько его забудет и будет вцепляться в волосы другим счастливцам. Из-за нее он не сможет поддерживать общение с Кроу, но, возможно, еще навестит их городок, выдержав приличную паузу, но до того, как Лонг-Ройстон отдадут на милость профессорам.

Он закончил с анкетой для сценарного отдела Би-би-си и перешел к анкете отдела образовательных программ. Его почерк успокаивал его, напоминая немного строгий и элегантный наклонный почерк Елизаветы. На лестнице послышались бегущие шаги. Дверь распахнулась под бесцеремонной рукой. Александру на миг представилась Фредерика в образе охотницы и сам он, зажатый в углу высокой башни, что было нелепо, поскольку побег был бы равно невозмо-

[308] Примечания: 308

Отрывок из утраченного произведения, обращенного Уолтером Рэли к Елизавете I в образе девственной Дианы-Кинфии. В отрывке преобладают меланхоличные ноты.

жен из любого другого помещения. Александр улыбнулся своим фантазиям, чем привел в раздражение ворвавшуюся к нему Дженни.

— Мне нужно с тобой поговорить, — выдохнула Дженни. — Кроме тебя, у меня никого нет.

— Но стоит ли здесь? — промямлил Александр.

Раньше ему всегда удавалось избегать женских визитов. Именно так ему удалось уберечься от скандалов и сохранить репутацию человека по крайней мере благоразумно скрытного.

— Все сошли с ума. К тому же всем все известно, так что не важно, здесь или где-то еще.

— Наверное, ты права, — вяло согласился Александр, потихоньку закрывая анкеты листами сценария. Дженни сбросила макинтош и платок.

— Когда я тебя вижу, мне сразу легче. Все становится на свои места. Ты представить себе не можешь, что творится в доме. И убери ты эту дурацкую улыбку, ничего смешного нет. Джеффри все крушит и ломает, разбил обеденный сервиз, фарфоровый, представляешь? Джеффри, который в жизни мухи не обидел, который никого и ничего не замечал, а иначе я бы не… Хотя, наверное, это плохая причина для замужества… Впрочем, не важно. Со мной не разговаривает, только с Томасом, и таким жутким фальшивым похоронным

голосом. Никогда бы не подумала, честно говоря, что он на такое способен.

— Разумно ли было приходить в таком случае?

— Что ты хочешь сказать? Я не могу оставаться в такой обстановке. Просто не могу. Я должна была тебя увидеть, хоть ты мне, кажется, не особенно рад.

— Как я могу радоваться, когда ты в такой тревоге? Я и сам тревожусь.

Какое-то время она молча ходила по комнате, переставляя и перекладывая то и это: веджвудские чаши с бегущими нимфами среди деревьев, камушки в курганчике на камине. Потом глубоко вздохнула:

— Ну вот, здесь мне хорошо. Видишь, я успокоилась. Чем ты тут занимался?

Она подошла и присела на ручку его кресла. Он одной рукой уныло приобнял ее бедро. Она тем временем принялась рассматривать его бумаги — манера, которой он не любил ни в ком, и вытянула за уголок какую-то анкету:

— Александр Майлз Майкл. Как красиво, какие красивые имена. А зачем это? Александр, зачем… Что ты делаешь? Ты что, ищешь другую работу?

— Это пока только мысли…

Она привычно и ловко распотрошила стопку

бумаг и вытащила остальные анкеты.

— Пять анкет в пять разных мест. Ты, кажется, готов бежать куда угодно. В мыслях…

— Ну, — осторожно начал он, — налицо некий кризис. По крайней мере, у меня в мыслях. Разве нет?

— Ты эти анкеты по почте запросил задолго до вчерашней ночи.

— Кризис не вчера ночью начался.

— Из-за меня, разумеется.

— И из-за Томаса, — честно ответил Александр. Перспектива получить Томаса на попечение тревожила его не на шутку.

— Из-за Томаса… Ты собирался нас бросить?

— Я пока только думал…

— Ты мог бы взять нас с собой. Я бы поехала. Я люблю тебя. Ты бы уехал, мы следом. Мы бы все начали заново.

— Дженни, милая…

— Ты что, бросил бы меня вот так?..

— Нет, нет, конечно. Я ведь люблю тебя…

— Тогда возьми нас с собой. Все сразу изменится. Будем жить честно, открыто. Будет надежда…

— А как же Томас?

— Он тебя любит. Он еще маленький, он привыкнет.

— Дженни, на месте Томаса я бы… У него есть своя жизнь, понимаешь?

— Я могла бы оставить Томаса отцу. Я этого не хочу. Я не хочу его оставлять, но что нас с ним ждет в такой ситуации?

— Может быть, немало. Как мы можем сейчас предугадать? Дженни, любовь моя, давай продержимся, пока не отыграем пьесу. Она столько для меня значит. И ты в ней так хороша, когда стараешься… Даже если я все разрушил, даже если…

— Не говори так. Ты ничего не разрушил. У нас с тобой все прекрасно, прекрасно, любовь моя, и я пришла, чтобы это тебе доказать!

— Что?

— Без Томаса у тебя все получится. После того, что ты сказал сейчас, я в этом уверена. Я знала, что ты будешь тосковать, мучиться, поэтому и пришла. Я знаю, что все получится. Мы это заслужили.

— Дженни, это школа. Утро. В комнату кто угодно может войти…

— Нельзя бояться всего на свете. Мне давно нужно было тебя перебороть. Ты, видимо… С тобой нечасто это бывало?.. Да? — неожиданно резко переспросила она.

— Да, — сознался он.

— Ну что ж…

Ее юбка соскользнула на пол. Дженни игриво отставила ногу и отстегнула чулки. Голая стояла она возле его стола, голая напротив Данаиды. Потом голая раскинулась в его узкой холостяцкой постели. Вежливый Александр покорно, без спешки разделся и лег в постель. «Я не могу, — мрачно думал он. — Если бы я мог, то бы все сделал, лишь бы не растягивать этот позор». Но он не мог. Он отвернулся к стене. Дженни, вспыхнувшая до самой груди, вдруг зарыдала отчаянно и громко. Александр пришел в ужас от ее боли и стыда. Он обнял ее, как ребенка, и зашептал: «Не убивайся, не нужно так». Но и в эту минуту думал о том, откуда взялось у него такое выражение, местное, простоватое, не его. Ах да, это из «Любовника леди Чаттерли». А Дженни сотрясали рыдания, все чаще, все громче. Он чувствовал: слезы — единственное, что ей осталось. Она не знала, что сказать ему, как прикоснуться.

— Не убивайся так, милая, просто минута неподходящая. Мы оба на взводе и ночь не спали, и я не могу здесь, в школе… Это все не важно, это все наладится, когда…

— Когда? Когда, Александр?.. Я хотела как лучше, а сделала ужасно… Ворвалась к тебе, кра-

совалась тут голая… Довела позор до конца.

— Неудачный каламбур, — невольно усмехнулся Александр.

— Не смейся!

— Почему? Что нам еще остается? И ты не плачь, улыбнись. Это все временное. Все будет прекрасно, уверяю тебя.

— Когда?

— Когда мы найдем подходящее время и место.

— Тогда увези нас! Увези меня!

— Я не знаю, я не могу сейчас ни о чем думать.

— Но ты ведь это имеешь в виду? Иначе…

— Получается, что да, — примирительно сказал Александр.

Она улыбнулась дрожащей улыбкой и снова заплакала, но уже тише. Александр обнимал ее. Она гладила его безнадежно вялый орган и бедра — несмело, словно он мог взорваться или оттолкнуть ее. Александр терпел.

— У тебя такая белая кожа. Ты такой красивый, такой нетронутый, словно только что созданный. Я так люблю на тебя смотреть…

— Ну что ж, смотри…

Что-то в его голосе испугало или задело ее. Дженни вскочила и принялась поспешно одеваться. Александр тоже оделся, чтобы она не

успела передумать, и сразу повел ее к двери. Он напустил на себя еще более унылый вид. Образ страдальца оказался очень уместен. От жалости к нему Дженни притихла и утратила былую уверенность. На большее рассчитывать не приходилось.

Когда Дженни ушла, Александр с каким-то неприятным, липким чувством заполнил еще одну анкету. На это ушло минут десять, после чего на лестнице опять послышался топот и дверь распахнулась опять. Александр подумал, что это Дженни что-то забыла в его комнате или приготовила новую порцию молений и упреков. Но на сей раз его посетила Фредерика.

— Мне нужно было тебя увидеть. Кроме тебя, у меня никого нет.

У Александра заколотилось сердце.

— К сожалению, не могу сказать того же о себе.

— Знаю. Я сидела в засаде в теплице с помидорами. По счастью, у меня была с собой книга. На улице солнечно: я то дремала в помидорах, то читала понемножку. У помидоров ужасный запах — словно какой-то металл стерли в порошок и нагрели. И еще чем-то пахнет, серой, что ли. Злющий запах, прямо нападает и что-то у тебя меняет внутри. Или это мне сегодня так кажется,

я ведь ночь не спала, вся на нервах, какая-то сверхчувствительная. Но зато солнышко было доброе, и я успела слегка подначитаться.

— Чего же ты подначиталась?

— Я решила еще раз взяться за «Влюбленных женщин». Я вдруг испугалась, что, может быть, я Гудрун, художница с обреченной любовью. Понимаешь, когда я вернулась, мне дом показался тюрьмой, как этот жуткий красный дом Бренгвенов в книге. И еще отец на меня накинулся, и я вспомнила, как мы со Стефани говорили о тебе и мы думали, что Стефани — это Урсула, сестра со счастливой любовью, а мне оставалась только Гудрун, и это меня бесило, я не хочу быть Гудрун.

— Ты можешь читать какого-нибудь другого писателя.

— Это правда, конечно, но я люблю Лоуренса и ненавижу. Он пишет правду, но я эту правду отвергаю, и все так перепуталось, что просто невозможно. Может, дело просто в названии. Я хотела прочесть книгу «Влюбленные женщины», а теперь что же мне читать? Дай мне какую-нибудь другую книгу, совсем другую.

— Каких писателей ты больше всего любишь?

— Сейчас — Расина.

Александр вспомнил Расина, «Влюбленных

женщин», взглянул на Фредерику и увидел единственное связующее звено:

– *Vénus toute entière à sa proie attachée*[309].

— Нет, не это, а то, как он умеет страшную неизбежность вписать в идеально уравновешенный размер. У меня есть одна умная идея насчет александрийского стиха. Я не смогла ее всю вписать в экзаменационный лист, потому что там очень обтекаемые вопросы. Понимаешь, я столько знаю об александрийском стихе, меня прямо разрывает, но я никогда никому об этом не расскажу, а со временем и сама забуду. Ужасно, правда?

— Расскажи мне. Расскажи об александрийском стихе.

Александр был хорошим учителем не потому, что, как Билл, завладев любовью и доверием учеников, внушал им свою страсть и почтение к литературе. Александр умел слушать, умел задать следующий вопрос, умел услышать движение мысли. Он словно попридержал время, создавая промежуток, в котором Фредерика могла спокойно поведать ему об александрийском стихе. Тепло нагой, вспыхнувшей, отчаянной Дженни таяло у него на руках и груди, а он слушал, как рыжая

---

[309] Примечания: 309
Венера целиком с добычею слилась *(фр.)*.

девчонка, некогда шумно напиравшая на него то с цветистыми гиперболами в стиле Лоуренса, то с грубоватыми шуточками, теперь вдруг ясно и логично, с длинными цитатами, все складней и спокойней толкует ему структуру александрийского стиха, сперва в одной его ипостаси, потом в другой, третьей, от «Митридата» до «Аталии», от едкой иронии «Британика» до кровокипящих страстей «Федры»[310]. Фредерика, вся собранная, сидела на жестком стуле, и Александр подумал, что слух у нее превосходный, потом вспомнил фразу Лоджа о ее связанных движениях и тихо улыбнулся. Фредерика словно услышала его мысль:

— Александрийский стих на бумаге такой точный, такой ясный, холодноватый, но невозможно представить, как играть его без крупных жестов, без гневного рыка, без возгласов, которые нарушат всю симметрию. Тут обязательно актер взмахнет рукой или уронит голову в ладони, правда ведь?

— Думаю, да.

— Я тебя люблю.

Это прозвучало так естественно, ведь весь рас-

---

[310] Примечания: 310
Отсылка к произведениям Расина.

сказ Фредерики был даром любви. И Александр принял его.

— Я тоже тебя люблю, — сказал он возможно проще, желая как-то донести до нее, что ее слова, сперва осторожные и робкие, а потом текучие, пышные и страстные, тронули его, как не сумела тронуть другая женщина, нагая и розовая, лишь недавно лежавшая в его постели.

Вот он, вот он во всей своей грозной силе «непобедимый голос». Хотя нет, не это главное. Главное — то, как редко приносим мы мысль в дар другому. Ему столь многие говорили, что Фредерика очень умна, не исключая и самой Фредерики, что он привык принимать это на веру.

— Я тебя люблю, потому что ты умна, — сказал он, чтобы Фредерика поняла: теперь он в этом убедился.

— А я тебя люблю за то, что ты умеешь так дивно писать.

— Как думаешь, это достаточные причины?

— Для литературы — нет. В романах герои не любят друг друга за то, что оба понимают Расина. Ведь его стих — это как математика, только я в математике не слишком-то разбираюсь. Я чуть не сказала, что это чувственная вещь, но чувственное удовольствие тут не от эротики, а

от геометрии. Хотя, наверное, не мне говорить, я об эротике знаю мало… Так о чем я? Ах да. Если бы в романе мы сидели и так вот сухо обсуждали стихотворный размер, этот роман просто никто не стал бы читать.

— В романе редактор вырезал бы наш диалог и сказал бы, что так не бывает. В романе может быть секс, но не Расинов размер, как бы глубоко он тебя не волновал. Эзра Паунд сказал, что поэзия — это одухотворенная математика. Просто в ней уравнения не для треугольников и сфер, а для человеческих чувств. А Вордсворт утверждал, что ритмы стиха и любви отражают пульсацию крови, что они «основной принцип наслаждения, определяющий нашу жизнь, движение и бытие». Мы слышим ток крови друг друга, Фредерика. Благодаря одухотворенной математике он отражен в слове таинственно и точно.

— Какое чудо!

— Да, Фредерика. Это чудо, и я дам тебе книгу на замену «Влюбленным женщинам»: мой сборник «Серебряных поэтов» шестнадцатого века, потому что в нем — «О любви Океана к Кинфии». Там странная орфография и напечатано все наперекосяк. А еще там ритм океана, приливы и отливы, которые ты должна услышать.

— Я сохраню ее навеки, — отвечала Фредерика наполовину в насмешку, а наполовину всерьез. Они сидели и молча смотрели друг на друга.

— У Лоуренса в романах, — снова заговорила Фредерика, — люди любят друг друга за неизречимую сущность, за мрак чресел, за звездное одиночество и все такое. Они гремят и вещают, но не говорят. А Лоуренс говорит. Он любил язык и врал в каком-то смысле, когда говорил, что то и это «вне языка». Мне нравится язык, почему нельзя любить в языке? У Расина герои высказывают невыразимое. Странно? Я только что хотела сказать, что у него очень ограниченный язык, и у Лоуренса тоже — в этом смысле. И оба они обозначают явления вне языка, но Расин говорит об этом так ясно, четко и торжественно, а Лоуренс вопит и мечется, и… Не знаю. Мне нравится у него про кольца и пирог с олениной. А еще я люблю Расина, потому что его не любит отец. Он вообще не любит французский. Наверное, думает, что он холодный и порочный. Наверное, в Кембридже я выберу французский и немецкий. Отцу труднее выносить моральные приговоры, если вещь не на английском языке… Прости меня! Я как пьяная от тебя. Я всю ночь не спала, а теперь я с тобой, и мы говорим о том, что действительно важно… И я все

говорю, говорю, никак не замолчу. Просто я не верю, что можно быть счастливой дольше дня или двух зараз, поэтому стараюсь взять побольше…

— Ты говоришь, Билл на тебя накинулся? Что там у вас вышло?

— Он сказал, что я паршивая потаскушка, — сообщила Фредерика, явно наслаждаясь звучностью фразы. — Да еще ударил меня и порвал кучу бумажных юбок, хотя я и говорила, что они не мои. А еще я ему заявила, что мне не нравятся его выражения, а что мои дела никого не касаются. А он сказал, что о моих делах ему и так известно, и тогда я его ударила. По-настоящему, кулаком ударила в глаз. Он у него весь распух. Тут папаша услал меня в мою комнату. Я пошла и вздремнула немного, а как услышала, что он потопал в туалет, тут же сбежала.

— Что-то мне не очень верится…

— Ну я, конечно, кое-что подправила и себя обрисовала покрасивей и поумней. Ну и подсократила изрядно, за что ты мог бы сказать спасибо. Вообще, неприятная вышла сцена. О тебе речи не было, если это тебя беспокоит.

— Признаться, немного беспокоило.

— Наплюй. Отец каждое событие пережевывает подолгу. Он до сих пор упоенно злится на

Дэниела, да и на меня-то наорал только потому, что я потеряла вещи, а за них деньги плачены. Я ему сказала, что все верну.

— Это его утешило?

— Он мне не поверил.

— Боже, Фредерика. Я не могу во всем этом увязнуть! Твой отец, твое семейство, ты в твои семнадцать. Это все равно что совратить ученицу. Это невозможно.

— А вот Уилки говорит, что возможно. Школа, конечно, паршивенький эталон, но мне казалось, что согрешить и связаться с подопечным дитятей — что-то вроде инстинкта. Возможно, некий вариант Эдипова комплекса — никаких древних запретов тут нет, конечно, одни только школьные правила, но они на то и созданы, чтобы их нарушать. Как жаль, что я не твоя ученица. У нас был бы дивный роман, как у Элоизы и Абеляра.

— Неудачный пример.

— Но то было в их время, как ты недавно выразился. А это наше время, и нам в нем жить. Мой папаша суров, но все же не кастрирует тебя, как несчастного Абеляра.

— Ты умеешь утешить.

— Ну должна же я была что-то ответить. К тому же это правда.

Она поднялась и, как Дженни совсем недавно, села на ручку его кресла. Пробежала глазами по соискательским анкетам. Если подумала о чем-то, то вида не подала. Провела рукой по его волосам, и у него вспыхнула кровь.

— Возьми меня, Александр.

— Есть ли у меня на это право? Это нечестно по отношению ко многим людям. Включая тебя. И кажется, меня самого.

— Я все понимаю, но какое это имеет значение между нами здесь и сейчас?

В свои семнадцать, подумал Александр, она только и есть что здесь и сейчас. Она еще не видела настоящей жизни, у нее нет прошлого и будущего, связанных причинами и следствиями. Нет неоплаченных долгов. Нет неизлечимых поражений. Она — беспорочно чистый лист (ну, практически чистый). Поэтому, твердил ему разум, она так уязвима. То, что он сделает сейчас или не сделает, может изменить всю ее жизнь. На вид не скажешь, шептали тело и здравый смысл. На вид Фредерика была сильной, и самодостаточной, и неутолимо жадной.

— Тогда обними меня хотя бы.

— Пойми, это не значит, что я не… не хочу тебя.

— Понимаю. У тебя принципы. Ничего, времени впереди уйма. Просто обними меня, без дальнейших обязательств.

Александр обнял ее и усадил к себе туда, где уже взбухал пах. Они сидели очень тихо. В воображении Александра машина, круша подлесок, мчалась вниз по крутому спуску, не слушая руля. Он беззвучно кричал от сладкого головокружения, как ребенок на американских горках. Погоди-ка, вмешался неуемный литературный инстинкт. Это не в детстве, это вздох с немецким акцентом из «Бесплодной земли», увещевающий держаться крепче. У Александра не было собственных четких фраз для описания этого. Впрочем, не важно. По правде говоря, не было в мире и таких рыжих, звездно-одиноких девчонок, как та, что сидела у него на коленях. Да и Лолита еще не была написана. Он сжимал ее все крепче, она резко, неистово хохотала. Если бы она хоть чуть подзадорила его, он взял бы ее прямо там. Но она боялась, что будет кровь и выяснится ее ложь. Она уже рассчитала, что в другой раз, когда больше будет времени и меньше треволнений, в месте более укромном все будет гораздо лучше. К тому же, подумала она, если она с уважением отнесется к его принципам, то они, как часто бы-

вает, вскоре ему же покажутся глупой помехой. Если пособлюдать принцип день-другой, мудро сказала себе Фредерика, возникнет чувство выполненного долга, а с ним надежда как-нибудь принцип обойти. Вдобавок она и сама не то чтобы пылала желанием: Расин — это одно, а кусачие поцелуи Кроу и пронырливые толстые пальцы Эда — другое. Она заполучила невозможное — Александра. Ужасно было бы испытать отвращение в этот миг. «О нет, — думала она, гладя его дивные крылатые лопатки под тонкой рубашкой. — О нет, для этого я поднялась слишком высоко, неожиданно высоко».

В дверь постучал последний за этот день гость. Когда Александр впустил его, приветственная реплика вошедшего оказалась не столь гладкой, как у предыдущих:

— Извините, мне нужно вас видеть. Я думал, к кому мне пойти, и понял, что могу пойти только к вам.

Александр крайне редко думал о Маркусе, за исключением случаев, когда видел его прямо перед собой. С тех пор как Маркус так удивительно сыграл Офелию, Александр утвердился в мысли, что с мальчиком «что-то не так». Впрочем, он, не особенно задумываясь, легко отнес это на

счет трудностей жизни с Биллом Поттером и непростого положения учительского сына. Его отношение к Маркусу осложнялось тем, что до сих пор при мысли об Офелии он видел перед собой лицо мальчика и слышал его голос. Что еще хуже, встречая Маркуса, костлявого и хрупкого, с его пустым взглядом и бесцветными волосами, он неизменно вспоминал об Офелии. Когда же он все-таки думал о своих отношениях с Маркусом, как, например, мельком подумал сейчас, ему казалось, что их немногие встречи целиком сводились к неловким попыткам Маркуса что-то ему показать или рассказать. Александр решил в этот раз его не поощрять, во-первых, из-за чисто английского убеждения, что подростково-школьную истерию следует удерживать в рамках, а во-вторых, из беспокойного чувства, что сам он сейчас вмешивается в сферы, находящиеся во власти Билла Поттера. Материализация Биллова отпрыска, отчаянно вежливого и излучающего мучительный страх, и так явно была наказанием за действия, которые Билл расценил бы не иначе как непростительные вольности в отношении его дочери.

— Присядь, — нервно сказал Александр.

Маркус неудобно пристроился на краю жестко-

го стула и огляделся по сторонам. Увидел стены, бледных и чистых арлекиновых цветов, арлекинов на афише «Бродячих актеров», акробатов Пикассо в их розовато-серой пустыне, Мальчика в его розовом венке, блестящую Данаиду и чуть ниже горку камешков. Ему понравилась взаимная сцепка алебастровых яиц, угластых и округлых кусков известняка и кремня, где блестящих, а где тусклых. Понравилось, как их линии перекликаются с округлостями и углами там, где белые бедра Данаиды очерчены темнотой. В этой комнате был достигнут верный баланс между пространством и человеческим телом в пространстве. От этого Маркус на время ощутил себя в относительной безопасности.

Он тоже вспомнил Офелию и отвел глаза от опасного Мальчика с его тяжелым венком. То, что Маркус играл в Гамлете, а Александр был режиссером, делало последнего идеальным исповедником и советчиком в глазах мальчика. Он уже привык к тому, что Александр направляет его действия. Может, он и в Лукасовых затеях участвовал потому, что видел в нем некоего режиссера. Ведь никто, кроме отца, не удосужился хоть пару раз объяснить ему, как следует поступать.

Маркус довольно долго в молчании осматри-

вал комнату. Неприятное волнение Александра росло.

— Маркус, зачем ты, собственно говоря, пришел?

Маркус подскочил:

— Я не знаю, с чего начать. Это прозвучит странно, а вернее сказать, безумно. Я думаю, это и есть безумие. Наверное… Скорей всего.

— Что за безумие? Кто безумен?

— Сэр, дело в том… Я боюсь, что с мистером Симмонсом что-то случится. Боюсь, что он что-то сделает.

О Лукасе Симмонсе Александр не задумывался вовсе, считая его человеком, нормальным до идиотизма, битком набитым безобидными банальностями и мелкими школьным новостями. Александр вызвал в памяти его улыбчатое лицо славного малого и спортсмена-любителя. Этакий второстепенный персонаж из дамского детектива, воплощенное благоразумие в одежде и в мыслях. Слишком пресный для комических романов Вудхауса и сплетен в учительской.

— Сэр, он говорит, что у него наблюдатели в окнах, что его прослушивают проводками, и комнату, и его самого. Я боюсь, что он погонит машину слишком быстро.

Маркус заранее решил привести только несколько самых достоверных случаев — только чтобы привлечь внимание к беде своего друга. Теперь он с надеждой смотрел на Александра. У Александра красивый лоб прорезали морщины недоумения. Маркус рассказал еще:

— Он говорит, что его разум уничтожили какие-то уничтожители на миноносце. И может быть, не только разум, но и некоторые… биологические функции. Он видел молочную бутылку с кровью. Он вырезал куски из анатомических плакатов в лаборатории, тех, где мужчина и женщина. И мне кажется, он режет лягушек.

— Ну это, положим, его работа.

— Дело в том, как он их режет.

Александр пытался все это осмыслить. Только что он думал о женщинах, о сокровенных складках, о пении крови и разума. Бутылки с кровью и странные вивисекции выходили за рамки его познаний.

— И какой же ты из этого делаешь вывод?

— Я не знаю, сэр. Он думает, что я знаю разное, а я ничего не знаю. Он думает, я все понимаю, а это не так.

— С чего он вообще взял, что ты должен что-то понимать?

— Он мой друг, сэр.

Ответ был правдивый, отчаянный и благородный. Но он был обтекаем: Маркус надеялся умолчать о том, о чем невозможно было говорить, о странных способностях своих: из-за них он нуждался в дружбе, и дружба была ему предложена. Но Александр эту обтекаемость понял в другом смысле. В стенах школы слово «друг» считалось не вполне невинным. Настолько, что в случаях настоящей дружбы его старались не произносить. Александр никогда не слышал, чтобы Маркуса и Лукаса называли «друзьями». Впрочем, он много чего не слышал из школьных сплетен. Александр смотрел на мальчика в очках, чье лицо меловой белизной напоминало лицо сестры, но чьи глаза, и волосы, и выражение казались бесцветными до небытия. Он невольно глянул на Мальчика на стене, надменно-нахального, совершенно иного, и слегка содрогнулся. Если Фредерика и не была хрупким девственным созданием, то брат ее, безусловно, был, и злосчастный Симмонс играл с огнем, с чем-то крайне неустойчивым и взрывоопасным. На Александра накатила нелепая волна сочувствия полувообразаемому Симмонсу. Мальчишки ужасны. Он посмотрел на Маркуса и сказал суровее, чем хотел:

— Зачем ты пришел и все это мне рассказываешь?

— Я, сэр, я же говорю: может случиться нехорошее. В последний раз мы чуть оба не разбились.

— Что значит «в последний раз»?

— В последний раз, что мы с ним выезжали. Мы выезжали… Он это называет «вылазки»: каждый раз у нас была задача. Я не хочу об этом говорить. В последний раз он так гнал, что мы чуть не разбились на обратном пути. Он говорит, что скорость освобождает нас от тела.

Маркус плохо управлялся со словами. Его глухой, скучный голос не мог вполне передать ужас головокружительного полета по холмам и пустошам. Вместо ужаса Александру, на беду, слышалось в нем какое-то недовольство.

— И тебе кажется, что ваши отношения стали слишком опасны?

— Нет, то есть да, но я не из-за этого пришел. Я боюсь, что он что-то сделает.

— Я, признаться, до сих пор не понимаю, что он, собственно, сделал. — В деликатном голосе Александра просвечивала враждебность. — Расскажи толком.

Маркус попытался рассказать, но это было непросто. Оказалось, что он не может произно-

сить слова «Бог», «религия», «свет», и хотя он сумел иносказательно описать «эксперимент» и менее важные части его, такие как гипнагогия, его попытка умолчать о невыразимом придала всей истории личный оттенок, о котором он и не думал. Александр, слушая его, вылавливал в первую очередь ключевые слова. Навыки хорошего исповедника часто требуют тонкой и даже опасной игры. Нужно уметь слышать не только сказанное, но и утаенное, делать вид, что улавливаешь непонятное в надежде, что собеседник в конце концов все прояснит. Александр был обычно хорошим исповедником. Отчасти потому, что был ленив и неохоч до чужих секретов и потому не подвергался искушению использовать их в своих целях. По логике должен был идти ему на пользу и абстрактный интерес драматурга к сюжетным поворотам, но Александр предпочитал истории старинные, запутанные и давно завершившиеся. Но в этот раз он слушал плохо. Он ночь не спал и был еще во власти любовных перипетий с Дженни и Фредерикой. Маркусовы путаные речи он раскладывал по готовым полочкам. Маркус говорил «это», чтобы не раскрывать суть эксперимента, а Александр слышал совсем другое. Маркус говорил, что его «исследовали», имея

в виду телепатию и гипнагогию, а Александр из его бормотания делал вывод, что Лукас покусился на невинность мальчика. Александр перешел к более прямым вопросам о том, что Лукас «делал с мальчиком». По целому ряду причин Александр предпочел бы этого не знать, но считал своим неприятным долгом дать Маркусу высказаться, что тот и делал, но настолько обтекаемо, что разговор превращался в сущую муку. Маркус тем временем принялся бормотать что-то об Адской пасти. Александр окончательно убедился, что Маркус и Лукас оба одержимы кальвинистским чувством вины. Он решил говорить прямо:

— Но в телесном плане между вами было что-то? Что именно?

Маркус начал говорить, что нет, что отчасти было правдой, но потом вспомнил Уитби, запутался и понес невнятное.

— Тебе сейчас стыдно, да? — спросил Александр.

— Ему было стыдно, но это не важно.

— Важное часто представляется не важным, — ласково сказал Александр.

Он чувствовал непонятное раздражение против этого бледного мальчика. Он почему-то был уверен, что мальчишка сам заигрывал со зло-

счастным Симмонсом, который теперь терзается бесплодными угрызениями совести. Маркус, в свою очередь, почувствовал, что разговор приобретает подозрительное сходство с допросами Лукаса, когда тот с немецким акцентом допытывался, не экспериментирует ли Маркус со своим телом. Он сказал с необычной для него злостью:

— Это не про секс. Это не… Это другое. — Бледные глаза его наполнились слезами. Под тонкой кожей лица и шеи выступили алые пятна.

— Маркус, я знаю, что ты хочешь сказать. Тебя обманули, испачкали. Я вижу, ты что-то недоговариваешь, не можешь себя заставить…

— *Но я не об этом*.

— Конечно нет. Я тебе верю и насильно ничего вытягивать не хочу.

— Вы не понимаете.

— Как же я могу понять, если ты ничего не говоришь. Но я примерно представляю, что у вас было. Тебе теперь тяжело, стыдно, противно… Твой друг ведет себя странно…

— Я вообще не об этом. Я боюсь, что он что-то сделает.

— А что он может сделать?

Маркус растерялся. Он ничего не сумел объяснить Александру про Лукаса. Помолчав, он

медленно начал:

— Он говорит, мы должны поехать в Поле тысячи курганов, на пустоши Флайингдейлс. Но мы там погибнем. Это будет конец.

По его лишенному выражения лицу сползли несколько длинных слез.

— Я не думаю, что вы погибнете, — сказал Александр с неожиданной для него теплотой. — Но в любом случае есть простой выход: не езди. Просто скажи ему: «Я считаю, что это опасно и разрушительно». Ты же ведь так считаешь?

Александр не считал возможным или допустимым объяснять Маркусу значение автомобиля как символа сексуальной мощи, хотя его сознание литератора уже породило несколько мощных пугающих образов, связанных с деструктивным потенциалом Симмонса и Маркуса.

— Я ему нужен.

— Будь ты ему нужен, он бы так тебя не мучил. И вообще человек — удивительно крепкое создание. Мы любим думать, что без нас не обойдутся, но, как правило, это не так. Да и как ты ему поможешь, если не можешь помочь самому себе.

Александр понимал, что выходит слишком уж просто, да и с передергиванием, но ведь люди, в сущности, и хотят простых решений… Самого

себя так не обманешь, а других утешить — даже благое дело…

— Но что же с ним-то будет?

— С ним кто-то должен поговорить. Не беспокойся, я этим займусь. Ты же за этим приходил. Ну вот, а теперь иди домой и поговори с отцом. Много не рассказывай, только самый минимум. И пусть он тебя ушлет на каникулы к какой-нибудь тетушке.

— У меня нет тетушки. И я не могу говорить с отцом о таком.

Александр, конечно, мог бы сказать, что сам поговорит с Биллом, но как предостеречь отца о поползновениях в сторону его шестнадцатилетнего сына, если ты только что мял юбку его семнадцатилетней дочери и помнишь сухой жаркий запах ее кожи.

— Нужно, чтобы кто-то за ним присмотрел, сэр.

— Не волнуйся, я присмотрю.

— Правда?

— Ну конечно.

Александр найдет способ поговорить с ним о крикете, пару раз случайно наткнется на него в галереях — одним словом, присмотрит.

— А ты забудь, просто сбрось этот груз с души.

Некоторым это просто, подумал Александр.

37. Премьера

К каким бы решениям ни пришел Александр после трех этих посещений, близилась, смешивая карты, премьера, назначенная на тот же августовский вечер. Еще недавно, с тревогой ее воображая, он рисовал себе либо триумф, либо провал. Как и Стефани, мечтавшая о некой абстрактной свадьбе, он не учитывал действие плоти, совести и банальных недоразумений, от которых суждено ему было страдать весь вечер. Хотя ему-то, кажется, следовало быть умней: недаром в пору свиданий в грязноватых кущах у Замкового холма он с пугающей точностью предсказал Дженни, в какие сатурналии превратится длительная подготовка к артистическому действу. Усаживаясь в амфитеатре — полумесяце из стали и досок, — он с тревогой думал о том, что многое его личное станет сейчас достоянием толпы: от тайного знания о Королеве-девственнице и попыток возрождения пышного старинного стиха до грехов опущения и добавления в последние дни. Теперь, когда публика в относительном порядке заполняла скрипящие сиденья, актеров совершенно не волновало мнение Александра.

Им предстояло развлечь, умилостивить и пленить это тысячеголовое безликое существо.

Рано утром работники, вооружась метлами, корзинами и палками с гвоздем на конце, уничтожили следы бесчинств прошлой ночи. Гравий на террасе был приглажен граблями, бутылочные осколки истреблены. Лужайки были подстрижены и блестели, как лакированные. Садовничьи ножницы прошлись там, где лавры, тисы и высокие сосны пострадали от нашествия мальчишек. В ветвях уж развешаны были золотые яблоки Гесперид, готовые мягким светом разбавить густеющий мрак. Позади особняка в порядке надобности стояли паланкины, башенки на колесах, троны и зубчатые крепостные стены. В саду, расположенном уровнем ниже, заливались флейты и гудел контрабас. Премьерная публика была многочисленна и отличалась особым составом: местные сановники в регалиях; епископ в лаковых ботинках с гетрами и в пурпурном жилете, сопровождаемый деревенскими дьяконами; уже назначенные вице-ректор и деканы будущего университета; представители Министерства финансов и Национального совета искусств; местный виконт и его дочери, прославленные в конкуре; промышленники и

журналисты. Пришли мастерицы, шившие костюмы и добывавшие «драгоценности». Пришли друзья и родственники актеров и даже люди, просто купившие билеты. К предпоследней категории относилось семейство Поттер и Джеффри Перри, который притащил Томаса, утверждая, что невозможно оставить с нянькой ребенка в столь взвинченном состоянии. В числе публики с билетами был Лукас Симмонс, чье присутствие неприятно поразило тех двоих, для кого имело значение, а также Эд, большой знаток кукол немецких и английских.

Автобусы с публикой съезжались отовсюду. В эти дни можно было купить билет на спектакль с правом льготного проезда из Калверли, Скарборо, Дарема или Йорка. Можно было забронировать номер на выходные в курортном отеле или комнату в пабе — вкупе с билетом на «Астрею, или Королеву-девственницу», а если приплатить, то и с проездом из Манчестера, Эдинбурга, Бирмингема и Лондона. В каком-то смысле Кроу оказался коммерсантом не хуже прадеда. Успех даже заставил его усомниться: не лучше ли было ему посвятить остаток жизни культурным мероприятиям, вместо того чтобы просто так отдать университету фамильное поместье? Впрочем,

при всей изобретательности, ему частенько не хватало энергии, и тратить ее на туристические предприятия Кроу не хотел.

Во внутренний двор въезжали автобусы, из них высыпали пассажиры, угощались в открытом буфете булочками, чаем или чем покрепче и, кто по тропинкам, кто по аллеям, засаженным ароматными травами, двигались к амфитеатру.

Во дворе-то Фредерика и увидела Эда, который увесистым шагом спускался по лесенке, по-хозяйски оглядываясь вокруг. Фредерика вздрогнула и побледнела. Эд явился ей, как Макбету призрак Банко, — ходячее свидетельство постыдного приключения. Она отдернулась от окна бывшей кухни и наткнулась на Уилки, который спросил:

— Что ты там за ужас увидела?

— Да так, одного человека.

Эд тем временем лениво проследовал к буфету.

— Приехал на тебя посмотреть?

— Боже упаси! Он не знает, что это я. То есть что я играю в спектакле.

Уилки игриво приобнял ее. Фредерике трудно было протестовать, поскольку Уилки игриво обнимал всех.

— Как развивается твоя страсть к Королеве-девственнице?

До встречи с Уилки Фредерика знать не знала о втором значении этого слова и в мыслях не имела, что Александр может быть гомосексуалистом. Но инстинкт, как всегда, подсказал ей скрыть незнание и растерянность.

— Эпитет мимо цели, — уверенно заявила она. — Все как раз наоборот. Уж я-то точно знаю.

— Ах вот как!

— Да. Вот так.

Фредерика разрывалась между желанием скрыть свои отношения с Александром и подтвердить их себе же, проболтавшись Уилки. Ведь, подобно Александру, она была существом словесным. Она мечтала нравиться людям, как плеяды, мечтала, чтобы с ней говорили, сплетничали, делились победами.

— Ты, я вижу, вняла моему совету.

— В некотором смысле.

— И теперь сияешь.

— Может быть.

— Прелесть моя, я умираю от любопытства.

— А я не могу тебе ничего рассказать.

— Ну разумеется. — Уилки мгновенно отвлекся. — Смотри-ка, нас почтили Гарольд Хобсон и

Айвар Браун[311]. И вообще, критики прибывают целыми автомобилями. Сегодня, коли повезет, целиком переменится твоя жизнь. И моя. И его, разумеется. Скажи, красавица, в сердце сердца своего считаешь ли ты, что это хорошая пьеса?

Фредерику насторожила интонация Уилки, и она попыталась выиграть время.

— А ты?

— Я полагаю, что пьесу ждет оглушительный успех. Но идея новой драмы в стихах… Нет, в конечном итоге она не приживется. Это как маньеризмы коронации или жуткие костюмы фрейлин — безвкусная и бесформенная ностальгия, не облагороженная пародией.

— Александр говорит, что суть не в этом. Он писал современную драму в стихах, настоящую, без пародии и модернистской доктрины.

— Весьма похвально. И как ты думаешь, ему удалось?

— А ты как думаешь?

— А я думаю, что для настырного синего чулка ты удивительно уклончива. Впрочем, я вряд ли выбью тебя из образа, если отвечу честно: нет. Отказавшись от пародии, он поневоле наполнил

---

[311] Примечания: 311
Крупные критики той поры.

пьесу призраками древнего и не слишком древнего старья. Подмалеванная классика, Элиот и Фрай. Ни крови, ни плоти, ни силы.

— Ты несправедлив. Хотя, возможно, в чем-то и прав.

— Вот видишь! Более того, он не смог решить старую постромантическую задачу: сделать внутренний диалог более драматичным. Сейчас он статичен до ужаса, как у Элиота и Фрая. Ровным счетом ничего не происходит. И это, если вдуматься, колоссальный провал, поскольку куче писателей это удалось. Из-за неудач девятнадцатого века традиционный стих обречен. Можно, как Брехт, гнать прозу или этакое пестрое попурри в стиле французского театра ужасов. Но традиционный стих и психологический реализм — худшая из возможных комбинаций — решительно вышли из употребления.

— Кто ты такой, чтобы это решать? Любая форма хороша, если автор хорош.

— Позволь, дитя, тебе не поверить. Сколько тебе лет? Семнадцать. Вернемся к этому разговору, когда ты осознаешь, что некоторые формы попросту исторически невозможны. Вот станешь ты писательницей и замахнешься на длиннющий гибрид Пруста с Джордж Элиот — тут-то он

и вывернется у тебя из рук, слова начнут гнить и распадаться, а живые люди превратятся в заполошные марионетки.

— К твоему сведению, писательницей я не стану.

— С чем тебя и поздравляю.

— Но может быть, если попробовать, как Расин…

Уилки не ответил. Фредерика подозревала, что он Расина не читал: не мог же он, в самом деле, быть всеведущ. А еще подозревала, что Уилки, как и она, не любит признаваться в невежестве. Это она в каком-то смысле уважала. Она уважала в нем и повальное отрицание авторитетов. Конечно, Уилки во многом лишь следовал духу времени, но вместе с тем он действительно стремился к точному выражению вполне разумных мыслей…

И все же Фредерика поспешила удалиться. Ей предстояло произносить реплики, написанные Александром, и размышления о литературном старье не пошли бы ей на пользу. Не время было сейчас оценивать пьесу. Любопытно было другое: критикуя принципы Александра, Уилки не пытался критиковать его лично и ее не подталкивал к этому. В его голосе звучала модная стервозная

нотка, но сам он стервятником не был.

Александр наблюдал за приехавшими критиками. В прошлый раз они в большинстве своем были к нему достаточно добры и узрели некий потенциал в «Бродячих актерах». Их прибытие на премьеру «Астреи» было более массовым и заметным, поскольку они, договорившись, обеспечили себе собственный транспорт. Потом Александр увидел Поттеров. Билл по неясной причине послал билеты Дэниелу и Стефани с припиской, что семья полагает быть в полном составе. Александр, решивший, что невыносимо будет сидеть рядом с Лоджем или даже с главной костюмершей, забрался в угол на самый верх, и теперь семейство Поттер двигалось прямо на него. Первым достиг его Дэниел, быстрый и нескладный. Дощатая конструкция чуть покачивалась под его весом. Последним брел Маркус. Вот он поднял взгляд, тут же снова опустил и споткнулся. Билл в расстегнутой на шее рубашке недовольно зарычал на сына. Большинство премьерной публики, не исключая Александра, были в смокингах.

— Мы вам не помешаем? — спросил Дэниел.

— Нет-нет, что вы.

— Это вы не из вежливости? Может быть, вам хотелось побыть одному. Правда, все семейство

мне уже не пересадить.

— Зато вы можете сесть тут и сыграть роль бруствера.

— Умно придумано, только я между нами посажу жену, чтобы родня до нее не добралась.

Стефани уселась рядом с Александром. Розовый поплин платья обтягивал ее располневшую грудь. Стефани куталась в зеленую шаль с длинной бахромой. Она твердо решила никому не говорить о ребенке: Билл принялся бы орать, Уинифред развела бы суету, и все, а в особенности Фредерика, возомнили бы, что дитя зачато вне брака. Дэниелу сдержанность давалась нелегко: он увлеченно наблюдал за Стефани, за малейшими изменениями ее тела и по природе своей склонен был шумно о ней заботиться. Александр ласково оглядел Стефани:

— Ну, как ты?

— Ничего, только тут высоко, боюсь, голова закружится.

— Не закружится, главное, дождись начала действия.

— Закружится — пересядем. Может, лучше прямо сейчас пересесть, — сказал Дэниел.

— Успокойся, наконец, — отмахнулась Стефани.

Маркус покрылся зеленоватой бледностью, словно на него повлияли разговоры о головокружении. Александр теперь сидел на ряд ниже Поттеров вместе с несколькими коллегами. Все они были в смокингах, некоторые пришли с женами. Тут была чета Тоунов, Джеффри Перри, нянькавший Томаса, и Лукас Симмонс, чистенький, с тщательно вымытыми пушистыми кудрями и выражением благожелательной заурядности на лице. Александр, не знакомый со взглядами Лукаса на театр и антропоцентризм возрожденческой философии, не разделял тревоги Маркуса по поводу его присутствия. Неистощимая бодрость учителя биологии даже как-то успокоила его после злобных взглядов Билла и подавленной тревоги Дэниела.

Заиграла музыка. Словно гигантская стая птиц, публика залопотала, застучала, зашелестела, прихорошилась, пригладилась и замерла на своем огромном насесте. И вот с разных концов террасы неспешно двинулись друг к другу Томас Пул и Эдмунд Уилки. Встретились, пожали руки и заговорили. С легкой насмешкой над модными тогда пасторальными мотивами они обратились к воспоминаниям о сладостном золотом веке Овидия. Уилки был из тех актеров, кто по-насто-

ящему хорош не на репетиции, а в спектакле. Сразу стало ясно, что тут он будет великолепен: суховатое спокойствие, сердечность, печаль, острый юмор, порою взрыв чувств. Александр со вздохом облегчения откинулся на сиденье.

Стефани от спектакля многого не ждала. С недавних пор она постоянно ощущала легкую дурноту. Мир, казалось ей, сузился до границ ее тела. За собственными поступками она наблюдала с каким-то отстраненным любопытством. Она заметила, например, что ей стало трудно заканчивать фразы, будь то в речи, на письме или в мыслях. Она лишь слегка очерчивала идею, и этого казалось достаточно, слова, цепляясь друг за друга, уходили в пустоту и там обрывались. Сегодня она так и не дошла мыслью до само́й пьесы, которую ей предстояло смотреть. Она решила практические задачи, состоявшие в том, чтобы выбрать достаточно мешковатый наряд и приехать вовремя. Она очертила возможные трудности психологического свойства: Дэниел слишком явно, слишком по-новому о ней заботился, это могли заметить. Билл мог затеять ссору с Дэниелом. Спектакль мог провалиться, и тогда Фредерике понадобилась бы поддержка… За всем этим Стефани как-то не задумалась о том,

что ей придется на деле высидеть пьесу, до этого существовавшую лишь в ее воображении.

У нее не было готовых представлений о пьесе или желания ее критиковать — поэтому «Астрея» поразила ее богатством сюжета и какой-то особенной энергией. Стефани вообще не любила судить и осуждать: пьесу она восприняла с тем же ровным, зорким вниманием, какое дарила в детстве вещицам, исчезавшим под платком во время игры, позже стихам и теперь, наконец, Дэниелу. Вскоре она почувствовала, что, подобно иным редким, «счастливым» творениям, пьеса добивается задуманного эффекта вопреки современным законам искусства. Пьесу, конечно, можно было увидеть и иначе: как лоскутное одеяло, как самоцельное плетение слов, как любительский спектакль, вместо насущных политических тем целиком ушедший в сантименты. Со временем все эти обвинения были предъявлены критиками. Но в тот вечер Стефани увидела то, что хотели явить публике Александр и Лодж.

Стефани увидела, как юная Елизавета, меловая и окаменелая, сидит у тауэрских Ворот Изменников и отказывается войти: она — не изменница. Видела, как старая Елизавета, меловая и окаменелая, в ночной сорочке, сидит на пышной

подушке, удачно положенной в той же части сцены, и отказывается умирать. Она видела явления туманно-белой Астреи и бледно-трепещущих Граций, водящих хороводы под темными вечными сводами леса, сияющими тут и там золотыми плодами. Она видела идеал и пародию на него. Рэли с дивной ловкостью вращал тела небесные ясным днем перед молодой еще королевой. Тот же Рэли в эпилоге вспоминал те ясные сферы в своей темной башне. Катерина Парр в саду предлагала яблоки юной Елизавете. В дворцовой маске Дева Астрея предлагала золотые плоды раскрашенной Глориане, Роберт Сесил уговаривал старую королеву помуслить пустыми деснами хоть кусочек. Стефани видела симметрию образов: рыжей девчонки, раскинувшейся на траве под теплым солнцем, и старухи, разложенной на кровати в наползающей темноте, пока фрейлины придают мраморную гладкость сорочке, смятой агонией, а в невидимом саду пышно тоскует старинная скрипка-ребе́к. Она заметила, что когда в финале юная принцесса вперила взоры в старую королеву на постаменте, а Астрея взмахом меча пробудила королеву к движению, то была скрытая пародия на воскрешение Гермионы в «Зимней сказке». Своим новым, сонным

голосом Стефани сказала об этом Александру, и он радостно отвечал, что все время обыгрывал темы воскрешения и возрождения из Последних пьес, хоть Лодж и попытался вписать сюда образ Боттичеллиевой «Весны»… Стефани сказала, что она все заметила, что аллюзии удались, что язык яркий и сочный… Тут ее голос угас, и Александр благодарно тронул ее ладонь.

— Фредерика играла великолепно, — сказала Стефани.

— Согласен.

— Все были хороши, но она как-то особенно раскрылась, больше, чем…

— Да, да, она это может.

— Публика прямо бесновалась от восторга.

— Да. Ты не хочешь пройти за сцену? Сама все скажешь Фредерике. Мне как раз нужно выбираться отсюда и идти туда.

Зрители ритмично хлопали и топали ногами. Как-то незаметно возник в полном составе бутылочный оркестр и с неукротимым весельем, хоть и не вполне точно, выдувал музыку сфер. Часть зрителей подпевали ей, словно футбольные болельщики, небесный хор, голливудское варьете или обитатели мильтоновских эмпирей. Мимо кланяющихся и голосящих орд Александр

провел Стефани в пандемониум артистических уборных. Несомый волнами звука, он жаждал прикоснуться к Фредерике. Воображение его рисовало проблески бедер, изящные косточки худых запястий.

Фредерика, уставясь в зеркало, готовилась снимать грим. Лицо ее сияло от вазелина, слез, жары и страсти. Александр глянул ей поверх плеча, поймал в зеркале отражение глаз:

— Я привел Стефани и сразу убегаю. Мне нужно поздравить Марину.

— Знаю.

Она смотрела на него не мигая, черные глаза ее мерцали, рука с комочком ваты замерла в воздухе.

— Господи, Фредерика, я потом с тобой поговорю. У меня сейчас дела, я не могу собраться с мыслями…

— Договорились. Я буду ждать тебя в засаде. Как ты знаешь, я это умею.

Приблизилась Стефани. Если ее и обожгли электрические потоки страсти, она не подала виду и мирно куталась в свою зеленую шаль.

— Фредерика, ты играла просто замечательно. Я даже ни разу не вспомнила, что это ты.

— Вот это комплимент! — Фредерика с издев-

кой обернулась к Александру. — А ты после всех моих мучений, ты хоть раз вспомнил, что я — это я? Ты заметил меня на сцене?

— И да и нет, ни разу и постоянно. — Он наклонился, стукнувшись коленями друг о дружку, и подчеркнуто невинно чмокнул ее в щеку.

— Ну иди, иди, поздравь старуху-королеву, потом вернешься ко мне.

Фредерика всегда была способной ученицей. Она уже знала, что на заре страсти возникают жестокие задыхания и потоки яростной энергии, которыми со сладчайшей болью можно играть, усиливая, если, к примеру, отослать возлюбленного ранее, чем он готов уйти сам. Александр двинулся прочь, пролагая путь сквозь стайки актрис, лепечущих поздравления. Фредерика, пылая, обернулась к Стефани:

— Он меня любит!

— Конечно любит. Я вижу. Конечно!

Стефани задумчиво обхватила под шалью округлившуюся талию. И тут сестры увидели, как Дженни, повернувшись на гримировальном табуретике, протянула руку к Александру и горячо с ним заговорила. И Александр тем же нервно-изящным движением склонился к ней и поцеловал. Он взял ручку, теребившую его за

рубашку, и положил туда, где нежно розовела у Дженни кожа над самой кромкой корсажных оборок. Дженни порывисто сжала и удержала его руку поверх своей. Фредерика впилась в них оценивающим взглядом, а потом принялась разбирать свою высокую прическу.

— Ты что собралась делать? — спросила Стефани, оказавшаяся меж двух полей свирепого напряжения. — Ты не можешь просто так перевернуть людям жизнь.

— Еще как могу! И переверну. Я имею право делать что хочу.

— Не имеешь. Ты ребенок!

— Никакой я не ребенок, и тебе это известно! Я хочу… Я хочу, хочу, хочу…

— А я хочу, чтобы ты была счастлива.

— Не для всех счастье — убогая квартирка и чаи со старыми ханжами. И вообще счастье тут ни при чем. Жизнь должна быть настоящая, живая. Жить — значит действовать.

— Фредерика, ты навредишь настоящим, живым людям!

— Это их беда.

— Тебе самой будет плохо.

— Ничего, выдержу.

Александр заглянул Марине через плечо в чер-

ное зеркало меж белых ламп. Ее лицо блестело от вазелина, которым она стирала смертную бледность, сизые, набрякшие веки и бóльшую часть морщин на лбу и в уголках рта.

— Говорят, это к беде: подобраться вот так сзади и возникнуть в чужом зеркале.

— Не знаю, не слыхал. Я пришел лишь сказать, что вы чудо.

— Вон, Нарцисс, из моего зеркала. Я прекрасно вижу, что в милом зеркальце на стене я не первая красавица в нашей стране. Скажешь, нет? Смертная луна пережила затмение. Погоди, дружок, дай стереть краску: что тут нарисовано, а что уже мое… Ну как, доволен?

— Я в восторге, я очарован, я тронут. Ваш финал — чистейшая магия.

— А ты не умеешь делать комплименты.

— Ну, коли вы это знаете, то знаете и когда я бываю искренен.

Она рассмеялась, состроила гримаску-другую мягким замшевым ртом:

— А ведь она была права, что сторонилась зеркала. Александр, милый, ты помнишь, как это у Киплинга?

– Королева Англии в золотой парче

Взад-вперед по комнате ходит при свече.

В полутемной комнате в полуночный час

Ходит мимо зеркала, не подымая глаз[312].

Это?

— Да, как-то так. Впрочем, в моем возрасте лицо — собственность. Богатство, средство к существованию, что угодно, только не я сама. А теперь уходи. Когда я нарисую новое лицо для журналистов, можешь вернуться и вывести меня к ним под руку. Мы будем неплохо смотреться. Сегодня была славная публика.

— Публика обожает вас…

Он поцеловал Марине руку, поклонился изможденному лицу в зеркале и вышел.

Наверху, в Большом зале, возбужденно роилась публика, актеры и все остальные. Александр, то и дело останавливаясь, чтобы выслушать комплименты, со всей возможной скоростью пробирался к Кроу и Лоджу. Вовремя заметил Джеффри с младенцем и успел уклониться. Потом толпа весьма

---

[312] Примечания: 312
Перев. М. Я. Бородицкой.

удачно столкнула его с Томом Пулом. То ли от несмытого грима, то ли от усталости и духоты, в отсвете лучей, направленных на Диану и нимф с их окоченелой добычей, Пул казался каким-то серым.

— Том! Спасибо. Ты прекрасно сыграл.

— Поздравляю с успехом. Ко мне уже подходили из местной газеты и «Манчестер гардиан» — они в восторге. Послушай, Александр… ты мой друг, и я должен с тобой поговорить. О том, что ты вчера видел…

— Том, давай просто условимся, что я ничего не видел.

— Черта с два. Все ты видел, и мне наплевать. Ну или почти. Я просто не знаю… Я так дальше не могу. Я должен кому-то сказать. Я безумно люблю это… это дитя, и…

— Но стоит ли рассказывать именно мне?..

Том, квадратный, белобрысо-благопристойный Том выдохнул:

— Ну если ты не против…

— А это у вас не мимолетное, не «сон в летнюю ночь»?

— Это с самого начала было по-другому, а теперь тем более. Она беременна. Ей кажется, что она беременна. Я без нее жить не могу, а она без

меня не только может, ей со мной делать нечего, понимаешь? Ты видел, какая она? А я кто? Никто, педагог из педучилища. Через год, через два она… Да что говорить! Пока я еще могу ей что-то дать, мог, вернее, потому что теперь эта беременность, и…

— Том… чего ты от меня хочешь?

— Не знаю. Ничего. Просто выслушай. Ты не болтлив, и ты умен. Мне нужно было это высказать. Проверить: могу я взять и обычным голосом все сказать… Ты ее не видел? Я к ней подойти не смею.

— Играла она волшебно.

— Дева Астрея… Девой она не была. Я бы ее пальцем не тронул, но она мне сказала… дала понять, что у нее уже все было. С двоюродным братцем. Шли якобы на охоту и бешено любились в рощах и амбарах.

— А как же Элинора…

Элинора была жена Тома.

— Она тоже здесь где-то. Надо бы мне сейчас заткнуться и пойти ее разыскать. И нужно найти врача для Антеи. Я ведь никогда об этом… Последние годы у нас полная спальня детей, больше у нас толкутся, чем у себя. Хоть Уэрскую кро-

вать[313] из музея выписывай. И я не жалуюсь, я люблю все это, люблю Элинору и малышей — ты бы их видел! Но теперь, теперь ведь до того дошло, что я о них забываю — просто забываю, что они есть. Я не до конца еще свихнулся, понимаю, что так продолжаться не может. Но дальше мой знаменитый трезвый ум отказывает. Эта девчонка — господи! — я ради нее творю совершенно нелепые, стыдные, подростковые вещи! Вру, что поехал машину чинить, выдумываю какие-то совещания… Тискаюсь с ней в автобусах на втором этаже. Мальчишеский бред, вслух сказать стыдно. Но какое же счастье!.. Александр, я знаю, у тебя тоже неприятности. Скажи, ты смог сохранить достоинство? Знаю, фраза как из книги, но это же беда! У меня было достоинство, и это ей во мне нравилось, а теперь я просто нелепый влюбленный дурак!.. Нужно, нужно найти врача. Но мне об этом и думать мерзко: ведь это у нее мой ребенок, и сама она ребенок еще, школьница. У них там такой беленький портик над входом и привратница, как в монастырской школе…

Александр не успел ответить на этот неожиданный взрыв чувств: подошел Маркус с видом еще

---

[313] Примечания: 313

Имеется в виду огромная кровать, произведение английского столяра XVII в.

более отсутствующим, чем всегда, и, вперяясь в Александра пустыми глазами, начал молча открывать и закрывать рот. Александр, подумав мельком, что судьба как-то особенно щедра сегодня на издевательские параллели, сказал с легкой злостью:

— Говори погромче.

Тому в ответ на его отчаянный взгляд кивнул с видом понимающим, но в целом далеким и бесполезным.

Тем временем Маркус обрел дар речи:

— Извините, пожалуйста, сэр. Пойдемте со мной, пожалуйста.

— Что еще стряслось?

— Сэр, там ужасная ссора. Отец поссорился с епископом. Они кричат об ужасных вещах. И он… и мистер Симмонс тоже там… и он очень нервничает и думает, что это все из-за него. Мне страшно, сэр.

— Если ты думаешь, что я по собственной воле отправлюсь разнимать твоего отца и епископа, — желчно отвечал Александр, — да тем более в день премьеры…

В бледных глазах Маркуса стояли крупные слезы. Томас Пул, добрый человек, решил вмешаться:

— Успокойся, Маркус. Я ничего важного мистеру Уэддерберну не говорил, а, наоборот, отвлекал мелочами, мешая насладиться триумфом. Пойдем, Александр, поможем. Будь великодушен в сей славный день. Даже ты не можешь не понимать, что Билла Поттера и епископа нужно немедленно растащить в разные стороны…

Тут он вдруг замолчал и подтолкнул Александра в бок. За плечом у Маркуса возникло беспокойное личико Томаса Перри, восседавшего на руках отца.

— А вот и Алекса-а-андр, — многозначительно протянул Джеффри. — Смотри-ка, Томас. Ты ведь у нас любишь Александра? Некоторые утверждают, что ты его обожаешь. Ну что же ты? Помаши ему!

Александр поспешно удалился вместе с Маркусом. За ними двигался Том Пул, бормоча быстро и негромко: «Ну вот. Еще неприятность. Не подумай, мне жаль старину Перри. И почему нельзя всем жить спокойно? Ты счастливый человек, Александр. Ни к чему не привязан. Вот и не дай себя привязать ни в коем случае. Бедняга Перри. Женщины совершенно безжалостны. Прости за банальность. Элинору я не имею в виду, конечно. Господи, Александр, заставь меня уже

замолчать!»

В одном из углов Большого зала епископ, чета Элленби, чета Ортонов, Поттеры, мисс Уэллс и несколько членов младшего духовенства с бокалами, полными шампанского, кричали что было сил. К тому времени, как Маркус привел Александра, их шумный спор переходил по кругу от невыносимой боли при четвертовании к теме казни вообще, распятия, потрошения, возрождения и снова боли. Тут же присутствовал Лукас Симмонс, который кричал о чем-то своем, и Эдмунд Уилки, спокойно просвещавший тех, кто в состоянии был услышать, касательно психосоматических аспектов болевого порога и образа собственного тела. Как раз когда Александр робко приблизился ко всей этой компании, Билл, не слишком-то сдерживаясь, проорал, что епископ — кровавый мясник. Епископ, вспыхнувший до винно-красного цвета, но вполне вменяемый, очевидно, объяснял Лукасу Симмонсу необходимость страдания, в то время как Лукас, мучительно ломая руки, твердил о засилье зла. Уилки не пожелал расстаться с черным бархатом своих одиноких бдений в Тауэре, но уже водрузил на нос непомерные розовые очки. Фелисити Уэллс стояла очень пряменькая, зажатая

жестким платьем травяной зелени с подкладными бедрами, фижмами, жесткими брыжами и длинным шлейфом. Фредерики не было, зато была Стефани, задумчивая, с тяжеловатым изяществом склонившаяся к Дэниелу, словно Венера ранней весною Боттичелли.

…Скандал начался не сразу. Мисс Уэллс увлекла Стефани вслед за четой Элленби познакомиться с епископом, очаровательным, по ее словам, человеком. Епископ, высокий, мрачноватый, довольно видный, стройный мужчина с целой гривой седеющих черных волос и умным взглядом, с благодарностью отметил Стефани за ее, как он слышал, превосходную работу с юношеством, с молодыми домохозяйками, с инвалидами, с людьми, которых болезнь приковала к дому. Стефани с самого начала решила помогать мужу в сферах, не вызывающих догматических противоречий, и приняла бы похвалу с благодарностью. Но за спиной у нее вприскочку переминался Билл, словно боксер в мушином весе, готовый нанести удар по пурпурной шелковой выпуклости епископского жилета.

Епископ, заметив Билла, инстинктивно попытался сгладить маслом бушующие волны и заговорил о бурном возрождении культурного

наследия, о чувстве подлинного единства, возникающего от совместной работы йоркширцев над новым произведением искусства. Прекрасным примером этому служит деятельность церквей, школ и Билловых замечательных курсов для взрослых. На это Билл посоветовал епископу говорить за себя, сам же он не считает, что большая часть нашей «культуры», включая, с позволения сказать, Церковь, способна к возрождению или заслуживает его. Лучше было бы им с достоинством умереть. Более того. Он с прискорбием должен отметить, что не имеет веры в пьесы, вроде той, что им сегодня показали. В центре такой пьесы — ностальгия по тому, чего никогда не было, мечта, *очаровательная* и пустопорожняя, о временах кровавых, диких и гнусных. Веселая Англия Елизаветы — деспотическое, полицейское государство во власти шпионов, садистов и палачей, которых почему-то сегодня не показали. Так и вспыхнуло то, что Маркус весьма точно определил как «ужасную ссору».

Мисс Уэллс нервно и резковато возразила, что о повешении, потрошении и четвертовании доктора Лопеса в пьесе сказано было, хоть и мельком. Уилки добавил, что весьма мрачное описание было вырезано режиссером, но мученической

смерти убежденного католика Эдмунда Кэмпиона коснуться удалось. Симмонс в странном возбуждении спросил, не иначе ли в те суровые дни воспринимались боль и страдание свои и чужие. И тут начался один из тех странных, словно помимо воли возникающих разговоров о том, что люди делают с людьми. Епископ вспомнил древних святых и пастора Бонхёффера, казненного в концлагере. Симмонс рассказал несколько историй, слышанных на миноносце в Тихом океане, о том, что японцы творили с непокорными пленными. Уилки поделился результатами полезнейших исследований о связи между местом получения болевого стимула и местом реакции на него. Еще, сказал он, когда все тело человека охвачено невыносимой болью, возникает диссоциативное расстройство, и разум извне наблюдает за развитием боли. Лукас очень этим заинтересовался и стал расспрашивать Уилки о психологических механизмах, создающих подобные состояния. Тут епископ заметил, что есть вещи страшнее, чем боль и страх боли, чем смерть и страх смерти. Это невежество и зло. В свое время он был священником в Бентамской тюрьме и «своим» заключенным, приговоренным к виселице, никогда не разрешал идти на казнь

с разумом, отуманенным или притупленным морфием. Он всегда оставлял им возможность, оказавшись лицом к лицу со смертью, покаяться или обратиться. И поэтому он за сохранение смертной казни.

Тут Билл Поттер перешел на рев. Он назвал епископа садистом и извращенцем, возомнившим себя Богом. Маркус отправился на поиски Александра. Епископ с красным, но невозмутимым, словно окаменевшим, лицом слушал Билла и всем своим видом показывал, что его оппоненты мыслят наивно и поверхностно, не учитывая истинной сути и серьезных последствий его служения.

К моменту прихода Александра, Томаса Пула и Маркуса Билл уже в красках описывал унизительные ужасы пребывания в камере смертников. На это епископ негромко ответил, что, коли уж на то пошло, Билл в этих камерах никогда не бывал, а сам епископ наблюдал и переживал минуты великой красоты и славы Божьей именно там, именно в этих, казалось бы, нерасполагающих обстоятельствах. Тем позорнее! — крикнул Билл. Стефани плакала, Лукас сетовал на современную ханжескую щепетильность. Он поддерживал епископа, но того коробило от такой поддержки.

— Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его! — вскричал Лукас. — И если рука соблазняет, отсеки ее, и ногу отсеки, и другое любое.

— А начали, между прочим, с вашей слишком уж веселой тюдоровской Англии, — сказал Уилки Александру.

Билл обернулся к ним, сообщил, что сейчас обсуждаются вопросы неизмеримо более важные, чем *это*, после чего продолжил громить епископа статистикой касательно конвойных, за одну ночь поседевших и сошедших с ума на службе. Епископ ответил, что для этого действительно нужна великая вера и сила душевная, а Лукас, спотыкаясь, сбиваясь в невнятицу, сказал вдруг, что первый человек был сделан из глины, что человек — земная тварь и должен быть полностью, без жалости истреблен, чтобы взошло семя бессмертное. Епископ со значением прищелкнул языком. Билл принялся клеймить омерзительную, дикарскую, кровожадную суть христианства, прославляющего истерзанное тело и попранную душу. Затем он перекинулся на Дэниела: тот, должно быть, сошел с ума, если считает, что Билл одобрит брак своей дочери с представителем закоренелой во зле, противоестественной секты. Лукас сказал, что из истерзанного тела освобождается сияющая

душа. Епископ твердо заметил, что некоторые мнения господина… господина Симмонса производят нездоровое впечатление. Сам же епископ ни в коей мере не одобряет одержимости болью и смертью, призывает лишь к разумному приятию их. При этих словах Лукас, поникший, весь мокрый от пота, вдруг вспыхнул от какого-то сильного чувства, а Дэниел заговорил. Для начала он сообщил Биллу, что ничего, кроме гадостей, от него не ждет. Затем обернулся к епископу и ровным голосом, не тратя зря слов, сказал, что тот проповедует взгляды жестокие, извращенные и не имеющие оправдания.

Сразу сделалось ясно, что Дэниел зол больше всех: он едва мог говорить от гнева.

— Никто еще не назвал мне причины, по которой можно вот так спокойно убить человека. Тем более поручить убийство другому. А теперь мы с женой отправляемся домой.

Билл даже онемел от столь увесистой, неожиданной и не вполне желанной поддержки. Дэниел обнял жену за плечи и, не оглядываясь, повел прочь. Мистер Элленби виновато сказал епископу, что Дэниел — необработанный алмаз. Епископ холодно отвечал, что алмаз мог бы из вежливости дождаться его ответа. Лукас внезап-

но кинулся прочь. Александр узрел семейство Перри, которое на сей раз втроем неотвратимо двигалось в направлении спорщиков. Александр вспомнил, что необходимо поговорить с Маркусом или даже с Лукасом: бедолага явно не в себе, даже внешне как-то перекошен и окружен почти ощутимой, искрящей аурой тревоги и страха. Он обернулся к Маркусу и сказал:

— Теперь я уверен, ты не можешь с ним продолжать…

— Ему кто-то должен помочь, — отвечал Маркус.

Александр окинул взглядом явно раздраженного епископа и мрачно-молчаливого Билла. Он подумал было вместе с Маркусом пойти на поиски Лукаса, оставив епископа, Билла, семейство Перри и Томаса Пула разрешать неразрешимую, угрожающе назревшую ситуацию… Но тут, подобно благостным богам, явились к нему на помощь Кроу и три его Елизаветы: Марина, Фредерика и Антея. Все они улыбались и приветственно махали руками. Кроу, все еще в Бэконовых мехах, взмахивал своим жезлом, словно Комос, усмиряющий лесную свиту, или мать его Цирцея, загоняющая в стойло мореходов, обращенных в свиней:

— Александр, дорогой мой, это ваша ночь! Журналисты в восторге, вопиют, требуют вас. Вам нужно к ним выйти, сказать пару слов… Добрый вечер, епископ. Полный триумф — вы согласны? Совместными усилиями свершилось чудо. Пойдемте же, Александр. Простите, я вынужден увлечь его силой. Дамы, да помогите же мне! Дженни, дитя мое, добрый вечер! Вы были само очарование. «Йоркшир пост», ни больше ни меньше, обещал упомянуть вас отдельно: Бесс Трокмортон, «осиленная грубо блистательным сэром Уолтером» — вы были так убедительны! И вы, Уилки, умный плут, — ваше дело в шляпе. Ну все, пора, пора. Прошу нас извинить. Доброй ночи. Билл, я очень рад, что вы к нам выбрались. Александр, идемте же, идемте.

Маркус вышел на террасу в поисках Лукаса. Тот стоял возле королевского паланкина, улыбался, как кукла, и дышал неровно. Совершенно непонятно было, зачем он вообще пришел, разве что из фанатической и жалкой потребности присмотреть за Маркусом.

— Сэр, как вы? Ничего? У вас был такой вид…

Лукас раздраженно ответил, что у него все в порядке, в порядке и даже более чем. Просто оба они сейчас захвачены потоком мощнейших сил.

Им предстоит сыграть важную роль, остается лишь узнать, какую именно. От них требуется в пятницу отправиться во Флайингдейлс.

— Сэр, я не могу. Я не могу больше с вами ездить. Мне страшно.

— Разумеется, тебе страшно, — отвечал розовый, херувимский Лукас с еще бóльшим раздражением и громыхнул кулаком по хлипким золоченым планкам паланкина. — Нельзя потревожить великие силы и не бояться. Вполне возможно, в пятницу мы замерзнем насмерть, или зажаримся, или рассеемся в потоке чистой энергии, так что останутся только серые пятна-тени, как в Хиросиме на месте сгоревших людей. — Эта перспектива, казалось, доставляла Симмонсу особое свирепое удовольствие. — Мы всегда знали, чем рискуем, правда? — добавил он тоном вполне разумным и даже ласковым.

— Я не знал… не знал. И теперь я уже не уверен, что мы все это не выдумали.

— А передача образов? А левитация у Оджерова кургана? А твой фотизм? Это мы тоже выдумали?

— Нет, но… Но может быть, это было не то… не то, что мы думали?

— Мы не знаем, что это было. И есть один только способ узнать.

— Я не могу. Мне страшно.

— Но ты наделен особым зрением!

— Я не знаю. Я не уверен. Я не решусь больше на такое. Отпустите меня, пожалуйста.

— Я… я тебе противен?

Маркус заплакал. Лукас с каменным лицом смотрел на его слезы. Потом повторил вопрос.

— Нет. Я же говорил вам: нет. Но мне страшно, понимаете?

— Значит, поеду один. В одиночку я, скорей всего, не выдержу напора… Но другого пути нет.

Маркус стал тихо и жалобно умолять его отказаться от этой затеи. Лукас презрительно усмехнулся:

— Ну хорошо. Иди. Отступать уже поздно, но ты можешь лгать себе, пока получается. То, чего ты боишься, — оно повсюду. Чему суждено случиться, будет где угодно и когда угодно.

Маркус, рыдая, крикнул, что больше всего боится Лукаса, но это была не совсем правда.

— Я вас боюсь! Вас! Вас!

В ответ Лукас ударил его по лицу, так что рассек губу:

— Тогда оставь меня в покое!

Лукас шумно сбежал с террасы и исчез. Маркус сел возле паланкина. Рот жгло. Он обхватил

руками горящую голову и плакал. Прохожие принимали его за пьяного и деликатно обходили стороной. Маркус был совсем один.

Среди прочих в ту ночь пробежали мимо Маркуса Александр и Фредерика. Оба скрывались: Александр — от четы Перри, на минуту упустившей его из виду, когда вспыхнул ожесточенный спор, кому менять Томасу вонючий подгузник. Фредерика — от Эда, который, заметив ее, призывно защелкал пальцами в воздухе и начал проталкиваться к ней сквозь толпу. Он не был в числе приглашенных, но большинство гостей беспрепятственно приглашали сами себя. Эда можно было кое-как объяснить Уилки, но не Александру. Поэтому Фредерика объявила возлюбленному, что ей попросту необходимо на свежий воздух. Александр сказал, что это прекрасная идея, и они сбежали под слабые одобрительные возгласы и всеобщий смех. В темноте, слыша ее дыхание и летящие прыжки, Александр был к ней несказанно близок. Но в садике с нимфой все стало иначе. Они обнялись неловко и замерли, чувствуя каждый костистую неуступчивость другого. Обоим привиделись белые изгибы изящно-крепких икр и ягодиц Антеи. Александр не мог повалить Фредерику под куст. Фредерика не могла его игриво

на это подвигнуть. Так и стояли, сплетясь, уже отвердевая углами по старой памяти детских игр в статуи. Фредерика что-то лепетала: пересказывала сомнительные комплименты, сценические накладки, смешные ошибки актеров. Александр молчал, погружая в молчание и ее. Наконец она затихла. Он приложил палец к ее холодным губам:

— Что же нам с тобой делать?

— …

— Может, лучше забыть эту историю?

— …

— Из нее ничего не выйдет хорошего.

— Но я же хочу тебя.

— …И если счастье — то такое крошечное…

— Ну и пусть! Я тебя хочу.

— Но что же нам делать?

Этого она не знала. Лечь в постель? Пожениться? Упиваться родством душ? Или вечно длить эту дивную, сладкую неопределенность?

— Пусть будет, как есть. Я так тебя люблю…

В ее голосе прозвучала грозно-повелительная нотка. Где-то на глубине Александр сознавал, что Фредерика всегда позаботится о себе, невзирая на последствия для окружающих. Он смотрел в ее бесцветное, хмурое, холодное лицо. Она была

девочка Геката в полночном саду, божественная сучка, то ли созданная им, то ли вызванная из иных сфер. Неприкосновенная девочка, желать которую безопасно, потому что она недостижима. Александр сжал ее, и она ответила жадно, извиваясь, и он вдруг принялся лапать ее как бешеный. Она смеялась, смеялась, невинно-блудливая, и все теперь решала она, и Александр знал: как бы он ни противился, любопытство доведет дело до конца.

Три следующие недели они так были упоены друг другом и успехом, что его образ богини-сучки оделся новой иронией. Газеты, в духе той поры, фонтанировали восторгами. Пьесу объявили триумфом культуры, Александра — ярчайшей звездой на небосклоне драматургии со времен Бернарда Шоу. Лодж и Марина Йео получили свою долю преклонения. Что же до Фредерики и Уилки, то на их долю, по мнению остальных актеров, выпало внимание чрезмерное. Фредерика в пышном венке и газетном сереньком крапе смотрела на себя сурово и горделиво с первых страниц «Йоркшир пост» и «Манчестер гардиан». Дородные дамы и нервные юноши из женских журналов и местных газет желали знать тайну феноменального сценического успеха местной

школьницы. Фредерика сообщала им, что хочет быть великой актрисой, как Марина Йео. Что «с изрядным трепетом» ждет результатов выпускных экзаменов, открывающих дорогу в университет. Что она «происходит из семьи словесников». Фредерика высказывала собственное мнение о девственности Елизаветы Тюдор. Фредерика играла себя в роли Фредерики.

Александр ездил в Манчестер и обсуждал на радио возрождение драмы в стихах. За большие деньги предлагали ему писать об истории, теории стиха и положении женщины в журналах академических, у́шло-передовых и попросту массовых. Александр пытался писать. С ним заговаривали насчет лондонской постановки «Астреи» — с некоторыми изменениями и полностью профессиональным составом. Всего этого они так жадно ждали, но теперь предложения и приглашения казались им не вполне реальными: так захвачены они были простой и насущной страстью. «Гнусный папаша», по выражению крайне довольной Фредерики, опамятовался и теперь носил в нагрудном кармане стопку газетных вырезок, где на фото его худенькая дочь восседала на камне, била кулаком о каменную стену, лежала, раскинувшись, на земле.

Остальная труппа стала хуже относиться к Фредерике, зазвучали слова «заносчивая» и «невыносимая», не всегда, впрочем, справедливые. Фредерика и впрямь пьяна была успехом. Она шагала по нагретому солнцем дягилю и смеясь вспоминала собственную фотографию рядом с карточками кинозвезд в витрине блесфордского фотоателье. Но к этим радостям примешивалось нарциссическое упоение собственным телом, наконец столь желанным Александру, и эта восторженная замкнутость на себе оскорбляла тех, кому вольно было оскорбляться. Александр хвалил Фредерику в интервью, и его похвалы появлялись в печати.

— «Игра, отмеченная глубочайшим интеллектом», — прочел ей как-то Уилки в садах Лонг-Ройстона. — «Удивительное чувство стиха». Твоя карьера сделана.

— С интеллектом у меня и правда все хорошо.

— О, об этом нам твердят до тошноты все, включая тебя. А как дела на прочих фронтах? Александр возлег с тобой? Соперницы сыплют тебе мышьяк?

Роман Александра и Фредерики сделался всеобщим достоянием прежде, чем сами они успели понять, что с ними, собственно, случилось. Труп-

па, как бывает в тесных коллективах, сделала крутой поворот и отныне восхищалась Фредерикой за упорство, с которым она «добилась» Александра, вопреки ему самому. Что не мешало той же труппе по-прежнему недолюбливать ее за безоглядный эгоизм, с которым она это проделала, равно как и за жадность к славе. (Уилки, не столь обуреваемый страстями, признанный оригинал, эрудит и «гений», на которого в Би-би-си уже заведена была собственная папка в отделе новой информации, имел к услугам нескольких агентов и весьма умело занимался саморекламой, не вызывая недобрых чувств.) Что до Александра, актеры капризно решили наградить его презрением за то, что поддался столь грубому натиску. Впрочем, особенно это не показывали: Александр написал великую пьесу, от которой на них падал весьма приятный отраженный свет. Зато покинутой Дженни оказывали множество мелких услуг. Куда бы ни пошли Александр с Фредерикой, туда обязательно пробирались мальчишки-сатиры, стоило им присесть на скамейку, придворные в елизаветинских шелках вывешивались из сводчатых окон, устремляя на них насмешливые взгляды, а порой открыто хихикая.

Александр был слишком потрясен событиями

собственной жизни, чтобы обращать на это много внимания. Фредерика, привыкшая стоически переносить неприязнь из-за успехов в учебе, сумела почти столь же спокойно отнестись к неприязни из-за газетных статей, хоть свойства темперамента и не позволяли ей отвечать на это презрением или пытаться умилостивить зоилов. Трудней было выносить постоянное любопытство к ее любовной жизни: Фредерика мучилась и не могла ни воззвать к сочувствию, ни откупиться пикантными подробностями. Впрочем, с приходом успеха она сделалась более самодостаточна. Она еще всем им покажет. Кроме Александра. (Хотя и на его долю выпадали порой упреки в малодушии, от чего он испытывал некое мрачное удовольствие.) Ясно было, что долго так продолжаться не может. Что-то должно было произойти, сдвинуть дело с мертвой точки. Но что именно?

38. День святого Варфоломея

Двадцать четвертого августа, в День святого Варфоломея и Фредерикин день рождения по счастливому совпадению, почтальон принес конверт с результатами ее экзаменов. Было это в понедельник, пьеса шла последнюю неделю. Стефани рано утром отправилась в церковь Святого Варфоломея, отнести ему цветов. Украшение церкви цветами — еще одна обязанность супруги курата, которую она могла выполнять, не вызывая лишних вопросов. Она постаралась разузнать побольше о святом Варфоломее, но оказалось, что о нем мало что известно, за исключением его кровавой кончины. Апостол Варфоломей странствовал по Малой Азии, Северо-Западной Индии и Великой Армении, где с него заживо содрали кожу и обезглавили. Личность его в точности не установлена, вполне возможно, что он и Нафанаил из Каны Галилейской — один и тот же человек. Значит, о Варфоломее сказал Христос: «…вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства»[314]. С передвижениями его тоже ясности

---

[314] Примечания: 314
Евангелие от Иоанна, 1: 47.

нет: как выяснила Стефани, для древних греков и римлян «Индия» могла обозначать Аравию, Эфиопию, Ливию, Парфию, Персию или Мидию. Его странствия напоминали странствия Диониса из «Вакханок»[315]. Да и судьба, если вдуматься, тоже: освежеван, растерзан, возвращен к жизни… Недолгое время Стефани питала надежду, что церковь, где служит Дэниел, посвящена святому Варфоломею Даремскому, бенедиктинцу родом из Уитби, прожившему сорок два года анахоретом в келье Святого Кутберта где-то на островах Фарн и мирно почившему там около 1193 года. Но маленькая статуя святого в нише возле пасторской кафедры сжимала нож — орудие мученической смерти того, первого Варфоломея. К тому же в одном из приделов красовалась стенная роспись: увеличенная плохая копия Варфоломея работы Микеланджело. Святой мученик в псевдосикстинских облаках Страшного суда грозно спускался с небес, в одной руке сжимая нож, а в другой содранную кожу, и лицо на ней было — искаженное лицо Микеланджело. Стефани решила украсить и частично скрыть и роспись, и статую облаком полевых цветов.

---

[315] Примечания: 315

Трагедия великого греческого драматурга Еврипида (480-е — 406 до н. э.).

Теперь, приглядевшись внимательно, можно было уже понять, что она беременна, и потому сегодня она выбрала просторную одежду хорошей прихожанки: плиссированное зеленое льняное платье-сарафан, что-то вроде мирского стихаря, который пристал бы и кухарке, и садовнице. В кармане секатор, на ногах добротные туфли без каблуков, в руке плетеная корзина с травами и цветами. Она еще могла ездить на велосипеде и медленно, с прямой спиной, тихонько катила по деревенским тропинкам, собирая белый дягиль и ромашки, зеленую чемерицу, розовый шиповник, никнущий колосками дикий овес и ячмень, бледные крапчатые наперстянки. Ей хотелось еще какое-то яркое пятно, алое, пунцовое или малиновое — в знак уважения к мученику, о жизни которого так мало известно. Но маки опадают раньше, чем успеваешь их срезать, а пионы, оставшиеся, были чересчур пышны и крупны для сплетаемой ею нежной дымки, зеленой, белой, золотой и бледно-пурпурной.

С некоторых пор здание церкви уже не было ей ненавистно, и в одиночестве, сплетая проволочные каркасы, наливая воду, пристраивая так и сяк цветочные стебли, она была счастлива. Впрочем, сегодня утром, как и в предыдущие

дни, она была не одна. Лукас Симмонс в нелепой молитвенной позе ждал чего-то под колонной у Адской пасти. Стефани быстро глянула на него, беззвучно прошла к чаше со святой водой, догадалась, что нужен ей душистый горошек, который можно выпросить у миссис Элленби, что Лукас выглядит будто при смерти, что с Маркусом тоже могло что-то случиться, а может, и случилось уже, что Лукасу явно нужна помощь, но он молчит, и нарушать его молчание бестактно.

Так она молча работала, а Лукас молча молился или мучился, пока, мощно пахнув ветром, не распахнулась церковная дверь и ворвавшаяся Фредерика с грохотом не пронеслась по проходу.

— Смотри, смотри, — кричала она, размахивая листком и сама, похоже, ничего не замечая.

Стефани медленно поднялась с колен, взяла уже основательно захватанный и затрепанный листок и прочла столбик оценок, столь высоких, что в первую минуту трудно было поверить.

— Ну вот видишь! — сказала Стефани. — Рада? С днем рождения тебя!

Фредерика, скакавшая вокруг кафедры, задела букет дягиля, сбив с него целые облака пыльцы.

— Тише, тише, тут все хрупкое. Я знаешь сколько возилась?

— Миленько. Это для чего? Для праздника урожая?

— Что ты, дурочка, рано еще. Сегодня Варфоломеев день.

— Ну конечно, мой день рождения, день старинной резни и бойни. И я их всех наголову разбила, зарезала, и никто со мной не сравнится ни по оценкам, ни вообще.

— Не кричи в церкви. Люди за тишиной пришли.

Фредерика огляделась:

— Это кто? Он, что ли? А что он тут вообще делает? Он какой-то странный, у меня от него мурашки.

— Будь добра, замолчи. Тебя на всю церковь слышно.

— Ну и что? Я что угодно могу! Что угодно могу лучше всех прочих. Я могу…

— Можешь, только цветы мои оставь в покое, — как можно мягче ответила Стефани. Больше ей, собственно, нечего было сказать: нельзя ни выразить восхищение, ни предречь новые победы тому, кто восхищен собой до предела и в победах нисколько не сомневается.

— А еще случилось небывалое, Стеф! Папа решил отпраздновать мой день рождения!

Настоящий банкет, торжество, с шампанским, с клубникой, и не дома, а в Учительском саду. А если дождь пойдет, то в галереях. Около полудня, в эту субботу, в день последнего спектакля. Он и меня-то послал, чтобы я позвала вас с Дэниелом. Сам-то он к вам, конечно, не пойдет… Я по дороге встретила Дэниела, и он мне сказал, что ты здесь. Да! Отец еще позвонил Александру, что безумно смешно по ряду причин. И все равно восторг! Я как по облакам сюда бежала.

— Смотри не споткнись, — отвечала Стефани, разумея не то стоявшую на полу корзину с цветами, не то жизнь в целом.

Фредерика размахивала руками и с опасной резвостью скакала по всему нефу. Когда в церковь вошел сперва Александр, а потом Дэниел, стало ясно, что Фредерика вознамерилась превратить церковь в подмостки триумфа и любовного свидания. Александр был похож на мотылька мужского пола, приманенного хитрой смесью меда и мускуса. Дэниел был похож сам на себя. Фредерика победно помахала им своим драгоценным листком. Лукас, по-прежнему закрыв глаза, стоял на коленях у колонны. Фредерика подпрыгнула, споткнулась о корзину и постаралась, чтобы поймал ее именно Александр.

Стефани повернулась к ним располневшей спиной и принялась устраивать колокольчики среди трав, сеявших вокруг капельки росы. Если не считать шиповника, летние цветы, нежной пеной полускрывшие мрачного святого, пахли живо и густо, но с горчинкой, с ядовитой зеленцой: чемерица, наперстянка, многоликие родственники цикуты. Душистый горошек был тут необходим. Подошел Дэниел, тяжелой и теплой ладонью ласково провел ей по спине, там, где уже начинали ныть мышцы.

Семейство Поттер, подумал Дэниел, до жестокости ненаблюдательно. Как можно не видеть ее бледность, отяжелевшее тело, новые, по-особому медленные движения? Поттеры только и говорят что об отметках: в тетрадях, в листках с распределением ролей, о тех отметках, что они так жаждут оставить на полях истории… Билл Поттер может не явиться на свадьбу старшей дочери, а явившись, устроить унизительную буффонаду, но он переступит через свою северную скупость и выставит шампанское в честь отличных отметок. Дэниел презирал это в Поттерах. Ему хватало воображения представить женщину, боящуюся боли, или мужчину, да что там — самого себя и всех отцов, которых знал, умевших и не умевших

любить. Он мог представить, как будет любить своего сына, как не сможет избежать ошибок, воспитывая его. Но он не мог соотнести безликие, черные, плоские знаки с пониманием Расиновой страсти, заключенной в безупречный размер, с умением ясно написать хотя бы об ужасе «Гамлета» и «Лира». Дэниел не мечтал стать епископом и потому собственную бушующую энергию не объяснял честолюбием, как объяснял поттеровскую одержимость отметками.

Когда в церковь вошел Маркус, каждый из присутствующих решил, что тот ищет его. Фредерика ждала поздравлений с днем рождения и триумфом на экзаменах. Александр решил, что Маркус пришел за давно обещанным советом и помощью. Стефани решила, что брат, как и она, расстроен новым демаршем Билла, а может, болезненными воспоминаниями о том, как и из него отец пытался вырастить гения. Дэниел предположил что-то религиозное. Лукас Симмонс, как в последствии выяснилось, был уверен, что Маркус явился, услышав духовные вибрации, излучаемые им, — мотыльковую азбуку другого измерения.

Как бы то ни было, увидев их всех разом, Маркус замер в дверях, явно готовясь сбежать. Фредери-

ка замахала ему своим листком и завопила про оценки. Стефани шагнула к нему, чтобы обнять. Александр полукруговым маневром скрылся за кафедрой. Симмонс открыл глаза, четким движением поднялся с колен, подошел к алтарной ограде и оттуда заговорил с Маркусом голосом резким и повелительным:

— Долго же ты не шел, получив от меня сигнал. Я знал, что мы здесь в безопасности. Нужна только молитва, молитва и подготовка. Я ждал, что будет много помех, так сказать, статических возмущений — мы не назовем их по имени даже здесь, — но я знал, что здесь они не осмелятся… По крайней мере, я готов был рискнуть, и я рискнул. Боже — да простится мне имя, сказанное всуе, — как я рад, что ты пришел. Они подключали батареи. Да-да, ужасные, адские батареи. Но ты пришел, значит мы выстоим.

Тут Лукас заметил остальных:

— Доброе утро, викарий, доброе утро, Александр. Не надеюсь, что вы пришли молитвой помочь мне в борьбе, и все же — доброе утро. Маркус!

Маркус встал, открыл рот, но звука не получилось. Хотел поднять руку и этого не смог. Но он не думал все же, ни минуты не думал, что это

работа демонов или шаловливых электрических элементалей. Он стоял, ощущая запах дягиля — запах раскаленной обочины на фоне холодного запаха камня. Дэниел подошел к нему, и тогда Маркус, чуть пошатнувшись, протянул к нему руку. Дэниел сжал его ладонь.

— Скажи, как тебе помочь, — мягко проговорил он.

— Я не знаю.

Подошел Александр:

— Может, ты хочешь домой?

Маркус покачал головой.

— Тогда, может, к Дэниелу? — предложил Александр.

Маркус закивал. У него дрожали ноги во фланелевых брючках, он старался не смотреть ни на Адскую пасть, ни на преданного им Лукаса. Голова его гудела от сообщений невесть откуда. Крылатые змеи сворачивались в кольцо и снова разворачивались, в коробке мозга вспыхивал свет, белый, золотой, пурпурный. Тело его, как и предсказывал Лукас, могло в любую минуту рассеяться и исчезнуть, не оставив и горстки праха… А у Дэниела в квартире полно было до ужаса реальных, в чем-то даже утешительных подушек, и чайников, и прочих человечьих вещей. И если

это не сокрушающие капканы и не окаменелые подобия, как у Капельного колодца Матушки Шиптон, в них можно вжаться и согреться. Маркус стиснул сухую, сильную руку Дэниела:

— Заберите меня к себе.

Дэниел тревожился о Лукасе, за исцеление души которого отвечал уж точно не меньше, чем за Маркуса, еще одну — в его практичном представлении — жертву культа отметок. Ду́ши, верней сказать, души, как у Лукаса, — накрепко захваченные одной идеей, — не входили в круг повседневных его забот, но, встретив такую, Дэниел всегда помогал, как только мог. Сейчас же прозрачный от ужаса Маркус вцепился в него, как утопающий, и Дэниел, конечно, выбрал его. Александр, ощущая одновременно свою ответственность и полную беспомощность, да и просто меньше опасаясь Маркуса, чем Лукаса, отправился вместе с Дэниелом отводить мальчика. Фредерика ринулась вслед за Александром.

Стефани взяла корзину и перешла к большой алебастровой вазе у алтарной ограды.

— Я украшаю церковь ко Дню святого Варфоломея, — мягко сказала она Лукасу.

Вблизи от него резко пахло потом, сладковатой помадой для волос, карболовым мылом и нездо-

ровым дыханием. Уловив эту смесь, Стефани, чувствительная, как многие беременные, на миг ощутила дурноту. «Ужасная эта штука — английское воспитание, — подумала она. — Нужно спросить, что его так пугает. Предложить встать на колени рядом с ним. Сказать, что Маркус болен. Но я не могу. Не могу». Как можно тише она стала ходить по церкви: забрала зеленую лейку с водой, выбросила несколько завядших калл и гвоздик. На прошлой неделе цветами занималась миссис Элленби, у которой был более традиционный вкус…

— Вы присядьте, — сказала она наконец Лукасу, неловкая хозяйка в собственной церкви. Лукас, к ее удивлению, послушался: уселся, где стоял, на алтарные ступени и спрятал лицо в ладони. Стефани продолжала гнуть проволочки, не глядя на него. Лукас сказал — и это был жалкий отзвук его прежнего радостного голоса:

— Когда ждете малыша?

— Никто пока не знает, — быстро проговорила Стефани. — К Пасхе. Я имею в виду: никто пока не знает, потому что мы никому не говорили.

— А я увидел.

Это ей не понравилось, словно она была перед ним голая. Она попыталась перевести все

в шутку:

— Ну, вы же биолог. Это ваш предмет.

— Не говорите так, я биологию ненавижу.

— Я ее сама никогда не любила, — сказала она как-то уютно и просто, мягко переступая вокруг вазы, устраивая ромашки посередине веером. — Но это была единственная точная наука, что мне давалась. А чтобы изучать английский в Кембридже, обязательно было взять один такой предмет. Математика и прочие абстракции у меня вообще не шли. Вот я и взяла биологию. Там все девушки ее берут.

— Растения, — сказал Лукас. — Камни. Вот это я люблю. Но чтобы на них специализироваться и не иметь дела с плотью, надо знать предмет получше моего. А я самый заурядный учитель… Зачем вы вышли замуж?

— Хотела иметь собственную жизнь, — честно сказала она, и ей совсем близко представилось лицо Дэниела. — Собственную частную жизнь. Хотя частной ее особенно не назовешь. Постоянно кто-то в гостях…

— Собственная жизнь, — задумчиво повторил Лукас. — У меня нет собственной жизни. У меня вообще нет жизни. И я никого не трогаю — прошу вас верить. На это есть причины.

— А Маркус? — бережно спросила она.

— У Маркуса дар. Маркус видит то, чего никто не видит. Он… он не такой, как остальные…

— Лучше бы он был *такой*, — резковато отозвалась Стефани.

— Думайте как пожелаете, но это не так.

Доверие, возникшее на минуту, нарушилось. Лукас встал и вернулся к своей молитве или бдению у колонны. Стефани медленно продолжала работу, пока все вазы, у чаши со святой водой, у кафедры, у аналоя, у алтаря, не осветились бледной и нежной зеленью.

Вернулся Дэниел:

— Ну, как ты? Может, пойдешь посидишь с Маркусом? От Фредерики больше вреда, чем пользы, а Александр только с испуганным видом подпирает стены.

Она поднялась на цыпочки и шепнула ему, что сказал Лукас.

— Я побуду тут. Может, он еще разговорится.

— А я убрала цветами твоего Варфоломея…

— Очень красиво. Особенно для девы, отрицавшей цветы на Пасху.

— Я не сказала, что он восстал из мертвых. Просто прикрыла ему нож и снятую кожу.

Дэниел взглянул на святого Варфоломея,

плохую копию Микеланджело, мутноватую и синюшную. Похлопал себя по животу.

— Ну, восстал он или нет, неизвестно, а спускается к нам, грешным, в великом гневе.

На секунду промелькнула у него мысль о свежевании, о том, что его жир облечен лишь тонким слоем туго натянутой кожи. О том, как хлестал, наверно, наружу свежуемый человек. О том, как мускулист и сердит святой Варфоломей… Потом тронул тугой живот Стефани:

— Иди-ка ты поскорей домой, посмотри, как там Маркус.

Вот ее тело, а внутри еще тельце — его сын.

Дэниел преклонил колени, ожидая, когда Симмонс встанет, думая, не заговорить ли с ним. Когда Симмонс наконец встал, Дэниел тоже поднялся, и какое-то время они смотрели друг на друга через всю церковь. Потом Симмонс предостерегающе выставил вперед ладонь, как-то судорожно кивнул в сторону алтаря и вышел. Дэниел поспешил вслед через погост, но услышал только, как взревел мотор маленькой спортивной машинки. Когда Дэниел вышел на тихую улочку, Симмонс уже исчез в облаке белой пыли.

39. Праздник в Пантеоне

Биллов праздник в честь Фредерики, поспешно задуманный и поспешно воплощенный, конечно, не обошелся без конфузов.

Поскольку собирался дождь, банкет был устроен не в Учительском саду, а в продуваемых галереях, населенных школьным Пантеоном. Пойоркширски прижимистый Билл не переломил натуры, и приглашенным предстала странная смесь полуденного чая и светского приема, а верней сказать, чай, сэндвичи с ветчиной, корзиночки с кремом, клубника и в завершение по бокалу шампанского на гостя, чтобы выпить за здравие Фредерики. Гости были в основном друзья и коллеги Билла по внешкольной работе, несколько приезжающих лекторов, организаторы курсов для взрослых, актрисы-любительницы из его постановок и те коллеги по школе, которых он считал *personae gratae*[316]. В число последних входила чета Тоун (ввиду служебного положения супруга), Александр и, как ни странно, Джеффри Перри. По словам Билла, в ходе знаменитого спо-

---

[316] Примечания: 316

Здесь: персоны, угодные хозяину *(лат.)*.

ра о Томасе Манне Джеффри показал, что хребет у него есть, хоть и набит чепухой. Фредерика заметила, что метафора получилась гибридная и отвратная. Билл весело согласился и сказал, что хоть хребет, набитый чепухой, сам по себе отвратен, но заслуживает уважения в силу своей твердости. Почему супруги Перри с такой готовностью приняли приглашение — это был уже другой вопрос, неотвязно беспокоивший Фредерику. Эйфория по поводу блестяще сданных экзаменов медленно проходила, и Фредерика начинала понимать, что в сфере человеческих отношений она ученица весьма медлительная и вдобавок не слишком способная. Она, например, долго не видела того, что Дэниел понял сразу же: ее праздник был не только ее. Билл таким образом мстил Стефани за то, что вынужден был платить за шампанское в день, когда она, отказавшись от превосходной карьеры, стала женой толстого курата. Потом Билл спросил, кого из «друзей» она хотела бы пригласить, и Фредерику постигло еще одно запоздалое открытие. Во-первых, неловко было бы хвастать перед одноклассницами высшими баллами. А во-вторых, неумно было бы смешивать привычный мир семьи и школы с миром «Астреи». В этом мерцающем мире легко

было милым взмахом руки отмести разговоры о ее отношениях с Александром. Совсем другое дело, если эти разговоры просочатся на Учительскую улочку. Тут-то пришло время спросить себя, чего она, собственно, хочет. Наконец она сказала, что хочет пригласить Уилки. Томас Пул должен был прийти так и так в качестве высокоуважаемого друга Билла, поэтому она назвала еще Антею. Антея ей не нравилась, но у нее были свои причины не распространяться о Фредерикиных приключениях. Еще Фредерика предложила позвать молчаливого Лоджа и мисс Уэллс, которая ничего не знала. Тем более что мисс Уэллс подруга Стефани, а Фредерика в последнее время чувствовала себя с сестрой как-то глупо и виновато. Оставался последний союзник — Кроу, но Фредерика была не слишком уверена в его союзнических чувствах после эпизода в Солнечном покое, о котором, кстати, до сих пор не было сказано ни слова. Да и Билл терпеть не мог Кроу. Зато он горячо преклонялся перед Мариной Йео и лично отправил ей приглашение. Мисс Йео прислала очаровательную записку, в которой очень мило извинялась, ссылаясь на возраст, головную боль, долгую череду спектаклей и необходимость восстановить энергию перед

сегодняшним заключительным представлением.

— Ты, конечно, понимаешь, что это значит, — игриво сказал Уилки Фредерике. — Впрочем, обещаю не сильно опоздать на твой банкет. От старой королевы к юной деве вспять опишу круг времени. Ты, кстати, уже с этим покончила?

— С чем это? — огрызнулась Фредерика.

— С девственностью, глупое ты создание!

— Нет, и я уже с ума схожу от этого! Я ведь соврала Александру, что у меня уже было. А еще я, оказывается, боюсь… И Александр так отстраненно держится, хотя любит… Я знаю, что любит! И он такой нервный, такой особенный — с ним нельзя вот просто так, как с тобой, обо всем говорить. Поэтому я все больше увязаю в мелком вранье и бог знает, когда и как это все выплывет… Да и пускай бы выплыло! Я не могу больше это выносить, я горю заживо!

— Да уж, — задумчиво изрек Уилки. — Положеньице не из простых.

В отличие от сатурналий Кроу, Фредерикин банкет не задался. Поначалу, впрочем, была надежда. Набралось достаточно педагогов, уверенно обсуждавших рабочие проблемы, методы изучения стихов и обучения людей. Возникла приятная интеллигентная аура, благодаря которой Уилки

утишил беспокойное стрекотанье мисс Уэллс и даже вызвал у нее улыбку парой умных замечаний о Джордже Герберте. Александр сохранил спокойствие и легчайший назидательный флер, будучи зажат в углу Билловыми домохозяйками с писательскими амбициями. Фредерикины знаменитые отметки приобрели более широкое значение, когда Томас Пул отвел ее в сторону и заговорил о «Четырех квартетах». Не находит ли Фредерика, что интеллектуальная мощь автора и некий догматизм иссушают и обедняют язык произведения? Фредерика, переведя стрелочку своего аналитического аппарата в сферу сухого языка и сухой культуры, забыла Пулову округлую белую наготу на темно-зеленом фоне. Она заговорила с ним об Элиоте, как недавно с Александром о ритмах Расина, нашла, что Пул приятный человек, и была ему даже благодарна. И она, и Пул, пребывавший поначалу в агонии стыда, вспоминали потом этот разговор как исключительно вменяемый и важный эпизод безумного дня.

Впрочем, в приятной интеллигентной ауре были и тревожные, темные пятна. Маркус, одетый в свой единственный опрятный костюм, недвижно сидел на краю галерейного парапета и пустым взглядом смотрел поверх лужайки. Дэниел со

Стефани ничего от него не добились. Он лишь повторял: то, что было, — прошло, ему не хочется об этом говорить. Александр рассказал Дэниелу свою версию Маркусовой «проблемы» и сразу ощутил, как спал с него груз ответственности и бессилия что-то изменить. Дэниел обдумал слова Александра, обдумал то, что Лукас сказал Стефани, и решил пока помолчать. Все чаще и чаще Дэниел жалел, что он не «религиозный человек», что в его понимании означало провидца, причастного великих тайн. В случае с Лукасом и Маркусом, думал он, его нынешняя вера и опыт могли пригодиться, лишь когда все окончательно перельется через край. Он старался приглядывать за Маркусом и за женой.

Уинифред, с которой никто не удосужился поговорить, стояла поодаль от Маркуса, а на самом деле — так близко, как только осмеливалась. Стояла и смотрела, как ее сын смотрит в пустоту. Он куда-то ушел от всего и всех. Глубже, опаснее, чем уходил раньше. Ей казалось, последуй она за ним — и он исчезнет совсем. Если же нет, то целая жизнь с Биллом научила ее: стоит ей высказать волнение насчет сына, как Билл оглушит их любовью или ненавистью, растормошит до боли или стянет в непереносимый дьявольский

клинч… Избежать этого можно было, лишь изобразив спокойствие, непроницаемое спокойствие.

Миссис Тоун холодно наблюдала за Уинифред. Что бы ни говорили утешители, боль ожесточает, а предельная боль ожесточает предельно. Страдание не облагораживает, но может порой придать страдальцу оцепенелую осанку достоинства. Для миссис Тоун Уинифред была просто женщина, у которой есть сын и нет желания или возможности ему помочь. Сын миссис Тоун погиб летним днем, и зимой она бывала добрее к матерям живых сыновей, прощала им промахи и несовершенства. Сегодня же она смотрела на тени облаков и тусклые пятна света на лужайке и, слегка опершись рукой на широкие материнские бедра, ненужные девственной Афине, прихлебывала чай, не гнущаяся от боли.

Александр, дивно длинноногий и просто дивный, лениво подошел к Фредерике, стоявшей с Томасом Пулом, и попытался голосом старого друга семьи поздравить ее с отличными оценками. Фредерика нелепо оскалилась в ответ, как в прежние времена, и Александр удивился капризу желания, столь точно рисовавшего, как рука его скользит по этим загорелым горячим ногам, а рот все ниже спускается по худому горлу. Впрочем,

вспоминая желание, он ненароком оживил его с той же точностью и понял, что неведомый каприз над ним властен до сих пор.

— А мы тут беседовали об Элиоте, — меланхолично проговорил Пул.

— Прошу вас, продолжайте, — отвечал Александр, стараясь быть подальше от Фредерики и поближе к бельмастому каменному монстру, оказавшемуся прямодушным и непогрешимым королем Артуром.

В целом облаке нижних крахмальных юбок под поплиновым платьем с розочками подошла Антея Уорбертон и тронула Пула за локоть.

— Сделай что-нибудь, — сказала она бесцветным голоском воспитанной девочки, — меня ужасно тошнит.

— Кого ж не затошнит от столовского чая? — бодро брякнула Фредерика, как всегда слишком поздно заметив заговорщицкие взгляды разом насторожившихся мужчин.

«Боже мой, ну при чем тут чай?! И все всё поняли, кроме меня! Одна я как малолетняя дура!..» Впрочем, Фредерику беспокоил еще и испуг, промелькнувший в лице Александра. С чего бы ему бояться? Тут словно случайно появилась Элинор Пул, а следом за ней — Дженни, несшая на бедре

маленького Томаса. За Дженни шагал ее супруг.

Билл тем временем подошел к столу, явно готовясь произнести речь. Негромко захлопали пробки от шампанского.

— Ну что? — ужасным, резким голосом обратилась Дженни к Фредерике. — Когда ждать счастливого события?

Фредерика глянула на Антею, потом отвела глаза и демонстративно разгладила юбку на плоском животе.

— Какого именно? — нахмурясь, парировала она.

— Ну как же! Прибавления в семействе! Мы же не только твой успех отмечаем, но и будущее событие? Хотя, между нами говоря, на месте Стефани я бы не радовалась так на пороге материнства. Сейчас советовать поздно, я, конечно, улыбнусь и поздравлю ее как положено, но тебе, милочка, скажу как есть: не заводи детей, Фредерика. Не сдавайся, не отказывайся от себя! Не превращайся в корову и подтирательницу луж. Смерть разума, Фредерика, — ее не избегнешь, читая по три странички между мытьем посуды и стиркой подгузников. О нет. На адюльтер найдешь, пожалуй, время, но на жизнь, на мысль — нет! И если они, — Дженни хмуро кивнула

в сторону Пула, Антеи, Элиноры, Александра и печальной Уинифред, — если они будут говорить иначе — не слушай! — Она подергала толстые ножки Томаса, обвившие ей талию. — Ах ты, морячок! Слезай-ка и иди к папе. Ты ужасно милый карапуз, и от этого все только еще тяжелей. Фредерика, ты слушаешь? Вся прелесть этого диалога… ну хорошо, монолога, и вообще успокойтесь, я скоро замолкну. Так вот: вся прелесть монолога в том, что ты мне не поверишь, потому что у меня свои мотивы. И будешь права, конечно. Но и я права, слышишь? И ты в этом однажды убедишься. Все, конец монолога. Джеффри, да забери же ты это вспотевшее создание. Пойду поздравлю миссис Ортон и пожелаю ей всего наилучшего. А с тобой, Александр, мне нужно будет перемолвиться словечком, когда кончится сие торжество. Если ты не против, конечно.

Онемевший Александр мог лишь кивнуть в ответ. Фредерика смотрела на Стефани, не понимая, как могла не увидеть очевидного. Элинора Пул судорожно искала в сумочке носовой платок, и, когда Том обнял жену за плечи, Антея принялась негромко и вполне благопристойно сглатывать какой-то назойливый ком в горле. Джеффри взял сына и сел с ним на парапет по другую сторону

Афины Паллады. Мальчик положил головку отцу на плечо. Миссис Тоун поднялась и пересела к ним.

Фредерика не знала, куда податься. Оставаться и смотреть матери в глаза было невозможно. Она побрела к Стефани. Школьные официантки убирали чашки и расставляли бокалы с шампанским. Александр проводил глазами непреклонно прямую спину Фредерики и перехватил трагический взгляд Тома Пула. Рыцарски-элегантно склонившись к Антее (и мечтая, чтобы она провалилась под землю), Александр спросил, не дурно ли ей, не принести ли ей воды или вина, не будет ли ей лучше в тени? К его великому облегчению, Антея согласилась отойти в тенек, после чего Том сумел-таки выудить платок из жениной сумочки, а Александр хоть ненадолго утек от Дженни. Дженни, толкаемая мелким демоном женского гнева, пошагала к Биллу. Она думала, что Поттеры знают о положении Стефани. Оказалось, нет. Ну что же, она их просветит! Билл уже прочищал горло, готовясь произнести заранее заготовленную речь с цитатами из Эскэма, одного из наставников Елизаветы, изливавшего похвалы ее учености. Дженни горячо и сердечно поздравила Билла с будущим прибавлением. Билл слушал вполуха,

но когда наконец прокашлялся, то понял, о чем речь. Уинифред, спешившая к нему (что было совершенно бесполезно), увидела, как он посмотрел на Дэниела. Этот взгляд был полон такой непомерной ненависти, что ей на миг показалось, будто муж и впрямь сошел с ума и вот-вот начнет швырять бутылки и серебряные подносы в своего крепкого, черновласого зятя.

Дэниел обернулся к Стефани:

— Сдается мне, у них какая-то неприятность.

Билл таки заговорил: слишком быстро, и путано, и не об Эскэме, а о вечной жизни произведений разума и искусства. Потом перешел к «Ареопагитике» Мильтона:

— …ибо книгу нельзя считать неодушевленной вещью; в ней сокрыты жизненные силы, способные проявить себя в той мере, в какой эту способность обнаруживает создавший ее гений; нет, больше того — в ней, как в фиале, хранится чистый и крепкий раствор того живого интеллекта, который вскормил ее… убить хорошую книгу едва ли не то же, что убить человека; убивающий человека губит разумное создание, образ божий; но тот, кто уничтожает хорошую книгу, губит самый разум, гасит светоч божественного образа. Множество людей только обременяют

собой землю, — тут Билл злобно вперился в Дэниела, — тогда как хорошая книга — это драгоценный живительный сок созидательного духа, сокровенный и сбереженный для будущих поколений…[317]

— Землю обременяю, конечно, я, — звучно и не без удовольствия отметил Дэниел.

— О чем это он? — спросила Стефани, в какой-то полудреме пропустившая большинство событий.

— Говорит, что книги лучше карапузов.

Билл тем временем ревел и рычал, что всегда был поборником женского образования, что пьеса Александра хороша, а ее героиня — образец передовой женщины.

— О боже, он знает, — сказала Стефани. — Знает и бесится.

— Наверно, он надеялся как-то сбыть меня с рук, а теперь это выходит потруднее, — весело отвечал Дэниел.

— Не понимаю, почему ты так спокоен.

— А почему бы нет? Меня это никак не касается. Я о своем сыне лучше позабочусь, чем он о своем.

— А может, дочка родится?

---

[317] Примечания: 317
Перев. В. В. Евгеньева.

— Тогда о дочке. — Как уже было сказано, Дэниел, в отличие от библейского тезки, пророком не был.

Билл теперь пугающе злым голосом выражал надежду, что Фредерика лучше распорядится своими многими талантами, чем сам он в молодости. Будущее человека — в его ребенке, за исключением случаев, когда сам он достаточно одарен, чтобы возвыситься до созидательного духа и самому прочертить свое будущее…

Послышался звук заводящейся машины. Потом сама она на двух колесах пронеслась под аркой, соединяющей башни, с ревом пересекла полумесяц лужайки и рванулась прочь. На лужайку выскочил возмущенный директор Тоун, но тут Маркус Поттер, движимый более сложным чувством, соскочил с парапета и погнался за машиной, отчаянно, но молча маша ей руками.

— Это Симмонс, — сказал Александр Антее, после чего не церемонясь ее оставил.

Маркус все бежал, хоть черный спортивный «жучок» Симмонса уже исчез, развалив пару клумб, кайму из дерна и оставив за собой лишь шум, скрежет да запах гари. Александр погнался за Маркусом. Дэниел, утешающе похлопав Стефани по плечу, потопал следом. Билл замолчал.

Фредерика закусила губу и вздернула голову.

Александр нагнал Маркуса где-то на дороге к пустошам. Тот бежал нетвердо и жалко, свесив голову и жадно глотая воздух. Александр и сам был не в лучшей форме, но прибавил скорость и просипел, чтобы Маркус остановился. Мальчик продолжал бежать, не обращая на него внимания. Несколько минут Александр идиотически трусил рядом с ним, бормоча:

— Перестань… бесполезно… подумай сам…

Сзади дальним громом приближались шаги Дэниела. Заслышав их, Александр отчаянно бросился на Маркуса и подобием регбийного приема сбил с ног, словно это был вопрос мужской гордости: самому повалить добычу. Свалились оба. Маркус, мешковатый, везде отсутствующий Маркус дрался как зверь: кусался, царапался, порой влеплял Александру несильный удар.

— Я помочь… помочь… — причитал Александр.

— Он был мой *друг*, — отвечал Маркус в прошедшем времени, словно Лукас был уже мертв.

Подбежал Дэниел. Оглядел их, плотно уперев ноги в пыльную дорогу:

— Бросайте это дело. Глупо. Он уж на сто миль укатил. Пошли домой, Маркус.

— Нет.

— Ну а что в таком случае ты собрался делать?

— Я, — начал Маркус и мучительно потянул в себя воздух. Он подумал, что может умереть прямо тут, на дороге. Неплохая мысль. — Я… — Легкие свело спазмом, Маркус потерял сознание.

Нужно было искусственное дыхание. Оказалось, что Дэниел и это умеет. Александр, снова бесполезный, сидел в пыли и наблюдал за его быстрыми, четкими движениями. Потом, когда мальчик неровно задышал, помог Дэниелу медленно отнести его в школу. Их встретил Билл, бледный и растерянный. Дэниел, у которого открылось второе дыхание, велел ему устроить мальчика в инкубаторе и немедленно найти врача. Александр, без второго дыхания, приник к колонне. Воздух раздирал ему легкие, перед глазами плыло. Лицо у него было расцарапано, костюм в грязи, прекрасные волосы растрепаны. Сквозь горячие слезы он видел, как решительно удаляется разгневанная Фредерика: праздник ее был испорчен, гордость пострадала… Зато к нему почему-то приближалось семейство Перри.

— Александр, если у тебя есть минутка, я хочу с тобой поговорить, — сказала Дженни, жестом подзывая отставших домочадцев. — Джеффри может слушать, мы с ним уже все обговорили.

Александру преставилась сцена сродни той, что ему однажды довелось уже пережить: дама сердца премило заверила его, что это была ошибка и она, оказывается, не переставала любить супруга. Подобные сцены были платой за ту робкую, полную неопределенности любовную жизнь, что он предпочитал…

— Я ему все рассказала.

— Мм?

— Обо всем, что у нас было, — подтвердила Дженни с ненужной тут, пожалуй, ноткой угрозы.

— А что у нас было? — глупо спросил Александр.

— Мы дважды делили постель. Дважды. Я рассказала Джеффри, и теперь он требует развода по причине супружеской неверности.

— Но…

— Теперь о Томасе. Джеффри не хочет с ним расставаться, и я тоже не хочу. — Тут у нее выступили слезы. — Я, может быть, что-то такое о нем говорила, но расставаться с ним я не хочу. Я его люблю. И тебя люблю. Джеффри все знает. Он предлагает нам сесть и спокойно обсудить будущее Томаса.

Александр беспомощно поднял глаза, мыслен-

но умоляя Джеффри вмешаться в разговор или врезать ему по физиономии: это было бы наилучшим решением их сложного дела, а возможно, и окончательным. Но с ужасом Александр увидел, что Джеффри, похоже, все это забавляет. По крайней мере отчасти, нынешний поворот его весьма устраивал. Джеффри, наверно, уже рисовал себе жизнь с миленькой молоденькой няней, приставленной к малышу, и долгими часами в библиотеке наедине с Томасом Манном. Александр подумал было сказать ему: «Джеффри, я не тронул твоей жены, потому что у меня не сработал прибор». Но выговорить это было выше его сил. Потом мелькнул план, достойный Макиавелли, — заявить: «Мне, мол, тоже дорог Томас. Я не могу позволить, чтобы ради меня он был разлучен с матерью, тем более что ты, Джеффри, будешь за него всеми силами бороться в суде, независимо от твоего отношения к Дженни». Но слова застряли у него в горле: прежде всего, он вовсе не готов был обещать ни Джеффри, ни Дженни, что возьмет ее к себе. «И вообще, что за дикая идея, — подумал он, — бежать с человеком, у которого не работает прибор?»

— Я рассказала Джеффри, что ты ищешь новую работу, — безжалостно продолжала Дженни. —

Если ты собрался уезжать, мне, конечно, будет проще уехать следом.

— Джеффри… — взмолился Александр.

— Мне нечего добавить, — отвечал Джеффри. Нет, он совершенно явно забавлялся…

— Но она не все тебе рассказала!

— Вряд ли это изменило бы мое решение. — Джеффри был теперь вовсе не похож на безумного отца, кидающегося детьми. К нему вернулась его обычная академическая манера.

— Поговорим после последнего представления, — сказала Дженни.

Семейство Перри двинулось восвояси, являя втроем картину обманчиво благостную. Александр побрел по лестнице к себе в башню.

40. Последний спектакль

Возможно, слишком много было вечеринок. Возможно, слишком сильно веяла в воздухе некая угроза. Так или иначе, последний спектакль закончился если не пшиком, то самое большее — мелодичным всхлипом. Александр смотрел его от начала и до конца, охваченный смесью такого желания и ужаса, о каких раньше не мог и помыслить. Ультиматум Дженни и вообще события банкета в честь Фредерики имели на него парадоксальное действие, до жесточайшего предела обострив его желание познать, взять, отыметь, отодрать Фредерику Поттер. Ни одно из этих слов не входило в его обычный словарь. Он не произносил про себя вычурное «дефлорировать» лишь потому, что считал, что это уже случилось. И, лениво нелюбопытный в таких делах, на сей раз желал в точности знать, когда и кем была дефлорация совершена. У него под носом во время репетиций? Или раньше? На природе или в некой безвестной комнате? Кто был первым? Кроу? Уилки? Прыщавый юнец из школы, имя которым легион? Ему неприятен сделался Том Пул, с таким триумфом, хоть и без

удобств, провернувший дело. Явное отторжение вызывал толстый, самодовольный Дэниел, чей успех не был, казалось, омрачен даже бытовыми помехами. Он сам испугался страстей, накативших на него в сцене с ножницами, проходившей уже в предосенних сумерках, под редкими, но зловещими каплями дождя. Скованная Фредерика первых летних дней теперь вихляла бедрами, елозила, выгибалась, призывно вертела в воздухе тощей лодыжкой, ухитрялась почти полностью обнажать едва намеченную грудь. Все это казалось ему назойливым наигрышем, от которого он весьма несвоевременно отвердевал. «Забавно, — думал он, — как это меня больше не возмущают изыскания Уилки в Дженнином корсаже. Верней, не забавно, а мерзко». Он сам, собственноручно сделал из себя дурака. Что ж. По крайней мере, ему причиталось, он должен был наконец получить то, чего так желал: проклятую рыжую девчонку — целиком, во плоти и крови. Впрочем, без крови. Когда она убежала в своей изорванной юбочке, он остался ждать ее возвращения: предстоял монолог в Тауэрской башне. Фредерика вернулась и в монологе превзошла себя, дав впечатление какой-то холодной, льдом скованной истерики. *Ego flos campi*. Каменные

женщины не кровоточат. Ни капли крови не пролью я… Александр чувствовал, что его намерения отвердевают в камень.

В антракте он хотел поговорить с ней, но к нему прилип Том Пул, чьих откровений он отныне не хотел. Пул умолял его выслушать. Александр сказал, что Пулу достался не тот поэт, что было для деликатного Александра довольно едко.

— Эдмунд Спенсер, — сказал он, — сладостный певец сладчайшей супружеской любви. Автор, по словам К. С. Льюиса, прививший любовной эпике нежную чувствительность. Будь я на твоем месте, что, к счастью, не так, я бы немедленно вернулся в лоно супружества!

Пул, казалось, не заметил ни едкости, ни неловких попыток каламбура. Торжественно он объявил, что нашел врача.

— И знаешь, кто помог? Сама Марина! Она говорит, ее карьера раньше зависела от надежных врачей. А у врачей — хорошие частные клиники… Теперь ее гражданский долг — советовать их девушкам, попавшим в беду. Осталось только уговорить Антею и все это устроить — приятного мало, конечно. К тому же нужны будут деньги: с моей зарплатой это не шутки, а у Марины все знакомые первоклассные, включая гинекологов.

— Не стесняйся, возьми у меня. Пьеса, похоже, окупается изрядно. А если Антея боится, так это можно понять…

— Она не боится, а злится, что не сможет поехать на французский курорт. И говорит, что ненавидит, когда врачи лезут в нее руками.

— Может, это эвфемизм? Обозначение будущей потери?

— Мне бы твою наивность.

Тут оба выпили по стакану неразбавленного виски.

Фредерика, не желая расстаться с прелестным костюмом, в котором столько раз выходила на сцену, отправилась бродить по парку, где встретила Антею в белом прозрачном шелку, мишурной короне и кружеве с серебристой каймой. Антею рвало в лавровый куст.

— Как ты? Ничего?

— Сама видишь, что плохо. Находит такими мерзкими волнами… Но если сейчас стошнит, можно идти дальше махать мечом и снопом и голова кружиться не будет. Я себе оборки не запачкала?

— Только чуть-чуть.

Фредерика помуслила платок и принялась оттирать Антеины кружева. Вдоль одной оборки

тянулась ниточка зеленоватой слизи.

— Ты, я думаю, догадалась, что я залетела.

— И что ты будешь делать?

— Аборт, что еще? Нужно только уговорить родителей отпустить меня на неделю-другую в Лондон. А там Марина поможет.

— Она-то с какой стати?

— Вообще-то, это она нашла и врача, и клинику, и все прочее. Она все устроит.

— Тебе, наверно, паршиво…

Мраморно-белая Антея-Астрея в густеющем золоте вечера посмотрела на рыжую, любопытную Фредерику:

— Меня тошнит. Постоянно тошнит. От всего мерзко: от секса, шампанского, клубники… Публика хлопает — у меня в голове звенит. Одежда вся мала. Все опротивело, если хочешь знать. И страшно бесит, что я дала себя так провести. Я думала, на приличного мужчину можно положиться… ну, ты понимаешь. Ничего, теперь умней буду. А если ты считаешь, что я дрянь бесчувственная, то подумай, какой я еще могу быть в моем прекрасном положении?

Она, чуть запнувшись, зашагала прочь, светлая фантастическая фигурка, готовая в последний раз представить на сцене Большую маску…

– *Redit et virgo, redeunt Saturnia regna,* — анахронически возгласил Томас Пул; сноп изобилия и меч правосудия лишь слегка покачнулись в руках недвижной Астреи.

Фредерика чуть не в слезах разыскала Уилки. Уилки, в последний раз блеснувший в сцене «несси-восси!», увидел, что дело неладно, и тут же приобнял ее:

— А ну признавайся, что стряслось?

— Ничего. Это Антея. У Антеи несчастье. Мне грустно.

— Никакого несчастья, а просто красотка залетела. Это легко исправить.

— «Исправить» — мерзкое слово!

— Согласен. Я лично считаю, что профилактика лучше лечения. Но тут, видно, говорила страсть. Да, нехорошо. Надеюсь в своих похождениях подобного избежать. А как твои успехи?

— Не знаю. Не могу решиться. Мне страшно.

— Да ты, дитя мое, динамщица…

— Так вот как это называется. Запомню. Но я не такая, и тебе это известно. Я просто не знаю, как быть: я же наврала, а если будет кровь… или еще что? Что тогда делать? Он-то не знает, что я… А я не знаю ни что делать, ни как. Мне страшно.

— Говорят, моря крови — это в основном миф.

— Да? Но ведь мифы откуда-то берутся. Значит, у некоторых бывает кровь. Почему тогда не у меня? И хватит твоих шуточек! Я не динамщица, но и не дрянь бесчувственная, как Антея про себя говорит… Я бы не смогла, как она. Нет, правда! Ты посмотри на Стефани: она вся светится. И вообще, все не так просто. Малыши бывают чудесные, это готовые, живые люди и все такое. Правда, сама-то я вряд ли захочу ребенка. У Стефани, я думаю, тоже страсть заговорила, только ей хватило смелости ребенка оставить. Впрочем, оба примера не для меня. Что же мне делать?

— Ну-у, — начал Уилки, — мои планы тоже несколько нарушились. Я хотел после пьесы на пару дней сгонять на побережье с моей девушкой. Но она застряла в Кембридже, и я остался один. Хочешь, вместе съездим? У меня мотоцикл. Просто так покатаемся.

— Не могу. У меня же родители. И Маркус. И Александр, Александр, Александр… Не могу.

— Зря. Развеялись бы. Кучу проблем решили.

Фредерика мрачно улыбнулась:

— Не боишься динамщиц?

— В твоем случае нет, ибо ничего от тебя не желаю, кроме компании. А коли *ты* пожелаешь — тебе тоже бояться нечего, ты в меня не влюб-

лена до полного идиотизма и не врала мне про любовные подвиги… Так что горизонт наш светел. Ну что, поедешь?

— С тобой, Уилки, никогда не поймешь, чего ты хочешь.

— О, это просто. Я хочу быть лучшим. Все остальное — включая людей — вопрос второй важности.

— Лучшим — в чем?

— Во всем. Вот что меня по-настоящему мучит. Не сплю ночами. Если ты лучший во всем — что же делать дальше? А насчет поездки подумай. Завтра я выезжаю. Заеду за тобой, либо умчу к морю, либо прощусь навеки.

Солнце садилось над последней сценой последнего спектакля «Астреи». Большинство актеров спрятались за кустами и деревьями, чтобы видеть ее. Александр с Лоджем сидели наверху амфитеатра и наблюдали зрелище, которого многие из публики были лишены: одинокую алую черту закатного солнца. Бывали вечера, когда светило во славе и крови огромным шаром закатывалось за особняком, террасой и подушкой, на которой умирала королева. Бывало, что к ночи павлиново-синее небо пересекала роскошная серебристо-багровая полоса. Сегодня тяжелые

тучи громоздились все выше, опережая ночной мрак, и свет, падавший на Марину Йео, пришлось усилить прожектором с фасада. Контраст получился резковат, много драматичнее, чем сочла бы допустимым сама Елизавета.

И вот она сидела в последний раз на огромной, бежевого шелка подушке, в белой сборчатой сорочке и высоком рыжем парике, теперь уже явно ее тяготившем. Платье Елизаветы II, украшенное многими ярдами плиссированного льна, надетое ради простого и таинственного мига коронации, повлияло-таки на конечный вид сорочки, об истинном весе которой не мог бы догадаться зритель — так легко носила ее Марина, так легко кружилась в ней, так послушно следовал за ней шлейф. Лишь когда смерть начиналась всерьез, тяжела становилась ткань.

Она сидела, как сказано в летописях, мифах, в Александровой пьесе, по-детски прижав палец к губам, и, поскольку то была драма в стихах, говорила пышно и сбивчиво о природе вещей, об одиночестве, девственности, власти, о наползающем мраке. Сутулый Роберт Сесил озабоченно спускался и подымался по лестнице. Две женщины, похожие на прислужниц шекспировской Клеопатры, ждали неподвижно. У подушки были

швы, отделанные крученым шнуром, и кисти из шнура по четырем углам. Королева говорила об Англии, лепетала о зеленых полях, сердито вспоминала о кольце, которым обручилась с Английским Краем, — безымянный палец искривился от старости, и пришлось его вместе с кольцом отпилить[318]. Этот безымянный она звала «женишком» — не очень-то вероятно, а вдруг помнила все же детскую считалочку о пальцах на руке? Королева говорила о круге перемен, об Овидиевом Веке Златом, о молочных реках и вечно зреющей, неиссячной пшенице. Потом умолкла.

Лодж ткнул Александра локтем в ребра:

— Моя лучшая сцена, театр, как ему быть положено.

Медленно-медленно прямая, упористо сидящая фигура с головой-башней в бесценных каменьях склонилась на подушку. Мисс Йео, умирая, могла удерживать внимание зрителей несчетно, безбожно долго. Рыжий парик откатился в сторону, напомнив многим отрубленную голову Марии Шотландской, выпавшую из парика. Смертельно бледная женщина с белыми волосами канула в кремовые складки шелка. Забилась, забилась,

[318] Примечания: 318

История с отпиленным при жизни пальцем в источниках найдена не была.

борясь со смертью, и замерла, как сияньем ранней зари окруженная складками сорочки. Две фрейлины подошли и любовно расправили ткань и сведенные члены, превращая королеву в памятник самой себе. Вложили алую розу меж сомкнутых ладоней Тюдоровской Розы, Глорианы, Астреи. Из-за ранней темноты и яркого прожектора все было еще белей обычного, и актриса казалась безлицей, только выдавался клювастый нос, который ей сегодня в последний раз бережно вылепили в гримерной. Теперь, когда все видели королеву лежащей в смерти, можно было ее унести, что и было сделано, а она пребывала белой, мягкой, недвижной.

— Тут слегка приврано, — сказал Лодж. — Старая ведьма под конец залезла-таки в кровать. Но это — настоящий театр. Как быть положено.

Пьеса кончилась. На террасе грустно прощались актеры, уже в обычной одежде, лишенные костюмов, которым предстояло теперь в плетеных корзинах разъехаться по театральным музеям, включая Стратфордский.

Уилки почему-то велел в знак скорби разбить инструменты бутылочного оркестра. Выбрал место на конюшенном дворе и велел все швырять туда. Мальчишки поменьше ликовали от

звона и дребезга, но многие плакали: им хотелось сохранить свои бутылки на память. «Какая польза, — сказал Уилки сим ренегатам, — от одной ноты, если погиб оркестр? В мире полно пустых бутылок, и все они к вашим услугам. Дуйте, сколько душе угодно». Нет-нет, оркестр подлежал полному уничтожению. Впрочем, Уилки сохранил свои схемы, и однажды музыка сфер зазвучит снова. Пока же он не желал, чтобы его идею опошлили. К тому же осколки так красиво блестят… Мальчишки швыряли и швыряли бутылки, мир крошился на осколки и гремел нестройно.

Фредерика подошла к Кроу, который, казалось, с большим вниманием слушал здравые советы, что Марина давала Антее Уорбертон. Поблагодарила его за все, что он для нее сделал. Уже менее решительно попросила об аудиенции: посоветоваться насчет будущего. Кроу самым любезным своим голосом заверил ее, что рад будет помочь советом — если ей это кажется таким нужным. Протянул ей стаканчик — Фредерика испугалась было, что это очень сладкий шерри, но было не похоже.

— А о чем, собственно, ты хотела посоветоваться?

— Я всегда хотела стать актрисой, — начала

Фредерика. — Может быть, с такими отзывами, — (она не решилась сказать «с такой ролью на счету»), — я могла бы пробоваться в театральное училище или даже в репертуарный театр? Попытаться развить успех? Я всегда хотела связать карьеру с театром. Вы не подскажете, с чего мне хотя бы начать?

Кроу улыбнулся и похлопал ее по плечу. Потом улыбнулся еще шире:

— Подскажу. Хотя подсказки Лоджа или, может, даже старины Александра будут тебе полезнее. Но ты просишь моего совета, и ты его получишь, дитя мое. Приготовься же. Чтобы сделать карьеру на сцене, ты должна, во-первых, — голос Кроу был мягче шелка, — обзавестись новым лицом и телом. А затем научиться играть кого-нибудь, кроме себя самой. Возможно, все это удастся тебе каким-то чудом, но и тогда сделай, как советует твой папа: поиграй в актрису в каком-нибудь кружке, а потом сделай ставку на превосходные отметки, о которых все мы *даже слишком наслышаны*. Собственно, *играть* ты ведь не способна. Тебя взяли за внешнее сходство, а такая удача повторяется редко. Ты вот справедливо заметила однажды, что прелестную Антею взяли «за красоту и грацию». Но дело в том, что *на сцене в целом*

эти ее качества ценятся капельку больше, чем твои. Я согласен, лучше бы Антея поменьше щебетала, но идеал, как известно, недостижим, хотя театральные училища битком набиты юными особами, сочетающими красоту, грацию, голос и толику того особого, совершенно необходимого актрисе ума, которым ты, увы, обделена.

— Понятно, — сказала Фредерика.

— Не сомневаюсь. Позволь еще раз поздравить тебя с прекрасной ролью, ты превзошла все ожидания, даже мои. Интуиция нас не обманула. Желаю тебе всевозможных успехов в Оксфорде, Кембридже или другом подобном заведении. А мне пора вернуться к милой Антее и ее временным, но серьезным неприятностям. До свидания, Фредерика.

В тот прощальный вечер у гримировального зеркала к вазелину примешались слезы. Правда, совсем немного, ибо Фредерика была неистово горда. Она незаметно подглядывала за сидевшей рядом Мариной. Марина была безобразна. Возможно, она никогда в жизни не была красива. Хотя вполне могла таковой казаться. В словах Кроу была, конечно, месть за побег с Солнечного ложа, но Фредерике хватило ума не только уловить, но и признать: в целом Кроу был прав. Ну

что ж, так, значит, оно и есть.

Фредерика искоса поглядывала на Дженни, она казалась возбужденной, но не такой поникшей, как раньше. Критически осмотрела себя. Кроу прав: лицо странное, но какое-то неинтересное. Лицо школьной учительницы, с веснушками, с острым подбородком и мелким, выдающимся вперед ртом. Грудь — Фредерика в последний раз потянула за китовый ус корсета — даже не грудь, а какие-то узелки торчащие, и все у нее торчит: локти, колени, и прожектор все это подчеркнет… Сзади подошел Александр.

— Подвезти тебя?

— Возьми лучше миссис Перри.

— Ее, я думаю, заберет муж.

— Обычно он за ней не приезжает.

— Сегодня последний спектакль. Ну не будь такой правильной. Фредерика, поедем!

И она согласилась. Дала увести себя из гримерной, причем оба даже не оглянулись на Дженни. Сидя рядом с ним в машине, Фредерика тихо заплакала.

— Что случилось, любовь моя?

— Кроу говорит, я слишком некрасивая, чтобы быть актрисой. И я могу только себя играть. Раздобудь, говорит, себе новое лицо. И ужас в том,

что он прав.

— А зачем тебе быть актрисой? С твоим-то умом! И ты вовсе не некрасивая.

— Правда?

— Помнишь, что Лодж сказал, когда впервые увидел тебя: своеобычная суховатая сексуальность. Я тогда был еще слеп и упрям. А ведь он и половины не сказал. Ты… каждая твоя клеточка… ты единственная женщина — я клянусь, — которая меня так… до такой крайности… Ну вот, надеюсь, позабавил тебя.

— Это не забавно, — медленно проговорила она. Ей было страшно, что Александр мог подумать, будто разговор о любовных крайностях может ее позабавить. Ее-то, ничего не знающую дуру. Она хотела другого Александра: недостижимого, невыразимого, замкнутого от всего мира.

— Фредерика, я люблю тебя. Ты невозможно, нелепо юна, и вокруг у людей все рушится, и все это с самого начала обречено… Но я люблю тебя.

— Я всю жизнь любила тебя.

Машина выехала из Лонг-Ройстона, и, когда они миновали домик привратника и кованые ворота, Фредерика вдруг поняла, что больше сюда не вернется. До тех пор, по крайней мере, пока университет не поменяет полностью лик усадь-

бы. Раньше ей представлялось, что она будет здесь частой и желанной гостьей: будет бродить по лужайкам, кухонным садикам, конюшенным дворам. Откуда-то сзади донесся звук бьющегося стекла. «Умолк напев тот»[319]. Было и впрямь чувство, что они изгнаны из рая. Не хватало только звона захлопнутых ворот, но в воротах уже выстроились другие уезжающие.

Александр подлетел к Замковому холму, затормозил между ниссеновскими бараками и жадно прижал к себе Фредерику. Таким новым для него движением рвал на ней белье… Фредерике было больно: Александр царапал ее ногтями, больно дергал за резинки и волоски.

— Я должен, должен, — твердил он, и теперь не в состоянии выговорить глагол. Если раньше Фредерика боролась, стремясь разбудить в нем желание, то теперь боролась, чтобы сохранить себя, свою нетронутость.

— Не здесь, не сейчас, — увещевала она. Александр сражался, но не слишком решительно. Им больно упирались в бока ручной тормоз и рычаг переключения скоростей. — Александр, послушай! Я что-нибудь придумаю. Я приду завтра

---

[319] Примечания: 319
Отсылка к «Оде соловью» Джона Китса.

— обещаю. Только отвези меня сейчас домой. Прямо сейчас. Я не могу больше, я себя грязной чувствую. Пожалуйста!

— Конечно.

И он отвез ее домой. Они договорились встретиться завтра, может быть, на железнодорожном мосту над Дальним полем, и просто погулять. Уйти ото всех подальше, обдумать, как им быть. Как только Александр уехал, а она оказалась одна в своей узкой постели, ее захватило странное, запоздалое желание гладить его шелковую кожу, дышать запахом волос, освободить всё… освободить…

Она уснула с кулаками, сжатыми от желания и гнева.

Александр, бессонный, стоя у окна своей башни и глядя на луну и теплицы с помидорами, стал невольным свидетелем возвращения Лукаса Симмонса. Лукас вернулся тем же путем, что и уехал, только теперь машина медленно и одышливо петляла по траве и цветам. Холодно и равнодушно Александр проследил, как встрепанный Симмонс вывалился из машины и, оставив дверь настежь, пьяным шагом двинулся к своей башенке. Александр думал было спуститься и помочь ему, но не смог себя заставить — да и чем он мог

помочь там, где в окна заглядывают демоны, а на пороге возникают бутылки с кровью? Лучшее лекарство для Симмонса сейчас — сон. К тому же Симмонс был ему теперь неприятен. Все это может подождать до завтра. Симмонс жив и бредет домой, — вполне возможно, Маркус Поттер все порядком преувеличил…

41. Уродский прудик

На другой день было воскресенье. Маркус проснулся у себя дома, с облегчением услышал сип и свист собственного дыхания, ощутил знакомую боль в груди, открыл тяжелые веки, закрыл и провалился в сон без сновидений. Он был болен, а значит, освобожден от ответственности.

Александр всю ночь промучился бессонницей и теперь стыдился, что не помог вчера Симмонсу. К тому же он вспомнил, что с минуты на минуту может нагрянуть чета Перри с новыми планами на его жизнь, и, мешая трусость с отвагой, решился выйти на улицу. По галерее дошел до башенки Симмонса, увидел внизу освещенную солнцем кристально чистую бутылку с молоком, закрытую золотистой крышкой, и легко взбежал по лестнице наверх. Дверь в комнату Симмонса была открыта. Александр постучал. Никто не отозвался. Александр вошел, заметив, что постель примята, как будто ночью в ней спали, а пижама небрежно брошена на подушку, словно хозяин ее спокойно переоделся поутру и ушел по своим делам. В комнате пахло потом и тостами. Александр подумал, что не его дело открывать

окно. Он решил пойти к Фредерике, а к Симмонсу заглянуть позже.

Фредерике было непросто выбраться из дому: Билл с утра успел затеять бессмысленную ссору с Уинифред по поводу беременности Стефани. Тот факт, что Уинифред ни сном ни духом не была повинна в зарождении их будущего внука, не мешал Биллу порицать ее. Теперь понятно, говорил он. Это… существо зачато вне брака. Вот они, хваленые принципы церковников! Билл этого так не оставит, он подвергнет Дэниела публичному осмеянию.

Неожиданно для себя и для всех Уинифред расплакалась. Она плакала не из-за Стефани, которой мучительно завидовала, а из-за Маркуса, которого любила и которому не смогла помочь. О Маркусе она с Биллом не заговаривала, боясь, что тот измыслит нечто новое — например, учинит допрос Лукасу Симмонсу, если, конечно, сумеет его найти. Любое действие ее супруга заведомо было хуже бездействия. От этой мысли она заплакала еще горше, а Билл еще громче заорал в ответ.

Когда Фредерика сказала, что идет гулять, Билл заявил, что никуда она не пойдет. Уинифред спросила: а почему нет? Тогда Фредерика ретиро-

валась на кухню и просто вышла через заднюю дверь. И вот она уже на воле, одна, и солнце светит. И тело ее принадлежит только ей, и искры перебегают внутри от надежды и страха. Она побежала через Дальнее поле, зная, что Александр ждет ее, так же твердо, как то, что трава пружинит под ногой, а поезд погромыхивает на горизонте.

Когда поезд приблизился, она увидела, что пассажиры прилипли к окнам, кричат и возбужденно машут руками. Сперва она решила, что они узнали ее — теперь ведь ее лицо известно многим. Потом подумала, что в спешке забыла какой-то важный предмет одежды — это было все же более вероятно. Она остановилась и огляделась вокруг.

Александр с моста и Фредерика с регбийного поля одновременно увидели в Уродском прудике голую мужскую фигуру. Мужчина громко пел. Медленно приближаясь к нему с двух сторон, Александр спереди, а Фредерика со спины, они узнали Лукаса Симмонса. Фредерика — по курчавым волосам и выступающему заду, Александр — по напряженно наморщенному малиновому лицу. Длинным шестом, зажатым в левой руке, Симмонс перемешивал черную, густую, мягкими

кругами идущую воду пруда. Давно не чищенный Уродский прудик был, видимо, глубже, чем кто-либо предполагал. Стоячая вода, вздыхая, плескала выше Симмонсовых пухлых колен.

Пение состояло частично из «О приди, приди, Адонаи!» с бесконечно растянутыми, вибрирующими гласными, а частично из Мильтоновой версии 136-го псалма, которую исполняли в школе на воскресной службе минимум дважды в триместр. Фразы то и дело обрывались и падали в лениво плещущую воду. Когда Симмонс забывал слова, он с лихорадочной злостью принимался бить по воде. Вспомнив строчку, он с неподдельным восторгом ворочал шестом в черной жиже. Волосы на голове и теле у него были тщательно убраны цветами: безымянными сорняками, белым дягилем, лиловым аистником, красными соцветьями аронника, желтым лядвенцем, крупными ромашками, колосками костеря и заячьего ячменя, шелковистыми, кудрявыми, чуть липкими веточками гусятника.

Подойдя ближе, Александр увидел, что в правой руке Симмонс держит острый мясницкий нож, а ляжки изнутри у него покрыты мелкими, а может, и крупными разрезами, поверх которых уже запекается, блестя и тускнея, кровь.

А потом Александр понял, что Симмонс безумен. Никогда не ожидал он увидеть человека столь явно, торжественно, типично сумасшедшего. Но не было сейчас времени ни воображать внутреннее состояние Симмонса, ни продумывать план действий. Александр подумал, что должен смело к нему подойти. Подошел как смог.

— Симмонс! Симмонс, старина, что это с вами? Вам помочь?

Симмонс с яростно-сосредоточенным выражением смотрел на солнце и пел. Александр приблизился к кромке пруда. Симмонс зашлепал к нему навстречу и вдруг сделал страшный выпад ножом. Александр отступил. Он вспомнил про Фредерику и замахал ей рукой, чтобы уходила. Фредерика подошла ближе. Симмонс повернулся к ней, и она увидела наконец его цветочную корону в увядающей красе, и панцирь из цветов, и поникшие лиловые цветки, вплетенные в мягкие волосы у него в паху. Еще увидела кровь и нож.

— Беги домой, — проговорил Александр. — Беги, девочка, домой и позови подмогу.

— Не надо помощи. Не надо, — пропел Симмонс.

— Беги, — прошипел Александр.

Фредерика побежала.

Александр присел на корточки у края пруда, на некотором расстоянии от Симмонса, и как зачарованный рассматривал его фаллос: очень крупный и, хоть окровавленный, но прямой и твердый. Симмонс взрезал шестом черную гладь, шлепал по ней и пел сладостным голосом, порой забывая слова и сердито обрывая куплет.

Александр с тревогой подумал: «А что делать, если этот сумасшедший ринется на рельсы или попытается себя кастрировать?» Симмонс медленно поворачивался. Александр решил, что в целом предпочитает вид сзади.

Фредерика ворвалась в разгар большой семейной ссоры, усугубленной присутствием Дэниела и Стефани, решивших, без особой, впрочем, надежды, прийти и лично извиниться за зачатие новой жизни.

— Помогите! Помогите! — завопила она. — Лукас Симмонс совершенно спятил, залез в Уродский прудик, угрожает Александру ножом! Совершенно спятил, я не шучу. Весь украсился цветами, как король Лир или любовник леди Чаттерли. Сделайте что-нибудь! Говорят, там пиявки в пруду. Вода абсолютно черная, он жутко выглядит и все время что-то поет.

— Звони в «скорую», — сказал Дэниел Стефани. — А ты не ори, — обернулся он к Фредерике, но было поздно. На лестнице, бледный и дрожащий, возник Маркус.

Стефани объясняла кому-то по телефону, что нужна «скорая», что ехать в Дальнее поле, на середину регбийной площадки школы Блесфорд-Райд. Нет, не несчастный случай. Наверное, нужна будет полиция — там человек с ножом, нужно его как-то связать.

— Можно бы не так упиваться, — зло сказал Дэниел Фредерике.

— Я не упиваюсь, это мой способ самовыражения, и вообще я пришла за помощью, что тебе еще нужно? — выкрикнула Фредерика, вскинув голову, как Менада, вся пылая от драматизма ситуации и чувства собственной значимости.

— Надо, чтобы ты не орала на весь дом.

Фредерика огляделась, явно не понимая, в чем ее обвиняют. Маркус тем временем тихо сошел по лестнице и потянул Дэниела за рукав:

— Вы сейчас туда пойдете? Можно, я с вами?

Дэниел переключился на новую опасность:

— Тебе не нужно.

— Я знал, что будет что-то ужасное. Я должен пойти, я за него в ответе.

— Раз должен, значит пойдешь. Но если от тебя там станет хуже или просто я так велю, вернешься домой. Понял?

— Он никуда не пойдет, — сказал Билл.

— Это его жизнь, — отвечал Дэниел. — А вы хорошо устроились, вообще в ней не участвовали. Теперь у него друг попал в беду, и, если он хочет помочь, я считаю, это его право.

— Этот Симмонс сумасшедший, — буркнул Билл.

— Может, и я тоже, — сказал Маркус, бледными пальцами тихонько перебирая у Дэниела рукав пиджака. — Может, я смогу его успокоить. Он… Он раньше меня слушал.

— А ты будешь слушать меня, — рявкнул Билл.

— С чего бы? — Дэниела, как он потом признался, так довел Билл, что, может быть, он и не слишком ясно видел ситуацию с Маркусом.

— Я должен туда пойти. Если… Если что-то случится, я на всю жизнь буду виноват.

— Тогда пошли, — сказал Дэниел.

Стефани тоже потянула его за рукав:

— Стоит ли?

— Лучше пусть он сам увидит, чем будет воображать бог весть что. Пошли.

Все они друг за другом прошли по садовой до-

рожке и вышли в Дальнее поле. Маркус нетвердо шагал между Дэниелом и Стефани, за ними брели Билл и Уинифред. Фредерика, подавленная недавним конфузом, мрачно и решительно шагала последней. Когда они дошли до пруда, Лукас по-прежнему стоял в воде и пел чуть охрипшим голосом. Александр так и охранял его, сидя на корточках, совершенно бесполезный. Дэниел сразу подошел к Лукасу:

— Мы за тобой.

Лукас отвернулся и двинулся по кругу.

— Зачем? — спросил Дэниел.

Ему было бы много легче одному. Поразевавшие рты зрители ему мешали. Он меж тем искренне хотел знать, зачем Лукас забрался в пруд, голый и убранный цветами.

Симмонс стал размахивать ножом. Маркус рванулся к нему:

— Сэр, сэр, не надо так! Надо было мне с вами поехать, я и сам знаю. И вы зря думали: ничего не изменилось, и я во все верю: в фотизм и в травы, сэр. Мы же сами все видели, и доказательства научные есть. Только не нужно так, сэр.

Лукас обернулся к нему, склонил голову, как бык, и гневно уставился на Маркуса. Маркус шагнул вперед и протянул ему руку:

— Пожалуйста, выходите.

Вполне сознательно и прицельно Лукас жидкой черной слизью пруда обрызгал Маркусу чистую рубашку, серые брючки, белое лицо:

— Уходи. Ты злой… А ты нет.

Лукас снова принялся бить по воде. Издалека по буграм пробиралась машина «скорой помощи».

— Кто? — спросил Дэниел.

Фельдшеры и полисмены шли с носилками, смирительной рубашкой, алым пледом. Солнце палило.

— Кто?

Лукас отчаянно оглядел собравшихся: Поттеры, Поттеры, хрупкий Александр, спокойный Дэниел. Лукас вышел из чмокнувшего пруда, подошел к Стефани и спрятал горячую голову у нее на груди. Так и стоял, гротескно горбатый, потому что она была маленькой женщиной, гротескно пестрый: черная грязь, красные ляжки, белый торс, пунцовая шея и пятна цветов. И она, тяжело дыша животом, обняла его и сказала бессмысленно-утешительно: ничего, это ничего.

— Я же говорил тебе, говорил: у меня нет своей жизни. Я никого не трогаю.

— Это ничего.

— Уничтожители идут.

— Нет, нет. Ты просто поедешь с ними и отдохнешь немножко.

— Не верь им. Я там уже был. Никакого там отдыха, никакого покоя. Только белые лампы. Они уничтожают разумное время и пространство. Я с ними не поеду.

Пошатнувшись, он выпрямился и стал размахивать ножом. Полицейские и фельдшеры забежали сзади, повалили его, отобрали нож, запихали в машину «скорой помощи» и закрыли дверцу.

— Куда они его? — спросил Маркус.

— Наверное, в Калверлейскую больницу, — ответил Дэниел, — там есть психиатрическое отделение.

— Там не очень плохо, в этом отделении?

— Нет, бывают места и лучше, и хуже. Ему там будет спокойно.

— Но он не хочет…

Когда вернулись домой, Маркус ужасно хрипел, и Уинифред заставила его снова лечь в постель. Александр стоял рядом с Фредерикой и слушал лекцию Билла о безнравственности отношений с учениками, выходящими за рамки циркуляра. Стефани села и закрыла глаза. Она до сих пор ощущала на руках жар, исходивший от Лукаса.

Мокрым ртом он прильнул к ее груди. Она теперь никогда не избавится от этой жалости. Ей хотелось вымыться. Билл объявил, что пойдет к Маркусу, как следует с ним поговорит и выяснит, чем они там занимались. Мальчик должен четко понять, что эта мерзость прекратилась и больше не повторится.

— Через мой труп, — сказала Уинифред. — Ему сейчас нужно побыть одному. Не нужно на него давить, не нужно расспрашивать. Оставьте его в покое.

Уинифред была права, но она так неожиданно взяла верх над Биллом, что к Маркусу до вечера никто не пошел. А вечером выяснилось, что, несмотря на приступ астмы, он открыл окно в своей комнате и исчез. Два с половиной дня понадобилось Биллу и Уинифред, чтобы найти сына, хотя разгадка лежала на поверхности. Билл начал с нелепых предположений, что «у мальчишки все в порядке» и «он просто пошел прогуляться». Уинифред была убеждена, что Маркус погиб — скорее всего, покончил с собой. Когда Билл наконец согласился позвонить в полицию, много времени ушло на прочесывание пустырей и речек. Александр безрезультатно ездил по проселкам. Уилки, призванный Фредерикой, с ревом

носился на мотоцикле, проверяя каналы и густые заросли. Дэниел догадался позвонить в Калверлейскую больницу, где ему сообщили, что там нет ни Маркуса Поттера, ни Лукаса Симмонса. Последний был осмотрен и под транквилизатором перевезен в «Седар маунт», большую психбольницу с собственной огороженной территорией, расположенную в сельской местности милях в двадцати пяти от Калверли. Дэниел позвонил туда. Там сказали, что Лукас по-прежнему находится под действием транквилизаторов, а Маркуса Поттера никто в больнице не видел.

Фредерика везде ездила вместе с Александром. Ее одолевало странное чувство, словно разум ее раздваивается. Ей представлялась то алая нагота Симмонса, то пустое, безликое лицо брата, но соединить одно и другое она не могла никак. Иногда наплывала волной теплая усталость, а с ней — желание, и она скользила ладонью по ногам Александра. Иногда в ответ по нему пробегала дрожь желания, иногда — раздражения. Он тоже не мог сфокусировать мысль на чем-то одном, будь то чуждая ему трагедия или желанная девчонка, сидящая рядом. У него были рассованы по карманам несколько записок от школьной секретарши, сообщавшей, что ему звонила мис-

сис Перри, а иногда и ее супруг, но ему удавалось ускользать от обоих. Он хранил еще два толстых письма от Дженни, которые так и не распечатал. Подобно Фредерике, он постоянно и болезненно возвращался к воспоминаниям о пунцовой наготе Лукаса.

А Маркус тем временем шел. Дэниел был прав, когда, поверив инстинкту, позвонил в больницу. Но время не сошлось, а сестры в справочной ничего не знали и путались. Сперва Маркус проселками пошел в Калверли. Кружилась голова от движения, но дышать понемногу становилось легче. Он был убежден, что как-то невольно оборвал нить, связующую Лукаса с реальностью, а вместе с ней и собственную непрочную, лишь благодаря Лукасу существующую связь с повседневной жизнью. «Нужно было поехать с ним к курганам и там погибнуть», — думал он, хоть и не очень понимал, чем это было бы лучше. Он шел, и пыльца придорожных трав летела ему в лицо. Отекали глаза и слизистая горла. Никаких сообщений не приходило, но его не отпускал страх, что свет готов вот-вот его захлестнуть — враждебный свет, только и ждущий, чтобы он вышел из-под защиты привычно-нелепых повседневных мелочей. К страху перед враждебным светом

добавился у него страх перед собственным домом на Учительской улочке — теперь это была система квадратных черных коробок, где бродишь без конца в невыносимой жаре, упираешься в тупик и начинаешь снова…

В Калверли пришлось вести себя хитро́. Улицу нашел на плане, вывешенном перед собором, запомнил и двинулся к ней по кольцевой дороге — так не собьешься, но ужасно долго, пыльно и шумно. Добравшись до больницы, Маркус почувствовал, что выглядит странно. Это было опасно. Он действительно странно выглядел из-за всего, что пришлось ему пережить, из-за голода, сенной лихорадки, астмы, усталости. Есть он не хотел и не мог и потому уже два дня был без пищи.

Маркус присел в парке на скамейку и позволил себе тихо проплакаться: это было хитро, потому что он смог расслабиться и добиться от себя нормального голоса, каким можно было попросить о посещении пациента по фамилии Симмонс. Он ладонями отряхнул запыленные штаны, вытер носовым платком ботинки, а потом им же с меньшим успехом попробовал протереть очки. Встал, чуть пошатываясь, и дал себе расходиться, чтобы бодрым шагом войти в вестибюль больницы. Он поправил пыльные очки на пыльном лице,

установил правильное направление и пошел.

Маркус ненавидел больницы и боялся их. Боялся запахов, эха, деловитых сестер и медлительных больных. Он нырнул меж створок двери и обратился к дежурной писком, волшебным образом перешедшим в нормальный, вежливый, бесцветный голос. Голос и вид пришлось сохранять полчаса, пока его переводили из одной стеклянной клетки в другую, передавали от сестры к сестре и, наконец, к медбрату, который сказал, что Симмонса перевели в загородную больницу.

— В какую?

Медбрат был добр: написал ему адрес на бумажке и даже нарисовал карту, шкала которой, по счастью, в ту минуту не имела для Маркуса значения. Маркус молча кивнул в знак благодарности, боясь, что случайный писк или дрожь в голосе выдаст его.

Следующие два дня он пешком шел до больницы «Седар маунт». Он снова «схитрил», переночевав на покосе ради сохранения того, что он нелепо называл своими «силами». Об этом походе он мало что запомнил, кроме того, что пыль, пот и слезы запеклись у него на лице, как посмертная маска, и что он пил из довольно мерзкой лужи, а потом ему было плохо, а потом он набрел на

вполне приличную водопойную колоду. Он наверняка — этого, конечно, никто не измерил и не знал — прошел много, много больше миль, чем требовалось. Несколько раз ненароком проходил мимо больницы, пока не уперся в ее высокую стену. Вдоль стены, то шатаясь, то мелко семеня, дошел до ворот, за которыми была дорожка. Протиснулся в ворота, по дорожке добрел до здания больницы. «Седар маунт» была как Блесфорд-Райд, только много больше. Та же викторианская готика, тот же меценат, блистательный предок нынешнего Кроу, завещавший больнице принципы гуманизма, прославившие Йоркскую клинику для душевнобольных.

Маркус слишком устал, чтобы действовать хитро. Он тяжело поднялся по лестнице, вцепился в чей-то белый халат и сказал, что пришел навестить своего друга мистера Лукаса Симмонса, но, кажется, немного опоздал. Последнее замечание должно было хоть как-то объяснить его одышку и раскрасневшееся лицо. Он пищал, и свистел, и дал астме разыграться орга́ном, чтобы скрыть дрожь в непослушном голосе. К слову сказать, ему очень повезло: он вцепился в добрую и даже слишком заботливую пожилую буфетчицу, сообщившую, что к мистеру Симмонсу, кажется,

не пускают.

— Что за глупость! — Маркус до удивления похоже изобразил рык своего отца.

— Я сейчас уточню, — сказал добрая буфетчица и увесисто зашагала по коридору.

Маркус двинулся за ней. Вошли в отделение, где старики в ночных сорочках или в рубашках и брюках веселых цветов сидели возле своих шкафчиков или у широкого окна. В конце буфетчица свернула направо в поисках сестры-хозяйки, а Маркус увидел Лукаса. Лукас лежал на железной койке, уставясь в потолок. Его порозовевшее херувимское личико не выражало ничего.

— Сэр! — позвал Маркус. — Я к вам…

Симмонс повернул голову и посмотрел на него.

— Извините, я, наверное, ужасно выгляжу — просто я пешком шел.

— Наше местоположение неизвестно.

— Нет, как раз известно. Это «Седар маунт», такая клиника в очень тихом месте. Я знаю, где она, — я ведь пешком пришел.

Симмонс молча смотрел на него. Маркус подумал: «Он плюнет в меня, он просто закроет глаза. Ему станет плохо». Симмонс все смотрел на него. Потом сказал, бережно подгоняя звук к звуку:

— Присядь.

Маркус сел, вытянул из-под простыни вялую Симмонсову руку и сжал ее. Она дрожала. Маркус продолжал:

— Понимаете, я пришел. Наше исследование — там все было правильно. Просто вам помешали. Вы ведь и волновались, что так будет. И вы мне должны сказать — но не сейчас, а потом, когда будете готовы, — что случилось.

— Что случилось? Ничего. Так, один постыдный эпизод.

— Это не важно, сэр. Главное, чтобы вы поправлялись.

— Они вырезают из меня куски. Но не те, что надо. Из мозга вырезают. Они… Они портят мне память. А потом я потеряю работу. Да, вероятно, так. Не позволяй им, Маркус. Не… Не уходи. Спасибо, что пришел.

Маркус чувствовал, что лишь пыльная посмертная маска не дает ему разрыдаться.

— Я не уйду. Я обещаю вам, что не уйду.

Симмонс проговорил:

— Дай я шепотом.

Маркус приблизил глиняное лицо к губам Симмонса.

— Мне страшно, — с трудом прошептал тот. —

Но это не важно, не важно, что со мной. Ты… Ты настоящий. Настоящее чудо. Не дай им насовать в тебя проводков. Не поддавайся. Не подпускай их к мозгу. Ты нужен Богу.

— Или еще чему-то.

— Богу или еще чему-то, — с мучительной улыбкой повторил Симмонс. — Или мне. Ты ведь не уйдешь.

— Не уйду.

И он не уходил, довольно долго не уходил, хотя Симмонс вел сложную битву с непобедимым врагом. Учитель и ученик плакали, была минута — оба кричали. Когда Лукас прикасался к нему, Маркус от жалости и тоски вцеплялся в койку. Лукасу что-то кололи. Наконец они победили его тело, и Лукас впал в бесчувствие. Под конец своего бдения Маркус сидел над храпящим куском мяса.

Как ни странно, пока в больнице не знали, кто такой Маркус и откуда он взялся, ему разрешали сидеть с Лукасом. Время от времени кто-то приходил, задавал вопросы, но Маркус на все отвечал вежливой улыбкой на пыльном призрачном лице.

Наконец Дэниел, начиная отчаиваться, позвонил в больницу в третий раз, и начальство

очнулось. Маркус поднял усталую голову от стакана с водой (от еды он по-прежнему отказывался) и увидел родителей. Уинифред отвела глаза от тела, лежавшего на койке, а Билл сказал:

— Ну вот. Теперь все в порядке, ты вернешься домой, и вся эта чушь кончится, как будто ее и не было.

Маркус закричал. Он сперва удивился, что может производить столько звука, а потом — что никак не может перестать. Потом обнаружил вокруг себя некую звуковую оболочку. Его отец что-то говорил с серьезным лицом, но голоса слышно не было. Какой-то старик велел Маркусу заткнуться, но тот решил, что обругали Билла, и засмеялся сквозь крик. Вызвали врача. Вызвали крепкого медбрата. Маркус кричал, плакал и получил укол. Билл и Уинифред поговорили с врачами, и было решено, что Маркусу лучше остаться в больнице на ночь. Тут его понаблюдают, и он не испугается, если придет в себя. Потом можно будет всем вместе обсудить дальнейший курс действий. Уинифред позвонила Фредерике, сказала, что Маркус нашелся, но он в больнице и они тут с ним, ночевать не приедут. Фредерика же не боится ночевать одна? Нужно просто запереть хорошенько двери и сказать Дэниелу, который,

кстати, Маркуса и нашел, что она и одна справится. Фредерика отвечала, что справится вполне.

42. Дева в саду

Фредерика отменила поиски. Александра найти не составило труда, что до сих пор поражало ее. Так долго она была в него влюблена, а видела — с огромным прыжком сердца — раз в две-три недели, а то и реже. Теперь, влюбленный во Фредерику, он никогда не забывал сказать ей, где будет или где можно оставить для него записочку. Это желание всегда быть в ее распоряжении для Фредерики было синонимом огромной, пугающей власти.

Уилки было труднее разыскать с тех пор, как кончилась «Астрея». Пока шли спектакли, он снимал комнату где-то в Калверли, но чуть ли не чаще ночевал в Лонг-Ройстоне. Что же до его калверлейского обиталища, которое Фредерика никогда не видела, там висел только платный телефон в коридоре. Обычно звонки на него уходили в никуда, но иногда трубку снимали неизвестные, которые либо понятия не имели, кто такой Уилки, либо видали его, но недели две-три назад.

Фредерика передала в нескольких местах, чтобы Александр ей перезвонил, и стала ждать, не

объявится ли Уилки. И он объявился: с ревом пронесся по улице на мотоцикле, в кожаном пальто и огромных очках-консервах, похожий на вестников смерти в «Орфее» Кокто. Фредерика вдруг поняла, что не очень-то надеялась вместе с Александром найти брата. Глядя, как Уилки снимает объемистый шлем, она осознала, что боялась: Маркуса, страшно покалеченного, найдет Уилки.

— Все в порядке. Его нашли. Он, оказывается, пошел в психушку, куда положили этого Симмонса. Его сперва в одну психушку положили, потом в другую. И Маркус между ними бродил. Врачи говорят, что он болен: то ли с ума сошел, то ли болезнь какая-то.

— Понятно. Ну, тогда я возвращаюсь к своему плану поехать на побережье. Поедешь со мной?

— Не могу. Родители там с Маркусом остались, пока он под наблюдением. Теперь я за весь дом отвечаю.

— За что тут отвечать? Ты могла бы соврать родителям, что заночуешь у подруги. Морской воздух пошел бы тебе на пользу.

— Не глупи. Я так не могу. Зайди лучше выпей кофе.

— Благодарю, но у меня дела. — Уилки стал надевать обратно краги и шлем. — Я остался, только

потому что Маркус пропал. Но я буду объявляться, пока не уеду в Лондон. Береги себя, дитя мое.

Он перекинул ногу через сиденье, несколько раз очень громко дал газ и с ревом умчался, чем-то странно похожий на черного рыцаря. Фредерика вернулась в дом и стала бродить по комнатам. Она никогда еще не оставалась дома совсем одна. Тесноватая тишина и пустота пугали ее, но вскоре все вокруг сделалось понарошным и легкоустранимым. Это было приятно. Ваза, которая никогда не нравилась Фредерике, отправилась в кухонный шкаф. Вдохновленная, Фредерика вернулась в гостиную и избавилась от семейных фотографий, стоявших на бюро. Свое детское фото со Стефани не без удовольствия сунула в ящик письменного стола. Над фотографией брата замерла, осознав то, что подспудно знала давно: как Уинифред любила этого малыша и как она, Фредерика, его ненавидела. И как защищала от этой ненависти себя и его, решительно отказываясь что-либо знать о нем и его непростой натуре. Для нее он был лишь живым проявлением мировой несправедливости, в ответ на которую вспыхивал гнев. Его фото она тоже кинула в ящик, а следом отправились Билловы трубки, ершики для трубок и пепельницы. Жаль, что Уилки не остался на

кофе. Впервые в жизни у нее было место, куда она могла кого-то пригласить, а он не понял этого, развернулся и укатил.

Она уже собиралась выйти в садик позади дома и нарезать роз, чего Уинифред никогда не делала, как к дому мягко подъехала серебряная машина Александра. Он выскочил и поспешил по дорожке к дому на манер убегающего оленя. Он решительно отвернулся от калитки четы Перри, не желая даже знать, не дрогнула ли на окне занавеска и не виден ли под дверью свет. Фредерика с помпой распахнула входную дверь:

— Весь дом в моем распоряжении.

— Тогда впусти меня быстрей, пожалуйста, не стой так. Ну, как он? Как Маркус?

— В порядке. Не то чтоб совсем в порядке, но они его хотя бы нашли. Дэниел был прав: он пошел в ту психбольницу, а там не знали, кто он. Теперь он там и лежит, говорят, болен, но чем и насколько серьезно — пока не известно. Но главное, что родители остались там с ним и весь дом в моем распоряжении.

Она провела Александра в гостиную:

— Не хочешь чашечку кофе?

— С удовольствием, — вежливо отвечал Александр.

Фредерика принялась деловито и не слишком ловко греметь чем-то на кухне. Александр пошел за ней следом и, прислонясь к буфету, стал смотреть на нее. В доме все сделалось двойственно, и они оба это чувствовали. В замкнутом, таинственном пространстве они были одни. Но это был дом Билла Поттера, где Фредерика была вечно ругаемой девчонкой, а Александр — младшим коллегой, где в воздухе тяжело висел гнев, где стены помнили лишь неизбывный жалкий круг уборки, еды и сна. Фредерика и Александр взяли кофе в гостиную, чинно сели в кресла и завели вежливый разговор о Маркусе.

— У меня совесть неспокойна, — признался Александр. — Маркус ведь приходил ко мне, говорил, что Симмонс сходит с ума, а я его всерьез не принял.

Почему-то — вовсе без связи с тем, что должен был чувствовать тогда Маркус, — Фредерика пришла в ярость:

— С какой стати он к тебе явился? Нес всю эту чушь? Они оба сумасшедшие… А ты что тогда сделал?

— Я… я решил, что это все с сексуальным подтекстом. Посоветовал Маркусу с ним не общаться.

— Правильно. Это разумно.

— Выходит, что не слишком-то. Но я тогда из-за тебя совсем запутался…

— Из-за меня?

— Мне казалось, я не имею морального права. Это совращение малолетней. Твой отец мне доверяет и так далее…

— Не слишком-то красиво все это мне выкладывать.

— Брось. Ты сама не ангел.

— Я?

— Конечно. Иначе мы бы не говорили о себе, а беспокоились о Маркусе.

— Наше беспокойство ему ничем не поможет. О Маркусе и раньше бесполезно было беспокоиться, а теперь тем паче.

— Как он, расскажи.

— Я уже сказала: не знаю.

Они молча пили кофе и думали о двух странных, невозможных людях, с которыми, однако, так долго жили бок о бок.

Проснулся телефон. Звонила Уинифред. Маркусу стало хуже, он не ест — не хочет или не может. В основном без сознания, перевозить опасно. Уинифред остается с ним.

— А папа?

— Говорит, что тоже останется.

Отношений между матерью и дочерью в обычном смысле почти не существовало. Фредерика не сочувствовала матери, а та сочувствия и не ждала. Фредерика сказала:

— Так странно: я одна в доме и мне совершенно нечем заняться.

На том конце провода повисло оторопелое молчание.

Фредерика продолжала:

— Я ужасно себя чувствую. Раньше была пьеса, а теперь эта противная, идиотская история с Маркусом, и больше ничего… Мам? Ты меня слушаешь?

— Да.

— Я, может быть, на несколько дней уеду к подруге.

— К какой?

— К Антее. Помнишь Антею Уорбертон? Миленькая такая, играла в самодеятельной части спектакля.

— Да. Извини, я сейчас ничего не соображаю, волнуюсь из-за Маркуса. Поезжай.

— Ты точно не против?

— Нет-нет, почему ты так спрашиваешь?

— Ну, я думала, может, я тебе зачем-то понадоблюсь…

— Нет. — Уинифред подумала, что в отсутствие Фредерики ей как раз может хватить сил и спокойствия на Билла и Маркуса.

— Ну что ж, жаль, что моя помощь не требуется. Тогда я уеду. А может, останусь. Я сказала Уилки и Александру, чтобы больше его не искали.

— Спасибо.

— Он что-нибудь говорит?

Маркус умолял пустить его к Лукасу. Кричал родителям, чтобы убирались. Кричал, что сам из больницы никуда не уйдет…

— Нет, почти ничего, — отвечала Уинифред. — Ему плохо.

— Ну ладно. То есть ужас, конечно. Так вы точно сегодня не вернетесь?

— Точно.

— У тебя от этих дел совершенно ужасный голос. Обо мне не волнуйся. Если не справлюсь с хозяйством, уеду к Антее. Я буду позванивать.

— Спасибо.

— Может, все и обойдется еще, — с ноткой сомнения сказала Фредерика. На том конце провода была черная пустота. Уинифред от усталости просто повесила трубку.

— Ну, как он? — спросил Александр.

— Ему хуже. Они сегодня домой не приедут.

— Что с ним такое?

— Она не сказала. Она мне вообще ничего не говорит. Не доверяет. У нее только он любимый сынок.

— Нельзя ее сейчас обвинять.

— Еще как можно! И я лично обвиняю! Я…

— Наверно, я пойду.

— Нет! Не уходи! Прости меня. Я всем действую на нервы, но это только потому, что сама не знаю, что мне делать. Я никуда не вписываюсь, я все делаю, чтобы меня увидели, а меня не замечают. Я согласна: сейчас это не важно. Важно то, что с Маркусом происходит, — не знаю уж, что там с ним такое… Но я так не могу. Я должна *быть*. Я не могу себя просто отменить.

— Перестань вертеться, ты не на сцене. Все, я пошел. Я не могу сидеть в доме твоей матери и думать о тебе, когда такое происходит.

— Не уходи! Останься. Мне страшно одной в этом доме.

— Останусь — и что мы будем делать? Я один раз обманул их доверие. Теперь еще раз? Нет уж.

Фредерика не желала ничего знать. Александр признавался в сомнениях, в слабости, в чувстве вины — это было гибельно и сладко. В ней росло опасное, невыносимо упоительное чувство вла-

сти над ним, над жизнью… От этого Фредерика сделалась искристой и безответственной.

— Это просто дом. Кирпичи, цемент, кресла и прочее. Все это не твое и не мое — просто глупые вещи. Ты можешь взять меня в саду, на Замковом холме или здесь. Разницы нет никакой. Место не имеет значения, это просто… вопрос вкуса, эстетики. А любовь — не вопрос эстетики.

Александр, натура глубоко эстетическая, предпочел извиниться:

— Прости. Ты и так нервничаешь, а я еще добавляю…

— Не уходи. Пожалуйста. Как ни странно, мне действительно страшно одной в доме: какие-то нехорошие мысли… Останься хотя бы на ланч.

Александр остался. Они ели консервированную ветчину с консервированной морковью, какую-то свеклу в резком уксусе прямо из банки и черствый хлеб. Фредерика заметила, что еда препаршивая, с чем Александр согласился. Привыкнув к буйным излишествам Кроу, оба чувствовали, что неплохо было бы выпить. Но за выпивкой пришлось бы ехать в магазин, чего — под недреманным оком Дженни — им делать вовсе не хотелось. Вернулись в гостиную, и там на диване Александр обнял Фредерику, но все

было не так, они оба состояли из каких-то странных углов, а ее к тому же свело от страха. Потом Фредерика опять осмелела и сказала, что, раз весь дом в их распоряжении, лучше пойти к ней в комнату.

— Нет, — сказал Александр. — Только не там.

— Это просто дом. Мой дом. Моя комната. И я тебя хочу.

Они пошли наверх. Александру вспомнилась короткая вылазка в комнату Стефани за булавками. Потом вспомнилась экскурсия, которую устроила ему Дженни по гораздо более яркой и «современной» версии такого же дома. Почему женщин, и даже Фредерику, так тянет подражать продавцам недвижимости, с гордостью демонстрируя скученные удобства кирпичных коробок? Александр не знал, что Фредерика тешилась великолепной мечтой: освященный его присутствием, дом не покажется ей больше таким грузным и непререкаемо серым. Она столько раз воображала, как Александр подымается по лестнице, входит в ее комнату и от этого меняются, переставляются кубики, из которых сложено ее жилище… Фредерика распахнула дверь в свою крохотную спаленку и сказала то, чего сказать никогда не надеялась:

— Войди.

Александра тронула бедность этой комнатки: несколько вещичек, линолеум, выцветшие репродукции, стопки книг, которым не хватило полок. Туалетного столика не было, только квадратное зеркало над старым дубовым комодом. У зеркала в одном углу была вставлена мутноватая газетная фотография Александра, в другом — большое глянцевое фото Фредерики в костюме Елизаветы. Это тоже тронуло его, но несколько иначе. Перехватив его взгляд, Фредерика сказала:

— Кроу был прав, меня выбрали за типаж. В школе меня заставляли играть мужчин, а Кроу просто понравилось внешнее сходство. Унизительно.

— Ты не права. На одном сходстве такую роль не вывезешь.

— Ни капли крови не отдам… — задумчиво сказала она и ощутила острое волнение.

Александр, волновавшийся по другой причине, осторожно сел на краешек кровати и пригласил Фредерику сесть рядом:

— Мне все кажется, что сейчас ворвется твой отец. Это нервирует. Как хочешь, но это водевильный сюжет в дурном вкусе. Для меня это имеет

значение.

— У нас нет выбора, милый. Весь наш роман в дурном вкусе. Но вот комната, и вот мы. Отец не ворвется, мы в безопасности… Наверное.

Александр обнял ее и повалил на кровать. Поцеловал. У него росло чувство, что за ними следят. Она опять боялась, что вскроется ее обман. Фредерика вдруг вскочила, как кукла-неваляшка:

— Нет, не могу. Это все неправильно.

— Вот и я тебе говорю…

— Нам представился шанс, и как бездарно мы его тратим!

— Может быть, сегодня вечером… — Александр положил тяжелую ладонь на приятно недоступную теперь линию ее паха. Фредерика вздохнула.

— Я бы вернулся вечером, — продолжал Александр, — с бутылкой вина. Когда ты уже точно будешь знать, что они не приедут ночевать.

— А я бы приготовила ужин.

— Именно.

— Со свечами. В темноте.

— Великолепно.

— Тебе бы это понравилось?

— Конечно, — отвечал он. — Я приду пешком через поле, тихо, в темноте. Войду через заднюю

калитку. Мы сядем и спокойно выпьем вина. А потом — вся долгая ночь впереди.

— И тебя не будет раздражать этот дом?

— Я хочу тебя, — сказал он со всей яростью, на какую был способен. «Может быть, в темноте, — думал он, — дом и не будет так на меня давить. В темноте люди тайно входят в чужие дома — за любовью. В темноте все выглядит по-другому».

Они решили полежать немного рядом и, полностью одетые, мучились бесплодным желанием, а потом он ушел.

Александр задумчиво ехал обратно к школе. На сей раз он посмотрел на домик Дженни, но тот был тихий, со слепыми окнами. Александр подумал заодно, что оттуда нельзя видеть поле: домик слишком близко стоит к концу улочки. Карманы у Александра были набиты неотвеченными письмами. Нужно все их вынуть перед сегодняшним свиданием. Кроме толстых, так и не вскрытых конвертов от Дженни, тут были ответы почти на все его вслепую разосланные соискательские формы. Александр был нужен всем. Его приглашали на собеседование в Оксфорд, в манчестерское и лондонское отделение Би-би-си, в знаменитую старинную частную школу в Дорсете. Были не только ответы, но и

просто письма с предложениями: от издателей драматургии, от литагентов, от лондонского импресарио, от американского продюсера с сомнительной репутацией, от всевозможных литобъединений, школьных и университетских, городских и деревенских. Наконец-то Александр обрел имя и независимость, наконец-то двигался к чему-то большому. Но в голове его неотвязно вставал образ плотного голого человека в пруду и неистовой девчонки в убогом кирпичном домике, ждущей темноты. Возможно, разумнее было бы не ходить к ней. Сложить чемоданы и уехать. Но только мелькнула у него эта мысль, как накатили жар и слабость: нет, невозможно. Отношения с Фредерикой он должен разрешить здесь и сейчас, иначе не будет ему ни свободы, ни покоя. Значит, все разрешится в темноте. Что до Дженни и Джеффри, он просто напишет письмо им обоим, где расскажет всю правду, как он ее видит. Правда поставит крест на этом этапе его жизни. Но нужно еще немного подождать…

До Фредерики дошло, что придется отправиться за покупками. Баночная ветчина не имела успеха днем и не сулила чудес вечером. К тому же Фредерика вдруг поняла, что никогда ни для кого не готовила и готовить-то, собственно, не уме-

ла. С деньгами тоже было негусто. Эра Элизабет Дэвид с ее заморскими яствами еще не пришла, и идею хорошего ужина для двоих Фредерика могла почерпнуть из дамского журнала либо из репертуара Уинифред, все реже готовившей «по-настоящему». Итак, половинки грейпфрута, украшенные вишнями, жареная утка и фруктовый салат со сбитыми сливками? Или легкие канапе, бифштекс с картошкой в мундире и салатом, а на десерт печеные бананы с ромом и сбитыми сливками? Или мороженое? Или суп с домашней булочкой, печеная форель, а на сладкое бисквитно-фруктовый десерт, пропитанный шерри?

С уткой она, пожалуй, не справится. Как выбрать мясо и как зажарить его не до состояния подошвы? Неясно. Ни шерри, ни рома в доме нет, денег на такие роскошества тоже. Ей ни разу не попадались вкусные канапе, так что этот вариант отпадает. Суп из банки — пошлость, суп обязательно должен быть домашний, значит, и суп — мимо. Из всех этих блюд ей под силу только грейпфруты и картошка. Значит, их она и купит, а там, может, и посетит ее вдохновение у витрины блесфордской мясной лавки. Фредерика как раз стояла мрачная у витрины с полной сумкой

картошки, грейпфрутов, галет и датского сыра с синей плесенью, когда мимо с ревом промчал на мотоцикле Уилки. Фредерика поспешно зашла в мясную лавку. Мясник посоветовал ей взять «свиных котлеток на косточке». Фредерика, неспособная отличить свиные котлеты от бараньих и не знающая, существуют ли котлеты говяжьи, покорно попросила завернуть ей две. Из Диккенса ей помнилось, что джентльмены любят сочные котлеты, и к тому же самые невзрачные котлеты были все же лучше неудавшегося бифштекса.

Когда она вышла из лавки, у нее почти не оставалось денег на еще не выбранное сладкое, а на тротуаре ее поджидал Уилки.

— Семейные хлопоты? — с приятной улыбкой поинтересовался он.

Фредерика мрачно глянула на него:

— Собираюсь вот приготовить ужин для кое-кого, а денег нет.

— Могу помочь бутылкой вина.

— Вино мне не нужно. У меня со сладким беда.

Уилки взмахнул шлемом и выразил горячий интерес к теме сладкого. Фредерика перечислила варианты: фруктовый салат, печеные бананы с ромом, бисквитный десерт с шерри. Уилки ска-

зал, что все это не ах, и предложил лучше взять крупную гроздь винограда и хороших, дорогих шоколадных конфет. Денег он готов одолжить. Уилки любезно помог ей выбрать виноград и конфеты, раскритиковал датский сыр, настоял, чтобы она взяла кусок настоящего английского, и в довершение предложил ее подвезти. Покупки были примотаны к багажнику, Фредерика с плещущими рыжими волосами в восторге покачивалась на заднем сиденье. Так и въехали они на Учительскую улочку. На сей раз Уилки вошел в дом, не дожидаясь приглашения. Он с интересом смотрел, как Фредерика блуждает по кухне в поисках презентабельных тарелок и свечей.

— Так кто же он, твой гость?

— Александр. Все уехали искать Маркуса, потом сидеть с Маркусом. А я пригласила Александра.

— Понимаю. Классический ужин на двоих с вином, свечами и проникновенной беседой, а потом — ложе любви. Ты сумасшедшая.

— Почему??

— Не говорил я тебе разве, что Александр боится как огня провинциальных чашечек и скатерочек? А ты развела тут домашний уют, в котором, кстати, ни черта не смыслишь, и готовишься совратить его по всем правилам буржуазного

романа? Да он попросту сбежит. Либо до, либо после.

— Но я хочу его.

— Правда? В этом доме?

— Это в каком-то смысле акт разрушения. Святотатство. Он, кстати, все утро был здесь.

— Ага. Но коли это акт разрушения, на кой ты суетишься с сыром и котлетками? И если он провел тут все утро, сорвал ли он твой цветок, и если сорвал, то почему ушел? И зачем тогда грейпфрут и свечи?

— Не твое дело.

— Естественно. Я умчусь, коли пожелаешь, оставив тебя хлопотать дальше. Не забудь еще вазу с розами в центре стола…

— Уилки, не уходи! У меня ничего не выходит, мне страшно, и утром ничего не было, и вечером, наверно, тоже не будет, потому что или я боюсь, или он.

— Если он каким-то чудом тобой овладеет сегодня, говорю тебе точно: больше ты его не увидишь. А если не овладеет, ты уже никогда не наберешься смелости. Дела твои паршивы, дитя мое.

— С чего ты так уверен?

— Ни с чего. Интуиция. Она меня редко под-

водит. Например, мне сейчас кажется, что ты хочешь все отменить.

— Я? Отменить? Я люблю его! Я его хочу…

— Ну, может быть, вы встретились не в то время и не в том месте. Так часто бывает. Любовь, страсть, разница в возрасте, разница в устремлениях… Посмотри на меня и Марину. Я бы, может, любил ее, родись я на двадцать лет раньше, или не будь у меня девушки в Кембридже, или согласись я на роль жиголо. А так я могу только ублажать ее из чувств более-менее теплых. Да и это у нас ненадолго, она знает.

— И что она чувствует по этому поводу?

— Только то, что ее не огорчит. Она мудрая женщина…

— Мне сейчас хочется швырнуть в тебя этими мерзкими котлетами.

— Лучше бери ночнушку и прыгай ко мне на мотоцикл. А Александр пусть пока разберется в чувствах.

Фредерика положила мертвые котлетки рядом с раковиной.

— Вообще, я сказала матери, что могу уехать на несколько дней к подруге.

— Неужели? И что она сказала?

— Она спросила, что за подруга. Я ответила:

хорошая девушка Антея Уорбертон. Она согласилась.

Уилки с большим смаком рассмеялся. Рассмеялась и Фредерика, правда, с ноткой истерики. Насмеявшись вдоволь, Уилки сказал:

— Ну, теперь бери ночнушку, зубную щетку, купальник и полотенце.

— Но ты меня не любишь, Уилки.

— Нет. Я люблю свою девушку. Отчасти. Впрочем, и ты ведь меня не любишь.

— Это ужасно.

— Это рационально. Я тебя научу паре штук, а дальше ты сама себе хозяйка. Я появился в нужном месте в нужное время. Все, беги за ночнушкой.

Фредерика ушла собираться. Уилки, человек опрятный, но не вполне практичный, сложил тем временем на столе ровненькую пирамидку из ее покупок. Фредерика вернулась с рюкзаком, и Уилки с легкой улыбкой сказал:

— Теперь звони маме и Александру, чтобы потом не ныть и не передумать на полпути. И все — едем!

— Я не могу Александру позвонить. Не сейчас.

— Так оставь записку. Мы ее завезем в школу.

Фредерика сделала, как сказал Уилки. Уи-

нифред не обеспокоилась, записку Уилки отдал школьному сторожу, который мрачно посетовал, что мистера Уэддерберна теперь и не поймаешь.

— Ну и славненько, — сказал Уилки и вернулся к мотоциклу, где ждала его Фредерика.

День шел к концу. Уилки сказал, что они остановятся у ближайшего автосервиса и купят шлем для Фредерики. И что, если Фредерика позволит дать себе пару советов, их поездка будет комфортней, быстрей и безопасней. Например, не надо раскачиваться на сиденье. Нужно податься вперед, крепко обхватить водителя за талию и наклоняться вместе с ним. Сия наука и для других утех пригодится… Они проедут через Калверли, потом на восток через пустоши, на юг через Готленд и дальше в Скарборо, куда он надеется прибыть до обеда. Фредерика сказала, что в Готленде с ней случилось что-то ужасное. Уилки отвечал, что в таком случае для ее сверхчувствительной психики будет полезно промчаться через Готленд на мотоцикле, а в Скарборо она, если захочет, расскажет ему про этот ужас.

Фредерике поначалу остро понравилась езда на мотоцикле. Шлем казался второй головой, приподнятой над первой, да к тому же полой. Уилки сам надел ей шлем, посмеялся над ней,

потом надел собственный, спустил на глаза «консервы» так, что человеческого в его лице остался лишь весьма прихотливо вырезанный рот. Этот рот довольно улыбался. В движении она поняла, какой силы ветер они создают на мотоцикле, а мотор потоком механических звуков навязал ей полное молчание, что ей даже понравилось. Ей нравились странная близость и дистанция, возникавшая на мотоцикле между ней и мужчиной. Вот увесистый зад Уилки, к которому плотно прилегают ее бедра. Вот его сильные руки, которые сжимают и поворачивают руль, а вот ее, крепко, но без любви обхватившие его талию. Вот его невыразительная черная кожаная спина и гладкий, блестящий, ничем не отмеченный глобус шлема. Его ноги иногда поднимались и опускались, ее оставались неподвижны. Однако по мере приближения вечера ноги у нее закоченели, потому что она выскочила из дома в легкой юбочке и босоножках. Прошло еще время, мышцы свело, все тело ныло. Вереск на пустошах потемнел и стал растворяться в темноте, но Фредерика и так мало что видела, уткнувшись Уилки в лопатку, — в основном обочину, текущий под колеса асфальт, белую разметку и вспыхивающие рефлекторы. Однажды они остановились у при-

дорожного кафе выпить по чашке растворимого кофе. Они сидели возле подвывающего и вибрировавшего музыкального автомата, руки и ноги у них затекли, а лица слишком обветрились, чтобы можно было говорить или улыбаться. Тут Уилки заметил, что у нее замерзли ноги, посетовал, что сглупил, и настоял на том, чтобы одолжить ей пару ярко-желтых непромокаемых штанов. Штаны, которые она надевала задубевшими руками в вонючей уборной, оказались ей непомерно велики. Тут она снова вспомнила Александра, дивно элегантного, из тех еще времен, когда он был уверен в себе и ей неподвластен. Она вспомнила садик, где они стояли, замерев, как статуи, встречу взглядов между сценой и амфитеатром на высоте их зарождающейся страсти. Ничего, все будет отлично. Она ведь написала ему, что он прав, а она нет, что в доме ничего бы не получилось, что она дурно вела себя и теперь ей стыдно, потому она и уехала на время, чтобы все обдумать и вернуться к нему.

Жуткие желтые штаны скрипели и крутились, пока она, поддерживая их на талии, пробиралась обратно к Уилки. Он хрюкнул от смеха и заявил, что вид у нее бесформенный и вообще ужасный и что нет лучше маскировки, чем мотоциклетный

костюм не по размеру.

Когда они наконец въехали в Скарборо, ей все равно было страшно холодно, а спину свело дугой, которую еще предстояло как-то разогнуть. Уилки с ревом летел по эспланаде, переключая скорости, дергая мотоцикл, а за парапетом неподвижно чернело море. На нем возникали и пропадали белые барашки, светлые линии тянулись от причальной стенки, от лодок, находившихся дальше в море, и совсем издали от маяка. У Фредерики сердце взлетело, как всякий раз, когда она видела море. «Так будет и дальше, всегда», — подумала она, потому что ей было всего лишь восемнадцать лет, и она, как и Дэниел, не была пророком. Уилки подъехал прямиком к «Гранд-отелю» и остановился.

— Чем больше отель, тем больше анонимности, никто к тебе не лезет, что мне лично нравится, — сказал он. — Ты побудь тут и постарайся снять эти жуткие штаны, а то по лестнице тебе не взобраться. Надеюсь, ты натянула их поверх юбки? А я пойду узнаю насчет номеров. Или номера. — Вскоре Уилки вернулся и сказал, что забронировал номер. Он с трудом снял с пальца небольшое кольцо-печатку и протянул ей. — Вот, надень и разверни печаткой внутрь, раньше у

меня этот фокус проходил.

Прихрамывая, она прошла за ним в вестибюль. В регистрационной книге он записал: «Мистер и миссис Эдмунд Уилки, Кембридж». Фредерика с рюкзаком на спине чувствовала, что мало похожа на «миссис», но носильщики были весьма вежливы, они даже улыбались и кланялись, открывая дверь лифта, а потом и номера. И вот они уже оказались в комнате с высоким потолком, с красно-золотыми парчовыми занавесками, с изогнутым туалетным столиком и мягким, гасящим шаги ковром. Была, конечно, большая кровать под кружевным покрывалом, с лампами на прикроватных столиках и кнопками вызова горничной. Уилки гремел шлемами, как кокосовыми скорлупками, и даже не пытался к ней прикоснуться. Он сказал, что ей неплохо бы принять горячую ванну и слегка подкраситься, чтобы меньше походить на убежавшую из дома школьницу. Фредерика послушалась. Уилки повел ее ужинать. Гостиничный ресторан был весь красный, кремовый и золотой, с хрустальными люстрами, с салфетками плотной белой камки и тяжелым столовым серебром. Уилки получше вгляделся ей в лицо и рассмеялся:

— Вот это боевая раскраска. Ты роскошная

женщина, Фредерика. Не для нас, эстетов, а для господ йоркширских промышленников, отдыхающих тут с женами или секретаршами. В меню выбирай что хочешь, в пределах разумного. Я сегодня богат и рассчитываю еще подзаработать, выступая на радио.

— На радио?

— Да. Во-первых, интервью о том моем забавном эксперименте с разноцветными очками: он дал кое-какие результаты, а во-вторых, я играю в радиоспектакле общества Марлоу. Как видишь, будущее мое пока многолико: я наступаю по всем фронтам. Хотя я, может быть, брошу Кембридж, если не уговорю мою девушку переехать. Я что-то перестал видеть смысл в дипломе.

Они ели консоме-жульен, омаров «термидор» и десерт, составленный из меренг, сбитых сливок, мороженого и орешков и похожий на лебедя, раскинувшего крылья. Выпито было много белого бургундского. Уилки мило шутил и все подбивал Фредерику рассказать ему, что случилось в Готленде. Но она лишь пересказала ему странную историю Эда об осле в борделе.

— Ослы в борделях — обычное дело еще со времен Апулея.

— Посмотри, какой дивный лебедь, — сказала

Фредерика, подумав, что, возможно, ту же фразу произнесла однажды сама Елизавета. Она снова вспомнила об Александре и замолчала.

— Прекрати терзаться, — сказал Уилки. — Ты оставила ему записку, это раз. А во-вторых, он и сам этого не хотел, о чем тебе прекрасно известно. И в конце концов, верну же я тебя ему!

Записки Александр не получил. Он едва ускользнул от Дженни, поджидавшей его внизу его башенки. Увидев ее, он проскользнул в башенку Лукаса, где у лестницы поблескивали уже несколько бутылок с молоком, — видимо, никто не сказал молочнику. Александр решил, что это не его обязанность. Дождавшись, когда Дженни уйдет, он бегом вернулся в машину и, чтобы скоротать время, стал разъезжать по окрестности. Встретился ему Кроу в своем «бентли». Кроу бодро гуднул ему и покатил дальше. В Блесфорде Александр остановился у цветочной лавки и купил большой букет подсолнухов, белых астр и крупных ромашек. Потом вдруг осознал, что карманы его полны назойливых писем, которые он опасался оставлять в своей маленькой спальне, что ему жарко, он растрепан и вообще ему следовало бы помыться. Но он не хотел возвращаться в свою башню. Он запер письма в отделении для перча-

ток, остановился возле паба, выпил две пинты пива и освежился кое-как в мужской уборной. Тут он вспомнил, что обещал привезти вина, и купил две бутылки розового анжуйского. Когда стемнело, он оставил машину на школьной парковке и пошел мимо Учительского сада, потом через железнодорожный мост, миновал гладкий черный Уродский прудик и двинулся к садовой калитке Поттеров. Сердце его колотилось. Ему не хватало воздуха. Но он твердо намерен был на сей раз не оплошать. Когда он вошел в калитку, его поразило, что все окна в доме темны. Пустота в доме внятна не только зрению, но и другим чувствам. Но он твердил себе, что ошибается, что так не может быть. Она ведь сама несколько раз повторила: «когда стемнеет». В воздухе веяло скошенной травой с ужасного Дальнего поля и сладким запахом роз Уинифред — милые старинные сорта: «Астрея», «Дочь короля», «Прекрасная Елизавета». Александр постучал в заднюю дверь и в высокое окно до пола, позвал Фредерику, но ответа не получил. Он поставил бутылки с вином на порожек окна, а рядом, словно урожайный сноп, положил свой букет. Притворно беззаботным шагом он вернулся к калитке и остановился, опершись о нее. Посмотрел наверх, в окна спален.

Оттуда, казалось, кто-то невидимый смотрел на него. Как Стефани смотрела на Лукаса, как леди Чаттерли смотрела на своего любовника. Он сел на траву, по-мальчишечьи обхватив руками колени. В памяти со смехотворным упорством всплывали строки Теннисона: «Выйди в сад, моя милая Мод», «Роза и лилия разом», «Плачет белая роза, она опоздала», «Голубка, спешу я к тебе»… Тут Александр понял, что он смешон.

Время шло. Он бродил по садику, но садики на Учительской улочке были тесноваты. Потом вдруг вспыхнул, пинками расшвырял принесенные цветы. «Сука, сука, я так и знал», — прокричал он луне. Но его гнев и желание были не беспредельны. Он вспомнил похотливое хихиканье мальчишек из бутылочного оркестра и пережил миг ледяного недоумения, словно Деметрий, расколдованный Паком и Обероном. Он знал: очень скоро придет время, когда ему самому будет непонятно, как случилось, что он ждал Фредерику один в этом саду. А раз так, то ничто не мешало ему прямо сейчас покинуть сад, Блесфорд-Райд и Северную Англию. Лишь яростная воля Фредерики удерживала его здесь. Фредерика исчезла, и он был свободен. Он пнул еще пару подсолнухов, но беззлобно: его грозы стихали быстро. Он подумал

было пнуть и бутылки, но не стал. Пусть стоят как приношение, и пусть каждый думает, что ему заблагорассудится. Ничего этого он больше не увидит. Он уезжает. Пьесе конец.

43. Море крови

Со временем Уилки привел Фредерику обратно в номер. На кровати уже не было покрывала, и уголок одеяла был аккуратно отогнут.

— Ну что ж, — сказал Уилки. — Можно и возлечь.

Наскоро помывшись и раздевшись, они легли. Уилки прошагал к ложу нагишом, Фредерика украдкой глянула на него: круглолицый и пухлый, с обгоревшими на солнце руками, шеей и треугольником на груди. Его инструмент, как определила его Фредерика, был красен, тверд и мощно изогнут кверху. Фредерика отвернулась. Пахло зубной пастой, этим легким нечеловеческим запашком, мылом и влагой теплых тел. Уилки зашуршал бумагой, освобождая резиновое приспособленьице. Он сидел, обернувшись к ней белой спиной, и она видела, как напряжены его шейные мускулы.

— Теперь слушай, — сказал он. — Я, как ты знаешь, ученый. Я сейчас расскажу тебе, как что делается, что доставляет удовольствие женщинам и что доставляет удовольствие мне. И ты не будешь бояться, и, если мы оба все сделаем мягко

и деликатно, дело кончится к моему удовлетворению. Договорились?

Фредерика кивнула. Уилки сел и стал показывать на ней, как на анатомической модели, легко касаясь тут и там сухими пальцами: здесь тебе нравится, когда легонько трут, а здесь когда щекочут, а вот мое чувствительное место — если умеешь, сделаешь приятно, если нет, только разозлишь. Он пробормотал что-то об увлажнении и достал баночку вазелина. Снова скромно повернувшись спиной, бережно себя умастил. Уилки был вежлив, академичен и повелителен. Позднее Фредерика поняла, что его познания о плотской любви в целом и о ее реакциях в частности были не столь обширны, как он думал или делал вид. Но в тот вечер она была благодарна ему за то, что все у него получалось так просто и уверенно. Позже пришла благодарность и за то, что все последующие открытия она делала легко и бесстрашно.

Поначалу Фредерику удивил постоянный монолог Уилки, сопровождавший каждое его действие. (Уилки не целовал ее, словно это было нечто недозволенно интимное.) Вот он с усилием протиснулся в нее.

— Ого! Пришлось поднажать. Как у тебя тут

туго. Ну как ты, в порядке?

— Да, — коротко, сквозь зубы отвечала Фредерика.

Уилки храпнул и задвигался туда-сюда:

— Нравится?

— О да, — отвечала Фредерика, не испытавшая ни отвращения, ни какого-то особенного удовольствия. Больше всего это походило на бесконечное запихиванье «тампакса», но она была рада, что это наконец происходит.

Вскоре Уилки снова извлек вазелин и стал по кругу гладить ей клитор. Это показалось Фредерике особенно смехотворной затеей — и одновременно нежеланным вторжением, хотя Уилки уже проник в нее гораздо глубже.

— А так хорошо?

— О да, — сосредоточенно хмурясь, отвечала Фредерика.

Дело в том, что внутри у нее пробегали теперь какие-то искорки и закручивались вихорьки, и находила на нее какая-то слабость, что-то взмывало внизу, словно она летела с горки или делала первые глотки вина. Все это она подавляла, понимая не разумом, а где-то за пределом его, — самим телом понимая, что в конце этих искр и взмываний — полная капитуляция, растворение себя.

Этого она допускать не собиралась.

— Подыми колени.

Фредерика послушалась. Уилки стал ласкать ей грудь (Фредерике вспомнились игрища Кроу) и что-то пробормотал об «эректильной ткани». Последняя, по мнению Фредерики, была сильно переоценена. Уилки продолжал деловито сновать в ней. «Смешная штука человеческий зад, — подумала Фредерика, — тут тебе и мускул, и желе-дрожалка». Она засмеялась.

— Приятно?

— О да.

— Это хорошо.

На мгновение с легкой тошнотой вспомнились ей Лоуренсовы волны наслаждения, расходившиеся внутри Констанции Чаттерли. У Фредерики внутри была какая-то вертикальная искристая щекотка, электрические импульсы, которые она поспешно гасила. Уилки замолчал и ускорился. Фредерика с интересом разглядывала его изменившееся лицо: глаза зажмурены, рот безвольно приоткрыт углами вниз и дышит тяжело. Потное брюшко его жарко ездило по ее животу. Потом он задвигался совсем быстро, громко застонал каким-то нутряным, для других ушей не предназначенным стоном и на мгновение уронил

тяжелую голову ей на грудь. Лицо его было изможденно и трагично. Фредерика ощутила некий трепет там, где они сливались, — не то в нем, не то в себе — боль и горячее биение пульса.

— Понравилось? — спросил он слабым голосом, задыхаясь.

— О да.

— Ты не кончила.

— Извини. — Несмотря на леди Чаттерли с ее волнами, Фредерика все же не очень понимала, что это значит.

— Нет-нет, это, скорей всего, я виноват. Но мы попробуем еще. Я один раз привел девушку в отель — так она, когда кончала, каждый раз визжала, как паровозный свисток. Душераздирающий звук. К нам под дверь люди сбегались, думали, я ее убиваю. Так я ничего и не смог с ней поделать. А жаль.

— У меня внизу мокро.

— Это нормально. — Уилки вздохнул. — Больно было?

— Не очень.

Уилки засыпал. Фредерика смотрела ему в затылок и думала, что никогда не была от него дальше, никогда не знала его меньше, чем сейчас. И тут она кое-что поняла. Фредерика узнала,

что можно делать *это* просто и по-свойски, не вторгаясь в чужое пространство, не нарушая своего одиночества. Можно всю ночь проспать с незнакомым мужчиной, видя только его затылок, и пребывать от него совершенно отдельно, абсолютно независимо. Это было полезное знание, уничтожавшее проклятое «или-или» в женской жизни, как видела ее Фредерика. До сей поры было так: или любовь, страсть, секс, или жизнь разума, честолюбие, одиночество в толпе чужих людей. Но существовал, оказывается, и третий путь: если не делать из всего драму, можно лежать в постели с мужчиной и быть при этом совершенно самодостаточной. Отныне она тоже будет поворачиваться к стене и засыпать, как Уилки.

Фредерика уснула и проснулась в ужасе — из-за крови.

Она потянула Уилки за руку:

— Уилки, проснись! Пожалуйста! Тут мокро внизу. Очень…

— Мм?

— Пожалуйста, проснись! Я в чем-то мокром лежу, тут море целое.

— Этого быть не должно, — сказал заботливый Уилки. — Ну, давай смотреть, что там у тебя…

Он выпрыгнул из кровати и откинул одеяло, бормоча, что на презервативе кровь была, но совсем мало, не о чем говорить.

Фредерика лежала в луже крови, и лужа росла. Бедра у нее были в крови, кровь затекала под спину. Даже вечно спокойный Уилки слегка побледнел и спросил, не чувствует ли Фредерика слабости.

— Нет. Мне просто мокро.

— Сядь.

Фредерик села и сказала, что теперь немного кружится голова.

— Посмотрим, сильно ли течет.

Он заглянул ей между ног и сообщил, что кровь не хлещет и даже вытекает не очень быстро.

— Сейчас я сверну полотенце, и ты на него сядешь, а я пока займусь кроватью.

— Уилки, это ужас какой-то. Так унизительно…

— Чушь, выбрось из головы. Для таких вещей и нужны отели. Главное, чтобы тебе хуже не стало. Но в луже крови я спать не намерен. Не настолько уж я хладнокровен, прости за каламбур. Вот, садись на полотенце, а я пока тут разберусь.

Фредерика, оцепенев, смотрела: Уилки сдернул окровавленную простыню, простирал ее, как смог, в раковине и повесил на батарею. Потом

перестелил кровать, обтер Фредерику какой-то влажной тряпицей, снова осмотрел ее и полотенце, на котором она сидела.

— На кровотечение это не тянет, — изрек он с обычной самоуверенностью. — Думаю, просто реакция на разрыв плевы.

— Ты уже такое видел?

— Нет, и большого желания не испытываю. Картина слегка пугающая, признаться. И потом все перепачкано. Нет уж, от девственниц воздержусь. Ты будешь моя первая и единственная дева. Ну, полезай теперь в постель, я тебя обмотаю полотенцами, и мы еще поспим. Если усилится, вызовем врача, но думаю, все будет в порядке. Просто такая уж ты кровоточивая дева.

— Уилки, от тебя просто уйма пользы.

— В нужном месте, в нужное время, как я и сказал. Бедняжка Фредерика. Наверное, зря ты привезла купальник. Ну да ладно. Сконцентрируйся на том, чтобы кровь прекратилась. Воздействуй разумом на плоть. Испугаешься — буди меня.

Через десять минут Уилки снова крепко спал.

44. Временный финал

На другой день Билл и Уинифред вместе с Маркусом вернулись в Блесфорд в машине «скорой помощи». Маркус очень похудел за это время и с мучительным ужасом оглядывался по сторонам. Завидев дом на Учительской улочке, он закричал и забился с неожиданной, пугающей силой. Потом упал в обморок на гравийную дорожку. Его внесли в дом и положили на диван. Придя в себя, он начал кричать и биться. Вызвали по телефону врача. Приехала «скорая» и снова увезла Маркуса. Психиатр Блесфордской больницы пригласил Уинифред и попросил прийти одной.

Фредерика с Уилки провели день на побережье. С Северного моря с воем задувал ледяной ветер. Уилки бросал в море камушки, Фредерика ковыляла рядом с ним. Кровь так и не остановилась и текла довольно сильно. Фредерике казалось, что она набита и заткнута ватой. Наконец, не выдержав, она сказала Уилки, что не хочет портить ему прогулку, но должна присесть: ее пошатывает. Уилки отвел ее обратно в отель, где она лежала, скорчившись, в постели, представляя себе сочувственно любопытные взгляды горничных и

портье. Уилки ушел позвонить, а вернувшись, объявил, что его девушка вызывает его в Кембридж, и это довольно срочно: она и так сердится, что не сразу смогла до него дозвониться. К тому же ему, возможно, достанется роль в «Подменыше», который покажут на студенческом театральном фестивале в Мюнхене. Поэтому, если она не против, им пора возвращаться.

Александр целыми днями не отходил от телефона. Он ощущал необычайный подъем. Теперь, когда он выбрался из сада, его успех, его блестящие перспективы принадлежали только ему. Он договорился о собеседовании в манчестерском отделении Би-би-си, собеседования ждали его в Лондоне и в Оксфорде, где ему предлагали место в научной программе для школьных учителей. Дорсетской частной школе он отказал: хватит с него пока практической педагогики. Он велел принести из подвала свои чемоданы и взял со школьного склада несколько деревянных ящиков. Сходил к директору Тоуну и вручил ему официальное прошение об отставке. Потом вернулся к себе, запер двери внизу и наверху, вдвинул в дверное окошко табличку, сообщающую, что он вышел, и принялся укладывать вещи.

Дэниел получил из Шеффилда письмо, напи-

санное незнакомым почерком. Когда он вскрыл его, оказалось, что его мать крайне неудачно упала, сломав бедро в нескольких местах. Она проведет в больнице несколько недель, а может, и месяцев, но и потом вряд ли сможет управляться сама, как раньше. Представитель госпиталя писал, что Дэниел, по-видимому, ее ближайший и единственный родственник, хотя она не просит его вызвать. Дэниел отправился на вокзал и сел в поезд, идущий на Шеффилд.

Маленький Томас Перри поймал где-то сложную инфекцию и заработал воспаление среднего уха с высокой температурой. Он кричал, не останавливаясь, пятеро суток. Джеффри и Дженни обтирали его прохладными тряпицами, заставляли пить побольше, сидели над ним.

Психиатр сказал Уинифред, что в корне проблем Маркуса лежит его страх перед отцом, и лучше бы выздоровление его проходило не дома, а с людьми, более понимающими и не вызывающими у него тревоги. В больнице он предпочел бы Маркуса на это время не оставлять: больничная обстановка не идет ему на пользу и к тому же связана для него с травматичными воспоминаниями о Лукасе Симмонсе, человеке, тяжело

больном и безусловно подлежащем стационарному лечению.

Антея Уорбертон на две недели отправилась в Лондон навестить добрейшую Марину Йео, а затем с подругами и двоюродными братьями посетила французский курорт Жуан-ле-Пен.

Фредерика и Уилки со всем возможным для мотоцикла великолепием въехали в Блесфорд и с ревом пронеслись по Учительской улочке. Навстречу им проехал серебряный «триумф» Александра. К крыше его был привинчен багажник, основательно нагруженный и затянутый брезентом. Фредерика ясно увидела Александра, элегантно причесанного, улыбающегося, далекого, словно бы сохраняемого, как экспонат, за зеленоватым ветровым стеклом. Александр увидел Уилки, верней, то, что было видно из-под «консервов» и шлема, похожего на жучью голову. За всем этим взметнулись рыжие волосы Фредерики. Александр продолжил улыбаться и смотреть на дорогу. Он не заметил Дженни, метавшуюся у садовой калитки и взволнованно махавшую ему рукой. Не в натуре Александра было разделять с другими вполне заслуженный ими кризис или катарсис, хоть он и знал, что в

искусстве это необходимо. Его начала и концовки принадлежали только ему. Он прибавил скорость и продолжил побег.

Уилки ссадил Фредерику с мотоцикла, взял у нее шлем и прицепил к своему сиденью.

— Пригодится моей девушке, — сказал он и, сдвинув собственный шлем, потянулся за поцелуем.

— Я ведь тебя еще увижу? — спросила Фредерика.

— Скорей всего. Мир тесен. Береги себя.

Уилки спрятал лицо за стеклом и пластиком и уселся на мотоцикл. Фредерика, стоя на тротуаре, проследила, как он умчал вслед за Александром. Потом увидела Дженни и начала понимать, что означал Александров багажник и странное поведение. Она вошла в дом, где ее встретил разгневанным ревом отец, желавший знать, где ее носило и почему она оставила в доме такой бардак, почему по кухне раскиданы продукты и почему, когда он открыл высокое окно, на тротуар упали и разбились какие-то бутылки с вином. В саду хаос не лучше, чем в доме, мать не в себе, а Фредерике только бы красоваться перед друзьями-умниками. Из воплей Билла стало ясно, что Александр давеча прождал-таки ее в саду,

чему был не слишком рад. Впрочем, отвечать ей не пришлось: на счастье, зазвонил телефон. Билл пошел отвечать и вернулся сгорбленный и мрачный.

— Мать звонила, — сказал Билл и передал Фредерике разговор Уинифред с психиатром. — Не понимаю. Я всегда был уверен, что вы знаете: я не со зла, я не имею в виду то, что иногда говорю.

Фредерика, все еще пораженная отъездом Александра, недобро ответила:

— Очевидно, Маркус этого не знал. Да и Стефани тоже. Но если это тебя утешит, могу сказать: я сделана из материала покрепче и знаю, что ты в такую тяжелую минуту не станешь устраивать трагедию из-за сырых котлет и разбитых бутылок.

Тут Фредерика заглянула ему в лицо и ощутила укол жалости, а в большей степени — страха. Судорожно ища практическое решение, она воскликнула:

— Есть же Дэниел! Маркус ему доверяет: я замечала. Может, Дэниел и Стефани приютят Маркуса, пока он не возьмет себя в руки, или как это называется.

Билл мрачно сказал, что в их убогой квартирке едва хватает места для одного человека, не

говоря уж еще о двоих и младенце в придачу. У Дэниела достаточно забот. Фредерика отвечала, что с Дэниелом никогда не скажешь, достаточно ему забот или еще нет. Билл как-то напрягся, призадумался, потом набросил плащ и помчался к Дэниелу.

Тем временем выяснилось, что семейство Ортон не сможет больше жить в комплексе «Эшхэм». Дэниел, вернувшись из Шеффилда, сказал, что мать им, видимо, придется взять к себе. Викарий уже нашел им маленький домик в бывшем рабочем районе Блесфорда, где сейчас селится много молодых семей из среднего класса. Он же посоветовал Дэниелу пристроить к ремонту бездельников из его юношеского клуба. Потом ворвался Билл, лил слезы, предавался самобичеванию, в лицах описывал страдания Маркуса. Стефани, потрясенная всем этим, сказала Дэниелу, что взять к себе Маркуса их долг, точно так же, как приютить мать Дэниела. «Конечно», — сказал Дэниел. Конечно, они возьмут к себе Маркуса, если тот захочет. Дэниел съездил в больницу к Маркусу, и Маркус сказал, что хочет жить с ними. Это было первое, что он сказал за несколько дней.

Пришла осень, сделалось холодно. Маркус пе-

реехал к Дэниелу и Стефани и ночевал на диване, пока в их домике шел ремонт. Фредерика вернулась в школу и начала готовиться к университету. Ей становилось все ясней, что Александр уехал навсегда. Она чувствовала себя униженной, но, с другой стороны, избавившись от волнений, от желания, от мучительного неразрешимого вопроса, Фредерика была самодостаточна. Это лето научило ее, что она может не смешивать все в кучу, по отдельности воспринимая мысли, события, людей. Этот урок был ей полезнее всего. Она могла лежать в кровати, рыдая об Александре, об Уилки, даже об «Астрее», а потом подняться, привести себя в порядок и, подключив запасы иной энергии, с удовольствием сосредоточиться на учебе. Она была рада, что пролитие девственной крови, веха простая, хоть и неопрятная, осталось позади. Ее потрясли и выбили из привычной колеи перемены, произошедшие в родителях. Билл сильно уменьшил школьную нагрузку и беспокойно бродил по дому в мягких тапочках. Он ни с кем не разговаривал. Порой, уже открыв рот, тут же закрывал его, словно проглатывал какие-то слова. Уинифред целыми днями лежала в постели. Фредерика не обращала на это внимания и вгрызалась в книги ради того, чтобы выбраться

отсюда, да и ради самих книг. Но однажды вечером, видя, что эмоции грозят перехлестнуть перегородки, возведенные ею в собственном мозгу, она решила проведать Дэниела и Стефани и самой взглянуть на Маркуса: понять, чего стоит ожидать и чего бояться.

Дверь открыл Дэниел. Он не улыбнулся, но впустил ее внутрь.

— А я к вам, — бодренько сказала Фредерика. — Дома совершенно невыносимо, атмосфера подавляет.

Дэниел мог бы про свой дом сказать то же самое, но воздержался:

— Ну, садись, коли пришла. Я заварю чаю.

В гостиной на диване молча сидели Стефани и Маркус. Своим разбухшим телом Стефани словно подпирала и поддерживала худенького Маркуса. Она молча кивнула Фредерике, как будто Маркус был ребенок или инвалид, которого нельзя тревожить. Маркус ничем не показал, что заметил сестру.

С тех пор как к ним переехал Маркус, вся жизнь семейства Ортон переменилась. Первые два дня стоило Дэниелу пропасть из виду, как Маркус, по-детски хныча, устремлялся на поиски. Стефани видела, что Дэниела это раздражает, и

расстраивалась. Она попыталась заменить его, долгими часами молча и неподвижно просиживала рядом с Маркусом, как в свое время с Малькольмом Хэйдоком. На самом деле разница тут была небольшая. Однажды она сказала брату, что Лукаса Симмонса перевели в другую клинику, где ему спокойнее. Маркус спросил, не было ли на Лукаса нападений или покушений. Услышав, что не было, рассказал Стефани о своих страхах за Лукаса, за себя, о разбитых надеждах друга, о фотизме, о передаче образов, о хищном, враждебном свете. Стефани мало что из этого поняла, но решила, возможно ошибочно, что тут нужно не понимание, а «полное приятие», и с обычным своим милосердием принялась за дело. Как и с Малькольмом, ей вспомнилась книга об укрощении зверей. Она приучила Маркуса часами сидеть, положив голову ей на колени, не двигаясь, ничего не предпринимая. Приходя с работы, Дэниел все чаще заставал их в этом положении. Он принимал целительную недвижность жены и старался не мешать.

Теперь же он отправился на кухню, чтобы заварить Фредерике чаю. Загремел чайниками и тарелками, принялся открывать шкафчики. Через минуту в кухню вошла Фредерика:

— Это что, всегда так? — прошипела она. — Он когда-нибудь поправится?

— Я не знаю.

— Как вы это выдерживаете?

— Спроси о чем попроще, — коротко и мрачно улыбнулся Дэниел.

Ему не нравилась Фредерика. Он мало кому рассказывал о своих чувствах и уж точно не стал бы делиться с ней, но правда была в том, что он и сам не знал, как выдерживает свою новую жизнь. Он был хороший человек и сам приходил в ужас от чувств, что вызывали в нем Маркус и Стефани. Каждую ночь ему снились убийства. Бледный невинный Маркус убивал его нерожденного ребенка. Ребенок разрывал Стефани изнутри, текла кровь. Он сам, Дэниел Ортон, гнался за Биллом Поттером через Дальнее поле, сжимая в руке мясницкий нож Симмонса. И самое страшное — глухой ужас удушения: его собственное тяжелое тело наваливается на ребенка — его ребенка, потом нечто неведомое, сырое, грузое, чудовищное душит его самого, выдавливает из легких жизнь. Он не мог говорить об этом с беременной женой, не имел права пугать ее, делавшую то, во что верила. Он искренне жалел Маркуса. Он тосковал по невозвратным дням, когда в маленькой квар-

тирке звучал смех и было им жарко и радостно. Даже в буквальном смысле Дэниел ничего не мог сказать: стены были картонные, квартирка крошечная, а Маркус сидел недвижно, но остро и болезненно подмечал абсолютно все.

— Как ты с этим справляешься, Дэниел? — повторила Фредерика.

— Это не навсегда. В домике места будет побольше. Маркус отойдет от шока; по крайней мере, я на это надеюсь. А потом родится ребенок.

Он остановился у окна, глядя, как глядел часто, и даже в первую ночь медового месяца, на черную шину-качели, что вечно возвращалась, описывая один и тот же круг, на кривой терновник и на море глины, покрытое тракторными следами. Фредерика смотрела туда же.

— У нас дома, — сказала она, — все обленились и обрюзгли, любое действие воспринимают в штыки. Я учусь, но постоянно чувствую: не за что уцепиться. Я словно подвисла в воздухе.

— Понятно.

— А у тебя, кажется, слишком много забот.

— Это точно, — отвечал Дэниел, по-прежнему глядя в окно. — Я в гуще жизни, и это нормальное человеческое состояние. — В последние дни он все чаще повторял себе это. Но его, такого

сильного, ослабляли любовь и заботы. Впервые со дня своего обращения он осознал, что жизнь может высосать из него силы. Похожий страх он чувствовал сейчас в глупой тощей девчонке, стоящей рядом.

— Ничего, вот поступишь в университет, и все встанет на свои места. Ты сейчас ждешь, а это всегда трудно.

— Наверное, ты прав. И ты тоже ждешь — когда ребенок родится…

— Точно.

— А как же Маркус?

— Не знаю, Фредерика. Я такие проблемы решать не умею.

Он составил чашки на поднос, туда же положил коробочку с печеньем, и они вернулись в маленькую гостиную. Маркус сидел, положив голову Стефани на плечо, он весь обмяк, как соломенное пугало, неподвижный, вялый. А Стефани сидела, как некая неестественная, неказистая Пьета[320], глядя поверх его соломенных волос на Дэниела с выражением слепого терпения. «Ничего», — думал Дэниел. Он уже отогрел ее раз, отогреет и второй. Он снова обернулся к Фредерике:

---

[320] Примечания: 320

В христианской традиции — скульптура, изображающая скорбящую Богоматерь, на коленях у которой лежит мертвый Христос.

— Просто всем нам нужно ждать и терпеть.

Ждать и терпеть — не так-то просто дается это застывшему Маркусу. Не так-то просто дается и Фредерике, подумал Дэниел без особого к ней сочувствия. Он протянул ей чашку чая, и они сидели, погруженные каждый в свое молчание, и смотрели на двоих, замерших на диване. Это еще не конец, но, поскольку конца видно не было, здесь можно поставить точку.